МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Г. В. Иванов

Мемуары
Литературные портреты



Г. В. Иванов

Мемуары
Литературные портреты



Москва
Берлин
2021

УДК 82-94(47)
ББК 84(2=411.2)6-449
И20

Иванов, Г. В.

И20 Мемуары. Литературные портреты / Г. В. Иванов. — Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2021. — 588 с.

ISBN 978-5-4499-1877-2

Этот невероятный Серебряный век русской поэзии… Утонченный и трагичный, яркий и мистический. Для нас, живущих в 21 веке, кажется невозможным увидеть Блока, Ахматову, Гумилёва, Мандельштама. Но беллетризированные мемуары Георгия Иванова, одного из крупнейших поэтов первой половины XX века, увы, получившим признание больше в эмиграции, нежели на родине, удивительным образом погружают нас в декадентство русских символистов, бунтарский и раскрепощенный футуризм, перед глазами проносятся богемные литературные салоны, дышат свободой стихи, непостижимо рождавшиеся в Советской России. Здесь нет романтики, но есть остроумное, местами даже язвительное повествование о событиях и людях, небанальный взгляд на время, окутанное тайнами. Какие они — петербургские зимы? Мрачные, промозглые — или гениальные и лиричные? Судить вам, дорогие читатели. Но, несмотря на то, что мемуары Иванова многие оценивают как спорные, они, без сомнения, обладают высокой художественной и исторической ценностью.

УДК 82-94(47)
ББК 84(2=411.2)6-449

ISBN 978-5-4499-1877-2

Петербургские зимы

I

Говорят, тонущий в последнюю минуту забывает страх, перестает задыхаться. Ему вдруг становится легко, свободно, блаженно. И, теряя сознание, он идет на дно, улыбаясь.

К 1920-му году Петербург тонул уже почти блаженно.

Голода боялись, пока он не установился «всерьез и надолго». Тогда его перестали замечать. Перестали замечать и расстрелы.

— Ну, как вы дошли вчера, после балета?..

— Ничего, спасибо. Шубы не сняли. Пришлось, впрочем, померзнуть с полчаса на дворе. Был обыск в восьмом номере. Пока не кончили — не пускали на лестницу.

— Взяли кого-нибудь?

— Молодого Перфильева и еще студента какого-то, у них ночевал.

— Расстреляют, должно быть?

— Должно быть...

— А Спесивцева была восхитительна...

— Да, но до Карсавиной ей далеко.

— Ну, Петр Петрович, заходите к нам...

Два обывателя встретились, заговорили о житейских мелочах и разошлись. Балет... шуба... молодого Перфильева и еще студента... А у нас, в кооперативе, выдавали сегодня селедку... Расстреляют, должно быть...

Два гражданина Северной Коммуны мирно беседуют об обыденном.

Гражданина окликает гражданин:
Что сегодня, гражданин, на обед?
Прикреплялись, гражданин, или нет?..

И не по бессердечию беседуют так спокойно, а по привычке.

Да и шансы равны — сегодня студента, завтра вас.

Я сегодня, гражданин, плохо спал —
Душу я на керосин променял.

Об этом беспокоились еще: как бы не променять душу «на керосин» без остатка. И — кто устраивал заговоры, кто молился,

кто шел через весь город, расползающийся в оттепели или обледенелый, чтобы увидеть, как под нежный гром музыки, в лунном сиянии, на фоне шелестящих, пышных бумажных роз — выпорхнет Жизель, вечная любовь, ангел во плоти...

Поглядеть, вздохнуть, потом обратно ночью через весь город.

Над кострами искры золотятся,
Над Невою полыньи дымятся,
И шальная пуля над Невою
Ищет сердце бедное твое...

Ну, может быть, сегодня еще до моего не доберется. Чего там!

* * *

Петербургская сторона — Плуталова улица. Место глухое, настолько глухое, что даже милиция сюда не заглядывает. Иначе не обнаглел бы какой-то проживающий здесь спекулянт до того, чтобы прибить у дверей вывеску о своей торговле. На вывеске стоит черным по белому: «Здесь продавца собачье мясцо».

На Плуталовой живет В., занимает комнату с кухней в грязном шестиэтажном доме.

В. — бывший писатель. Что-то печатал лет пятнадцать тому назад, чем-то даже «прошумел». Теперь пишет «для себя», т. е. ничего не пишет, делает только вид.

В минуты откровенности — признается: «Плюнул на литературу — жить красиво — вот главное».

Он странный человек. Писанье его бесталанное, но в нем самом «что-то есть». Огромный рост, нестриженая черная борода, разбойничьи глаза навыкате — и медовый монашеский говор. Он то сидит неделями в своей «квартире», обставленной разной рухлядью, считаемой им за старину, с утра до вечера роясь в книгах, то пропадает на месяца, неизвестно куда.

— Где это вы были, В.?

Улыбочка. — Да вот, на Афон съездил...

— Зачем же вам было на Афон?

Та же улыбочка. — Так-с, надобность вышла. Ничего, славно съездил. Только, досадно, в дороге кулек у меня украли с драгоценными вещами: бутылкой зубровки старорежимной — вот бы вас угостил — и частицами святых мощей...

Через полгода — опять. — Где пропадали? — Да на Кавказе пришлось побывать, в монастыре одном...

Вот к этому эстету из семинаристов, с наружностью оперного разбойника, я решил пойти переночевать.

Дело было такое: я засиделся у знакомых на Петербургской стороне (а жил в самом конце Бассейной). Когда собрался уходить — оказывается, без четверти одиннадцать и, если идти домой, обязательно попаду на обход и в участок, так как не только ночного пропуска, но и обыкновенной трудкнижки у меня нет. Ночевка в милиции — вещь неприятная, да и вопрос еще, как обернется наутро: могут отпустить, могут и отправить в Чека. Воскликнуть, как Мандельштам (кстати, смертельно милиции боявшийся):

Мне ночного пропуска не надо,
Часовых я не боюсь, —

было бы неблагоразумно. У знакомых, где я засиделся, ночевать было негде. Я и вспомнил о В., жившем неподалеку.

Тяжелого висячего замка на входной двери не было — значит, дома. Но на стук мой никто не ответил. Неужели ушел? Я постучал сильнее. Шаги и голос В.:

— Что ломишься в такую рань? Проваливай. До двенадцати все равно не пущу.

Решив, что вряд ли это ко мне относится, я постучал еще и назвал себя.

В. сейчас же открыл. — Голубчик! Какими судьбами? Желаете согреться? — Он пододвинул мне рюмку.

Сам В. уже, по-видимому, «согрелся» на сон грядущий. Ворот косоворотки расстегнут, лицо красное, в глазах маслянистый блеск. Впрочем, это было обычное его состояние — ни пьян, ни трезв. Вечное «навеселе».

Узнав о моем намерении переночевать, В. как-то засуетился.

— Да если вам неудобно, вы скажите, я уйду.

— Что вы, что вы, дорогой. Очень удобно, очень приятно. Только... — Он опять забегал глазами... — Вам-то будет ли удобно?

— Обо мне не беспокойтесь.

— Конечно, конечно... Но будет ли вам?.. Крепко ли вы спите?

— Очень. К тому же чрезвычайно устал — целый день на ногах, прямо валюсь...

— Вот, вот... — В., по-видимому, обрадовался. — А то ко мне придет тут... Один книжник... Сосед... Книжки кой-какие разобрать... Так я боялся, не помешаем ли мы вам.

Я успокоил В., что никто и ничем мне не помешает. Несмотря на мои отказы, он уложил меня на свою кровать, за рваный штофный полог.

— Ничего, ничего — тут и вам будет удобнее, и мне спокойнее. А я на диванчике пересплю — прекрасный у меня диванчик.

Кровать была широкая и мягкая... В. в другом углу комнаты шуршал книгами, позванивал ложечкой о стакан... Сосед-книжник не приходил...

...Я проснулся. За занавеской шел тихий разговор. Говорил больше чужой голос, вкрадчивый и скрипучий. В. только изредка вставлял что-нибудь.

— От Бога-то вы отвернулись. Отвернулись, ладно, очень хорошо. Но мало от Бога отвернуться, мало, друзья. Надо еще перед *Ним* заслужить. Так, думаете, он вас и примет сразу, так и начнет помогать, едва крест с шеи долой...

— Да как же заслужить? Церкви ему строить? Акафисты петь?

— И церкви, и акафисты, и в сердце своем его одного иметь. Главное — в сердце иметь. Тогда он и поможет.

— Что же тогда будет, когда поможет?

— Все будет, все, слышишь? Булки разные и ветчина, и шпроты, и белая головка — чего хочешь. И не за деньги, хотя бы по старой цене, а даром — бери, что желаешь, ешь, что желаешь, пей — все бесплатно на вечные времена, только его в сердце держи...

Я осторожно приподнялся и заглянул в прореху в пологе. В. сидел за круглым столом. Перед ним, спиной ко мне, какая-то фигура в полушубке. На черепе большая плешь, окруженная жидкими светлыми волосами. Поза понурая, шея ушла в плечи...

— ...в сердце держи, да. — Говоривший помолчал минуту. — Ну, так вот, прежде всего, как уговорено — пять тыщ...

— Уже и пять? Вчера было три!

— Пять тыщ... — повторил старик, — меньше никак не справиться. Потом, вот записочку эту возьми, переписать надо, знаешь. Да не на машинке, от руки. Потрудись во славу его.

В. стал, вздохнув, отсчитывать деньги. Старичок, аккуратно пересчитав, спрятал.

— Ну, мне пора. Покойнички-то мои, верно, беспокоятся — две ночи пропадаю. Все дела, дела...

— И не страшно тебе на кладбище?

— Чего же страшно? Напротив — компания приятная.

— И не гадко?

— Что же такое — гадко? Конечно, если кто еще червивый и лезет к тебе... А которые долго лежат, подсохли... Что же в нем гадкого? Из баб такие попадаются экземплярчики...

— Молчи уж. Спать потом не буду, как понарасскажешь...

Старичок захихикал.

— Какой слабонервный! А еще министром у нас хочешь быть. Хватит с тебя и сенатора, когда придет наше время, хе... хе... Ну, ничего, главное — помни — его в сердце держи...

— Г. В., вы спите? — окликнул меня хозяин, проводив гостя.

Я не отозвался. — Спит, — пробормотал В. Он еще долго возился, что-то отпирал и запирал, звенел ключами, шуршал бумагами, вздыхал. Наконец, улегся, потушил свет и начал посапывать. Под его посапыванье — заснул и я.

Утром, когда я уходил, В. еще спал тяжелым и крепким сном пьяницы.

* * *

«Перепишите и разошлите эту молитву девяти вашим знакомым. Если не исполните — вас постигнет большое несчастье...»

Дальше шла молитва: «Утренняя Звезда, источник милости, силы, ветра, огня, размножения, надежды...»

— Странная молитва. Ведь Утренняя Звезда — звезда Люцифера.

— Странная! Не это ли велел В. переписывать его старичок, чертопоклонник, помнишь, я тебе рассказывал?

Разговор шел полгода спустя в квартире Гумилева, на Преображенской. Сидя у маленькой круглой печки, Гумилев помешивал уголья игрушечной саблей своего сына.

— Странная молитва! Возможно, что именно В. ее прислал, раз он, как ты говоришь, возится с чертовщиной. Но глупо, зная меня, посылать мне такие вещи. Какой бы я был православный, если бы стал это переписывать и распространять?

— Глупо вообще рассылать. Кто же станет переписывать?..

— Ну, положим, станут. Во-первых, большинство и не разберет, в чем дело, подумают, просто какой-то акафист. А кто и разберет, все-таки перепишет, пожалуй, если суеверный человек. А ведь большинство скорее суеверные, чем верующие.

— То есть, из боязни, что с ними случится несчастье, перепишут?

— Конечно.

— Какая чушь!

Гумилев постучал папиросой по своему черепаховому портсигару.

— Не такая чушь, как ты думаешь. Эти угрозы, поверь, не пустые слова.

— Тогда тебя должно теперь постигнуть несчастье?

— Должно. Несчастье будет на меня за это направлено, я не сомневаюсь. Не улыбайся, я говорю совершенно серьезно. Кто-то сознательно послал мне вызов. Я сознательно, как христианин, его принимаю. Я не знаю, откуда произойдет нападение, каким оружием воспользуется противник, — но уверен в одном, мое оружие — крест и молитва — сильнее. Поэтому я спокоен.

— Удивительно. То В. и его старикашка, теперь эта молитва, твой разговор. Какой-то пятнадцатый век! Никогда не думал, что существует что-нибудь подобное.

— А вот, представь, существует. Можно прожить всю жизнь, ничего об этом не зная, — и это самое лучшее. Но легко случайно, как ты с ночевкой у В., коснуться чего-то, какой-то паутины, протянутой по всему свету, — и ты уже не свободен, попался, надо тебе сделать какое-то усилие, чтобы выпутаться. Не сделаешь — можешь пропасть. И, заметь, — до вечера, проведенного у В., жил ты и никогда ни с чем таким не сталкивался.

А столкнулся раз, сейчас же тебе попадается и этот акафист, и наш разговор, и будет непременно еще попадаться. Кто-то *там* тобой уже интересуется. Может быть, мне и прислали этот листок только для того, чтобы ты его прочел. Или, наоборот, — охота идет за мной, а ты ни при чем...

— Ты меня пугаешь, — рассмеялся я.

— Не пугайся, дорогой, — пугаться никогда не следует. Но и шутить с этими вещами не следует тоже. Но бросим этот разговор — хватит. Пойдем, прогуляемся...

* * *

Падает редкий, крупный снег. Вдоль тротуара бурые сугробы, под ногами грязь...

...Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...

Впрочем, это уже не зима — середина марта. Еще мерзнут без перчаток руки, но дышать уже легко — весна.

Над голыми ветками «Прудков» грузно пролетает ворона. Мальчишки на углу Греческого торгуют папиросами.

— Почем десяток? — Триста. — Хватил!

— Пожалуйте, гражданин, у меня двести. — У него липа, берите у меня — двести пятьдесят...

...Вонь серной спички, зеленоватый дымок папиросы. И у папиросы, закуренной в этом теплеющем воздухе, — уже особый, «весенний» вкус.

— Куда же мы пойдем?

Гумилев стряхивает снег со своей обмерзшей дохи и поправляет чухонскую шапку с наушниками.

— Ты не торопишься? Прогуляемся тогда до Лавры. Мне надо там к сапожнику.

— С удовольствием. Но что за идея подбивать подметки у Лавры, когда сапожник есть на твоей лестнице?

— Ну, мой у Лавры не простой сапожник. Я поэтому к нему и хожу. Умнейший старик. Начетчик — священное писание знает, как архиерей, о Пушкине рассуждает. Я Лернера к нему свести собираюсь — пусть потолкуют.

— Какой-нибудь скрывающийся генерал или профессор?

— Ах, нет — мужик с Волги, в тридцать лет писать научился. Но умнейший человек и презабавный. Вроде Клюева, только поострей. Да ты сам увидишь.

Мы прошли Старый Невский и, обогнув Лавру, свернули в какой-то проулок. Деревянный забор, двор, засыпанный снегом, потом сени, лесенка, наконец, узкая дверь с молотком-колотушкой. Открыла босоногая девчонка. — «К Илье Назарычу? Дома».

...Проворно работая шилом при свете коптилки, старик в грязной блузе, поблескивая из-под железных очков колкими глазками, говорил:

— Вы, Николай Степаныч, извиняюсь, ошибаетесь. Пушкин, Александр Сергеевич, России не любил. До России ему дела никакого не было. Душой он немец, вот что. А любил он, ежели желаете знать, жену да Петра.

— Какого Петра?

— Петра Первого, Великого, как его зовут. А почему велик — все потому же, немец был, не русский.

— Вы, Илья Назарыч, заговариваете<сь> что-то. Пушкин немец, Петр Великий немец. Кто же русские?

— Русские? — Старик пристукнул пузырь на распластавшейся подметке. — Хе, хе... Кто русские... (Где я слышал этот хрипловатый голос и это хихиканье? Ведь слышал же?)

— Русские? Как бы вам сказать... Ну, для примера, вот вам наш Санкт-Петербург — град Святого Петра, хе-хе... Кто его строил? Петр, скажете? Так ведь не Петр же в болоте по горло стоял и сваи забивал? А Петра косточки в соборе на золоте лежат. А вот те, чьи косточки, тысячи и тысячи, вот тут, — он топнул ногой, — под нами гниют, чьи душеньки неотпетые, ни Богу, ни черту не нужные, по Санкт-Петербургу этому, по ночам, по сей день маются и Петра вашего, и нас всех заодно, проклинают, — это русские косточки, русские души...

Он опять согнулся над сапогом.

— Трудно на вас работать, господин Гумилев. Селезнем ходите, рант сбиваете. Никак подметку не приладишь.

— Это у меня походка кавалерийская.

— Может, и кавалерийская, только, извиняюсь, косолапая...

— Все-таки, Илья Назарыч, почему же Пушкин немец?..

Старичок опять захихикал.

— А вот, я вам стишком отвечу:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой стройный, строгий вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит.

— Ну, как по-вашему? Люблю! Что же он любит? Петра творенье. Русскому ненавидеть впору, а он — люблю. Немец! Державу любит! Теченье! Гранит — нашими спинами тасканный, на наших костях утрамбованный!.. Ну?..

— Я тоже люблю, однако русский.

— Ну, это потом разберут, русский вы или нет... Готовы ваши сапожки. Деньгами платить будете или потом мукой рассчитаетесь? Мукой? Ладно. Сейчас вам их заверну.

Шаркая, сапожник вышел.

— Забавный старик.

— Очень. Немного тронувшись, кажется.

— Пожалуй. Но умница. Слышал, как рассуждает? Его бы в религиозно-философское общество, а не сапоги чинить... И в комнате у него как мило. Смотри: чистота, книжки разложены. Что это он пишет, давай посмотрим?

Гумилев отвернул обложку копеечной тетрадки. На первой странице было старательно выведено:

«Утренняя Звезда, источник милости, силы, ветра...»

— Вот ваши сапожки...

Гумилев обернулся с тетрадкой в руках:

— Что это такое, Илья Назарович?

Старик поглядел из-под очков, пожал плечами.

— Такое, что по чужим комодам шарить не полагается.

— Вы, значит, мне это прислали?

— Выходит, что я-с.

— Зачем?

— Там было указано зачем — переписать и разослать.

— Да вы сами понимаете, к кому эта молитва?

Сапожник насупился.

— Нет у меня времени, граждане, к сожалению, времени не имею. Вот ваши сапожки. Дозвольте деньги за работу — ждать муки мне несподручно. И, если по сапожной части, ищите, господин, другого мастера. Я в деревню уезжаю...

...Где я слышал этот голос? А! — вот что...

— Уезжаете? Покойнички беспокоятся? — сказал я тихо.

Старик посмотрел на меня насмешливо.

— Чего им беспокоиться, молодой человек? Им в земле покойно. Это, скорее, живым следует. Мое нижайшее, граждане.

* * *

Через год, под грохот кронштадтских пушек, я шел по Каменноостровскому. Меня окликнули — В., какой-то облезлый, похудевший.

— Что с вами?

— На Шпалерной сидел. Попал в засаду.

— Где же?

— Так, из-за спирта. Сапожник один спирт мне доставал. Зашел к нему — ну, а там засада. Три месяца продержали...

— Сапожник? Это не в Лавре, не Илья Назарыч?

— Вот как! Значит, спите вы не так уж крепко. Верно. Илья Назарыч. Но откуда же вы имя и адрес знаете?

— Не только адрес, но и был у него и не прочь бы еще зайти, потолковать. Может, пойдем вместе?

В. криво улыбнулся.

— Трудновато это: в декабре еще расстреляли. За спирт. А жаль — славный спирт продавал, эстонский, и брал недорого.

II

Летом 1910 года, на каникулах, я прочел в «Книжной летописи» Вольфа объявление о новой книге. Называлась она «Студия Импрессионистов».

Стоила два рубля.

Страниц в ней было что-то много, и содержание их было заманчивое: монодрама Евреинова, стихи Хлебникова, что-то Давида

Бурлюка, что-то Бурлюка Владимира, нечто ассирийское какой-то дамы с ее же рисунками в семь красок.

Я эту «Студию» выписал. Потом, у Вольфа, мне рассказывали, что я был одним из трех покупателей. Выписал я, выписала какая-то барышня из Херсона и некто Петухов из Семипалатинска. Ни в Петербурге, ни в Москве — не продали ни одного экземпляра. Только мы трое не пожалели кровных двух рублей, не считая пересылки, за удовольствие прочесть братьев Бурлюков с ассирийскими иллюстрациями в семь красок.

Только мы: я, барышня из Херсона и Петухов. Трое из ста шестидесяти миллионов.

О, Русь! О, rus!

Но это потом мне объяснили у Вольфа. Тогда же, выписывая, я испытал даже некоторое беспокойство: получу ли, не распродана ли?

«Студия Импрессионистов» внешностью не разочаровала. Формат большой, длинный, обложка буро-лиловая, с изображением чего-то непонятного: может быть, женщина, может быть, дом. Ассирийские рисунки тоже были недурны, хотя семь красок оказались преувеличением. Красок было две, все тех же — бурая и лиловая. Содержание же, «сплошное дерзанье», — просто меня потрясло. С завистью я перечитывал стихи про оленя, затравленного охотниками:

И вдруг у него показалась грива,
И острый львиный коготь,
И беззаботно и игриво
Он показал искусство трогать.

Или знаменитых впоследствии «Смехачей» — «о, рассмейтесь, смехачи, смеюнчики, смеюнчики...»

Не то чтобы мне очень нравилось: Бальмонт и Брюсов были мне гораздо больше по душе. Но как не позавидовать смелости и новизне?

Что все это крайне ново, смело и прекрасно, не оставалось сомнений после вступительной статьи редактора студии К., очень истово это объяснявшего.

Я перечел эту статью с почтением.

Потом с завистью монодраму — переворот в драматическом искусстве — как она тут же рекомендовалась.

Потом «Смеюнчиков».

Потом снова монодраму...

Естественно, что «еще потом», через недели две, я отправил на почту заказной пакет с десятком буро-лиловых стихотворений, без определенного размера, и с сопроводительным письмом на имя редактора К.

Отправив, стал ждать ответа. Некоторый опыт мне подсказывал, что ответ придет не скоро и вряд ли обрадует. Но, против обыкновения, ответ пришел сейчас же. И какой ответ!

На листе шершавой бумаги, тоже лиловато-бурой, — стояло:

— Дорогой друг. Присланное — шедевр. Пойдет в ближайшей книге. Приветствую и обнимаю...

Да, это была не «Нива», после двух месяцев «сомнений и надежд» возвращавшая рукописи с неизменной отвратительной припиской: «М. Г. К сожалению...»

* * *

Каникулы кончились — я вернулся в Петербург. К., издатель «Студии», приглашал меня, сейчас же по приезде, к нему зайти. Конечно, мне очень хотелось это сделать. Знакомство с влиятельным издателем передового альманаха, встреча с такими людьми, как Бурлюки или Борисяк, литературная жизнь, новаторство... Казалось, чего бы лучше? К сожалению, здесь было маленькое «но», сильно меня смущавшее...

«Но» — было в следующем. Как я пойду знакомиться со своими «импрессионистами»? Ведь тогда обнаружится мой позор: шестнадцать лет и кадетский мундир с золотым галуном на красном воротнике. Лета еще ничего, лета можно и прибавить... Но мундир...

К. рисовался мне господином вдохновенного вида, длинноволосым, бледным, задумчивым. Вот я написал ему, что приду, он меня ждет. Вот я подымаюсь на шестой этаж, в его поэтическую мансарду, увешанную бурыми картинами и заваленную

лиловыми рукописями. Звоню. Он смотрит на меня с недоумением. — «Вы, верно, ошиблись, молодой человек, это в третьем этаже, у полковника, сын кадет...»

Но, предположим, — все обойдется. Он же писал, что стихи мои — шедевр, а ведь суть в стихах, а не в возрасте или в мундире. Все равно, выйдем мы, например, на улицу. Он говорит — посмотрите, дорогой друг, солнце сегодня совершенно фиолетовое... А в это время навстречу генерал. И, вместо того, чтобы согласиться — да, вы правы, как фиалка, или со вкусом возразить: «Фиолетовое? Я бы сказал, зеленоватое...» — надо вытягиваться во фронт (три строевых шага, поворот на каблуках — ать-два). Он предложит — зайдем в ресторан, поболтать за бутылкой вина. — Извините, мне можно только в кондитерскую. — Да и в кондитерской беги сейчас же к офицеру. — Господин поручик, разрешите сесть...

После долгого раздумья я решил выждать, когда уедет в деревню старший брат, и отправиться к К. в его штатском костюме. Я уже примерял тайком этот костюм: немного мешковат, и брюки плохо подворачивать — но, в общем, прилично. Пока же я отослал К. тетрадь новых стихов, с припиской, что болен и зайду, когда поправлюсь...

...Был понедельник, но я сидел дома, «отдуваясь», как говорилось в корпусе, от какой-то «письменной». Было часа два дня. Я с грустью поглядел в окно — в учебные часы благоразумнее не выходить. Вот идет, например, генерал. — Кадет, почему вы не в корпусе? Ваш билет. — Неприятностей не оберешься.

...Генерал за окном перешел улицу, осмотрелся и завернул за угол — как раз к нашему подъезду. Это был сухонький, строгого вида старичок, военный доктор, в очках и с малиновыми отворотами шинели. Я отошел от окна и сел за неоконченные стихи. Но рифма что-то не подбиралась...

Вдруг брат, тот самый, на костюм которого я рассчитывал, вбежал в мою комнату с взволнованным видом. — Вот — достукался — пришел доктор из корпуса — проверять, болен ли ты...

С понятным смущением я вошел в гостиную. В гостиной сидел тот самый сухонький генерал, который переходил улицу.

— Зашел познакомиться, — сказал он, протягивая мне обе руки. — Я — К., редактор «Студии Импрессионистов»...

* * *

...Ярко начищенная медная доска. Доктор медицины К., часы приема. А повыше, на красном сукне двери, кнопками приколот клочок оранжевого картона:

КЛУБ РАВНОДЕЙСТВУЮЩИХ.
АСОЦ-ХУД-ПОЭТ-ФУТ-КУБ,
ИМПРЕССИОНИСТОВ.

Квартира большая, солидная. Приемная с тяжелой мебелью — чехлы, люстры, канделябры, бронзовый медведь с блюдом пыльных визитных карточек.

На столе — старая «Нива», на стенах — пожелтевшие группы: «Военно-медицинская академия 1879 г.», «Ярославль 1891 г.». Все, как полагается.

Но вперемежку с номерами «Нивы» и проспектом Ессентуков — «Помада» Крученыха, обклеенная золотой бумагой, как елочная хлопушка, альманах «Засахаре кры» и обличительный увраж «Тайные пороки академиков». И на стенах, вперемежку с группами, — картины.

Картины, малоподходящие для докторской приемной: малиновые, бурые, зеленые, лиловые. Там серый конус на оранжевом фоне, здесь желтый куб на бледно-синем, между ними что-то пестрое, всех цветов, и по пестроте — надпись «Астрахан... сельд...»

Это все работы самого К. Подарки друзей и единомышленников по «асоц-худ-фут-кубу» — украшают кабинет.

В кабинете, у большого письменного стола, в мягком свете лампы — две фигуры. Дымя душистой папироской, заложив руки в карманы мягкой серой тужурки, поблескивая золотыми очками, — доктор беседует с пациентом.

Сразу видно, что сидящий напротив — пациент. И вряд ли не душевнобольной.

У него вид желтый и истощенный, взгляд дикий, волосы всклокочены. Говорит он заикаясь, дергаясь при каждом слове,

голова трясется на худой, длинной шее. Он берет папиросу и не сразу может закурить — так дрожат руки. Закурил и сейчас же бросает, хватает новую папиросу, чтобы опять бросить...

Иногда он что-то порывисто шепчет. Доктор, поблескивая очками, кивает седой головой и делает карандашом какие-то пометки. Отмечает ход болезни. Пишет рецепт.

Но прислушайтесь к их разговору.

— Отлично, — говорит доктор. — Форма бытия треугольник. Следовательно, душа треугольна.

— Ддддаа, — дергается «пациент». — Тттрреугольна иии пппррямоугольна.

— Хорошо, — кивает доктор. — Значит, запишем: Душа — мысль — треугольник. Смерть — чрево — круг...

— Ннет, — волнуется «пациент». — Ннет... Пишите: ччрево — ддрево.

— Но, дорогой мой, вы увлекаетесь. Почему же древо? Ведь наша задача формулировать как можно точнее...

— Ддрево, — настаивает «пациент». — Ддрево. — Голова его начинает трястись сильнее. — Ддрево-ччрево...

— Ну, хорошо, хорошо — не волнуйтесь, милый. Древо так древо. Идем дальше. Жизнь. Смерть. Что потом? Искусство?..

— Искусство — укус-то! — просияв, вставляет «пациент».

Доктор тоже сияет. Находчиво. Поразительно. Глубоко. Укус-то. Браво-браво... Но — это не формула. Давайте искать формулу. Что вы скажете о слове «Сосуд»?

Это основополагатель русского футуризма К. и «гениальнейший поэт мира» «Велимир» Хлебников составляют тезисы философского обоснования нового направления. Но каждую минуту картина может измениться: с Хлебниковым сделается страшный припадок падучей, и его собеседнику придется вспомнить о другом искусстве — врача.

* * *

Эта солидная квартира, эти группы по стенам, эти генеральские погоны, золотые очки, неторопливые манеры седеющего профессора — все это призрачное.

Несколько лет назад в этой квартире жил действительный статский советник К. Принимал пациентов, ездил на лекции, писал научные статьи — делал все, что полагается делать, жил, как полагается жить. В свободное время он немного занимался живописью, бывал на выставках. Но свободного времени было мало: начатые картины по месяцам валялись неоконченными. Вон там, в темном проходе, еще висит одна: «натюр-морт» — кувшин, два яблока, рыба. Старательно, аккуратно выписано. Действительный статский советник К. подражал фламандцам.

Но в один холодный январский день — К. уехал, как обычно, в госпиталь или в Академию, и больше не вернулся. В его шинели и очках, с его лицом и походкой, открыв дверь его французским ключом, в эту квартиру вошел другой человек...

Между десятью утра и семью вечера доктор медицины, действительный статский советник К. где-то в закоулках засыпанного снегом Петербурга потерял свою прежнюю душу.

Вот рассказ его самого:

— ...Шел через мост — захотелось размять ноги. Думал о делах — пациентах, лекциях... Новые калоши еще, помню, сильно скрипели. Ничуть не был ни взволнован, ни в каком-нибудь особенном настроении. И у самой Троицкой площади — лошадь на боку, и ломовой хлещет ее, чтобы встала, — все по глазам, по глазам... А она встать не может, только дергается... И в эту минуту вспыхнули фонари по всему Каменноостровскому. Еще не совсем стемнело, и вдруг вспыхивают фонари. Знаете, как это прекрасно...

— Ну?

— Все. Больше ничего. В эту минуту — перевернулось во мне что-то. Точно я совсем погибал и чудом спасся. Стою, шапку зачем-то снял. Старый дурак, думаю, на что ты убил пятьдесят лет жизни? Городовой ко мне подбежал. «Ваше превосходительство, ваше превосходительство...» Посадил меня на извозчика. С тех пор...

...С тех пор на квартире на Кирпичном все вверх дном. В 3 часа ночи Крученых по телефону требует денег. В гостиной ночуют бездомные футуристы.

Как я люблю беременных мужчин,
Когда они у памятника Пушкина...

Несется утром из ванной раскатистый бас Давида Бурлюка. Его брат, Владимир, существо субтильное, требует себе утренний завтрак в кровать: ему нездоровится, он полежит немного... И нарядная горничная несет ему на серебряном подносе «кофе» — графин водки и огурец...

Как я люблю беременных мужчин...

Н. И., до зарезу нужно двадцать пять...

Искусство — укус-то...

Асоц-поэт-худ-фут-куб...

Среди этого сумбура К. чувствует себя прекрасно. Пятьдесят лет «убито» на спокойную, размеренную жизнь профессора. Кто знает, много ли осталось? Так, по крайней мере, пусть каждая минута из этого остатка не пропадет...

— Старый дурак... Пятьдесят лет жизни...

Но ничего, ничего — наверстаем...

К., повторяя эти слова, посмеивается как-то странно. Как-то странно подергивает бородку, поблескивает глазами из-под золотых очков...

— Сколько можно было сделать!.. Сколько пережить... Но ничего, ничего...

Странный смешок, странный взгляд. Что-то томительное есть в них.

И собеседник в генеральской тужурке, с подозрительной чуткостью, живо оборачивается:

— Вы думаете, я сумасшедший?..

* * *

Из моего футуризма ничего не вышло. Вкус к писанию лиловых «шедевров» у меня быстро прошел. Я завел новые литературные знакомства, более «подходящие» для меня, чем общество Крученых и Бурлюков. С К. видался все реже, мельком, случайно. И очень удивился, когда в январе 1913 года получил на знакомой мне буро-зеленой бумаге настойчивое приглашение приехать вечером.

Я поехал. Почему было бы не поехать? Судя по записке, у К. должно было состояться какое-то сборище — не то спектакль, не то закрытый доклад. Я был, по-видимому, единственным приглашенным из «правых кругов» — честь, оказанная в знак «старой дружбы». Отклонить эту честь было бы неразумно. Уж если у К. да «приватное собрание» — значит, будет на что поглядеть... И еще эта интригующая приписка: «Приглашение предъявить при входе».

Но изящный молодой человек, встретивший меня в прихожей, приглашения не спросил. Он благовоспитаннейше пожал мне руку, представляясь: Бенедикт Лившиц. Имя было, по тем временам, громкое: конфискованная книга, ряд скандалов на диспутах, драки, стрельба из «пугача» в публику... В соединении с такой репутацией забавны были его светские манеры и изящный фрак. Еще раз учтиво расшаркавшись, он пропустил меня в залу.

...Большая комната была полна народу. Большинства я не знал. Какие-то молодые люди с геометрически разрисованными лицами, какие-то взволнованные девицы... Взлохмаченная поэтическая копна и зализанный пробор, синяя блуза и соболя... Смешанное общество.

На возвышении сидел К. Я не узнал его сразу. Руки скрещены на груди, лицо странно бледное — густо напудренное. Одет — в широкую кроваво-красную хламиду. На лбу — золотой обруч.

...Военно-медицинская академия... Николаевский госпиталь... Вытянувшийся в струнку ординатор: Ваше превосходительство, честь имею...

...К. сидел на своем золоченом возвышении неподвижно, как идол. Перед ним Крученых, с толстой восковой свечой в руках, бормотал что-то непонятное глухим истерическим шепотом. Потом, вдруг, взвизгнул, заголосил, закатился. Из первого ряда бросились его поднимать. Но он сейчас же вскочил с лицом перекошенным, восторженным…

— Свершилось, свершилось, — визжал он уже совершенно как кликуша. — Вот... он... приял власть... владыка... футурист... царь революции... — И вся зала визжала, аплодировала, топала.

Хлебников бился в припадке. Фальцет Крученых перекрикивал всех: — Приял... владыка... царь...

К. сидел все так же неподвижно, скрестив руки, наклона слегка голову. По его лицу напудренного идола расплывалась тихая бессмысленная улыбка...

...Я разыскал свое пальто в ворохе других — собачьих воротников футуристической братии и чьих-то бобров, лежащих вперемежку. Перчаток не было — Бог с ними, с перчатками. Поскорее бы выбраться отсюда...

Солидная, обитая красным сукном дверь мягко за мной захлопнулась. Солидная медная доска мягко блеснула аккуратно выгравированными буквами:

Доктор медицины... Прием... Ухо, горло, нос...

...Старый дурак, на что ты убил пятьдесят лет жизни?..

...Но ничего, ничего — наверстаем...

...Вы думаете — я сумасшедший?..

* * *

Я больше не бывал у К. после этого вечера, да и он не приглашал меня. Должно быть, мне не удалось скрыть при встрече с ним, после его «коронации», неловкости, которую я испытал. Изредка я продолжал встречать его то здесь, то там — такого же, как всегда, — солидного, серьезного, поблескивающего очками и погонами. Потом началась война... Потом, в начале лета 1917 года, в ясный, веселый, солнечный день, какой-то знакомый, встретив меня на Невском, сообщил:

— Знаете — К. умер.

— От чего?

— От страху.

— Как так?

— Так. Он шел по улице. Навстречу грузовик с солдатами. Видят — генерал. Схватили, повезли в Думу. Там его продержали полчаса и, конечно, выпустили с извинениями. Он приехал домой и слег. Пролежал два дня и отдал Богу душу. И ничего у него не было — и сердце прекрасное. Испугался очень. Несчастный!..

III

Принято думать, что всероссийская слава Игоря Северянина пошла со знаменитой обмолвки Толстого о ничтожестве русской поэзии. Действительно, в подтверждение своего мнения Толстой процитировал северянинское: «Вонзите штопор в упругость пробки, и взоры женщин не будут робки». Действительно, благодаря этому имя будущего (увы, недолговечного) кумира эстрад и редакций промелькнуло на страницах газет (до сих пор оно было лишь уделом почтовых ящиков: «к сожалению, не подошло»). Но настоящая слава пришла позже. И пришла она, в сущности, вполне «легально»: Игорем Северяниным заинтересовались Сологуб, позднее Брюсов и «лансировали» его.

Была весна 1911 года. Мне было семнадцать лет. Я напечатал в двух-трех журналах несколько стихотворений, завел уже литературные знакомства с Кузминым, Городецким, Блоком, был полон литературой и стихами.

Имени Северянина я до тех пор не слышал. Но, роясь однажды на «поэтическом» столике у Вольфа, я раскрыл брошюру страниц в шестнадцать (названия уже не помню), имевшую сложный подзаголовок: такая-то тетрадь, такого-то выпуска, такого-то тома. На задней стороне обложки было перечислено содержание всех томов и тетрадей, приготовленных к печати, — что-то очень много. А также объявлялось, что Игорь Северянин, Подьяческая, дом такой-то, принимает молодых поэтов и поэтесс — по четвергам, издателей по средам, поклонниц по вторникам и т. д. Все дни недели были распределены и часы точно указаны, как в лечебнице. Я прочел несколько стихотворений. Они меня «пронзили». Их безвкусие, конечно, било в глаза, даже такие неискушенные, как мои (только месяц назад мне внушили, что Дм. Цензором не следует восхищаться). Но, повторяю, — они пронзили. Чем, не знаю. Тем же, вероятно, чем через год и, кажется, так же случайно, — Сологуба.

* * *

Меня соблазняло, однако я не сразу решился пойти на прием на Подьяческую улицу. Как держаться, что сказать? Идти в качестве

молодого поэта? — в этом было что-то унизительное. Поклонника? — тоже, если даже забыть о своей мужской природе, так как в объявлении значились только поклонницы. Я нашел выход: приняв солидный вид, я отправился к Игорю Северянину в часы, назначенные для издателей. В сущности, я и собирался в ближайшем будущем стать издателем... своей собственной книги (семьдесят пять рублей, выпрошенные у старшей сестры, я хранил в надежном месте).

Еще одно обстоятельство смущало меня, пока я ехал с Каменноостровского на Подьяческую. Несомненно, человек, каждый день принимающий посетителей разных категорий, стихи которого полны омарами, автомобилями и французскими фразами, — человек блестящий и великосветский. Не растеряюсь ли я, когда подъеду на своем ваньке к дворцу на Подьяческой, когда надменный слуга в фиалковой ливрее проведет меня в ослепительный кабинет, когда появится сам Игорь Северянин и заговорит со мной по-французски с потрясающим выговором?..

Но жребий был брошен, извозчик нанят, отступать было поздно...

Игорь Северянин жил в квартире № 13. Этот роковой номер был выбран помимо воли ее обитателя. Домовая администрация, по понятным соображениям, занумеровала так самую маленькую, самую сырую, самую грязную квартиру во всем доме. Ход был со двора, кошки шмыгали по обмызганной лестнице. На приколотой кнопками к входной двери визитной карточке было воспроизведено автографом с большим росчерком над ѣ: Игорь Сѣверянин. Я позвонил. Мне открыла маленькая старушка с руками в мыльной пене. «Вы к Игорю Васильевичу? Обождите, я сейчас им скажу». Она ушла за занавеску и стала шептаться. Я огляделся. Это была не передняя, а кухня. На плите кипело и чадило. Стол был завален немытой посудой. Что-то на меня капнуло: я стал под веревкой с развешенным для просушки бельем...

«Принц фиалок и сирени» встретил меня, прикрывая ладонью шею: он был без воротничка. В маленькой комнате с полкой книг, с жалкой мебелью, какой-то декадентской картинкой

на стене — был образцовый порядок. Хозяин был смущен, кажется, не менее меня. Привычки принимать посетителей у него еще не было.

После молчания, довольно долгого, он заговорил что-то о даче и что в городе жарко. Потом уж перешли на стихи. Северянин предложил мне прочесть. Потом стал читать свои. Манера читать у него была та же, что и сами стихи, — и отвратительная и милая. Он их пел на какой-то опереточный мотив, все на один и тот же. Но к его стихам это подходило. Голос у него был звучный, наружность, скорее, привлекательная: крупный рост, крупные черты лица, темные вьющиеся волосы. Мы просидели довольно долго, никто нам не мешал, «издателей» больше не приходило. Простились мы почти дружески. Вскоре мы, действительно, подружились.

Я стал частым гостем на Подьяческой. Совсем новый для меня быт литературной богемы меня привлекал и мне льстил. Я помянул, что имел уже литературные знакомства. Но ходить на чаи к Кузмину или вести раз в месяц почтительные разговоры с Блоком было совсем не то, что ежедневно ездить по «Венам», «Черепенниковым» и «Давидкам», участвовать в поэзо-вечерах в Лигове или на Выборгской стороне, с красным бантом вместо галстука на шее. Этот бант я завел по внушению Игоря и, не смея, конечно, надевать его дома, перевязывал на Подьяческой. Шумные поэзо-вечера и шумные попойки чередовались с «редакционными» собраниями в квартире Северянина. Поэтов вокруг Игоря группировалось довольно много. Трое удостоились высокой чести быть «директоратом» при нем. Это были — я, Константин Олимпов, сын Фофанова, явно сумасшедший, но не совсем бездарный мальчик лет шестнадцати, и Грааль Арельский, по паспорту Степан Степанович Петров, студент не первой молодости, вполне уравновешенный и вполне бесталанный.

«Директориат» решил действовать, завоевывать славу и делать литературную революцию. Сложившись по полтора рубля, мы выпустили манифест эгофутуризма. Написан он был простым и ясным языком, причем тезисы следовали по пунктам. Помню один: «Призма стиля — реставрация спектра мысли...»

Кстати: этот манифест перепечатали очень многие газеты и, в большинстве, его комментировали или спорили с ним вполне серьезно!

* * *

Однажды на Подьяческую, хотя, кажется, и не в предназначенный для этого час, пришел настоящий издатель. Правда, он пока ничего не издавал, но прочтя наш манифест, решил предоставить свой кошелек в распоряжение «реставраторов спектра мысли». Кошелек был не очень тугой: нередко, для нужд издательства, золотые часы Ивана Васильевича Игнатьева отправлялись в ломбард. Но все же к нашим услугам теперь была еженедельная газета «Петербургский глашатай»; когда она прекратилась, за полной убыточностью, то альманахи под тем же названием. Стихи назывались поэзами, издания — эдициями, редактор — директором. На летний сезон к услугам эгофутуристов была другая газета — увы! вульгарно называвшаяся — «Нижегородец». Она выходила в Нижнем Новгороде во время ярмарки и была полна ценами, балансами и статьями о сбыте рыбы в Персию. Но какой-то дядюшка Игнатьева, ее издававший, был не чужд возвышенному и печатал без разбора все, что тот присылал. Мы все этим широко пользовались. Я, помню, напечатал там большую статью, доказывавшую, что Метерлинк пошляк и бездарность... ІоНорара, понятно, нам не платили.

В маленьком деревянном «собственном доме», на углу Дегтярной и восьмой Рождественской, в редакции «Петербургского глашатая» происходили время от времени «поэзо-праздники», о которых для «эпатирования» особыми извещениями сообщалось редакциям разных газет. Программы эти назывались «вержетками» (верже — сорт бумаги) и были составлены крайне соблазнительно и пышно. Прилагалось и меню ужина, где фигурировали ананасы в шампанском, Крем де Виолетт и филе молодых соловьев. В действительности, конечно, было попроще. Полбутылки Крем де Виолетт'а (фирмы Cusimier, продавался у Елисеева) украшали стол больше в качестве символа поэзии и изящества. Но водка и удельное вино подавались в таком количестве, что нередко гости впадали в совершенно невменяемое

состояние. Иногда случались вещи совсем дикие. Так, однажды некто Петр Ларионов, на сорок пятом году соблазненный футуризмом, занимавший странную должность заведующего царскосельским птичником, ушел от Игнатьева с наполовину выбритой головой (он носил поэтическую шевелюру), с лицом, раскрашенным, как у индейца, и с бубновым тузом на спине.

Этот Игнатьев, на вид нормальнейший из людей — кругло- и краснощекий, типичный купчик средней руки, очень страшно погиб. На другой день после своей свадьбы, вернувшись с родственных визитов, он среди белого дня набросился на жену с бритвой. Ей удалось вырваться. Тогда он зарезался сам.

* * *

Моя дружба с Игорем Северяниным, и житейская и литературная, продолжалась недолго. Я перешел в «Цех поэтов», завязал связи более «подходящие» и поэтому бесконечно более прочные. Но лично с Северяниным мне было жалко расставаться. Я даже пытался сблизить его с Гумилевым и ввести в «Цех», что, конечно, было нелепостью. Мы расстались (две-три позднейшие встречи в счет не идут), когда Северянин был в зените своей славы. Бюро газетных вырезок присылало ему по пятьдесят вырезок в день, сплошь и рядом целые фельетоны, полные восторгов или ярости (что, в сущности, все равно для «техники славы»). Его книги имели небывалый для стихов тираж, громадный зал городской Думы не вмещал всех желающих попасть на его «поэзо-вечера». Неожиданно сбылись все его мечты: тысячи поклонниц, цветы, автомобили, шампанское, триумфальные поездки по России... Это была самая настоящая, несколько актерская, пожалуй, слава. Игорь Северянин не сумел ее удержать, как не сумел удержать и того неподдельного очарования, которое было в его прежних стихах. О теперешних лучше не говорить.

IV

Классическое описание Петербурга почти всегда начинается с тумана.

Туман бывает в разных городах, но петербургский туман — особенный. Для нас, конечно. Иностранец, выйдя на улицу, поежится: «бр... проклятый климат...»

Ежимся и мы. Но

...ни на что не променяем пышный,
Гранитный город славы и беды,
Широкие, сияющие льды,
Торжественные черные сады...

И туман, туман — душу этих «льдов и садов»...

«Невы державное теченье, береговой ее гранит», — Петр на скале, Невский, сами эти пушкинские ямбы — все это внешность, платье. Туман же — душа.

Там, в этом желтом сумраке, с Акакия Акакиевича снимают шинель, Раскольников идет убивать старуху, Иннокентий Анненский, в бобрах и накрахмаленном пластроне, падает с тупой болью в сердце на грязные ступени Царскосельского вокзала, прямо

В желтый пар петербургской зимы,
В желтый снег, облипающий плиты,

которые он так «мучительно любил».

Впрочем, — все это общеизвестно.

* * *

На Невском шум, экипажи, свет дуговых фонарей, фары «Вуазенов», «берегись» лихачей, «соболя на плечах и лицо под вуалью», военные формы, сияющие витрины. Блестящая европейская улица — если не рю Руайяль, то Унтер-ден-Линден. И туман здесь «не тот» — европеизированный, нейтрализованный. Может быть, «тот» настоящий петербургский туман и не существует больше?

Нет, он тут, рядом, в двух шагах. В двух шагах от этого блеска и оживления — пустая улица, тусклые фонари и туман.

В тумане бродят странные люди.

Поверните по Малой Конюшенной за угол. Два-три дома и вот:

В серый цвет окрашенные стены,
Вывеска зеленая «Портной».

Вывеска, впрочем, не зеленая. Приказом градоначальника на главных улицах столицы в вывесках соблюдается «пристойное однообразие». Должно быть, начитался Курбатова градоначальник.

Вывеска портного — черная, с золотыми буквами. Она импозантна не по чину — портной маленький. Чтобы не отпугивать клиентов, на стеклянной двери — записка, смягчающая торжественный холод вывески: «Переделка, перелицовка, утюжка по дешевой цене». А рядом с запиской подсунута желтоватая визитная карточка:

Николай Карлович Ц., свободный художник, *не окончивший* С.-Петербургской консерватории.

— Николай Карлович дома?

И, не подымая лохматой головы от чего-то бурого и замасленного, перелицовываемого или переделываемого, портной хмуро отвечает:

— Спит.

Спит — значит, дома. Что же можно делать дома, как не спать, после вчерашнего похмелья, набираясь сил для сегодняшнего.

В большой комнате полутемно, шторы опущены. В сумраке виден рояль, люстра в чехле, стол с грудой бумаг. В углу, на кровати, кто-то похрапывает...

— Николай Карлович!

Дремлющий грузно переворачивается, заставляя трещать все пружины матраца.

— Чего надо? К черту! Который час?

— Поздно. (Действительно не рано — пятый час дня.) Вставайте.

Всклокоченная голова тяжело приподымается с подушки. Руки выпрастываются из-под шубы. Голос хриплый, но приятный и барственный, слегка грассируя, говорит:

— Будьте добры, «мон шевалье», если это вас не затруднит, зажечь электричество, чтобы я мог видеть ваши благородные черты.

При свете впечатление от комнаты меняется.

В сумраке она выглядела приличной, даже внушительной. Высокий потолок, раскрытый рояль, «следы труда и вдохновенья»... Но при свете...

Пол в окурках, спичках, бумажках. Груды старых газет, пустых бутылок, коробок от консервов.

На рояли прикапан, прямо к доске, огарок восковой трехкопеечной свечки. Другой, догорев, расплылся затейливым сталактитом на выложенной перламутром надписи: «Бехштейн». На стенах подтеками сырости, углем нарисованы рожи: Адам и Ева, срывающие плод (крайне натурально), коты с задранными хвостами, черти. Кровать — хаос пестрого тряпья. На ночном столике — бутылка, с водкой на донышке.

Хозяин, свободный художник, «не окончивший консерватории», — толстый, опухший, давно небритый. Выражение лица — смесь тошноты после перепоя и иронии. Но в манерах протягивать руку, надевать плохо слушающимися пальцами пенсне, закуривать длинную папиросу — какая-то респектабельность.

— Очень мило, дорогой маркиз, что вы навестили старого пьяницу. Прошу садиться...

* * *

Если в Петербурге особенный туман, то самый «особенный» он вечерами на Васильевском острове...

На пересечении проспектов Большого, Малого и Среднего — пивные. На Василеостровских «линиях» туман, мгла, тишина. Но с перекрестков бьют снопы электричества, пьяного говора, «Китаяночка» из хриплого рупора:

После чая, отдыхая,
Где Амур река течет,
Я увидел китаянку...

Некоторые пивные замечательные.

Устроили их немцы в 80-х годах с расчетом на солидных и спокойных клиентов — немцев тоже. Солидные мраморные столики, увесистые пивные кружки, фаянсовые подставки под них с надписями вроде:

— Morgenstunde hat Gold im Munde[1].

---

[1] Утренние часы — золото в устах (*нем.*). Т. е.: Кто рано встает, тому Бог подает.

На стенах кафелями выложены сцены из «Фауста», в стеклянной горке — посуда для торжественных случаев. Она давно под замком, — старых, хороших клиентов давно нет, солидная немецкая речь давно не слышна. Теперь в этих «Эдельвейсах» и «Рейнах» собираются по вечерам отребья петербургской богемы.

...Визжит и хрипит разудалая «Китаянка». Зеркальные, исцарапанные надписями стены сияют немытым блеском, жирная белая пена ползет по толстому стеклу.

— Человек! Еще парочку. Тепленького!

От теплого пива скорее «развозит». Холодное пьют одни «пижоны».

...Китаянка, китаянка,
Китаяночка моя...

К десяти вечера — «Эдельвейс» полон. «Торгуют» официально до двенадцати — засиживаются гости до часу. Потом «Доминик» на Невском, открытый до трех ночи... А в четыре утра, на Сенной, начинают открываться извозчичьи чайные — яичница из обрезков и спирт в битом чайнике на коричневой от грязи скатерти. Это называется пить «с пересадками»...

...Китаянка... Китаянка...

Почти все столики полны. В углу — три стола сдвинуты рядом под пыльной искусственной пальмой. Этот угол — поэтически-литературный-музыкальный. Там председательствует Ц. И идут бесконечные разговоры.

Вот Ш., поэт, вечный студент — длинный, черный, какой-то обожженный, в долгополом выгоревшем сюртуке. Необыкновенно ученый, полусумасшедший. Для него «путешествие с пересадками» начинается с утра — вместо кофе стакан водки и две кильки. Он уже совсем пьян — и замогильным голосом толкует что-то о Ницше. Г., тоже поэт и тоже пьяный, захлебываясь, его перебивает:

— Романтизм, романтизм... Новалис... Голубой цветок.

Еще какие-то люди. Тоже поэты или музыканты, или философы, — кто их знает. Шумней всех М. — актер, не спившийся и даже не пьяный — притворяется только. Зачем он притворяется?

Всем известно, что от Доминика он уже улизнет — домой, спать. Ведь завтра — репетиция — Боже сохрани пропустить. И пить-то он не любит, и денег жаль — а приходится не только за себя, и за других платить. Зачем же он это делает?

Из чести. Странная, казалось бы, честь. А вот, подите же...

М. шумно чокается, нарочно проливая, шумно предлагает бестолковый тост. Он жестикулирует, бьет себя в грудь, плачет... — Выпьем за искусство... Построим лучезарный дворец... Эх, молодость, где ты...

Пьяницы непритворные чокаются и пьют. Они знают, что М. притворяется, что никаких «разбитых надежд» заливать ему нечего, что он просто балагур, пошляк. Но им безразлично — с кем пить, чью болтовню слушать. Все давно безразлично. Все на свете чушь, вздор, галиматья. — Человек! Еще парочку!..

...Китаянка — китаянка... Романтизм... голубые дали... Так говорил Заратустра...

Голос Ц. — хриплый и барственный — вдруг покрывает все это:

— Если есть бессмертие души... Да... А оно есть... И Бог спросит меня... Там... Что ты, Николай, сделал... Сыграй!.. Я ему сыграю... Да... Я ему сыграю... *Чижика.* И буду... прав, а?..

— Прав... прав... — кричат пьяные голоса. — Здорово, Ц. ... Так и надо. Чижика ему... Выпьем...

М. в восторге лезет целоваться.

* * *

Сталкиваясь с разными кругами «богемы», делаешь странное открытие.

Талантливых и тонких людей — встречаешь больше всего среди ее подонков.

В чем тут дело? Может быть, в том, что самой природе искусства противна умеренность. «Либо пан, либо пропал». Пропадают неизмеримо чаще. Но между верхами и подонками — есть кровная связь. «Пропал». Но мог стать паном и, может быть, почище других. Не повезло, что-то помешало — голова «слабая», и воли нет. И произошло обратное «пану» — «пропал». Но шанс

был. А средний, «чистенький», «уважаемый» никак, никогда не имел шанса — природа его совсем другая.

В этом сознании связи с миром высшим, через голову мира почтенного, — гордость подонков. Жалкая, конечно, гордость.

Ц. начал блестяще.

— ...Вот был в консерватории мальчик Ц. Какой был Божий дар, — вспоминал старичок-генерал Кюи. — Если бы остался жив — понятие о музыке перевернул бы. Какой дар, какой размах!

— Да Ц. не умер. Недавно еще какой-то его романс у Юргенсона. Очень талантливый, конечно, хотя...

Кюи качал головой. — Романс? Талантлив? Нет, не тот Ц., не может быть тот. Тот, если бы жил, — показал бы...

Так как Ц. не умер и не «перевернул понятия о музыке», ему оставалось единственное — спиться.

...Комната у портного на Конюшенной. Два оплывающие огарка. Высокий потолок расплывается в сумраке. Рояль раскрыт.

Облезлых стен, пятен сырости, окурков и пустых бутылок — не видно. Комната кажется пустой и торжественной. Пламя огарков колеблется.

В этом колеблющемся свете не видно и то, что так бросается в глаза в «мертвом, беспощадном свете дня» в лице Ц.: опухлость бессонных ночей, давно не бритые щеки, едкая, безнадежная «усмешечка» идущего на дно человека. Оно помолодело, это лицо, и изменилось. Глаза смотрят зорко и пристально в растрепанную нотную рукопись...

Ц. берет два-три аккорда, потом смахивает ноты с пюпитра.

— К черту! Я буду играть так.

«Так» — значит импровизировать. Разные бывают импровизации, но то, что делает Ц., — ни на что не похоже.

Сначала — «полосканье зубов» — как он сам называет свою прелюдию. Нечто вроде гамм, разыгрываемых усердной ученицей, только что-то неладное в этих гаммах, какая-то червоточина. Понемногу, незаметно, отдельные тона сливаются в невнятный, ровный, однообразный шум. Минута, три, пять — шум нарастает, тяжелеет, превращается в грохот. — Вот так импровизация! — Какой-то стук тысячи деревянных ложек по барабану. Какая же это музыка?..

Тс… Не прерывайте и вслушайтесь. Слышите? Еще нет? А… слышите теперь?

…Среди тысячи деревянных ложек — есть одна серебряная. И ударяет она по тонкому звенящему стеклу…

Слышите?

Ее едва слышно, она скорее чувствуется, чем слышна. Но она есть, и ее тонкий, легкий звон проникает, осмысливает, перерождает этот деревянный гул. И гул уже не деревянный — он глохнет, отступает, слабеет…

Не отрывая пальцев от клавиш, Ц. оборачивается к слушателям. Его лицо раскраснелось, глаза шалые. Он перекрикивает музыку:

— Людоеды отступают, щелкая зубами. Им не удалось сожрать прекрасного англичанина!

Не обращайте внимания на это дикое «пояснение». Слушайте, слушайте…

…Шум исчез. Чистая, удивительная, ни на что не похожая мелодия — торжествует победу. Лучше закрыть глаза. Закрыть глаза и слушать это торжество звуков. Нет больше ни Конюшенной, ни оплывающих огарков, ни залитого пивом рояля. Наступила минута, когда:

Все исчезает, — остается
Пространство, звезды и певец.

Слушайте! Сейчас все оборвется, крышка рояля хлопнет, и хриплый голос пробасит:

— Ну, довольно ерунды!

— Какую прелесть вы играли, Н. К. Почему вы не запишете этого?

— Записать? — Деланно-глуповатая усмешка. — Записать? Пробовал-с. И неоднократно. *Не поддается* записи…

Да и к чему. И так слышно. «Имеющие уши да слышат», — затягивает Ц., как диакон. Потом жеманно раскланивается:

— Позвольте узнать, виконт, что вам приятнее — сидеть в конуре старого пьяницы или отправиться в небезызвестный этаблисман «Эдельвейс»?

Однажды, уже в начале войны, я зашел под вечер мимоходом к Ц. — и удивился.

Гладко причесанный, чисто выбритый, — он старательно завязывал «художественный» бант на белоснежной рубашке. Визитка... разутюженные брюки... Запах одеколона... Что за чудеса?

Ц. улыбнулся.

— Поражены блеском моего туалета, синьор? Думаете, что с старым пьяницей? Сошел с ума? Получил наследство? Идет свататься?

— В самом деле, Н. К., куда вы так наряжаетесь?

Ц. щелкнул языком: — «Много будете знать...».

Впрочем, если угодно, возьму вас с собою. Обещаю — прелюбопытное зрелище... и недурной ужин. Едемте, в самом деле, — не пожалеете.

— Куда?

Он сделал важную мину.

— В Санкт-петербургское общество внеслуховой музыки. Да-с — *внеслуховой*. Не слыхали такого термина? И понятно. Открытие сие покуда держится в тайне...

Он переменил выспренный тон на свой обычный, — идем, не пожалеете. Да что объяснять — увидите сами.

Делать мне было в тот вечер — нечего. Я поехал.

...Мы вошли в темноватый подъезд какого-то особняка. Швейцар, молча, поклонившись, снял с нас шубы. Так же молча лакей повел нас через какие-то пустовато и дорого обставленные комнаты. Мне стало неловко — являюсь в чужой дом, никем не званный, да еще в сером костюме...

— Чушь, — сказал на это Ц. — Здесь на пиджаки не смотрят. Здесь, забирай выше, смотрят на духовную сущность человека. Да, вот мы здесь какие... Конечно, смотрят в книгу, видят фигу — это уж «общечеловеческое», — но поползновения-то благие...

...В большой, неярко освещенной гостиной было человек двадцать. Несколько дам в черных платьях, несколько накрахмаленных пластронов. Остальные попроще, но тоже приличного и культурного вида.

Ц. встретили тихими аплодисментами. Он важно раскланялся, пожал кое-кому руки, все это безмолвно, как в кинематографе. — Глухонемые, — шепнул он мне. — Все глухонемые. Не говорите громко, это их раздражает, когда они приготовились

слушать. Не звук голоса, конечно, а жесты, движения губ. Народ нервный. Сядьте вон там. Сейчас начнется.

...Лакей щелкнул выключателем. Лампы погасли. На эстраде вспыхнул бледно-серым светом диск в пол-аршина диаметром. Этот бледный свет едва освещал высокий инструмент, вроде пианино, и грузную фигуру Ц. за ним. Все остальное было погружено в темноту. Стояла полная тишина.

И вот Ц. ударил по клавишам из всей силы. Вместо грома музыки — послышался только глухой стук. Но диск вспыхнул — ярко-оранжевым, потом синим, потом со стремительной быстротой в нем пронеслись все оттенки красного — от бледно-розового до пунцового...

Так вот она, внеслуховая музыка!

Немые клавиши сухо трещали под сильными ударами пальцев Ц. Оранжевый, синий, красный, зеленый — пронеслись по диску в дикой какофонии красок.

И вдруг... в зале послышалось какое-то сопение, шорох, гул. — Глухонемые слушатели начали *подпевать.*

Сначала робко, тихо, потом все сильней. Нестройный шум, похожий на ворчание, все возрастал, делаясь все более нестройным. Уже не ворчанье — лай, блеяние, крик, вой, хрипенье — наполняло комнату...

Диск мелькал и мелькал. Когда он вспыхивал особенно ярко — видны были слушатели. На всех лицах выражение не то блаженства, не то ужаса. Одни орали — выделывали ртом странные движения, некоторые, опрокинувшись, обхватывали голову руками, другие раскачивались всем телом, третьи размахивали руками, точно дирижируя...

...Глухонемой швейцар, получив от меня двугривенный, страшно замычал в благодарность. Пока я одевался — Ц. догнал меня в прихожей.

— Уходите? Испугались? Что за глупости?! Я проиграю им еще две-три вещицы, и потом будем ужинать, всей семейкой. Оставайтесь, право. Если невмоготу слушать — посидите где-нибудь в другой комнате.

Я сослался на головную боль — и, действительно, голова начинала трещать. Ц. пожал плечами. — Ну, до свидания. Так уж не понравилась музычка? А знаете, кстати, что я им играл

и что они подпевали? Ведь они перед концертом готовятся, разучивают по нотам — Девятую симфонию!..

V

На визитных карточках стояло: Борис Константинович Пронин — доктор эстетики, Honoris Causa. Впрочем, если прислуга передавала вам карточку — вы не успевали прочитать этот громкий титул. «Доктор эстетики», веселый и сияющий, уже заключал вас в объятия. Объятье и несколько сочных поцелуев куда попало были для Пронина естественной формой приветствия, такой же, как рукопожатие для человека менее восторженного.

Облобызав хозяина, бросив шапку на стол, перчатки в угол, кашне на книжную полку, он начинал излагать какой-нибудь очередной план, для исполнения которого от вас требовались или деньги, или хлопоты, или участие. Без планов Пронин не являлся, и не потому, что не хотел бы навестить приятеля, — человек он был до крайности общительный, — а просто времени не хватало. Всегда у него было какое-нибудь дело, и, понятно, неотложное. Дело и занимало все его время и мысли. Когда оно переставало Пронина занимать, механически появлялось новое. Где же тут до дружеских визитов?

Пронин всем говорил «ты». — Здравствуй, — обнимал он кого-нибудь, попавшегося ему у входа в «Бродячую собаку». — Что тебя не видно? Как живешь? Иди скорей, *наши* (широкий жест в пространство) все там...

Ошеломленный или польщенный посетитель — адвокат или инженер, впервые попавший в «Петербургское Художественное Общество», как «Бродячая собака» официально называлась, — беспокойно озирается, — он незнаком, его приняли, должно быть, за кого-то другого? Но Пронин уже далеко.

Спросите его:

— С кем это ты сейчас здоровался?

— С кем? — широкая улыбка. — Черт его знает. Какой-то хам!

Такой ответ был наиболее вероятным.

«Хам», впрочем, не значило ничего обидного в устах «доктора эстетики». И обнимал он первого попавшегося не из каких-нибудь расчетов, а так, от избытка чувств.

Явившись с проектом, Пронин засыпал собеседника словами. Попытка возразить ему, перебить, задать вопрос — была безнадежна. — Понимаешь... знаешь... клянусь... гениально... невероятно... три дня... Мейерхольд... градоначальник... Ида Рубинштейн... Верхарн... смета... Судейкин... гениально... — как горох, летело из его не перестававшего улыбаться рта. Редко кто не был оглушен и редко кто отказывал, особенно в первый раз.

«Гениальное» дело, конечно, не выходило. Из-за «пустяка», понятно. Пронин не унывал. Теперь все предусмотрено. Гениально... невероятно... изумительно... Рихард Штраус...

Умудренный опытом, обольщаемый жмется.

— Да ведь и в прошлый раз по вашим словам выходило, что все устроится.

«Ах, Боже мой, что за человек, — выражает лицо Пронина, — не хочет понять простой вещи. — Да ведь тогда провалилось, потому что он стал интриговать. Теперь он наш. Теперь все пойдет изумительно, вот увидишь...»

И кто-то снова, вздыхая, выписывает чек или едет хлопотать в министерство, или пишет пьесу, по мере сил участвуя в работе этой работающей впустую машины, которая зовется деятельностью Бориса Пронина.

* * *

Машина, впрочем, работала не совсем впустую, какие-то крупинки эта мельница, рассчитанная, казалось бы, на сотни пудов, все-таки молола. «Что-то» в конце концов получалось или «наворачивалось», как Пронин выражался.

Так, навернулись по очереди — «Дом интермедии», потом «Бродячая собака», наконец, «Привал комедиантов». Не так мало, в сущности, если не знать, сколько энергии, и своей, и чужой, на них убито.

Пронин хлопотал над устройством «Привала комедиантов». «Машина» работала вовсю. Рабочие требовали денег, а денег не было; какое-то военное учреждение прислало солдат для очистки помещения, на которое, оказывается, оно имело права; вода бежала со всех стен (это еще ничего) и из только что устроенных каминов, что было хуже, т. к. без каминов как же было сушить стены?

Воду откачивали насосами. Вместо подмоченных поленьев накладывались новые, вода из Мойки, на углу которой «Привал» помещался, их вновь заливала. Пронин, растрепанный, без пиджака, несмотря на холод (в волнении он всегда снимал пиджак, где бы ни находился), в батистовой белоснежной рубашке, но с галстуком на боку и перемазанный сажей и краской, распоряжался, кричал, звонил в телефон, выпроваживал солдат, давал руку на отсечение каменщикам, что завтра (это завтра тянулось уже месяцев шесть) они получат деньги, сам хватался за насос, сам подливал керосину в нежелающие гореть дрова...

Зашедших его навестить он встречал с энтузиазмом и вел показывать свои владения.

— Это, — Пронин кивал на грязную сводчатую комнату со стенами в бурых подтеках и кашей из известки и грязи вместо пола, — «Венецианский зал». Его устроит мэтр Судейкин. Черный с золотом. Там будет эстрада. Никаких хамских стульев — бархатные скамьи без спинок...

— Так ведь будет неудобно?

— Удивительно неудобно! Скамейка-то низкая и покатая, *венецианская*... Но ничего, *свои* будут сидеть сзади, на стульях. А это специально для буржуев — десятирублевые места... — А здесь — монмартрское бистро. Распишет все Борис Григорьев — изумительно распишет. Вот — смотри, газ уже проведен, будет совсем как в Париже.

На стене уныло торчит газовый «бек». По всем потолкам видны следы работы электропроводчиков, и этот рожок единственный во всем помещении.

— Специально проводили, — горделиво щелкает по нему Пронин. — В семьсот рублей обошелся, специальную трубу пришлось прокладывать. Зато — шик, совсем как в Париже. Буржуи будут закуривать и ахать.

— А здесь что?

Пронин еще сам не решил, что будет здесь, между бистро и Венецией. Но не хочет показать этого.

— Здесь... — так, уголок, бросим какую-нибудь ткань, ковер, широкий диван...

— А эта комната напоминает купальню.

— Купальню? — Пронин прищуривается. — Купальню? Гениально! Изумительно! Именно здесь будет восточная купальня. Завтра велю ломать бассейн. Напустим воды (ее-то хватит!). Разноцветные стены, стекла... в бассейне плавает лебедь... свет сверху.

— Ну, свет сверху мудрено устроить...

— Ничуть — проломим потолок.

— Это шесть этажей проломаете?

— Что же такого? Сниму все квартиры и проломаю... Впрочем, кажется, я того — фантазирую...

— Борис Константинович, — вбегает мальчишка-обойщик с озабоченно-восторженным лицом. — Вода!

— А, черт! — И с таким же озабоченно-восторженным видом, как у своего подручного, Пронин бежит в «Венецианский зал», откуда слышно глухое плескание заливающей пол воды...

* * *

Вряд ли самому Пронину пришла бы мысль бросить насиженное место в подвале на Михайловской площади и заняться «динамитно-подрывной» работой на углу Мойки и Марсова поля. «Собака» была частью его души, если не всей душой. Дела шли хорошо, т. е. домовладелец — мягкий человек — покорно ждал полагающейся ему платы, пользуясь покуда, в виде процентов, правом бесплатного входа в свой же подвал и почетным званием «друга «Бродячей собаки». Ресторатор, итальянец Франческо Танни, тоже терпеливо отпускал на книжку свое кислое вино и непервосортный коньяк, утешаясь тем, что его ресторанчик, до тех пор полупустой, стал штаб-квартирой всей петербургской богемы. Большинство новых посетителей, впрочем, тоже платили лишь в исключительных случаях — больше обедали в кредит.

У этого Франческо Танни часто устраивались и импровизированные пиры. Так, однажды Пронин, встав утром, решил, что сегодня его именины. Но поздно уже звонить в телефон или рассылать записки. Пронин сделал так: он стал прогуливаться по солнечной стороне Невского — и приглашать всех знакомых, которые ему попадались. Знакомых у Пронина было достаточно.

В назначенный час в маленьком и тесном помещении «Франчески» набилось человек шестьдесят, желавших чествовать «дорогого именинника». Сдвинули столы; пошли в дело и кисловатое каберне, и мутноватое шабли, и не особенно тонкий, но чрезвычайно крепкий коньяк таинственной французской фирмы «Прима». Ну, и кьянти, конечно. Пил «именинник», пили его «друзья», пил хозяин, респектабельный седой итальянец, похожий на знаменитого скрипача. Наконец «все съедено, все выпито», ресторан пора закрывать. Пронину подают счет. Неслушающимися пальцами Пронин его разворачивает.

— Это... это что такое?

— Счет-с, Борис Константинович.

— А это?.. — Палец, помотавшись некоторое время в воздухе, как птица, выбирает место, чтобы сесть, — тычет в сумму счета.

— Двести рублей-с...

Отблеск удивления и ужаса мелькает на блаженном лице «именинника». Он минуту молчит, потом патетически восклицает:

— Хамы! Кто же будет платить!..

...

Нет, сам Пронин вряд ли бы по своему почину расстался с Михайловской площадью. Идею переменить скромные комнаты «Собаки», с соломенными табуретками и люстрой из обруча, на венецианские залы и средневековые часовни «Привала» внушила ему Вера Александровна.

Портрет «Веры Александровны», «Верочки» из «Привала» должен был бы нарисовать Сомов, никто другой.

Сомов — как бы холодно ни улыбнулись, читая это, строгие блюстители художественных мод, — Сомов удивительнейший портретист своей эпохи: трагически-упоительного заката «Императорского Петербурга».

Я так представляю это ненарисованное полотно: черные волосы, полчаса назад тщательно завитые у Делькроа, — уже слегка растрепаны. Сильно декольтированный лиф сползает с одного плеча — только что не видна грудь. Лиф черный, глубоким мысом врезающийся в пунцовый бархат юбки. Пухлые руки, странно белые, точно набеленные, беспомощно и неловко

прижаты к груди, со стороны сердца. Во всей позе тоже какая-то беспомощность, какая-то растерянная пышность. И старомодное что-то: складки парижского платья ложатся как кринолин, крупная завивка напоминает парик.

Прищуренные серые глаза, маленький улыбающийся рот. И в улыбке этой какое-то коварство...

* * *

Незадолго до войны в Петербург приехал Верхарн. Как водится — его чествовали, и тоже, как водится, чествование вышло бестолковое, и даже как бы обидное для знаменитого гостя. То есть намерения были самые лучшие у чествующих, и хлопотали они усердно. Но как-то уж все само собой обернулось не так, как следовало бы. Едва банкет начался, — все это почувствовали, — и устроители, и приглашенные, и. кажется, сам Верхарн. Несколько патетических речей, обращенных к «дорогому учителю» под стук ножей и гавканье, ни с того ни с сего «ура» — с дальнего конца стола, где успела напиться малая литературная братия. «Сервис» «Малого Ярославца» с запарившимися лакеями в нитяных перчатках, чересчур большое количество бутылок не особенно важного вина... Словом, лучше бы его не было, этого банкета…

Почти всех присутствующих я, понятно, знал, в лицо, по крайней мере. И меня удивило, что рядом с Верхарном сидит какая-то дама, совершенно мне незнакомая. Она была вычурно и пышно одета, бриллианты сияли в ушах, серые глаза щурились, маленькие губы улыбались...

Кто это? Я спросил своего соседа, тот не знал. Еще кого-то — то же. Верхарн очень оживленно и любезно, по-стариковски морща нос, разговаривал с этой незнакомкой, не слушая приветственных речей, где через третье слово повторялось хаос и через пятое — «космос».

Кто бы она могла быть? Как раз мимо проходил Пронин, знаменитый Пронин — «доктор эстетики», директор «Собаки». Жилет его фрака уже был расстегнут, на лице блаженство, в каждой руке по горлышку шампанской бутылки...

— Борис, кто эта дама?

Вездесущий «доктор эстетики» пожал плечами:

— Не знаю. И никто не знает. Сама приехала, сама села рядом с Верхарном...

И глубокомысленно добавил:

— Может быть, это его жена или (блаженная улыбка), или... племянница.

Пронин, по-видимому, вскоре убедился в своей ошибке насчет таинственной дамы.

По крайней мере, когда в Петербурге через полгода появился другой поэтический гость — Поль Фор, Пронин, знакомя его с Верой Александровной, отрекомендовал ее:

— Voilà la maîtresse du Chien[2].

Он желал сказать — хозяйка «Бродячей собаки». Вера Александровна была уже женой беспутного и веселого «доктора эстетики».

* * *

Когда мы познакомились ближе, я услышал от Веры Александровны такие признания:

— Я бы согласилась на какую угодно муку, как андерсеновская ундина — при каждом шаге испытывать боль, точно ходишь по гвоздям, — только бы власть, власть над людьми...

— Власть над душами или... ну, как у исправника или царя?

— Ах, — всякую! Мне бы сначала хоть чуточку власти. Даже как у исправника хорошо. Даже такая власть — страшная сила, уметь только воспользоваться...

— Вам бы в Мексику, Вера Александровна, там это можно — женщин в губернаторы выбирают.

Но она не слушает.

— Власть, — говорит она протяжно, точно пробуя на вес это слово. — Власть... Над душами? Но ведь всякая власть над душами. Властвовать — над кем-нибудь, значит, унижать его.

---

[2] Фраза имеет двойной смысл: «Вот хозяйка собаки» и «Вот собачья любовница» (*франц.*).

Унижать его — возвышать себя. Чем больше кругом унижения, тем выше тот, кто унижает...

Она смеется.

— Что вы так на меня смотрите? Это я не сама выдумала — у Бальзака прочла. Или, может быть, у Гюисманса...

И таинственно, точно секрет, сообщает:

— Власть — это деньги. Больше всего на свете я хочу денег.

— Все хотят, Вера Александровна, — отвечаю я ей в тон тем же таинственным шепотом.

Она топает ногой.

— Перестаньте, Разве я *так* хочу? И... знаете, кстати, кто была моей героиней в детстве?

— Лукреция Борджиа?

— Нет. Тереза Эмбер.

И — «каблучком молоточа паркет»:

— Слаще всего издеваться над людьми.

От стука французского каблучка по полу синие чашки подпрыгивают на лакированном столике. Маленькая, пухлая, точно набеленная, рука протягивает тарелку с кексом...

— Я, конечно, шучу. Я самая обыкновенная женщина. Даже чтобы стать актрисой, у меня не хватило воли. А не то что...

Серые глаза холодно щурятся, накрашенные губы улыбаются. И в улыбке этой — какое-то коварство...

* * *

Выйдя замуж за Пронина и став «la maîtresse du Chien», Вера Александровна сразу начала все переделывать, изменять и расширять в «Бродячей собаке». И, конечно, на третий месяц заскучала.

Как было не заскучать? «Собака» — был маленький подвал, устроенный на медные гроши — двадцатипятирублевки, собранные по знакомым. В нем становилось тесно, если собиралось человек сорок, и нельзя было повернуться, если приходило шестьдесят. Программы не было — Пронин устраивал все на авось — «Федя (т. е. Шаляпин) обещал прийти и спеть...» Если же Шаляпин не придет, то... заставим Мушку (дворняжку Пронина)

танцевать кадриль... вообще «наворотим» чего-нибудь... — В главной зале стояли колченогие столы и соломенные табуретки, прислуги не было — за едой и вином посетители сами отправлялись в буфет. Посетители эти были, по большей части, «свои люди» — поэты, актеры, художники, которым этот распорядок был по душе и менять они его не хотели... Словом, в «Собаке» Вере Александровне делать было нечего. Попытавшись неудачно ввести какие-то элегантные новшества, перессорившись со всеми, кто носил почетное звание «друга «Бродячей собаки», и поскучав в слишком скромной для себя и своих парижских туалетов роли, она, по выражению Пронина, решила «скрутить шею собачке». — По ночам бессонные бродяги из петербургской богемы перестали будить дворника у ворот, на углу Михайловской и Итальянской, и труба вентилятора, на которой на страх забредавшим в «Собаку» «буржуям» была зловещая надпись — «не прикасаться: смерть», перестала гудеть на узкой лесенке входа на третьем дворе.

На Марсовом поле был снят огромный подвал — не для того, чтобы возродить «Собаку», — чтобы создать что-то грандиозное, небывалое, удивительное. Над подвалом поселилась хозяйка этого будущего «грандиозного и небывалого». Квартира была тоже огромная, с саженными окнами и необыкновенной высоты потолками. Холод в ней был ужасный. Несколькими этажами выше, в квартире Леонида Андреева, печи топились день и ночь, все было в коврах и портьерах, и все-таки дыхание вылетало изо ртов — струйкой пара. Такой уж был холодный дом. А в квартире Веры Александровны не было ни ковров, ни портьер, часто не было и дров, даже окна не все замазаны. С утра до вечера снизу оглушительно стучали молотки каменщиков, с утра до вечера на парадной и черной лестницах обрывали звонки люди, желавшие получить по каким-то счетам, оплатить которые было нечем. Пронин от холода и от нечего делать спал, навалив на себя все шубы, какие только были, а Вера Александровна, завитая и накрашенная, сидела часами у леденеющего зеркала, мечтая не знаю уж о чем, — о будущем «Привале комедиантов» (так называлось новое кабаре) или о власти над душами...

От холода она куталась в свои широкие пушистые соболя. Впрочем, соболя иногда бывали в ломбарде, и тогда она куталась в одеяла.

* * *

— Как, Вера Александровна, вам и здесь скучно?

— Очень.

— И тесно?

— Да.

— Что же, будете еще перестраиваться и расширяться?

— Я уже сняла соседний подвал. Летом проломают стену, тогда венецианскую залу будет продолжать галерея. В этой галерее...

Она машет рукой.

— Не знаю, может, и не буду перестраиваться или оставлю все Борису, пусть делает, что хочет. Уеду куда-нибудь...

И высоко подымая подрисованные брови:

— Надоело. Скучно...

Внешность «Привала» была блестящая. Грязный подвал с развороченными стенами превратился, действительно, в какое-то «волшебное царство». Из-под кружевных масок свет неясно освещал черно-красно-золотую судейкинскую залу; «бистро» оказалось сплошь расписано удивительными парижскими фресками Бориса Григорьева, смежная зала была декорирована Яковлевым. Старинная мебель, парча, деревянные статуи из древних церквей, лесенки, уголки, таинственные коридоры — все это было удивительно задумано и выполнено. Вера Александровна, в шелках и бриллиантах, торжествующе встречала гостей — ну, каково? Пронин сиял. Наряженный во фрак, он водил посетителей показывать разные чудеса «Привала». Объясняя что-нибудь особенно горячо, он, по старой привычке, хватался за лацканы фрака, чтобы его скинуть. Но только хватался и тотчас же опускал руки. Не то место, не те времена — бывшее в «Собаке» вполне естественным — здесь было бы неприличным.

Старые завсегдатаи «Собаки» после первых восторгов были немного охлаждены непривычным для них тоном нового

подвала. В «Собаке» садились где кто хочет, в буфет за едой и вином ходили сами, сами расставляли тарелки где заблагорассудится... Здесь оказалось, что в главном зале, где помещается эстрада, места нумерованные, кем-то расписанные по телефону и дорого оплаченные, а так называемые «г.г. члены Петроградского Художественного Общества» могут смотреть на спектакль из другой комнаты. Но и здесь, не успевали вы сесть, как к вам подлетал лакей с салфеткой и меню и, услышав, что вы ничего не «желаете», только что не хлопал своей накрахмаленной салфеткой по носу «нестоящего» гостя.

...Улыбается Карсавина, танцует свою очаровательную «полечку» прелестная О. А. Судейкина. Переливаются черно-красно-золотые стены. Музыка, аплодисменты, щелканье пробок, звон стаканов... Вдруг композитор Цыбульский, обрюзгший, пьяный, встает, пошатываясь, со стаканом в руках: — Пппрошу слова...

— За упокой собачки, господа... — начинает он коснеющим языком. — Жаль покойницу... Борис... Эх, Борис, зачем ты огород городил... зачем позвал сюда, — кивок на смокинги первых рядов, — всех этих фармацевтов, всю эту св...

* * *

В общем, получался какой-то эстетический, очень эстетический, но все же ресторан. Публике нравилось. Публика платила дорогую входную плату, пила шампанское и смотрела на Евреинова в Судейкинских костюмах...

Ну что же, раз приходят и пьют шампанское...

И я вспоминал: «Больше всего я хочу денег...»

Но вдруг и «Привал», и верхняя квартира, и все фаянсы ост-индской компании, и все платья с глубокими декольте оказались описанными. Оказалось, что «Привал» — не только не окупается — приносит страшный убыток. Все меценаты от него отказались, — через неделю он пойдет с молотка.

— Как же так? — спрашивал я.

Вера Александровна устало поднимала брови:

— Так. Не знаю. Не хватало денег. Я подписывала векселя...

Но через несколько дней она встретила меня веселая. Все удалось. Нашелся новый меценат. На время «Привал» закроется для ремонта, для подготовки программы...

Она стояла в средневековой зале, расписанной Яковлевым, опираясь на деревянную статую какого-то святого и держа в маленькой, пухлой, странно белой руке старинный нож, только что присланный антикваром.

— Лукреция Борджиа, — пошутил я.

Она засмеялась.

— А? Вы помните тот разговор? Нет, нет, не Лукреция... Тереза. Вот, прочтите.

Я развернул бумагу.

— Что это?

— Договор с новым меценатом. Он обязуется платить мне, все время, пока «Привал» закрыт, ежемесячно... — Она назвала какую-то большую цифру.

— Только пока закрыт?

Она рассмеялась:

— Господи, какой наивный! Да ведь срок не указан. Я могу всю жизнь не открывать «Привала», и он будет всю жизнь мне платить...

— Как же он подписал такое?

Она церемонно поджала губы:

— О, это очень милый человек, друг моего отца. Он подписал, не читая...

* * *

Не знаю, запротестовал ли наконец «милый человек», или самой Вере Александровне снова захотелось похозяйничать, — но «Привал» все-таки открылся. Летом 1917 года — там за одним и тем же «артистическим» столом сидели Колчак, Савинков и Троцкий. И Вера Александровна выглядела уже совершенной Лукрецией в этом обществе.

Она была очень оживлена, очень хороша в эти дни. Кажется, ей стало опять «не скучно», и какие-то новые «грандиозности» и «возможности» ей замерещились. Я заключал это по ее

виду, — в разговоры со мною она не вступала, — у нее были собеседники поинтереснее.

«Душа», которой не хватало «Привалу» в дни его расцвета, вселилась все-таки в него ненадолго, перед самой гибелью. Те, кто бывал в нем в конце 1917 — начале 1918 годов, вряд ли забудут эти вечера.

Холодно. Полутемно. Нет ни заказных столиков, ни сигар в зубах, ни упитанных физиономий. Роскошь мебели и стен пообтрепалась. Электричество не горит — кое-где оплывают толстые восковые свечи...

Идет репетиция «Зеленого попугая». Пронзительная идея — сыграть такую пьесу в такой обстановке, не правда ли? Шницлеровские диалоги звучат чересчур «убедительно» и для зрителей, и для актеров. Вера Александровна, бледная, без драгоценностей, в черном платье, слушает, скрестив руки на груди. Это она придумала поставить «Зеленого попугая».

Холодно. Полутемно. С улицы слышны выстрелы... Вдруг топот ног за стеной, стук прикладов в ворота. Десяток красноармейцев, под командой безобразной, увешанной оружием женщины, вваливается в «Венецианскую залу». — Граждане, ваши документы!

Их смиряют какой-то бумажкой, подписанной. Луначарским. Уходят, ворча: погодите, доберемся до вас... И снова — оплывающие свечи, стихи Ахматовой или Бодлера; музыка Дебюсси или Артура Лурье...

...«Привал» не был закрыт, — он именно погиб, развалился, превратился в прах. Сырость, не сдерживаемая жаром каминов, вступила в свои права. Позолота обсыпалась, ковры начали гнить, мебель расклеилась. Большие голодные крысы стали бегать, не боясь людей, рояль отсырел, занавес оборвался...

Однажды, в оттепель, лопнули какие-то трубы, и вода из Мойки, старый враг этих разоренных стен, их затопила.

...И все стоит в «Привале»
Невыкачанной вода.
Вы знаете? Вы бывали?
Неужели никогда?

VI

«Ротонда». Обычная вечерняя толкотня. Я ищу свободный столик. И вдруг мои глаза встречаются с глазами, так хорошо знакомыми когда-то (Петербург, снег, 1913 год...), русскими, серыми глазами. Это Судейкина. Жена известного художника.

— Вы здесь! Давно?

Улыбка — рассеянная «петербургская» улыбка. — Месяц как из России.

— Из Петербурга?

Судейкина — подруга Ахматовой. И, конечно, один из моих первых вопросов — что Ахматова?

— Аня? Живет там же, на Фонтанке, у Летнего сада. Мало куда выходит — только в церковь. Пишет, конечно. Издавать? Нет, не думает. Где уж теперь издавать...

...На Фонтанке... У Летнего сада...

1922 год, осень. Послезавтра я уезжаю за границу. Иду к Ахматовой — проститься. Летний сад шумит уже по-осеннему. Инженерный замок в красном цвете заката. Как пусто! Как тревожно! Прощай, Петербург...

Ахматова протягивает мне руку. — А я здесь сумерничаю. Уезжаете?

Ее тонкий профиль рисуется на темнеющем окне. На плечах знаменитый темный платок в большие розы:

Спадает с плеч твоих, о, Федра,
Ложноклассическая шаль...

— Уезжаете? Кланяйтесь от меня Парижу.

— А вы, Анна Андреевна, не собираетесь уезжать?

— Нет. Я из России не уеду.

— Но ведь жить все труднее.

— Да. Все труднее.

— Может стать совсем невыносимо.

— Что ж делать.

— Не уедете?

— Не уеду.

...Нет, издавать не думает — где уж теперь издавать... Мало выходит — только в церковь... Здоровье? Да, здоровье все хуже.

И жизнь такая — все приходится самой делать. Ей бы на юг, в Италию. Но где денег взять? Да если бы и были...

— Не уедет?

— Не уедет.

— Знаете, — серые глаза смотрят на меня почти строго, — знаете, — Аня раз шла по Моховой. С мешком. Муку, кажется, несла. Устала, остановилась отдохнуть. Зима. Она одета плохо. Шла мимо какая-то женщина... Подала Ане копейку. — Прими, Христа ради. — Аня эту копейку спрятала за образа. Бережет...

* * *

1911 год. В «Башне» — квартире Вячеслава Иванова — очередная литературная среда. Весь «цвет» поэтического Петербурга здесь собирается. Читают стихи по кругу, и «таврический мудрец», щурясь из-под пенсне и потряхивая золотой гривой, — произносит приговоры. Вежливо-убийственные по большей части. Жестокость приговора смягчается только одним — невозможно с ним не согласиться, так он едко-точен. Похвалы, напротив, крайне скупы. Самое легкое одобрение — редкость.

Читаются стихи по кругу. Читают и знаменитости и начинающие. Очередь доходит до молодой дамы, тонкой и смуглой.

Это жена Гумилева. Она «тоже пишет». Ну, разумеется, жены писателей всегда пишут, жены художников возятся с красками, жены музыкантов играют. Эта черненькая смуглая Анна Андреевна, кажется, даже не лишена способностей. Еще барышней она писала:

И для кого эти бледные губы
Станут смертельной отравой?
Негр за спиною, надменный и грубый,
Смотрит лукаво.

Мило, не правда ли? И непонятно, почему Гумилев так раздражается, когда говорят о его жене как о поэтессе?

А Гумилев действительно раздражается. Он тоже смотрит на ее стихи как на причуду «жены поэта». И причуда эта ему

не по вкусу. Когда их хвалят — насмешливо улыбается. — Вам нравится? Очень рад. Моя жена и по канве прелестно вышивает.

— Анна Андреевна, вы прочтете?

Лица присутствующих «настоящих» расплываются в снисходительную улыбку. Гумилев, с недовольной гримасой, стучит папиросой о портсигар.

— Я прочту.

На смуглых щеках появляются два пятна. Глаза смотрят растерянно и гордо. Голос слегка дрожит.

— Я прочту.

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки...

На лицах — равнодушно-любезная улыбка. Конечно, не серьезно, но мило, не правда ли? — Гумилев бросает недокуренную папиросу. Два пятна еще резче выступают на щеках Ахматовой...

Что скажет Вячеслав Иванов? Вероятно, ничего. Промолчит, отметит какую-нибудь техническую особенность. Ведь свои уничтожающие приговоры он выносит серьезным стихам настоящих поэтов. А тут... Зачем же напрасно обижать...

Вячеслав Иванов молчит минуту. Потом встает, подходит к Ахматовой, целует ей руку.

— Анна Андреевна, поздравляю вас и приветствую. Это стихотворение — событие в русской поэзии.

* * *

В обставленном удивительной «александровской» мебелью кабинете Аркадия Руманова висит большое полотно Альтмана, художника, только что вошедшего в славу: Руманов положил ей начало, купив этот портрет за «фантастические» для начинающего художника деньги.

Несколько оттенков зелени. Зелени ядовито-холодной. Даже не малахит — медный купорос. Острые линии рисунка тонут в этих беспокойно-зеленых углах и ромбах. Это должно

изображать деревья, листву, но не только не напоминает, но, напротив, кажется чем-то враждебным:

...в океане первозданной мглы
Нет облаков и нет травы зеленой,
А только кубы, ромбы да углы,
Да злые металлические звоны.

Цвет едкого купороса, злой звон меди. — Это фон картины Альтмана.

На этом фоне женщина — очень тонкая, высокая и бледная. Ключицы резко выдаются. Черная, точно лакированная, челка закрывает лоб до бровей. Смугло-бледные щеки, бледно-красный рот. Тонкие ноздри просвечивают. Глаза, обведенные кругами, смотрят холодно и неподвижно — точно не видят окружающего.

...только кубы, ромбы да углы

и все черты лица, все линии фигуры — в углах. Угловатый рот, угловатый изгиб спины, углы пальцев, углы локтей. Даже подъем тонких, длинных ног — углом. Разве бывают такие женщины в жизни? Это вымысел художника! Нет — это живая Ахматова. Не верите? Приходите в «Бродячую собаку» попозже, часа в четыре утра.

Да, я любила их, те сборища ночные, —
На маленьком столе стаканы ледяные,
Над черным кофием пахучий, тонкий пар,
Камина красного тяжелый зимний жар,
Веселость едкую литературной шутки,
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий.

Четыре-пять часов утра. Табачный дым, пустые бутылки. Час назад было весело и шумно — кто-то пел, подыгрывая сам себе, глупые куплеты, кто-то требовал еще вина. Теперь шумевшие либо разошлись, либо дремлют. В подвале почти тишина.

Мало кто сидит за столиками посредине зала. Больше по углам, у пестро расписанных стен, под заколоченными окнами.

Навсегда забиты окошки:
Что там, изморозь или гроза?

Не все ли равно, что там, на улице, в Петербурге, в мире... От выпитого вина кружится голова, дым застилает глаза. Разговоры идут полушепотом.

Здесь цепи многие развязаны,
Все сохранит подземный зал,
И те слова, что ночью сказаны,
Другой бы утром не сказал.

И вдруг — оглушительная, шалая музыка. Дремавшие вздрагивают. Рюмки подпрыгивают на столах. Пьяный музыкант ударил изо всех сил по клавишам. Ударил, оборвал, играет что-то другое, тихое и грустное. Лицо играющего красно, потно. Слезы падают из его блаженно-бессмысленных глаз на клавиши, залитые ликером.

Пятый час утра. «Бродячая собака».

Ахматова сидит у камина. Она прихлебывает черный кофе, курит тонкую папироску. Как она бледна!

Да, она очень бледна — от усталости, от вина, от резкого электрического света. Концы губ — опущены. Ключицы резко выдаются. Глаза глядят холодно и неподвижно, точно не видят окружающего.

Все мы грешники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.

Но —

в океане первозданной мглы
Нет облаков и нет травы зеленой.

Трава, облака, жизнь, смех — все осталось там — за «навсегда забитыми окошками». Здесь только:

Веселость едкая литературной шутки
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий...

Слишком едкая веселость. Слишком жуткие взгляды.

Ахматова никогда не сидит одна. Друзья, поклонники, влюбленные, какие-то дамы в больших шляпах и с подведенными глазами. С памятного вечера у Вячеслава Иванова, когда она

срывающимся голосом читала стихи, прошло два года. Она всероссийская знаменитость. Ее слава все растет.

Папироса дымится в тонкой руке. Плечи, укутанные в шаль, вздрагивают от кашля.

— Вам холодно? Вы простудились?

— Нет, я совсем здорова.

— Но вы кашляете.

— Ах, это? — Усталая улыбка. — Это не простуда, это чахотка.

И, отворачиваясь от встревоженного собеседника, говорит другому:

— Я никогда не знала, что такое счастливая любовь...

...Несла мешок. Остановилась отдохнуть. Какая-то женщина...

...Молодые люди в смокингах почтительно ловят каждое слово Ахматовой. Влюбленные глаза следят за каждым ее движением.

...Аня эту копейку спрятала... бережет...

В Царском Селе у Гумилевых дом. Снаружи такой же, как и большинство царскосельских особняков. Два этажа, обсыпающаяся штукатурка, дикий виноград на стене. Но внутри — тепло, просторно, удобно. Старый паркет поскрипывает, в стеклянной столовой розовеют большие кусты азалий, печи жарко натоплены. Библиотека в широких диванах, книжные полки до потолка... Комнат много, какие-то все кабинетики с горой мягких подушек, неярко освещенные, пахнущие невыветриваемым запахом книг, старых стен, духов, пыли...

Тишину вдруг прорезает пронзительный крик. Это горбоносый какаду злится в своей клетке. Тот самый:

А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду.

«Розовый друг» хлопает крыльями и злится. — Маша, — накиньте платок на его клетку...

Дома, и то очень редко, можно увидеть совсем другую Ахматову.

У Гумилевых — последний прием. Конец мая. Все разъезжаются.

— Я так рада, — говорит Ахматова, — что в этом году мы не поедем за границу. В прошлый раз в Париже я чуть не умерла от скуки.

— От скуки? В Париже!..

— Ну да. Коля целые дни бегал по каким-то экзотическим музеям. Я экзотики не выношу. От музеев у меня делается мигрень. Сидишь одна, такая, бывало, скука. Я себе даже черепаху завела. Черепаха ползает — смотрю. Все-таки развлечение.

— Аня, — недовольным тоном перебивает ее Гумилев, — ты забываешь, что в Париже мы почти каждый день ездили в театры, в рестораны.

— Ну уж и каждый вечер, — дразнит его Ахматова. — Всего два раза.

И смеется, как девочка.

— Как вы не похожи сейчас на свой альтмановский портрет!

Она насмешливо пожимает плечами.

— Благодарю вас. Надеюсь, что не похожа.

— Вы так его не любите?

— Как портрет? Еще бы. Кому же нравится видеть себя зеленой мумией?

— Но иногда сходство кажется поразительным.

Она снова смеется:

— Вы говорите мне дерзости. — И открывает альбом.

— А здесь — есть сходство?

Фотография снята еще до свадьбы. Веселое девическое лицо...

— Какой у вас тут гордый вид.

— Да! Тогда я была очень гордой. Это теперь присмирела...

— Гордились своими стихами?

— Ах, нет, какими стихами. Плаванием. Я ведь плаваю как рыба.

Тот же дом, та же столовая. Ахматова в те же чашки разливает чай и протягивает тем же гостям. Но лица как-то желтей, точно состарились за два года, голоса тише. На всем — и на лицах, и на разговорах — какая-то тень.

И хозяйка не похожа ни на декадентскую даму с альтмановского портрета, ни на девочку, гордящуюся тем, что она плавает «как рыба». Теперь в ней что-то монашеское.

...В Августовских лесах погибло два корпуса...

— Нет ни оружия, ни припасов...

— У Z убили двух сыновей.

— Говорят, скоро не будет хлеба...

Гумилева нет — он на фронте.

— Прочтите стихи, Анна Андреевна.

— У меня теперь стихи скучные.

И она читает «Колыбельную»:

...Спи, мой тихий, спи, мой мальчик,
Я дурная мать.
Долетают редко вести
К нашему крыльцу.
Подарили белый крестик
Твоему отцу.
Было горе, будет горе,
Горю нет конца,
Да хранит Святой Егорий
Твоего отца...

Еще два года. Две-три случайные встречи с Ахматовой. Все меньше она похожа на ту, прежнюю. Все больше на монашенку. Только шаль на ее плечах прежняя — темная, в красные розы. «Ложно-классическая шаль». Какая там шаль ложно-классическая — простой бабий платок, накинутый, чтобы не зябли плечи!

Еще год. Пушкинский вечер. Странное торжество — кто во фраке, кто в тулупе — в нетопленом зале. Блок на эстраде говорит о Пушкине — невнятно и взволнованно.

Ахматова стоит в углу. На ней старомодное шелковое платье с высокой талией. Худое — жалкое — прекрасное лицо. Она стоит одна. К ней подходят, целуют руку. Чаще всего — молча. Что ей, *такой*, сказать. Не спрашивать же, «как поживаете».

...Еще полгода. Смоленское кладбище. Гроб Блока в цветах. Еще две недели — панихида в Казанском соборе по только что расстрелянном Гумилеве.

...Да, я любила их, те сборища ночные,
На низких столиках стаканы ледяные...

Ладан. Заплаканные лица. Певчие.

...Веселость едкую литературной шутки...
И друга первый взгляд...

VII

В кабинке лифта кнопками приколот плакат. Черт со смеющейся рожей, зелеными глазками и лиловым хвостом. Под ним — надпись:

«Просят ядовитое зелье (табак) не курить».

Кто просит? Домохозяин?

Нет. Плакат повешен квартирантом третьего этажа — Сергеем Городецким.

Но как же это он распоряжается? Ведь лифт не его квартира?

Ах, что там — как распоряжается. Кто же ему запретит?

Сергей Митрофанович такой милый человек, такой славный. Если бы и захотел домовладелец сделать ему замечание, — как сделаешь? Тот ему — «к сожалению моему, должен вас просить...» — А Городецкий, не дослушав, хлопнет его по плечу. — Как поживаете, дорогой? Как драгоценное? Супруга что, детишки...

Детей обожает. Рисует им картинки — вот вроде как в лифте: «Чертик в печке», «Девять мышек и кошечка Маня». Состроит страшные глаза, сделает «козу», стишки тут же сочинит. — Как тебя зовут? Петя. Ну, так слушай:

Жил на свете мальчик Петя,
Много Петь живет на свете.
Только Петя мой —
Был совсем другой...

Глаза светлые, взгляд открытый, «душевный». Волосы русые — кудрями. Голос певучий. Некрасив, но приятнее любого красавца — «располагающая наружность», и наружность не обманывает: действительно, милый человек. Всякому услужит, всякому улыбнется. Встретит на улице старуху с мешком — «бабушка, дай подсоблю». Нищего не пропустит. Ребенку сейчас леденец, всегда в кармане носит...

Помог, пошутил, улыбнулся и идет себе дальше, посвистывая или напевая. Глаза блестят, белые зубы блестят. Даже

чухонская шапка с наушниками как-то особенно мило сидит на его откинутой голове.

* * *

«Ядовитое зелье просят не курить». Впрочем, для неисправимых курильщиков — отведен в квартире Городецкого закоулок. Если невтерпеж, они туда удаляются. Там, с обязательством плотно притворять двери, они могут вдоволь «отравляться» у окна, распахнутого на черную лестницу. Стены закутка разрисованы поучительной историей: «Упорный куритель и что с ним было». Очень талантливо нарисовано. Вообще, что за талантливое существо Городецкий! За что ни возьмется — талантливо. И все с налету, шутя, с улыбкой, мимоходом... Так и стихи начал писать и, шутя, — прославился. Лег спать никому неведомым двадцатилетним студентом, а наутро — вышла «Ярь» — проснулся знаменитостью. И кто не читал через месяц наизусть:

Стоны, звоны, перезвоны,
Стоны-звоны, звоны-сны,
Высоки крутые склоны,
Крутосклоны зелены...

...Вечером во вторник — приемный день у Городецких. Перед закутком для курильщиков — очередь. Чиркнут спичкой, глотнут наскоро дыму и, уступая место другим, возвращаются в гостиную. Там — в центре комнаты — большой круглый стол. На столе розы в хрустальном цилиндре, дынное варенье, дымящиеся гарднеровские чашки. В окружении литераторских дам жена Городецкого, «Нимфа», сияя несколько тяжеловесной красотой, разливает пухлыми пальчиками чай. Почему Городецкий, ненавистник всякой «классической мертвечины», назвал жену «Нимфой»? И почему Нимфа? Скорее уж Церера... Но за Анной Александровной это прозвище прочно укрепилось, после того особенно, как одна из книг Городецкого вышла с посвящением: «Тебе — Нимфа».

Вдоль канареечных стен гостиной — в два ряда размещены поэты.

В два ряда. Внизу на тахтах гости. На стенах их портреты в натуральную величину, работы хозяина дома.

Если вы познакомились с Городецким, начали у него бывать и вы поэт — он непременно вас нарисует. Немного пестро, но очень похоже и «мило». И обязательно на рогоже.

Рисует Городецкий всегда на рогоже — это его изобретение. И дешево — и есть в этом что-то «простонародное» — любезное его сердцу. И хотя народ рогожами пользуется отнюдь не для живописи — Городецкому искренно кажется, что, выводя на рогоже Макса Волошина, в сюртуке и с хризантемой в петлице, он много ближе к «родной неуемной стихии», чем если бы то же самое он изображал на полотне.

С одной стороны «стихия», с другой — Италия. Раскрашенные квадратики рогож — чем не мозаика?

Страсть к Италии внушил недавно Городецкому его новый, ставший неразлучным, друг — Гумилев. После «разговора в ресторане, за бутылкой вина» об Италии — с Гумилевым, Городецкий, час назад вполне равнодушный, — «влюбился» в нее со всей своей пылкостью. Влюбившись же, по причине той же пылкости, не мог усидеть в Петербурге, не повидав Италию собственнолично и немедленно.

И вот через неделю Городецкий уже гулял по Венеции, потряхивая кудрями и строя «итальянчикам» козу. Ничего — понравилось.

* * *

Портреты на рогожах сияли всей пестротой красок. Оригиналы их, размещавшиеся вдоль стен, выглядели, естественно, более булнично. Они разделялись на просто гостей и гостей почетных. Первые были в пиджаках и воротничках и изъяснялись на «мертвом интеллигентском языке». Вторые говорили на *о* и нараспев и одеты были в поддевки и косоворотки.

У Городецкого, при всей переменчивости его взглядов и вкусов, было одно «устремление», которое не менялось: страсть к лубочному «русскому духу»... Безразлично, что «воспевал» он в разные времена, в разных пустых, звонких и болтливых строфах.

Их лубочная суть оставалась все та же — не хуже, не лучше. «Сретенье царя» не отличается от оды Буденному, и описания Венеции слегка отдают «чайной русского народа»...

Естественным дополнением пристрастия к «русскому духу» было стремление Городецкого открывать таланты из народа и окружать себя ими.

Казалось бы, что дурного — если известный и влиятельный петербургский писатель так дружественно, так широко и охотно идет навстречу начинающим. Тем более, начинающим «из деревни», самым неопытным, самым беспомощным на первых порах. Казалось бы, напротив — хорошо.

Но получалось плохо. Даже очень.

Получалось так. Приезжает в Петербург Есенин. Шестнадцатилетний, робкий, бредящий стихами. Его мечта — стать «настоящим писателем». Он приехал в лаптях, но с твердым намерением сбросить всю свою «серость». Вот он уже как-то «расстарался», справил себе «тройку», чтобы не отличаться от «городских», «ученых». Но он понимает, что главное отличие не в платье. И со всем своим шестнадцатилетним «напором» старается стереть это различие. Конечно, такое рвение тоже небезопасно, — слишком усердно «стирая», можно стереть и самобытность и свежесть. Помощь расположенного и опытного старшего товарища тут очень нужна. Помимо такой профессиональной помощи, нужна и другая — просто дружеская рука, протянутая человеку, теряющемуся в совершенно чужой ему обстановке.

Понятно, что Есенин и вообще «Есенины», пообмерзнув в традиционном петербургском «холоде», — были счастливы, когда встречали Городецкого.

После месяца хождения с тетрадкой стихов «по писателям» — деревенский начинающий смущен и разочарован.

Писатели — люди «черствые», равнодушные, смотрят на него как на обыкновенного новобранца литературного войска, — много их ходит, с тетрадками. Холодное одобрение Блока... Строгий взгляд через лорнетку З. Гиппиус... Придирчивый разбор Сологуба — вот эта строчка у вас недурна, остальное зелено... И ко всем этим скупым похвалам — один и тот же припев: учиться, учиться. Работать, работать, работать...

И вдруг знакомство с Городецким, таким сердечным, ласковым, милым, такой «родной душой». И в первой же беседе с этой родной душой — полная «переоценка ценностей». Начинающий из деревни (как и всякий начинающий) сам считал, конечно, что «свет его недооценивает», но вряд ли, до беседы с «родной душой», понимал, до какой степени этот бездушный свет глух и слеп. Оказывается — он гений, это решено. И не просто гений, а народный, что много выше обыкновенного. И много проще. Все эти штуки с упорной работой — для интеллигентов, существ низших. Дело же народного гения — «выявлять стихию». Вот оно что. «Серость», оказывается, вовсе не надо стирать, — она и есть «стихия». Скорее вон из головы «мертвую учебу», скорее лапти обратно на ноги, скорее обратно поддевку, гармонику, залихватскую частушку.

* * *

Для своей «народной школы», пополнявшейся каждый сезон новыми «соблазненными мужичками», кроме домашних собеседований, где «гениально», «выше Пушкина» и т. п. звучало обыденной похвалой, Городецкий устраивал еще и открытые вечера — «гала», так сказать. Там

...Было все очень просто, было все очень мило...

На эстраде — портрет Кольцова, осененный жестяным серпом и деревянными вилами. Внизу — два «аржаных» снопа (от частого употребления порядочно растрепанных) и полотенце, вышитое крестиками. Фон декорирован малороссийской плахтой из кабинета Городецкого. Этим смягчается «интеллигентское безличие» эстрады и создается настроение, близкое к «стихии». Должно быть, чтобы еще ближе перенести слушателей в обстановку русской деревни — обычный распорядительский колокольчик отменяется. Вместо него — какой-то не то гонг, не то тимпан. С бубенцами... В обычное время он висит в том же кабинете — у печки.

Городецкий выходит на эстраду и ударяет в этот тимпан. Вид у него восторженно-сияющий, ласковоозабоченный. Кудри взъерошены. Голубая или «алая» косоворотка... Внимательный

глаз иногда различит под косовороткой очертание твердого пластрона — это значит, что после вечера надо ехать в изящный клуб, где любит ужинать «Нимфа», и рубашка надета для скорости обратного переодевания поверх крахмального белья и черного банта смокинга.

Городецкий ударяет в свой «тимпан» и приглашает к вниманию. Свет гаснет. Только эстрада с Кольцовым и снопами — в ярком блеске рефлекторов.

Сергей Есенин.

Зеленая плахта с малиновыми разводами откидывается. Выходит Есенин.

На нем тоже косоворотка — розовая, шелковая. Золотой кушак, плисовые шаровары. Волосы подвиты, щеки нарумянены. В руках — о, Господи! — пук васильков — бумажных.

Выходит он подбоченясь, весь как-то «по-молодецки» раскачиваясь. Прорепетировано, должно быть, не раз. Улыбка ухарская и... растерянная. Тоже, верно, репетировалась эта улыбка. Но смущение сильнее. Выйдя, он молчит, беспокойно озираясь...

— Валяй, Сережа, — слышен одобряющий голос Городецкого из-за плахты. — Валяй, чего стесняться.

Чего, в самом деле?

Есенин приободряется. Голос начинает звучать уверенней. Ухарская улыбка шире расплывается. Есенина я видел полгода тому назад, до его знакомства с Городецким. Как он изменился, однако. И стихи как изменились...

...*Лады, Лели,* гусли-самогуды, струны-самозвоны... — Вряд ли раньше Есенин и слыхал об этих самогудах и *Ладах*... Иногда среди них выскочит и неприличное, «похабное» словцо. Это он, конечно, знал и раньше, но по «неопытности» полагал, должно быть, что вставлять их не то что в стихи, а и в разговор нехорошо. Теперь, бойко их выкрикивая, оглядывает еще публику: Что? Каково?..

Сергей Клычков...

Выходит наряженный коробейником из хора Клычков. Читает нараспев — как оперные слепцы. Те же *Лады* и гусли, только более деревянно, менее находчиво, чем у Есенина. Тоже недавно держался просто, писал проще и лучше. Теперь, спасибо

наставнику, «нашел себя». А то, было, совсем пропадал — в университет готовился, латынь зубрил...

Николай Клюев...

Клюев спешно обдергивает у зеркала в распорядительской поддевку и поправляет пятна румян на щеках. Глаза его густо, как у балерины, подведены. Морщинки (Клюеву лет сорок) вокруг умных, холодных глаз сами собой расплываются в деланную сладкую, глуповатую улыбочку.

— Николай Васильевич, скорей!..

— Идуу... — отвечает он нараспев и истово крестится. — Идуу... только что-то боязно, братишечка... Ну, была не была — Господи, благослови... — Ничуть ему не «боязно» — Клюев человек бывалый и знает себе цену. Это он просто входит в роль «мужичка-простачка».

Потом степенно выплывает, степенно раскланивается «честному народу» и начинает истово, на *о*:

Ах ты, птица, птица райская,
Дребезда золотоперая...

Единственного настоящего поэта этого жанра Городецкий как раз проглядел. Прочел его рукописи и не обратил внимания. Открыл Клюева «бездушный» Брюсов.

Но, приехав в Петербург, Клюев попал тотчас же под влияние Городецкого и твердо усвоил приемы мужичка-травести.

— Ну, Николай Васильевич, как устроились в Петербурге?

— Слава тебе, Господи, не оставляет Заступница нас грешных. Сыскал клетушку-комнатушку, много ли нам надо? Заходи, сынок, осчастливь. На Морской, за углом, живу...

Я как-то зашел к Клюеву. Клетушка оказалась номером «Отель де Франс», с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Клюев сидел на тахте, при воротничке и галстуке, и читал Гейне в подлиннике.

— Маракую малость по-басурманскому, — заметил он мой удивленный взгляд. — Маракую малость. Только не лежит душа. Наши соловьи голосистей, ох, голосистей... Да что ж это я, — взволновался он, — дорогого гостя как принимаю. Садись, сынок, садись, голубь. Чем угощать прикажешь? Чаю не пью, табаку

не курю, пряника медового не припас. А то, — он подмигнул, — если не торопишься, может, пополудничаем вместе. Есть тут один трактирчик. Хозяин хороший человек, хоть и француз. Тут, за углом. Альбертом зовут.

Я не торопился.

— Ну, вот и ладно, ну, вот и чудесно — сейчас обряжусь...

— Зачем же вам переодеваться?

— Что ты, что ты — разве можно? Собаки засмеют. Обожди минутку — я духом.

Из-за ширмы он вышел в поддевке, смазных сапогах и малиновой рубашке: — Ну, вот — так-то лучше!

— Да ведь в ресторан в таком виде как раз не пустят.

— В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ? Знай, сверчок, свой шесток. А мы не в общем, мы в клетушку-комнатушку, отдельный то есть. Туда и нам можно...

* * *

Публика аплодирует. Публика довольна. Городецкий сияет.

Он искренно счастлив, этот милый, приятный, обходительный, даровитый человек. Он от души рад, что все так хорошо и всем так нравится, и больше всех ему, Городецкому. Он весело окидывает зал ясными, открытыми глазами, кого-то хлопает по плечу, кому-то жмет руки, обнимает кого-то...

Бывают и неприятности, конечно. Сологуб, например, прощаясь, проворчит по-стариковски:

— А где ваш главный распорядитель?

— Какой, Федор Кузьмич?

— Да Лейферт, костюмер. Лапти-то у него напрокат брали?

Но что понимает Сологуб в «народном искусстве»?

Гумилев в советские времена часто вздыхал:

— Жаль, что Городецкого нет.

— Он, кажется, у белых?

— Да. На юге где-то. Это, впрочем, к лучшему. Застрянь он здесь, его живо бы расстреляли.

— Нас же не расстреливают?

— Мы другое дело. Он слишком ребенок: доверчив, восторжен... и прост. Стал бы агитировать, резать большевикам правду

в лицо, попался бы с какими-нибудь стишками... Непременно бы расстреляли. Слава Богу, что он у белых. Но мне его часто недостает — того веселья, которое от него шло.

И прибавлял, улыбаясь:

— В сущности, вся наша дружба с ним — дружба взрослого с ребенком. Я — взрослый, серьезный, скучный. А Городецкий живет — точно в пятнашки играет. Должно быть, нас и привлекло друг в друге ю, что мы такие разные.

* * *

Весной 1920 года Городецкий приехал в Петербург. Приехал с новеньким партийным билетом в кармане и в предшествии коммунистки Ларисы Рейснер. Муж Рейснер, известный Раскольников, комиссар Балтфлота, захватил где-то на фронте вместе с поездом «Освага» и работавшего в «Осваге» Городецкого.

...На эстраде на этот раз стоял не Кольцов, а Ленин, и не вилы, а молот перекрещивался с серпом. И уж не косоворотка, а «революционный» френч был на Городецком.

Рейснер говорила вступительное слово. — Кто из нас бросит в него камнем? У кого из нас руки не выпачканы... грязными чернилами «Речи»? Он заблуждался, — теперь он наш. Забудем прошлое...

После Рейснер — Городецкий, встряхнув кудрями и окинув аудиторию милыми, добрыми серыми глазами, читал стихи о Третьем Интернационале.

Гумилев сказал, пожимая плечами:

— В самом деле, как в него бросишь камнем? Мы же эту его невменяемость поощряли, за нее, в сущности, и любили его. Ведь не за стихи же? Вот он и продолжает играть в пятнашки...

— Только, — прибавил он, — теперь я вижу — Бог с ней, с этой детскостью. Потерял я к ней вкус. Лучше уж жить с обыкновенными незабавными... отвечающими за себя людьми.

* * *

Перед отъездом за границу, осенью 1922 года, я был в Москве. В табачной лавке кто-то хлопнул меня по плечу — Городецкий.

Такой же, как был. Так же мило смотрит, так же улыбается.

— А я, — улыбка расплывается и становится ребяческой, — а я, кто б мог думать, на старости лет — курителем стал... Скажите, что, «Баядерка» — хорошие папиросы?..

Собирая сдачу, он опять, словно вдруг вспомнив, ко мне обернулся. Теперь его серые глаза смотрели грустно и «душевно»:

— А бедный Гумилев!.. Такое несчастье...

Я промолчал.

VIII

В седьмом часу утра лица тех, кто еще оставался сидеть в «Бродячей собаке», делались похожи на лица мертвецов. Яркий электрический свет, пестро раскрашенные стены, объедки и пустые бутылки на столах и на полу. Пьяный поэт читает стихи, которых никто не слушает, пьяный музыкант неверными шагами подходит к засыпанному окурками роялю и ударяет по клавишам, чтобы сыграть похоронный марш, или польку, или то и другое разом. Сонный вешальщик спит, забыв доверенные ему шубы. Директор «Собаки», Борис Пронин, сидит на ступеньках узкой лестнички выхода, засыпанных снегом, гладит свою лохматую злую собачонку Мушку и горько плачет:

— Мушка, Мушка, — зачем ты съела своих детей!..

Лица похожи на лица мертвецов. Кто спит, кто притворяется оживленным. Но какое уж там оживление...

Кто-то выключил электричество в зале. Теперь освещена только соседняя буфетная, и из двери, открытой на лестницу, на ступеньках которой плачет Пронин, падает узкая серая полоса рассвета. В этом сумраке из угла выходит человек и, покачиваясь, идет ко мне. Подходит. Смотрит. У него — кажется — рыжие волосы и тяжелый пристальный взгляд. Я не знаю, кто он, вижу впервые.

— Вы сидите один, и я один. Давайте сидеть вместе.

— Давайте, — говорю я.

— Пьяны?

— Ничуть.

— А я вот пьян. Но это ничего. Это даже хорошо. Но вы, если не пьяны, зачем здесь сидите? Ждете трамвая?

— Поезда. В Гатчину.

— Поезда... В Гатчину... — повторяет мечтательно человек. — Гатчина... Поезд подходит... Снег. Белый. Нет. Синий. Все в снегу. Встает солнце. Блеск — больно смотреть... Какие-нибудь молочницы плетутся... Пар. Деревья в инее...

Он зевает. — Впрочем, все это чепуха. Воняет сажей, как и здесь. И зачем, скажите пожалуйста, вы живете в Гатчине?

Я сказал, что ничуть не пьян. Но это неправда. Я пьян немножко. Я не знаю, кто мой собеседник. И какое ему дело, где я живу? Но, так как я не совсем трезв, его вопрос меня не удивляет. Я не отвечаю — «живу потому, что нравится», или «там суше воздух», — я говорю ему правду. Я переехал в Гатчину потому, что влюблен, и та, в которую я влюблен, живет гам. Мой собеседник слушает молча, дымя короткой трубкой. Он меня не перебивает — и я говорю, повторяя то, что он только что мне говорил — о снеге и встающем солнце. Ну да — я немножко пьян. Но это ничего, это даже хорошо. Я выбалтываю незнакомому человеку, о котором знаю только, что он курит трубку, — выбалтываю все, вплоть до того, что «она мне вчера сказала», вплоть до любовных стихов, позавчера сочиненных:

Закат золотой. Снега
Залил янтарь.
Мне Гатчина дорога,
Совсем как встарь...

Я выбалтываю все. Потом мне становится неловко. Я обрываю фразу, не кончив. Человек с трубкой молчит. Потом говорит с расстановкой:

— Самое лучшее кончать с собой на рассвете. Понятно, если не яд. Яд противно пить утром — все существо содрогается. Так уж человек устроен. Вы решили умереть. Чтобы умереть, вам необходимо проглотить рюмку жидкости или облатку. Но вы одно, а ваш живот другое. Он не желает умирать. Он сопротивляется. Он хочет глотать не стрихнин, а кофе со сливками... Но стреляться на рассвете очень легко, я бы сказал, весело.

— Вешаться тоже весело? — поддерживаю я разговор.

— Вешаться нельзя весело, — отвечает он серьезно, — вешаться надо торжественно. Конечно, если наспех, на собственных

подтяжках, как проворовавшийся подмастерье... Но, представьте, — вы делаете все медленно и методично. Шелковый шнурок хорошо намылен. Крюк прочно вбит. Петля тщательно завязана. Можно прочесть молитву, выкурить последнюю папиросу, выпить последний глоток коньяку. Палач торопит — довольно — к делу. Вы не спорите — бесполезно. Вы надеваете петлю... — Как хороша жизнь!.. Я не хочу!.. — Это ваш живот, легкие, мускулы сопротивляются... Но мозг, палач, беспощаден. — Поговори еще у меня! Трах! Стул, вышибленный из-под ног, катится в угол. Прощайте, господин Лозина-Лозинский... Прощайте, неудачный поэт Любяр!..

Тут мне делается неприятно. Я знаю, что Любяр — псевдоним поэта, который несколько раз неудачно кончал с собой и, наконец, недавно, покончил. Я читал его стихи, то бессмысленные, то ясные, даже слишком, с каким-то оттенком сумасшествия. Во всяком случае, талантливые стихи. Упоминание его имени мне неприятно. Зачем тревожить память мертвого? Я говорю это вслух.

— Предрассудки, — зевает мой собеседник. — Почему можно говорить непочтительно о Петре Петровиче, пока он жив, и нельзя, если он умер. Чепуха. И потом...

Он недоговаривает, что потом. — Ну, мне пора, да и вам, господин влюбленный. Садитесь на извозчика, потом в поезд — солнце, снег... Она сладко спит...

Не буди ее в тусклую рань,
Поцелуем дремоту согрей...

Впрочем, это к вашему случаю не относится. Анненский все эти поцелуи на чистоту не принимал. Он знал, что они значат...

— Что же они значат? — спрашиваю я, разыскивая шубу. Он молчит. Я не повторяю вопроса. У подъезда несколько извозчиков. Мой собеседник садится в первого из них.

— Ну, до свидания.

— Постой, — осаживает он тронувшегося было извозчика. — Послушайте, может быть, позвоните мне как-нибудь? Вот моя карточка. Буду очень рад, очень рад... А насчет поцелуев Анненский, поверьте, знал и всегда помнил — оскаленные зубки, вытекшие глазки, расползающиеся щечки... Трогай!..

Прозябшая лошадь резво уносит сани. Я смотрю на визитную карточку: А. Любяр... Лозина-Лозинский... такая-то улица...

* * *

Месяца через два я получил повестку общества «Медный Всадник» на заседание памяти поэта Любяра. На этот раз (недели через три после нашей встречи) самоубийца-неудачник своего добился.

Вечер был нелепый. В огромном модернизированном кабинете профессора С. собрались человек тридцать. Был чей-то скучный доклад. Потом М. Лозинский читал стихи Любяра, читал он, как всегда, прекрасно, но после чтения вышла глупая путаница с каким-то студентом, предложившим выразить сочувствие «брату покойного и великолепному чтецу его произведений», который, на самом деле, был лишь однофамильцем, никогда не видавшим покойного в глаза. Хозяин-профессор, чтобы загладить впечатление... выпустил Яворскую читать сонеты его собственного сочинения, посвященные разным поэтам. Когда Яворская с актерским пафосом закончила сонет, посвященный Кузмину:

...и юноши нагие,
Стыдливость позабыв, скрываются в альков... —

кто-то свистнул. Профессор покраснел, как бурак. Воцарилась еще большая неловкость.

Стали разносить чай. Все пили молча, молча же жуя птифуры. Один молодой человек, желая развеселить общество, вздумал петь, подыгрывая на рояле, армянские куплеты:

Как в Тифлисе у меня
Был один товарищ,
Очень славный человек,
Только очень глуп.

Лариса Рейснер, тогда еще почти девочка, слушала, слушала, потом встала, топнула ногой и раскричалась, что все это мерзко, недостойно, что она пришла на вечер памяти поэта, а ее угощают пошлостями.

Все разбирали шапки, торопясь поскорей убраться. Хозяин провожал гостей, багровый от конфуза. Его почтенная борода тряслась, и руки дрожали.

Вечер был безобразный, что и говорить. Но шагая домой через Троицкий мост, я вспоминал усмешечку моего недавнего ночного собеседника, и мне казалось, что, может быть, именно такими поминками был бы доволен этот несчастный человек.

IX

Между Петербургом и Москвой от века шла вражда. Петербуржцы высмеивали «Собачью площадку» и «Мертвый переулок», москвичи попрекали Петербург чопорностью, несвойственной «русской душе». Враждовали обыватели, враждовали и деятели искусств обеих столиц.

В 1919 году, в эпоху увлечения электрификацией и другими великими планами, один поэт предложил советскому правительству проект объединения столиц в одну. Проект был прост. Запретить в Петербурге и Москве строить дома иначе, как по линии Николаевской железной дороги. Через десять лет, по расчету изобретателя, оба города должны соединиться в один — Петросква, с центральной улицей — Куз-невский мос-пект. Проект не удалось провести в жизнь из-за пустяка: ни в Петербурге, ни в Москве никто ничего не строил — все ломали. А жаль! Может быть, это объединение положило бы конец двухвековым раздорам.

* * *

Лубочный, но пышный расцвет Москвы времен символизма пришел к концу — «Весы» закрылись.

«Торжествующая реакция» основала петербургский «Аполлон», и Георгий Чулков протанцевал в нем каннибальский танец над трупом врага («О Весах»). Безработные московские «звезды» из второстепенных волей-неволей стали наведываться в Петербург. Кто просто искал заработка, кто собирался «взрывать врага изнутри», делать заговоры и основывать новые школы.

Однажды я попал на такое заговорщицкое собрание. К., молодой человек, писавший стихи, отвел меня где-то в сторону

и таинственно сказал, что со мной очень хочет познакомиться Борис Садовский. Я был польщен. Мне было лет восемнадцать, и я не был особенно избалован славой. Правда, несколько дней тому назад в «Бродячей собаке» какой-то господин буржуазного вида представился мне как мой горячий поклонник, но когда на его замечание «вы такой молодой и уже такой знаменитый» я, с притворной скромностью, возразил: — «Ну, какой же я знаменитый», — он с пафосом воскликнул: «Помилуйте, кто же не знает *Вячеслава* Иванова!..»

Итак — я был польщен и ответил К., что очень рад, в свою очередь, познакомиться с Садовским. К. радостно закивал. «Вот и прекрасно. Приходите к нему завтра вечером — я его предупрежу».

Извозчик подвез меня к мрачному дому на Коломенской улице. На облезлой вывеске над подъездом значилось — «меблированные комнаты» — не то «Тулон», не то «Марсель». Что-то средиземное, во всяком случае. С опаской я поднялся по мрачной лестнице. Босой коридорный нес кипящий самовар. Я спросил его о Садовском. «Пожалуйте за мной, — как раз им самоварчик подаю».

Толкнув коленом дверь, он, без стука, вошел в комнату, обдавая меня, шедшего сзади, чадом. Так, предшествуемый коридорным с самоваром, я впервые — не знаменательно ли! — вошел к поэту, который назвал именем этой машины для приготовления чая одну из своих книг:

Если б кончить с жизнью тяжкой
У родного самовара,
За фарфоровою чашкой,
Тихой смертью от угара.

* * *

Я рисовал себе это свидание несколько иначе. Я думал, что меня встретит благообразный господин, на всей наружности которого отпечатлена его профессия — поэта-символиста. Ну, что-нибудь вроде Чулкова или Рукавишникова. Он встанет с глубокого кресла, отложит в сторону том Метерлинка и, откинув со лба поэтическую прядь, протянет мне руку. «Здравствуйте. Я рад. Вы один из немногих, сумевших заглянуть под покрывало Изиды...»

...В узком и длинном «номере» толпилось человек двадцать поэтов — все из самой зеленой молодежи. Некоторых я знал, некоторых видел впервые. Густой табачный дым застилал лица и вещи. Стоял страшный шум. На кровати, развалясь, сидел тощий человек, плешивый, с желтым потасканным лицом. Маленькие ядовитые глазки его подмигивали, рука ухарски ударяла по гитаре. Дрожащим фальцетом он пел:

Русского царя солдаты
Рады жертвовать собой,
Не из денег, не из платы.
Но за честь страны родной.

На нем был расстегнутый... дворянский мундир с блестящими пуговицами и голубая шелковая косоворотка. Маленькая подагрическая ножка лихо отбивала такт...

Я стоял в недоумении — туда ли я попал. И даже если туда, все-таки не уйти ли? Но мой знакомый К. уже заметил меня и что-то сказал игравшему на гитаре. Ядовитые глазки впились в меня с любопытством. Пение прекратилось.

— Иванов! — громко прогнусавил хозяин дома, делая ударение на *о*. — Добро пожаловать, Иванов! Водку пьете? Икру съели, не надо опаздывать! Наверстывайте — сейчас жженку будем варить!..

Он сделал приглашающий жест в сторону стола, уставленного всевозможными бутылками, и снова запел:

Эх, ты, водка,
Гусарская тетка!
Эх, ты, жженка,
Гусарская женка!..

— Подтягивай, ребята! — вдруг закричал он, уже совершенно петухом. — Пей, дворянство российское! Урра! С нами Бог!..

Я огляделся — «дворянство российское» было пьяно, пьян был и хозяин. Варили жженку, проливая горящий спирт на ковер, читали стихи, пели, подтягивали, пили, кричали «ура», обнимались. Недолго был трезвым и я. — «Иванов не пьет. Кубок Большого Орла ему!» — распорядился Садовский. Отделаться было невозможно. Чайный стакан какой-то страшной смеси

сразу изменил мое настроение. Компания показалась мне премилой и начальственно-приятельский тон хозяина — вполне естественным.

...Табачный дым становился все сильнее. Стаканы все чаще падали из рук, с дребезгом разбиваясь. Как сквозь сон, помню надменно-деревянные черты Николая I, глядящие со всех стен, мундир Садовского, залитый вином, его сухой, желтый палец, поднесенный к моему лицу, и наставительный шепот:

— Пьянство есть совокупление астрала нашего существа с музыкой (ударение на *ы*) мироздания...

* * *

Та же комната. Тот же голос... Те же пронзительно ядовитые глазки под плешивым лбом. Но в комнате чинный порядок, и фальцет Садовского звучит чопорно-любезно. В черном долгополом сюртуке он больше похож на псаломщика, чем на забулдыгу-гусара.

На стенах, на столе, у кровати — всюду портреты Николая I. Их штук десять. На коне, в профиль, в шинели, опять на коне. Я смотрю с удивлением.

— Сей муж, — поясняет Садовский, — был величайшим из государей, не токмо российских, но и всего света. Вот сынок, — меняет он выспренный тон на старушечий говор, — сынок был гусь неважный. Экую мерзость выкинул — хамов освободил. Хам его и укокошил...

Среди портретов всех русских царей от Михаила Федоровича, развешанных и расставленных по всем углам комнаты, — портрета Александра II нет.

— В доме дворянина Садовского ему не место.

— Но ведь вы в Петербурге недавно. Что же, вы всегда возите с собой эти портреты?

— Вожу-с.

— Куда бы ни ехали?

— Хоть в Сибирь. Всех — это когда еду надолго, ну, месяца на два. Ну, а на неделю, тогда беру только Николая Павловича, Александра Благословенного, матушку Екатерину, Петра.

Ну, еще Елизавету Петровну — царица она, правда, была так себе, зато уж физикой хороша. Купчиха! Люблю!..

Садовский излагает свои «идеи», впиваясь в собеседника острыми глазами: принимает ли всерьез. Мне уже успели рассказать, что крепостничество и дворянство напускные, и я всерьез не принимаю.

Острые глазки смотрят пронзительно и лукаво. «...Священная миссия высшего сословия...» Он обрывает фразу, не окончив. — Впрочем, ну все это к черту. Давайте говорить о стихах!..

— Давайте.

* * *

Борис Садовский был слабый поэт. Вернее, он поэтом не был. От русского поэта у него было только одно качество — лень. Лень помешала ему заняться его прямым делом — стать критиком.

Если имя Садовского еще помнят за его бледно-аккуратные стихи — статьи его забыты всеми. Несправедливо забыты. Две книжки Садовского «Озимь» и «Ледоход», право, стоят многих «почтенных» критических трудов.

«Цепная собака «Весов» звали Садовского литературные враги — и не без основания. Список ругательств, часто непечатных, кем-то выбранный из его рецензий, занял полстраницы петита.

Но за ругательствами — был острый ум и понимание стихов насквозь и до конца. За полемикой, счетами, дворянскими придурями, блаженной памятью Николая I были страницы вполне замечательные.

Кстати, карьера Садовского пример того, как опасно писателю держаться в гордом одиночестве. Сидеть в своем углу и писать стихи — еще куда ни шло. Но Садовский, когда его связь — случайная и непрочная — с московскими «декадентами» оборвалась, попытался «поплыть против течения», подавая «свободный глас» из своего «хутора Борисовка, Садовской тож». И его съели без остатка.

Выход «Озими» и «Ледохода» был встречен общим улюлюканием. На свою беду, Садовский остроумно обмолвился — о поэзии по прусскому образцу с Брюсовым-Вильгельмом,

Гумилевым-Кронпринцем и их «лейтенантами». «Гумилев льет свою кровь на фронте, и мы не позволим...» — бил себя в грудь в «письмах в редакцию» Ауслендер. «Мы не позволим», — бил за ним в грудь Городецкий. Время было военное — Садовскому пришлось плохо. За «оскорбленным» Гумилевым никто не прочел и не оценил хотя бы удивительной статьи о Лермонтове, может быть, лучшей в нашей литературе:

«...Собрание поэм Лермонтова — в сущности груда гениальных черновиков, перебелить которые помешала смерть...»

* * *

Среди окружавших Садовского забавной фигурой был тоже «бывший москвич» — поэт Тиняков-Одинокий. При Садовском он был не то в камердинерах, не то в адъютантах.

«Александр Иванович, сбегай, брат, за папиросами». — Тиняков приносил папиросы. — «Александр Иванович — пива!» — «Александр Иванович, где это Кант говорит то-то и то-то?» — Тиняков без запинки отвечал.

Это был человек страшного вида, оборванный, обросший волосами, ходивший в опорках и крайне ученый. Он изучил все, от клинописи до гипнотизма. Главным коньком его был Талмуд, изученный им досконально, но толковавшийся несколько специфически. Тиняков в трезвом виде был смирен и имел вид забитый и грустный. В пьяном, а пьян он был почти всегда, — он становился предприимчивым.

«Бродячая собака». За одним столиком сидят господин и дама — случайные посетители. «Фармацевты», на жаргоне «Собаки». Заплатили по три рубля за вход и во все глаза смотрят на «богему».

Мимо них неверной походкой проходит Тиняков. Останавливается. Уставляется мутным взглядом. Садится за их стол, не спрашивая. Берет стакан дамы, наливает вина, пьет.

«Фармацевты» удивлены, но не протестуют. «Богемные нравы... Даже интересно...»

Тиняков наливает еще вина. «Стихи прочту, хотите?»

«...Богемные нравы... Поэт... Как интересно... Да, пожалуйста, прочтите, мы так рады...»

Икая, Тиняков читает:

Любо мне, плевку-плевочку,
По канавке проплывать,
Скользким боком прижиматься...

— Ну, что... Нравится? — Как же, очень! — А вы поняли? Что же вы поняли? Ну, своими словами расскажите...

Господин мнется. — Ну... эти стихи... вы говорите... что вы плевок... и...

Страшный удар кулаком по столу. Бутылка летит на пол. Дама вскакивает, перепуганная насмерть. Тиняков диким голосом кричит:

— А!.. Я плевок!.. я плевок!.. а ты...

Этот Тиняков в 1920 году неожиданно появился в Петербурге. Он был такой же, как всегда, грязный, оборванный, небритый. Откуда он взялся и чем занимается, никого не интересовало. Однажды он пришел в гости к писателю Г. Поговорили о том, о сем и перешли к политике. Тиняков спросил у Г., что он думает о большевиках. Тот высказал, не стесняясь, что думает.

— А, вот так, — сказал Тиняков. — Ты, значит, противник рабоче-крестьянской власти! Не ожидал! Хоть мы и приятели, а должен произвести у тебя обыск. — И вытащил из кармана мандат какой-то из провинциальных ЧК...

* * *

В 1916 году я был в Москве и завтракал с Садовским в «Праге». Садовский меня «приветствовал», как он выражался. Завтрак был пышный, счет что-то большой. Когда принесли сдачу, Садовский пересчитал ее, спрятал, порылся в кармане и вытащил два медных пятака. «Холоп! — он бросил пятаки на стол. — Тебе на водку». — «Покорнейше благодарим, Борис Александрович», — подобострастно раскланялся лакей, точно получив баснословное «на чай». Я был изумлен. «Балованный народ, — проворчал Садовский. — При матушке Екатерине за гривенник можно было купить теленка...»

Он медленно облачался в свое потертое пальто. Один лакей подавал ему палку, другой шарф, третий дворянскую фуражку.

Через несколько дней я зашел в «Прагу» один. Подавал мне тот же лакей. «Осмелюсь спросить, не больны ли Борис Александрович — что-то их давно не видать». — «Нет, он здоров». — «Ну, слава Богу — такой хороший барин». — «Ну, кажется, на чай он вас не балует?» — Лакей ухмыльнулся. — «Это вы насчет гривенника? Так они когда гривенник, а когда и четвертную отвалят... Не жалуемся — господин хороший...»

X

Осенью 1910 года из третьего класса заграничного поезда вышел молодой человек. Никто его не встречал, багажа у него не было, — единственный чемодан он потерял в дороге.

Одет путешественник был странно. Широкая потрепанная крылатка, альпийская шапочка, ярко-рыжие башмаки, нечищеные и стоптанные. Через левую руку был перекинут клетчатый плед, в правой он держал бутерброд...

Так, с бутербродом в руке, он и протолкался к выходу. Петербург встретил его неприязненно: мелкий холодный дождь над Обводным каналом — веял безденежьем. Клеенчатый городовой под мутным небом, в мрачном пролете Измайловского проспекта, напоминал о «правожительстве».

Звали этого путешественника — Осип Эмильевич Мандельштам. В потерянном в Эйдкунене чемодане, кроме зубной щетки и Бергсона, была растрепанная тетрадка со стихами. Впрочем, существенна была только потеря зубной щетки — и свои стихи, и Бергсона он помнил наизусть...

* * *

— ...В твои годы я сам зарабатывал свой хлеб!

Растрепанные брови грозно нахмуриваются над птичьим личиком. Тарелка с супом, расплескиваясь, отскакивает на середину стола. Салфетка летит в угол...

Отец — не в духе. Он всегда не в духе, отец Мандельштама. Он — неудачник-коммерсант, чахоточный, затравленный, вечно фантазирующий. Постоянные надежды: вот наладится

кожевенное дело. И сейчас же на смену разочарование: не повезло, не вышло, провалилось...

Мать — грузная, вялая, добрая, беспомощная, тайком сующая сыну рубль, сэкономленный на хозяйстве. Девяностолетняя высохшая бабушка, с тройными очками на носу, сгорбленная над Библией: высчитывает сроки пришествия Мессии...

Мрачная петербургская квартира зимой, унылая дача летом. И зимой и летом — обеды в грозном молчании, разговоры вполголоса, страх звонка, страх телефона. Тень судебного пристава, вежливая и неумолимая, дымящийся бурый сургуч... Слезы матери — что мы будем делать? Отец, точно лейденская банка, только тронь — убьет...

Висячая лампа уныло горит. Чай нейдет в горло. «Что мы будем делать?» — Вексель предъявлен к протесту...

Тяжелая тишина. Из соседней комнаты — хриплый шепот бабушки, сгорбленной над Библией: страшные, непонятные, древнееврейские слова.

Ничего — как-то обходится. Пристав снял печати. Вексель согласились переписать. Снова — надежда: кажется, наладится экспорт масла...

Но все знают, что ничего не наладится, все неверно, неустойчиво — должно кончиться чем-нибудь страшным — разрывом сердца, самоубийством, нищетой...

...Худой, смуглый, некрасивый подросток, отделавшись наконец от томительного чаепития, читает у себя в комнате «Критику чистого разума». Трудно читать. Но Куно Фишер валяется под столом — к черту Куно Фишера.

«Головой» — трудно еще уследить за Кантом, но уже все существо впитывает как воздух его «чудный холод». В голове шумок тоже «чудный»: самое сладкое читать так — не умом, предчувствием...

Он откладывает книгу и подходит к окну. На пустом Каменноостровском — фонари. На морозном небе — зимние звезды. Как просторно там, в Петербурге, в мире, в пространстве...

— Осип, ложись спать. Опять отец рассердится.

— Ах, сейчас, мама.

...В голове туман. Кант... Музыка... Жизнь... Смерть... Сердце начинает стучать... Губы начинают шевелиться.

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
Господи! сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди —
Впереди густой туман клубится
И пустая клетка позади...

* * *

Мандельштам — самое смешливое существо на свете.

Где бы он ни находился, чем бы ни был занят — только подмигните ему, и вся серьезность пропала. Только что вел важный и ученый разговор с не менее важным и ученым собеседником, и вдруг:

— Ха-ха-ха-ха...

Он хохочет до удушья. Лицо делается красным, глаза полны слез. Собеседник удивлен и шокирован. Что такое с молодым человеком, рассуждавшим так умно, так вдумчиво? Не болен ли он?..

О, нет, не болен. Впрочем — пусть болен. Все-таки это более правдоподобно, чем если объяснять действительную причину смеха: кто-то чихнул, муха села кому-то на лысину...

— Зачем пишется юмористика? — искренне недоумевает Мандельштам. — Ведь и так все смешно.

Раз мы проходили по Сергиевской, мимо дома, где года два назад Мандельштам, «временно» проклятый и изгнанный отцом (это случалось часто), жил у тетушки с дядюшкой. Жилось Мандельштаму там несравненно лучше, чем дома. И дядюшка, и тетушка ухаживали за племянником чрезвычайно. Тетушка, веселая, розовая, круглая, как шар, закармливала его чем-то жирным и вкусным, худощавый и лысый дядюшка потчевал хорошими папиросами, коньяком и совал в карман пятирублевки. Мандельштам тоже их искренне любил.

«Славные старики, милые старики...»

Мы проходили мимо дома этих «славных стариков». Я заметил на окнах их квартиры белые билетики о сдаче.

— Твои родные переехали? Где же они теперь живут?

— Живут?.. Ха... ха... ха... Нет, не здесь... Ха... ха... ха... Да, переехали...

Я удивился.

— Ну, переехали, — что ж тут смешного?

Он совсем залился краской.

— Что смешного? Ха... ха... А ты спроси, *куда* они переехали!

Задыхаясь от хохота, он пояснил:

— В прошлом году... Тю-тю... от холеры... на тот свет переехали!

И оправдываясь от своей неуместной веселости:

— Стыдно смеяться... Они были такие славные... Но так смешно — оба от холеры... А ты... ты... еще спрашиваешь... Куда пе... Ха... ха... ха... Пе... переехали...

Смешлив — и обидчив.

Поговорив с Мандельштамом час, — нельзя его не обидеть, так же, как нельзя не рассмешить. Часто одно и то же сначала рассмешит его, потом обидит. Или — наоборот.

Это, впрочем, «общепоэтическое» — чувствовать обиды, настоящие и выдуманные, с необыкновенной остротой. И тут же смеяться над ними, и над собой.

Мандельштам обижался за то, что он некрасив, беден, за то, что стихов его не слушают, над пафосом его смеются...

Ну, а Байрон? Он был красив, знаменит и богат, но зато прихрамывал. О, чуть-чуть, почти незаметно. А вряд ли не с этого прихрамывания пошел весь «байронизм»...

Да, это «общепоэтическое». Только о Мандельштаме как-то особенно «позаботилась» недобрая фея, ведающая судьбами поэтов. Она дала ему самый чистый, самый «ангельский» дар и бросила в мир вполне голым, беззащитным, неприспособленным... Барахтайся как можешь.

Он и барахтался:

Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,

О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть!

* * *

Стихи, сочинявшиеся в Швейцарии или Гейдельберге русским студентом, удивлявшим местных жителей смешным клетчатым пледом, общипанными рыжими бачками и привычкой в учебные часы прогуливаться где-нибудь в парке, монотонно бормоча себе под нос (так стихи и сочинялись), стихи эти, рукопись которых потерялась вместе с Бергсоном и зубной щеткой, появились в ноябрьской книжке «Аполлона».

Дано мне тело. Что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

Я прочел это и еще несколько таких же «качающихся» туманных стихотворений, подписанных незнакомым именем, и почувствовал толчок в сердце:

— Почему это не я написал!

Такая «поэтическая зависть» — очень характерное чувство. Гумилев считал, что она безошибочней всех рассуждении определяет «вес» чужих стихов. Если шевельнулось — «зачем не я» — значит, стихи «настоящие».

Стихи были удивительные. Именно удивительные. Они прежде всего *удивляли*.

Я очень «уважал» тогда «Аполлон», чрезмерно, пожалуй, уважал. Сам еще там не печатался и на всех печатавшихся смотрел как на каких-то посвященных. До этой ноябрьской книжки 1910 года все, печатавшееся в стихотворном отделе «Аполлона», я искренне считал поэзией. Но книжка со стихами Мандельштама впервые ввела меня в «роковое раздумье».

Она выглядела особенной, непохожей на прежние. И не к украшению это ей служило...

Впервые блеск «Сребролукого» показался мне несколько... оловянным.

...На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло...

Стихи, подписанные неизвестным именем «О. Мандельштам», переливались, сияли, холодели, как звезды в воде. И от этого «звездного соседства» — очень уж явно обнаруживалась природа всего окружающего, — типографская краска и «верже» высшего качества.

Недели через две, в своей царскосельской гостиной, Гумилев, снисходительно улыбаясь (он всегда улыбался снисходительно), нас познакомил:

— Мандельштам. Георгий Иванов.

Так вот он какой — Мандельштам!

На щуплом теле (костюм, разумеется, в клетку, и колени, разумеется, вытянуты до невозможности, что не мешает явной франтоватости: шелковый платочек, галстук на боку, но в горошину и пр.), на щуплом маленьком теле несоразмерно большая голова. Может быть, она и не такая большая, — но она так утрированно откинута назад на чересчур тонкой шее, так пышно вьются и встают дыбом мягкие рыжеватые волосы (при этом посередине черепа лысина — и порядочная), так торчат оттопыренные уши... И еще чичиковские баки пучками!.. И голова кажется несоразмерно большой.

Глаза прищурены, полузакрыты веками — глаз не видно. Движения странно несвободные. Подал руку и сразу же отдернул. Кивнул — и через секунду еще прямее вытянулся. Точно на веревочке.

Заговорил он со мной, неизвестно почему, по-французски, старательно грассируя. На каком-то слишком «парижском» ррр... как-то споткнулся. Споткнулся, замолчал, залился густой малиновой краской, выпрямился еще надменней...

Это он, совсем меня не зная, не сказав со мной ни одной связной фразы, — уже обиделся на меня. За что? — За то, что он не так что-то выговорил или не так подал руку, и я это заметил и, про себя, что-нибудь непременно подумал...

А через четверть часа он за чаем смеялся до слез какому-то вздору, который я рассказал случайно. Что-то о везшем меня извозчике — чушь какую-то. Смеялся, как ребенок, уткнувшись лицом в салфетку и задыхаясь.

Когда я услышал стихи Мандельштама в его чтении, я был удивлен еще раз.

К странным манерам читать — мне не привыкать было. Все поэты читают «своеобразно» — один пришепетывает, другой подвывает. Я без всякого удивления слушал и «шансонетное» чтение Северянина, и рыканье Городецкого, и панихиду Чулкова. И все-таки чтение Мандельштама поразило меня.

Он тоже пел и подвывал. В такт этому пенью он еще покачивал обремененной ушами и баками головой и делал руками как бы пассы. В соединении с его внешностью пение это должно было казаться очень смешным. Однако не казалось.

Напротив, — чтение Мандельштама, несмотря на всю его нелепость, как-то околдовывало. Он подпевал и завывал, покачивая головой на тонкой шее, и я испытывал какой-то холодок, страх, волнение, точно перед сверхъестественным. Такого беспримесного проявления всего существа поэзии, как в этом чтении, как в этом человеке (во всем, во всем, даже в клетчатых штанах), — я еще не видал в жизни.

И еще раз мне пришлось удивиться в этот первый день нашего знакомства. Кончив читать — Мандельштам медленно, как страус, поднял веки. Под красными веками без ресниц были сияющие, пронизывающие, прекрасные глаза.

* * *

«Над желтизной правительственных зданий» светит, не грея, шар морозного солнца. Извозчики везут седоков, министры сидят в величественных кабинетах, прачки колотят ледяное белье, конногвардейцы завтракают у «Медведя», — но что же делать в этом распорядке царского Петербурга — ему, Мандельштаму, точно и впрямь свалившемуся с какого-то Марса на петербургскую мостовую? Денег у него нет. Его оттопыренные уши мерзнут.

Летит в туман моторов вереница,
Самолюбивый скромный пешеход,

Чудак Евгений — бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет...

Что же, чем не занятие — шагать по тротуару, вдыхая бензин и стыдясь бедности! Тем более что —

...И в мокром асфальте поэт
Захочет — так счастье находит.

Вскоре по приезде из-за границы (в родительском доме стало ему совсем «не житье») Мандельштам зажил самостоятельно.

Мандельштам и самостоятельная жизнь!

Жил все-таки. Ценою долгих переговоров, сложных обменов готового белья на превосходящую его груду нестираного, — из цепких, красных рук прачек вырывались ослепительные пестрые рубашки, которыми любил блистать Мандельштам. Каким-то чудом поддавались уговорам и непреклонные по природе мелкие портные и кроили в кредит, вздыхая и качая головами, крупноклетчатые костюмы на его нелепую фигуру. Это и карманные деньги было самой сложной частью самостоятельного существования. Квартира и стол были делом пустяшным: симпатичные полковники в отставке и добродушные старые евреи, сдающие комнаты и не слишком притесняющие жильцов, в дореволюционные времена водились в Петербурге... Карманные деньги были нужны на табак и на черный кофе: для написания стихотворения в пять строф — Мандельштаму требовалось, в среднем, часов восемь, и в течение этого времени он уничтожал не менее пятидесяти папирос и полуфунта кофе.

Если денег окончательно нет — остается последний выход, утомительный, но верный. Броситься, как в пучину, под замороженную полость извозчика. — Пошел...

Заплатить нечем. Но ведь придется заплатить. Значит, кто-то, где-то заплатит. А уж, наверно, у того, кто заплатит извозчику, найдется трехрублевка и для седока...

Замороженный ванька плетется в «неизвестном направлении». Мелькают другие извозчики, знающие, куда ехать, с седоками, имеющими квартиры и текущие счета в банке. В витринах Елисеева мелькают тени ананасов и винных бутылок, призрак омара завивает во льду красный чешуйчатый хвост. На углу

Конюшенной и Невского продаются плацкарты международных вагонов в Берлин, Париж, Италию... Раскрасневшиеся от мороза женщины кутаются в соболя; за стеклами цветочных магазинов — груды срезанных роз. — И все это так... кажущееся...

Реально — пальто, подбитое ветром, комната, из которой выселяют, извозчик, за которого неизвестно кто заплатит, некрасивое лицо с багровеющими от холода ушами, обиды настоящие и выдуманные, — выдуманные часто больнее настоящих... И все то же, единственное жалкое утешение:

...И в мокром асфальте поэт
Захочет — так счастье находит.

...Зачем пишут юмористику, — не понимаю. Ведь и так *все смешно*...

Раз Мандельштам должен был срочно ехать в Варшаву. Он был влюблен (разумеется, безнадежно). И от этой поездки зависела как-то (или ему казалось, что зависела) «вся его судьба». Было военное время, но он проявил небывалую энергию и выхлопотал все пропуски и разрешения. Но в хлопотах он забыл о «пустяшном» — деньги на поездку.

Ему надо было — «непременно, или умереть», — быть в Варшаве к определенному сроку. И вот — нет денег. И полная, абсолютная невозможность их достать. Я столкнулся с ним в дверях одной редакции, где «высоко ценили» его «прекрасное дарование», но аванса, конечно, не дали. Он сказал тогда:

— Я только теперь понял, что можно умереть на глазах у всех, и никто даже не обернется...

В Варшаву он попал все-таки, — его взял в свой санитарный поезд покойный Н. Н. Врангель. В Варшаве с его «судьбой» произошла какая-то катастрофа, — Мандельштам стрелялся, конечно, неудачно. Отлежавшись в госпитале, он вернулся в Петербург. На другой день после его приезда я встретил его в «Бродячей собаке». Давясь от смеха, он читал кому-то четверостишие, только что им сочиненное:

Не унывай,
Садись в трамвай,
Такой пустой,
Такой восьмой...

Когда пришел «Октябрь» и «неудачникам» всех стран были обещаны и дворцы, и обеды, и всяческие удачи, Мандельштам оказался «на той стороне» — у большевиков. Точнее — около большевиков. В партию он не поступил (по робости, должно быть: придут белые — повесят), товарищем народного комиссара не пристроился. Но терся где-то около, кому-то льстил, пожимал какие-то руки, которые не следовало пожимать, — пожимал и какими-то благами за это пользовался. Это было, конечно, не совсем хорошо, но и не так уж страшно, если подумать, какой безответственной — (притом голодной, беспомощной, одинокой) «птицей Божьей» был Мандельштам. Да и не одному ему из «литераторов российских», и отнюдь при этом не «птицам», вроде Мандельштама, увы, придется элегически вздохнуть:

Какие грязные не пожимал я руки,
Не соглашался с чем...

вспомнив 1918–1920 годы, Смольный, «Асторию», «Белый коридор» Кремля...

...1918 год. Мирбах еще не убит. Советское правительство еще коалиционное — большевики и левые эсеры. И вот в каком-то реквизированном московском особняке идет «коалиционная» попойка. Изобразить эту или подобную ей попойку не могу по простой причине: не бывал. Но вообразить не трудно: интеллигентские бородки и золотые очки вперемежку с кожаными куртками. Советские дамы. «За милых женщин, прелестных женщин».., «Пупсик».., «Интернационал». Много народу, много выпивки и еды. Тут же, среди этих очков, «Пупсика», «Интернационала», водки и икры — Мандельштам. «Божья птица», пристроившаяся к этой икре, к этим натопленным и освещенным комнатам, к «ассигновочке», которую Каменева завтра выпишет, если сегодня ей умело польстить. Все пьяны, Мандельштам тоже навеселе. Немного, потому что пить не любит. Он больше насчет пирожных, икры, «ветчинки»...

Советская попойка, конечно, тоже смешна: и как всякое сборище пьяных людей, и «индивидуально»; и советскими манерами «прелестных женщин», и этим «мощным» «Интернационалом», и мало ли чем. «Коалиция» пьет, Мандельштам ест

икру и пирожные. Каменева на тонкую лесть мило улыбнулась и сказала: «Зайдите завтра к моему секретарю». «Пупсик» гремит. Тепло. Все хорошо. Все приятно. Все забавно. И... много пить не следует, но рюмку, другую...

Но вдруг улыбка на лице Мандельштама как-то бледнеет, вянет, делается растерянной... Что такое? Выпил лишнее? Или пепел душистой хозяйской сигары прожег сукно только что с такими хлопотами сшитого костюма?..

Или зубы, несчастные его зубы, которые вечно болят, потому что к дантисту, который начнет их сверлить, пойти не хватает храбрости, — зубы эти заныли от сахара и конфет?..

Нет, другое.

С растерянной улыбкой, с недоеденным пирожным в руках Мандельштам смотрит на молодого человека в кожаной куртке, сидящего поодаль. Мандельштам знает его. Это Блюмкин, левый эсер. Знает и боится, как боится, впрочем, всех, кто в кожаных куртках. Он решительно предпочитает мягко поблескивающие очки Луначарского или надушенные, отманикюренные ручки Каменевой. Кожаные куртки его пугают, этот же Блюмкин особенно. Это чекист, расстрельщик, страшный, ужасный человек... Обыкновенно Мандельштам старается держаться от него подальше, глазами боится встретиться. И вот теперь смотрит на него, не сводя глаз, с таким странным, жалким, растерянным видом. В чем дело?

Блюмкин выпил очень много.

Но нельзя сказать, чтобы он выглядел совершенно пьяным. Его движения тяжелы, но уверенны. Вот он раскладывает перед собою на столе лист бумаги — какой-то список, разглаживает ладонью, медленно перечитывает, медленно водит по листу карандашом, делая какие-то отметки. Потом, так же тяжело, но уверенно, достает из кармана своей кожаной куртки пачку каких-то ордеров...

— Блюмкин, чем ты там занялся? Пей за революцию...

И голосом, таким же тяжелым, с трудом поворачивающимся, но уверенным, тот отвечает:

— Погоди. Выпишу ордера... контрреволюционеры...

— Сидоров? А, помню. В расход. Петров? Какой такой Петров? Ну, все равно, в расх...

Вот на это-то смотрит, это и слушает Мандельштам. Бездомная птица Божья, залетевшая сюда погреться, поклевать икры, выпросить «ассигновочку».

Слышит и видит:

— ...Сидоров? А, помню, в расх...

...Ордера уже подписаны Дзержинским. Заранее. И печать приложена. «Золотое сердце» доверяет своим сотрудникам «всецело». Остается только вписать фамилии и... И вот над пачкой таких ордеров тяжело, но уверенно поднимается карандаш пьяного чекиста.

— ...Петров? Какой такой Петров? Ну, все равно...

И Мандельштам, который перед машинкой дантиста дрожит, как перед гильотиной, вдруг вскакивает, подбегает к Блюмкину, выхватывает ордера, рвет их на куски.

Потом, пока еще ни Блюмкин, никто не успел опомниться, — опрометью выбегает из комнаты, катится по лестнице и дальше, дальше, без шапки, без пальто, по ночным московским улицам, по снегу, по рельсам, с одной лишь мыслью: погиб, погиб, погиб... Всю ночь он пробродил по Москве, в страшном возбуждении. Может, благодаря этому возбуждению он, хватавший ангину от простого сквозняка, тут, пробыв на морозе без пальто всю ночь, даже не простудился. — «О чем же ты думал?» — спросил я его. — «Ни о чем. Читал какие-то стихи, свои, чужие. Курил. Когда начался рассвет и Кремль порозовел, сел на скамейку у Москва-реки и заплакал...»

Сел на скамейку, заплакал. Потом встал и пошел в этот самый зарозовевший Кремль, к Каменевой.

Каменева, конечно, еще спала, он ждал. В десять часов Каменева проснулась. Ей доложили о Мандельштаме. Она вышла, всплеснула руками и сказала:

— Пойдите в ванную, причешитесь, почиститесь! Я вам дам пальто Льва Борисовича. Нельзя же в таком виде везти вас к товарищу Дзержинскому.

И Мандельштам «чистился» в каменевской ванной, лил себе на голову каменевский одеколон, перевязывал галстук, ваксил башмаки. Потом пил с Каменевой чай. Пили молча.

Она молчала, и он молчал.
И о чем говорить, мой друг?..

Потом поехали.

Дзержинский принял сейчас же, выслушал внимательно Каменеву. Выслушал, потеребил бородку.

Встал. Протянул Мандельштаму руку.

— Благодарю вас, товарищ. Вы поступили так, как должен был поступить всякий честный гражданин на вашем месте. — В телефон: — Немедленно арестовать товарища Блюмкина и через час собрать коллегию ВЧК для рассмотрения его дела. — И снова, к дрожащему дрожью счастья и ужаса Мандельштаму:

— Сегодня же Блюмкин будет расстрелян.

— Тттоварищ... — начал Мандельштам, но язык не слушался, и Каменева уже тянула его за рукав из кабинета. Так он и не выговорил того, что хотел выговорить: просьбу арестовать Блюмкина, сослать его куда-нибудь (о, еще бы, какая же, если Блюмкин останется в Москве, будет жизнь для Мандельштама!). Но... «если можно», не расстреливать.

Но Каменева увела его из кабинета, довела до дому, сунула в руку денег и велела сидеть дня два, никуда не показываясь, — «пока вся эта история не уляжется...»

Выполнить этот совет Мандельштаму не пришлось. В двенадцать дня Блюмкина арестовали. В два — над ним свершился «строжайший революционный суд», а в пять какой-то доброжелатель позвонил Мандельштаму по телефону и сообщил: «Блюмкин на свободе и ищет вас по всему городу».

Мандельштам вздохнул свободно только через несколько дней, когда оказался в Грузии. Как он добрался туда — одному Богу известно. Но добрался-таки, вздохнул свободно. Свобода, впрочем, была довольно относительная: его посадили в тюрьму, приняв за большевистского шпиона.

Через несколько месяцев Блюмкин провинился «посерьезнее», чем подписыванием в пьяном виде ордеров на расстрел: он убил графа Мирбаха. Мандельштам из осторожности «выждал события»: мало ли, как еще обернется. Но все шло отлично — левые эсеры рассажены по тюрьмам. Блюмкин, заочно приговоренный к расстрелу, исчез. Мандельштам стал собираться в Москву. Денег у него не было, той «энергии ужаса», которая чудом перенесла его из Москвы в Грузию, тоже.

Все ничего — устроилось. Помогли друзья — грузинские поэты: выхлопотали для Мандельштама... высылку из Грузии в административном порядке.

Первый человек, который попался Мандельштаму, только что приехавшему и зашедшему поглядеть, «что и как» в кафе поэтов, был... Блюмкин. Мандельштам упал в обморок Хозяева кафе — имажинисты — уговорили Блюмкина спрятать маузер. Впрочем, гнев Блюмкина, по-видимому, за два года поостыл: Мандельштама, бежавшего от него в Петербург чуть ли не в тот же вечер, он не преследовал...

XI

Две узкие комнаты с окошками у потолка, точно в подвале. Но это не подвал, напротив — шестой этаж. Если подняться на носки или, еще лучше, стать на стул — внизу виден засыпанный снегом Таврический сад.

Комнаты небольшие. Мебель сборная. На стенах снимки с Боттичелли: нежно-грустные дети-ангелы на фоне мягкого пейзажа, райски-земного. Много книг. Если посмотреть на корешки — подбор пестрый. Жития святых и Записки Казановы, Рильке и Рабле, Лесков и Уайльд. На столе развернутый Аристофан в подлиннике. В углу, перед потемневшими иконами, голубая «архиерейская» лампадка. Смешанный запах духов, табаку, нагоревшего фитиля. Очень жарко натоплено. Очень светло от зимнего солнца.

Это комнаты Кузмина в квартире Вячеслава Иванова.

Первая — приемная, вторая — спальня. Кузмин встает часов в десять и работает в спальне у конторки — такой, за какими купцы сводят счеты. Работает — стоя. Сидя — засыпаешь, уверяет он. Пишет Кузмин, по большей части, прямо набело. Испишет несколько страниц, погрызет кончик ручки и опять, не отрываясь, покрывает новые, почти без помарок.

Пока Кузмин работает — в «приемной» начинают собираться посетители. Какие-то лощеные штатские, какие-то юнкера. Зеленые обшлага правоведов, красные — лицеистов.

Это эстеты — поклонники «петербургского Уайльда», — как они Кузмина называют.

Пока мэтр работает, эстеты болтают вполголоса.

— Я сейчас перечитываю Леконт де Лиля, — говорит один. — Как это прекрасно.

Другой, менее литературный, рассеянно морщится:

— Quel est ce comte, André?[3]

— Вилье де Лиль Адан — мой милый, — вставляет насмешливо третий.

Но литературный эстет не чувствует насмешки. Он равнодушно пожимает плечами:

— Connais pas...[4]

...такие гении, как Леонардо да Винчи...

...Леонардо, Леонардо — что такое ваш Леонардо! Если бы Аким Волынский не написал о нем книги, никто бы о нем не помнил. Вот Клевер...

...А Петька-то опять у «Медведя» устроил скандал — слыхали? — вставляет, соскучившись умными разговорами, эстет вовсе серый. — Нализался, велел принести миску, пустил туда омара... — Рассуждавшие о Леонардо смотрят на него укоризненно — кричит во весь голос и еще какую-то чушь. Что скажет мэтр?

Но мэтр как раз заинтересован.

— Что вы говорите, Жоржик? Опять нализался! Ха, ха! Омара в миску? Ха, ха! Ну, и что же? Что потом? Хотел драться? Какой сорванец! Обошлось без протокола? Ну, слава Богу. Все-таки влетит ему от ротмистра. Он заедет? Лежит дома? Надо навестить бедняжку...

Кузмин возвращается к своей конторке. Горничная приносит чай. Хрустя английским печеньем, дымя египетскими папиросами, эстеты продолжают болтовню.

...Роджерс вчера была очаровательна...

Тот же день вечером. У Вячеслава Иванова гости. В сводчатой зале, обставленной старинной итальянской мебелью, — «таврический мудрец» ведет важную беседу на какую-нибудь редкую и ученую тему. Это не «среда», когда в этой гостиной собирается

---

[3] Что это за граф, Андре? (*фр.*).

[4] Не знаю такого... (*фр.*).

весь литературный Петербург; несколько избранных, «посвященных» собрались потолковать о «тайнах искусства», недоступных профанам.

Кузмина нет. Но ведь это естественно. Что ему делать среди седобородых профессоров?

Нет — Вячеслав Иванов уже дважды посылал спрашивать, «не вернулся ли Михаил Алексеевич». Наконец, Кузмин входит. Папироса в зубах, запах духов, щегольской костюм, рассеянно-легкомысленный вид. Что ему тут делать?

— Как хорошо, что вы пришли, дорогой друг, — говорит Вячеслав Иванов. — Мы поспорили тут на интересную филологическую тему. Профессору мои доводы кажутся неубедительными. Я рассчитываю на вашу эрудицию...

***

Когда в 1909 году я познакомился с Кузминым, Кузмин только что сбрил бороду. Если бы это касалось кого-нибудь другого — можно было бы о бороде и не упоминать. Но в биографии Кузмина сбритая борода, фасон костюма, сорт духов или ресторан, где он завтракал, — факты первостепенные. Вехи, так сказать. По этим «вехам» можно проследить всю «кривую» его творчества.

Итак — Кузмин только что сбрил бороду. Еще точнее: перестал интересоваться своей внешностью, менять каждый день цветные жилеты, маникюрить руки. Перестал запечатывать письма оранжевым сургучом с оттиском своего герба, перестал душить их приторным «Астрисом». Короче: апостол петербургских эстетов, идеал денди с солнечной стороны Невского стал равнодушен и к дендизму и к эстетизму.

Перестал. Но костюмы элегантного покроя еще остались, запах «Астриса» из хрустящей бумаги еще не выветрился. И эти донашиваемые костюмы, эта дописываемая бумага приобрели вдруг «шарм», которого им прежде не хватало, — законный, скромный, побочный шарм вещей «при человеке».

Перестали быть (или казаться) целью — приобрели прелесть.

Маркизы, мушки, XVIII век, стилизованное вольнодумство, подвиги великого Александра, лотосы, Нил, нубийцы, опять

XVIII век и маркизы — все, о чем писал Кузмин до тех пор, — перестало его интересовать вместе с галстуками и цветными сургучами. Но галстуки еще донашивались. Кузмин, бросив изысканные темы, — перешел к обыкновенным. Но его язык, манера, легкость — остались. И, перестав быть целью, — приобрели прелесть.

...В 1909–1910 гг. Кузмин дописывал роман «Прекрасный Иосиф», последние стихи из «Осенних озер» — лучшее из им написанного и в прозе и в стихах. Вещи Кузмина той эпохи были совсем хороши, особенно проза. Казалось, что поэт-денди, став просто поэтом, выходит на настоящую, широкую дорогу.

Казалось...

На «настоящую» дорогу Кузмин не вышел. В 1909–1910 году он дописывал свои лучшие вещи. Следующая за «Осенними озерами» книга стихов «Глиняные голубки» — падение, не резкое, но явное. Следующий роман — «Мечтатели» — тоже. Старые галстуки донашивались, новые не покупались. «Прекрасная ясность» стала походить на опасную легкость. Изящная небрежность — быстро превратилась в неряшливость. Освободившись от своего прежнего «эстетического» содержания, писания Кузмина с каждой новой вещью все определеннее делались болтовней безо всякого содержания вообще. Зинаида Петровна дрянь и злюка, она интригует и пакостит, у нее длинный нос, который она вечно пудрит. А подпоручик Ванечка похож на ангела... — вот и тема для повести, а то и для романа. И ставшая предательской «прекрасная ясность» придает все более мертво-фотографический оттенок пустым «разговорчикам» неинтересных персонажей...

Как же это случилось?

***

Сбритая борода, сорт духов, ресторан, где Кузмин завтракал, повторяю, — факты первостепенные в его биографии. Такова уж его «женственная» природа: мелочи занимают одинаковое место с важным, иногда большее. Судьба таких писателей целиком зависит от «воздуха», которым они дышат, — как бы талантливы они ни были. Даже так талантливы, как Кузмин.

Вначале Кузмин попал в блестящую среду — лучше нельзя было для него придумать. Он поселился в квартире Вячеслава Иванова, и все лучшее из написанного Кузминым — написано под «опекой» этого — может быть, единственного за всю историю русской литературы — знатока, ценителя, *друга* поэзии. Сам поэт холодный, тяжелый, книжный — чужие стихи, чужой дар В. Иванов понимал и умел направлять, как никто.

Жизнь у В. Иванова была именно то, что Кузмину было нужно. Он стал писать уверенней, «звук» его поэзии становился все чище.

Но произошло охлаждение, и Кузмин от Иванова уехал. Жить один он органически не мог — немного времени спустя его уже окружает новое общество, тоже литературное. Он опять живет под одной крышей с другим писателем. Жить Кузмин один не мог — ему нужен был «воздух», чтобы дышать. Но вот воздух найден. И Кузмин дышит им так же свободно, как воздухом ивановской «башни».

Теперь он под опекой писательницы Н., автора «Гнева Диониса», — живет у нее. Теперь она дает ему литературные советы. Эстетические правоведы и юнкера, перекочевав за «мэтром» в гостеприимные салоны этой салонной писательницы, — довольны. Здесь гораздо веселей, чем на Таврической. Доволен и Кузмин — нет над ним «никакого начальства», никто его не «направляет», никто не «рассчитывает на его эрудицию», когда ему лень после хорошего обеда вести умные разговоры. Здесь, за глаза и в глаза, называют его гением и на каждое его слово ахают от восторга...

...Михаил Алексеевич — вы русский Бальзак!

...Кузмин — это маркиз, пришедший к нам из дали веков...

...Он выстрадал свою философию...

Автор «Гнева Диониса», знаменитая писательница, внушает своему новому «союзнику»:

— Вы тонкий. Вы чуткий. Эти декаденты заставляли вас ломать свой талант. Забудьте то, что они вам внушали... Будьте самим собой.

Забыть так нетрудно. Стать «самим собой» так приятно. Писать, не ломая талант, — так легко. Теперь не то что переделок — и помарок не бывает.

И, главное, — никаких мудрствований, никаких подводных течений: Зинаида Петровна дрянь и злюка и вечно пудрит нос. А подпоручик Ванечка — ангел...

Дважды два — четыре,
Два да три — пять,
Вот и все, что мы можем,
Что мы можем знать...

...Charmant, charmant[5]...

...Он выстрадал свою философию...

***

— Как вы думаете, включать мне эти стихи в книгу? — спрашиваю я у Кузмина.

Кузмин смотрит удивленно.

— Почему же не включать? Зачем же тогда писали? Если сочинили — так и включайте.

Он сам «включает» все, что написалось. Пишет, между прочим, что придется. Сонет-акростих, и поэму, и слова для балета. На одной странице стихи о сивилле, явившейся поэту (правда, они посвящены Н., что несколько смягчает их важный тон), а на другой:

Как радостна весна в апреле,
Как нам пленительна она;
В начале будущей недели
Пойдем сниматься у Боасона...

На самом деле собирался идти сниматься. За завтраком у Альбера — об этом проекте заговорили, пришла рифма весна — Боасона, а там и весь «стишок». Придя домой, Кузмин аккуратно переписал его в тетрадку. Собирая новую книгу — не забыл вставить и этот.

...Зачем же не включать? Если написали, так и включайте...

Сочиняет стихи на ходу. Шел к вам — вот, сочинил по дороге. Пишет музыку — в комнате, где играют дети сестры. Басы

[5] Очаровательно, очаровательно... (*фр.*).

на рояле ему не нужны; дети колотят по басам изо всей силы. А с другого бока, на клавишах повыше, Кузмин подбирает новую песенку, стряпает свою «музычку с ядом».

Прозу пишет прямо набело. — Зачем же переписывать, у меня почерк хороший?..

Сестры — тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...

Сестры «прекрасная ясность» и «опасная легкость» — ваши приметы тоже одинаковы, для невнимательных, для не желающих быть внимательными глаз...

Но сам Кузмин — какая затейливая жизнь, какая странная судьба!

...Кузмин ходит в смазных сапогах и поддевке.

...Кузмин принимает гостей в шелковом кимоно, обмахиваясь веером...

...Он старообрядец с Волги...

...Он еврей...

...Он служил молодцом в мучном лабазе...

...Он воспитывался в Италии у иезуитов...

...У Кузмина удивительные глаза...

...Кузмин урод...

В этих пересудах много вздора, но в самом вздорном есть капля истины. Шелковые жилеты и ямщицкие поддевки, старообрядчество и еврейская кровь, Италия и Волга — все это кусочки пестрой мозаики, составляющей биографию Михаила Алексеевича Кузмина.

И внешность почти уродливая и очаровательная. Маленький рост, смуглая кожа, распластанные завитками по лбу и лысине, нафиксатуаренные пряди редких волос — и огромные удивительные «византийские» глаза. Жизнь Кузмина сложилась странно. Литературой он стал заниматься годам к тридцати. До этого занимался музыкой, но недолго. А раньше?

Раньше была жизнь, начавшаяся очень рано, страстная, напряженная, беспокойная. Бегство из дому в шестнадцать лет, скитания по России, ночи на коленях перед иконами, потом атеизм и близость к самоубийству. И снова религия, монастыри, мечты о монашестве. Поиски, разочарования, увлечения

без счету. Потом — книги, книги, книги, итальянские, французские, греческие. Наконец, первый проблеск душевного спокойствия — в захолустном итальянском монастыре, в беседах с простодушным каноником. И первые мысли об искусстве — музыке...

***

Кузмин готовился быть композитором — учился у Римского-Корсакова. Консерватории не кончил, но музыки не бросил. Именно занятию музыкой Кузмин обязан своей быстрой литературной славой, может быть, и всей своей карьерой.

Музыкальный критик В. Каратыгин где-то услышал игру Кузмина и ею пленился. В качестве музыканта Кузмин и вошел в петербургский поэтический круг — а там уж распознали его настоящее призвание.

Стихам Кузмина «учил» Брюсов.

— Вот вы все ищете слов для музыки, — уговаривал его Брюсов, — и не находите подходящих. А другие находят без труда — берут первое попавшееся, какого-нибудь Ратгауза, и довольны. Вы же не находите. Почему? Потому, что для вас слова не менее важны. Значит, вы должны сами их сочинять.

— Помилуйте, Валерий Яковлевич, как же сочинять? Я не умею. Мне рифм не подобрать.

И Брюсов учил тридцатилетнего начинающего «подбирать рифмы». Ученик оказался способным.

Кстати — о кузминской музыке. Сам он определял ее так: — У меня не музыка, а музычка, но в ней есть яд.

Точное определение.

Какая-нибудь петербургская гостиная. Дамы и молодые люди, поднесенные к глазам лорнетки, учтивые улыбки. — Михаил Алексеевич, сыграйте. — Кузмин по-женски жеманится. — Право, не знаю... — Пожалуйста, пожалуйста. — Жеманясь, Кузмин идет к роялю. Тоже как-то по-женски трогает клавиши. С улыбкой оборачивается. — Но что же мне играть? Я не помню, я забыл ноты...

Дитя, не тянися весною за розой,
Розу и летом сорвешь...

Кузмин, картавя и пришептывая, поет, по-старушечьи, подыгрывая что-то сладко-меланхолическое. Голоса у него нет. Пустые, глуповатые слова, пустая, глуповатая музыка под XVIII век. Не музыка — музычка. Закройте глаза: разве это не бабушка-помещица, окруженная внуками, играет, вспоминая молодость, старинные чувствительные романсы?

Когда бы в юности мы знали,
Как быстро дни любви бегут,
Мы б ничего не пропускали,
Ловя блаженство там и тут...

Не музыка — музычка. Но в ней — яд.

Уже не в салоне, а окруженный знатоками, поет и играет Кузмин. Каратыгин. Метнер. Браудо. Они внимательно слушают это странное «чудо». Подражательно? — Еще бы. Банально? — Банально. Легковесно? — Легковесно. Но...

— Михаил Алексеевич, еще, еще спойте...

Дребезжит срывающийся голос, плывут с простенькой мелодией — глуповато-чувствительные «стишки», привычно сталкиваются незатейливые рифмы:

Мне матушка сказала:
Беги любови злой,
Ее опасно жало,
Уколет не иглой.
Я матушке послушна,
Приму ее совет,
Но можно ль равнодушной
Прожить в шестнадцать лет?

***

И литературная судьба у Кузмина странная.

После 1905 года вкусы русской «передовой» публики начали меняться. Всевозможные «дерзания» ее утомили. После громов первых лет символизма хотелось простоты, легкости, обыкновенного человеческого голоса.

Кузмин появился как нельзя вовремя.

Первое стихотворение его первой книги начиналось строчками, прозвучавшими тогда как откровение:

Где слог найду, чтоб описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку...

Вот, вот — именно. Все устали от слога высокого, все хотели «прекрасной ясности», которую провозгласил Кузмин.

И редко чье имя произносилось с большим вниманием и надеждой, чем тогда имя Кузмина. И не только читателями, но и людьми, чье одобрение вряд ли можно было заслужить не по праву, — В. Ивановым, Иннокентием Анненским. Для лучшей части тогдашней поэтической молодежи имя Кузмина было самым дорогим.

Они пленительны и сейчас, его ранние вещи. И сейчас, когда очарование новизны прошло, а все недостатки этой поэзии проступили. Перечтите «Сети», «Осенние озера», первые три тома рассказов, «Куранты любви». При всех «частностях», — это прекрасное достояние русской литературы. И это, я думаю, в ней останется.

Но:

...Зачем же переписывать — у меня почерк хороший...

...Если написали — так и включайте...

...Он выстрадал свою философию...

...В начале будущей недели пойдем сниматься к Боасона...

Прекрасная ясность — опасная легкость.

У Кузмина было все, чтобы стать замечательным писателем. Не хватало одного — твердости. «Куда ветер подует».

Ветер подул сначала в сторону бульварного романа, потом обратно к стилизации, потом к Маяковскому, потом еще куда-то. Для судеб русской поэзии эта «смена ветров» уже давно стала безразличной.

XII

Василеостровская вдова-чиновница, колебавшаяся, сдавать или не сдавать комнату Гумилеву, говорила:

— Конечно, вы господин солидный... Слава Богу, я господ знаю... Собственный домик, говорите, в Царском? Так, так.

Комнатку, чтобы было где переночевать, когда наезжаете?.. Так, так. Понятно, нынче с поездами мучение. Верю, сударь, и понимаю; знаю, слава Богу, господ. Мне такой жилец, как вы, — самый подходящий. Только... Желаете, я вам адресок дам, недалеко, тут же на Тучковом — тоже комнаты сдаются. Вы поглядите, может, подойдут...

— Да зачем я пойду глядеть? Мне у вас нравится.

Вдова жеманно улыбалась.

— И вы мне нравитесь, господин. Слава Богу... Вижу, с кем имею дело. Собственный домик... Жилец тихий, образованный...

— Ну, так что ж? Давайте по рукам. Завтра же и перееду.

Вдова помолчала минуту.

— Тут же, на Тучковом. За углом. Хорошие комнаты, светлые. Одна подполковница сдает. Сходите, господин, вам понравится... А я, извиняюсь, — опасаюсь...

— Чего же вы опасаетесь?

— Да ведь вы сами сказали, что поéты. А в поéты, известно, публика идет, извиняюсь, не того... Женщина я старая, мне покой дороже. Сходите, господин, к генеральше...

Как это ни обидно, надо сознаться, что устами старухи говорила житейская мудрость. «Шла в поэты» публика, действительно, «не того» — странная, шалая, беспокойная...

***

Поэт Владимир Нарбут ходил бриться к Молле — самому дорогому парикмахеру Петербурга.

— Зачем же вы туда ходите? Такие деньги, да еще и бреют как-то странно.

— Гы-ы, — улыбается Нарбут во весь рот. — Гы-ы, действительно, дороговато. Эйн, цвей, дрей — лосьону и одеколону, вот и три рубля. И бреют тоже — ейн, цвей, дрей — чересчур быстро. Рраз — одна щека, рраз — другая. Страшно — как бы носа не отхватили.

— Так зачем же ходите?

Изрытое оспой лицо Нарбута расплывается еще шире.

— Гы-ы! Они там все по-французски говорят.

— Ну?

— Люблю послушать. Вроде музыки. Красиво и непонятно...

Этот Нарбут был странный человек.

В 1910 году вышла книжка: «Вл. Нарбут. Стихи». Талантливая книжка. Темы были простодушные: гроза, вечер, утро, сирень, первый снег. Но от стихов веяло свежестью и находчивостью — «Божьего дара».

Многое было неумело, иногда грубовато, иногда провинциально-эстетично (последнее извинялось тем, что большинство стихов было подписано каким-то медвежьим углом Воронежской губернии), многое было просто зелено — но все-таки книжка обращала на себя внимание, и в «Русской мысли» и «Аполлоне» Брюсов и Гумилев очень сочувственно о ней отозвались. Заинтересовались стихами, заинтересовались и автором — где он, каков? Оказалось — Нарбут, брат известного художника Егора Нарбута. Обратились к художнику с расспросами. Тот покрутил головой.

— Братишка мой? Ничего, парень способный. Только не надейтесь — толку не будет. Пьет сильно и вообще хулиган...

— Где же он?

— У себя в Саратовской, именьице там у него. Пьянствует, должно быть, — осенью у него всегда кутеж: урожай продал.

— А в Петербург не соберется?

— Соберется, не беспокойтесь. Особенно теперь, как вы его по «Аполлонам» расхвалили. Успеете познакомиться... И пожалеть о знакомстве успеете...

Разговор шел в ноябре. А в январе секретарь «Аполлона» был вызван в суд свидетелем по делу сотрудника «Аполлона», «дворянина Владимира Нарбута». Нарбут собрался, наконец, в Петербург, и в первый же вечер был задержан «за оскорбление полицейского при исполнении служебных обязанностей». Ночью, по дороге из «Давыдки» в какой-то другой кабак, подзадориваемый сопровождавшими его прихлебателями, пытался влезть на хребет одного из коней Клодта на Аничковом мосту и нанес тяжкие побои помешавшему ему городовому...

* * *

Нарбут приехал в Петербург не для того только, чтобы оседлать чугунного скакуна, уплатить по суду соответственный

штраф и завести литературные знакомства. У него была цель и посерьезней — удивить и потрясти и Петербург и литературу.

Когда Нарбуту говорили что-нибудь лестное о его прежних стихах — он только улыбался загадочно-снисходительно: погодите, то ли будет. Вскоре, го там, то здесь, в литературной хронике промелькнула новость: Вл. Нарбут издает новую книгу «Аллилуйя». Как известно, значение, которое поэт придает появлению своей книги, — обратно пропорционально впечатлению от этого же события на читателя. По подсчету Брюсова, его читали, по всей России, около тысячи человек. Брюсова в преуменьшении из скромности заподозрить трудно. А подсчитано это в разгар всероссийской славы Брюсова и читательского интереса к нему. Чего же было ждать начинающему? От одобрительных рецензий в «Аполлоне» и «Русской мысли» до славы, ну, по крайней мере, как у Леонида Андреева, было очень далеко. Нарбут, при всей своей самонадеянности, это понимал. Но так как славы ему очень хотелось, ждать у моря погоды было не в его нравах, а довольствоваться малым он не привык, то Нарбут и решил форсировать события.

***

Синодальная типография, куда была сдана для набора рукопись «Аллилуйя», ознакомившись с ней, набирать отказалась «ввиду светского содержания». Содержание, действительно, было «светское» — половина слов, составляющих стихи, была неприличной.

Синодальная типография потребовалась Нарбуту — потому что он желал набрать книгу церковнославянским шрифтом. И не простым, а каким-то отборным. В других типографиях такого шрифта не оказалось. Делать нечего — пришлось купить шрифт. Бумаги подходящей тоже не нашлось в Петербурге — бумагу выписали из Парижа. Нарбут широко сыпал чаевые наборщикам и метранпажам, платил сверхурочные, нанял даже какого-то специалиста по церковнославянской орфографии... В три недели был готов этот типографский шедевр, отпечатанный на голубоватой бумаге с красными заглавными буквами,

и (Саратов дал себя знать) портретом автора с хризантемой в петлице, и лихим росчерком...

По случаю этого события в «Вене» было устроено Нарбутом неслыханное даже в этом «литературном ресторане» пиршество. Борис Садовский в четвертом часу утра выпустил все шесть пуль из своего «бульдога» в зеркало, отстреливаясь от «тени Фаддея Булгарина», метр-д'отеля чуть не выбросили в окно — уже раскачали на скатерти — едва вырвался. Нарбут в залитом ликерами фраке, с галстуком на боку и венком из желудей на затылке, прихлебывая какую-то адскую смесь из пивной кружки, принимал поздравления. Городецкий (это он принес венок из желудей) ухаживал за «юбиляром» деятельней всех. Он уже выпил с ним на «ты» и теперь, колотя себя в грудь, пророчествовал:

— Ты... ты... я верю... вижу... будешь вторым... Кольцовым.

Но Нарбут недовольно мотнул головой.

— Ккольцовым?.. Ннне хочу...

— Как? — ужаснулся Городецкий. — Не хочешь быть Кольцовым? Кем же тогда? Никитиным?

Нарбут наморщил свой изрытый, безбровый лоб. Его острые глазки лукаво блеснули.

— Не... Хабриэлем Даннунцио...

***

Славы «Хабриэля Даннунцио» — «Аллилуйя» Нарбуту не принесла. Книга была конфискована и сожжена по постановлению суда.

Не знаю, подействовала ли на Нарбута эта неудача, или на «Аллилуйя» ушел весь запас его изобретательности.

...Нарбут не пьет... Нарбут сидит часами в Публичной библиотеке... Нарбут ходит в Университет... Для знавших автора «Аллилуйя» — это казалось невероятным. Но это была правда. Нарбут — «остепенился».

В этот «тихий» период я встречал его довольно часто, то там, то здесь. Два-три разговора запомнились. Я и не предполагал, как крепко сидит в этом кутиле и безобразнике страсть, наивная «страсть к прекрасному».

Постукивая дрянной папирос" по своему неприлично большому и тяжелому портсигару (вдобавок украшенному бриллиантовым гербом рода Нарбутов), морща рябой лоб и заикаясь, он говорил:

— Меня считают дураком, я знаю. Экая скотина — снял урожай, ободрал мужиков и пропивает. Пишет стихи для отвода глаз, а поскреби — крепостник. Тит Титыч, почти что орангутанг. А я?..

Молчание. Пристальный взгляд острых, маленьких, холодных глаз. Обычная плутовская «хохлацкая» усмешка сползает с лица. Вздох.

— А я?.. Какой же я дурак, если я смотрю на Рафаэля и плачу? Вот... — он достает из бумажника, тоже украшенного короной, затрепанную открытку. — Вот... Мадонна... Сикстинская... Был за границей. Берлин там. «Цоо», тигра икрой кормил, — ничего, жрет, еще просит, — видно, вкусней человечины, Винтергартен какой-то. Ну, дрянь, пошлость. Коньяк отвратительный, зато дешев — дешевле водки. Пьянствовали мы, пьянствовали, и попал я как-то в Дрезден. Тоже по пьяной лавочке, с компанией. Уж не помню, как оказались в этой, как ее... Пинакотеке... Нет, это в Мюнхене — Пинакотека. Ну, все равно, идем — глядим, ну, известно, — музей, картины, голые бабы, дичь... Идем, галдим — известно, из кабака по дороге в кабак — зашли случайно. И вдруг, у какой-то двери сторож, старенький такой немец, делает нам знак, здесь, мол, кричать запрещено. Мы удивились, однако прикусили языки — может быть, в той комнате Вильгельм или какой-нибудь Бисмарк тоже осматривает... Входим осторожно. Никого в комнате нет. Так себе зальца небольшая. И на стене эта... Сикстинская Мадонна… Полчаса, должно быть, я стоял перед нею, сволочь свою отослал — что она понимает, — сам стою, слезы так и текут. До вечера, может быть, так простоял — сам себя заставил уйти — довольно с тебя, и так на всю жизнь хватит! Такая красота, такая чистота, главное! Сторожу дал двадцать пять марок — на тебе, говорю, даю, в ее честь даю... Понял, кажется...

Нарбут молчит минуту. Его маленькие бесцветные глазки затуманиваются. Две слезы появляются на красных веках без ресниц.

... — Да, это — красота, это — искусство. Полчаса глядел, — а на всю жизнь хватит. На сто жизней! Запил я после этого отчаянно — дым коромыслом. Весь Дрезден вверх дном. Чуть под суд не попали — какого-то штатсрата смазали по морде, с пылу, с жару. Ничего, откупились... Да, это искусство! Или еще Пушкин:

На холмах Грузии лежит ночная мгла,
Шумит Арагва предо мною...

Об этих стихах даже думать спокойно не могу, сейчас сердце колотиться начинает. Когда на Кавказе был — ездил специально смотреть на эту Арагву. Речонка паршивая, кстати, мутная... Вот! Какой же я орангутанг, если я так красоту чувствую? А что безобразничаю и Брюсова не боюсь, так потому, что знаю: нечего мне его бояться — и мне, и ему, и третьему — одна цена. Если орангутанги — так все орангутанги. А к Пушкину — в лакеи поступить за счастье бы почел. Вы только вслушайтесь:

Шумит *Арагва* предо мною...

Попалась ему эта Арагва шашлычная, и что он из этой Арагвы сделал? Какое чудо!..

И слезы текут из глаз Нарбута уже одна за другой. А он не пьян. Два-три графинчика водки, только что выпитых, — не в счет.

***

В период остепенения Нарбут решил издавать журнал.

Но хлопотать над устройством журнала ему было лень, и вряд ли из этой затеи что-нибудь вышло бы, если бы не подвернулся случай. Дела дешевого ежемесячника — «Новый журнал для всех» — после смены нескольких издателей и редакторов стали совсем плохи. Последний из издателей этого, ставшего убыточным, предприятия — предложил его Нарбуту. Тот долго не раздумывал. Дело было для него самое подходящее. Ни о чем не нужно хлопотать, все готово: и контора, и контракт с типографией, и бумага, и название. Было это, кажется, в марте. Апрельский номер вышел уже под редакцией нового владельца.

Вероятно, подписчики «Нового журнала для всех» были озадачены, прочтя эту апрельскую книжку. Журнал был с «направлением», выписывали его сельские учителя, фельдшерицы, то, что называется «сельской интеллигенцией». Нарбут поднес этим читателям, привыкшим к Чирикову и Муйжелю, собственные стихи во вкусе «Аллилуйя», прозу Ивана Рукавишникова, а отделы статей от политического до сельскохозяйственного «занял» под диспут об акмеизме с собственным пространным и сумбурным докладом во главе. Тут же объявлялось, что обещанная прежним издателем премия — два тома современной беллетристики — заменяется новой: сочинения украинского философа Сковороды и стихи Бодлера в переводе Владимира Нарбута.

Подписчики были, понятно, возмущены. В редакцию посыпались письма недоумевающие и просто ругательные. В ответ на них новая редакция сделала «смелый жест». Она объявила, что «Журнал для всех» вовсе не означает «для всех тупиц и пошляков». Последним, т. е. требующим Чирикова вместо Сковороды и Бодлера, — подписка будет прекращена, а удовлетворены они будут «макулатурой по выбору» — книжками «Вестника Европы», сочинениями «Надсона или Иванова-Разумника».

Тут уж по адресу Нарбута пошли не упреки, а вопль. В печати послышалось «позор», «хулиганство» и т. п. Более всего Нарбут был удивлен, что и его литературные друзья, явно предпочитавшие Бодлера Чирикову и знавшие, кто такой Сковорода, говорили почти то же самое. Этого Нарбут не ожидал — он рассчитывал на одобрение и поддержку. И получив вместо ожидавшихся лавров — одни неприятности, решил бросить журнал. Но легко сказать бросить. Закрыть? Тогда не только пропадут уплаченные деньги, но придется еще возвращать подписку довольно многочисленным «пошлякам и тупицам». Этого Нарбуту не хотелось. Продать? Но кто же купит?

Покупатель нашелся. Нарбут где-то кутил, с кем-то случайно познакомился, кому-то рассказал о своем желании продать журнал. Тут же в дыму и чаду кутежа (после неудачи с редакторством Нарбут «загулял вовсю») подвернулся и сам покупатель — благообразный, полный господин купеческой складки,

складно говорящий и не особенно прижимистый. Ночью в каком-то кабаке, под цыганский рев и хлопанье пробок — ударили по рукам, выпив заодно и на ты. А наутро невыспавшийся и всклокоченный Нарбут был уже у нотариуса, чтобы оформить сделку — покупатель очень торопился.

Гром грянул недели через две — когда вдруг все как-то сразу узнали, что «декадент Нарбут» продал как-никак «идейный и демократический» журнал Гарязину — члену Союза русского народа и другу Дубровина...

***

После истории с Гарязиным Нарбут исчез из Петербурга. Куда? Надолго ли? Никто не знал. Прошло месяца три, пока он объявился.

Объявился же он так. Во все петербургские редакции пришла краткая, но эффектная телеграмма:

«Абиссиния. Джибутти. Поэт Владимир Нарбут помолвлен с дочерью повелителя Абиссинии Менелика».

Вскоре пришло и письмо с абиссинскими штемпелями и марками, в центре которых красовался герб Нарбутов, оттиснутый на лиловом сургуче с золотой искрой. На подзаголовке под штемпелем «Джибутти. Гранд-отель» — стояло:

> «Дорогие друзья (если вы мне еще друзья), шлю привет из Джибутти и завидую вам, потому что в Петербурге лучше. Приехал сюда стрелять львов и скрываться от позора. Но львов нет, и позора, я теперь рассудил, тоже нет: почем я знал, что он черносотенец? Я не Венгеров, чтобы все знать. Здесь тощища. Какой меня черт сюда занес? Впрочем, скоро приеду и сам все расскажу.
>
> ...Брак мой с дочкой Менелика расстроился, потому что она не его дочка. Да и о самом Менелике есть слух, что он семь лет тому назад умер...»

Приехал Нарбут из Африки какой-то желтый, заморенный. На «приеме», тотчас же им устроенном, он охотно отвечал на вопросы любопытных об Абиссинии, — но из рассказов его выходило, что «страна титанов золотая Африка» — что-то вроде русского захолустья: грязь, скука, пьянство. Кто-то даже усумнился, да был ли он там на самом деле?

Нарбут презрительно оглядел сомневающегося.

— А вот, приедет Гумилев, пусть меня проэкзаменует.

... — Как же я тебя экзаменовать буду, — задумался Гумилев. — Языков ты не знаешь, ничем не интересуешься... Хорошо, что такое «текели»?

— Треть рома, треть коньяку, содовая и лимон, — быстро ответил Нарбут. — Только я пил без лимона.

— А... — Гумилев сказал еще какое-то туземное слово.

— Жареный поросенок.

— Не поросенок, а вообще свинина. Ну, ладно, скажи мне теперь, если ты пойдешь в Джибутти от вокзала направо, что будет?

— Сад.

— Верно. А за садом?

— Каланча.

— Не каланча, а остатки древней башни. А если повернуть еще направо, за башню, за угол?

Рябое, безбровое лицо Нарбута расплылось в масляную улыбку:

— При дамах неудобно...

— Не врет, — хлопнул его по плечу Гумилев. — Был в Джибутти. Удостоверяю.

Вскоре оказалось, что Нарбут вывез из Африки не только эти познания, но еще и лихорадку. Оттого-то он и приехал такой желтый. К его огорчению, и лихорадка была вовсе не экзотическая. — В Пинске, должно быть, схватили? — спросил его доктор.

Нарбут уехал поправляться сначала в деревню, потом куда-то на юг. В 1916 году он был ненадолго в Петербурге. Шинель прапорщика сидела на нем мешком, рука была на перевязи, вид мрачный. Потом прошел слух, что Нарбут убит. Но нет — в 1920 году в книжном магазине я увидел тощую книжку, выпущенную каким-то из провинциальных отделов «Госиздата»: «Вл. Нарбут. Красный звон» или что-то в этом роде. Я развернул ее. Рифмы «капитал» и «восстал» сразу же попались мне на глаза. Я бросил книжку обратно на прилавок...

XIII

Есть воспоминания, как сны. Есть сны — как воспоминания. И когда думаешь о бывшем «так недавно и так бесконечно давно», иногда не знаешь — где воспоминания, где сны.

Ну да, — была «последняя зима перед войной» и война. Был Февраль и был Октябрь... И то, что после Октября, — тоже было. Но, если вглядеться пристальней, — прошлое путается, ускользает, меняется.

...В стеклянном тумане, над широкой рекой — висят мосты, над гранитной набережной стоят дворцы, и две тонких золотых иглы слабо блестят... Какие-то люди ходят по улицам, какие-то события совершаются. Вот царский смотр на Марсовом поле... и вот красный флаг над Зимним дворцом. Молодой Блок читает стихи... и хоронят «испепеленного» Блока. Распутина убили вчера ночью. А этого человека, говорящего речь (слов не слышно, только ответный глухой одобрительный рев), — зовут Ленин...

Воспоминания? Сны?

Какие-то лица, встречи, разговоры — на мгновение встают в памяти без связи, без счета. То совсем смутно, то с фотографической четкостью... И опять — стеклянная мгла, сквозь мглу — Нева и дворцы; проходят люди, падает снег. И куранты играют «Коль славен...»

Нет, куранты играют «Интернационал».

***

Падает снег. После вагонного тепла — сырой холодок оттепели пронизывает, забирается в рукава и за шиворот. И что за идея ехать ночью в Царское?!. Но делать нечего — приехали, и обратного поезда нет.

Тускло горят фонари. Ветки в инее. Звезды.

— Эй, извозчик...

Сани мягко летят по рыхлому, талому снегу.

Городецкий обнимает меня за талию, галантно, на поворотах. На коленях у нас Мандельштам. Гумилев с Ахматовой — на переднем извозчике указывают дорогу — это они и выдумали ехать, на ночь глядя, в Царское. Им-то что — царскоселы.

«Но нам-то, нам-то всем». В самом деле, глупо. После какого-то литературного обеда, где было порядочно выпито, поехали куда-то еще — «пить кофе». Потом еще куда-то. В первом часу ночи оказались на Царскосельском вокзале. От «кофе», выпитого и здесь, и там, головы кружились.

— Поедем в Царское... Смотреть на скамейку, где любил сидеть Иннокентий Анненский.

— Едем, едем...

В самом деле, как раньше не догадались? Удачней нельзя и придумать, не правда ли? Ночью, по снегу, в какой-то закоулок Царскосельского парка — на скамейку посмотреть. И за это удовольствие ждать потом до семи часов утра — первого поезда в Петербург!..

Но «кофе» действовало, головы кружились.

— Едем, едем...

Вот — приехали. В вагонном тепле — укачало. На талом холодке развезло. Право, как глупо. Зачем приехали, куда приехали?!.

Гумилев с Ахматовой (им что — царскоселы) впереди — указывают дорогу. Мандельштам на моих с Городецким коленях замерзает, стал тяжелый, как мешок, и молчит. За нами на третьем извозчике еще два «акмеиста», стараются не отстать; у них нет денег на расплату, отстанут — погибнут.

У каких-то чугунных ворот — останавливаемся. Бредем куда-то, по колено в снегу. Деревья шумят заиндевевшими ветками. Звезды слабо блестят. Идем в том же порядке — мы с Городецким под ручки ведем Мандельштама, все тяжелеющего и тяжелеющего. Сугробы все глубже, холод чувствительней. О, Господи...

Гумилев оборачивается.

— Пришли! Это и есть любимое место Анненского. Вот и скамья.

Снег, деревья, скамья. И на скамье горбатой тенью сидит человек. И негромким, монотонным голосом читает стихи...

...Человек ночью, в глухом углу Царскосельского парка, на засыпанной снегом скамье глядит на звезды и читает стихи. Ночью, стихи, на «той самой» скамье. На минуту становится жутко, — а ну, как...

Но нет, это не призрак Анненского. Сидящий оборачивается на наши шаги. Гумилев подходит к нему, всматривается...

— Василий Алексеевич, — вы?.. Я не узнал было. Господа, позвольте вас познакомить. Это — цех поэтов: Городецкий, Мандельштам, Георгий Иванов. — Человек грузно подымается и пожимает нам руки. И рекомендуется:

— Комаровский.

У него низкий, сиплый голос, какой-то деревянный, без интонаций. И рукопожатие тоже деревянное, как у автомата. Кажется, он ничуть не удивлен встрече.

— Приехали на скамейку посмотреть. Да, да — та самая. Я здесь часто сижу... когда здоров. Здесь хорошее место, тихое, глухое. Даже и днем редко кто заходит. Недавно гимназист здесь застрелился — только на другой день нашли. Тихое место...

<— На этой скамейке застрелился?>

— На этой. Это уже второй случай. Почему-то выбирают все эту. За уединенность, должно быть.

— Как же вам не страшно сидеть здесь по ночам одному? — вмешиваюсь я в разговор.

Комаровский оборачивается ко мне и улыбается. Свет фонаря падает на его лицо. Лицо круглое, «обыкновенное», — такие бывают немцы-коммерсанты средней руки. Во всю щеку румянец. И что-то деревянное в лице и улыбке.

— Нет, когда я здоров, мне ничего не страшно. Кроме мысли, что болезнь вернется.

Он в течение нашего короткого разговора несколько раз повторяет «моя болезнь», «когда я здоров», «тогда я был болен». Что это за болезнь у этого широкоплечего и краснощекого?

... — Болезнь вернется? — повторяю я машинально конец его фразы.

— Да, — говорит он, — болезнь. Сумасшествие. Вот, Николай Степанович знает. Сейчас у меня «просветление», вот я и гуляю. А вообще я больше в больнице живу.

И, не меняя голоса, продолжает:

— Если вы, господа, не торопитесь, — вот мой дом, выпьем чаю — почитаем стихи.

...В большой столовой, под сияющей люстрой, мы пьем токайское из тонких желтоватых рюмок. Стеклянные двери раскрыты в зимний сад, камин жарко горит. И еще — этот ослепительный свет. Все люстры, бра, лампы и в столовой и в соседних комнатах зажжены, точно для бала. Но хозяин находит, что света еще недостаточно. Он подзывает лакея.

— Зажгите жирандоли.

— Слушаюсь, ваше сиятельство.

Еще четыре высоких хрустальных канделябра вспыхивают по углам сотней свечей.

И хозяин с круглым румяным лицом деревянно улыбается:

— Я не люблю темноты в доме...

Комаровский внимательно слушает наши стихи.

Потом читает свои.

Он сидит в глубоком кресле, широко расставив ноги в толстых американских башмаках. Его редкие волосы — аккуратно расчесаны. Круглое румяное лицо — лицо немецкого бюргера, вскормленного бифштексами и пивом. На лице благополучие, сытость. Глаза смотрят ясно и сонно.

...Это совершенно больной человек. Такой больной, что доктора разводят руками — как он еще живет. Его сердце так слабо, что малейшее волнение может стать роковым. От неожиданного шума, от вида крови, от всякого пустяка с Комаровским делается обморок. А с обмороком, нередко, возвращается «то»... Он обречен на скорую смерть — и знает это. Перейти через улицу для него — приключение. Поездка в Петербург — подвиг.

Его единственное страстное желание — побывать в Италии — так же для него неосуществимо, как путешествие на Марс. И он утешается, читая целыми днями путеводители и описания, давно изученные наизусть. И пишет:

Иду неспешною походкою
И камешек кладу в карман
Там, где над новою находкою
Счастливый плакал Винкельман.

Два-три месяца — он живет «спокойно». Мечтает об Италии. Пишет стихи. Ночью бредет на глухую «скамейку самоубийц» в засыпанном снегом парке.

...Когда я здоров, мне ничего не страшно. Кроме мысли, что «болезнь вернется».

...Зажгите жирандоли. Я не люблю темноты в доме...

Два-три месяца. Потом, однажды ночью, он просыпается, окруженный какими-то огненными львами, кричит, отбивается от них. Потом больница, мешок со льдом, смирительная рубашка... Потом, спустя долгие месяцы, новый короткий просвет...

Комаровский недавно выписался из больницы. Припадок был очень тяжел. Думали — не выживет. Нет — выжил. Ровным, чуть деревянным голосом он читает стихи, начатые «там». О чем мог мечтать человек, лежа на койке сумасшедшего дома?..

О Риме, о славе, о Цезаре...

Лампы сияют, от запаха цветов и каминного жара трудно дышать. И ровный голос монотонно читает:

...В провалы туч, в сияющий излом,
За золотым и медленным орлом
Пылающие идут легионы...

Его поэзия блистательна и холодна. Должно быть, это самые блистательные и самые «ледяные» русские стихи. «Парнас» Брюсова — перед ним детский лепет. Но, как в голосе и улыбке Комаровского, и в этом блеске что-то деревянное. И что-то неприятно одуряющее, как в этой комнате, слишком натопленной, слишком освещенной, слишком заставленной цветами.

...Мы слушаем стихи, пьем токайское, о чем-то разговариваем. Наконец, прощаемся. Как приятно вдохнуть полной грудью после благовонной духоты этого дома. Духоты и еще чего-то веющего там — среди смирнских ковров и севрских ваз...

Подморозило. Небо посинело перед рассветом. Через полчаса подадут поезд. Ох, — скорее бы в кровать, после бессонной странной ночи.

Это 1914 год, февраль или март. Комаровский говорил о своих планах на осень. Доктора надеются... Если не будет припадка... Поездка в Италию...

Он развернул газету, прочел, что война объявлена, и упал. Сначала думали — обморок. Нет, оказалось, не обморок, а смерть.

***

Из Дома литераторов на Бассейной домой, на Каменноостровский, путь немалый. На Троицком мосту я поставил наземь кулек с крупой, за которым путешествовал так далеко, и облокотился о перила отдохнуть.

Небо красное от заката. С моря теплый, влажный, «душистый» ветер. Снег на Неве слипся и обмяк, у берега расплылись желтоватые полыньи. Если погода не изменится, нельзя будет по льду подойти к Кронштадту. Потом начнется ледоход, и Кронштадт станет неприступным. И тогда...

Теплый ветер мягко и сильно бьет в лицо. Пушечные выстрелы — глухие с фортов, резкие с какого-то броненосца, оставшегося «верным революции». Красное небо, тающий снег... И кругом ни души. «Хождение по улицам» — разрешено до шести вечера, а теперь пять, начало шестого. Но со служб все уже разошлись, а прогуливаться вряд ли кому взбредет в голову. Лучше уж посидеть дома. Вот если погода не изменится... Начнется ледоход, Кронштадт станет неприступным. Тогда...

Пора домой и мне. Я взваливаю свой кулек на плечи и прибавляю шагу. Конечно, хождение разрешено до шести, а мне пути минут пятнадцать, но все-таки лучше поторопиться...

По пустому мосту навстречу мне медленно приближается человек. Он идет тихо, похлопывая ладонью по перилам, явно не торопясь. Вот остановился, закуривает, швырнул спичку на лед. Точно не касается его осадное положение и все «из него вытекающее». Может быть, так и есть. Тогда — неприятная встреча. «Хождение» до шести, и трудкнижка моя в порядке... но все-таки...

Из-под барашковой шапки выбивается вьющаяся седоватая прядь. Под глазами резкие «мешки», еще резче глубокие морщины у рта. Широкие плечи сутулятся. Руки зябко засунуты в карманы. И безразличный, холодный «отсутствующий» взгляд.

Это не чекист, проверяющий документы. Это Блок.

Минуту мы стоим под красным небом, на пустом мосту, слушая выстрелы. Несколько глухих — это с фортов; грохочущий — с броненосца.

— Пшено получили? — спрашивает Блок. — Десять фунтов? Это хорошо. Если круто сварить и с сахаром...

Он не оканчивает фразы. Точно вспомнив что-то приятное, берет меня за локоть и улыбается.

— Стреляют, — говорит он. — Вы верите? Я не верю. Помните, у Тютчева:

В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон...

Мертвецы палят по мертвым. Так что, кто победит — безразлично.

— Кстати, — он улыбается снова. — Вам не страшно? И мне не страшно. Ничуть. И это в порядке вещей. Страшно будет потом... живым.

***

Зимой 1913 года, что-то очень рано по петербургским понятиям, — меня разбудила прислуга. «К вам господин. Говорят, по литературному делу». Я протер глаза и посмотрел на визитную карточку. Михаил Александрович Ковалев? Такого знакомого у меня не было. Кто бы это мог быть? Неужели издатель, пленившийся моими стихами в «Аполлоне» или «Гиперборее» и пришедший покупать у меня собрание сочинений? Чем черт не шутит!.. Не без волнения я приказал провести посетителя в гостиную, пока я оденусь. Но одеться мне не пришлось — гость уже входил в дверь.

— Лежите, лежите, — быстро-быстро заговорил он, картавя и пришепетывая. — Лежите, — я к вам на минуту. Что? Можно здесь сесть? Что? Я сейчас уйду, а вы продолжайте спать. Как у вас холодно. Что? Спите с открытой форточкой? Ах, это очаровательно, но я не могу. Можно простудиться, схватить чахотку, умереть. Что? У меня слабые легкие...

Он вдруг встал в позу, точно балерина, собирающаяся сделать прыжок. Голова чуть набок, пальчики в сторону, ноги в третьей позиции. И быстро-быстро, нараспев, прошепелявил:

Сказал он, улыбнувшись кротко —
Мы рядом шли, плечо к плечу, —
Ты знаешь, у меня чахотка,
И я давно ее лечу.

И прибавил, жеманно улыбаясь:

— Я — поэт Рюрик Ивнев. Это мои стихи.

Пока он проделывал все это, я, несколько ошеломленный, его рассматривал.

Тоненькая, «щуплая» фигурка. Бледное худое «птичье» лицо как-то подергивается, голубоватые глаза близоруко щурятся. Одет старательно и небрежно: костюм хороший, но помят, в пыли, на фалде прилипла нитка. Башмаки не вычищены, щегольской галстук на боку. И растерянная улыбка, растерянное подергивание, растерянное «Что? Что?» — за каждым словом...

— Я поэт Рюрик Ивнев. Это мои стихи. Что?

Прочел — и опять своей шепелявой скороговоркой:

— Как я нашел ваш адрес? Мне Н. сказал... Знаете... этот... он бывает (тут «птичье» личико приосанивается) в доме моего дяди Х., государственного контролера. Что? Этот Н. прочел мне ваши стихи, и я в них влюбился. Что? Я даже наизусть их запомнил. Погодите, как это? Да.

Был тихий вечер, вечер бала,
Был летний бал меж старых лип,
Там, где река образовала
Свой самый выпуклый изгиб.

— Вот в это «образовала», — протянул он, — я и влюбился. И я пришел сказать вам это. А теперь я уйду, а вы спите... Что?

Я поблагодарил его за любезность и поспешил разъяснить небольшое недоразумение: стихи, только что прочтенные, не мои. Это стихи Виктора Гофмана, всем известные, давно перепечатанные разными календарями и чтецами-декламаторами. Так что...

Ивнев удивился чуть-чуть.

— Не ваши? Гофмана? Как странно! Впрочем, это все равно — ведь они так к вам подходят...

Я предложил ему подождать меня в соседней комнате.

— Сейчас я оденусь и будем пить кофе...

Птичье личико надменно наморщилось. — Кофе? Благодарю, я уже пил свой утренний шоколад. И вообще — который час? Ах, Господи, четверть одиннадцатого. В двенадцать я завтракаю у княгини С., надо заехать домой, переодеться. Княгиня такая прелестная женщина... Вы встречались? Что? Я вас непременно познакомлю... Ах, ах, как поздно...

Он кивнул и убежал, подергиваясь на ходу. На кресле осталась забытая им перчатка. Она была щегольская, светло-желтой замши, на шелковой подкладке. Но для январской погоды мало подходила, особенно с распоротыми по швам пальцами...

С некоторых пор Рюрик Ивнев — постоянный гость в «Бродячей собаке».

Он сидит ночи напролет в нише красного камина, один, молча, часами. Птичье личико бледно, кажется, еще бледнее обыкновенного, близорукие светлые глаза щурятся на огонь. Перед ним «на низком столике» остывающая чашка черного кофе: вина он не пьет.

Он не любит читать стихи, когда его просят: «другой раз, не помню...» Но, иногда, под утро, он сам подымается на эстраду: «Я прочту...» Стихи его путаные, захлебывающиеся, развинченные. Жалко-беспомощные, по большей части. И вдруг иногда какой-то истерический взлет:

От крови был ал платочек.
Корабль наш мыс огибал.
Голубочек, наш голубочек,
Голубочек наш погибал.

Прочтет, дернется, растерянно улыбнется на жидкие пьяные хлопки, — и снова в свой угол, сидеть до утра, щурясь близорукими глазами на пылающие головни...

— Послушайте, Рюрик, зачем, в самом деле, вы просиживаете здесь ночи? Ведь вам вредно...

— Вредно.

— И томительно...

— Томительно.

— Так зачем же сидите?

Он поднял глаза. В их водянистой голубизне мелькнуло что-то тяжелое, «сумасшедшинка» какая-то...

— Зачем сижу... Видите ли... В обыденной жизни я изнемогаю от сознания собственной нереальности. А здесь, в этой обстановке, призрачной, нелепой, я не чувствую этого... Я призрак, и кругом призраки... И мне хорошо...

И сейчас же, — точно испугавшись, — расплывается жеманной улыбочкой:

— Впрочем, вы правы, вы правы — это вредно, это надо прекратить. — Воробьем прихорашивается: — Ах, как я рассеян... — воробьем приосанивается. — На вечере у моего дяди... Княгиня Друцкая... Что? Вы будете завтра на вернисаже? Что?..

Щебечет, будто и не он полчаса назад кликушей выкликивал:

От этой трезвости, от этой мерзости,
Куда уйти?
Неужели бритвой зарезаться!..

***

Начальник канцелярии по приему прошений на Высочайшее имя, хоть и привык к просьбам самым неожиданным, но, прочтя поступившее к нему прошение «титулярного советника Михаила Александровича Ковалева», был, должно быть, все-таки озадачен.

«Припадая к стопам» царя, «титулярный советник Ковалев» в выражениях «верноподданнейших», но твердых заявлял (это было в 1915 году): от службы в войсках он отказывается.

Тут же пояснялось, что он, Ковалев, собственно, и не подлежит призыву, в ближайшее время, по крайней мере. Так что заявление это он делает не из личных соображений, а по долгу «перед Вашим Величеством и Россией». Долг же этот он понимал так: сложить оружие и принять победителя с колокольным звоном, «как радостное искупление».

Легко представить, какой «ход» был бы дан этому прошению, если бы не навели справок и не выяснили, что проситель не только «титулярный советник», но и племянник своего дядюшки.

Узнав это обстоятельство, «учли» его: вместо того, чтобы позвонить в охранное отделение, позвонили в государственный контроль. И не жандармы, которых ожидал Ивнев (после подачи прошения, от волнения и ожидания, он заболел и слег), — заплаканная тетушка ворвалась к нему и увезла, вместо Сибири... на Иматру.

* * *

Две маленькие комнаты. Такие узкие, такие низкие и тесные, что даже на комнаты не похожи: футляры какие-то. И, как в футляре, ничего твердого: диванчики застелены плахтами, низкие стеганые креслица, пуховые подушечки, тряпочки, коврики. На две комнаты одна печка, зато огромная, круглая, так натопленная, что трудно дышать. На плетеных жардиньерках — герани, в углу киот, полный образов, а если отвернуть кисейную занавеску, за окном виден высокий забор, утыканный поверху гвоздями, глубокие сугробы и большая лохматая собака, прогуливающаяся на цепи. Где это? В Сибири? На Волге? Нет, это в Петербурге — отыскал Ивнев квартиру по своему вкусу: после истории с прошением он, вернувшись из Финляндии, поселился самостоятельно.

В этих комнатах-футлярах по пятницам вечерами собирается человек по двадцать, двадцать пять. Помещаются как-то. Пьют чай с птифурами от Берена, но половина гостей пьет с блюдечка: общество, которое тут собирается, не совсем обыкновенное.

...Розовый, светлоголовый мальчик в рясе, послушник из Сергиевского подворья. Рядом тоже «духовное лицо», лысый, заплывший жиром дьякон, расстриженный за сношения с сектантами. С ним истово, на «о», беседует человек средних лет, в сапогах бутылками и поддевке, с умными холодными глазами. Это поэт Николай Клюев, «из мужичков», как он сам о себе говорит. «Мужичок» набелен, нарумянен и надушен «Роз Жакмино»...

Нарумянен и другой поэт «из мужичков» — голубоглазый Есенин. Вперемежку с ними — лицеисты, правоведы, какой-то бывший вице-губернатор, побывавший в ссылке, какой-то изобретатель «сердечного магнита» — наивернейшего средства

привлечь сердца отступников на лоно старообрядчества. Прихлебывая чай, кто с блюдечка, кто по всем правилам английского воспитания, часами ведут странные разговоры о Книге Голубиной, о магните сердечном и о новом Иерусалиме, который воздвигнется «на Руси», когда кончится война и настанет «царство Христово»...

— Скоро, скоро, детушки, забьют фонтаны огненные, застрекочут птицы райские, вскроется купель слезная, и правда Божья обнаружится.

— Аминь, аминь...

— Que Dieu nous bénisse[6].

И хозяин, растерянно улыбаясь, щурится и нюхает английскую соль.

Это в 1915–1916. Понемногу состав посетителей меняется. В 1917 в кресле, где Клюев вещал о «Купели слезной», — Анатолий Васильевич Луначарский сладко и гладко беседует о марксизме. Те же или такие же лицеисты почтительно слушают, так же хозяин подергивается, улыбается и нюхает английскую соль. И в жарко натопленных комнатах-футлярах так же душно и усыпительно пахнет немного ладаном, немного духами, немного Распутиным, немного Циммервальдом...

***

В 1918 г. Рюрик Ивнев, встретив меня на улице, предлагал мне: хотите служить у нас? Не хотите? Но почему? Советская власть — Христова власть.

И растерянно улыбаясь:

— Я ведь не революционную службу предлагаю вам, не в Чека, — тут он задергался, и в глазах мелькнула знакомая «сумасшедшинка», — хотя у нас всякая служба чистая, даже в Чека, да, даже в Чека. Но я вам не это предлагаю: нам всюду нужны люди — вот места директора императорских театров, директора Публичной библиотеки свободны. А? Почему не хотите?

---

[6] Да благословит вас Бог (*фр.*).

Я смотрел на этого «сильного мира сего», так легко распоряжающегося директорскими постами, на его мордочку, дергающуюся щеку, разорванную рубашку, измятый костюм и чувствовал к нему необъяснимую, острую, пронзительную жалость, почти нежность. Так и в Чека чистая служба? Ну, что ж. Блаженны нищие духом...

— Не хотите? — он дернулся, по-воробьиному приосанился. — Очень жаль. Но... может быть, вы думаете, что у нас Бог знает кто служит, сброд какой-нибудь? C'est plein de gens du monde!..[7]

XIV

Перед самым большевистским переворотом мне понадобилось зачем-то повидать беллетриста Муйжеля.

Помнит ли кто-нибудь еще это имя? Имя, пожалуй, но уж писаний, наверно, никто. Муйжель был один из так называемых писателей «с убеждениями», писавших «из народной жизни» суконным языком. Писатели этого рода держались от прочей литературы, «декадентской и беспринципной», в стороне. У них были свои читатели, свои Сент-Бёвы — Фриче и Бонч-Бруевич, свои собственные «с убеждениями» поэты, вроде некоего Черемнова, отрывок из стихов которого я до сих пор твердо помню:

Пировать в горящем доме, спать у пасти крокодила,
На бушующем вулкане затевать лихую пляску
Никому на ум, конечно, никогда не приходило,
Ибо все предвидеть могут неизбежную развязку.

Далее в стихах, столь же проникновенных, пояснялось, что царское правительство спит у крокодильей пасти и пляшет на вулкане.

Не помню уж, что мне могло понадобиться от Муйжеля, человека совсем другого литературного круга, чем тот, к которому принадлежал я. Я его едва знал, за три года войны ни разу, кажется, не встречал его долговязую, унылую фигуру. Но вот понадобилось что-то. Адрес, который мне сообщили, оказался

---

[7] Там столько светских людей!.. (*фр.*).

адресом какого-то военного учреждения — штаба, управления. Я спросил Муйжеля. Через минуту ко мне вышел щеголеватый прапорщик.

— Вы к командующему Х. дивизией? Его нет. Он на фронте.

— Да нет же. Я к Муйжелю, писателю.

— Точно так. Это он и есть. Только он теперь на фронте. Впрочем, если что-нибудь спешное, могу передать по прямому проводу...

...«Это он и есть»... Муйжель, надежда Фриче? В крылатке, с убеждениями, с калошами, с перхотью на воротнике пиджака!..

Впервые тогда я с неотразимой ясностью почувствовал, что «дело плохо». «Дело» было, действительно, плохо: через месяц должно было произойти то радостное событие, десятилетний юбилей которого не так давно отпраздновали

В нашей рабоче-крестьянской стране,
В нашей далекой России...

В 1917 году то, что Муйжель «генерал», — меня поразило, потрясло. Но к чему не привыкаешь? Когда в 1919 году я встретил на Невском двадцатидвухлетнюю красивую, надушенную и разряженную женщину и услышал от нее:

— Приходите к нам. Адмиралтейство, главный подъезд. Ведь я, — очаровательная улыбка, — «*комарси*», — я не удивился.

А «комарси» значило — командующий морскими силами.

Серые глаза блестят, подкрашенные губы улыбаются... Шубка голубая, платье сиреневое, лайковая перчатка благоухает герленовским «Фоль арома»...

И — «комарси»...

И я — не удивился почти. Что же такое? Была барышня Лариса Рейснер, писавшая стихи о маркизах. За барышней ухаживали, над стихами смеялись. И вот теперь эта барышня — «комарси», — может сейчас же распорядиться, чтобы Балтийский флот шел бомбардировать Финляндию... Что же такое, дело житейское. В 1919 году вообще мало чему удивлялись. Разве уж чему-нибудь в самом деле колоссальному. Окороку ветчины, например.

Я поцеловал руку командующему флотом в синей шубке и обещал как-нибудь зайти.

— Непременно, непременно приходите... Адмиралтейство, главный...

Женщина всегда женщина — Лариса Рейснер, говоря, что она «комарси», немного прихвастнула: «комарси» был, собственно, ее муж, мичман Раскольников. Сама же Рейснер носила всего лишь звание «заместительницы комиссара по морским делам» — «замком по морде» (тоже ничего себе чин: по-буржуазному вроде товарищ министра).

***

Я познакомился с Ларисой Рейснер несколько раньше, чем она начала появляться в литературных салонах, а ее стихи о маркизах — в средней руки журналах. Если не ошибаюсь, познакомился я с ней весной 1913 года.

Среди множества высокопочтенных профессоров, с которыми мне приходилось в Петербурге встречаться, было несколько не таких уж почтенных, как это ученому и седовласому профессору полагается. Ничего предосудительного они не делали, люди были разные, разных наружностей, разных вкусов и разных специальностей, — но во всех было нечто их объединяющее, неуловимое и явное в то же время, какой-то флюид «непочтенности», распространявшийся от этих вдумчивых лысин, солидных очков, «благоухающих седин», казалось бы, неотличимых от прочих седин и лысин, составлявших гордость петербургского ученого мира. Но вот все же что-то неуловимое их отличало. Это не было мое личное впечатление. Как раз об отце Ларисы Рейснер Гумилев как-то, смеясь, сказал:

— Знаешь, смотрю я на него, и меня все подмывает взять его под ручку: — Профессор, на два слова, — и, с глазу на глаз, ледяным тоном: «Милостивый государь, мне все известно».

— Ну?

— Затрясется, побледнеет, начнет упрашивать.

— Да что же тебе известно?

— Ничего решительно. Но, уверен, смутится. Обязательно какая-нибудь грязь водится у него за душой.

Теперь, кстати, то неуловимое, что чудилось когда-то не мне одному в этих людях, таких разных, и таинственно их

объединяло, — приобрело форму более реальную, ощутимую не только одной бездоказуемой «интуицией»: большинство профессоров и доцентов с этим мистическим «душком» составляет ныне цвет «марксистской» профессуры...

* * *

Был (кажется) 1913 год, была (наверное) весна. С островов по Каменноостровскому тянуло блаженной свежестью петербургского апреля. Я шел медленно: идти было очень приятно, цель же моей прогулки была очень скучная. По поручению одной редакции, где я недолго и довольно малоуспешно исполнял обязанности секретаря, я шел переговариваться с профессором Рейснером о каких-то переделках и сокращениях в какой-то его статье.

По широкой лестнице ультрамодернизированного дома я поднялся на третий этаж. Лакированная дверь, медная доска: профессор Рейснер. Но на мой звонок никто не открывал. Я позвонил еще — то же самое. Может быть, звонок испорчен? Я хотел постучать и толкнул дверь. Она без шума распахнулась.

Из прихожей прямо против меня была видна большая белая комната с роялем и цветами — гостиная, должно быть. Окно в ней было «фонарем», большое зеркальное стекло, ничем не завешенное, на сад и розовое вечереющее небо.

На фоне этого окна стояли девочка лет пятнадцати и мальчик — морской кадет. Они не слышали, как я вошел. Должно быть, они ничего не слышали: они целовались.

Они стояли, отодвинувшись друг от друга. Она, положив руки на погоны, он, осторожно держа ее за талию, совершенно так, как на наивных английских картинках изображается «первый поцелуй».

Первый или нет, поцелуй был очень продолжительный. Что мне было делать? Я кашлянул. Морской кадет отдернул руки и быстро отвернулся к окну. Девочка слабо ахнула, потом, мотнув белокурой головой, пошла мне навстречу. Лицо ее пылало, глаза блестели. Признаюсь, когда она подошла ближе, я позавидовал морскому кадету, с независимым видом теребившему свой рукав, — так прелестна была его подруга. Она была совершенной красавицей.

Профессор, заодно с дочерью, должно быть, меня проклял. Я потревожил его послеобеденный отдых: его острое личико было заспано и помято. Но принял он меня с преувеличенной, прямо одуряющей, любезностью. Еще пенсне, со сна, плохо держалось на его носу и розовела разогретая подушкой щека, а он уже протягивал мне сигару, потчевал портвейном и говорил, говорил — сладко, вкрадчиво, «душевно». Говорил о молодежи, о святом искусстве, о свободе, идеалах, светлом будущем человечества и о многих других высоких и глубоких предметах, о которых со мной, секретарем редакции, пришедшим по делу, пожалуй, можно было бы и не говорить.

Голос у профессора Рейснера был удивительно мягкий, удивительно «подкупающий». Так же мягко, так же «душевно», помню, звучал этот голос на каком-то официальном собрании в Доме ученых перед голодными и заморенными «дорогими коллегами» из числа тех, которые из-за отсутствия в их природе указанного выше «флюида» в число «красных звезд» не попали, скромно перебиваясь между торговлей собственными портьерами и академическим пайком. Душевно и подкупающе профессор говорил о «святой науке» и, попутно, о своих заслугах перед ней:

— Достаточно сказать, что в числе моих учеников есть трое ученых с европейскими именами, десять командиров красной армии, четыре (особенно бархатная модуляция) председателя Чека.

* * *

— Да, да, в ссылку, по этапу, в Сибирь, на виселицу, на костер.

Она распахивает шубу и откидывает голову. Какое прекрасное «гордое человеческое лицо»! Два года назад, там, у окна, в ее полудетском силуэте мне почудилась Психея. Теперь эта красота отяжелела как-то. Нет, не Психея. Скорее Валькирия...

Сани летят по рыхлому снегу, по льду, через Неву. Желтый зимний рассвет медленно расползается по небу. После бессонной ночи кружится голова. И это удивительное лицо, эти серые, сияющие, широко раскрытые глаза, эти отрывистые слова, «печальные и страстные».

— Да, в ссылку, на костер. Я не могу так жить. Я не хочу так жить.

С того времени, как я впервые увидел Ларису Рейснер, прошло года три. Я часто встречаю ее то там, то здесь по разным литературным местам. Особенной дружбы между нами нет: стихи ее мне чрезвычайно не нравятся, манера держаться — тоже. Она держится «по-московски»: в одно и то же время и «декаденткой» и синим чулком, и «товарищем» и потрясательницей сердец. На мой «петербургский» взгляд, все это достаточно безвкусно. Короче — я давно не завидую морскому кадету. Но...

Но сейчас, под этим бледным небом на пустынной Неве, глядя в ее удивительное лицо, слыша ее голос, я как-то забываю все это и испытываю что-то вроде страха, как перед существом из другого мира. Валькирия?.. Может быть, и впрямь Валькирия. В Сибирь?.. На костер?.. Пожалуй, и впрямь пойдет в Сибирь, не побоится костра...

Тут «спасительная ирония» приходит мне на помощь. Я вспоминаю снова, что Валькирия эта — просто барышня с провинциальными замашками, пишущая плохие стихи, которую я везу с «бала» у Юрия Слезкина, где подавалось много шампанского («Донского», по случаю войны).

И «вспомнив», говорю с соответственным тоном:

— У вас «vin triste»[8], Лариса Михайловна.

Но она не слушает. Она глядит широко раскрытыми, грустными серыми глазами на небо, такое же серое, такое же грустное.

И, помолчав, тихо, точно про себя, говорит:

— Нет, ничего не хочу, ничего не могу. В сказке — каменное сердце. Каменное? Это еще ничего. Но если мертвое, мертвое?..

* * *

Пышные залы Адмиралтейства ярко освещены, жарко натоплены. От непривычки к такому теплу и блеску (1920 г., зима) гости неловко топчутся на сияющем паркете, неловко разбирают с разносимых щеголеватыми балтфлотцами подносов душистый чай и сандвичи с икрой.

---

[8] Здесь: «дурное настроение» (*фр.*).

Это Лариса Рейснер дает прием своим старым богемным знакомым. Пришли многие, кто — прослышав о икре, кто — просто из любопытства. Что ж, если забыть «особые обстоятельства», то прием как прием: кавалеры шаркают, дамы щебечут, хозяйка мило улыбается направо и налево.

Некоторых она берет под руку и ведет в небольшой темно-красный салон, где пьют уже не чай, а ликеры. Это для избранных. Удовольствие выпить рюмку бенедиктина несколько отравляется необходимостью делать это в обществе мамаши Рейснер, папаши Рейснер и красивого нагловато-любезного молодого человека — «самого» Раскольникова.

Компания, что и говорить, высокопоставленная. Ее так и зовут: «Ревсемейство».

Я, увы, попадаю в число «избранных». Ведя меня через министерские покои, Лариса Рейснер роняет тоном леди Асквит:

— Какое безобразие эти позолота, лепка. Вкус нашего предшественника адмирала Григоровича. Все надо отделывать заново, все...

* * *

Последний раз я видел Ларису Рейснер на балу Дома искусств. Ей, должно быть, было очень весело — она все время смеялась и все время танцевала. Голубое, широкое, сияющее, полумаскарадное платье очень шло к ней. В нем она казалась моложе, тоньше, легче, опять была похожа на ту девочку с наивной картинки, не на Валькирию — на Психею...

Потом я только слышал о ней. Слышал разное. О смертных приговорах, которые она, говорят, подписывала. О капитане Щастном, которого кормила завтраком и развлекала милой болтовней, покуда шли последние приготовления к его «суду» и расстрелу. Уже за границей я узнал, что Раскольников ее бросил. Потом, в какой-то советской газете, прочел ее некролог, глупый и напыщенный, как все советские некрологи.

XV

«Кирпич в сюртуке» — слово Розанова о Сологубе.

По внешности, действительно, не человек — камень. Движения медленные, натянуто-угловатые. Лысый, огромный череп,

маленькие, ледяные сверлящие глазки. Лицо бледное, неподвижное, гладко выбритое. И даже большая бородавка на этом лице — каменная.

И голос такой же:

Лила, лила, лила, качала,
Два тельно-алые стекла.
Белей *лилей*, алее *лала*
Была бела ты и ала... —

читает Сологуб, и кажется, что это не человек читает, а молоток о стену выстукивает эти ровные, мерные, ничего не значащие слова.

«Обращение» тоже соответствующее.

Молодой поэт, признанная «восходящая звезда», звонит Сологубу по телефону:

— Федор Кузьмич, это вы?

— Я.

— Говорит X. Я хотел бы прийти к вам...

— Зачем?

— Прочесть вам мои стихи.

— Я уже прочел их в «Аполлоне».

— Узнать ваше мнение...

— Я о них не имею мнения.

Сологуб — инспектор какой-то школы на Васильевском острове. И какой инспектор!

— «Федор Кузьмич идет!»... — И самые отчаянные сорванцы сразу присмиревают — знают, что инспектор шутить не любит...

Впрочем, что ж школьники. Когда меня в 1911 году впервые подвели к Сологубу и он уставил на меня бесцветные ледяные глазки и протянул мне, не торопясь, каменную ладонь (правда, мне было семнадцать лет) — зубы мои слегка щелкнули — такой «холодок» от него распространялся.

Вот что, кстати, сказал знаменитый поэт начинающему при этой первой встрече:

— Я не читал ваших стихов. Но, какие бы они ни были, — лучше бросьте. Ни ваши, ни мои, ничьи на свете — они никому не нужны. Писание стихов глупое баловство и потеря времени...

Сам Сологуб начал заниматься «глупым баловством» поздно, годам к тридцати пяти.

Что было до этого? — То же самое.

Пустая, бедно обставленная казенная квартира, единицы школьникам, прогулка медленным, «каменным» шагом по пустынным «линиям» Васильевского острова. Одинокие вечера под висячей керосиновой лампой, над «письменными» или, когда они просмотрены, над такой же «каменной», как он сам, как все, его окружающее, — «Критикой чистого разума» — любимой книгой.

«Кирпич в сюртуке». Машина какая-то, созданная на страх школьникам и на скуку себе. И никто не догадывается, что под этим сюртуком, в «кирпиче» этом есть сердце. Как же можно было догадаться, «кто бы мог подумать»? Только к тридцати пяти годам обнаружилось, что под сюртуком этим сердце есть.

Сердце, готовое разорваться от грусти и нежности, отчаяния и жалости.

* * *

Однажды, в минуту откровенности, Сологуб признался (в разговоре с Блоком):

— Хотел бы дневник вести. Настоящий дневник, для себя. Но не могу, боюсь. Вдруг, случайно, как-нибудь, подчитают. Или умру внезапно — не успею сжечь. Останавливает меня это. А, знаете, иногда до дрожи хочется. Но мысль — вдруг прочтут, и не могу. О самом главном — не могу.

— О самом главном?

— Да. О страхе перед жизнью.

И, в параллель к этому разговору, другая обмолвка Сологуба:

— Искусство — одна из форм лжи. Тем только оно и прекрасно. Правдивое искусство — либо пустая обывательщина, либо кошмар. Кошмаров же людям не надо. Кошмаров им и так довольно.

Я хорошо помню «каменную» улыбку, с которой говорилось это. Говорилось в 1914 году в «блестящем» литературном салоне, и эстетические хлыщи с удовольствием повторяли и запоминали «меткий парадокс» скупого на них «мэтра». Так же, как и хлыщи эти, я запомнил, потом забыл. Но пришлось еще раз вспомнить...

Жена Сологуба, Анастасия Чеботаревская, была маленькая, смуглая, беспокойная. Главное — беспокойная. В самые спокойные

еще времена — всегда беспокоилась. О чем? О всем. Во время процесса Бейлиса, в обществе эстетическом и безразличном и к Бейлису и ко всему на свете, хватала за руки каких-то незнакомых ей дам, отводила в угол каких-то нафаршированных Уайльдом лицеистов и, мигая широко открытыми серыми «беспокойными» глазами, спрашивала скороговоркой: «Слушайте. Неужели они его осудят? Неужели они посмеют?»

— Дда... ваазмутительно... — бормотал лицеист, любезно изгибая стан и стремясь поскорей от нее отделаться. Но она не отпускала. Она говорила еще быстрее, еще горячей и беспокойней. То, что собеседник глуп и безучастен ко всему на свете, кроме своего пробора, — не замечала. Напротив, он сказал «возмутительно», ну конечно, он тоже возмущен, как она, в нем то же беспокойство. Она уже была благодарна, уже видела в нем союзника...

Беспокоилась по важному, беспокоилась и по пустякам. Разницы, кажется, не замечала. Вечная тревога делала ее подозрительной. С той же легкостью, с какой находила мнимых друзей, видела всюду мнимых врагов.

«Враги» — естественно — стремились ущемить, насолить, подставить ножку Сологубу, которого она обожала. Донести на него в полицию (о чем? Ах, мало ли что может придумать враг!). Умалить его славу, повредить его здоровью. И ей казалось, что новый рыжий дворник — сыщик, специально присланный следить за Федором Кузьмичом. X, из почтенного, толстого журнала, — злобный маниак, только и думающий о том, как разочаровать читателя в Сологубе. И чухонка, носящая молоко, вряд ли не подливает сырой воды «с вибрионами» нарочно, нарочно...

Так было в еще «спокойные» мирные времена. Что же тогда в военные, в советские!

В 1921 году, после долгих хлопот, казалось, что сбудется то, о чем она мечтала, о чем рассказывала, блестя широко раскрытыми глазами, встреченным на улице, на лекции, в хлебной очереди «друзьям». То, что она тщательно скрывала (донесут, все испортят) от неимоверно возросших в числе и ставших особенно злобными «врагов». Отъезд за границу.

«Вырваться из ада» — на это последние месяцы ее жизни были направлены все силы души, все ее «беспокойство». Она не говорила и не думала уже ни о чем другом. «Вырваться из ада». И вот после долгих, утомительных, изводящих хлопот — двери «ада» приоткрылись. Через две-три недели будет получен заграничный паспорт. Это наверное. «Друзья» помогли, «враги» отступились.

То, что ад в ней самой и никакой Париж с «белыми булками и портвейном для Федора Кузьмича» ничего не изменит, — не сознавала. Хлопотала, бегала по городу оживленная, веселая. Отводила в сторону встреченных «друзей», оглядывалась, не слышат ли «враги». Беспокойно блестя глазами, шептала:

— Через десять дней. Наверное. И вы приезжайте.

Что «ад» в ней самой, не понимала. Но не поняла <ли> вдруг, сразу, в тот вечер, когда она без шляпы выбежала на дождь и холод, точно ее позвал кто-то? Сологуба не было дома. Женщина, работавшая в квартире (перед отъездом столько дела), спросила — надолго ли барыня уходит. Она кивнула: «Не знаю». Может, правда, не знала. Может быть, сейчас вернется, будет обедать, уедет через несколько дней в Париж... Выбежала на дождь без шляпы, потому что вдруг, со страшной силой прорвалась мучившая ее всю жизнь тревога.

Какой-то матрос видел, как бросилась в Неву с Николаевского моста, в том месте, где часовня, какая-то женщина. Он не успел ее удержать. Был вечер. Фонари в то время не зажигались. Матрос не разобрал ни лица женщины, ни как она была одета. Кажется, она была без шляпы? Кажется, на ней было черное пальто-накидка, как на исчезнувшей Чеботаревской?.. Тела не нашли, может быть, и не искали. Кому была охота шарить в ледяной воде из-за какой-то там жены какого-то там Сологуба? У петербургского пролетариата были дела поважней. Да и спустя несколько дней (как раз к тому сроку, как был обещан, только обещан, разумеется, заграничный паспорт) — стала Нева.

* * *

Чеботаревская за мгновение до смерти все еще «не знала». И Сологуб с того осеннего вечера до весны, когда лед пошел и тело его жены нашли, — тоже «не знал».

Он не изменил ничего в распорядке своей жизни. В хорошую погоду выходил гулять — по девятой линии на Неву, до часовни у Николаевского моста, и потом по солнечной стороне обратно. Вечером под зеленой лампой, в столовой, — писал стихи «бержеретты» во вкусе 18-го века или переводы для «Всемирной литературы» — Готье, Верлена. Когда его навещали, он принимал гостей все с той же холодной любезностью, как всегда. Иногда в разговоре — вскользь упоминал о Чеботаревской таким тоном, точно она ушла ненадолго из дому. Шутил, охотно читал стихи, пастушеские, легкомысленные «бержеретты»...

...Зеленая лампа бросает неяркий круг на покрытый пестрой клеенкой «стол. На столе аккуратно разложены книжки и рукописи. Тут же вязанье Анастасии Николаевны. Одна спица воткнута в шерсть, другая лежит в стороне. Так она оставила его в «тот вечер». Так оно и осталось.

Сологуб читает стихи. Лицо его обычное, каменнолюбезное, старчески-спокойное. И голос такой же, как всегда, без оттенков, тоже «каменный».

А стихи, пастушеские, легкомысленные «бержеретты»:

...С позволенья вашей чести,
Милый мой — пастух Колен...

Однажды я засиделся. Служанка (та самая, что спрашивала, когда барыня вернется) пришла накрывать стол.

— Может быть, пообедаете со мной, — предложил Сологуб. — Маша, поставьте третий прибор.

Я отказался от обеда, но, должно быть, плохо скрыл удивление — для кого же второй прибор, если для меня ставят третий? Должно быть, как-нибудь это удивление на мне отразилось.

И каменно-любезный Сологуб пояснил:

— *Этот* прибор для Анастасии Николаевны.

А весной, когда тело Чеботаревской нашли, Сологуб заперся у себя в квартире, никуда не выходил, никого не принимал. Иногда его служанка приходила во «Всемирную литературу» за деньгами или в Публичную библиотеку за книгами. Это была молчаливая старуха, от которой ничего нельзя было узнать, кроме того, что «барин, слава Богу, здоровы, все пишут, велят

не беспокоиться». Удивляло всех, что книги, которые брал Сологуб, были все по высшей математике.

Зачем ему они?

Потом Сологуб стал снова появляться то здесь, то там, стал принимать, если к нему приходили. О Анастасии Николаевне, как о живой, не говорил больше, и второй прибор на стол уже не ставился. В остальном, казалось, ни в нем, ни в его жизни ничего не изменилось.

Зачем ему нужны были математические книги, — узнали позже.

Один знакомый, пришедший навестить его, увидел на столе рукопись, полную каких-то выкладок. Он спросил Сологуба, что это.

— Это дифференциалы.

— Вы занимаетесь математикой?

— Я хотел проверить, есть ли загробная жизнь.

— При помощи дифференциалов?

Сологуб «каменно» улыбнулся.

— Да. И проверил. Загробная жизнь существует. И я снова встречусь с Анастасией Николаевной...

...Этот прибор — для Анастасии Николаевны.

...Да, я много пишу. Все больше бержеретты...

Вот это — вчера написал:

...С позволенья вашей чести,
Милый мой — пастух Колен...

Голос тот же. И улыбка та же. И сюртук — побелел только по швам. И стихи — бержеретты пастушеские. Ну да, — «Искусство только тем и прекрасно... А кошмар...»

* * *

Много было весен,
И опять весна.
Бедный мир несносен,
И весна бедна.

Что она мне скажет
На мои мечты,

Ту же смерть покажет,
Те же все цветы,

Что и прежде были
У больной земли,
Небесам кадили,
Никли да цвели.

Те же цветы, та же смерть. В стихах этих ключ ко всему Сологубу.

«Искусство одна из форм лжи»? Искренне ли Сологуб считал, что это так? Или, напротив, боясь «до дрожи», чтобы в искусстве его не «подчитал» кто-нибудь «самого заветного», — придумывал — «одну из форм лжи» — такие фразы?

Не знаю. И не важно это. Важно другое.

В лучшем из созданного Сологубом, его стихах, никакой «лжи» нет. Напротив, стихи его — одни из самых «правдивых» в русской поэзии.

Они «правдивы до конца» — и художественно, и человечески. И своей сдержанностью, чуждой всему внешнему и показному, и — ясным целомудрием отраженной в них «детской» души поэта.

Совсем недавно, в одном из ответов на литературную анкету, Сологуб был назван «великим поэтом». Это преувеличение, разумеется.

В искусстве «великое» начинается как раз с какой-то «победы» над тем «страхом перед жизнью», которым заранее и навсегда был побежден Сологуб. Но, конечно, он был поэтом в истинном и высоком смысле этого слова — не литератором и стихотворцем, а одним из тех, которые перечислены в «Заповедях Блаженства».

* * *

И вот Сологуб умер. В последний раз, когда я его видел (зашел прощаться перед отъездом за границу, — осенью 1922 года), он сказал:

— Единственная радость, которая у меня осталась, — курить. Да. Ничего больше. Что ж — я курю...

Еще пять лет он «как-то» жил, «чем-то» жил. Курил. Писал «бержеретты», быть может. Теперь он умер.

Умер в полном одиночестве, в бедности, всеми забытый, никому не нужный. От воспаления легких, при котором не теряют сознания до последней минуты, а вот курить как раз нельзя...

XVI

В 1914 году летом по Италии путешествовал молодой человек.

Он только что кончил гимназию — это было его первое самостоятельное путешествие. Ему было семнадцать лет, он был очень красив — черноглазый, стройный, высокий, — свободен от всяких забот, вполне обеспечен денежно. Все у него было — молодость, Италия, в которую он был влюблен с детства, деньги, которые можно тратить, не считая, время, которым можно распоряжаться, как угодно. Вздумалось — и завтра же можно уехать: ну, хоть в Норвегию, или, напротив, остаться на месяц, на год, на два в этом, чуть старомодном, уютном пансионе, в белой высокой комнате, где ползучие розы заплели широкое окно и сквозь них блаженно синеет Неаполитанский залив... Молодость, свобода, Италия — женщины в него наперебой влюбляются, каждый день в пансион, где он живет, присылаются цветы или надушенные записки, адресованные «красивому русскому синьору». Молодость, Италия, свобода — вся жизнь впереди, все ему улыбается... Рай, не правда ли? Он сам согласен — рай. Но...

Но отчего же мне так больно
В моем счастливейшем раю?

Спрашивает он, сам недоумевая.

Отчего, зачем, в самом деле?

Да — молодость, красота, Италия, вся жизнь впереди, все ему улыбается. Но:

Зачем же груз необъяснимый
На сердце дрогнувшем моем?

Эти жалобы семнадцатилетнего «баловня судьбы», эти горькие «зачем» и «отчего» не пустые слова, не «поэтические образы». Леонид Каннегиссер там же, в Италии, в своей белой

комнате с окном в розах — ведет дневник. И в каждой строке этого дневника — то же самое: Зачем? Отчего?

...У меня есть комната, обед, книги и полное отсутствие жалости к тому, у кого их нет.

Италия, молодость, свобода — «рай». Но в раю — больно, и на сердце — «необъяснимый груз».

Зачем же груз необъяснимый
На сердце дрогнувшем моем?

В одной строке вопрос, в следующей — ответ: «На сердце дрогнувшем»... Да, жизнь «улыбается» этому семнадцатилетнему мальчику, да, кругом него рай. Но сердце у него «дрогнувшее», и ни в каком раю, самом «блаженнейшем», не находит и не найдет оно покоя.

Детские стихи Леонида Каннегиссера странно перекликаются с детскими стихами Лермонтова. Помните:

Я рано начал, кончу ране,
Мой путь немногое свершит.
В моей груди, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.

И странно перекликаются образы, которые они вызывают: Лермонтов «с свинцом в груди», покрытый шинелью, под проливным дождем. Каннегиссер с пулей в затылке, в подвале Чека.

Два «дрогнувших сердца» — нашедших, наконец, покой...

* * *

В «Бродячей собаке», часа в четыре утра, меня познакомили с молодым человеком, высоким, стройным, черноглазым. Точнее — с мальчиком. Леониду Каннегиссеру вряд ли было тогда больше семнадцати лет.

Но вид у него был вполне взрослый — уверенные манеры, высокий рост, щегольский фрак. — «Поэт Леонид Каннегиссер», — назвал его, рекомендуя, знакомивший нас. Каннегиссер улыбнулся.

— Ну, какой там поэт. Я не придаю своим стихам значения.

— Почему же?

— Я знаю, что не добьюсь в поэзии ничего великого, исключительного.

— Ну... Во-первых, «плох тот солдат»... а потом, не всем же быть Дантами. Стать просто хорошим поэтом...

— Ах, нет. Скучно и не к чему.

— Так что ваша программа — победить или умереть, — пошутил я.

Он улыбнулся одними губами, — глаза смотрели так же серьезно.

— Вроде этого...

— Только поприще для совершения подвига еще не выбрано?

Он снова улыбнулся. На этот раз широкой улыбкой, всем лицом. Семнадцатилетний мальчик сразу проступил сквозь фрак и взрослую манеру держаться.

— Не выбрано!

...Под сводами подвала плавал табачный дым. Звенели стаканы, зеленели лица в ярком электрическом свете. Какая-то женщина танцевала на столе, бестолковая музыка прерывалась и вновь гремела. Мы сидели в углу, пили то черный кофе, то рислинг, то снова кофе. В голове слегка шумело. Я слушал моего нового знакомого. Должно быть, от выпитого вина он разошелся и говорил без конца. Я слушал с сочувственным удивлением: такую страстную романтическую путаницу «о доблести, о подвиге, о славе» стены «Бродячей собаки», вероятно, слышали впервые...

...Когда я попал к Каннегиссеру в гости, мне пришлось удивиться снова.

«У меня соберутся несколько друзей», — писал он мне в пригласительной записке. И я живо вообразил себе — и этих друзей, так же возвышенно и романтически настроенных, как мой ночной собеседник, и комнату, где они собираются и толкуют об «идеалах», неярко освещенную, полную ученых книг, с портретами каких-нибудь «вождей». Горячие разговоры, покрасневшие лица, окурки, чай с лимоном — словом:

До утра мы в комнате спорим,
На рассвете один из нас

Выступает к розовым зорям
Золотой приветствовать час...

Представил и, несмотря на всю симпатию, внушенную мне Каннегиссером, — мне стало заранее скучновато. Но все-таки я пошел.

...В обвешанной шелками и уставленной «булями» гостиной щебетало человек двадцать пять. Лакей разносил чай и изящные сладости, копенгагенские лампы испускали голубоватый свет, и за роялем безголосый соловей петербургских эстетов, Кузмин, — захлебывался:

...Если бы ты был небесный ангел,
Вместо смокинга носил бы ты орарь...

Половину гостей я знал. Другая — по всему своему виду не оставляла сомнения в том, что она из себя представляет: увлекающиеся Далькрозом девицы, дымящие египетскими папиросами из купленных у Треймана эмалированных мундштуков; молодые люди с зализанными проборами и в лакированных туфлях, пишущие стихи или сочиняющие сонаты. Общество достаточно определенное и достаточно пустое.

Но мой ночной романтик? При чем тут он?

Он плавал, казалось, как рыба в воде, в этой элегантной гостиной. Костюм его был утрированно изящен, разговор томно-жеманен. Он ничем — если не считать красоты — не отличался от остальных: эстетический петербургский юноша...

Нам философии не надо
И глупых ссор.
Пусть будет жизнь одна отрада
И милый вздор...

Оборачиваясь на публику и поблескивая поощряюще своими странными глазами из-под пенсне, ворковал Кузмин.

Я подошел и взял аплодировавшего Каннегиссера за локоть.

— Вот уж не думал, что вам это может нравиться.

— Как? Вам не нравится пение Михаила Алексеевича?

— Мне-то нравится. Но с вашими взглядами на жизнь этот «милый вздор» как будто не вполне совпадает...

— Напротив, — он насмешливо раскланялся, — вполне совпадает. Не обижайтесь на меня, — тогда, в «Собаке», я просто вас мистифицировал. Какие там подвиги...

И он запел, подражая Кузмину:

Дважды два — четыре,
Два да три — пять,
Вот и все, что мы можем,
Что мы можем знать...

* * *

Вернисажи, маскарады, эстетические чаи разных артистических дам, этот ночной подвал, где мы встретились, куда каждую полночь собираются скучать до утра разные изящные бездельники, на стенках которого рукой их излюбленного поэта, наряженного, надушенного Кузмина, выведено:

Здесь цепи многие развязаны,
Все сохранит подземный зал,
И те слова, что ночью сказаны,
Другой бы утром не сказал.

Не сказал бы? Может быть. Но «не сказал» — не значит — забыл. О, нет. «Такое» — не забывается. А если и забудется на свежем морозном воздухе не до конца еще отравленной эстетизмом и праздностью головой — если и забудется, то ведь: «все сохранит подземный зал», забудется — снова вспомнится, едва войдешь ночью под эти низкие своды, в эти пестрые стены. С каждым разом — «забывается» все трудней. «Запоминается» все легче. Что? Да это самое — что цепи развязаны. «Многие цепи» — почти все...

На маскарадах, вернисажах, пятичасовых чаях и полунощных сборищах все те же лица, те же разговоры. Проходят годы, точнее, сезоны, меняются фасоны пиджаков и узоры галстуков. Больше ничего не меняется. Это быт. Началось это после 1905 года, кончится в 1917.

Страшно кончится.

Общественность? — Скука. Политика? — Пошлость. Работа? — Божье наказание, от которого «мы», к счастью, избавлены.

Богатые — тем, что у них есть деньги, бедные — тем, что можно попрошайничать у богатых.

Маскарады, вернисажи, пятичасовые чаи, ночные сборища. Мир уайльдовских острот, зеркальных проборов, в котором меняется только узор галстуков.

Кончится это страшно. Но о конце никто не думает.

Кончится это так. Когда в оранжерейную затхлость жизни, «красивой и беззаботной», ворвется февраль 1917 года, те, в ком этот «быт» не доконал еще человека, — опрометью бросятся на «свежий воздух». И чем больше осталось человеческого, тем стремительней бросятся, тем менее рассуждая...

А резкие перемены температуры — опасная вещь.

* * *

1916 год, зима. Поздно — часа три ночи. В гостиной полутемно и тихо. Час назад здесь толпилось и болтало много народу — слышались музыка, пение, смех. Но теперь гости разошлись, старшие отправились спать, и только в углу, в неярком желтоватом свете лампы, «полуночничают» молодой хозяин и несколько его приятелей. Гостиная петербургская, и молодые люди «петербургские». Эстетический вид, и эстетический разговор.

Один из собеседников выделяется — одет он каким-то мужичком из балета. Розовая рубашка, золотой поясок, гребень на тесемочке. Впрочем, весь этот туалет тот же «дендизм», хоть и навыворот. И на *о* этот мужичок произносит так же старательно, как остальные грассируют. Лет ему немного — не больше восемнадцати. Лицо простоватое, милое. Фамилия его Есенин.

Это все молодые поэты. Разговоры о стихах, чтение стихов. Вот — мужичок нараспев читает. Талантливо, даже очень талантливо... если бы только не портила сусальная «народность», та же самая, что в гребешке и поясочке.

Вслед за ним читает черноглазый хозяин:

Сердце! Бремени не надо!
Легким будь в земном пути.

Ранней ласточкой из сада
В небо синее лети...

За хозяином — какой-то белокурый подросток. Тоже не бездарно, тоже гладко и звонко, тоже «легко», приятно для слуха и не задевает сердца. Одни стихи лучше, другие хуже, один образ удачен, другой нет, — но это не важно. Важно иное — и в стихах и в разговорах какая-то странная пустота. На ухо приятно — сердца не задевает. Недаром час тому назад, в той же гостиной, эти и такие же молодые люди с гладкими проборами и гладкими стихами наперебой просили Кузмина петь еще и еще. И тот, поблескивая своими странными глазами на окружающих юнцов, пел:

Нам философии не надо
И глупых ссор.
Пусть будет жизнь одна отрада
И милый вздор.

— Еще, еще, Михаил Алексеевич...

Дважды два — четыре.
Два да три — пять.
Вот и все, что мы можем,
Что мы можем знать...

— Еще, еще.

И «мужичок» в своей шелковой косоворотке туда же. И ему по вкусу.

— Михоил Лексеич, — про ангела спой...

Если бы ты был небесный ангел,
Вместо смокинга носил бы ты орарь...

...1916 год. Неудачи на фронте все грознее. Революция в «воздухе». Да, конечно... Но ведь мы — поэты, что мы можем сделать? А раз не можем — остается одно:

Пусть будет жизнь одна отрада
И милый вздор.

Кузмин поет. От его безголосого, сладкого пения, от его томного, странного взгляда, от этих наивных словечек и простеньких

мотивов идет незаметный — но страшный яд. Тот самый, защиты от которого просят в молитве Св. Ефрема Сирина, «Дух праздности»...

Старый яд — верный яд. Временами казалось — выветрился. Нет, не выветрился, все тот же. Оттого-то и нравится так это безголосое пение — что идет от него вечное, верное, неотразимое... «Дух праздности»... Кузмин тут ни при чем. И слушатели ни при чем. Ему нравится, и им нравится. Вот именно это, а не другое. Не Блок, не Сологуб, не Леонид Андреев — мало ли кто. Нет, сейчас власть над этими человеческими душами, без всякого сомнения, в этих смугловатых руках, жеманно касающихся клавиш. Кузмин тут ни при чем — не он, так другой. И слушатели ни при чем — время такое.

1916 год. Неудачи на фронте. Близость революции — как подземный гул. Да, конечно... Но ведь мы поэты, что мы можем?

И мужичок туда же:

— Михоил Лексеич, спой про яблоню...

А ведь он, хоть в оперной косоворотке, хоть и с золотым пояском, — а в самом деле — деревенский парень. И чтобы попасть в эту блестящую гостиную, ему пришлось многое снести, и не в области «обманутой любви и раннего разуверенья», а в самой жестокой, житейской. Все, что испытали когда-то все русские самоучки, стремившиеся «из тьмы к свету». Известно, какой нужен «напор», чтобы не погибнуть на пол-, на четверти пути. Хватило напору, все вынес, не погиб... И сидит в шелковой рубашке, в золотом пояске, с подвитыми кудрями. В порыве к «разумному, доброму, вечному» хватило сил все перенести. И вот — добился-таки. Паркет блестит, египетские папиросы дымятся, и за эраровским роялем подрумяненный денди, поблескивая пенсне, воркует и картавит.

Сеет...

«Разумное, доброе, вечное»? То, о чем так сладко и жадно мечталось когда-то в грязной избе, при дымящей лучине, за засаленным букварем?

Оно самое. В 1916 году, в Петербурге, в разгаре войны, накануне революции, в самом утонченном, самом избранном кругу истина формулируется так:

Нам философии не надо...

Сомнений, что это истина, — никаких. Да никто и не хочет сомневаться. Всем нравится. Именно это — а не другое. И никто не виноват.

Пришло время — и яд действует. Пришло время, и яду нельзя сопротивляться...

Каннегиссер в 1917 году писал:

И если, шатаясь от боли,
К тебе припаду я, о, мать,
И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать,

Тогда у блаженного входа,
В предсмертном и радостном сне,
Я вспомню — Россия, Свобода,
Керенский на белом коне...

«О доблестях, о подвиге, о славе» — он давно мечтал. «Радостная смерть» за Россию, за свободу, за человечество — ему давно мерещилась. Но какая жестокая разница между тем, что мерещилось, и тем, что оказалось в действительности.

...Россия, Свобода,
Керенский на белом коне?..

Нет — подвал Чека, сухой треск нагана.

* * *

Мало кто знает, что убийца Урицкого — был поэтом.

«Настоящим поэтом»? Да, настоящим. Если бы он просто «писал стихи», как большинство молодых людей его возраста и круга, — не стоило бы о них упоминать.

Но Каннегиссер был впрямь поэтом. Он погиб слишком молодым, чтобы дописаться до «своего». Оставшееся от него — только опыты, пробы пера, предчувствия. Но то, что это «настоящее», видно по каждой строчке.

Так вот — убийца Урицкого был поэтом. А что такое поэт? Прежде всего, существо с удвоенной, удесятеренной, утысячеренной чувствительностью. Покойный лейб-медик Карпинский, удивительнейший психоневролог, говорил:

— Понимаете, если отрезать палец солдату и Александру Блоку — обоим больно. Только Блоку, ручаюсь вам, в пятьсот раз больнее.

Не знаю, как насчет пальцев, но в области душевной уверен, что «Блоку» всегда больнее, чем «не Блоку», безразлично, солдату или банкиру. Такова уж суть «поэтической природы». Непоэтам нечего на это обижаться. Гордиться, вероятно, тоже нечего...

Итак, Урицкого убил не простой «русский мальчик». Урицкого убил — поэт.

...На Миллионной схватили, как затравленного зверя. Отвезли в Чека. Что с ним делали там, как допрашивали? Грозили, что его мать, отец, вся семья будут расстреляны, уже расстреляны. Говорят — истязали. Долгие недели в тюрьме в ожидании казни... Никакого просвета, никакой надежды...

Каннегиссера очень долго не казнили. Зачем это было нужно — не знаю. Долгие недели такой «жизни» даже трудно себе представить. А ведь он «прожил» их и, кроме страшной судьбы, которую сам себе выбрал, оставался тем же Ленечкой Каннегиссером, двадцатилетним, влюбленным, гордым...

Солдату, когда ему режут палец, если и «не так больно», как «Александру Блоку», — все же страшно, невыносимо больно.

А тут еще эта адская «таблица умножения»:

Красивый × двадцатилетний × веселый × влюбленный × гордый... и еще поэт.

* * *

Уже здесь, в Париже, я видел последнюю фотографию Каннегиссера, снятую за два или три дня до казни.

Когда родных Каннегиссера выпустили, спустя несколько месяцев, из тюрьмы, даже мебель из их квартиры оказалась наполовину вывезенной. От бумаг, писем, фотографий,

разумеется, ничего — если уж и рояль взяли в качестве «вещественного доказательства».

И, вернувшись, после долгих месяцев, из тюрьмы, родители Каннегиссера не нашли ни одного портрета своего казненного сына.

«Все уничтожено», — ответили в Чека на просьбу вернуть хоть одну фотографию.

В кабинете следователя было несколько человек. Когда отец Каннегиссера был уже на улице, его окликнули. Чекист в кожаной куртке, один из бывших в кабинете. Он протягивал фотографии.

— Вот. Нам всем раздавали. Возьмите.

И, помолчав, прибавил:

— Ваш сын умер как герой...

Два маленьких бледных отпечатка, такие, как делают для паспортов.

Особенно страшен один, в профиль. Это — Каннегиссер? Тот, которого мы знали, красивый, веселый, гордый мальчик?

Да, Каннегиссер. Только ни его красоты, ни молодости, ни веселья, ни стихов — уже нет. Осталось на этом лице только одно — гордость.

Губы крепко сжаты. Глаза смотрят спокойно и холодно. Волосы гладко причесаны и щеки выбриты. Но есть в этом лице что-то такое, от чего вздрогнет всякий, взглянувший на этот портрет, даже не зная, *чей* он, *откуда* он...

* * *

Каннегиссера держали в Кронштадтской тюрьме. На допросы в Петербург его возили по морю в катере. И вот рассказ одного из возивших матросов. В середине пути разыгралась буря, и катер начало заливать. Каннегиссер сказал:

— Если мы потонем, я один буду смеяться.

В том, что эти слова подлинные, не усомнится никто из знавших Каннегиссера. Весь он в этой фразе. Он бы и рассмеялся, наверное, если бы катер перевернуло. А везли его из тюрьмы

в застенок. Позади — долгие недели в ожидании казни. Впереди — никакого просвета, никакой надежды...

Балтийское море дымилось
И словно рвалось на закат.
Балтийское солнце садилось
За синий и дальний Кронштадт...

XVII

Я близко знал Блока и Гумилева. Слышал от них их только что написанные стихи, пил с ними чай, гулял по петербургским улицам, дышал одним с ними воздухом в августе 1921 года — месяце их общей — такой разной и одинаково трагической смерти... Как ни неполны мои заметки о них — людей, знавших обоих так близко, как знал я, в России осталось, может быть, два-три человека, в эмиграции — нет ни одного...

Блок и Гумилев Антиподы — в стихах, во вкусах, мировоззрении, политических взглядах, наружности — решительно во всем. Туманное сияние поэзии Блока — и точность, ясность, выверенное совершенство Гумилева. «Левый эсер» Блок, прославивший в «Двенадцати» Октябрь: «мы на горе всем буржуям — мировой пожар раздуем», и «белогвардеец», «монархист» Гумилев. Блок, относившийся с отвращением к войне, и Гумилев, пошедший воевать добровольцем. Блок, считавший мир «страшным», жизнь бессмысленной, Бога жестоким или несуществующим, и Гумилев, утверждавший — с предельной искренностью, — что «все в себе вмещает человек, который любит мир и верит в Бога». Блок, мечтавший всю жизнь о революции как о «прекрасной неизбежности», — Гумилев, считавший ее синонимом зла и варварства.

Блок, презиравший литературную технику, мастерство, выучку, самое звание литератора, обмолвившийся о ком-то:

Был он только литератор модный,
Только слов кощунственных творец.

и Гумилев, назвавший кружок своих учеников Цехом поэтов, чтобы подчеркнуть важность, необходимость изучать поэзию как ремесло. И так вплоть до наружности: северный красавец

с лицом скальда, прелестно вьющимися волосами, в поэтической бархатной куртке с мягким расстегнутым воротником белой рубашки — Блок, и некрасивый, подтянутый, «разноглазый», коротко подстриженный, в чопорном сюртуке Гумилев...

Противоположные во всем — всю свою недолгую жизнь Блок и Гумилев то глухо, то открыто враждовали. Последняя статья, написанная Блоком, «О душе», появившаяся незадолго до его смерти, — резкий выпад против Гумилева, его поэтики и мировоззрения. Ответ Гумилева на эту статью, по-гумилевски сдержанный и корректный, но по существу не менее резкий, напечатан был уже после его расстрела.

* * *

Осенью 1909 года Георгий Чулков привел меня к Блоку. Мне только что исполнилось пятнадцать лет. На мне был кадетский мундир. Тетрадку моих стихов прочел Чулков и стал моим литературным покровителем.

Что же описывать чувства, с которыми я входил в квартиру Блока?.. Блок жил тогда на Малой Монетной, в пятом этаже.

Большое, ничем не занавешенное окно с широким видом на крыши, деревья, Каменноостровский. Блок всегда нанимал квартиры высоко, так, чтобы из окон открывался простор. На Офицерской, 57, где он умер, было еще выше, вид на Новую Голландию еще шире и воздушней... Мебель красного дерева — «русский ампир», темный ковер, два больших книжных шкапа по стенам, друг против друга. Один с отдернутыми занавесками — набит книгами. Стекла другого плотно затянуты зеленым шелком. Потом я узнал, что в этом шкапу, вместо книг, стоят бутылки вина — «Нюи» елисеевского розлива № 22. Наверху полные, внизу опорожненные. Тут же пробочник, несколько стаканов и полотенце. Работая, Блок время от времени подходит к этому шкапу, наливает вина, залпом выпивает стакан и опять садится за письменный стол. Через час снова подходит к шкапу. «Без этого» — не может работать.

Каждый раз Блок наливает вино в новый стакан. Сперва тщательно вытирает его полотенцем, потом смотрит на свет — нет ли пылинки. Блок, самый серафический, самый «неземной»

из поэтов, — аккуратен и методичен до странности. Например, если Блок заперся в кабинете, все в доме ходят на цыпочках, трубка с телефона (помню до сих пор номер блоковского телефона — 612–00!..) снята — все это совсем не значит, что он пишет стихи или статью. Гораздо чаще он отвечает на письма. Блок получает множество писем, часто от незнакомых, часто вздорные или сумасшедшие. Все равно — от кого бы ни было письмо — Блок на него непременно ответит. Все письма перенумерованы и ждут своей очереди. Но этого мало. Каждое письмо отмечается Блоком в особой книжке. Толстая, с золотым обрезом, переплетенная в оливковую кожу, она лежит на видном месте на его аккуратнейшем — ни пылинки — письменном столе. Листы книжки разграфлены: № письма. От кого. Когда получено. Краткое содержание ответа и дата...

Почерк у Блока ровный, красивый, четкий. Пишет он не торопясь, уверенно, твердо. Отличное перо (у Блока все письменные принадлежности отборные) плавно движется по плотной бумаге. В до блеска протертых окнах — широкий вид. В квартире тишина. В шкапу, за зелеными занавесками, ряд бутылок, пробочник, стаканы...

— Откуда в тебе это, Саша? — спросил однажды Чулков, никак не могший привыкнуть к блоковской методичности. — Немецкая кровь, что ли? — И передавал удивительный ответ Блока. — Немецкая кровь? Не думаю. Скорее — самозащита от хаоса.

* * *

Чулков, близкий к Блоку человек, вошел в кабинет, потряхивая своей лохматой гривой, улыбаясь бритым актерским лицом, тыча пальцем в мой кадетский мундир. — Вот привел к тебе военного человека, ты хоть не любишь армию, а его не обижай... Я, вслед за Чулковым, робко ступал не совсем слушавшимися от робости ногами.

Больше всего меня поразило то, как Блок заговорил со мной. Как с давно знакомым, как со взрослым, и точно продолжая прерванный разговор. Заговорил так, что мое волнение

не то что прошло — я просто о нем забыл. Я вспомнил о нем с новой силой уже потом, спустя часа два, спускаясь вниз по лестнице с подаренным мне Блоком экземпляром первого издания «Стихов о Прекрасной Даме» с надписью: «На память о разговоре».

Потом у меня собралось несколько таких книг, все с одинаковой надписью, только с разными датами. О чем были эти разговоры? Была у меня и пачка писем Блока — из его Шахматова в наше виленское имение, где я проводил каникулы. Письма были длинные. О чем Блок мне писал? О том же, что в личных встречах, о том же, что в своих стихах. О смысле жизни, о тайне любви, о звездах, несущихся в бесконечном пространстве... Всегда туманно, всегда обворожительно... Почерк красивый, четкий. Буквы оторваны одна от другой. Хрустящая бумага из английского волокна. Конверты на карминной подкладке. Туманные слова, складывающиеся в зыбко-мерцающие фразы...

Зачем Блок писал длинные письма или вел долгие разговоры со мной, желторотым подростком, с вечными вопросами о технике поэзии на языке? Время от времени какой-нибудь такой вопрос с моего языка срывался.

— Александр Александрович, нужна ли кода к сонету? — спросил я как-то. К моему изумлению, Блок, знаменитый «мэтр», вообще не знал, что такое кода...

В дневнике Блока 1909 г. есть запись: «говорил с Георгием Ивановым о Платоне. Он ушел от меня другим человеком». В этой записи, быть может, объяснение и писем, и разговоров. Должно быть, Блок не замечал моего возраста и не слушал моих наивных реплик. Должно быть, он говорил не столько со мной, сколько с самим собой. Случай — я был перед ним, в его орбите, — и он посылал мне свои туманные лучи, почти не видя меня.

* * *

В эту блоковскую орбиту попадали немногие — но те, что попадали, все казались попавшими в нее случайно. Настоящих друзей, сколько-нибудь ему равных, у Блока не было. Связи его молодости либо оборвались, либо переродились,

как в отношениях Блока с Андреем Белым, — в мучительно сложную, неразрешимую путаницу. Обычной литературной среды Блок чуждался. А близкие к нему люди, приходившие к нему запросто, спутники его долгих утренних прогулок и частых ночных кутежей — были все какие-то чудаки.

Нормальным человеком и к тому же, все-таки, — хотя и второстепенным, — писателем был среди них один Чулков. — Но что связывало Блока с этим милым, поверхностно талантливым изобретателем «мистического анархизма», в который никто, в том числе и сам Чулков, всерьез не верил?

Непонятна его дружба с Пястом, еще непонятней — с Евгением Ивановым и В. Зоргенфреем, которым, кстати, посвящены два шедевра блоковской поэзии: одному — «У насыпи во рву некошенном», другому — потрясающие «Шаги Командора».

Пяст, поэт-дилетант, лингвист-любитель, странная фигура в вечных клетчатых штанах, носивший канотье чуть ли не в декабре, постоянно одержимый какой-нибудь «идеей»: то устройства колонии лингвистов на острове Эзеле, то подсчетом ударений в цоканье соловья — и реформы стихосложения на основании этого подсчета, и с упорством маниака говоривший только о своей, очередной, «идее», пока он был ею одержим... Евгений Иванов — «рыжий Женя» — рыжий от бороды до зрачков, готовивший сам себе обед на спиртовке из страха, что кухарка обозлится вдруг на что-нибудь и «возьмет да подсыпет мышьяку». «Рыжий Женя», в противоположность болтливому Пясту, молчал часами, потом произносил ни с того ни с сего какое-нибудь многозначительное слово: «Бог», или «смерть», или «судьба», и снова замолкал. — Почему Бог? Что смерть? Но «рыжий Женя» смотрит странно, странными рыжими «глазами, скалит белые, мелкие зубы, точно хочет укусить», и не отвечает. Зоргенфрей — среднее между Пястом и Ивановым — говорит вполне вразумительно и логично. Только заводит разговор большею частью на тему о ритуальных убийствах — это его конек. Он большой знаток вопроса — изучил Каббалу, в переписке с знаменитым ксендзом Пранайтисом. Точно в насмешку, природа дала ему характерную еврейскую внешность, хотя по отцу он прибалтийский немец, а по матери грузин...

Почему эти люди близки Блоку? Чем близки? Вернее всего — он их не замечает. Они попали в его орбиту — общаясь с ними, он видит только себя, свое одиночество в «Страшном мире». И их лица, их голоса, даже их странности, к которым он привык, — то же, что аккуратно протираемый полотенцем стакан, разграфленная «получено — отвечено» книжка с золотым обрезом, методический порядок на письменном столе. Все та же «самозащита от хаоса»...

Эти четверо — Зоргенфрей, Иванов, Пяст и Чулков — неизменные собутыльники Блока, когда, время от времени, его тянет на кабацкий разгул. Именно — кабацкий. Холеный, барственный, чистоплотный Блок любит только самые грязные, проплеванные и прокуренные «злачные места»: «Слон» на Разъезжей, «Яр» на Большом проспекте. После «Слона» или «Яра» — к цыганам…

…Чад, несвежие скатерти, бутылки, закуски. «Машина» хрипло выводит — «Пожалей ты меня, дорогая» или «На сопках Маньчжурии». Кругом пьяницы. Навеселе и спутники Блока. «Бог», — неожиданно выпаливает Иванов и замолкает, скалясь и поводя рыжими зрачками. Зоргенфрей тягуче толкует о Бейлисе. Пяст, засыпая, что-то бормочет о Лопе де Вега...

Блок такой же, как всегда, как на утренней прогулке, как в своем светлом кабинете. Спокойный, красивый, задумчивый. Он тоже много выпил, но на нем это не заметно.

Проститутка подходит к нему. «О чем задумались, интересный мужчина? Угостите портером». Она садится на колени к Блоку. Он не гонит ее. Он наливает ей вина, гладит ее нежно, как ребенка, по голове, о чем-то ей говорит. О чем? Да о том же, что всегда. О страшном мире, о бессмысленности жизни. О том, что любви нет. О том, что на всем, даже на этих окурках, затоптанных на кабацком полу, как луч, отражена любовь...

— Саша, ты великий поэт! — кричит пришедший в пьяный экстаз Чулков и, расплескивая стакан, лезет целоваться. Блок смотрит на него ясно, трезво, задумчиво, как всегда. И таким же, как всегда, трезвым, глуховатым голосом, медленно, точно обдумывая ответ, отвечает:

— Нет. Я не великий поэт. Великие поэты сгорают в своих стихах и гибнут. А я пью вино и печатаю стихи в «Ниве».

По полтиннику за строчку. Я делаю то же самое, что делает Гумилев, только без его сознания правоты своего дела.

* * *

С тем, что Блок одно из поразительнейших явлений русской поэзии за все время ее существования, — уж никто не спорит, а те, кто спорят, не в счет. Для них, по выражению Зинаиды Гиппиус, «дверь поэзии закрыта навсегда». Но вокруг создателя этой поэзии, ее первоисточника, — Блока-человека — еще долго будут идти противоречивые толки. Если они теперь утихли, это только потому, что спорить некому... *Там* — Блок забыт, по циркуляру Политбюро, как «несозвучный эпохе», *здесь* — в силу все возрастающей усталости и равнодушия ко всему, кроме грустно доживаемой жизни... Но когда-нибудь споры о личности Блока вспыхнут с новой силой. Это неизбежно, если Россия останется Россией и русские люди русскими людьми. Русский читатель никогда не был и, даст Бог, никогда не будет холодным эстетом, равнодушным «ценителем прекрасного», которому мало дела до личности поэта. Любя стихи, мы тем самым любим их создателя — стремимся понять, разгадать, если надо, — оправдать его.

Блок как раз как будто нуждается в оправдании. «Двенадцать» — одна из вершин поэзии Блока, и именно потому, что она одна из вершин, на имя Блока и на все написанное им ложится от нее зловещий отблеск кощунства в отношении и России, и Христа. Стихи подлинных поэтов вообще, а шедевры их поэзии в особенности, неотделимы от личности поэта. И раз Блок написал «Двенадцать», — значит...

Дальше я расскажу, как умирал Блок. Одного его предсмертного бреда достаточно, по-моему, чтобы это «значит» потеряло значение. Но прежде чем показать, как он сам, умирая, относился к своей прекрасной и отвратительной поэме, я хочу попытаться объяснить, почему Блок не ответствен за создание «Двенадцати», не запятнан, невинен.

Первое — чистые люди не способны на грязный поступок. Второе — люди самые чистые могут совершать ошибки, иногда страшные, непоправимые. Блок был человек исключительной

душевной чистоты. Он и низость — исключающие друг друга понятия. Говоря его же стихами, он

...был весь дитя добра и света,
был весь свободы торжество.

И он же написал «Двенадцать», где во главе красногвардейцев, идущих приканчивать штыками Россию, поставил — «в снежном венчике из роз» Христа!.. Как же совместить с этим свет, свободу, добро? Если Блок, действительно, «дитя добра и света», как он мог благословить преступление и грязь?

Объяснение в том, что Блок только казался литератором, взрослым человеком, владельцем Шахматова, «квартиронанимателем», членом каких-то союзов... Все это было призрачное. В нереальной реальности, в которой он жил и писал стихи, Блок был заблудившимся в «Страшном мире» ребенком, боявшимся жизни и не понимавшим ее...

Одаренный волшебным даром, добрый, великодушный, предельно честный с жизнью, с людьми и с самим собой, Блок родился с «ободранной кожей», с болезненной чувствительностью к несправедливости, страданию, злу. В противовес «страшному миру» с его «мирской чепухой», он с юности создал мечту о революции-избавлении и поверил в нее как в реальность. Февральская революция, после головокружения первых дней, разочаровала Блока. Предпарламент, министры, выборы в Учредительное собрание — казались ему профанацией, лозунг «Война до победного конца» — приводил в негодование.

И в картавых, домогательских выкриках человеконенавистника Ленина Блоку почудилась любовь к людям и христианская правда...

Предельная искренность и душевная честность Блока — вне сомнений. А если это так, то кощунственная, прославляющая октябрьский переворот поэма «Двенадцать» не только была создана им во имя «добра и света», но она и есть, по существу, проявление света и добра, обернувшееся страшной ошибкой.

Я не прощу. Душа твоя невинна.
Я не прощу ей никогда, —

писала, прочтя «Двенадцать», Зинаида Гиппиус. Эти ее строчки подтверждают мои слова. Их противоречивость только кажущаяся.

По существу, они — как все у Гиппиус — очень точны и ясны. Гиппиус близко знала Блока и очень любила его. То, что в своей непримиримости она так резко отказывается Блока простить, только усиливает силу ее признания-утверждения: «Душа твоя невинна».

За создание «Двенадцати» Блок расплатился жизнью. Это не красивая фраза, а правда. Блок понял ошибку «Двенадцати» и ужаснулся ее непоправимости. Как внезапно очнувшийся лунатик, он упал с высоты и разбился. В точном смысле слова он умер от «Двенадцати», как другие умирают от воспаления легких или разрыва сердца.

Вот краткий перечень фактов. Врачи, лечившие Блока, так и не могли определить, чем он, собственно, был болен. Сначала они старались подкрепить его быстро падавшие без явной причины силы, потом, когда он стал, неизвестно от чего, невыносимо страдать, ему стали впрыскивать морфий... Но все-таки от чего он умер? «Поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем». Эти слова, сказанные Блоком на пушкинском вечере, незадолго до смерти, быть может, единственно правильный диагноз его болезни. За несколько дней до смерти Блока в Петербурге распространился слух: Блок сошел с ума. Этот слух определенно шел из большевизанствовавших литературных кругов. Впоследствии в советских журналах говорилось в разных вариантах о предсмертном «помешательстве» Блока. Но никто не упомянул одну многозначительную подробность: умирающего Блока навестил «просвещенный сановник», кажется, теперь благополучно расстрелянный, начальник Петрогослитиздата Ионов. Блок был уже без сознания. Он непрерывно бредил. Бредил об одном и том же: все ли экземпляры «Двенадцати» уничтожены? Не остался ли где-нибудь хоть один? — «Люба, хорошенько поищи, и сожги, все сожги». Любовь Дмитриевна, жена Блока, терпеливо повторяла, что все уничтожены, ни одного не осталось. Блок ненадолго успокаивался, потом опять начинал: заставлял жену клясться, что она его не обманывает, вспомнив об экземпляре, посланном Брюсову, требовал везти себя в Москву. — Я заставлю его отдать, я убью его... И начальник Петрогослитиздата Ионов слушал этот бред умирающего...

Брюсов, бывший «безумец», «маг», «теург», во время войны сильно начавший склоняться к «союзу русского народа», теперь занимал ряд правительственных постов — комиссарствовал, заседал, реквизировал частные библиотеки «в пользу пролетариата». Писал, как всегда, множество стихов, тоже, разумеется, прославлявших пролетариат и его вождей. Возможно, что по привычке «теургов» заглядывать в будущее — славя живого Ленина, сочинял, уже про запас, оду на его смерть:

Вот лежит он, Ленин, Ленин,
Вот лежит он скорбен, тленен...

Пильняк рассказывал как курьез, что на второй или третий день после посещения Блока Ионовым Брюсов в московском «Кафе поэтов» подробно, с научными терминами, объяснял характер помешательства Блока и его причины. Партийная директива была уже принята бывшим «безумцем» к исполнению.

* * *

В дни, когда Блок умирал, Гумилев из тюрьмы писал жене: «Не беспокойся обо мне. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы». Гумилев незадолго до ареста вернулся в Петербург из поездки в Крым. В Крым он ездил в поезде Немитца, царского адмирала, ставшего адмиралом красным. Не знаю, кто именно, сам ли Немитц или кто-то из его ближайшего окружения состоял в том же, что и Гумилев, таганцевском заговоре и, объезжая в специальном поезде, под охраной «красы и гордости революции» — матросов-коммунистов, Гумилев и его товарищ по заговору заводили в крымских портах среди уцелевших офицеров и интеллигенции связи, раздавали, кому надо, привезенное в адмиральском поезде из Петербурга оружие и антисоветские листовки. О том, что в окружении Немитца был и агент чека, провокатор, следивший за ним, Гумилев не подозревал. Гумилев вообще был очень доверчив, а к людям молодым, да еще военным — особенно. Провокатор был точно по заказу сделан, чтобы расположить к себе Гумилева.

Он был высок, тонок, с веселым взглядом и открытым юношеским лицом. Носил имя известной морской семьи и сам был

моряком — был произведен в мичманы незадолго до революции. Вдобавок к этим располагающим свойствам этот «приятный во всех отношениях» молодой человек писал стихи, очень недурно подражая Гумилеву...

Вернулся Гумилев в Петербург загоревший, отдохнувший, полный планов и надежд. Он был доволен и поездкой, и новыми стихами, и работой с учениками-студистами.

Ощущение полноты жизни, расцвета, зрелости, удачи, которое испытывал в последние дни своей жизни Гумилев, сказалось, между прочим, в заглавии, которое он тогда придумал для своей «будущей» книги: «Посередине странствия земного». «Странствовать» на земле, вернее, ждать расстрела в камере на Шпалерной, ему оставался неполный месяц...

Гумилев в день ареста вернулся домой около двух часов ночи. Он провел этот последний вечер в кружке преданно влюбленной в него молодежи. После лекции Гумилева — было, как всегда, чтение новых стихов и разбор их по всем правилам акмеизма — обязательно «с придаточным предложением» — т. е. с мотивировкой мнения: «Нравится или не нравится, потому что...», «Плохо, оттого что...» Во время лекции и обсуждения стихов царила строгая дисциплина, но когда занятия кончались, Гумилев переставал быть мэтром, становился добрым товарищем. Потом студисты рассказывали, что в этот вечер он был очень оживлен и хорошо настроен — потому так долго, позже обычного, и засиделся. Несколько барышень и молодых людей пошли Гумилева провожать. У подъезда Дома искусств на Мойке, где жил Гумилев, ждал автомобиль. Никто не обратил на это внимания — был «нэп», автомобили перестали быть, как в недавние времена «военного коммунизма», одновременно и диковиной и страшилищем. У подъезда долго прощались, шутили, уславливались «на завтра». Люди, приехавшие в стоявшем у подъезда автомобиле с ордером чека на обыск и арест, ждали Гумилева в его квартире.

Двадцать седьмого августа 1921 года, тридцати пяти лет от роду, в расцвете жизни и таланта, Гумилев был расстрелян. Ужасная, бессмысленная гибель? Нет — ужасная, но имеющая глубокий смысл. Лучшей смерти сам Гумилев не мог себе

пожелать. Больше того, именно такую смерть, с предчувствием, близким к ясновидению, он себе предсказал:

умру я не на постели,
При нотариусе и враче.

* * *

Сергей Бобров, автор «Лиры лир», редактор «Центрофуги», сноб, футурист и кокаинист, близкий к ВЧК и вряд ли не чекист сам, встретив после расстрела Гумилева М. Л. Лозинского, дергаясь своей скверной мордочкой эстета-преступника, сказал между прочим, небрежно, точно о забавном пустяке:

— Да... Этот ваш Гумилев... Нам, большевикам, это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук. Улыбался, докурил папиросу... Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодечество, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает. Что ж — свалял дурака. Не лез бы в контру, шел бы к нам, сделал бы большую карьеру. Нам такие люди нужны...

Эту жуткую болтовню дополняет рассказ о том, как себя держал Гумилев на допросах, слышанный лично мной уже не от получекиста, как Бобров, а от чекиста подлинного, следователя петербургской чека, правда, по отделу спекуляции — Дзержибашева. Странно, но и тон рассказа, и личность рассказчика выгодно отличались от тона и личности Боброва. Дзержибашев говорил о Гумилеве с неподдельной печалью, его расстрел он назвал «кровавым недоразумением». Этого Дзержибашева знали многие в литературных кругах тогдашнего Петербурга. И многие, в том числе Гумилев, — как это ни дико — относились к нему... с симпатией. Впрочем, Дзержибашев был человек загадочный. Возможно, что должность следователя была маской. Тогда объясняется и необъяснимая симпатия, которую он внушал, и его неожиданный «индивидуальный» расстрел в 1924 году.

Допросы Гумилева больше походили на диспуты, где обсуждались самые разнообразные вопросы — от «Принца» Макиавелли до «красоты православия». Следователь Якобсон, ведший таганцевское дело, был, по словам Дзержибашева,

настоящим инквизитором, соединявшим ум и блестящее образование с убежденностью маниака. Более опасного следователя нельзя было бы выбрать, чтобы подвести под расстрел Гумилева. Если бы следователь испытывал его мужество или честь, он бы, конечно, ничего от Гумилева не добился. Но Якобсон Гумилева чаровал и льстил ему. Называл его лучшим русским поэтом, читал наизусть гумилевские стихи, изощренно спорил с Гумилевым и потом уступал в споре, сдаваясь или притворяясь, что сдался перед умственным превосходством противника...

Я уже говорил о большой доверчивости Гумилева. Если прибавить к этому его пристрастие ко всякому проявлению ума, эрудиции, умственной изобретательности — наконец, не чуждую Гумилеву слабость к лести, — легко себе представить, как, незаметно для себя, Гумилев попал в расставленную ему Якобсоном ловушку. Как незаметно в отвлеченном споре о принципах монархии он признал себя убежденным монархистом. Как просто было Якобсону после диспута о революции «вообще» установить и запротоколить признание Гумилева, что он непримиримый враг Октябрьской революции. Вернее всего, сдержанность Гумилева не изменила бы его судьбы. Таганцевский процесс был для петербургской чека предлогом продемонстрировать перед чека всероссийской свою самостоятельность и незаменимость. Как раз тогда шел вопрос о централизации власти и права казней в руках коллегии ВЧК в Москве. Именно поэтому так старался и спешил Якобсон. Но кто знает!.. Притворись Гумилев человеком искусства, равнодушным к политике, замешанным в заговор случайно, может быть, престиж его имени — в те дни для большевиков еще не совсем пустой звук — перевесил бы обвинение? Может быть, в этом случае и доводы Горького, специально из-за Гумилева ездившего в Москву, убедили бы Ленина...

* * *

...Семилетний Гумилев упал в обморок от того, что другой мальчик перегнал его, состязаясь в беге. Одиннадцати лет он покушался на самоубийство: неловко сел на лошадь — домашние и гости видели это и смеялись. Год спустя он влюбляется

в незнакомую девочку-гимназистку. Он следит за ней, бродит за ней по улицам, наконец однажды подходит и, задыхаясь, признается: «Я вас люблю». Девочка ответила «дурак» и убежала. Гумилев был потрясен. Ему казалось, что он ослеп и оглох. Он не спал ночами, обдумывал способы мести: сжечь дом, где она живет? похитить ее? вызвать на дуэль ее брата? Обида, нанесенная двенадцатилетнему Гумилеву, была так глубока, что в тридцать лет он вспоминал о ней смеясь, но с оттенком горечи...

Гумилев подростком, ложась спать, думал об одном: как бы прославиться. Мечтая о славе, он вставал утром, пил чай, шел в Царскосельскую гимназию. Часами блуждая по парку, он воображал тысячи способов осуществить свою мечту. Стать полководцем? Ученым? Изобрести перпетуум-мобиле? Безразлично что — только бы люди повторяли имя Гумилева, писали о нем книги, удивлялись и завидовали ему.

Понемногу эти детские мечты сложились в стройное мировоззрение, которому Гумилев был верен всю жизнь. Гумилев твердо считал, что право называться поэтом принадлежит тому, кто не только в стихах, но и в жизни всегда стремится быть лучшим, первым, идущим впереди остальных. Быть поэтом, по его понятиям, достоин только тот, кто, яснее других сознавая человеческие слабости, эгоизм, ничтожество, страх смерти, на личном примере, в главном и в мелочах, силой воли преодолевает «ветхого Адама». И, от природы робкий, застенчивый, болезненный человек, Гумилев «приказал» себе стать охотником на львов, уланом, добровольно пошедшим воевать и заработавшим два Георгия, заговорщиком. То же, что с собственной жизнью, он проделал и над поэзией. Мечтательный, грустный лирик, он стремился вернуть поэзии ее прежнее значение, рискнул сорвать свой чистый, подлинный, но негромкий голос, выбирал сложные формы, «грозовые» слова, брался за трудные эпические темы. Девиз Гумилева в жизни и в поэзии был: «всегда линия наибольшего сопротивления». Это мировоззрение делало его в современном ему литературном кругу одиноким, хотя и окруженным поклонниками и подражателями, признанным мэтром и все-таки непонятым поэтом. Незадолго до смерти — так, за полгода — Гумилев мне сказал: «Знаешь, я сегодня смотрел,

как кладут печку, и завидовал — угадай, кому? — кирпичикам. Так плотно их кладут, так тесно, и еще замазывают каждую щелку. Кирпич к кирпичу, друг к другу, все вместе, один за всех, все за одного. Самое тяжелое в жизни — одиночество. А я так одинок...»

* * *

Всю свою короткую жизнь Гумилев, признанный, становившийся знаменитым, был окружен непониманием и враждой. Очень остро сам сознавая это, он иронизировал над окружающими и над собой.

Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда —
Все, что смешит ее, надменную,
Моя единая отрада.

Победа, слава, подвиг — бледные
Слова, затерянные ныне,
Гремят в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне.

О нет, я не актер трагический,
Я ироничнее и суше.
Я злюсь, как идол металлический
Среди фарфоровых игрушек.

Он помнит головы курчавые,
Склоненные к его подножью,
Жрецов молитвы величавые,
Леса, охваченные дрожью,

И видит, горестно смеющийся,
Всегда недвижные качели,
Где даме с грудью выдающейся
Пастух играет на свирели.

Наперекор этой чуждой ему современности, не желавшей знать ни подвигов, ни славы, ни побед, Гумилев и в стихах, и в жизни старался делать все, чтобы напомнить людям о «божественности дела поэта», о том, что

в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово — это Бог.

Всеми ему доступными средствами, всю жизнь, от названия своей юношеской книги «Путь конквистадора» до спокойно докуренной перед расстрелом папиросы, — Гумилев доказывал это и утверждал. И когда говорят, что он умер за Россию, необходимо добавить — «и за поэзию».

* * *

Блок и Гумилев ушли из жизни, разделенные взаимным непониманием. Блок считал поэзию Гумилева искусственной, теорию акмеизма ложной, дорогую Гумилеву работу с молодыми поэтами в литературных студиях вредной. Гумилев как поэт и человек вызывал в Блоке отталкивание, глухое раздражение. Гумилев особенно осуждал Блока за «Двенадцать». Помню фразу, сказанную Гумилевым незадолго до их общей смерти, когда он убежденно говорил: «Он (т. е. Блок), написав "Двенадцать", вторично распял Христа и еще раз расстрелял Государя».

Я возразил, что, независимо от содержания, «Двенадцать» как стихи близки к гениальности. — «Тем хуже, если гениальна. Тем хуже и для поэзии, и для него самого. Диавол, заметь, тоже гениален — тем хуже и для диавола, и для нас...»

Теперь, когда со дня их смерти прошло столько лет, когда больше нет «Александра Александровича» и «Николая Степановича», левого эсера и «белогвардейца», ненавистника войны, орденов, погон и «гусара смерти», гордившегося «нашим славным полком» и собиравшегося писать его историю, когда остались только «Блок и Гумилев», — как грустное утешение нам, пережившим их, — ясно то, чего они сами не понимали.

Что их вражда была недоразумением, что и как поэты и как русские люди они не только не исключали, а скорее дополняли друг друга. Что разъединяло их временное и второстепенное, а в основном, одинаково дорогом для обоих, они, не сознавая этого, братски сходились.

Оба жили и дышали поэзией — вне поэзии для обоих не было жизни. Оба беззаветно, мучительно любили Россию. Оба ненавидели фальшь, ложь, притворство, недобросовестность — в творчестве и в жизни были предельно честны. Наконец, оба были

готовы во имя этой «метафизической чести» — высшей ответственности поэта перед Богом и перед собой — идти на все, вплоть до гибели, и на страшном личном примере эту готовность доказали.

XVIII

27 декабря 1925 года Сергей Есенин покончил с собой в гостинице «Англетер», известном всем петербуржцам стареньком, скромно-барственном отеле на Исаакиевской площади.

Из окон этой гостиницы виден, направо за Исаакием, дворец из черного мрамора — дом Зубовых. Налево, по другую сторону Мойки, высится здание Государственного контроля. В обоих этих домах, в предреволюционные годы, бился пульс литературно-артистической жизни, в обоих — частым гостем бывал Есенин...

Не раз, вероятно, сквозь зеркальные окна кабинета графа Валентина Зубова он смотрел на приютившийся на другой стороне площади двухэтажный «Англетер». Смотрел, читая стихи, кокетничая, как всегда, нарочито мужицкой грубостью непонятных слов:

Пахнет рыжими драченами,
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз...

Прелестно... Прелестно... Аплодисменты, любезные улыбки. — Сергей Александрович, Сережа... Прочтите еще или, еще лучше, спойте. Вы так грациозно поете эти... как их?.. частушки.

Шелест шелка, запах духов, смешанная русско-парижская болтовня... Рослые лакеи в камзолах и белых чулках разносят чай, шерри-бренди, сладости. И среди всего этого звонкий голос Есенина как предостережение из другого мира, как ледяной ветерок в душистой оранжерее:

...Я одну мечту, скрывая, нежу.
Что я сердцем чист, —
Но и я кого-нибудь зарежу
Под осенний свист!..

Налево от Исаакия, по той стороне Мойки, в бельэтаже здания Государственного контроля гостиные менее пышные, мебель не такая редкостная, как у Зубовых. Но общество почти то же. Это квартира известного сановника Х.

Впрочем, сам Х. на приемах этих никогда не показывается. Гости — приятели его племянника М. А. Ковалева, поэта Рюрика Ивнева. Рюрик Ивнев — ближайший друг и неразлучный спутник Есенина. Щуплая фигурка, бледное птичье личико, черепаховая дамская лорнетка у бесцветных щурящихся глаз. Одет изысканно-неряшливо. На дорогом костюме — пятно. Изящный галстук на боку. Каблуки лакированных туфель — стоптаны. Рюрик Ивнев все время дергается, суетится, оборачивается. И почти к каждому слову прибавляет — полувопросительно, полурастерянно — Что? Что? — Сергей Есенин? Что? Что? Его стихи — волшебство. Что? Посмотрите на его волосы. Они цвета спелой ржи — что?

Общество почти то же, как и в зубовском дворце, однако не совсем. Здесь вперемежку с лощеными костюмами мелькают подрясники, волосы в скобку и сапоги бутылками.

— Скоро, скоро, Сереженька, забьют фонтаны огненные, застрекочут птицы райские, вскроется купель слезная и правда Божья обнаружится, — воркует Клюев. Есенин почтительно слушает, но в глубине его глаз прячется лукавый огонек. Он очень любит Клюева и находится под его большим влиянием. Но в «фонтаны огненные», по-видимому, не особенно верит...

— Что? Что? — слышится рядом шепелявый голос Рюрика Ивнева. — Я? Я — убежденный пацифист! Что? Даже, вернее сказать, — пораженец. Единственный шанс России — открыть фронт и принять победителей с колокольным звоном. Единственная возможность спастись. — Что?

Кстати, оба — Клюев и Ивнев — сыграют в жизни Есенина роковую роль. Через них он заведет те знакомства, которые сблизят его впоследствии с большевиками. Судьбы этих двух, таких различных, людей тоже различны. Последнее, что дошло до меня в конце 20-х, начале 30-х годов об Ивневе, был слух о назначении его... советским полпредом не то в Персию, не то в Афганистан... Клюева, в эпоху раскулачивания, сослали

в Сибирь. Из Сибири он обратился к Сталину с патетическим прошением в стихах, кончавшимся так: «Дай жить или умереть позволь!» «Отец народов» великодушно позволил Клюеву умереть...

* * *

Поздно вечером в день самоубийства Есенин неожиданно пришел именно к Клюеву. Отношения их уже давно испортились, и они почти не встречались... Вид Есенина был страшен. Перепугавшийся Клюев, по-стариковски лепеча: «Уходи, уходи, Сереженька, я тебя боюсь...» — поспешил выпроводить своего бывшего друга в декабрьскую петербургскую ночь. От Клюева Есенин поехал прямо в отель «Англетер».

Есенин покончил с собой на рассвете. Сперва неудачно, пытался вскрыть вены, потом повесился, дважды обмотав вокруг шеи ремень от заграничного чемодана — память свадебного путешествия с Айседорой Дункан. Перед смертью он произвел в комнате невероятный разгром. Стулья были перевернуты, матрац и белье стянуты с постели на пол, зеркало разбито, все кругом забрызгано кровью. Кровью же, из неудачно вскрытой вены, Есенин написал предсмертное письмо-восьмистишие, начинающееся словами:

До свиданья, друг мой, до свиданья...

* * *

Всю свою короткую, романтическую, бесшабашную жизнь Есенин возбуждал в окружающих бурные, противоречивые страсти и сам раздирался страстями столь же бурными и противоречивыми. Ими жил и от них погиб. Может быть, оттого, что эти страсти не нашли себе полного выхода ни в его стихах, ни в оборванной судорогой самоубийства жизни — с посмертной судьбой Есенина произошла волшебная странность. Он мертв уже четверть века, но все связанное с ним, как будто выключенное из общего закона умирания, умиротворения, забвения, продолжает жить. Живут не только его стихи, а все «есенинское», Есенин «вообще», если можно так выразиться. Все, что его

окружало, волновало, мучило, радовало, все, что с ним как-нибудь соприкасалось, — до сих пор продолжает дышать трепетной жизнью сегодняшнего дня...

Я ощущаю это приблизительно так. Если, например, где-нибудь сохранилось и висит на вешалке пальто и шляпа Есенина, — то висят они как шляпа и пальто живого человека, которые он только что снял. Они еще сохраняют его тепло, дышат его существом. Неясно? Недоказуемо? Согласен. Ни пояснять, ни доказывать не берусь. Убежден, однако, что не я один из числа тех, кому дорог Есенин, ощущаю эту недоказуемо неопровержимую жизненность всего «есенинского»... вплоть до его старой шляпы. И это же необычайное свойство придает всем, даже неудачным, даже совсем слабым стихам Есенина особые силу и значение. И, заодно, заранее лишает объективности наши суждения о них. Беспристрастно оценят творчество Есенина те, на кого это очарование перестанет действовать. Возможно, даже вероятно, что их оценка будет более сдержанной, чем наша. Только произойдет это очень нескоро. Произойдет не раньше, чем освободится, исцелится физически и духовно Россия. В этом исключительность, я бы сказал «гениальность», есенинской судьбы. Пока Родине, которую он так любил, суждено страдать, ему обеспечено не пресловутое «бессмертие», — а *временная*, как русская мука, и такая же долгая, как она, — *жизнь*.

Впервые имя Есенина я услышал осенью или зимой 1913 года. Федор Сологуб со своим обычным, надменно-брюзгливым выражением гладко выбритого белого «каменного» лица — «кирпич в сюртуке», словцо Розанова о Сологубе, — рассказывал в редакции журнала «Новая жизнь» о юном крестьянском поэте, приходившем к нему представляться.

... — Смазливый такой, голубоглазый, смиренный... — неодобрительно описывал Есенина Сологуб. — Потеет от почтительности, сидит на кончике стула — каждую минуту готов вскочить. Подлизывается напропалую: «Ах, Федор Кузьмич!» «Ох, Федор Кузьмич!» И все это чистейшей воды притворство! Льстит, а про себя думает, — ублажу старого хрена, — пристроит меня в печать. Ну, меня не проведешь, — я этого рязанского теленка сразу за ушко да на солнышко. Заставил его признаться,

что стихов он моих не читал и что успел до меня уже к Блоку и Мережковским подлизаться, а насчет лучины, при которой якобы грамоте обучался, — тоже вранье. Кончил, оказывается, учительскую школу. Одним словом, прощупал хорошенько его фальшивую бархатную шкурку и обнаружил под шкуркой настоящую суть: адское самомнение и желание прославиться во что бы то ни стало. Обнаружил, распушил, отшлепал по заслугам — будет помнить старого хрена!..

И тут же, не меняя брюзгливо-неодобрительного тона, Сологуб протянул редактору Н. Архипову тетрадку стихов Есенина.

— Вот. Очень недурные стишки. Искра есть. Рекомендую напечатать — украсят журнал. И аванс советую выдать. Мальчишка все-таки прямо из деревни — в кармане, должно быть, пятиалтынный. А мальчишка стоящий, с волей, страстью, горячей кровью. Не чета нашим тютькам из «Аполлона».

Потом о Есенине заговорили сразу со всех сторон. Вскоре мы познакомились и стали постоянно то там, то тут встречаться. Начало карьеры Есенина прошло у меня на глазах. Но после февральской революции он, примкнув к имажинистам, перебрался в Москву, и я его больше, кроме одной случайной встречи в Берлине, — не видел.

За три, три с половиной года жизни в Петербурге Есенин стал известным поэтом. Его окружали поклонницы и друзья. Многие черты, которые Сологуб первый прощупал под его «бархатной шкуркой», проступили наружу. Он стал дерзок, самоуверен, хвастлив. Но странно, шкурка осталась. Наивность, доверчивость, какая-то детская нежность уживались в Есенине рядом с озорным, близким к хулиганству, самомнением, не далеким от наглости. В этих противоречиях было какое-то особое очарование. И Есенина любили. Есенину прощали многое, что не простили бы другому. Есенина баловали, особенно в лево-либеральных литературных кругах.

Кончился петербургский период карьеры Есенина совершенно неожиданно. Поздней осенью 1916 года вдруг распространился и потом подтвердился «чудовищный слух»: — «Наш» Есенин, «душка-Есенин», «прелестный мальчик» Есенин — представлялся Александре Федоровне в царскосельском дворце,

читал ей стихи, просил и получил от императрицы разрешение посвятить ей целый цикл в своей новой книге!

Теперь даже трудно себе представить степень негодования, охватившего тогдашнюю «передовую общественность», когда обнаружилось, что «гнусный поступок» Есенина не выдумка, не «навет черной сотни», а непреложный факт. Бросились к Есенину за объяснениями. Он сперва отмалчивался. Потом признался. Потом взял признание обратно. Потом куда-то исчез — не то на фронт, не то в рязанскую деревню...

Возмущение вчерашним любимцем было огромно. Оно принимало порой комические формы. Так, С. И. Чацкина, очень богатая и еще более передовая дама, всерьез называвшая издаваемый ею журнал «Северные записки» — «тараном искусства по царизму», на пышном приеме в своей гостеприимной квартире истерически рвала рукописи и письма Есенина, визжа: «Отогрели змею! Новый Распутин! Второй Протопопов!» Тщетно ее более сдержанный супруг Я. Л. Сакер уговаривал расходившуюся меценатку не портить здоровья «из-за какого-то ренегата».

Книга Есенина «Голубень» вышла уже после февральской революции. Посвящение государыне Есенин успел снять. Некоторые букинисты в Петербурге и в Москве сумели, однако, раздобыть несколько корректурных оттисков «Голубени» с роковым: «Благоговейно посвящаю...» В магазине Соловьева на Литейном такой экземпляр, с пометкой «чрезвычайно курьезно», значился в каталоге редких книг. Был он и в руках В. Ф. Ходасевича.

Не произойди революции, двери большинства издательств России, притом самых богатых и влиятельных, были бы для Есенина навсегда закрыты. Таких «преступлений», как монархические чувства, — русскому писателю либеральная общественность не прощала. Есенин не мог этого не понимать и, очевидно, сознательно шел на разрыв. Каковы были планы и надежды, толкнувшие его на такой смелый шаг, неизвестно. Но, конечно, зря Есенин не стал бы так рисковать. Революция, разрушив эти загадочные расчеты Есенина, забавным образом освободила

его и от неизбежных либеральных репрессий. Произошла забавная метаморфоза: всесильная оппозиция, свергнув монархию, превратившись из оппозиции во власть, неожиданно стала бессильной. «Соль земли русской» вдруг потеряла вкус... До революции, чтобы «выгнать из литературы» любого «отступника», — достаточно было двух-трех телефонных звонков «папы» Милюкова кому следует из редакционного кабинета «Речи». Дальше машина «общественного мнения» работала уже сама — автоматически и беспощадно. Но на Милюкова-министра и на всех остальных, недавних вершителей литературных судеб, превратившихся в сановников «великой, бескровной», — Есенину, как говорится, было «плевать с высокого дерева». Ему было прекрасно известно, что «настоящие люди» сидят не в министерствах Временного правительства, а на даче Дурново, в особняке Кшесинской, в «Совете рабочих, крестьянских и солдатских депутатов»... Связи в этой среде — открывали все двери, уничтожали последствия любого, не только опрометчивого поступка, но и любого преступления. У Есенина же через Рюрика Ивнева, Клюева, Горького, Иванова-Разумника, Бонч-Бруевича знакомства, разветвляясь, поднимались до самых «вершин» — Мамонта Дальского, Луначарского, Троцкого... до самого Ленина...

* * *

Сразу же после Октябрьского переворота Есенин оказался не в партии — членом ВКП он никогда так и не стал, — но в непосредственной близости к «советским верхам». Ничего странного в этом не было. Было бы, напротив, удивительно, если бы этого не случилось.

Представить себе Есенина у Деникина, Колчака или тем более в старой эмиграции психологически невозможно. От происхождения до душевного склада — все располагало его отвернуться от «керенской России» и не за страх, а за совесть поддержать «рабоче-крестьянскую».

Прежде всего, для Есенина сближение с большевиками не имело неизбежного для любого русского интеллигента зловещего

оттенка измены. Наоборот, — по его тогдашним понятиям, это Временное правительство изменило царю и народу, а Ленин, отняв у Керенского власть, — выполнил народную волю. Так, по-мужицки, инстинктивно рассуждал он сам. Так думали и его тогдашние друзья: Клюев, Пимен, Карпов, Клычков.

Напротив, кадетско-эсеровские круги, в которых Есенин вращался до революции, ставшие «февральской властью», были ему органически чужды. Там его в свое время любили и баловали, а он позволял себя баловать и любить. Этим и исчерпывались отношения. Уже случай с императрицей вскрыл глубину взаимного непонимания между Есениным и его интеллигентными покровителями. Для Ленина и К° «ужасный поступок» Есенина был просто «забавным пустяком». — «Ну, пробрался парень с заднего крыльца к царице в расчете поживиться! Экая, подумаешь, важность! Раз теперь он с нами, да к тому же, как человек талантливый, нам нужен — и дело с концом». — «Ты за кого? За нас или против? Если против — к стенке. Если «за», иди к нам и работай». Эти слова Ленина, сказанные еще в 1905 году, оставались в 1918 в полной силе. Есенин был «за». И ценность этого «за» вдобавок увеличивалась его искренностью.

Да, искренностью. Среди примкнувших к большевикам интеллигентов большинство было проходимцами и авантюристами. Есенин примкнул к ним, так сказать, «идейно». Он не был проходимцем и не продавал себя. В Смольный его привели те же надежды, с которыми полтора года тому назад он входил в Царскосельский дворец. От Ленина он, вероятно, ждал приблизительно того же, что от царицы.

Ждал осуществления мечты, которая красной нитью проходит через все его ранние стихи, исконно русской, проросшей сквозь века в народную душу, мечты о справедливом, идеальном, святом мужицком царстве, осуществиться которому не дают «господа».

Клюев, повлиявший на Есенина больше, чем кто-нибудь другой, называл эту мечту то «Новым Градом», то «Лесной Правдой». Есенин назвал ее «Инонией». Поэма под этим названием, написанная в 1918 г., — ключ к пониманию Есениным

эпохи военного коммунизма. Как стихи, это, вероятно, самое совершенное, что он создал за всю свою жизнь. Как документ — яркое свидетельство искренности его безбожных и революционных убеждений.

Очищенная от стилистических украшений и поэтических иносказаний, эта «мужицкая мечта» Есенина — Клюева сводилась в общих чертах к следующему. Идеальное «Лесное Царство» наступит на Святой Руси, когда в ней будет уничтожено все наносное, искусственное, чуждое народу, называемое империей, культурой, интеллигенцией, правовым порядком и т. д. Надо запустить красного петуха, который все это сожжет. Тогда-то и встанет из пепла, как Китеж со дна озера. Новый Град. Откуда запустят красного петуха — справа или слева, что поможет осуществиться на Руси «Лесной Правде» — дубинка союза Михаила Архангела или динамитные жилеты и бомбы террористов, особого значения не имеет...

Клюев вскоре после захвата власти большевиками выразил все это в замечательном стихотворении. К сожалению, помню из него только несколько строк, но и они достаточно выразительны:

Есть в Смольном потемки трущоб,
Где привкус хвои с костяникой,
Там нищий, колодовый гроб
С останками Руси Великой.
Есть в Ленине Керженский дух,
Игуменский окрик в декретах...

То, что «Великая Русь» лежит в Смольном в гробу, — отнюдь не выражение горя Клюева по поводу ее смерти или негодования по адресу ее убийц из Смольного. Совсем наоборот. Скорее, радость — долгожданное начало сбываться. Былая Русь, пусть «великая», но господская, интеллигентская, «не наша», наконец умерла, — туда ей и дорога. Место для «Нового Града» расчищено. И Ленин — сегодняшний убийца былой Руси — подходящий строитель будущей. Стихи отмечают радующие Клюева в Ленине черты: керженский, т. е. народный, мужицкий дух. Игуменский, т. е. одновременно хозяйский и монастырско-церковный «окрик»

в декретах. Ясно: Ленин — человек стоящий, правильный, свой. И помогать ему — «правильное дело», долг каждого мужика.

Боже, свободу храни,
Красного государя коммуны! —

тогда же восклицал Клюев. И в те дни для него, для Есенина и для близких им по духу людей, а таких было много, это звучало не нелепостью, как теперь, а торжественным «ныне отпущаеши»...

* * *

Есенин в СССР давно развенчан и разоблачен. В учебниках словесности ему посвящают несколько строк, цель которых внушить советским школьникам, что Есенина не за что любить, да и незачем читать: он поэт второстепенный, «мелкобуржуазный», не созвучный эпохе...

Ни в печати, ни в радио имя Есенина никогда не упоминается. Из библиотек его книги изъяты. Одним словом, официально Есенин забыт и навсегда сдан в архив...

А популярность Есенина между тем все растет. Стихи его в списках расходятся по всем углам России. Их заучивают наизусть, распевают как песни. Возникают, несмотря на неодобрение властей, кружки его поклонниц под романтическим названием «невесты Есенина». Оказавшись в условиях относительной лагерной свободы, Ди-Пи[9] переиздают его стихи. И эти, неряшливо отпечатанные и недешево стоящие книжки, — бойко расходятся не только в лагерях, но и в среде старых эмигрантов, — людей, как известно, к поэзии на редкость равнодушных.

В чем же все-таки секрет этого, все растущего, обаяния Есенина?

Без сомнения, Есенин очень талантливый поэт. Но так же несомненно, что дарование его нельзя назвать первоклассным. Он не только не Пушкин, но и не Некрасов или Фет. К тому же ряд обстоятельств — от слишком легкой и быстрой славы до недостатка культуры — помешали дарованию Есенина гармонически

---

[9] От английского выражения *displaced persons* — перемещенные лица.

развиться. И в его литературном наследстве больше падений и ошибок, чем счастливых находок и удач...

Но как-то само собой случилось так, что по отношению к Есенину формальная оценка кажется ненужным делом. Конечно, стихи Есенина, как всякие стихи, состоят из разных «пеонов, пиррихиев, анакруз...». Конечно, и их можно под этим углом взвесить и разобрать. Но это вообще скучное занятие, особенно скучное, когда в ваших руках книжка Есенина. Химический состав весеннего воздуха можно тоже исследовать и определить, но... насколько естественней просто вдохнуть его полной грудью...

И совершенно так же не хочется подходить к биографии и к личности Есенина с обычными мерками: нравственно — безнравственно, допустимо — недопустимо, белое — красное. В отношении Есенина это тоже неважно и бесполезно.

Важно другое. Например, такой удивительный, но неопровержимый факт: на любви к Есенину сходятся и шестнадцатилетняя «невеста Есенина», комсомолка, и пятидесятилетний, сохранивший стопроцентную непримиримость, «белогвардеец». Два полюса искаженного и раздробленного революцией русского сознания, между которыми, казалось бы, нет ничего общего, сходятся на Есенине, — т. е. сходятся на русской поэзии. Т. е. на поэзии вообще. — Т. е. на том, суть чего Жуковский когда-то так хорошо определил:

«Поэзия есть Бог в святых мечтах земли...»

Бог в святых мечтах, т. е. противоядие против безбожия, диамата, рабства тела, растления душ... т. е. в конечном счете антибольшевизм.

Распространенное объяснение опалы Есенина тем, что он крестьянский поэт, — неудовлетворительно. Доживи Есенин, как Клюев, до коллективизации, вероятно, и ему бы пришлось ответить за «кулацкие тенденции». Но Есенин давно мертв. А, беспощадный к живым, большевизм, мы знаем, на редкость снисходителен к покойникам, особенно знаменитым. Это понятно: атрибутов «Великого Октября», которые можно сохранить без опасности для нынешнего режима, становится все меньше и меньше. Одной мумии Ленина, как-никак, недостаточно. Эту недохватку

и заполняют с успехом разные прославленные мертвецы, разные «города Горького», «площади Маяковского» и т. д. Не сомневаюсь, что нашлась бы площадь и все остальное и для Есенина, если бы за ним числились только грехи, совершенные им при жизни... Но у Есенина есть перед Советской властью другой непростительный грех — *грех посмертный*. Из могилы Есенин делает то, что не удалось за тридцать лет никому из живых: объединяет русских людей звуком русской песни, где сознание *общей вины, и общего братства сливается в общую надежду на освобождение*...

Оттого-то так и стараются большевики внушить гражданам СССР, что Есенина не за что любить. Оттого-то и объявлен «не созвучным эпохе»...

* * *

В конце 1921 года в Москву, в погоне за убывающей славой, приехала Айседора Дункан.

Она была уже очень немолода, раздалась и отяжелела. От «божественной босоножки», «ожившей статуи» — осталось мало. Танцевать Дункан уже почти не могла. Но это ничуть не мешало ей наслаждаться овациями битком набитого московского Большого театра. Айседора Дункан, шумно дыша, выбегала на сцену с красным флагом в руке. Для тех, кто видел прежнюю Дункан, — зрелище было довольно грустное. Но все-таки она была Айседорой, мировой знаменитостью, и, главное, танцевала в еще не избалованной знатными иностранцами «красной столице». И вдобавок танцевала с красным флагом! Восторженные аплодисменты не прекращались. Сам Ленин, окруженный членами Совнаркома, из царской ложи подавал к ним сигнал.

После первого спектакля на банкете, устроенном в ее честь, — знаменитая танцовщица увидела Есенина. Взвинченная успехом, она чувствовала себя по-прежнему прекрасной. И, по своему обыкновению, оглядывала участников банкета, ища среди присутствующих достойного «разделить» с ней сегодняшний триумф...

Дункан подошла к Есенину своей «скользящей» походкой и недолго думая, обняла его и поцеловала в губы. Она не сомневалась, что ее поцелуй осчастливит этого «скромного простачка».

Но Есенина, уже успевшего напиться, поцелуй Айседоры привел в ярость. Он оттолкнул ее — «Отстань, стерва!» Не понимая, она поцеловала Есенина еще крепче. Тогда он, размахнувшись, дал мировой знаменитости звонкую пощечину. Айседора ахнула и в голос, как деревенская баба, зарыдала.

Сразу протрезвившийся Есенин бросился целовать ей руки, утешать, просить прощения. Так началась их любовь. Айседора простила. Бриллиантом кольца она тут же на оконном стекле выцарапала:

«Esenin is a huligan,
Esenin is an angel!» —

«Есенин хулиган, Есенин ангел». Вскоре роман танцовщицы и годившегося ей в сыновья «крестьянского поэта» — завершился «законным браком». Айседора и Есенин, зарегистрировавшись в московском ЗАГСе, уехали за границу — в Европу, в Америку, из Америки обратно в Европу. Брак оказался недолгим и неудачным...

Весной 1923 года я был в берлинском ресторане Ферстера, на Мотцштрассе. Кончив обедать, я шел к выходу. Вдруг меня окликнули по-русски из-за стола, где сидела большая шумная компания. Обернувшись, я увидел Есенина. Я не удивился. Что он со своей Айседорой в Берлине, я уже слышал на днях от М. Горького.

Я не встречался с Есениным несколько лет. На первый взгляд — он почти не изменился. Те же васильковые глаза и светлые волосы, тот же мальчишеский вид. Он легко, как на пружинах, вскочил, протягивая мне руку. — Здравствуйте! Сколько лет, сколько зим. Вы что же, проездом или эмигрантом заделались? Если не торопитесь, выпьем чего-нибудь. Не хотите? Ну, тогда давайте я вас провожу...

Швейцар подал ему очень широкое, короткое черное пальто и цилиндр. Поймав мой удивленный взгляд, он ухмыльнулся: — Люблю, знаете, крайности. Либо лапти, либо уже цилиндр и пальмерстон... — Он лихо нахлобучил цилиндр на свои кудри. — Помните, как я когда-то у Городецкого, в плисовых штанах, подпоясанный золотым ремешком, выступал? Не забыли?

— Помните? — Есенин смеется. — Умора! На что я тогда похож был! Ряженый!.. — Да, конечно, ряженый. Только и сейчас в Берлине, в этом пальто, которое он почему-то зовет пальмерстоном, и цилиндре, у него тоже вид ряженого. Этого я ему, понятно, не говорю.

Мы идем по тихим улицам Вестена. Есенин, помолчав, говорит: — А признайтесь, — противен я был вам, петербуржцам. И вам, и Гумилеву, и этой осе Ахматовой. В «Аполлоне» меня так и не напечатали. А вот Блок, тот меня сразу признал. И совет мне отличный дал: «Раскачнитесь посильнее на качелях жизни». — Я и раскачнулся! И еще раскачнусь! Интересно, что бы сказал Александр Александрович, если бы видел мою раскачку, а?

Я молчу, но Есенин как будто и не ждет от меня ответа. Он продолжает о Блоке: — Ах, как я любил Александра Александровича. Влюблен в него был. Первым поэтом его считал. А вот теперь, — он делает паузу. — Теперь многие — Луначарский там, да и другие, пишут, что я первый. Слыхали, наверно? Не Блок, а я. Как вы находите? Врут, пожалуй? Брехня?

Он вдруг останавливается: — Хотите, махнем к нам в Адлон? Айседору разбудим. Она рада будет. Кофе нам турецкий сварит. Поедем, право? И мне с вами удобней — без извинений, объяснений... Я ведь оттого сегодня один обедал, потому что опять поругался с ней. Ругаемся мы часто. Скверно это, сам знаю. Злит она меня. Замечательная баба, знаменитость, умница, — а недостает чего-то, самого главного. Того, что мы, русские, душой зовем...

— Поедем, право, в Адлон. — Не хотите? — Ну, как-нибудь в другой раз. Следует вам все-таки с ней познакомиться. Посмотреть, как она с шарфом танцует. Замечательно. Оживает у ней в руках шарф. Держит она его за хвост, а сама в пляс. И кажется, не шарф — а хулиган у нее в руках. Будто не она одна, а двое танцуют. Глазам не веришь, такая, — как это? — экспрессия получается... Хулиган ее и обнимает, и треплет, и душит... А потом вдруг — раз! — и шарф у ней под ногами. Сорвала она его, растоптала — и крышка! — Нет хулигана, смятая тряпка под ногами валяется... Удивительно она это проделывает. Сердце сжимается. Видеть спокойно не могу. Точно это я у нее под ногами лежу. Точно мне это крышка.

Я тороплюсь, меня ждут. Описание танца с шарфом оставляет меня холодным. Мне представляется запыхавшаяся Дункан, тяжело прыгающая с красным флагом по сцене Большого московского театра. Волнение, с которым говорит Есенин, не передается мне. Волнение я испытаю потом, когда прочту, как Есенин повесился на ремне одного из тех самых чемоданов, которые сейчас лежат в его номере «Адлона» — самой шикарной гостиницы Берлина. И еще потом, года два спустя, узнав, что Айседору Дункан в Ницце, — на Promenade des Anglais, задушил ее собственный шарф...

Да:

...Бывают странными пророками
Поэты иногда...

Как не согласиться — бывают...

Я останавливаюсь у подъезда дома, где меня ждут. — Как? Уже? — удивляется Есенин. — А я только разоткровенничался с вами. Жаль, жаль, как говорит заяц в сказках Афанасьева. Ну, все равно. Со мной ведь всегда так. Только разоткровенничаюсь — сейчас что-нибудь и заткнет глотку. И в жизни, и в стихах — всегда. Скучно это. Завидуют мне многие, а чему завидовать, раз я так скучаю. И хулиганю я, и пьянствую — все от скуки. Правильно я как-то сам себе сказал:

Проплясал, проплакал день весенний,
Замерла гроза.
Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,
Поднимать глаза.

Ах, до чего скучно! До черта. Ну... до свиданья... я уж со скуки этой закачусь куда-нибудь. Пущу дым коромыслом. Раскачнусь.

Взмах цилиндра, широкая пола «пальмерстона», мелькнувшая в дверцах такси...

* * *

После этой нашей последней встречи — Есенин прожил два года, с небольшим. Но испытанного и пережитого им за это время хватило бы на целую — долгую, бурную и очень

несчастную жизнь. Было с ним, до 23 ноября 1925 года, много, очень много «всякого».

Был разрыв с Айседорой и одинокое возвращение в Москву. Была новая женитьба и новый разрыв. Было, попутно, много других любовных встреч и разлук. Было путешествие в Персию и «вынужденный отдых»... в лечебнице душевнобольных. Была последняя, очень грустная, поездка в деревню, где все разочаровало поэта. Были, наконец, новые кутежи и дебоши, отличавшиеся от прежних тем, что теперь они неизменно кончались антисоветскими и антисемитскими выходками. Пьяный Есенин чуть ли не каждую ночь кричал на весь ресторан, а то и на всю Красную площадь: «Бей коммунистов — спасай Россию» — и прочее в том же духе. Всякого другого на месте Есенина, конечно бы, расстреляли. Но с «первым крестьянским поэтом» озадаченные власти не знали, как поступить. Пробовали усовестить — безрезультатно. Пытались припугнуть, устроив над Есениным «общественный суд» в «Доме печати», — тоже не помогло. В конце концов, как это ни странно, большевики уступили. Московской милиции было приказано; скандалящего Есенина отправлять в участок для вытрезвления, «не давая делу дальнейшего хода». Скоро все милиционеры Москвы знали Есенина в лицо...

Есенин — типичный представитель своего народа и своего времени. За Есениным стоят миллионы таких же, как он, только безымянных, «Есениных», — его братья по духу, «соучастники-жертвы» революции. Такие же, как он, закруженные ее вихрем, ослепленные ею, потерявшие критерий добра и зла, правды и лжи, вообразившие, что летят к звездам, и шлепнувшиеся лицом в грязь. Променявшие Бога на «диамат», Россию на Интернационал и, в конце концов, очнувшиеся от угара у разбитого корыта революции. Судьба Есенина — их судьба, в его голосе звучат их голоса. Поэтому-то стихи Есенина и ударяют с такой «неведомой силой» по русским сердцам, и имя его начинает сиять для России наших дней пушкински просветленно, пушкински незаменимо.

Подчеркиваю: *для России наших дней*. То есть для того, что уцелело после тридцати двух лет нового татарского ига от Великой России.

Ту былую Россию даже скупой на похвалы холодный сноб Поль Валери назвал в своем дневнике «одним из трех чудес мировой истории» — Эллада, итальянский Ренессанс и Россия XIX в.

Сознаемся, как это ни горько, что от этого «чуда мировой истории» в нынешнем СССР сохранилось не многим больше, чем от Эллады Фидия... в современной Греции. Достоевский сказал: «Пушкин — наше все». И нельзя было точнее и вернее определить взаимоотношения Пушкина и России до революции. «Наше все» значило, что величие Пушкина равно величию породившей его культуры, что имена Пушкина и России почти синонимы.

Увы! — Пушкин и СССР не только не синонимы, но просто несравнимые величины. Нельзя, пожалуй, опуститься ниже по сравнению с уровнем его божественной, нравственной и творческой гармонии, чем опустилась «страна пролетарской культуры», наша несчастная Родина!

Обрести право опять назвать Пушкина «нашим всем», подняться до него — дело долгое и трудное, которое еще очень нескоро удастся России.

Значение Есенина именно в том, что он оказался как раз на уровне сознания русского народа «страшных лет России», совпал с ним до конца, стал синонимом и ее падения, и ее стремления возродиться. В этом «пушкинская» незаменимость Есенина, превращающая и его грешную жизнь, и несовершенные стихи в источник света и добра. И поэтому о Есенине, не преувеличивая, можно сказать, что он наследник Пушкина наших дней.

Петербургские зимы. Фрагменты, не вошедшие в книгу

1

Кончалась «музыка» в Павловске, начинался сезон в Петербурге. Ничего особенного не случалось — из года в год было все то же. Осень, вернисаж, первый снег, балет, новая книга стихов, крещенский мороз — так до первого дыхания ни с чем несравнимой петербургской весны, до белых ночей, до новой «музыки»...

И только. Но веял над нами
Какой-то божественный свет,
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нет.

Отблеск этого «света» лежит на всех наших воспоминаниях о Петербурге.

Будущий коммунист граф З. открыл в 1911 году в своем дворце институт для изучения искусств.

З. любил, чтобы его звали Herr[10] доктор — он был доктором философии какого-то немецкого университета. В начале войны он в патриотическом порыве отослал свой диплом обратно «коварным немцам». Впрочем, все обошлось благополучно — граница была закрыта, и диплом вернулся к графу. З. по костюму знали многие петербуржцы. Он одевался под тридцатые года, носил баки и старомодный цилиндр. На «вербах» он обходил ларьки, покупая «матрешек» и «американских жителей». Два рослых лакея, одетые гайдуками, шли за доктором философии, неся покупки.

Этому З. пришла идея института. Сказано — сделано. Несколько комнат дворца были отведены под библиотеку и аудитории. З. с великосветской галантностью сам развез приглашения будущим студентам. Те, что приглашений не получили, могли записываться у директора. Граф принимал просителей лично. Для молодых людей лучшей рекомендацией рвения к искусству был прилизанный пробор, для девиц — миловидность и хороший французский выговор. Косоворотки и синие чулки отвергались беспощадно.

Допущенные к занятиям — могли пользоваться библиотекой, перенумерованной через десять номеров для солидности. Вскоре начались лекции[11].

Два «гайдука» устанавливают проекционный фонарь. На кафедру входит лектор — элегантный молодой человек. Тема — псевдонародные песни. «Гайдуки» наводят фонарь

---

[10] господин (*нем.*).

[11] *Позднее этот институт потерял свой «светский» характер и стал учреждением вполне серьезным.* (Здесь и далее курсивом выделены примеч. Г. Иванова.)

на экран — бледно и криво рисуется страница какой-то старинной рукописи. «Правей, болван, — шипит директор неуклюжему лакею, — еще... еще прибавь огня...» — «Виноват, ваше сиятельство». — «...Итэк, господа... — цедит лектор, — ...здоровое народное творчество одно, а эт-то... эт-то совсем другое... Д-да... Народ — великий художник...

Девичий стыд вином залила,
Целый подол серебра принесла.

Натяжка! Нелепое преувеличение. Целый подол серебра, т. е. рублей двести... Э-э... за то, что стоит четвертак».

Как и полагается барину, меценату, З. вывез из Италии живописцев для декорирования своего дворца. Декорировали, впрочем, только один кабинет. Зато образцово: девицы, войдя в это святилище, заливались краской и ахали, молодые люди с проборами ржали. Искусство было не первоклассное, но знание предмета и разработка деталей — поразительны.

Один из этих итальянцев во время войны вошел в большую моду — он занялся скульптурой: «Вильгельм под русским сапогом», «Немец с союзным младенцем на штыке»... Другой шагнул еще выше. В 1919 году я видел его в Публичной библиотеке: на ломаном языке, размахивая мандатом, он требовал себе все книги о Перовской и все ее портреты. Наркомпрос заказал ему памятник знаменитой революционерке...

* * *

Одна из первых студенток этого института, конечно, была NN, знаменитая NN.

Не забыта и...
В титулованном кругу.
Ей любовь одна отрада
И где надо и не надо.
Не ответит, не ответит, не ответит «Не могу».

Эти стишки Кузмина, исполнявшиеся хором в «Бродячей собаке», привели NN в восторг.

— Ах, Михаил Алексеевич, какой вы милый, что так верно обо мне написали!

— Дорогая NN, я очень рад.

Круг был титулованно-артистический — другого NN не признавала. Сама она звала себя «демонисткой» и все собиралась устроить черную мессу. Но так и не собралась: надо было резать кошку, а NN обожала животных.

Ей было лет тридцать. Наружность? Если бы не перья, ленты, амулеты и орхидеи ее нарядов, NN можно было бы назвать хорошенькой.

Пока были отцовские деньги — была экзотическая квартира на Фурштадтской, где грум с «фиалковыми глазами» разносил гостям кофе и шерри-бренди, ловко шагая через оскаленные морды леопардовых шкур. Потом деньги вышли, и NN переехала со шкурами, но уже без грума в Черняковский переулок, в здание знаменитых бань. С неудобствами новой квартиры ее мирило именно то, что она помещалась в банях. «Не правда ли, как экстравагантно! — Где вы живете? — В бане. Звонят в телефон. — Это баня? Попросите NN. — Сию минуту. Адски шикарно!»

Кстати, имя и отчество были подлинные — родители благоговели перед классицизмом.

У Паллады — чай. Титулованно-эстетическое общество.

Три четверти гостей — тоже поэты. Все они сочиняют стихи в смешанном стиле Бальмонт — Кузмин. Переписывают в сафьяновые тетрадки, читают на пятичасовых чаях, потом печатают в «Сириусе» на самой лучшей бумаге. Сам автор, преодолев стыд, разносит книгу на «комиссию» в книжные лавки. Приказчик презрительно морщится, вертит типографский шедевр: «Оставьте пяток... возьмем парочку... Расчет через шесть месяцев».

Через шесть месяцев автор получит обратно свои книги, увядшие, засиженные мухами, с порванными обложками. Не беда! Надо только переменить обложку — и будет второе издание...

Хозяйка, откинувшись на диване с папироской в зубах, рассказывает, «как ее принимали»... в Тирасполе. Ведь она — артистка. Декламирует Бальмонта и «танцует» босиком его стихи.

— Ах, как меня принимали — цветы, овации, шампанское...

— Мой кузен Бубенчиков там предводитель, — вставляет курносый лицеист.

— Бубенчиков?.. Такой крупный, интересный?.. Как же! Он в меня влюбился... Он говорил — останьтесь у нас, будьте звездою Тирасполя... Но разве я могу жить без Петербурга, без белых ночей...

NN не только артистка, она еще пишет сонеты. Цезура в них не всегда в порядке, но зато сколько демонизма!

Пьют чай. Курят. Болтают. Разговор сам собой переходит на темы, скользкие во всяком другом обществе, но вполне естественные здесь.

— ...Картина Лаврова выставлена в Парижском салоне...

— Как я рада, — восклицает хозяйка. — Он талантливый мальчик... Он был моим... другом. Барон, достаньте из шкатулки мой список...

Она перелистывает маленькую золотообрезанную книжку. — Вот. Лавров... № 49... в позапрошлом году...

— А теперь который номер, NN?

— Семидесятый. Когда будет семьдесят пять, я буду справлять юбилей. — И она нежно прижимает к губам свою записную книжку. — Это моя душа — она переплетена в человеческую кожу...

* * *

Восемь часов вечера. У подъезда останавливаются собственные и извозчичьи сани. Гости раздеваются по петербургской привычке у швейцара и подымаются во второй этаж. Их встречает молодой человек в смокинге, с голубой гвоздикой в петлице — распорядитель вечера. В большой гостиной расставлены, как в театре, венские стулья. Это домашний спектакль, но не какой-нибудь чеховский «Медведь», а полупьеса — полубалет семнадцатилетнего гения. Другой гений — двоюродный брат автора — написал музыку, третий — его товарищ — декорации в бледно-сиреневых тонах. Балерины — сестра и ее подруги. Главную — мужскую — роль играет незаменимая NN.

Приглашенные — цвет петербургского искусства. Вот Н. Н. Врангель, вот Судейкин, вот Гумилев... Гости рассаживаются. Гаснет люстра. Взамен ее вспыхивает что-то серебристо-голубое.

Густо напудренный, но красный даже сквозь пудру автор музыки ударяет по клавишам.

Первая картина. Поэт — один. Он повторяет монотонные слова: «Печаль — печаль... Снег — снег... Любовь — любовь...» Потом читает:

Прилетели бескрылые птицы
Из страны бледно-розовых роз.
Побледнели таинственно лица —
Прилетели бескрылые птицы...

Вдруг — ослепительный свет. За сценой барабан и крики «гип-гип ура». Композитор делается багровым от усилия, музыка — оглушительной. Потом — молчание. Входит коммивояжер — NN — с хлыстом в руках: «Где тут американский бар — я хочу сода виски!»

...Семь барышень босиком танцуют странный танец. Семь голубых цветов падают с потолка к их ногам...

Почетные гости первых рядов давно сидят, уткнувшись лицами в носовые платки. Кое-где заглушенный смех переходит в явный. Монокль прыгает в глазу Врангеля. Лицо Ахматовой перекошено от усилия сохранить серьезность.

В задних рядах — родственных — шепот, смесь гордости и недоумения... «Декадентское, но очень мило...» — «Charmant, charmant...» Одна мамаша возмущается: «Что сегодня с Машенькой — ведь она всегда так чудно танцует вальс...»

* * *

Их было очень много, надушенных и томных поэтов с хризантемами в петлице. Их внешность без ошибки свидетельствовала об изяществе музы. Поэты «Божьей милостью» должны были пьянствовать и ходить оборванными, «народные» — в сапогах бутылками, футуристы — в кофте — так полагалось. Отступления принимались враждебно и товарищами и публикой. Футуристическая карьера Бенедикта Лившица не удалась, потому что он носил котелок и гетры.

Футуристы жили коммуной в пустой и холодной квартире на Петербургской стороне. Мебели не было — сидели на чемоданах,

спали на соломе. Ходили они повсюду тоже скопом, пугая встречных страшным видом. Огромные братья Бурлюки, такой же Маяковский и рядом тщедушный Хлебников и Крученых.

Футуристы с утра пили водку — кофе в их коммуне не полагалось. Прихлебывая «красную головку», стряхивали папиросный пепел в блюдо с закуской. Туда же бросались и окурки. Крученых, бывший по домашней части, строго следил за этим. Насорят на пол — приборка. А так — закуску съедят, окурки в мусорный ящик, и посуда готова для обеда.

За «кофе» толковали о способах взорвать мир и о делах более мелких. Как-то Хлебников ночью связал по ногам и рукам спящего Давида Бурлюка и хотел его зарезать; перед сном они поспорили о славянских корнях. Крученых совещался, что ему «читать» на предстоящем вечере — просто ли обругать публику или потребовать на эстраду чаю с лимоном, чай выпить, остатки выплеснуть в слушателей, прибавив: «Так я плюю на низкую чернь». Коммуна была за лимон.

Потом шли по делам — занимать деньги у доктора Кульбина, покровителя футуристов, подбирать обложку для «Садка судей» под цвет Исаакиевского собора, требовать интервью с «Игрушечной маркизой» — в журнале для женщин.

Давид Бурлюк, мозг школы, оставался дома, готовился к лекции о Репине. Он надевал куцый сюртук, сжимал в огромном кулаке крошечную лорнетку, вращал одним глазом (другой был вставной) и перед зеркалом репетировал вступление:

— Репин, Репин, нашли тоже — Репин. А я вам скажу (рычание), что ваш Репин... — Тут он делал привычное движение локтем в защиту от апельсинов и сырых яиц. Потом, церемонно кланяясь, выходил читать «на бис»:

Как я люблю беременных мужчин,
Когда они у памятника Пушкина!

* * *

За Калинкиным мостом, очень далеко, жила баронесса Т. Она писала стихи и печатала их под псевдонимом в собственном журнале.

Когда ночью загулявшей компании не хотелось расходиться, а ехать было некуда, кто-нибудь предлагал: поедем к баронессе.

Вопрос был только в извозчиках — повезут ли в такую даль? Гостям в доме за Калинкиным мостом были всегда рады. Заспанная горничная не удивлялась, впускала ночных визитеров. Через четверть часа в пышном пеньюаре выплывала густо нарумяненная, тоже заспанная, но улыбающаяся хозяйка. «Ах, как мило, что заехали... Раб (голос ее становился повелительносуровым), раб, — кричала она куда-то в пространство, — собери закусить».

Еще через четверть часа «раб» — муж баронессы, морской офицер, распахивал двери столовой: «Пожалуйте, господа».

В столовой, просторной и хорошо обставленной, в углу стоял человеческий скелет. В костлявых пальцах — гирлянда электрических цветов. В глазных впадинах — по красной лампочке.

Закуска, сервированная «рабом», не отличалась роскошью, зато вина и водки подавалось «сколько выпьют». Баронесса показывала гостям пример. Муж больше курил и молчал. О нем вспоминали, только когда слышался окрик: «Раб — еще мадеры! Раб — принеси носовой платок!» Он исполнял приказания и стушевывался до нового окрика.

— Баронесса, расскажите историю вашего скелета.

— Ах, это такой ужас. Он был в меня влюблен. Имя? Его звали Иван. Он был смуглый, красивый... Носил мне цветы, подстерегал на улице. На все его мольбы я отвечала — нет, нет, нет. Однажды он пришел ко мне страшно бледный. — «Баронесса, я пришел за вашим последним словом». Я смерила его взглядом: «Вы его знаете — нет».

Он уехал в свое имение (он был страшно богат) и стал учиться стрелять. Учился целый год, но представьте, выстрелил так неудачно, что мучился сутки, пока не умер. Ужас! Свой скелет он завещал мне.

Баронесса подносила к глазам платок:

— Иван, Иван, зачем ты это сделал!

— И вы не ушли после этого в монастырь?

— Я сделала больше — я написала стихи. Они выгравированы на его могильной плите.

В широком (слишком широком для мужского скелета) тазу «Ивана» видна аккуратно просверленная дырка — след рокового

выстрела. Скелет маленький, желтый, он дрожит, когда его трогают, и трясет своей электрической гирляндой.

— Прежде он стоял в моей спальне, — томно прибавляет баронесса, — но пришлось вынести — несколько раз он обрывал свою проволоку и падал ко мне на кровать.

2

...В Петербурге мы сойдемся снова.
Словно солнце мы похоронили в нем...

1920 год. Снег. Холод. Фонари не горят. Снова мы идем по Тучковой набережной — мимо дома, где когда-то была гостеприимная редакция «Гиперборея».

Мимо зданий, где мы когда-то
Танцевали, пили вино.

Мандельштам только что приехал в советский Петербург, и я веду его, бездомного и дрожащего от холода, к себе ночевать. Он два года пропадал — был в Крыму, оттуда выслали в Грузию, в Грузии едва не повесили. Потом какое-то невероятное, возможное только с одним Мандельштамом путешествие через всю Россию, — и в одно прекрасное утро звонок у черного хода моей квартиры.

— Кто там? — Из-за двери пыхтение, какой-то топот, шум, точно отряхивается выплывшая из воды собака...

— Кто там?

— Это я.

— Кто я?

— Я... Мандельштам...

Конечно, он приехал в летнем пальто (с какими-то шелковыми отворотами, особенно жалкими на пятнадцатиградусном морозе). Конечно, без копейки в кармане, простуженный, чихающий, кашляющий, не знающий, что ему делать. Первой его заботой после того, как он немного осмотрелся и отошел, было достать себе «вид на жительство».

— Да успеешь завтра.

— Нет, нет. Иначе я буду беспокоиться, не спать. Пойдем сейчас в Совдеп или как его там.

— Но ведь надо тебе сначала достать какое-нибудь удостоверение личности.

— У меня есть. Вот.

И он вытаскивает из кармана смятую и разодранную бумагу.

— Вот. «Командующий вооруженными силами на юге России» значится в заголовке. Удостоверение... Дано сие Мандельштаму Осипу Эмильевичу... Право жительства в укрепленном районе... Генерал X... Капитан Y...

— ...И с этим ты хотел идти в Совдеп!

Детская растерянная улыбка.

— А что? Разве бумажечка не годится?

* * *

Первые стихи Мандельштама были напечатаны в «Аполлоне» в 1910 году. В них была уже вся мандельштамовская прелесть — все туманно-пронзительное очарование. Стихи были замечены — их приветствовал Вячеслав Иванов и высмеял Буренин: Вскоре в петербургских литературных «салонах» стал появляться их автор, только что приехавший из-за границы — он учился в Париже.

Наружность у него была странная, обращающая внимание. Костюм франтовский и неряшливый, баки, лысина, окруженная редкими вьющимися волосами, характерное еврейское лицо — и удивительные глаза. Закроет глаза — аптекарский ученик. Откроет — ангел.

При всем этом он был похож чем-то на Пушкина... Это потом находили многие, но открыла это сходство моя старуха горничная. Как все горничные, родственники его друзей, швейцары и т. п. посторонние поэзии, но вынужденные иметь с Мандельштамом дело, она его ненавидела. Ненавидела за окурки, ночные посещения, грязные калоши, требования чаю и бутербродов в неурочное время и т. п.

Однажды (Мандельштам как раз в это время был в отъезде) я принес портрет Пушкина и повесил над письменным столом. Старуха, увидев его, покачала укоризненно головой: «Что вы, барин, видно, без всякого Мандельштама не можете. Три дня не ходит, так вы уж его портрет вешаете!»

Стихи Мандельштама были замечены. Но мало кто оценил это «чудо», как называла их Ахматова.

И он, инстинктивно чувствовавший свое «божественное» происхождение и с детской беспечностью этого не скрывавший, — постоянно терпел обиды.

Мандельштам чрезвычайно ценил Сологуба. Еще мальчиком знал его всего наизусть, из-за границы написал ему восторженное письмо, послал свои стихи. Ответа не получил — ну, мало ли что — письмо затерялось, может быть.

Приехав в Петербург и напечатавшись в «Аполлоне», решился позвонить Сологубу по телефону. Произошел следующий разговор:

— Можно попросить Федора Кузьмича?

— Я у телефона.

— Говорит Мандельштам.

Молчание.

— Я бы хотел приехать к вам, Федор Кузьмич.

— Зачем это?

— Чтобы прочесть вам свои стихи.

— Я их уже читал.

— И услышать ваше мнение.

— Я не имею о них мнения...

В 1916 году я был у Брюсова. На письменном столе в его кабинете лежали две кипы новых стихотворных сборников, одна поменьше, другая побольше. Брюсов объяснил: «Вот об этом — кипа поменьше — я буду писать в «Русской мысли». Об остальных не стоит».

В ворохе остальных лежал только что вышедший «Камень» Мандельштама.

— Как? Вы о «Камне» не будете писать?

Презрительный жест. Не стоит — эпигон. И Брюсов прочел:

Так. Но прощаясь с римской славой
С Капитолийской высоты,
Во всем величьи видел ты
Закат звезды его кровавой.

— Из этого вышел весь Мандельштам. И конечно, все его римские стихи не стоят одной из этих строк.

— Предположим. Но другие? Неужели ни одно вас не трогает?

— Ни одно!

— ...Он ненавидит его, — сказала Ахматова, слушая пересказ этого разговора. — Ненавидит за то, что Мандельштам ангел, а сам он только литератор!

Источником обид была и его удивительная манера читать. К стихам Мандельштама она необыкновенно подходила — он «пел» стихи, — но не так, как «поют» большинство поэтов, умеренно, но вовсю как-то воркуя, растягивая слова, понижая и повышая голос. Но при этом он притоптывал ногой, отбивал рукой такт и весь раскачивался. Понятно, что на публику, которой и обычное «пение» поэтов кажется странным, чтение Мандельштама, да еще при его оригинальной наружности, производило впечатление самое отрицательное. Улыбавшиеся на манеру X-а или Y-а, когда появлялся Мандельштам, начинали хохотать.

Однажды в Тенишевском зале Мандельштам читал только что написанные удивительные стихи: «Я опоздал на празднество Расина...» Слушатели выдались особенно тупые. Мандельштам читал. Стихи были длинные. Смешки и подхихикивания становились все явственней.

...Вновь шелестят истлевшие афиши
И слабо пахнет апельсинной коркой...

— Свиньи! — вдруг крикнул Мандельштам в публику, обрывая стихи, и убежал за сцену.

Я утешал его как мог — он был безутешен. «Свиньи, свиньи», — повторял он. Из зала слышался рев — хохота, криков, аплодисментов. Наконец сквозь слезы Мандельштам улыбнулся. «Какие свиньи!»

Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли... —

сказал я ему в тон строчками из недочитанного им стихотворения.

* * *

Мандельштам, приехав из Грузии, недолго прожил в Петербурге, с полгода. Шумная московская жизнь казалась ему вольным миром — здесь он задыхался...

— Если здесь задыхаешься, там сломаешь шею, — холодно сказал ему на прощанье Гумилев. Это был разрыв — его отъезд; обе стороны — и Мандельштам и его петербургские друзья — это сознавали.

— Может быть, и не сломаю!

— Сломаешь, — твердо повторил Гумилев.

Мне тогда казалось, что Гумилев не прав. Ведь не пропадет же у *такого* поэта *такой* голос оттого, что он окунется с головой в болото московской советской литературной жизни — имажинизма, Всероссийского союза поэтов, казенных издательств. Погуляет козочка и вернется домой. И кто знает, может быть, это Чистилище пойдет ему даже на пользу.

Осенью 1922 года я пробыл в Москве несколько часов — от поезда до поезда. Я разыскал Мандельштама. Он был все тот же, но вид у него был какой-то растерянный. «В Москве мне хорошо. А в Петербурге что ты можешь мне предложить?» — была одна из его первых фраз.

— Очень рад, что хорошо, — предлагать мне нечего.

— Нет, ты скажи, — настаивал он, — можно ли в Петербурге устроиться?

От хорошей жизни в Москве его явно тянуло обратно «домой». Я ему посоветовал оставаться в Москве — все-таки здесь была какая-то жизнь. В Петербурге — одни дорогие могилы.

Заговорили о стихах. Мандельштам, как всегда, был полон планами и надеждами.

— Нет, ты прочти что-нибудь написанное за это время.

Он смущенно признавался: ничего нет.

Теперь он снова пишет стихи. Время от времени в советских газетах среди разных неведомых имен на десятом месте мелькает его подпись. Грустно читать это имя под такими стихами:

Куда как тетушка моя была богата.
Фарфора, серебра изрядная палата,
Безделки разные и мебель *акажу,*
Людовик, рококо — всего не расскажу.
Среди других вещей стоял в гостином зале
Бетховен гипсовый на бронзовом рояле.
У тетушки он был в особенной чести.

Однажды довелось мне в гости к ней прийти,
И гордая собой упрямая старуха
Перед Бетховеном проговорила глухо:
— Вот, душенька, Марат; работы Мирабо!
— Да что вы, тетенька, не может быть того!
Но старость черствая к поправкам глуховата:
— Вот, говорит, портрет известного Марата
Работы, ежели припомню, Мирабо.
Читатель, согласись, не может быть того!
Читатель, грустно, не правда ли?

3

Один молодой поэт в поисках рифм доискался до такого двустишия:

Душа горит на сотне вертелов,
Лишь вспомню переулок Эртелев.

Неожиданно для себя этот изысканный эстет, правда, в несколько причудливой форме, выразил чувства любого читателя «Речи» или «Утренней биржевой»: в Эртелевом переулке помещалось «Новое время».

Я сказал «помещалось». Это не то слово. Царило, властвовало... Эртелев, как известно, небольшая улица, и присутствие «Нового времени» как-то подавляло эти два десятка домов между Бассейной и Жуковской. Вы, заворачивая за угол, вступали в эту «полосу отчуждения», и сразу — будь вы даже человек вполне посторонний газетному миру — чувствовали «нечто», чего два шага назад, на Бассейной, не было.

В том, что огромная типография, занимавшая два дома, грохотала и гудела, артельщики с надписью «Новое время» на шапке попадались на каждом шагу, ломовые увозили куда-то кипы газет с характерным «готическим» шрифтом подзаголовка — в этом обычном виде места, где помещается большая газета, ничего подавляющего не было. «Нечто», о котором я говорю, исходило от дома № 6, у которого газетчики не толпились, машины не гудели, кажется, даже не было вывески, поясняющей, что здесь помещается. Двери пышного подъезда были заперты, сквозь стекло была видна фигура величественного швейцара,

дремлющего в кресле... Дом имел вид тихого, редко кем посещаемого барского особняка.

Если перейти на другую сторону улицы и посмотреть в окна, впечатление это усиливалось. За толстыми зеркальными окнами — полузадернутые тяжелые портьеры. Кое-где горит огонь — неяркий свет из-под темного абажура, кое-где виден кусок колонны, силуэт статуи, пальма. Можно простоять час, ожидая, чтобы кто-нибудь из обитателей этого пышного дома подошел к окну, — не дождетесь. Разве только промелькнет на минуту лицо чинного старого лакея, задергивающего поплотней тяжелую портьеру, чтобы уличный шум не беспокоил господ.

И снова — поблескивание окон, затемненный свет, тишина, сон, очки на носу дремлющего швейцара...

Конечно, если быть настойчивым и последить подольше, вы увидите, что ошиблись, думая, что никто так и не войдет за целый день в этот подъезд, не поправит волос у большого зеркала, не подымется по устланной коврами лестнице. Вы увидите, что начиная часов с пяти вечера, швейцар уже не спит в своем кресле. Приосанившись и сняв очки, он — наготове, чтобы мягко распахнуть двери, мягко пробормотать «здравия желаю», мягко снять шубу с сутулящихся стариковских плеч: сотрудники «Нового времени» начинают собираться.

Во втором этаже — редакция, вся в коврах и в зеркалах. Залы, коридоры, салоны, кабинеты. Библиотечные шкафы красного дерева до потолка хранят десятки тысяч книг, в неярком свете полупогашенных люстр тускло блестят на стенах картины. Иногда из этих раззолоченных недр появляется фигура сгорбленного старичка, медленно проплывающая по цельным коврам и снова исчезающая среди мраморов и штофных обоев.

— Кто это? Меньшиков?

— Нет — Буренин.

— А!..

* * *

С весны 1914 года нововременский швейцар, распахивая дверь и снимая шубу с сотрудника, стал говорить не только:

«Здравия желаю, Виктор Петрович» (Буренин), но и: «Здравия желаю, Федор Кузьмич» (Сологуб).

Открылось «Лукоморье».

В свое время о «Лукоморье» было много толков и споров в литературных кругах. «Суворин хочет купить русскую литературу». Покупал, впрочем, не лично Суворин, а некто Банковский, смуглый, юркий, мягкий на обращение восточный человек. Он действительно покупал — с величайшей охотностью — все, что ему приносили: стихи, рассказы, пьесы, рецензии, обложки, заставки. Сделка состоялась — вчера вы были просто X или Y, сегодня вы лукоморец...

Как известно, многие «видные силы» не устояли тогда против самопишущего пера и клятвенных уверений в абсолютной аполитичности в придачу. Казалось бы — будет блестящий журнал.

Но как нувориш покупает особняк, меблирует его редкостями, хлопочет, изучает стили и марки фарфора, убивает массу денег — и все-таки, к его искреннему недоумению, — «ансамбль» получается печальный, — так было и с Сувориным, решившим стать покровителем искусств. Гонорары платили царские, авансы давали без счету, хлопотали, старались, и получалось... «Лукоморье». В чем тут дело и чья тут вина, уж я не знаю...

Для сближения редакции с сотрудниками, т. е. нововременского начальства с теми самыми «декадентами», которых маститый граф Алексис Жасминов еще недавно высмеивал как только мог, устраивались еженедельные чаи.

Чаи были пышные, как все в доме 6 по Эртелеву. Птифуры и сандвичи, дорогой портвейн и цейлонский чай разносились почтительными лакеями. М. Суворин в роли любезного хозяина был обворожителен — он не только, не моргнув глазом, смотрел на старый коньяк, выпиваемый с кряканьем — полчашки сразу, и на дюшесы, исчезающие в карманах некоторых слишком запасливых литераторов, но и слушал — благосклонно и терпеливо — повести Юркуна, — дело нешуточное. Юркун, как известно каждому петербуржцу, причастному к литературе, — протеже Кузмина, если кто желает иметь Кузмина сотрудником, должен печатать и Юркуна, иначе нельзя.

«...Сестра моя двоюродная, которая живет во Франции, имеющая порядочный капитал, — больна...», — дочитывает Юркун сотую страницу своей повести. Наконец, он кончает. Не по своей воле, разумеется, — еще добрая сотня страниц его повести осталась недочитанной. Но уж как-то так удачно вышло — Юркун достал платок, чтобы высморкаться, в это время кто-то вошел, хозяин дома встал ему навстречу, все заговорили...

Кузмин недовольно из-под пенсне смотрит на вновь пришедшего, перебившего чтение Юркуна. Но того не смутишь недовольными взглядами — Александр Рославлев знает себе цену, и в «Лукоморье» и вообще.

Это огромный человек — необыкновенного роста, чудовищной толщины. Все в нем колоссально — голос, кулаки, аппетит. Сам он, кажется, этой колоссальности не ощущает. Когда на улице прохожие удивленно оборачиваются на его необычную фигуру, к тому же забронированную в невозможную крылатку и с широкополой черной шляпой а-ля бандит на голове, он беспокоится.

— Что эта рожа так на меня уставилась? Кажется, я не негр. Еще сглазит — глазищи-то черные, как маслины, — арап. Тьфу!

И сплевывает аккуратно три раза в сторону «арапа», не сумевшего скрыть свое изумление перед гигантом в крылатке.

То же и с аппетитом.

— Александр Иванович, — говорит хозяин, — вы ничего не кушаете. Не угодно ли бисквитов? Или сандвич? Может быть, вы голодны — тут были рябчики.

— Благодарю, я только что пообедал, — басит Рославлев. — Совершенно сыт, благодарю. Да и у вас уже несколько птичек сжевал — не сытны, знаете, но очень вкусные. Не беспокойтесь, благодарствуйте.

От нескольких птичек — т. е. блюда с рябчиками — сиротливо торчат на блюде только несколько косточек, что покрупней. Косточки помельче Рославлев «сжевал» вместе с мясом полдюжины «вкусных, но не сытных птичек».

— От этого не откажусь, — радостно подставляет он, отодвинув рюмку, стакан. — Славный коньяк. Наполеоновский, говорите? Д-да, молодец был Наполеон, не то что Вильгельм, во всякую мелочь вникал — вот и коньяк славный выделывали при нем.

Рославлев подливает себе еще из драгоценной бутылки.

— Добрый коньяк. Наша белая головка, конечно, на вкус тоньше, но крепость, по-моему, та же. Но, — Рославлев видит тень, пробегающую по лицу хозяина, и, как человек деликатный, спешит исправить свою неловкость, — но по военному времени великолепный напиток — где же теперь достать настоящую водку.

* * *

Вряд ли кормили птифурами, вряд ли выписывали, не моргнув глазом, крупные, непогашаемые авансы хозяева «Лукоморья» без всякой задней мысли, из чистого меценатства. Какая-то «программа» во всей этой затее была, вероятно, что-нибудь вроде субсидий большевиков — аполитичным издательствам — прикармливание возможных будущих попутчиков. Но у большевиков было поставлено просто — получаете деньги, так старайтесь. Здесь же была (если она действительно была, а не заварил Суворин всю эту кашу просто для развлечения) интрига крайне тонкая и деликатная. Вероятно, считали, что надо долго, очень долго и хорошо, очень хорошо прикармливать «русскую литературу», пока, наконец... Что «наконец» — область чистых догадок: предварительное прикармливание, судя по всему, было рассчитано лет на пять, никак не меньше, а закрылось «Лукоморье» на третьем году своего существования. Так что, волею судьбы, на долю «падших ангелов» отечественной словесности, променявших чистые десятирублевки Проппера на окровавленные сторублевки Суворина, достались одни приятные цветочки. А ягодки сорвать не успели.

Как бы там ни было, но заигрывание со стороны нововременских столпов с молодежью (из которых многим было сильно за сорок) было явное. Официально одна редакция другой не касалась, но на чаях у Суворина нет-нет и появится Меньшиков или Буренин. Появится скромно, с улыбочкой: «Зашел к Михаилу Алексеевичу, а у него тут молодежь собралась. Не помешал ли, господа, а то уйду...»

Нововременские столпы были люди приятного обращения, почтенной наружности, говорили сладко и красноречиво — о разных великих заветах и о национальной мощи. Но если

и касались таких скользких вопросов, то случайно, мимоходом, с улыбочкой и комплиментами.

— Вы молодежь... Мы старики... Отцы и дети... Но Россия одна...

И в глазах говорящего светится какое-то беспокойство.

* * *

Это «беспокойство» было едва уловимой и в то же время характернейшей чертой дома № 6 по Эртелеву переулку. Оттенок его лежал на всем — на торжественной мебели, на невозмутимых швейцарах, на респектабельной внешности какого-нибудь Буренина. Все идет хорошо — казалось, убеждали вас и мебель, и швейцар, и лицо Буренина, — все прекрасно, и иначе не может быть. Это редакция знаменитой газеты: самой влиятельной, самой независимой, самой богатой. Статьи «Нового времени» обсуждаются Советом министров величайшей империи мира, и Совет министров считается с этими статьями. И через десять, двадцать, пятьдесят лет так же будут стоять эти статуи и висеть картины, так же невозмутимый лакей — разносить душистый чай, так же в кабинете при свете шелкового абажура — редактор, из той же династии Сувориных, писать передовую статью, с которой будет считаться Совет министров...

— ...Что же делать. Мы должны были поместить эту заметку. Банк потребовал. У банка контрольный пакет.

Это газетные крысы шепчутся исподтишка. Стены торжественных кабинетов и люди, сидящие в этих кабинетах, еще хранят (если не всматриваться чересчур пристально) величественное безразличие — все хорошо, все по-прежнему...

Но крысы по передним и по темным углам предчувствуют гибель и шепчутся. Бежать бы, да — увы — некуда.

* * *

Василий Васильевич Розанов — единственный «столп», имеющий непочтенный вид. У него наружность чухонца-вейки, говорит он без всякого красноречия, все больше шутит, и без особого остроумия даже.

— Как вам понравилась моя повесть, В. В.? — спрашивает Юркун.

Вежливейшая улыбка.

— О какой повести изволите говорить?

— Да о моей, которую я только что читал.

Улыбка еще более любезная.

— Как же, как же, очень. Превосходная вещь.

Юркун расплывается.

— ...Превосходная вещь. Филистимляне у вас очень верно описаны.

— Помилуйте, В. В., какие филистимляне, это же из современной жизни...

— Из современной... Вот что. Значит, я не расслышал. Стар стал, глохну, не обессудьте старика. А повесть ваша — превосходная...

Н. Ю. Жуковская — редакторша журнала (Бялковский — тот только выписывает гонорары), крайне милая и бонтонная дама средних лет, считающаяся здесь неизвестно почему знаменитой писательницей, — с неудовольствием следит за переменами выражения лица автора повести «из современной жизни». Этот несносный Розанов опять обижает бедного молодого человека. Ей это доставляет физическую боль, она — сама доброта:

— Михаил Алексеевич так страдал в 1905 году, когда рабочие отняли у нас типографию для этих ужасных «Известий», — объясняет она кому-то. — Он даже поседел тогда. Подумайте, и он и покойный Алексей Сергеевич всегда были за простой народ, всегда боролись, а они...

Леонид Афанасьев, грустный старичок с голым черепом, выкрашенным ровно и аккуратно тушью, прощается.

— К сожалению, мне пора... Грустно, знаете, люблю общество молодых — сам молод был и молод душой остался. Но пора — пока доберусь к себе в Павловск. Поезда — сущее наказание.

— Зачем же вы живете зимой в Павловске? Перебирайтесь в Петербург.

Грустные глаза из-под закрашенного черепа смотрят испуганно и недоумевающе.

— Что вы? Да где же тогда я природу наблюдать буду? Где же вдохновения искать? Ведь в городе пошлость, американизм, поэзии и следа нет. Что вы, как можно!

— Вы Надсона отрицаете, и я отрицал, — гудит в углу Буренин. — Где же несходство взглядов?

— Да ведь вы и Бальмонта травили.

— Травил. Что ж такое? А он все-таки в люди вышел... Значит — молодец. Теперь и я его признаю...

Сергей Городецкий становится в позу, откидывает кудри и читает «певучим славянским голосом»:

Свершив последнее моленье,
К народу тихо вышел царь.
Что думал он в тот миг великий,
Что чувствовал, державный, он,
Когда торжественные клики
К нему неслись со всех сторон?

На лице хозяина и его друзей светится ласковое одобрение. Вот — недаром поили портвейном и выписывали ему чеки. А недавно еще писал декадентщину и революционное. Надо только уметь к человеку подойти...

* * *

Странное зрелище представлял дом 6 по Эртелеву переулку после 27 февраля 1917 года.

На груди швейцара — невероятно — красный бант. Впрочем, что же невероятного — только что вышло «Новое время»... с передовой статьей — «Мы всегда говорили, что самодержавие изжило себя...»

Пустынные покои еще более пустынны. Лица всех, от служителя до редактора, испуганно-изумленные. Конечно, «мы всегда говорили», но все же...

Н. Ю. Жуковская трясущимися руками собирает для отправки в типографию материал первого революционного номера «Лукоморья». От редакции... Это Михаил Алексеевич написал. Ужас. Лучше не читать. Стихи Городецкого «Свобода, ты — алая дева...» О Господи! Рассказ — рассказ из старых,

военный. Но статьи: выступление — волынцев... Клише — Временное правительство...

Она подносит к носу лорнетку и всматривается в лица «этих людей» с молчаливым упреком. Перебирает карточки: Бубликов... Керенский... Милюков...

Дойдя до портрета князя Львова, она оборачивается со слабой улыбкой:

— Конечно, он тоже революционер... но лучше, чтобы он был во главе, если уж... все-таки человек из общества, князь... Посмотрите на его лицо: все-таки — il a le race[12].

4

Петербург, конечно, был столицей, но — признаемся хоть теперь — столицей довольно захудалой, если «равняться по Европе». Не Белград, разумеется, но и не Лондон и, если рассуждать беспристрастно, — скорее, ближе к Белграду. Мы любим теперь вспоминать о былом петербургском блеске, но, в сущности, всего блеску было четыре кондитерских, четыре ресторана, магазин Кнопа, угол Морской и Невского и — «звезда из звезд, комета из комет» — французский театр. Не в счет гвардейские формы и битье зеркал в «Аквариуме». Это хотя тоже блеск, но блеск скорее ориентальный, так сказать «свет с востока», и к европейскому лоску отнесен быть не может.

С высоты своей «бездушной чопорности», удивлявшей и заставлявшей завидовать провинциалов и москвичей, — петербуржцы делали вид, что в Северной Пальмире, в смысле Европы, все обстоит благополучно. Пристыженные провинциалы верили и завидовали. Но под «ледяной» внешностью в груди петербуржца билось обыкновенное, самое человеческое сердце. И это сердце терзалось сомнениями и стремилось к идеалу, как и всякое другое: трамвайное управление вводило сумки для кондукторов нового, только что принятого в Копенгагене образца, городская дума «в виде опыта» покрывала улицы неподходящим к климату асфальтом. Дума заранее знала — асфальт

---

[12] в нем чувствуется порода (*фр.*).

не годится — лошади будут ломать ноги... но что же делать, раз в Европе повсюду асфальтовые мостовые. Каждый старался как мог и как умел.

Так шли они под пение свирели
Различными путями к той же цели.

Деятели искусства не имели тогда власти ни над мостовой, ни над фонарями, ни над трамваями. Это потом, после «Великого Октября», они эту власть ненадолго получили и использовали, чтобы сломать решетку Зимнего дворца (ворота решетки доломать не успели — их развалины до сих пор свидетельствуют о высоком художественном подъеме тех дней). Деятелям искусства оставался один «путь», ведший к заветной цели: заманивать в Петербург знаменитых иностранцев, устраивать чествования, шум в газетах, произносить речи о русско-французском (или немецком, или шведском) альянсе, очаровывать гостей «широким русским гостеприимством» и, тоже с речами и «гостеприимством» проводив гостя на Варшавский вокзал, предвкушать удовольствие ближайшего, очередного визита.

Не знаю, кто этим делом ведал. Кто списывался с Верхарном, приглашал Дебюсси, оплачивал «сежур» Поля Фора в гостинице «Европейская». В те времена, когда знатные иностранцы в Россию еще ездили, — я был слишком молод, чтобы быть чем-нибудь иным, чем скромным зрителем на их приеме. В те же дни, когда гости этого рода снова начали посещать нашу страну, — сам оказался в положении иностранца, хотя никем и не чествуемого. Единственное счастливое исключение — Уэллс, с которым я имел честь сидеть рядом на банкете в Доме искусств в 1920 году и из уст которого имел удовольствие услыхать приятное пожелание дальнейшего процветания и успехов «вашему советскому правительству».

Не знаю кто, но кто-то занимался этим делом настойчиво и энергично. Визиты в Петербург не прекращались до самой войны.

* * *

Приезд Маринетти был обставлен тайной. Футуристы, его выписавшие, оказались отличными конспираторами. Шел футуристический вечер в зале Калашниковской биржи. Крученых

и Бурлюки проделывали «нумера», бывшие когда-то ударными, — обзывали публику сволочью, читали стихи, повернувшись к залу спиной, и т. п. Но искушенная публика не реагировала на это, как бы футуристам хотелось, — не негодовала и не потрясалась. Она смеялась и аплодировала. И сами футуристы на этот раз действовали как-то механически и «без души», комкая подробности. Видно было, что все это так, чтобы убить время, — гвоздь же вечера впереди.

Но что это за гвоздь? В антракте сведущие люди шепотом, сообщали: «Крученых будет палить из револьвера... В публику бросят петарду...»

После антракта, кто поосторожней, пересели в задние ряды. Вечер продолжается. Появляются то Хлебников, то слоноподобные братья Бурлюки со своими стихами и прозой. Вдруг гаснет свет.

В зале волнение. Пожар? Или сейчас бросят обещанную бомбу? Или просто перегорели пробки?

С эстрады сначала бас Давида Бурлюка:

— Успокойтесь, складки жира, мешки с пошлостью, вашей жизни ничего не грозит!

Потом — истерический фальцет Крученых:

— Скоты! Вот он — отец — отец... Се солнце с запада... Эх... пропадай моя головушка...

Внезапно свет загорается. Все по-прежнему, зала как зала, эстрада как эстрада. Но на эстраде плотный, краснолицый человек, никому не известный.

— ...Приветствуемая мной страна есть Россия на этот раз, — читает он по бумажке, бойко и внятно, но с необыкновенно смешным акцентом и с не меньшей важностью... — На этот раз я, брюкодержатель времени, говорю вам: старая гиена, любительница круглых луковиц, кое-что ведала...

— Кто такой? Что за чухонец! Откуда взялся?— перебивают его из публики.

Разъяренный Крученых выбегает и кричит уже совершенным петухом:

— Вы! Вы! Перебиваете! Смеете! Кого? Кто вы? Кто! Сам! Великий! Величайший! Сладчайший! Маринетти!.. Ах! Звери! — Он хватается за сердце. — Воды — умираю...

Бурлюки подхватывают его под ручки и уводят.

— Звери... Ах... — слышится из-за сцены его фальцет. Маринетти невозмутимо продолжает читать свое «приветствие»:

— ...обратить к солнцу свое седалище вам мною рекомендуется: со временем будет поздно...

* * *

— Маринетти — маг. У него в Милане три дворца. Дворец Радости. Дворец Страдания. Дворец Мысли...

...Дворец Радости — роскошью превосходит Сераль. Двести красивейших женщин всегда готовы...

Дворец Страдания... Утонченнейшие орудия пыток... Комнаты истязаний... Рвы, наполненные крысами... После часов наслажденья Маринетти переходит в мир боли. Оттуда, просветленный, — в Дворец Мысли, в кабинет с сияющими хрустальными стенами, творить искусство будущего...

Это сообщает в сегодняшней «Вечерней биржевой» В. Бонди — человек знающий. Это он недавно поместил в «Огоньке» снимки с картины Гойи с примечанием: «Это панно принадлежит кисти нашего знаменитого писателя Леонида Андреева. Украшая его стильный рабочий кабинет, они служат недурной иллюстрацией его гениальных произведений».

...Владелец таинственных дворцов, «маг», «брюкодержатель времени», как сам рекомендуется, сидит в отдельном кабинете «Вены», на бархатном диване, под олеографией, изображающей «Бабушку с внучкой». В кабинете еще человек двадцать — сидят за сдвинутыми столами или развалясь по таким же диванам.

«Маг» тычет вилкой в распластанную в гарнире селедку. Поймав, не без усилия, кусок, он опоражнивает очередную рюмку водки и закусывает. «Маг» — человек способный. Попробовав первую рюмку, ему поднесенную, он с отвращением ее отодвинул — очень не понравилось. Но его уговорили. Выпив — он решил продолжать опыт. На пятой рюмке нашел, что водка не так уж дурна. На десятой прищелкивал языком и приговаривал: «Воно... Воно...»

По-русски Маринетти — ни слова. Речь свою произносил, читая сочиненное для него Бурлюками и переписанное латинскими буквами. Разговор идет по-французски.

— Я прочту свою оду о Триполи, — говорит «маг», вращая глазами.

Он начинает:

— Бум, бум... — и поясняет: — это ядра. Бум, бум, бум... тара-рах — разрыв снаряда. Пик, пик, пик — ласточка пролетает над полем сражения. У-а-а-а, — Маринетти рычит так, что в двери кабинета показывается испуганное лицо лакея, — это издыхает раненый мул. — И, вращая глазами, самодовольно поясняет: — Моя поэзия интернациональна — она понятна и европейцу и зулусу.

Потом просит прочесть стихи присутствующих. Когда прочтенное ему переводят — он радостно перебивает:

— Фабрика? Я тоже описал фабрику: тах-шарах — колеса, ш-шип... — приводной ремень... — Разговор идет по-французски. Но с каждой новой рюмкой Маринетти все чаще переходит на итальянский, не понятный никому из присутствующих. Да и говорит «маг» как-то захлебываясь, глотая слова, чрезвычайно быстро. Но «контакт» не нарушается, напротив. И «маг» и чествующие его плывут в облаках радужного блаженства.

— Маринетти, душа моя, выпьем на «ты»!

— Как его зовут? Теодор? Значит, Феодор!

Выпьем за Федю,
Федю дорогого...

«Маг» вращает глазами, улыбается и заносит руку с неслушающейся вилкой — на этот раз над балыком.

— ...Отец! Отец! Он — среди нас, — захлебывается пьяный Крученых. — Как Христос среди учеников своих...

— Он Христос, а ты Иуда, — подает из угла голос Хлебников...

* * *

Макса Линдера вряд ли бы стали выписывать специально. Но когда он приехал в Петербург для гастролей в Луна-парке — сейчас же нашлись желающие его чествовать. И довольно много желающих. Помещение «Бродячей собаки», признанное самым подходящим для приема знаменитости столь легкомысленного жанра, было полно в назначенный час. Собрались все больше люди несерьезные.

Поджидая гостя, сильно опоздавшего, несерьезная компания немного выпила, отчего стала еще непринужденней.

Председателем выбрали Аркадия Аверченко. Кого-то из музыкантов усадили за рояль — чтобы сразу по входе Линдера ударить изо всей силы глупый «гимн», тут же сочиненный и «положенный на музыку»:

Мама — киндер
Браво — Линдер
Браво — Макс
Такс!

Когда Линдер наконец появился — «высокое собрание» встретило его ревом удовольствия. Пианист заиграл, хор запел, пробки шампанского полетели в воздух... Наконец-то! Сейчас он нам покажет. Смотрите, какую серьезную физиономию <со>строил! Ха-ха-ха! Браво, Линдер, браво, Макс! Ура!

Линдер вошел деревянно-натянутой походкой, деревянно-натянуто улыбаясь. На рев приветствий холодно раскланялся. Холодно поклонившись еще раз, сел на приготовленное ему место, не снимая белых лайковых перчаток, натянутых на обе руки.

— Сейчас он что-нибудь выкинет... Смотрите, смотрите...

Но Линдер ничего не выкидывал. Он был до крайности, до смешного натянут, сух и серьезен. От вина отказался, отвечал на вопросы коротко, улыбался почти надменно. Сам он говорил преимущественно об эрмитажном собрании Рембрандта — тоном педанта ученого.

— Вы пишете стихи? — спросил Линдер у Аверченко, узнав, что тот писатель.

— Как же, — Аверченко незаметно подмигнул сильно приунывшему «высокому собранию».

— В каком же роде?

— А, знаете, — научные, как Ренэ Гиль, я его последователь...

Кое-кто сдержанно фыркнул, Линдер посмотрел на Аверченко с некоторой благосклонностью.

— Научная поэзия? Это интересно. Я ненавижу все несерьезное, всякий вздор, юмористику...

Кое-как в разговорах о Ренэ Гиле и Рембрандте дотянулся до конца этот веселый обед. Едва он кончился, Линдер уехал. Никто его не удерживал.

Китайские тени

I

Тема моих очерков — быт литературного Петербурга последних десяти-двенадцати лет.

Год наибольшего расцвета и напряжения этой жизни, «последняя зима перед войной», был годом моего вступления в литературу. С нее я и поведу свой рассказ. Поневоле я вынужден его начать с круга узкопоэтического, постепенно расширяя границы впечатлений и встреч. Еще мне часто придется говорить как будто о мелочах и пустяках; но я думаю, эти мелочи достойны внимания, если именно они были тем воздухом, которым дышало целое поколение деятелей русского искусства. Как был живителен этот воздух и как нам теперь его недостает, знает каждый поэт или художник, когда-то им дышавший.

«Гиперборей»

Зимою 12–13-го года каждую пятницу в квартире М. Л. Лозинского на Тучковой набережной происходили собрания «Гиперборея».

«Гиперборей» — «ежемесячник стихов и критики», как значилось на титульном листе, был маленький журнальчик — 32 страницы в восьмую долю. Печаталось экземпляров двести. Расходилось... хорошо, если четверть. Были, впрочем, и подписчики. Однажды редактору-издателю Лозинскому кто-то сказал: «Послушайте, как запаздывает ваш журнал; сейчас май, а январская книжка еще не вышла. Что подумают подписчики?» Лозинский сделал серьезную мину: «Вы правы. Действительно неудобно». Вдруг лицо его прояснилось: «Ну ничего — я им скажу».

Подписчики вместе с сотрудниками собирались по пятницам в большом кабинете с желтыми кожаными креслами, толстым ковром и огромным окном на Малую Невку, Тучков Буян, бесконечный ряд парусников и барок на фоне красного зимнего заката. Пили чай, курили. Сначала приходила мелкота — совсем

молодые поэты, разные студенты, «интересующиеся», но скрывающие, что «они тоже пишут». Мэтры прибывали позже, по-генеральски.

Из внутренних комнат появлялся хозяин дома. Статный, любезный, блестяще остроумный, он имел дар очаровывать всех — и случайного посетителя, и важного гостя, какого-нибудь профессора или знаменитого иностранца (заплывали в «Гиперборей» и такие).

* * *

Когда ожидалась новая книжка журнала и корректура, все немножко волновались. Особенно те, конечно, чьи стихи должны были увидеть свет. Уже шестой час, а Лозинского все нет — задержался в типографии. Но вот скрип двери, шорох портьеры.

Выходит Михаил Лозинский,
Покуривая и шутя,
С душой отцовско-материнской,
Выходит Михаил Лозинский,
Рукой лелея исполинской
Свое журнальное дитя.

Так описал этот выход в шуточном стихотворении «По пятницам в «Гиперборее» Василий Гиппиус, тогда студент и начинающий поэт.

* * *

С царскосельским поездом приезжали супруги Гумилев и Ахматова. Вбегал Мандельштам и, не здороваясь, искал «мецената», который бы заплатил за его извозчика. Потом бросался в кресло, требовал коньяку в свой чай, чтобы согреться, и тут же опрокидывал чашку на ковер или письменный стол. Мандельштам вечно мерз, шубы не имел, кутался поверх осеннего пальто в башлыки или шарфы, что плохо помогало. Однажды он ехал с Гумилевым в «Гиперборей» на извозчике и вея какой-то литературный спор. В пылу спора Гумилев не заметил, что ядовитые реплики из-под башлыка становились все реже и короче. И вдруг

уже недалеко от гиперборейского подъезда на колени Гумилеву падает совсем бесчувственный Мандельштам. Споря, он замерз. И его долго растирали, тормошили и отпаивали, прежде чем привели в чувство. Поэт Владимир Нарбут потом требовал себе медали за спасение погибающего. Он уверял, что пока все без толку хлопотали над замерзшим, он догадался поднести к его носу трехрублевку. Близость столь крупной суммы будто бы и подействовала оживляюще на всегда безденежного поэта.

* * *

Городецкий часто приводил с собой какой-нибудь новый талант «из народа». Он очень любил их разыскивать. Но дара на это у него не было. «Таланты» попадались один другого хуже. Единственным открытием Городецкого в те времена, тоже довольно сомнительным, был С. Клычков, но Городецкий не унывал. Он не унывал никогда и ни в чем, брался за все весело и с каким-то детским жаром. Эта легкость, эта постоянная беспечная улыбка и пленила, должно быть, Гумилева и была основой их недолгой дружбы и недолгого литературного союза.

Союз, в сущности, был совершенно неестественный. «Европейца» Гумилева и стройную теорию его акмеизма Городецкий со своим русским жанром дешевого пошиба только компрометировал. Ни стихов Городецкого, ни его статей никто, даже самый неопытный из нас, не принимал всерьез. Но в нем самом было что-то чрезвычайно милое и привлекательное. Таким он и остался.

* * *

Центральной фигурой гиперборейских собраний был, конечно, Гумилев. В длинном сюртуке, в желтом галстуке, с головой почти наголо обритой, он здоровался со всеми со старомодной церемонностью. Потом садился, вынимал огромный, точно сахарница, серебряный портсигар, закуривал. Я не забуду ощущение робости (до дрожи в коленях), знакомое далеко не мне одному, когда Гумилев заговаривал со мною. В те времена я уже был с ним на «ты» и формально на товарищеской ноге, но это

«ты, Николай», увы, сильно походило на «Ваше Превосходительство» в устах только что произведенного подпоручика.

* * *

Новая книжка «Гиперборея» в цветной обложке с елизаветинским набором роздана сотрудникам и гостям. Счастливые авторы жадно рассматривают свои стихи. Есть и огорчения. Седая дама мужественного вида, врач царскосельского госпиталя, друг императрицы, княжна В. И. Гедройц краснеет, как девочка, от обиды. Редакция своей властью сократила ее стихи. Но Гумилев подходит к ней. «Вера Игнатьевна, — важно цедит он сквозь зубы, — не правда ли, ваши стихи выигрывают в таком виде». Голос мэтра словно гипнотизирует ученицу, в два раза старшую годами, чем он. И она отвечает: «Да, Николай Степанович». Она уже забыла свое негодование, уже согласна и довольна.

* * *

Когда все в сборе, коллегия, т. е. Гумилев, Городецкий и Лозинский, удаляется в соседнюю комнату на редакционное совещание. Здесь решается судьба стихов, безжалостно мараются рецензии, назначается день ближайшего цехового собрания. Сотрудники вызываются иногда в это святилище — по большей части для какого-нибудь разноса. Однажды на самых первых порах своего участия в «Цехе» я тяжко провинился, поместив стихотворение в футуристическом сборнике. И право, я вошел в столовую, где заседала «коллегия», с таким чувством, точно испанская инквизиция будет меня судить. Дело обошлось — я написал письмо в редакцию о «досадном недоразумении». Бывали случаи и посерьезнее. Я помню, как поэт Н. А. Бруни, очень милый застенчивый мальчик, вышел оттуда красный, как кумач, со слезами на глазах. Коллегия постановила исключить его за писание плохих стихов. Стихи действительно были очень плохи.

* * *

Чай допили, пепельница завалена окурками, в чинном кабинете беспорядок и дым. Гумилев встает: «Мне пора». Вслед

за ним поднимаются все остальные. Гурьбой идут по лестнице, гурьбой подходят к «ручке» Ахматовой. Уже застегивая полость саней, Гумилев бросает: «Жоржик, я жду тебя завтра. Осип, не забудь принести мне моего Верлена. До свиданья, господа». «Господа» идут по пустой набережной, засыпанной снегом, тускло освещенной газом. Заветный номер «Гиперборея» в кармане. Что-то скажут там о моих новых стихах?

II

«Античные глупости», «Транхопс», «Жора» — так назывались эти стихи. Они сочинялись, вернее, импровизировались повсюду — в «Бродячей собаке», на извозчике, в редакции, после революции — в Доме литераторов или во «Всемирной литературе»[13]. Это не пародии, по крайней мере — лучшие из них. Эпиграммы? — Иногда. Чаще же всего это «несерьезные стихи, написанные вполне серьезно». В этом их очарование и превосходство над профессиональной юмористикой. Покойный Н. Гумилев чрезвычайно ценил этот жанр, даже переоценивал, пожалуй. Так, незадолго до смерти он серьезно уверял одного своего друга, автора прославившейся в те дни (на неделю, разумеется) баллады, что охотно отдал бы все им до сих пор написанное — от «Романтических цветов» до «Костра» — за дар «Транхопса». Н. С. Гумилев этого дара не имел. Писали другие. Н. С. же был главным критиком и знатоком этих oeuvre'ов[14], повторяю — даже пристрастным. Достаточно сказать, что сравнения с такими мэтрами острословия, как Козьма Прутков и Теодор де Банвиль, неизменно делались им в пользу наших «Античных глупостей».

Настоящий очерк есть маленькая антология того, что осталось в моей памяти. Никто этого не записывал, тем более не печатал, и многое погибло. Из того, что осталось, не все, к сожалению, сохранит для широкого читателя первоначальные соль и смысл. Где можно, я даю краткие пояснения. Авторами

---

[13] *Основанное М. Горьким издательство, где работали и кормились все петербургские писатели в голодные 1918–1920 годы.*

[14] произведений (*фр.*).

печатаемых ниже стихов, часто коллективными, являются М. Л. Лозинский, О. Э. Мандельштам, пишущий эти строки, реже Вл. Пяст, В. Зоргенфрей и В. Шилейко[15].

1
Античные глупости

Наиболее прославленные, из стихов этого рода, по заданию должны были соединять классическую простоту формы с истинно античной просветленно-глубокомысленной глупостью.

Лесбия, где ты была? — Я лежала в объятьях Морфея.
— Женщина! Ты солгала: в них я покоился сам.

* * *

Ветер с окрестных дерев срывает желтые листья.
Лесбия, о погляди — фиговых сколько листов!

* * *

Катится по небу Феб в своей золотой колеснице —
Той же стезей ввечеру он возвратится назад.

На М. Л. Лозинского:

Буйных гостей голоса покрывают шумящие краны.
Ванну, хозяин, прими, но принимай и гостей.

* * *

Сын Леонида был скуп. Говорил он, гостей угощая:
«Скифам любезно вино, мне же любезны друзья».

На В. К. Шилейко:

Путник, откуда идешь? — Я был в гостях у Шилейки.
Дивно живет человек. Смотришь — не веришь очам:
В бархатном кресле сидит. За обедом кушает гуся.
Кнопки коснется рукой — сам зажигается свет.
Если такие живут на Четвертой Рождественской люди,
Путник, молю, объясни — кто же живет на Восьмой?

---

[15] *Шилейко В. К. — поэт, профессор археологии.*

2

Стихи Мандельштама, написанные о самом себе. Здесь в несколько приподнятом стиле описываются семейные неприятности поэта. К сожалению, помню только отрывок:

В девятьсот двенадцатом, как яблоко, румян,
Был канонизирован святой Мустамиан[16]
И к неувядаемым блаженствам приобщен
Тот, кто от чудовищных родителей рожден.
Серебро закладывал, одежды продавал,
Тысячу динариев менялам задолжал.
Гонят люди палками того, кто наг и нищ.
Охраняют граждане добро своих жилищ.

3

Надпись к портрету художника Натана Альтмана. Читается с немецким акцентом.

Эт-то есть художник Альтман.
Отшень старый шеловек.
По-немецки значит Альтман
Отшень старый шеловек.
Он художник старой школы,
Целый свой трудился век —
Оттого он невеселый,
Отшень старый шеловек.

4

«Жора». Особый род стихов, изобретенный В. Шилейко. В каждой строке должно быть сочетание слогов «жо-ра». Остальное — по вкусу автора. Желавшие написать «жору» должны были испрашивать у Шилейко разрешение, даваемое с разбором. Так, у меня Шилейко потребовал письменного согласия родителей. «Но мой отец умер». — «Это меня не касается», — ответил изобретатель «жоры» — и не разрешил.

[16] *От Мустамяк в Финляндии, где описываемые события происходили.*

«Жор» было написано много. Вот образчики:

Обжора вор арбуз украл
Из сундука тамбур-мажора.
«Обжора, — закричал капрал, —
Ужо расправа будет скоро...»

Другая, помню, начиналась так:

Свежо рано утром. Проснулся я наг.
Уж орангутанг завозился в передней...

5

Покойному Н. И. Кульбину, действительному статскому советнику, мистику и дилетанту-футуристу, из ресторана «Вена» была отправлена с посыльным записка:

В мистических кругах известно всем,
Что лучшая из цифр есть цифра семь!

Ответ Кульбина гласил:

Известно мистику и должно знать поэту,
Что лучше тройки цифры нету.

К письму была приложена трехрублевка.

6

Период революционный, 1919–1921 гг. Альбом Розы. Роза — старая толстая еврейка, неизвестно как и с чьего разрешения появившаяся во «Всемирной литературе» и продававшая сотрудникам в кредит съестное, табак и пр. Вся ее сила была в кредите — товары были ужасные, цены мародерские. Сидела она, окруженная своими товарами, напротив кассы, так что получающий деньги ускользнуть от нее никак не мог.

На что нам былая свобода,
На что нам Берлин и Париж,
Когда ты направо от входа
Насупротив кассы сидишь, —

писал В. Зоргенфрей. Эта Роза по собственному почину завела альбом и всех своих клиентов заставляла ей что-нибудь написать.

«Что вы думаете, через сто лет мой альбом будет стоить агромадные деньги», — говорила она. Роза была требовательна, любила мадригалы галантного стиля, вроде этого:

Печален мир. Все суета и проза.
Лишь женщины нас тешат да цветы.
Но двух чудес соединенье ты:
Ты женщина! Ты роза!

Мандельштам, самый безнадежный из ее должников, осмелился ей написать:

Не сожалей, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч:
Помни, что двадцать одну мог я тебе задолжать.

7

Какой-то комиссариат или комитет выпустил афишки популярно-научно-атеистического содержания. Картинка, под ней стишки — и то и другое очень глупое. Это вызвало подражание:

Видел каждый человек
Солнце, звезды, воду, снег.
Но не каждый понимает,
Что все это означает.
Например: и в час грозы,
И в тихую погоду
Разнообразные газы
Образуют воду.
Блещет так, что дрожь берет,
Камень драгоценный,
Между прочим, углерод
Он обыкновенный.
Человек и перья птиц,
Водка и карета —
Из одинаковых частиц
Состоит все это.
Хоть всего не описать,
Да и не нужно много,
Чтоб научно отрицать
Существованье Бога.

8

Издательство «Петрополис» издавало наши книги с изяществом, редким не только для революционного, но и для обычного времени. Черная неблагодарность сотрудников к заботам о внешности их книг, проявляемым главой издательства Я. Н. Блохом, выразилась в посвященной ему балладе:

На Надеждинской жил один
Издатель стихов,
Назывался он господин Блох.
Всем хорош был... Лишь одним он был
Плох.
Фронтисписы слишком полюбил
Блох.
Фронтиспис его и погубил.
Ох!
Труден издателя путь, и тяжел, и суров, и тернист,
А тут еще марка, ex-libris, шмуцтитул, и титул, и титульный лист.
Книгу за книгою Блох отправляет в печать —
Издал с десяток и начал смертельно скучать.
Добужинский, Чехонин не радуют взора его,
На Митрохина смотрит, а сердце, как камень, мертво.
И шепнул ему дьявол однажды, когда он ложился в постель:
«Яков Ноевич, есть еще Врубель, Бирдслей, Рафаэль».
Всю ночь Блох фронтисписы жег,
Всю ночь Блох ex-libris'ы рвал,
Очень поздно лег,
С петухами встал.
Он записки пишет, звонит в телефон,
На обед приглашает поэтов он.
И когда собрались за поэтом поэт,
И когда принялись они за обед,
Поднял Блох руку одну[17],
Нож вонзил в бок Кузмину.
Дал Мандельштаму яду стакан,
Выпил тот и упал на диван.
Дорого продал жизнь Гумилев,
Умер, не пикнув, Жорж Иванов.

---

[17] *«Поднимает лошадь одну ногу» (И. Одоевцева).*

И когда покончил со всеми Блох,
Из груди его вырвался радостный вздох,
Он сказал: «Я исполнил задачу свою:
Отделенье издательства будет в раю —
Там Врубель, Ватто, Рафаэль, Леонардо, Бирдслей,
Никто не посмеет соперничать с фирмой моей».

Это и есть баллада, так пленившая покойного Н. Гумилева.

III

1

Гумилев ушел осенью 1914 года добровольцем на войну. Сначала вольноопределяющимся лейб-гвардии уланского полка, потом офицером александрийского (гусары смерти); он всю кампанию до Февральской революции пробыл на фронте.

Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
И святой Георгий тронул дважды
Пулею нетронутую грудь.

Это биографически точно. Гумилев участвовал во многих боях, заработал два георгиевских (солдатских) креста и ни разу не был ранен: «Кому суждено...»

Два-три раза за это время Гумилев приезжал ненадолго в Петербург в отпуск. В последний свой приезд — в конце 1916 — начале 1917 года — он казался грустным: шел третий год войны, она стала затяжной и обыденной. На смену романтике кавалерийских атак пришло сидение без конца во вшивых окопах. Гумилеву стало скучно. Тут произошла революция, подвернулся удачный случай, и Гумилев уехал в командировку в Салоники.

Но до Салоник он не доехал: октябрь 1917 года застал его в Париже. За границей Гумилев прожил больше года, сперва в Париже, потом в Лондоне. «Демобилизованный» событиями, он с жаром принялся за стихи. Тут была написана целиком большая драматическая поэма «Отравленная туника» и очень много стихов. Весной 1918 года Гумилев собрался в Россию. Он так рассказывал о своем отъезде: «Нас было несколько человек

русских офицеров, застрявших случайно в Лондоне. Однажды, собравшись в кафе, мы как-то сразу и все вместе решили, что делать нам здесь больше нечего, надо уезжать. Стали решать куда. Одни говорили в Африку — стрелять львов, другие — продолжать войну в иностранных войсках. «А вы, Гумилев, куда?» Поэт ответил: «Я повоевал достаточно и в Африке был уже три раза, а вот большевиков никогда не видел. Я еду в Россию, — не думаю, чтобы это оказалось опасней охоты на львов».

Увы, это оказалось опасней!..

2

Летом 1918 года Гумилев уже был в Петербурге. Он приехал с двумя фунтами стерлингов в кармане. Имение его было конфисковано. Дом в Царском Селе заселен. Но он не растерялся, как не терялся никогда.

«Теперь меня должна кормить поэзия», — сказал он мне в одну из наших первых встреч в те дни. Я улыбнулся его самонадеянности: поэзия и во времена более благополучные была плохой «кормилицей». «Может быть, и должна, — сказал я, — только вряд ли она тебя прокормит».

Гумилев стал хлопотать. Он добился кредита в какой-то типографии, напечатал свои новые книги — «Костер», «Фарфоровый павильон», переиздал старые — «Романтические цветы», «Колчан», «Чужое небо», и через месяц, встретив меня, он сказал, самодовольно улыбаясь:

— Вот видишь, я живу с молодой женой (он только что женился на А. Н. Энгельгардт), вожу ее в балет, покупаю ей пирожные (высшая роскошь в те дни) и икру, и все это — на доходы с моих книг.

Я его поздравил, но, конечно, все это, т. е. пирожные и икра, долго не продолжалось: деньги кончились, издавать дальше было нечего.

3

Осенью 1918 года М. Горьким и А. Тихоновым было основано на казенный счет издательство «Всемирная литература». О издательстве этом стоит поговорить отдельно и подробно.

Его значение очень велико — и тем, что добрая сотня русских писателей спасена им от голодной смерти (академические пайки появились много позже, года через полтора), и благодаря ряду превосходных переводов, им изданных или приготовленных к печати. Техника перевода, в частности стихотворного, была поднята «Всемирной литературой» на небывалую у нас до сих пор высоту. Например, из переводов известного брокгаузовского издания Байрона, считавшегося еще недавно классическим, в издании «Всемирной литературы» было оставлено много если четверть — остальное признано неудовлетворительным и переведено заново. Эта работа пришлась очень по душе Гумилеву. Он стал редактором отделов французской и английской поэзии и без устали редактировал и переводил.

Вскоре при «Всемирной литературе» образовалась студия переводчиков. Руководил ею, разумеется, Гумилев. Слушатели ее, все начинающие поэты, естественно, вскоре перешли от переводов на стихи свои собственные. Несколько раз в течение 1918–1921 гг. эта студия распадалась и вновь организовывалась. Чуждые элементы отходили, зато крепло основное ядро. Это были люди молодые, восторженные, очень преданные поэзии, но особенно даровитых среди них не было. Я сказал как-то Гумилеву об этом. Он ответил:

— Что же, если я их не сделаю поэтами, я, во всяком случае, научу их быть хорошими читателями наших стихов.

Пожалуй, он был прав. До сих пор собрания «Звучащей раковины» — так называется кружок бывших студентов Гумилева — одно из наиболее приятных и культурных мест литературного Петербурга.

4

Гумилев прожил все эти годы (только за месяц до смерти он переехал в Дом искусств) в д. ном. 5 по Преображенской улице, в квартире его друзей Ш., куда-то бежавших. Квартира была довольно трепаная и старая, обставленная чем попало, но Н. С. ее очень любил. Свое холостое хозяйство (Анна Николаевна с ребенком жила в деревне) он вел весело и самоуверенно. Он любил приглашать к себе кого-нибудь из друзей обедать

и с церемонной любезностью потчевал его пшенной кашей и жареной селедкой. Если обедала дама, Гумилев обязательно облачался во фрак и белый жилет и беседовал по-французски. Я помню много таких вечеров. Я часто оставался на Преображенской ночевать, иногда оставался еще кто-нибудь из общих друзей. У печки в передней, превращенной в маленький кабинетик, мы далеко за полночь читали стихи, спорили, говорили о своих любовных делах. Гумилев был всегда влюблен. Он серьезно не понимал, как может быть иначе. Поэту быть влюбленным еще важнее, чем путешествовать, говорил он.

5

В один из таких вечеров с нами сидел Мандельштам, два года пропадавший в занятом белыми Крыму и неожиданно появившийся в Петербурге как ни в чем не бывало. Он читал новые чудесные стихи, потом вошедшие в «Tristia», и рассказывал свои приключения у белых, где его арестовали за коммунизм (он действительно участвовал в каком-то коммунистическом съезде, происходившем для конспирации... на пляже во время купания) и чуть не расстреляли. Однако смилостивились и отправили в Грузию. В Грузии его в свою очередь хотели расстрелять уже безо всякой вины. Какие-то грузинские поэты его спасли и

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем.

Мы трое, разбросанные было в разные углы Европы, снова сидели вместе у огня и читали друг другу стихи, точно в Царском в дни первого «Цеха».

Мандельштам, напуганный своими недавними арестами, очень волновался, как ему легализироваться, т. е. достать советский паспорт — труд<овую> книжку.

— Тебе надо представить в совдеп какое-нибудь Удостоверение личности. Есть ли оно у тебя?

— Есть, есть, — радостно закивал Мандельштам и вытащил из кармана смятое и порванное свидетельство на право жительства в Севастополе, выданное каким-то штабом или градоначальством... генерала Врангеля.

6

Гумилев часто говорил мне, что вполне доволен своей нынешней судьбой и не согласился бы отдать свою студию и редакционную коллегию «Всемирной литературы» в обмен на прежнюю обеспеченность. Но с деньгами у него часто бывало очень туго, несмотря на «академический паек» и гонорары. На руках его, в Бежецке Тверской губ<ернии>, была жена, двое детей, мать и еще какая-то старая тетка. Иногда он ненадолго уезжал к ним и рассказывал потом забавные истории своих путешествий. Например, однажды в теплушке он встретил бывшего конюха из своего имения. Пришел контролер, и знакомый Гумилева оказался безбилетным. Сейчас же нагрянули разные власти составлять протокол и арестовывать «зайца». Это была для пойманного нешуточная неприятность, грозившая месяцем, а то и двумя принудительных работ. Гумилев его спас. Он не допускающим возражений тоном (как только он один умел) обратился к начальству:

— Освободите этого человека, я *председатель*, за него ручаюсь.

И с важным видом показал «мандат», удостоверяющий, что податель сего является... председателем петербургского Союза поэтов. И что же — подействовало. Власти почтительно повертели бумажку и отпустили конюха.

7

Петербургский Союз поэтов был основан в 1920 году, значительно позже, чем московский и многие провинциальные. Сама идея «профессионального союза поэтов», конечно, довольно праздная. Поэтов слишком мало, чтобы организовать их в союз, и какие у них «профессиональные» интересы? Но кто-то этой идеей увлекся, стал хлопотать, было собрано, как водится, общее собрание, выбран президиум во главе с А. Блоком, и петербургский Союз стал существовать. Первое его выступление было крайне неудачным и художественно и материально — вечер Сергея Городецкого в городской Думе, на который пришло десять человек.

Первый состав президиума держался недолго; вместо Блока председателем стал Гумилев. Блок правил «конституционно»,

Гумилев стал править «диктаторски». В поэтических делах последнее оказалось вернее — Гумилев остался председателем до самой своей смерти.

Как и во все, чем он занимался, Гумилев внес энергию и настойчивость даже в эту «литературную канцелярию». Он организовал ряд вечеров, нашел и получил большое помещение, открыл в нем клуб (Дом поэтов), действовавший очень оживленно. Там (нэп еще едва начинался) мы устроили нечто вроде «Бродячей собаки» былых времен, собирались три раза в неделю, читали стихи, танцевали, разыгрывали пьесы, тут же сочиненные. Помню одну из них: действие происходит в Фиуме. К Габриэлю д'Аннунцио (Гумилеву) приводят сербского офицера, главу заговора против фиумского диктатора. Д'Аннунцио велит его расстрелять. Но офицер оказывается сыном Элеоноры Дузе. Д'Аннунцио потрясен — как быть?.. Не помню уже конца, должно быть, он был такой же вздорный, как и начало, но и зрители и актеры были очень довольны. К тому же разыгрывалась она «кинематографически», и оператор, он же конферансье, часто менял темп картины, переходя от медленного к очень быстрому. Во время одного из таких переходов д'Аннунцио свалился вместе со своим пышным троном в публику и порядочно расшибся.

8

Гумилев лелеял очень много замыслов. Каждый из них требовал нескольких лет работы, но его ли это могло смутить? Он хотел написать «L'art poetique»[18] и рассчитывал, что это будет 5 томов по 300 страниц каждый, писал поэму «Дракон». Темой ее были баснословные времена, участниками — драконы и первобытные жрецы. Она тоже должна была составить не то два, не то три тома.

— Но это будет очень скучно, — сказал я как-то Гумилеву.

— Вероятно.

— Но тогда твоей поэмы никто не прочтет.

---

[18] «Искусство поэзии» (*фр.*).

— Что ж такого, зато когда-нибудь ее заставят зубрить гимназистов.

Гумилева еще очень тянуло писать прозу. Проза ему плохо удавалась. Он сам это понимал, но, цитируя строфу Теофиля Готье в собственном переводе:

Чеканить, гнуть, бороться,
И зыбкий сон мечты
Вольется
В бессмертные черты, —

он надеялся «добиться своего» и от прозы.

Совсем незадолго до смерти Гумилева я рассказал ему историю, где-то мною прочитанную, о шхуне, вышедшей из какого-то американского порта и найденной потом в открытом море. Все было в порядке, спасательные лодки на месте, в столовой стоял сервированный завтрак, вязанье жены капитана лежало на ручке кресла, но весь экипаж и пассажиры пропали неизвестно куда. Гумилева очень пленила эта тема, он хотел писать на нее роман и придумал несколько вариантов, очень любопытных.

9

Было начало августа, была теплая светлая ночь. Мы шли из Дома поэтов с Литейного мимо Летнего сада и Марсова поля домой. Я жил на Почтамтской, Гумилев — на Мойке в Доме искусств. Гумилев был очень весел: только что была решена постановка его поэмы в стихах «Гондла» — что очень его радовало. У ворот Дома искусств мы поцеловались, как обычно. «До завтра». Но ни завтра, ни никогда мы не увиделись больше. На другой день вечером я заходил к Гумилеву, но его не было дома, а наутро меня разбудил телефонный звонок. Гумилев арестован.

Последняя весть от него была открытка, полученная за два дня до смерти: «Не беспокойтесь обо мне. Я чувствую себя хорошо, играю в шахматы и пишу стихи. Пришлите табаку и одеяла...»

IV

Петербургские редакции делились на две неравные части: журналы толстые, «идейные» и другие, более легковесные

и по содержанию и по объему. О первых рассказать почти нечего. Солидная скука очередного номера «Вестника Европы» или «Современного мира» царила и в редакционных помещениях. Большая пропыленная унылая квартира, бородатые сотрудники в очках, жидкий чай с лимоном и в редакционном кабинете — «известный критик и публицист».

Каждая редакция такого рода была в мнении их руководителей храмом, оплотом и т. п. В одном священнодействовал Иванов-Разумник, в другом — Львов-Рогачевский, в третьем — Овсянико-Куликовский. Между собой редакции глухо враждовали и на сотрудников, печатавшихся и там и там, смотрели косо.

Другое дело были редакции прочие. Здесь было бесконечное разнообразие особей и видов, нравов и вкусов. И конечно, очень много забавного.

* * *

Шебуев, прославившийся своим «Пулеметом», где на последней странице был воспроизведен октябрьский манифест с отпечатком кровавой руки («свиты Его Величества генерал-майор Трепов руку приложил»), отсидев в тюрьме сколько полагалось,— почувствовал себя эстетом. Это было и спокойней и более соответствовало вкусам публики — политика надоела. Но как соединить служение чистому искусству с бездефицитностью? Шебуев придумал. Он открыл «Весну».

«Весна» был журнал страниц в 16, формата большой газеты, сложенной наполовину. На обложке была марка — голая дама, опутанная лилиями и девизами об исканиях и красоте. Формат журнала, повторяем, был очень большой. Шрифт, напротив, самый убористый и мелкий. И сплошными столбцами шли стихи, стихи и стихи, напечатанные тесно, как объявления о кухарках. Были и рисунки и рассказы, конечно, но их подавляли стихи без счету.

Несколько десятков авторов в номере, несколько сот стихотворений.

Идея, пришедшая Шебуеву, была не лишена остроумия — объединить графоманов. Из тысяч «непризнанных талантов»,

во все времена осаждающих редакции, Шебуев без труда выбирал стихи, которые можно было печатать без особого позора. Естественно, журнал «пошел». Поэты, которых он печатал, подписывались на журнал, распространяли его и раскупали десятки номеров «про запас». Другие, менее счастливые, тоже подписывались, не теряя надежды быть напечатанными, по «исправлении погрешностей размера и рифмы», как им советовал «Почтовый ящик «Весны». Самые неопытные и робкие, не мечтающие еще о «самостоятельном выступлении» — таких тоже было много, — раскупали «Весну» в свою очередь. Для них главный интерес сосредотачивался на отделе «Как писать стихи». Вел его, попятно, сам Шебуев. Под его руководством восторженные и терпеливые ученики перелагали «Чуден Днепр при тихой погоде...» последовательно в ямб, хорей, дактиль, потом в рондо, газеллу, сонет. Все это печаталось, обсуждалось, премировалось, и число «наших друзей-подписчиков» неуклонно росло. Анкеты «Весны» о «Наготе в искусстве» и т. п. тоже привлекали многих. Набор и скверная бумага стоили недорого, гонорара, конечно, никому не полагалось.

Но вряд ли Шебуевым руководил денежный расчет. Я думаю, он ничуть не притворялся, изливаясь на страницах «Весны», как дорога ему пестрая аудитория его «весенних» (так он их звал) поэтов и художников. Стоило поглядеть на его фигуру в рыжем пальто и цилиндре, на его квартиру, полную ужасных «Nu»[19] и японских жардиньерок, прочесть какую-нибудь его «поэму в прозе» или выслушать из его уст очередную сентенцию о «красоте порока», чтобы понять, что в этом море пошлости и графомании он не самозванец, а законный суверен.

* * *

«Нива». Сотни тысяч подписчиков во всех углах России. Самый популярный из журналов. В каком имении средней руки не висела в гостиной «роскошная олеография в 24 краски» — бесплатное приложение к «Ниве» — «Бабушка с внучкой»

---

[19] «Обнаженная натура» (*фр.*).

или «Замок в Шотландии»? В чьей библиотеке не было Тургенева или Достоевского, потом, когда «хорошие писатели» все вышли, Вересаева или Л. Андреева тоже в «роскошных коленкоровых переплетах». Недаром в России издается «Красная Нива». Госиздат «правильно учел» вес этого имени в уме русского обывателя. «Нива» звучало гордо. Влияние ее, и прекрасное и дурное, было очень велико. Вместе с Тургеневым и Достоевским насаждалась «История русской литературы» Полевого, где почтительным внуком было отведено братьям Полевым («Нет глупее до Алтая Полевого Николая и подлее нет от Понта Полевого Ксенофонта») столько же места, сколько Гоголю и Пушкину. Насаждались «роскошные олеографии» и коленкоровые крышки, и редактор «Старых годов» Вейнер рассказывал, что даже им получались требования о коленкоровых переплетах (для «Старых годов»!..).

Глубокое почтение к «Ниве» было даже в сравнительно культурных кругах. Мой б<ывший> корпусный воспитатель Жерве, видный военный писатель, помню, спрашивал меня, говоря о моих литературных занятиях: «Нет, что “Аполлон”. Но скажи, как ты решился первый раз пойти в “Ниву”? Как решился!»

И смешно, до чего нехитер был механизм этой машины. Во главе стояли люди, не имевшие к литературе ни вкуса, ни интереса. Сначала Светлов, известный «знаток» балета. Потом некто Эйзен, очень корректный и благовоспитанный господин, но искусству вполне посторонний. Писатели писали рассказы и стихи и носили в «Ниву». Что брали, что возвращали, по вдохновению. Материала всегда было слишком много — «Нива» в нем не нуждалась. Одних рождественских рассказов Потапенки, как рассказывал мне секретарь «Нивы», было в «портфеле редакции» на двенадцать лет вперед!

Этот секретарь — Марков, господин Марков, как его все звали, милейшее и кротчайшее существо, — был занят изо дня в день кропотливым механическим трудом. Он часами сидел над рукописями, присланными в редакцию, не читая их (где там читать!), а лишь выписывая адрес и традиционное: «М. Г., присланная Вами рукопись, к сожалению, не подошла».

В 1912 году Ахматову, только что прославившуюся, кто-то из заправил «Нивы» очень просил дать стихи. Ахматова немного поломалась: «У меня сейчас ничего нет, я вам пришлю». И действительно, скоро прислала. Месяц спустя она получила от г-на Маркова свои стихи с запиской: «М. Г. К сожалению...» Марков был не виноват — он делал свое дело. Об Ахматовой его не предупредили.

Однажды в «Ниве» решились на реформы: расширить и обновить отдел рецензий и уничтожить знаменитые «Объяснения к рисункам»: «Голуби (стр. 127). Кто из нас не любит голубей? Талантливый художник Фукс изобразил этих милых птиц, когда они...»

Но реформы публике не понравились. В письмах читателей пошли жалобы и на отсутствие объяснений, и на то, что новые рецензенты (Гумилев, Кузмин, Зноско-Боровский) пишут непонятное и о непонятном. Не помню, были ли восстановлены объяснения, но модернистов сократили, и в отделе критики снова воцарились вечные, как сама «Нива», А. Никонов и Б. Тихонов, не мучившие читателей Мейерхольдом и Гюисмансом.

В последние годы «Ниву» купил Сытин, и общий надзор за ней перешел в культурные руки. Увы, ненадолго.

* * *

Когда в 1914 году весной М. Суворин открыл «Лукоморье», по литературным кругам пошел глухой «ропот»: Суворин хочет купить русскую литературу. К волнению тех, кто особенно «благородно негодовал», явно примешался вопрос: «А если купил, то купит ли меня?»

Удался ли Суворину его «адский план»? Если он состоял в том, чтобы привлечь в свой журнал многих известных писателей и художников, печатать их вещи и платить хорошие гонорары, то да, удался. Сологуб, Кузмин, Городецкий, Судейкин, Нарбут, Чехонин — «все были там». Кое-кого и не было, конечно, напр<имер> Блока. За отказавшимися редакция особенно не гонялась. Тех, кто согласился, обставили материально очень хорошо и «идейно» не притесняли.

В последнем, впрочем, не было и надобности: началась война и все, «объединившись», стали писать только о ней.

Сам Суворин почти не мешался в дела журнала. Всем заправлял М. Бялковский, человек, неизвестно откуда взявшийся, южный, бойкий, мягкий в обращении, никогда не отказывавший в авансах. Помещалось «Лукоморье» в знаменитом доме на Эртелевом. Редакционное помещение было очень роскошным, обычаи тоже. К чаю, не в пример прочим редакциям, подавались птифуры от Берена.

Это роскошное помещение соединялось непосредственно с уже совершенно дворцовыми апартаментами «Нового времени». Там были какие-то огромные залы, кабинеты, статуи, вазы, штофные обои. Иногда из этих недр показывался какой-нибудь плюгавый старичок и медленно проплывал по коврам дальше.

Атмосфера чаев с птифурами почтительного редактора, вынимавшего по первому слову чековую книжку, штофных обоев и бюро красного дерева действовала на творчество крайне благоприятно. Я говорю на творчество, не вступая в его оценку. Качество его было... военного времени. Были и шедевры в обратном смысле. Стихи Городецкого, такие патриотические, что даже «Лукоморье» смеялось. Или огромный роман Сологуба «Острие меча», где повествовалось о трех генеральских дочерях-невестах. Жених одной — прекрасный француз, другой — джентльмен-англичанин, третьей — немец, исчадие ада. Союзные женихи совершают чудеса доблести и благородства, немец насилует детей, взрывает Реймский собор и «коварно» убивает в бою жениха-француза. Попутно три сестры ходят босыми ногами по предутренней росе и «видят вещие сны».

Если Сологуб «такое» писал, можно ли осуждать Бялковского, что он печатал это на лучшей бумаге и оплачивал полноценными царскими сторублевками!

Были и еще разные курьезы. Полное собрание сочинений Юрия Слезкина, отпечатанное в «Сириусе»[20] с необыкновенной роскошью, с гербами рода Слезкиных на обложке. Была марка

---

[20] *Лучшие петербургские типографии, где печатались только очень дорогие художественные издания.*

издательства, изображавшая безобразную кошку («У лукоморья дуб зеленый...») на цепи около пня. Кошку эту нарисовал Бакст за баснословный гонорар...

Нововременские сотрудники из второстепенных (киты «Лукоморьем» явно гнушались) не особенно любезно — как это ни странно — принимались редакцией.

Их стыдились... как купчик-эстет стыдится папеньки, на деньги которого он меценатствует. Бялковскому, после Сологуба и Кузмина и (особенно) Александра Рославлева, претили Леонид Афанасьев или Бурнакин. Между сторонами было взаимное непонимание. «Что вы мне говорите, что у меня стих хромает, — горячился какой-то нововременский поэт, — меня писать стихи сам Тыгинкин [21] учил!» Бялковский презрительно улыбался. Для него Тыгинкин перестал быть авторитетом!

После Февральской революции и «Лукоморье» попробовало перекраситься из защитного в революционный. Но природа взяла свое, да и денег стало заметно меньше. Журнал стал чахнуть.

* * *

Не один Суворин пытался «купить русскую литературу». В 1916 году эта же идея, говорят, пришла Протопопову: была основана «Русская воля».

Был ли Протопопов действительно пайщиком «Русской воли», я не знаю. Говорят, нет дыму без огня. Какой-то «дым», вернее, туман вокруг этой газеты был. Слишком уж была она гордо-оппозиционной, слишком американский был у нее размах. Слишком... Все было в ней немного слишком.

Однажды мне позвонил по телефону В. Брусянин, беллетрист средней руки. «Мне нужно с вами поговорить по делу». Я удивился, какое дело — Брусянина я почти не знал. Оказалось, насчет участия в «Русской воле».

---

[21] *Тыгинкин — редактор «Иллюстрированного приложения» к «Новому времени».*

Следующий разговор был уже в редакции, с Леонидом Андреевым, заведовавшим литературным отделом. Знаменитого автора «Анфисы» и «Красного смеха» я увидел впервые.

В его внешности, в аффектации его речи, трагических складках на лбу было что-то от монмартрских (не монпарнасских) художников. Тех, которые в бархатных куртках и беретах сидят в ночных кабачках, толкуя о своих великих замыслах. Слишком вдохновенный вид, слишком скорбные очи. И внешность и имя Леонида Андреева чрезвычайно подходили ко всему «антуражу» газеты. В огромном кабинете, под огромным абажуром, меланхолически дымя папиросой, он долго и витиевато говорил со мной о современности и войне, о вечности и Боге. Я выждал паузы и спросил о гонораре. Он сделал широкий и презрительный жест рукой: «Назначьте сами — это безразлично».

За мое недолгое сотрудничество в «Русской воле» (до революции 1917 года, когда газетам стало не до литературы) я несколько раз виделся с Андреевым, обедал у него, вел долгие разговоры. Он выигрывал при знакомстве более близком. Это был затравленный и робкий человек, скрывавший свою сущность за эффектной маской «великого писателя». Он понимал свое ложное положение в «большой литературе», понимал, кажется, и невозможность изменить его. Больше всего Андреева раздражало, что его «не пускают» в замкнутый круг писателей-модернистов, к которому его чрезвычайно тянуло. «Но ведь я ваш, я с вами. Я в прозе делал то же, что Брюсов с Бальмонтом в поэзии!» Что можно было ему на это ответить!

Помню один разговор. Андреев попросил меня написать о Надсоне к какому-то юбилею. Я сказал, что не могу. Сочувственно ничего не скажешь, то, что я о Надсоне думаю, говорить неуместно. Андреев очень взволновался. «Нет, нет, это партийная узость! Надсон — поэт, не может не быть поэтом, раз сотни тысяч русской молодежи плакали и плачут над его стихами». Он очень волновался, очень горячился, явно защищая (может быть, бессознательно) в Надсоне самого себя. Ведь и над ним тоже плакала та же русская молодежь...

И в редакционном кабинете, и в квартире все у Андреева было грандиозное, как его писание, как его фигура. Гигантские

кресла и шкафы, гигантский письменный стол, гигантские панно на стенах. Эти панно, кстати, были воспроизведены в «Огоньке» с пояснением, что «наш знаменитый писатель в то же время и недурной художник. Печатаемые нами картины его кисти, уступающей, конечно, его гениальному перу, отлично иллюстрируют его литературные замыслы...» Картины были копиями Гойи.

* * *

Я сейчас упомянул «Огонек». Говоря о петербургских редакциях, невозможно пройти мимо этого «художественно-литературного журнала».

На Галерной номер 40 были расположены мрачные и унылые на вид владения С. А. Проппера — типография, две «Биржевые», утренняя и вечерняя, и «Огонек».

Особого помещения у «Огонька» не было. Редакция приткалась то там, то тут в каких-нибудь двух комнатах. Потом эти комнаты надобились под что-нибудь другое, и «Огонек», т. е. два-три стула, писчая машинка и секретарь, маленький человек с трахомными веками и внушительной фамилией — Лев, перебирались в новое, тоже временное помещение. Внешностью, показным блеском в «Огоньке» не интересовались. К чему! Так американский миллиардер, презирая элегантность, носит три года подряд свой потертый серый пиджак.

В. А. Бонди, мозг «Огонька», его душа, он же не редактор, нет, диктатор «Вечерней биржевки», в редакции никогда не бывал. Если вы хотели видеть его, то вас вели по бесконечным коридорам и лестницам, через наборные и машинные отделения в маленькую комнату, скорее клетку. В ней был стол, заваленный макулатурой и рукописями, стул, на котором сидел сам Бонди, и стул для возможного посетителя. Третий стул уже не мог бы поместиться. Сходство с клеткой увеличивалось тем, что сбоку кресла редактора, в стене, было окошко — пол-аршина в квадрате. Иногда оно распахивалось, доносился рев и грохот ротационных машин, и волосатая рука, вся в типографской краске, сунув Бонди пачку гранок и схватив другую, исправленную, снова захлопывала дверцу.

В. А. Бонди прежде был гвардейским офицером. Не знаю, как пришла ему фантазия переменить саблю на перо. Первые опыты его были, кажется, не очень удачны: он издал книжку новелл, которых критика не оценила. Но став во главе «Огонька» и «Биржевой», я думаю, он не имел оснований жаловаться, что его литературная карьера не удалась.

Он был обходительный человек, хотя и суровый на вид. Когда сотрудник приносил ему рукопись, он говорил: «Ну, посмотрим, что вы нам наблагоухали». Если тот просил аванс, Бонди морщился очень свирепо, но по большей части давал. Повторяю, суровость его была напускная. В душе он был (могло ли быть иначе) лордом Генри.

Однажды я, войдя в его клетку, на вопрос: «Что вы нам наблагоухали?» — сказал, что пока ничего, и попросил денег. Бонди страшно нахмурил брови, молча написал синим карандашом на клочке бумаги: «В контору, выдать...» — протянул мне и вдруг, смерив меня глазами с головы до ног, таинственно спросил: «Гашиш любите?»

Я несколько растерялся. Но, не желая ударить лицом в грязь, ответил: «Очень».

Он самодовольно усмехнулся. — «Я это знал. Я физиономист. У вас есть складка, вот тут, около глаз — гашиш. Приходите ко мне завтра, мне прислали дивный. Я вчера курил. Что за красочные грезы — озера, пирамиды, пальмы... Рукопись-то когда пришлете?— прибавил он, возвращаясь от красочных грез к суровой жизни. — Авансы берете у нас, а рассказы носите в «Аргус».

Гашиш оказался толстыми папиросами с какой-то зеленовато-серой прослойкой внутри табака. «Красочных грез» я не испытал, но легкую тошноту — да. « Я ошибся, — сказал на это Бонди, — вам нужен не гашиш, а эфир, морфий. Вот эта складка у рта — морфий. Я физиономист». Должно быть, он придумал этот гашиш, чтобы похвастаться своей новой, только что отделанной квартирой. Квартира была действительно замечательная. Из кабинета, просто и со вкусом отделанного в виде избы с конусообразным потолком и с облицовкой из красного дерева, мы вышли в круглую залу. Посередине ее бил маленький фонтан, распространявший сильнейший запах «Садо-Якко». В спальной,

устланной шкурами, как раз над изголовьем кровати висела мраморная лампада, на глаз пуда в три весу. Она держалась на трех несоответственно тонких цепочках. «Фатум, — пояснил мне Бонди, — дамоклов меч. Каждую ночь она может размозжить мне череп. Что ж. Пусть. Я готов».

В зале с фонтаном из одеколона мы присели на нишу. «Хотите шампанского?» Не дожидаясь ответа, Бонди нажал кнопку в стене. Откинулась дверца, за ней — маленький ледник — шампанское, фрукты. «Впрочем, — он захлопнул дверцу, — здесь как-то неуютно — пересядем к камину». У камина опять: кнопка, дверца, шампанское.

За шампанское, гашиш и дамоклов меч была, конечно, и неизбежная расплата: радушный хозяин прочел мне несколько своих стилизованных новелл.

Уходя, я сделал непростительную «гафф». В конусообразном кабинете-избе я забыл поднесенный мне автором экземпляр этих новелл.

* * *

Всего не перечислить. Был еще «Аргус», с редактором-«американцем» В. Регининым, евшим в редакции какую-то особую кашу от запоя. Было изд-во Каспари, издававшее одновременно «Тайны венценосцев» и изящнейший журнал Философова. Был «Весь мир», где редакторша, баронесса Таубе, принимала, сидя в гробу, окруженная скелетами и чучелами змей. Теперь она в России издает что-то революционное и гордо называет себя «Красной баронессой...». Да,

> ...Все это было,
> И это никогда не повторится!..

V

Всем известно, что сбыт в широкой публике имели только книги или картины, этой публике нравившиеся. Вкусы ее тоже хорошо известны. Отсюда ясно, что всякое издание или художественное произведение «идейного» порядка, безразлично, «Аполлон» или выставка доморощенных кубистов, нуждались в меценате.

Меценаты различались друг от друга образованием, общественным положением, вкусами, наконец — самым существенным — средствами и щедростью, но у всех русских покровителей искусства, которых мне приходилось встречать, было что-то общее. Один давал двести тысяч на какой-нибудь «Театр исканий», другой ссужал трехрублевками пьяных поэтов, третий основывал издательство, чтобы печатать там самого себя рядом со знаменитостями. Но при всем различии их пристрастий и деятельности все они были братьями по духу: все они родились меценатами.

* * *

Купцы, съевшие на Нижегородской ярмарке ученую дуровскую свинью, стоившую десять тысяч, без сомнения, были меценатами в душе. Не их вина, что их стремление к прекрасному вылилось в такую грубую форму. Их сыновья, прогрессируя, начали коллекционировать футуристов. Покровители искусства из купцов главным образом, конечно, водились в Москве. Петербургские были лишь — «разыгранный Фрейшиц перстами кротких учениц». Это в Москве строились особняки во «всех стилях» («У нас на все стили хватит»), спали в «неестественной позе по Сомову» и ставили «Венецианских безумцев» Кузмина в кругу миллионеров. Роли распределялись по старшинству: главные — архимиллионерам или миллионерам, средние — обладателям скромного десятка миллионов. На долю просто миллионеров оставались роли конюхов и служанок.

Один чрезвычайно эстетический петербургский журнал приносил ежегодный дефицит, что-то очень много. Меценат, некто У., терпеливо покрывал убытки. Он был образцом корректности и терпения, в дела журнала не вмешивался. Если бы не его подпись на издательском месте, — никто бы и не знал о нем. Но на седьмом году существования журнала меценат неожиданно о себе напомнил. В редакцию пришел ультиматум — немедленно в ближайшей книжке журнала поместить портрет издателя работы... Сорина.

Журнал был изящнейшего направления и отменного вкуса. Помещать репродукцию картины Сорина было для него

так же ужасно, как светскому льву надеть при смокинге белый галстук. Бросились к меценату — уговаривать, предлагали ему заказать и поместить портрет работы какого-нибудь другого художника: Сомова, Б. Григорьева, Кустодиева. Но уговоры не помогли. Всегда мягкий, как воск, меценат проявил каменную твердость: или Сорин, или больше ни копейки. Портрет был помещен на вкладном листе, в красках, перед текстом, вылизанный, сладкий, с жеманно отставленными пухлыми пальчиками.

* * *

В 1913–1914 годах из богатого приволжского города приехал в Петербург И., молодой человек, наследник многих миллионов.

Он бредил стихами, музыкой, театром. По-французски говорил отлично, по-русски же несколько на *о*, хотя и грассируя. Вскоре он попал в «Бродячую собаку» и, естественно, через неделю был окружен десятком друзей и советчиков. Он покупал картины, давал деньги на издательства и просто в долг и устраивал блестящие ужины для членов основанного им клуба поклонников красоты, называвшегося «Голубая гвоздика». Члены клуба носили в петлице гвоздику, искусственно окрашенную в мутно-голубой цвет. Это казалось крайне изящным и стоило недорого — двугривенный штука. В одной из комнат квартиры И. был сооружен «алтарь красоты» — нечто вроде киота с портретами Уайльда, Шелли и Бальмонта. Перед киотом была лампада в виде лилового стеклянного ириса с электрической лампочкой внутри. После прекрасного ужина гости располагались в этом святилище на лиловых шелковых подушках, и хозяин читал им новую главу своего романа «Путь в Дамаск». Роман был написан ритмической прозой, и в нем проводилась параллель между душевными страданиями автора и какого-то римского патриция времен упадка, блистательного и несчастного. После чтения гости, выразив восхищение, по очереди отводили хозяина в сторону. Слышался шепот: «До пятницы, честное слово» — и ответный: «Пожалуйста, очень рад». Двадцатипятирублевки, мягко шурша, скользили из ладони в ладонь. Гости расходились. Хозяин удалялся в свой кабинет, устланный коврами и увешанный картинами, — работать над «Путем в Дамаск».

Помню конец привольной жизни этого поклонника красоты. Я присутствовал при этой катастрофе. Президент «Голубой гвоздики» давал обед, замечательный, как всегда. Было человек двадцать приглашенных, не менее изысканных, чем меню. Разговор велся по всем правилам уайльдовского красноречия. Уже допивали кофе. Хозяин, несколько раскрасневшийся (он вообще отличался прекрасным цветом лица, что его очень стесняло), томно играя золотым лорнетом, читал свои новые стихи:

Моя любовь так печальна,
Как кофе, который остыл...

И вдруг в сопровождении испуганного и шокированного лакея (недавно переманенного из какого-то очень хорошего дома) в столовую ввалился плотный маленький человек лет пятидесяти в куцем пиджаке. В руках он держал «ковровый» сак, такой, с какими купчихи любили ездить на богомолье. Его лицо, круглое и розовое, имело явное семейное сходство с председателем «Голубой гвоздики». Но, Боже, как вульгарно оно выглядело в этой ампирной столовой, среди шелков, цветов, хрусталя... Все застыли, недоумевая. Хозяин дома покраснел, как бурак.

«Славно, — с расстановкой сказал вошедший, садясь и озираясь. — Прекрасно, очень чудно! В Петербург учиться поехал! В консерваторию! (Он выговаривал «консельватория».) Хороша консерватория! Нам писали, мы не верили. Дармоедов (он окинул глазами эстетических гостей) разносолами кормить, а! Пять тыщ в месяц, и того мало! Тятька горбом копейки зашибал. В твои годы в Сибири зимой обозы сторожил, на кожах спал да по морде получал! Консерваторию завел! Нет, шалишь, брат...»

Через три дня наш меценат был увезен грозным дядюшкой в родной приволжский город. Через месяц, кажется, его женили. «Путь в Дамаск» остался неизданным.

* * *

Поэт М. был специалистом по основанию издательств, правда, эфемерных. Он был необыкновенно изобретателен в способах склонить какого-нибудь денежного человека на издание альманаха или журнала. На меценатов у него был нюх, как у гончей.

Познакомившись с кем-нибудь и найдя его «подходящим», М. принимался его обрабатывать. Иногда срывалось, но бывали и удачи. Тогда М. подымал вихрь заседаний, проектов обложки, типографских смет, авансов. Неважно было, если сборник, задуманный in folio[22] в 200 страниц, появлялся спустя много месяцев после назначенного срока в виде тощей маленькой книжки. На М. уже был новый «костюмчик» и новые «сапожки». Подкормившийся и приодевшийся, он искал нового мецената.

— Что же ваш журнал? — спросили его как-то. — Что-то о нем не слышно.

— Я разошелся с издателем.

— И он ничего не издал?

— Издал... вопль.

Однажды утром М. позвонил мне по телефону.

— Георгий Владимирович, простите за беспокойство. Не приедете ли вы сейчас к Альберу по литературному делу?

— Что с тобой? (Мы были уже лет пять на «ты», и вдруг Георгий Владимирович!) Что за чушь! Приезжай ко мне сам.

— К сожалению, я приехать к вам не могу. Со мной Фридрих Фридрихович, который хочет издавать...

Я не знал никакого Фридриха Фридриховича, но зато слишком хорошо знал М. — он поймал мецената.

У Альбера М. жадно поедал одно блюдо за другим. Напротив него сидел грустный человек с большим горбом. Он не завтракал, он пил «Нарзан».

— Вот и Георгий Иванов! — оживился, неестественно ласково на меня глядя, М. — Он может быть редактором.

Маленький седой горбун посмотрел на меня грустно и неодобрительно. Должно быть, мой вид не соответствовал его представлению о редакторе.

Дело было следующее. М. познакомился с этим Фридрихом Фридриховичем в пригородном поезде. Познакомился, определил как «подходящего» и, чтобы не терять времени, привез прямо к Альберу. Горбун был ликерным фабрикантом и писал

---

[22] как фолиант (*лат.*).

сонеты о драгоценных камнях. Он соглашался издать сборник, но желал солидного редактора.

— Да, — говорил он с сильным немецким акцентом, грустно глядя на нас. — Альманах очень хорошо, но я хочу редактора с большим именем. Ну Бальмонта, Сологуба...

Что было делать? Но М. нашелся.

— Сологуба? Бальмонта? Вы их хотите? Пожалуйста. Это нетрудно... Да что Сологуб! Я самого Димитрия Цензора берусь уговорить!

Имя Цензора вполне удовлетворило издателя. Через полчаса появился «сам» Цензор, очень заспанный. Дело устроилось.

Вышел еще маленький разговор насчет псевдонима мецената. Он осведомился, как будут печатать стихи — по алфавиту или нет. Ему сказали — по алфавиту. «Значит, кто будет первым, Ахматова?» — «Да, Ахматова». — «Ну так я выбираю себе псевдоним «Аврамов».

На Аврамова мы не согласились. Фридриху Фридриховичу пришлось примириться с каким-то псевдонимом на Б.

Кстати, для этого альманаха я ездил просить стихи у Сологуба. Сологуб был очень любезен, прочел мне несколько стихотворений и предложил самому выбрать. Я выбрал два, очень хороших. Покончив с этим, я извинился, что издательство на первых порах платит только по полтиннику за строчку.

Лицо Сологуба стало каменным. «Анастасия Николаевна, — крикнул он жене в соседнюю комнату. — Дайте мне... те стихи... вы знаете... на нижней полке». «Вот, — буркнул он, протягивая два листка... — Стихи по полтиннику... До свиданья...»

* * *

Уговорить мецената дать деньги на какое-нибудь предприятие было делом сложным и деликатным.

Гумилев несколько месяцев вел правильную осаду на одного богатого эстета. Дело шло не о ста рублях «до завтра», а о крупной сумме на большой ежемесячный журнал. Долгие вечера проводились в разговорах об искусстве вообще и необходимости проектируемого журнала в частности. Эстет явно сочувствовал и склонялся. Когда издалека заходил разговор о необходимых

деньгах, он пренебрежительно говорил: «Нет, господа, деньги вздор. Верьте мне, их достать нетрудно. Гораздо важней установить наше отношение к символистам».

Наконец все вопросы были вырешены и все позиции определены. Будущий меценат ужинал в царскосельском доме Гумилева. Ужин прошел отлично, гость и хозяин даже выпили на «ты». Развеселившийся эстет болтал о журнале как о деле решенном, повторяя, что деньги вздор. «Вот они, деньги», — даже заявил он, хлопнув себя по карману.

Гумилев повел наконец охмелевшего мецената под ручку укладывать его спать. «Слушай, Сергей, — сказал ему Гумилев, прощаясь. — Ты помнишь наш сегодняшний разговор?» «Помню», — вяло ответил тот. «Славный будет у нас журнал!» — «Славный», — поддержал меценат так же вяло. «Так ты дашь деньги?» — поставил Гумилев вопрос ребром. «Ничего я не дам», — выговорил меценат с большой твердостью, засыпая. И действительно, ничего не дал.

* * *

Люди, имевшие пристрастие к меценатству, но сдерживаемые благоразумием, удовлетворяют свой инстинкт дачей взаймы, приглашением в рестораны и т. п., не пускаясь на более крупные дела. Это было спокойнее, но тоже выходило накладно. Один из них рассказывал: «Приходит утром поэт X с запиской от поэта Y — болен, просит сто рублей. Вечером Б. звонит по телефону, прося денег для Y — заболел и он. Через день появляется X благодарить за помощь и заодно просит выручить из беды его друга Б., попавшего под трамвай. А вечером встречаю всех троих, весело ужинающих в «Вене».

* * *

Меценатки-дамы, как ни странно, водились реже и по большей части были очень скупы. Впрочем, я знал одну, при воспоминании о которой многие представители петербургской богемы улыбнутся с нежностью. Ее муж, некто П., разбогател во время войны — феноменально, сказочно разбогател. И она, вчера еще жена мелкого торговца, вдруг оказалась одна в пышной

квартире на Сергиевской. Она была очень некрасива — наряды ее не интересовали. И она отдалась двум страстям — покровительству искусству... и покупке ламп и вообще всякой затейливой электрической арматуры. Которая из страстей была более сильна? Не знаю. Деньги «на искусство» она раздавала направо и налево, трогательно выводя на чеке «выдать одну *тысяшу*». А в ее будуаре я сосчитал тридцать четыре лампы — фарфоровых, бронзовых, деревянных, маленьких, больших и огромных. Увы, все это кончилось так же неожиданно, как началось, — 25 октября 1917 года — и деньги и лампы.

* * *

Мне вспомнился еще один из породы мелких меценатов, охотно дававший деньги взаймы без отдачи за удовольствие толкаться в художественной среде. Это М., элегантный петербургский молодой человек. Он одевался в Лондоне, дружески переписывался с кронпринцем и сочинял сонеты по-испански. После революции он куда-то пропал. И вот совершенно неожиданно я встретил его в 1920 году в засыпанном снегом уездном городе. Он там служил при Наркомпросе и голодал. Весь заросший наполовину седой бородой, в тридцать пять лет он выглядел шестидесятилетним. Однажды вечером я проходил мимо его освещенного окна. М. в тулупе, рукавицах и бараньей шапке при свете маленькой коптилки читал. Изо рта его валил пар. В левом глазу сиял монокль — единственное, что у него осталось от Петербурга, заграницы, всей его жизни. Обложка книжки была отвернута. Я прочел заглавие: «Fleurs du mal»[23].

VI
Дом литераторов

Домом литераторов управлял Харитон. Его недоброжелатели писали карандашом на стенах Дома:

Даже солнце не без пятен,
Так и Харитон.

[23] «Цветы зла» (*фр.*).

Очень часто неприятен
Этот Харитон!

Администрация стирала надписи. На следующий день они снова появлялись. Они были несправедливы — Харитон был сама выдержка, благожелательность, мягкость.

С раннего утра Дом литераторов наполнялся посетителями. Право входа имели все, но, чтобы получить обед, надо было предъявить членскую карточку, выдававшуюся «литераторам и их семействам». Но как было определять в советские времена, кто действительно литератор, кто самозванец? Издательств, газет, редакций уже давно не было.

На прием к Харитону являлся человек, оборванный и явно голодный. «Я журналист». — «Где вы писали?» Человек мнется: «В сибирских газетах... и вообще...» Харитон раздумывает минуту (для виду), потом тянется за заповедной карточкой. «Вот... членский взнос уплатите, когда сможете... Обеды выдают с 11 дня...»

О эти обеды! Их главное неудобство было в бесконечных очередях. Сначала за каким-то купоном, потом за посудой, наконец, за самим обедом.

Советское меню — селедка и пшенная каша — всем известно. Дом литераторов старался его украшать как мог — не его вина, если это плохо удавалось. Кроме обеда все получали один леденец в бумажке — и сколько угодно чаю, т. е. бурого кипятку. Любители выпивали вприкуску до десяти стаканов, и еще оставалось полведра на вечер.

Помещение — барский особняк на Бассейной улице — было безобразное и неудобное. Залы, обитые вылинявшим штофом, дрянные огромные картины по стенам. Мебели было мало — тоже плохой и роскошной. Зато при доме был прекрасный старый сад.

Если среди «клиентов» Дома литераторов было много людей «со стороны» — разных «сибирских журналистов» и «благородных вдов», попавших туда благодаря мягкосердию распорядителей, — все же здесь кормился почти весь литературный Петербург.

«Хожу сюда каждый день, как лошадь в стойло», — говорил Гумилев. Блок, простояв в кооперативной очереди часа два,

торжествующе уносил к себе на Офицерскую пуд мороженой картошки. Кузмин, живший по соседству, уходил и появлялся каждые полчаса. Он принадлежал к числу любителей чая и, распивая его, любил поболтать, только не о серьезном.

— О чем опять спорите? — спрашивает он со стариковской улыбочкой, проходя мимо «поэтического» стола.

— О стихах, Мишенька, тебе неинтересно, — говорит Гумилев.

— Ах, опять о стихах... Когда кончите, скажите — приду к вам посидеть...

* * *

Длинная очередь вьется за супом. С жестяными мисками и ложками в руках стоят, как богаделки, писатели и профессора. В «хвосте» идет тихий разговор.

Студистка, стоящая рядом с В. Пястом, дает ему урок немецкого языка. На плечах Пяста плед, нижняя часть костюма — серая в крупную клетку — непомерно широка. Он терпеливо повторяет: «Кошка — катер, собака — хунд...»

— Простите, барышня, — вмешивается стоящий сзади старичок с густыми бровями. — Вы немецким хорошо владеете, я вижу. Пожалуйста, как будет виноград? Я прошлую ночь стал вспоминать — вертится на языке, а не вспомню. Всю ночь промаялся. — Вейнтраубен. — Вот, вот! Спасибо.

Вьется бесконечная очередь за супом... Вдруг у входа — движение, шум, иностранный говор. Озабоченный Харитон, оставив наблюдательный пост в столовой, спешит на шум. «Что такое?» Хорошо одетые широкоплечие господа суют ему в руки — мандат от Петросовета. Представители английских безработных знакомятся с бывшей русской интеллигенцией.

Английские безработные не только розовы и хорошо одеты. Они и культурны. Просят назвать фамилии обедающих и, слыша некоторые, почтительно восклицают: «Very pleased»[24]. Поглазев на залу и библиотеку, они идут в столовую.

Седой старичок, спрашивавший, как по-немецки виноград, только что получил свою миску с кашей и бережно несет ее

[24] «Очень рад» (*англ.*).

к столу. Его имя, знаменитое по всей Европе, особенно интересует англичан. Они просят их представить, говорят какие-то любезности, раскланиваются. Старичок смотрит на них, холодно мигая красными веками. Любезности его не интересуют. Он хочет есть. Каша стынет. «Уважаемый профессор, — говорит один из делегатов; — разрешите попробовать еду, которой кормит вас ваше уважаемое правительство». Профессор глуховат и сразу не понимает, что от него хотят. Поняв, он хватает свою миску, одной рукой прижимая к груди, другой защищая: «Моя каша, моя каша! Пробуйте у других!»

* * *

Зимою, особенно в голодные и холодные 1919–1921 годы, обедающие, съев свою кашу или селедку, не торопились уходить. Все же здесь было теплей и светлей, чем у себя на квартире. И на людях.

Старики и старушки шептались по углам о политике. Появлялся какой-нибудь «сведущий человек». Любопытные тотчас же внимательно к нему присаживались. Подозрительно озираясь, «сведущий» сообщал «новости»: «Англичане стоят у Кронштадта... Белые летали над Москвой...»

Старички слушали, вздыхали, шли на свое место, шепотом сообщали новости соседу. Тот — другому. Вместе с синим дымом махорки эти слухи ползли и переплетались: «Деникин идет на Тулу... Англичане летали над Москвой...»

Молодежь слухами не интересовалась. Поэты толковали о стихах. Любители спорта — о футболе. Влюбленные, как тени, слонялись по дому, ища укромного угла.

Весной, когда промерзшие стены Дома литераторов оттаивали, начинали зеленеть деревья и мерцать белые ночи, — влюбленных появлялось особенно много. Зимой мешали холод, оборванные шубы, стоптанные валенки. Весной нетрудно принарядиться. На «нем» — пусть заштопанный, но свежеразутюженный костюм. На «ней» — старая соломенная шляпа, выкрашенная заново, какой-нибудь цветок, бант. Старушки, вспоминая молодость, кивают: «Какая изящная пара!» Хмурый пролетарский поэт косится: «Вырядились, недорезанные...».

Советские влюбленные, в исключение из правила, были всегда голодны. Это они расхватывали роскошные «добавочные» блюда — котлеты из зайца, пирожки... «Она» в белом платье мечтательно сидела в саду. «Он», быстро справившись с талонами, купонами, ложками и мисками, бежал к ней, торжествующе неся сразу две или три порции чего-нибудь «очень вкусного». Все тогда казалось очень вкусным. Все, кроме селедок и пшенной каши.

Насытившись, влюбленные гуляли по саду. Старые деревья шумели, дети играли в мячик. Гуляли, мечтали, читали надписи на собачьих могилах: «Здесь лежит Бобоша, умер в Ницце в 1888 году»...

С террасы доносился взволнованный голос Харитона: «Я им сказал — вы отпустите мне муку... А они... А я...»

* * *

В Доме литераторов устраивались лекции, концерты, литературные вечера. Они устраивались часто, плата за вход была минимальная. Я думаю, многие петербуржцы, особенно жившие по соседству, в Литейном районе, с благодарностью их вспоминают. В те времена билеты в театры были по наряду, да если и не по наряду, далеко идти и страшно возвращаться. Это в стихах можно было писать:

> Мне не надо пропуска ночного —
> Часовых я не боюсь...

Пропуски были нужны на каждом шагу, и часовых все боялись.

Если расхватывались билеты на какое-нибудь «музыкальное трио» или доклад о «раскопках в Крыму», — то понятно, как быстро их разбирали, когда был объявлен вечер Ахматовой, в течение трех лет ничего не печатавшей и нигде не выступавшей.

В день вечера (уже около недели на дверях Дома висел аншлаг) в билетную кассу является дама в пестром платке и с бельевой корзинкой в руках — «Дайте мне два билета». Билетерша

раздражена: «Вы видели аншлаг — все продано...» — «Но мне обещали...» — «Ничего не знаю — билетов нет...» Дама с корзинкой раздражается в свою очередь: «Если нет для меня билетов — я сама не приду на вечер». Кассирша язвительно улыбается: «Пожалуйста, никто не заставляет...» Дама вспыхивает: «Ах, так!» И уходит, хлопнув дверью.

На счастье, эту сцену видел издали кто-то из заправил Дома. Уже на улице он догнал негодующую Ахматову и вручил ей с поклонами и извинениями билеты.

Чтобы не быть закрытыми за «опасное направление», надо было лавировать и приспособляться. С этой целью был приглашен читать стихи Сергей Городецкий, только что прибывший с юга, со свежим партийным билетом в кармане.

Публики собралось много. Городецкий, не зная, как примет его «белогвардейская» аудитория, начал с нейтральных стихов «Об Италии». Стихи понравились. Осмелевший Городецкий перешел тогда на свой новый репертуар. Забарабанил рифмы: народа — свобода, капитал — восстал...

Из писателей на этот вечер мало кто пришел. Старички-профессора и великосветские старушки, занимавшие первые ряды, о том, что Городецкий — большевик, не слыхали. Некоторые из них, может быть, вспомнили его недавние стихи о войне, такие «патриотические», что даже «Лукоморье» порой стеснялось. Внешность у Городецкого была приятная, голос звучный... Короче — его казенные восторги были приняты за смелую сатиру. Когда Городецкий кончил, ему устроили настоящую овацию.

* * *

Кто-то сказал, что дни «военного коммунизма» надо считать, как в Севастополе, — месяц за год. Но даже если считать просто, кто сможет, если бы даже хотел, забыть о трех — четырех — пяти трудных и необычайных годах своей жизни? В 1919 году мы все с чувством пронзительной тоски ходили по Петербургу:

Мимо зданий, где мы когда-то
Танцевали, пили вино...

Мне кажется (если это нам суждено), — с тем же чувством мы пройдем когда-нибудь по блестящему, нарядному, шумному Петербургу, «мимо зданий, где мы когда-то»... ели селедочный суп.

VII
Дом искусств

В 1920 году зимой прохожие, очень редкие вечером в этой пустынной части города (угол Мойки и Невского), могли видеть странное зрелище. К ярко освещенному подъезду (среди полного мрака соседних) подходили господа и дамы буржуазного вида, и швейцар, кланяясь, распахивал дверь. Третий этаж был ярко освещен. Видны были сияющие хрустальные люстры, порой слышалась музыка. С улицы, пожалуй, больше ничего нельзя было разглядеть. Но и этого было достаточно, чтобы потрясти советского пешехода. По Невскому летает ветер, хлопая вывесками давно разграбленных магазинов (вышел декрет, чтобы и эти вывески снять). Холод, ночь, нищета — и вдруг...

Медная доска у подъезда ничего не объясняла: Дом искусств? Ни серпа, ни молота, ни красного флага. Да и посетители этого таинственного дома не походили на коммунистов, хотя бы потому, что не подкатывали к нему на сорокасильных машинах.

* * *

Дамы и господа буржуазного вида подвигаются по ярко освещенной лестнице. Они чинно снимают шубы и идут дальше через какие-то блестящие помещения. Всюду зеркала. Дамы пудрятся, кавалеры поправляют ладонью и без того прилизанные проборы. Сдержанный говор, шелест шелка, запах духов...

...Ночь, холод, нищета, 1920 год!

В огромной зале за роялем знаменитый пианист. Изящные дамы и господа чинно слушают его игру. В соседних гостиных — другие курят, болтают, пьют чай. Чай разносят лакеи в серых куртках, ловко ступая по толстым сплошным коврам.

Концерт кончен. Начинаются танцы. Мелькают голые плечи, развеваются фалды фраков... Но все-таки что же действительность?

Советский Петербург 1920 года или это изящное общество в этих раззолоченных салонах?

* * *

Фраков и бальных платьев было действительно довольно много. Это было не так уже хитро. Фраки не находили покупателей (вот смокинг — другое дело). Не в цене были и роскошные платья. Покупатели — псковские мужички и чухонки-молочницы — ни в фалдах, ни в голых плечах не нуждались.

Чтобы убедиться, что это общество — не выходцы из другого мира, а настоящие советские петербуржцы, — достаточно было поглядеть на их сапоги или руки. У большинства сапоги в заплатах, руки, почерневшие от кухни и черной работы. Но губы улыбаются, манеры изящны, все — словно играют роль...

Так и было. Раз в неделю советские граждане, вымывшись и нарядившись, собирались и играли в «старое время». На час-два один снова был знаменитым адвокатом, другой — светлейшим князем. Назывались эти «птиже» «пятницами Дома искусств».

* * *

Помещением Дома искусств была квартира X, известного петербургского богача.

Есть безвкусие невинное, порой уютное, порой милое: шелковые будуары, фотографии, «декадентские» вещицы, семь слонов. Пошло, но «человечно». Покои Дома искусств были совсем в другом роде.

Главная лестница — мрамор и золоченый чугун, рытый ковер, китайские вазы. В прихожей фальшивая готическая мебель. Столовая — копия из дворца Медичей, на стенах тисненые инициалы владельца под дворянской короной. Потолок большой залы — копия одного из версальских. (Художник не рассчитал, и живопись не вполне уместилась — кое-кто из фавнов остался без хвостов.) Другая столовая — роспись Каразина: купидоны с цветами. Один из них вместо розы играет Станиславом 3-й степени. Библиотека — потолок в виде заросшего тиной пруда, кувшинки электрические. В шкафах буль (фальшивый) «Тайны венценосцев» и «Русский паломник». Баня (4 комнаты).

Предбанник в помпейском вкусе, парильня — «декадентская» — вся в лилиях. Спальня хозяев — единственное окно во двор — почти полная темнота, похожа на гроб...

В «салонах» гобелены, электрические «поленья» в каминах, мрамор на золоченых тумбах. «Настоящий» Гинзбург... «Подлинный» Жуков... Когда Дом искусств принимал имущество, в темном углу нашли мраморную группу, закутанную в марлю. Прислуга пояснила: господа купили, не понравилось — велели вынести. Мрамор, «не понравившийся господам», — оказался первоклассным Роденом.

* * *

Но эти версальские залы и помпейские предбанники были натоплены, ярко освещены и казались райскими людям, одуревшим от коптилок и буржуек. Именно в свете, тепле, чистоте просторных комнат было главное значение Дома искусств. То, что считалось главным — «культурно-просветительная деятельность» — разные лекции в студии, — было, в сущности, делом второстепенным.

О бесчисленных советских студиях стоит рассказать особо. В те дни студии — литературные, театральные, научные — были в чрезвычайной моде. Не отставал и Дом искусств. Читал Гумилев, читали Замятин, Чуковский, Волынский, читались десятка два разных курсов, в разные дни, в разных залах...

В числе молодежи, посещавшей эти «классы», были, разумеется, способные люди. Некоторые из них успели прошуметь, напр<имер> кружок «Серапионовых братьев», бывших студентов Замятина. Насколько их успехам содействовала пройденная ими «учеба», я не знаю. То, что из студистов Гумилева, «педагога», во всяком случае, не менее умелого, чем Замятин, за три года работы не вышло ни одного поэта, скорее говорит о противном.

* * *

В Петербург приехал Уэллс. Дом искусств чествовал его банкетом.

Приглашенные — человек тридцать — собрались к сроку, прохаживались мимо столовой и поглядывали на сервированный

великокняжеской посудой стол. Всех интересовал завтрак. Наиболее предприимчивые наведывались на кухню — сообщали: «Кулебяка... ростбиф с горошком...»

Но Уэллс не ехал, завтрака не подавали. Традиционное понятие об английской точности и вежливости колебалось.

Наконец, вбежал Чуковский, размахивая длинными руками, красный, взволнованный. «Идет! Идет!» За Чуковским в сопровождении Горького сам Уэллс.

Небольшой рост. Серый костюм. Плечист. Толстое лицо. По виду — лавочник средней руки, сознающий, что он — центр внимания. С таким видом провинциальные мэры закладывают какой-нибудь «первый камень». Величие, важность, небрежность...

Банкет был позорный. Уэллс с видимым усилием ел «роскошный завтрак», плохо слушал ораторов и изредка невпопад им отвечал. Ораторы... некоторые из них выказали большое гражданское мужество — напр<имер> Амфитеатров, предложивший присутствующим, чтобы показать высокому гостю, «что они с нами сделали», — расстегнуться и продемонстрировать ему свой «дессу».

* * *

Это смелое предложение принято не было. Но Амфитеатров был наказан: Уэллс, обратившись к нему, назвал его мистером Шкловским.

Остальные речи были в том же роде. Чуковский вился вьюном, смягчая в переводе наиболее острые места. Горький, хмурясь, как морж, кусал усы.

«Большевики чествовали меня в Доме искусств», — обмолвился Уэллс, вспоминая об этом банкете. Бедные ораторы. Стоило стараться, рискуя тюрьмой!

Если Уэллсу меню завтрака явно не понравилось, то чествовавшие его «большевики» были другого мнения. После банкета, доедая набранный в карманы шоколад, развлекались беседой с «говорившим по-русски» сыном Уэллса, мальчиком-подростком.

— Как вам нравится Петроград?

— О... да...

— А Москва?

— О... да...

— Долго ли вы собираетесь пробыть в России?

Пауза. Застенчивая улыбка. — «Не понимай!» Говорившие по-английски и не скомпрометированные крамольными речами были представлены Уэллсу и удостоились от него услышать, что Москва — lovely и погода — cold[25].

* * *

При Доме искусств было общежитие для писателей и художников. Кто понастойчивей — захватили под жилье роскошные «барские» комнаты с потолком в виде пруда. Более сговорчивые расселились по бесчисленным людским и службам. Гумилев, Ходасевич, Пяст, Мандельштам, В. Чудовский, Волынский, Шагинян, Леткова-Султанова, В. Рождественский — это только начало длинного списка обитателей Дома искусств. По вечерам на просторной кухне собиралось блестящее литературное общество. Комнаты, конечно, отапливались... но все-таки не мешало погреться у плиты. При общежитии был буфет. Очень скромный, но по тогдашним временам роскошный. «Своим людям» продавались даже пирожные.

Кстати, о пирожных. Эти кружки сладкого теста, залитые кремом или шоколадом, имели особое мистическое значение в те годы.

Когда все потребности были сведены к минимуму — не умереть с голоду и не замерзнуть, — пирожное стало символом всего запретного и соблазнительного. Съедая его, гражданин тогдашней РСФСР чувствовал себя на мгновение приобщенным к беззаботной и расточительной буржуазной жизни.

Так смотрели на это и власти. В январе 1921 года в Доме искусств был бал-маскарад. Первый петербургский бал за три с половиной года. Не знаю, как удалось получить разрешение, но маскарад этот состоялся и вышел необыкновенно веселым и многолюдным. Ни капли вина, разумеется, не было выпито,

---

[25] очаровательна... холодная (*англ.*).

но все казались немного пьяными, как разыгравшиеся дети. И как дети расхватывали единственное, что было в буфете, — пирожные.

На другой день в «Красной газете» под грозным псевдонимом «Браунинг №...» появились стихи «Бал на Помойке»:

Разутюженные брючки,
Миль пардон, какие ручки.

Автор (Василий Князев) описывал, негодуя, в этих стихах наглые толпы буржуев, объедающихся пирожными в «сердце Красной России», и взывал: «Чека, где ты?»

Чека откликнулась. Однажды во время завтрака все выходы были заняты мрачного вида красноармейцами и элегантный молодой человек в галифе, проверив заодно документы у всех завтракавших, опечатал буфетную красными огромными печатями. Через неделю печати были сняты и «задержанное имущество» — десяток увядших эклеров — было возвращено буфетчику. Он был человек со связями.

* * *

Осенью 1922 года, перед отъездом за границу, я зашел в Дом искусств. Давно кончились «пятницы» и литературные вечера, кончились без лекторов и слушателей студии. В залах Дома искусств, освещенных «ажиорно», были поставлены столы для рулетки и баккара. Уголовного вида крупье во фраках слонялись без дела: «казино» безнадежно пустовало, конкуренция с казенным «Сплендидом» была не по силам.

Это был закат Дома искусств — жалкий закат! Какие-то неизвестно откуда взявшиеся дельцы всем распоряжались. Прислуга не знала, кого слушаться. Во всем была бестолочь. Положение пансионеров Дома искусств становилось все неприятнее. Кто мог — выезжал, остальных переселяли в подвалы и чердаки.

В прихожей полдюжины лакеев подобострастно бросаются к случайно забредшим «хорошим гостям» — толстому нэпману и его накрашенной спутнице... Я вышел на улицу. Швейцариха мокрой тряпкой сцарапывала со стекла нижнего этажа уцелевшую здесь рукописную афишу. Всего полтора года назад, весной

1921 года, эти афиши рисовал и расклеивал со своими сотрудниками покойный Гумилев!..

VIII

Кто-то сравнил литературу с трамвайным вагоном. Одни давно уселись, другие стоят, ожидая, пока освободится место, третьи набили площадку, четвертые висят на подножке, пятые напрасно атакуют набитый вагон. Есть еще сравнение с армией. Конечно, плох солдат, не мечтающий стать генералом, но как трудно добиться даже скромного производства в прапорщики!

Литературная иерархия сложна, и чем дальше от заветной подножки, тем сложнее. Со стороны там все на одно лицо, всем одинаково нет надежды попасть в рядовые, даже в обоз литературного войска. Но это только кажется со стороны. N — напечатал стихотворение в сборнике «студентов-владикавказцев», X чином выше его — перевод с «сербского» приняли в «Ниву». Y же выше их обоих — он член литературного кружка «Менуэт», где председательствует сама Лидия Лесная.

Разумеется, писатели этого рода (грубые, резкие люди называют их графоманами) бывают всех оттенков — лирики и драматурги, новаторы умеренные и крайние, хранители устоев и потрясатели основ. Последние самые счастливые. У них, единственных, есть «шанс» — не только выбиться в люди, но даже стать большой знаменитостью. Известно, что чем левей искусство, тем труднее разобрать, гений ли автор или бездарность. На некоторой (всем доступной) «высоте» левизны различить это становится просто невозможным. Звезда Крученых до сих пор заманчиво и поощрительно сияет всем молодым и не молодым людям, мечтающим о славе.

Написал человек:

Дыр-бул-щыр
У-бе-щур... —

и стал «Мэтром». Конечно, поработать, вероятно, над этим oeuvre'ом пришлось порядочно, но ведь и результат недурен!

Есть и такие, которые, «в совершенстве владея стихом», не знают, о чем им писать. Эти переводят. «Бойцы ли целы?» — переводил один фразу «Целы ли солдаты?» из «Лагеря Валленштейна».

И по праву гордился точностью — ни одного слова «от себя». Другой переводил Эредиа: «Долго ласкал и баюкал свою Клеопатру Антоний» (Эредиа вообще очень любят все «юные» переводчики: должно быть, он им кажется самым подходящим для «проб пера»). Третий — просто «с немецкого». Я не сравнивал с подлинником, но энергия стиха говорит сама за себя:

Он был душой и телом слаб,
Ее любил, как жалкий раб.
Она — капризное дитя —
Шепнула раз ему, шутя:
Голоден мой любимый пес —
Ты б сердце матери принес...

Но все-таки каждый согласится, что перевод, как бы он ни был прекрасен, не то, что поэзия оригинальная. И зачем переводить других, если, Бог даст, вас самих будут когда-нибудь с благоговением переводить?

Когда «Цех» сверг соглашательское правление Союза поэтов, возглавлявшееся Блоком (сверг большинством одного «голоса», лишенного права голосовать, — так называемого члена-сотрудника), и образовал собственное «фашистское» правление во главе с Гумилевым — мне при разборке «портфелей» досталась должность секретаря президиума и члена приемной комиссии. Эти бутафорские должности принесли мне массу хлопот. Я получил от Гумилева «карт-бланш» своею властью раздавать высокое звание члена Союза. Это было, конечно, лестно, но «просители» меня одолевали. Каждый считал себя гением. Один так и писал:

И пусть на хартье вековой
Имен народных корифеев,
Где Пушкин, Лермонтов, Толстой,
Запишут имя: Тимофеев!

И все считали, что членский билет Союза — если не сама «хартия вековая», то большой шаг к ней.

* * *

Я вхожу в подъезд «Всемирной литературы», где помещается моя «временная канцелярия». «Господин Беленький опять

были», — сообщает швейцар. Четвертый раз приходит этот Беленький и все в неурочное время. «Вы сказали ему, когда меня можно застать?» — «Сказал. Обещали зайти попозже».

Меня уже ждет посетительница. Пышная дама неопределенного возраста, в ярко-красном плюшевом платье, явно перешитом из портьеры. Кое-где на плюше даже видны следы гвоздей. Шляпа широкополая, голубая, гарнированная незабудками (на дворе март!).

— К вашим услугам, сударыня.

— Я пришла, чтобы записаться в ваш Союз... Охотно буду выступать на ваших вечерах... Это так важно, когда печататься негде... Прежде я много печаталась... Вот... — ручка в заношенной перчатке протягивает альбом. — Больше в провинциальных изданиях. Впрочем, помещала и в столичных — «Пробуждении», «Синем журнале».

В альбом с тиснеными ирисами аккуратно наклеены вырезки:

И я, от этой жизни плоской
В мечты красивые уйдя,
Дымлю душистой папироской,
Лежа на шкуре медведя.

Переворачиваю страницу:

Как солнечно стало теперь,
Ты жизни моей отрада,
Но, милый, не верь мне, не верь,
Когда я твержу «не надо».

Еще страница:

Ты не знаешь, как я красива,
Ты не видел меня нагой!

— Слушаюсь, сударыня. Оставьте ваш альбом. Приемная комиссия рассмотрит.

— Приемная комиссия?.. Но зачем вся эта волокита? Ведь я не кто-нибудь — у меня есть имя... А кто же у вас в комиссии?

Я говорю. Ручка в грязной перчатке пренебрежительно играет лорнеткой с вывалившимися стеклами.

— Гумилев?.. Не слыхала. А Бальмонт? Почему у вас нет Бальмонта? Его стихи — мое безумие. Дайте мне его адрес, я хочу ему это сказать сама.

«Ах, как жалко! — восклицает она, узнав, что Бальмонт в Париже. — Ну, все равно, я ему напишу. Он — мое безумие. «Чуждый чистым чарам счастья...» Безумно красиво. Он... — она делает испуганные глаза... — он — вы согласны? — русский Шелли...» Я не спорю. «Ваш адрес? Приемная комиссия вас известит...» Но поэтесса не хочет уходить: «А вы, молодой человек, тоже пишете?»

От необходимости отвечать меня спасает тощий рыжий юноша, робко просовывающий голову на длинной шее в дверь. Он долго глядит грустными глазами, долго молчит и потом, заикаясь, произносит: «Пардон — я Беленький».

Беленький тоже принес стихи. Он тоже печатался в провинциальных изданиях. Но напечатанное — это пустяки. Разве журналы помещают что-нибудь серьезное! «Нет, нет — не читайте этого, — закрывает он худой веснушчатой рукой развернутую мной страницу. — Лучше вот это... Ах, нет, не читайте, — лучше я сам вам прочту...»

Муза Беленького — гражданская. Он певец угнетенных:

Русские всюду нас ищут
По полю по лесу рыщут
Если мы к ним попадаем
То бесконечно страдаем.
Бог бы дал скорей Мессию
Чтоб покинуть нам Россию
От Гоморры чтоб уйти
Хлеб и уголь чтоб найти...

Я, в силу своих обязанностей, начинаю ему объяснять, что тенденция вредна для искусства. «Гражданские или военные стихи всегда слабее».

— У меня есть и военные, — радостно перебивает меня Беленький. — Я жил под Колчаком, прежде чем попасть сюда. Там я все писал военные. Вот про Суворова: «Вождь российского народа наш Суворов удалой», про Скобелева:

...И на лошадке боевой
Несется Скобелев младой

Меч исполинский обнажая
И пленных турок поражая...

«Почему же пленных?» — спрашиваю я. Беленький смотрит на меня укоризненно. «Разве вы не знаете, сколько наши в турецкую войну пленных побрали? — Тысячи и тысячи...» Я выдал Беленькому билет члена-сотрудника — без права голоса, но с правом сколько угодно хвастаться перед знакомыми «барышнями», которым в его объемистых тетрадках было посвящено не меньше места, чем Суворову и Колчаку. Как я мог не выдать ему этого желанного билета! Уходя, он сиял и долго тряс мне руку. На другой день в благодарность я получил от него длиннейшее «посвящение», начинавшееся так:

Гражданин Г. В. Иванов
Наш талантливый поэт...

* * *

Осенью 1920 года я жил в «доме отдыха» в Петергофе. Моими товарищами по комнате были два поэта — эстет и пролетарский. Эстета звали Фонтон, фамилию пролетарского я забыл.

Он был, конечно, не первоклассная величина, не Садофьев и не Крайский, однако и не мелкая сошка. «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты». Друзьями моего соседа были пролеткультовские звезды — Логинов и Жижмор.

Если вы не слышали этих имен, это не значит, что они малоизвестны. Скорее вы сами мало осведомлены в новейшей поэзии. Я своими глазами читал в «Правде», что стихи товарища Жижмора похожи одновременно на... Бодлера и Верлена, но превосходят их обоих «свежестью и талантом». Из его стихов я запомнил только одну строчку, но она великолепна: «Что делать с запасами нежности!» И музыкально, и дает понять, что в СССР не все запасы исчерпаны — есть и избытки.

Его друг, мой сожитель, был поэтом другого жанра. Должно быть, советский критик сказал бы, что он превосходит Верхарна. Набат, колокол, толпы пролетариев с факелами свободы, грохот машин... Был он также присяжным оратором. По средам в «доме отдыха» устраивались художественные вечера.

Играли «Интернационал», потом шла сцена из чеховского «Медведя» или апухтинский «Монолог сумасшедшего», потом читались революционные стихи (эстету Фонтону, впрочем, не мешали читать о маркизах и даже усиленно хлопали). В заключение же мой сосед произносил политическую речь на темы дня.

В общежитии он был человеком спокойным и рассудительным, большим любителем потолковать о том и о сем, степенно поглаживая козлиную бородку. Но в дни своих «выступлений» он менялся. Уже за ужином, от волнения, он начинал розоветь, краснеть, багроветь. На эстраду выходил уже темно-лиловый. Стоял минуту молча, вращая глазами. Потом, ударив кулаком по столу, — начинал:

«Так что, товарищи, — говорил он. — Которая Антанта, товарищи! Которая гидра пролетарского класса, товарищи! (Голос переходил в рычание.) Так что Клемансо, товарищи, и одиннадцать ихних пунктов, товарищи!..» Громовым голосом, так что стены и люстры начинали подпрыгивать, — «Руки прочь, товарищи!»

Он задыхался. Цвет лица становился черным. Голос гремел. Впечатление, что и говорить, было сильное... Придя в себя, оратор, прихлебывая лимонад, улыбался блаженной улыбкой. «Ну, как, товарищи, нашли доклад? Удалось ли осветить международное положение? Я старался попроще — аудитория у нас не того...»

Аудитория была действительно «не того». Половина ее состояла из университетских профессоров.

К оратору приходил в гости и другой его друг, Иван Логинов. Иногда он выступал:

Мои мозолистые руки
Дрожат, прочтя такие вести, —
Он представителем науки
Убит на месте!

Или:

Как питерский пролетарий
Я тоже могу сказать:
Белогвардейские хари —
Молчать!

...Осеннее солнце бьет в широкие окна нашей комнаты. В окне озеро Заячьего Ремиза, желтые деревья, разоренные дачи. Эстет Фонтон объясняет мне, каков будет фронтиспис его книги. «Извольте видеть, столик Луи XIV, знаете, на этаких ножках рококо, на нем шкатулка Луи XV. Шкатулка полуоткрыта, и в ней видны два сердца, пронзенные стрелой... Ну, а над ней парит голубок с билетиком, а на билете посвящение: “Моей дорогой девочке”...»

В другом углу Логинов дает своему другу литературные советы: «У тебя стих однообразный. Надо разнообразить. Надо у буржуазии поучиться».

И для примера наставительно читает собственные стихи:

Большевизма мировое колесо
Явно вертится не в пользу Клемансо.

Оратор почтительно слушает. Он так не может. Он больше четырехстопным ямбом.

* * *

Однажды я пришел в гости к Блоку. Блок стоял у окна, с книгой в руках. Когда я вошел — он протянул мне ее, улыбаясь. «Вот, посмотрите, какие у меня завелись друзья...»

Действительно — на титульном листе был размашистый автограф: «Дорогому Александру Александровичу от верного друга и ученика». Стихи же были такие:

Иным мила очей лазурь —
Очей уносящая даль,
Но очи тускнеют от жизненных бурь.
А ноги всегда, как миндаль.

Как стройны твои ноги,
Очертанья бедр.
Отойдем с дороги,
Упадем на одр!

Имя автора было — Григорий Новицкий. Книга называлась «Необузданные скверны».

— Вы с ним знакомы, по крайней мере? — спросил я Блока.

— Упаси Боже... Первый раз слышу. Наглый, должно быть, человек. Или, может быть, только глуп?.. Нет, стихи за себя говорят — наглый, мерзкий...

Вскоре имя Новицкого замелькало повсюду. Рецензии, пародии, известие, что книга его конфискована за порнографию. Было за что! Потом протесты Новицкого, поддержанные какими-то его поклонниками. Словом, весь мелкий шум и гром, который так «обожают» авторы этого рода, принимая за славу...

Этого «друга» Блока мне пришлось раз увидеть в кругу его поклонников и друзей.

Однажды в «Бродячей собаке» выдался скучный вечер. Кто-то предложил поехать «пить» к Штыку. Приглашавший сам толком не знал, что это за Штык и что за люди у него собираются каждую среду. В конце концов — чем мы рисковали? Только извозчиками в глухой угол Петербургской стороны.

По колено в снегу, в полной темноте мы долго бродили, пока нашли на какой-то Теряевой или Плуталовой нужный номер. Наш проводник был в нем тверд. Наконец, нашли. Деревянная калитка. На ней надпись: «Остерегайтесь собак». «Пустяки, — сказал проводник, — собака футуристическая». Калитка была открыта. «Футуристическая собака», страшное чучело с зеленой мордой, нас действительно не тронула. Проваливаясь в сугробы, мы добрались до крыльца длинного деревянного дома. Дверь была не на запоре. Прихожая, заваленная шубами и калошами, потом еще какие-то комнаты, пустые, холодные и неосвещенные. Музыка, рев, шум, услышанные нами еще со двора, становились все громче. Наконец, последняя дверь...

Две большие, соединенные аркой комнаты были натоплены, как баня. Стены завешаны тряпками, шкурами, картинами «Nu», картинками в кубики, масками, оружием, какими-то перьями, какими-то афишами. На полу были прекрасные ковры, все в следах и окурках. В глубине виднелся длинный стол, похожий на витрину Елисеева, в которую попал пулеметный снаряд...

«Штык», — отрекомендовался нам хозяин, седой, усатый, благородный господин во фраке. Он не спросил, кто мы (нашему чичероне он отрекомендовался так же, как и нам, явно его не узнавая). И снова вернулся к своему стакану с коньяком.

Густо напудренный человек, совершенно пьяный, с глуповато-хитрой застывшей улыбкой, читал стихи. Более противного (манерного, скрипучего) голоса я никогда не слыхал. Это и был сам мэтр «школы», разорявший на шампанское благообразного хозяина с воинственной фамилией. Он читал:

О священные и мистические очи,
То зовущие к наслаждению, то наводящие страх,
Похожие на женщин, проводящих ночи
В эротических оргиях в вертепах и кабаках.

Потом выступали его «ученики» — какие-то прыщавые гимназисты, тоже напудренные и бледные, с лицами, искаженными приступами морской болезни. Выступала и какая-то другая «знаменитость», у которой «тоже» конфисковали книгу. Надо было слышать завистливое почтение, с которым это «тоже» произносилось. Остальные были неудачниками — цензура их произведений не конфисковала, несмотря на все усилия авторов.

Были и девицы. Тоже бледно-зеленые, несмотря на румяна. Тоже пьяные, тоже с демоническими стихами. Все это ломалось, кокетничало, завывало, кидало «порочные» взгляды. Картина была совсем во вкусе описаний «огарков» Каменского или Арцыбашева.

...Хозяин дома вдруг поднялся. Пьянее всех, он крепко держался на ногах, только белки его глаз были совсем красными. Он сделал властный жест. Длинноволосый мальчишка, что-то ораторствовавший, оборвал свою болтовню: «Матвей Матвеевич будет мелодекламировать... Тише... Тише...» Все примолкли. Своих гостей Штык держал, по-видимому, в субординации. Кто-то уселся за залитый ликерами рояль. Штык стал в позу — голова назад, одна рука прижата к груди, другая на отлете. Он выждал, когда наступит совершенная тишина, и начал:

Как хороши, как свежи были розы...

* * *

И гении сжигают мощь свою
На алкоголе, символе бессилья.

Божественный Игорь, хоть и был человеком талантливым, но с подонками литературы у него всегда была какая-то тесная

связь. Он их понимал, они — его. И он выражал на своей «среброструнной лире» их мироощущение с исчерпывающей полнотой. Ведь и всякий ученик Григория Новицкого, напиваясь, должно быть, был серьезно уверен, что он «сжигает свой гений».

Но «алкоголь», если и «сжигает мощь», то ведь он же и приносит «вдохновенье» — этого не отрицают и сами «гении». Вадим Баян, элегантный бард «лирионетт и баркаролл», восклицавший:

Я сплету ожерелье из женщин
На свою упоенную грудь... —

говорил, что может творить только «под наркозом». Под наркозом, каким же? Я ждал от такого «изысканного» поэта не меньше, чем гашиша. Но он признался откровенно: «Водка, чего же еще. Конечно, красная головка — в белой не та сила».

В 1922 году в московском Союзе поэтов было «всего» тысяча человек «квалифицированных» поэтов. Теперь, говорят, перевалило за три. Не есть ли этот расцвет поэзии следствие того же «наркоза», который за эти два года стал значительно общедоступнее?

В защиту мнения, что «алкоголь» не только «сжигает мощь», но и поддает жару, приведу стихи, присланные когда-то в «Аполлон» одним пьяницей. Прислав их, он через день написал в редакцию извиняющееся письмо с просьбой не печатать этих стихов, как написанных в пьяном виде («если уже напечатали, то, конечно, нечего делать»), и прилагал другие, «сериозные». Серьезные были на классическую тему об орле за решеткой: «И я, как тот орел, меж пошлости людской...» «Пьяные» — необычайно длинные — начинались, по крайней мере, энергично и живо:

Иду я раз домой,
Как вдруг городовой
Ко мне: «Ты кто такой?»
Ну — я его ногой.
Вскричал он: «Ой, ой, ой!»
И в темноте ночной
Вступил со мною в бой...

IX

«Стиль — это человек». Надо надеяться, что, как большинство таких максим, и эта — противоположна истине. Иначе, осмотревшись вокруг себя, вспомнив манеры, галстуки, квартирные обстановки знакомых или знаменитых современников, можно впасть в меланхолию, самую черную. Но я не призываю впадать в меланхолию, напротив. Надо только условиться.

Стиль — вовсе не человек, даже не четверть человека. Стиль — одна из невинных человеческих слабостей!

* * *

Эстетов в мире гораздо больше, чем принято думать. Конечно, если пересчитывать эстетов, прославившихся в своей области, то их — всех степеней и всех оттенков — от Брюммеля до Вертинского наберется немного. Почетное звание «апостола красоты» дается нелегко. Но эстетов скромных, стыдливых, «для себя», ищущих в эстетике утешения «для души», не удовлетворенной будничным существованием — безразлично, зубного техника или товарища министра, — таких эстетов — множество. Их «тысячи и тысячи», как выразился мой друг поэт Беленький (может быть, читатель «Звена» еще помнит о нем?).

Беленький, конечно, тоже был эстетом. Его «кредо» точно выражено в стихотворении «Грезы Поэта»:

Я красоты везде ищу безумно
И часто вижу сон:
В тенистой роще, меж колонн,
Передо мной стоит красавец — Аполлон...

* * *

Петербургские эстеты делились на два неравных лагеря.

Первый, многочисленный, составляли, так сказать, эстеты «девственные». Все они «искали красоту безумно», но каждый искал разное. Для одного пределом были чашки «Александра» в роскошном футляре (цена чашки полтора рубля, футляра — пять). Другой ходил на «панорамы» Сухоровского «Нана» и «Дочь Нана», равно восхищаясь и прелестью форм этого

«семейства Nu», и «адской техникой художника». Техника была, действительно, адская. Часть прихотливо разбросанных у ложа красавицы «дессу» была нарисована, часть — настоящая. Но который из чулок от Артюра, а который — «от Сухоровского» — различить было невозможно даже из первого ряда. А ведь в большинстве смотрели знатоки, если не живописи, то «подробностей прелестных туалета»...

Кто собирал фарфор, кто просто открытки с «великих произведений живописи», кто удовлетворял стремление к высшему — хорошей сервировкой. Такие эстеты составляли большинство и имелись во всех слоях общества.

Меньшинство — были эстеты ученые, утонченно разбирающиеся в стилях, «изучающие, мечтающие и постигающие». Почему-то большинство из них были помощниками присяжных поверенных.

Первые знакомились с историей искусства по изданному «Нивой» Гнедичу, ходили в Малый театр и на выставку дам-акварелисток и выписывали «Столицу и усадьбу».

Вторые штудировали Вермана и Фромантена, восхищались Фокиным, приобретя Рериха — мечтали о Сомове и были подписчиками «Старых годов».

* * *

«Столица и усадьба» имела подзаголовок: «Журнал красивой жизни». И это было очень полезным примечанием: по внешности ее легко можно было принять за присланный из Голландии каталог цветочных луковиц. Владимир Крымов, основывая свою «Усадьбу», — верно понял, что было нужно, чтобы действительно «создать журнал».

Во-первых, — очень много бумаги. Конечно, не простой, а «роскошно-меловой». Что бы ни было напечатано на такой бумаге — самая ее глянцевитость, тяжесть, упругий блеск — дают ощущение комфортабельности, покоя, хорошего пищеварения — следовательно, и «красивой жизни». Когда Крымов остановился на сорте бумаги, — половина дела была сделана. Формат? — Разумеется, большой. Не преувеличенно большой, как блаженной памяти «Золотое руно», которое первый год

приходилось рассылать по железной дороге «большой скоростью» — почта не принимала. Нет — это слишком... Для «Столицы и усадьбы» был избран импозантный и приличный формат... ну... — подноса от фарфорового «тет-а-тет»а. Я нарочно пользуюсь сравнением в духе «Столицы и усадьбы». Красивое сравнение. Уверен, что Владимир Крымов одобрил бы его...

«Красивой жизнью» дышало уже от объявления о подписке. — Контора, «дом Зингера *в лифте* в третий этаж». Редакция — Каменный остров, *собственная вилла*. Простая вещь, но как подано! Точно не конторское объявление, а отрывок из поэзы божественного Игоря:

...На Каменный остров — в собственной вилле...
Дом Зингера в лифте на третий этаж...

Так естественно, наэлектризовавшись этой «музыкой слов», воскликнуть уже подлинной строчкой поэта «Ананасов в шампанском»:

...Гарсон! Сымпровизируй шикарный файф-о-клок!

Впрочем, на объявлении и кончалось совпадение «Столицы и усадьбы» с «изысками» и «эксцессами». С первой же страницы текста шло «тихое семейное содержание» безо всякой «декадентщины».

Стихи — князь Касаткин-Ростовский из «Нового времени» или Леонид Афанасьев, оттуда же. Содержание — по времени года. «*Весна уж наступила*» — если номер апрельский, «*Осень туманная вновь наступает*» — в сентябре. Ну, а в декабре, понятно, про коньки.

Как известно, в этом и заключается «поэзия старой школы» и «продолжение пушкинских традиций». Скромные птички и коньки не так уж скромны, как кажутся. Это грозные орудия, поставленные на страже «великих святынь прошлого» от натиска разных «футуристов и акмеистов». Это поэзия старой школы, но отнюдь не окаменелая. Разумное, скромное и в границах новаторство даже поощряется. Например, в случае храмового праздника или тезоименитства оставить природу в стороне... на текущий месяц.

...Проза. Авторы не важны, хотя и среди них есть имена: полковник Елец или сам Крымов. Важен тон. Тон этот — элегантное светское «козри», иногда оживленное «беззлобным смехом», иногда «окутанное дымкой философии»...

...Закурив ароматную гаванну, старый банкир задумчиво спросил:
— Женщина! Знаете ли, господа, что такое женщина?
— Женщина — это сфинкс, — сказал, помолчав, знаменитый художник.
— Нет — женщина — роза с шипами, — возразил ему юный поэт...
Камин ярко пылал...

Но ни стихи, ни проза не играли главной роли в «Столице и усадьбе». Главное — были отделы «По усадьбам» и «Светской жизни».

Тут еще разительней, чем в выборе бумаги и умении набирать объявления во всю страницу от банков и автомобильных фирм, — сказался редакторский такт Крымова.

Оба отдела состояли из фотографий и сопроводительных подписей. Подпись была часто краткой, но тут-то и заключалась «маэстрия» — в нескольких словах сказать... не меньше, как на триста рублей (не считая типографских расходов).

Особенностью, так сказать, «спесьялите де ля мэзон» «Столицы и усадьбы» было придание аристократического блеска именам и личностям, несправедливостью судьбы этого блеска лишенным.

Как объявлял какой-то косметический институт: «Если природа, создавая ваш профиль, допустила ошибку — мы эту ошибку поправим».

Делалось это неподражаемо.

Например, купил какой-нибудь воротила проданное с торгов княжеское имение. Ну, купил, отремонтировал, пьет себе чай с блюдечка на исторической террасе. «Столице и усадьбе» — это уже известно. «Столица и усадьба» уже шлет своего сотрудника. Сам воротила, может быть, и не интересуется «блеском» (бывают такие, отсталые). Но уж жена, дочки, племянницы — интересуются наверняка.

Снимаются фотографии, изготовляются клише и потом в лаборатории красоты (в лифте на третий этаж!) — наводится «лак».

...Имение «Кривые рожки» — колыбель князей Чернопольских-Черносельских. На террасе, под историческим дубом, посаженным графом Соллогубом, автором «Тарантаса», — семья нынешних владельцев, г.г. Мухоедовых за дачным файф-о-клоком... (Тульский самовар, конечно, унесен на кухню, блюдечко отнято из растопыренных пальцев тятеньки.)

Если имение не княжеское и не историческое, то всегда можно посадить «старшую дочь владельца» на лошадь «знаменитых заводов графов Кулябко-Корецких», дать ей в руки какой-нибудь хлыст, «выписанный из Лондона от поставщика его высочества принца Уэльского», и эффект будет тот же. В свете громких фамилий и файф-о-клоков, исторических дубов и конских заводов вульгарное «Мухоедов» засияет новым респектабельным блеском. О, этот Крымов! Волшебник!

То же и в «светской жизни».

...Госпожа Сапогова позирует в ателье скульптора барона Рауш фон Траутенберг...

Если же скульптор, на свое несчастье, сам Сапогов, то все-таки это ничего не значит:

...Позирует в ателье скульптора Сапогова, автора бюста леди Астор, получившего Grand-Prix[26] *в Осеннем Салоне...*

У каждого человека, самого скромного, самого непрезентабельного, есть, если поискать, какой-нибудь князь, граф, на худой конец генерал, которого можно извлечь и поставить за спиной скромного человека таким рефлектором, что он не узнает самого себя. Особенно если воткнуть кругом несколько файф-о-клоков и исторических дубов...

Если вы устали от торговли рыбой и вам хочется пожить по-другому, красиво, благородно, вдохнуть полной грудью одновременно и великие заветы прошлого и современную утонченность — шепните только редактору «Столицы и усадьбы»: «Гарсон, сымпровизируй шикарный файф-о-клок...»

---

[26] Гран-при (*фр.*).

Ответ заранее отпечатан на «роскошно-меловой» бумаге:

Каменный остров — в собственной вилле.
Дом Зингера в лифте на третий этаж.
Подробности по соглашению.

* * *

Эстеты культурные выписывали «Старые годы» и собирали «ансамбли».

Начинался «ансамбль» ампирной мебелью, кончался — коллекцией миниатюр.

Если эстет принялся собирать миниатюры — значит, он прошел уже сквозь все соблазны: мебель, стекло, фарфор, часы, рукомойники, ризы, сарафаны и т. п.

Какую бы отрасль старины вы ему ни назвали — он только кивнет устало-самодовольно. Петровские пуговицы? — Сейчас покажу вам мое собрание... Если человек дошел до миниатюры, значит, никакие пуговицы для него не новость. Миниатюрами завершалось здание, начатое когда-то колченогим столом «с набором», купленным даром (то есть за сто рублей) у «ничего не понимающего» старьевщика. Потом — долгие годы «сомнений и восторгов», и, наконец, все это увенчивалось миниатюрами.

Такое завершение — вполне логично. Во-первых, колченогие столы и петровские пуговицы — собирать каждому по средствам. Миниатюры же стоят дорого.

За эти годы «сомнений и восторгов» — эстет двигался по службе или приобретал практику и «возможности» его становились шире. А потом — для собирания столов не нужно ничего, кроме «любви к старине». Миниатюры же дело тонкое.

К 1912 году все более или менее подлинные миниатюры оказались в руках некоего великого князя.

Как это случилось — я не знаю, однако случилось. Все эти кусочки желтоватой кости с изображением красавиц и гусаров — оказались в руках одного счастливого владельца, на зависть всем остальным.

В продаже у антикваров остались только портреты императрицы Жозефины и Кюхельбекера, которых великий князь принципиально не покупал.

Что было делать? Положение спас тот же великий князь.

Он понял чувства других, обездоленных им, коллекционеров и пошел им навстречу. Он издал подробнейший каталог своей коллекции с множеством снимков в красках. А антиквары и собиратели вздохнули свободно. Меньше, чем через месяц, предложение миниатюр превысило спрос. Подделка не была грубой: военных с оригинала каталога переодевали в штатское и наоборот, блондинку с чайной розой на груди превращали в брюнетку с красной... Все были довольны.

Один мой знакомый — эстет, знаток, ценитель, член разных «обществ для изучения» и т. п., — убегая из Советской России, вывез — святая святых своего собрания — тридцать редчайших кусочков «кости с живописью». Все они оказались «работы 1913 года»!

Но довольно о миниатюрах.

Когда все, что можно собрать, было собрано, — эстет начинал скучать. Что же дальше?

И демон эстетизма шептал ему:

— А современная поэзия? — «Мы натешимся с козой, где поляну сжали скалы», а? Или же лучше — Крученых. А четвертьтоновая музыка? А живопись Давида Бурлюка? Ты забыл!

Если в душе человека заложено «чувство прекрасного» — это обязывает. Пусть он нисколько не расположен «тешиться с козой», пусть живопись Бурлюка ему неприятна и даже противна. Но раз последняя глиняная собака Елизаветинской эпохи заняла свое место на полке — выбора нет.

...В своем ампирном кабинете, освещенном люстрой-уникой (второй экземпляр имеется лишь в Царскосельском дворце, да и то подделка), в халате, скроенном из вышивки 15 века, — сидит маленький, толстенький, лысеющий, симпатичный человек в пенсне. После трудового дня — в суде или на бирже — ему хочется отдохнуть душой в мире прекрасного. «Уника» льет приятный свет на карельское бюро (за ним был подписан Тильзитский мир — это удостоверено), в бархатном футляре заманчиво сереют под стеклом — целых шестнадцать пар редчайших щипцов для снимания нагара. Так хорошо бы потрогать их,

поразглядывать в лупу первопечатные святцы, пошуршать ризой византийского епископа. Так хорошо, так сладко...

Но нельзя. Если он не хочет топтаться на месте, превращаясь в дилетанта, — нельзя.

Вздыхая, человек достает пачку тощих книжонок в разноцветных обложках. Их сусальная яркость — режет глаз, едва их развернуть, брошюрки лопаются, грубая бумага выгорает. Что за рисунки, Боже! Что за названия! И в руках держать неприятно — шершавые, как репейник...

Но надо. Поправив пенсне, эстет читает:

...Чудовище, гроза вершин,
С ужасным задом,
Схватило несщую кувшин
С прелестным взглядом...

Прочитал стихи — переходит на прозу:

...Пан Псержепецкий (о, лебядь чистая, где мой горшек!), Псержепецкий, пецкий, ецкий, перепендря, дря, в ночный лег ночлег...

Лоб эстета покрывается потом. Да — тяжеловато оно — новейшее искусство. Главное — постичь, в чем тут красота. Уловить дуновение! Добиться!

...Венера Милосская в каждом куске мрамора... впрочем, это не то... Итак, хотя бы это — «перепендря, дря, в ночный»... Чувствуется, конечно, что-то. Несомненно чувствуется. Но случайно, не до конца...

...Дря... ря... ря... пецкий... пецкой... ецкий... Что это? Звон в ушах? Или аутентичная люстра позванивает своими хрусталиками в такт ритму будущего?

Ну — на сегодня довольно. Вписать только в каталог новую покупочку. Раскрыв толстый златообрезанный том, он аккуратно вписывает:

Автор — Давид Бурлюк. Цена — две тысячи. Название — «Таракан во Ще».

«...Перепендря-дря-дря...», да, чувствуется, несомненно... Но как уловишь?.. Впрочем, довольно на сегодня. Не надо переутомляться. Тем более, что завтра — концерт четвертьтоновой музыки, обещающий массу впечатлений...

X

У народного комиссара Луначарского — прием в Зимнем дворце.

Народный комиссар сидит в кабинете, обтянутом «веселеньким» кретоном в цветочки, за «декадентским» письменным столом белого дуба. Кругом — диванчики, пуфы, семь слонов, колченогий тигр. Народный комиссар, должно быть, предпочитает «изящный уют» — дворцовой пышности. Он, конечно, мог бы выбрать помещение повнушительней. Выбирать есть из чего — весь Зимний дворец.

Вот, например, Штернберг, комиссар Отдела изобразительных искусств. Он прибыл из Парижа, точнее, из «Ротонды» прямо в Зимний дворец, чтобы «принять власть» из рук «призвавшего» его пролетариата. Выбор пролетариата был сделан правильно. У Штернберга был солидный художественный стаж фотографа-ретушера. Было и «марксистское прошлое» — вечера, проведенные на углу Распай и Монпарнаса за «боком» и художественно-революционной беседой с будущим наркомом искусств.

«Восставший пролетариат» на примере Давида Штернберга лишний раз показал свое умение ставить людей как раз на то место, к которому они предназначены самой судьбой. Телеграммой Луначарского он призвал Штернберга вершить российские художественные судьбы. Спешно отретушировав последние заказы (не стоит ссориться с клиентами — неизвестно, как еще обернутся дела), выпив в «Ротонде» прощальное «деми», — Штернберг прибыл.

Помещение себе — не в пример Луначарскому — он выбрал величественное.

Маленький, щуплый, заикающийся, он сидит в каких-то раззолоченных хоромах. Кругом малахит, штофные занавеси, саженные вазы. В гигантском кресле на львиных лапах, с кожаной обивкой, тисненной золотыми орлами, в сереньком пиджачке и голубых манжетах «Линоль» (не требуют прачки — целлулоидировано — патент) сидит бывший фотограф-ретушер, а ныне, после Луначарского, «первое лицо в живописи» — Давид Штернберг. Сидит — и скучает. У Луначарского — полная приемная.

У Штернберга — никого. За неимением дел он занимается на досуге... немного забытым в «Ротонде» русским языком.

— У меня болит нóга, — читает он вслух.

— Ногá, — поправляет приставленный к нему секретарь.

Штернберг обижается:

— Ви поправляйте настоящие ошибки! А ви придираетесь к пустякам. Нóга — ногá — ну какая разница!

Редких посетителей Штернберг занимает разговорами о парижской художественной жизни.

— Пикассо!.. Если только он заметит у вас там краску или интересный мотив — так кончено. Украл. У нас на Монпарнасе все художники его остерегаются. Если он придет — я так и говорил: «Погодите, господин Пикассо, — у меня не прибрано». И пока он ждет за дверью — все холсты переверну к стене. Так ему что! Такой нахал — перевернет обратно и все высмотрит. И если что ему понравится — так это уже не ваш мотив — это его мотив...

Но посетители у Штернберга редки. Похвастать секретарем и царским помещением, потолковать о Пикассо — не всегда удается. Посетители пока, минуя кабинет комиссара изобразительных искусств, осаждают приемную народного комиссара.

Кокетливая приемная — тоже кретон, пуфы и слоны — полна народу. «Какая смесь одежд и лиц!..» Итальянец — скульптор, специалист по «Ню» (преимущественно «на шкуре льва» или «со змеей») — принес проект памятника Лассалю. Актриса из «Аквариума» — очень миловидная, кстати, — хлопочет о переводе в Мариинский. Старуха княгиня с трясущейся седой головой дер. жит свернутую трубкой жалобу на Совет, грабящий ее особняк. Тут же и председатель Совета — жуликоватый молодой человек в галифе, крутя ус, презрительно поглядывает на старуху: посмотрим, чья возьмет. Иероним Ясинский — первый из «крупных русских писателей», признавший большевиков. Саженный рост, седая грива, выражение лица — «сплошное благородство». Очень импозантный старик. Для воспроизведения на открытках, на фоне серпа и молота, вполне заменяет Льва Толстого. Ну и эстеты, поэты, художники в возрасте от семнадцати до двадцати трех, все больше левых

течений — «ничевоки», «всеки», «ослиные хвосты», «бубновые тузы». Теперь на их улице праздник — футуризм официально объявлен «господствующим искусством». Что ж, в добрый час!

Собственно пролетариата — почти не видно, если судить по платью. Впрочем, вот в углу два не то старших дворника, не то водочных сидельца солидно переговариваются:

— Да, это тебе не шутки. Это тебе не вакса.

— Родной племянник, сестрицын. Все наше семейство от него отчуралось. Первое дело — вор, второе дело — пьяница запойный, третье дело — хулиган. Родную мать только и не зарезал, что она прежде того от горя померла...

— Д-да... Это тебе не шутки.

— ...Лежит, бывало, на Лиговке, в дерьме, рожа расцарапана, на ногах опорки...

— Д-да... Это тебе...

— ...Теперь комиссар в нашем районе. Захожу к нему — все-таки племянник, сестры сын. Насчет муки и вообще. Сидит он, брат ты мой, за ломберным столом, куртка на нем кожаная, новенькая, золотые зубы вставил. Эй, кричит, подать мне мою машину. Еду в партейный комитет...

— Это тебе не вакса. Многое случается. А сюда зашли по какому делу?

— Насчет стекол. Стекла выбитые подрядились в Зимнем вставлять. А вы?

— За разрешением. На рояль. Рояль у нас в доме с самой войны в подвале стоит. Немецкий. Зря стоит. Домовый комитет постановил распилить на дрова. Ан — нельзя без Луначарского. За разрешением и пришел. Думаете, выдаст?

— Выдаст. Он, говорят, добрый...

...В общем, просителей человек пятьдесят. Секретарь Луначарского — молодой человек, бледный, томный, с челкой на лбу, с подведенными глазами и сиреневым галстуком-«папильоном». Он — эстет неопределенной профессии. Лицо его давно примелькалось всем посетителям «Вены», «Бродячей собаки», разных концертов и вернисажей. Он уже лет десять толчется

в петербургской богеме. Все его знают в лицо, никто не знает толком, ни кто он, ни как его фамилия.

Женоподобный и завитой, секретарь не помнит зла. Не помнит небрежно протянутых двух пальцев, невежливо недослушанных излияний, неотвеченных поклонов на улице. Нет — «власть» не вскружила ему голову.

На любезные улыбки тех, кто вчера еще отворачивался от него, — он отвечает сияющей готовностью сделать «все от него зависящее» для «старых приятелей». Таких оказалось вдруг множество.

На густо напудренном лице товарища секретаря играет смесь томности, растерянности, удовольствия. Грациозным жестом он откидывает портьеру, отделяющую будуар-приемную от «будуара» народного комиссара. Из толпы просителей новоиспеченные «друзья» делают ему знаки — «меня»... «меня». Секретарь на минуту задумывается: как бы провести «приятелей» вне очереди, не вызвав неудовольствия остальных? А! — Придумал.

— Граждане, кто с запиской от Горького — пожалуйте.

Три четверти ожидающих радостно вскакивают: я... я...

...У народного комиссара — прием. Он сидит, обложенный папками, печатями, циркулярами и другими атрибутами власти. Поблескивая пенсне, он перебирает эти бумаги, сметы, чертежи...

Входит посетитель.

— Прошу садиться, — бросает народный комиссар, мельком, но «проницательно» взглянув на вошедшего и снова опуская взгляд. — Прошу садиться. Изложите ваше дело. По возможности короче. Я страшно занят.

Посетитель редко «излагает дело» сам. По большей части у него есть записочка «от Горького», не от Горького, так от кого-нибудь другого.

— Вот, товарищ комиссар, — мнется он. — Вот... письмо от... где... я...

Дрр... Звонит переносный телефон на столе у Луначарского. Дрр... Дрр... Дрр... — Алло! Да перестаньте же звонить, товарищ! — Алло! У телефона народный комиссар... Дрр... Дрр... Дрр... — Алло! Да перестаньте же звонить!

Наконец телефон перестает звонить. Телефон новенький. «Акустика» в нем хорошая. Не одному Луначарскому слышно, как на другом конце проволоки кто-то надрывается:

— Откуда?..

— У телефона народный комиссар...

— Откуда? Зимний? Позовите Якова.

Луначарский, пожимая плечами, оборачивается к секретарю.

— Спрашивают какого-то Якова. Есть у нас товарищ Яков?

Секретарь презрительно улыбается.

— Яков? У нас? Connais pas, — вдруг жеманно выпаливает он, забыв о неуместности для представителя рабоче-крестьянской власти парижских оборотов... — Понятия не имею, — поправляется он, смутившись. — Впрочем... Кажется, кто-то из товарищей служителей. Я сейчас справлюсь...

Он грациозно ныряет за портьеру.

Луначарский ждет, поблескивая пенсне и перебирая бумаги. Ждет и посетитель, машинально откручивая кончик конверта на письме, где «все изложено».

— Откуда?.. Зимний... Откуда?.. — гудит снятая телефонная трубка...

Через некоторое время секретарь возвращается в сопровождении румяной бабы. Она распространяет сильный запах жуковского мыла, рукава ее засучены.

Баба берется за трубку. Хлопок мыльной пены, помедлив на ее локте, падает на портфель народного комиссара.

— Откуда?..

— Яков Петрович вышли... На Васильевский, струмент починять. Скоро должен вернуться...

— У... У... У... — гудит трубка.

— Только сейчас признали? — жеманится баба. — Вот вы какие, не узнаете... Маланья Сидоровна и есть...

Она жеманится и болтает. Новый клок пены начинает собираться на багровом конусе ее локтя, угрожая на этот раз колену Луначарского. Народный комиссар осторожно отодвигает колено.

— Вот вы какие, — воркует баба, — без делов к нам уж и не заглянете...

На лице Луначарского смесь досады: время — деньги, с озабоченной торжественностью — да, пролетарские министры — не царские. Проситель, открутив угол рекомендательного письма, теперь тщательно его разглаживает. Губы эстета-секретаря, против его воли, складываются в брезгливую усмешку.

— Вот вы какие... А еще кумы...

Наконец это торжество демократизма кончается. Баба уходит. Снова берясь за бумаги, Луначарский бросает:

— К вашим услугам, товарищ. А?.. Письмо? Позвольте...

С сурово озабоченным видом он пробегает письмо.

— Гм... Отсрочка прибыла?.. Деятель искусства... Конечно... Лично я — бессилен... Впрочем... Товарищ, — обращается он к машинистке, — будьте добры... Военному комиссару... Прошу... В виде исключения... Отсрочку... Совершенно незаменимому... Лично мне известному... Как ваша фамилия?

— Петров.

— ...Лично мне известному товарищу Петрову... А фамилия вашего друга?

— Попов.

— ...И лично мне известному, высокоталантливому...

...Сияя, «лично известный и высокоталантливый» уходит, унося свежеотпечатанное «отношение». Просьба Луначарского — еще подействует на этот раз. Комиссар, прочтя адресованную ему просьбу, поморщится, но все-таки исполнит просимое. Только все сильней они морщатся, все неохотнее исполняют... Скоро...

...В кабинете Луначарского уже новый посетитель. Снова народный комиссар грозно — благосклонно — диктует:

— ...В изъятие из правил прошу снять арест с сейфа, принадлежащего гражданину Сапогову, председателю ассоциации поэтов-футуристов «Куб».

Снова нарком размашисто расписывается и протягивает гражданину Сапогову заветную бумажку. Гражданин Сапогов, вероятно, добьется своего и, вынув из сейфа свои брошки и портсигары, успеет уехать за границу. Но скоро... Скоро — военный комиссар, прочтя просьбу Луначарского, топнет ногой и разорвет ее в клочья. И комиссар банковский холодно улыбнется

в лицо «председателя ассоциации поэтов-футуристов». — «Ничего не можем сделать... Слишком много записок пишет товарищ народный комиссар по... доброте сердца...»

Скоро в кретоновом будуаре расточительного на рекомендации народного комиссара сильно поубавится посетителей. И прибавится их — этажом выше, в кабинете просто комиссара Штернберга. Скоро комиссар Штернберг уже не будет иметь досуга изучать позабытый в «Ротонде» русский язык...

Заседание идет к концу. За столом — Штернберг-председатель и несколько членов только что образованного «И-З-О» (Отдела изобразительных искусств). Члены ИЗО — художники из левых, уже доказавшие свою преданность пролетариату прославлением его «конструктивно» — и в гипсе и на полотне. Заседание как раз и посвящено вопросу, как поддержать этих самоотверженных борцов за революцию. Нет ведь больше Морозовых и Гиршманов, чтобы покупать картины. Да эти безвкусные снобы разве способны были бы оценить их передовое творчество? Ну, хотя бы шедевр товарища Х, над которым он так долго работал. К гладильной доске прикреплен никелированной цепочкой от ключей кирпич. Называется «Ленин в ссылке». Разве Морозовы бы оценили?

Но пролетарская власть — оценит. Недаром Штернберг возглавляет ИЗО. В самом деле, не все ли равно, нога́ или но́га? Было бы стремление к высшему и революционный энтузиазм.

— ...Приобрести для музея бывшего Александра III конструкцию товарища Х «Ленин в ссылке»... — читает секретарь.

...Музей Александра III, конечно, недурно. Но, в конце концов, все-таки — наследие буржуазии. Наиболее передовые товарищи даже требуют сожжения всех этих мертвецких. Сжечь, пожалуй, слишком крутая мера. Но основать собственный музей — необходимо.

— ...Постановили, — читает секретарь, — основать Музей художественной культуры... Изыскать... Установить... Ассигновать... Управление Музеем возглавляется коллегией. Председатель Штернберг, члены... — следуют имена присутствующих, секретарь, читающий протокол, с благородной скромностью произносит собственное имя.

Главное — сделано. Музей — основан. Суммы отпущены. Но все-таки — где будет помещаться музей, чем пополняться?

Совещаются по этому поводу недолго. Там, где есть революционный порыв, — могут ли быть несогласия? Секретарь дочитывает протокол:

— ...Впредь до приискания помещения суммы, ассигнованные на Музей, выдать на руки товарищам... — следует перечень членов коллегии, — для приобретения ими произведений искусства, которые и составят ядро Музея...

Секретарь несколько обиженным тоном читает эту часть протокола. Увы, здесь его имя не фигурирует. Досадно. И несправедливо! Неужели, если человек при «кровавом царизме» был аптекарем, для него закрыты возможности революционного строительства?! Нет, не скоро мы изживем предрассудки проклятого прошлого!

Все это — заседания у Штернберга, основание музея, дружное согласие насчет раздела «сумм» — скоро все это осуществится. Пульс художественной жизни страны переместится из «ситцевого царства» Луначарского в пышные покои Штернберга. Переместится и забьется по-иному — ровнее, методичнее.

Посетители «с письмами от Горького» будут уходить неудовлетворенными, их даже не примет товарищ комиссар. У него нет никакого вкуса к «широкой манере» его предшественника. Конечно, эффектно, морща лоб и поблескивая пенсне, рассыпать деньги и рекомендации, как Лоренцо Великолепный, но разумно ли такое распыление «революционного порыва»? В тиши кабинета, в тесном кругу действительно «незаменимых» и впрямь «лично известных», работа идет, может быть, и не с таким блеском, зато результаты ее... реальные.

...Скоро будет так. Но пока Штернберг скучает один, а машинистка Луначарского отбила себе все пальцы, отстукивая письма и отношения. С лица изящного секретаря давно сползли пудра и крем-симон, и оно блестит вполне по-пролетарски. Сам «министр культуры» тоже как-то увял.

Со стороны может показаться не столь уж тяжелым делом — сидя в комфортабельном кресле, фигурно расчеркиваться на четверке бумаги. Но попробуйте проделать сто, а то и двести

таких росчерков, особенно если при каждом — ритуал открытых вопросов, понимающих кивков, строгих улыбок — одним концом губ...

...Завтрак опять пропущен. К «Фаусту и городу», драме, которую сочиняет народный комиссар, опять не удается притронуться. Нет времени. Никогда нет времени! Время Луначарского — поистине деньги. Еще точнее, деньги и рекомендации.

После творческого дня — творческий отдых.

Большая гостиная. Восковые оплывающие свечи в старинном канделябре. Стол, покрытый парчой. На столе развернутая рукопись «Фауста и города». Над ней склоненное, утомленное, строгое лицо народного комиссара. Рукопись... Свечи... Стакан воды... — Луначарский читает.

Слушайте «внимательно и чутко» — десятка два «избранных». Многие лица нам уже знакомы: они были утром на приеме в кретоновом кабинете — их принимали без очереди...

Теперь, «забыв угрозу жизни», они слушают «четкие стихи» народного комиссара в его «мастерском» чтении. Когда он останавливается на минуту, чтобы выпить глоток воды, легкий шепот восхищения проносится по залу. И снова — благоговейная тишина.

После чтения обмен восторженных мнений. X хочет писать музыку к поэме. Z — ее иллюстрировать. Y — переводить ее.

За дружеским диспутом распивают не одну бутылку вина, полученную по записке с печатью Наркомнроса со складов Смольного. Икра и ананасы в банках — тоже оттуда.

— ...Изумительно... Конструкция фразы — чисто мольеровская, — вдумчиво роняет козлобородый критик.

— При этом — гетевская просветленность, — вставляет другой.

— И темп Маринетти...

Народный комиссар — нет, не комиссар, просто поэт среди братьев по искусству, может быть, старший из них, более озаренный, более мудрый — и только, — слушает эти отзывы, мягко поблескивая стеклами пенсне. То, что товарищ X отметил просветленность, его особенно радует. Именно просветленность тона он считает важнейшим достижением поэзии. Конечно, если при этом сохраняется темп...

Пустые бутылки сменяются новыми. Икра — тоже. Хозяйка салона — пышная дама с большими бриллиантами в ушах (конечно, они спасены из сейфа благодаря хлопотам наркома), — пышная хозяйка в пышном пунцовом платье — кринолином, — отводит Луначарского в сторону.

— ...Анатолий Васильевич, — слышится шепот из угла. — Я в отчаянье... Ваша любезность... Наш театр... Все так дорого... Предыдущая ассигновка...

Луначарский отечески улыбается.

— Пустяки, дорогая. Мы это устроим...

Скоро все изменится. Скоро теперешние восторженные слушатели «Фауста и города», основав Музей художественной культуры, перестанут «гутировать» стих наркома и его мастерское чтение. Скоро благосклонная хозяйка салона станет менее благосклонной — ассигновки наркома возвращаются неоплаченными. Скоро... Много неприятностей скоро придется испытать товарищу народному комиссару просвещения и искусств...

Но пока — свечи оплывают, камин горит, ценители поэзии тихо переговариваются, доедая последний ананас. Народный комиссар собирает рукописи в портфель. Пора домой, он устал. Еще бы не устать! Но есть что-то бодрящее в этой усталости — трудовой, творческой, революционной. И *просветленность* и *темп* в одно время.

XI

«Пески» за чертой Суворовского проспекта были совсем особое царство — захудалое, сонное, провинциальное. Суворовский, конечно, тоже был не rue de la Paix[27], но все-таки там ходил трамвай, на одном углу кондитерская, на другом кинематограф, городовой в медалях регулирует движение, и публика, особенно по вечерам, идет стеной. И сама эта публика, хотя и не была блестящей, все же имела вид более или менее столичный — котелки и вуальки, перчатки и муфты. Но стоило свернуть

---

[27] рю де ля Пе — улица Мира (*фр.*).

с Суворовского на любую из пресловутых Рождественских, сделать несколько шагов в глубь «Песков» — и картина менялась.

...Восемь-девять вечера, но тишина и пустота такая, точно в три ночи. Желтый фонарь уныло мигает. До следующего, — такого же мутного и тусклого, — шагов тридцать тьмы. Огни в домах потушены, окна занавешены. Вот из «междуфонарной» тьмы вырисовывается какая-то подозрительная фигура: что, если это разбойник, которому вздумается вас ограбить? Кричите сколько угодно — кругом никого, ничего.

Фигура медленно приближается к источнику мутного света, очертания ее вырисовываются ясней. Нет, это не разбойник, это мирный житель сих мест, вышедший на вечернюю прогулку. Дойдя до фонаря, он, покачнувшись, останавливается. Левой рукой обхватывает фонарный столб, правой достает из кармана полбутылки. Уши чухонской шапки треплются на ветру, голова «запрокинута к звездам», водка слабо и сладко булькает...

Рождественские пересекались Дегтярной. За этим пересечением была уж совсем глушь — фонарей еще меньше, какие-то домишки, какие-то деревянные заборы, сквозь щели которых нередко высовывалась лохматая собачья голова, чтобы хватать за ногу зазевавшегося прохожего. «Пески», одним словом. И вот тут-то, в самом сердце «Песков», на углу восьмой Рождественской и Дегтярной, помещалась редакция газеты «Петербургский глашатай».

В 1911–1912 гг., время от времени, по газетам и журналам, по литературным и театральным знаменитостям, просто по адресам, взятым наугад во «Всем Петербурге», рассылались отпечатанные на бледно-лиловой с жилками бумаге не то приглашения, не то уведомления или, как значилось на подзаголовке, «инвитации». В «инвитации» значилось, что получившее лицо имеет право посетить устраиваемый в редакции поэзо-праздник. Далее следовало перечисление изысканных удовольствий, на этом празднестве предстоящих, например, танцев с факелами в исполнении «знаменитой танцовщицы Кармен, солистки инфанта Испании» или tire aux pigeons в роскошном зимнем саду редакции. Меню ужина, тут же сообщавшееся, было не менее «эпатантно»: филе молодых соловьев в «Шамбертене 1799 года»

и фиалки в снегу из шампанского обещались тому, кто пожелает приглашением воспользоваться, не пожалев ничтожной суммы — пятьсот рублей, — взимаемой редакцией «Петербургского глашатая» на «покрытие расходов».

Пятьсот рублей были, конечно, вполне надежной гарантией, что никто, кроме составителей отдела «Смесь» на последней странице какой-нибудь «Биржевой вечерней», поэзо-праздником не заинтересуется. Но из вящей осторожности «директориат» «Глашатая» рассылал свои «инвитации» с опозданием на два-три дня против числа, на которое поэзо-праздник назначался. Так что если бы против всякого вероятия нашелся в Петербурге такой «любитель изысканного», который не пожалел бы «ничтожной суммы» за наслаждение отведать соловьиное филе под танцы испанской солистки, он, взглянув на календарь, мог только вздохнуть, — увы, я опоздал. Если же этот эстет, велев приготовить свой голубой лимузин (ибо без голубого лимузина, разумеется, такого сверхэстета немыслимо себе и представить), отправился бы взглянуть хоть с улицы на место, где всего три дня тому назад происходило столь блестящее торжество, он увидел бы на углу Дегтярной и восьмой Рождественской вросший в землю деревянный домик с мезонином, герани и клетку с канарейками в окнах, дощатый забор, утыканный по верху гвоздями, и на калитке надпись «Остерегайтесь собаки». Что подумал бы эстет, глядя из своего лимузина на все это, решить не берусь — я не эстет, слава Богу.

«Иван Васильевич Игнатьев — директор эдиции "Петербургский глашатай", Игорь Северянин, Василиск Гнедов, Константин Олимпов, Грааль Арельский — члены директориата на отдыхе в Ницце».

По тем же адресам, что и лиловые с жилками «инвитации», рассылалась и фотография-открытка с такой подписью. «Директориат» сидел на фоне мраморной урны и трельяжа, вытянувшись по-солдатски на козетке в пуговочки. На директоре — Игнатьеве — распахнутая хорьковая шуба, цилиндр и тройная цепь, пущенная по жилету. Игорь Северянин в «приличном пальто» с каракулевым воротником. Арельский — в студенческом. Олимпов и Василиск Гнедов с поэтическими кудрями,

покрывающими свежезакупленные бумажные воротнички. На круглом столике перед козеткой — бутылка шампанского, предусмотрительно повернутая этикеткой назад, и пять длинных граненых бокалов из приданого бабушки «директора эдиции»...

...В начале 1911 года, когда Игорь Северянин из своего знаменитого четверостишия —

Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен.
Я повсеместно обэкранен.
Я повсесердно утвержден —

мог с легким сердцем (что он и делал на все лады) «утверждать» только содержимое первой строчки, ибо победой упиваться было пока не с чего — будущего мимолетного «властителя дум» медичек и бестужевок еще никто не знал, — к Северянину, невероятно, пришел издатель, желающий его печатать. Он был немного молод для издателя — ему было девятнадцать лет, но хорьковая шуба выглядела солидно и тройная цепь, пущенная по жилету, была полновесной 56-й пробы. Потом уж выяснилось, что именно эта цепь вместе с огромными наследственными часами и есть главный фонд «Петербургского глашатая». Часто, чтобы выкупить из типографии какую-нибудь «эдицию» страниц в пятнадцать объемом, цепь эта отправлялась в ломбард. Иногда за ней следовала и хорьковая шуба. Но как бы там ни было — все-таки это был издатель, первый издатель, разбивающий своим появлением стену всеобщего равнодушия, о которую уже столько лет как рыба об лед бился Северянин с 1905 года, день за днем, год за годом ожидавший славы, которая все «почему-то» не приходила. Кстати, говорят, что все зависит от силы желания, если «как следует» желать, то и сбудется желаемое, как бы оно ни было маловероятно. Не этим ли объясняется успех певца «ананасов в шампанском», успех, исчезнувший так же молниеносно, как начался? Редкая «физическая» талантливость Северянина, конечно, несомненна... но все-таки, когда на вечерах «божественного Игоря» я смотрел на тысячную, без всяких преувеличений, толпу (и не из одних же швеек она состояла!), рычащую от восторга на разные его «грезовые эксцессы» и «груди, как дюшес», я спрашивал себя, что же все-таки с этими людьми?

В самом деле, может быть, Игорю Северянину так хотелось славы, что он вызвал ее из пустоты, как факир из пустоты выращивает пальму. Потом «упоение победой» ослабило страстность желания, и мираж исчез так же, как появился?..

Итак, Игнатьев явился к «еще неведомому избраннику» и предложил в его распоряжение свой кошелек, точнее, часы и шубу. Издавать было что — три огромных тома стихов, «приготовленных к печати», давно ждали издателя. Но нет, издавать их в расчеты Игнатьева не входило. Книги можно издать когда-нибудь потом, когда «дело разовьется». Теперь же он предлагал Северянину газету, пока еженедельную, где о гении его будут писаться статьи и где самые смелые, самые «острые» его поэзы будут помещаться в таком количестве, в каком Северянин пожелает. Закладывать шубу в ломбард только для того, чтобы содействовать «обэкраненью» и «повсесердному утверждению» Игоря, в расчеты Игнатьева не входило. Он не менее Северянина «желал славы». Только в отличие от Северянина, в даре которого, при всей его пустоте, было что-то и впрямь «божественное», — Игнатьев был бесталанный человек с низким скошенным лбом и тяжелым взглядом, которому, на его несчастье, захотелось блистать, удивлять, очаровывать сердца, потрясать мир.

«Петербургский глашатай» начал выходить, правда, не еженедельно, а когда придется. Внешность его была жалкая — четыре страницы газетной бумаги малого формата, с расплывающейся печатью захудалой типографии. Содержание... Северянин печатал там свои поэзы, Игнатьев — критические статьи и афоризмы. Перо у него было бойкое. За неимением досуга он еще не читал ни Толстого, ни Достоевского, ни даже Пушкина, в чем без особого стеснения признавался. «Зато» — прочел всего Пшибышевского и «Портрет Дориана Грея». Лорд Генри особенно его пленил. Он считал себя подражателем уайльдовского героя, только на новый, футуристический лад, что, понятно, еще «шикарней».

В промежутках между выходом «Петербургского глашатая» устраивались те самые поэзо-праздники, о которых задним числом извещали бледно-лиловые «инвитации».

...Часа два ночи. В трех маленьких, низких комнатах мезонина страшная жара: печи докрасна натоплены, окна без форточек

глухо замазаны на зиму. Под висячей керосиновой лампой — растерзанный стол с грязными тарелками и пустыми бутылками. По диванам и стульям развалились гости и директориат, опьяненные «Шамбертеном 1799 года» из казенной лавки напротив. Северянина нет — когда «празднество» начинает становиться гнусным, он неизменно уезжает. Его и не удерживают, его умение пить, не пьянея, и барственный холодок стесняют компанию. Но вот он, единственный человек, которого здесь стесняются и побаиваются, ушел. Теперь — гуляй вовсю.

Гости, как на подбор, не просто пьяницы, а прирожденные алкоголики. Вот семнадцатилетний мальчик с голубыми глазами и розовым припухлым ртом — Константин Олимпов, сын Фофанова. Он был уже в белой горячке — стрелялся, топился, бросался на мать с ножом, дважды сидел в доме для умалишенных. Вот Василиск Гнедов, постарше, в плечах косая сажень, кулаком как-то убил волка. Тоже побывал на «одиннадцатой версте». И еще какие-то — все «поэты», все «фантасты и грезеры»... Всех их подобрал где-то по ночлежкам и пивным директор «Петербургского глашатая» — ссужает их двугривенными, поит «Шамбертеном 1799 года» и печатает их пьяный бред в своих «эдициях»... Зачем?

«Солистка инфанта» — Кармен — женщина лет сорока со смуглым лицом, странным и не без прелести, — плачет. На коленях перед ней огромный человек с длинными всклокоченными седыми волосами, по фамилии Ларионов. Он тоже плачет обильными пьяными слезами. Он влюблен в эту гуляющую по вечерам между Коломенской и Пушкинской героиню Мериме.

Он плачет, размазывая рукавом по лицу текущие, как вода, слезы.

— Калмен... дологая... Калмен — я тебя люблю — Ларионов не поэт, он только любитель поэзии и мелодекламатор. Он совершенно шепеляв, так что часто трудно его понять сразу. Это-то и пленило Игнатьева.

— Калмен, дологая... Не плаць! Плиеспай ко мне в Гатцино. Я подалю тебе... самых луцщих яицек импелатолского птицника...

Он не хвастает. В самом деле, пожелай только Кармен, — он подарит ей сколько угодно «яицек», самых свежих, самых отборных. Он в Гатчине заведует дворцовым птичником.

Но Кармен не слушает.

— Калмен, я буду тебе цитать стихотволения...

— Эй, — вдруг кричит Игнатьев. — Эй! Tire aux pigeons! Tire aux pigeons![28] — вскакивают все, кроме Кармен и Ларионова. — Tire aux pigeons!

Крича и толкаясь, прихлебывая из стаканов и бутылок, по узкой деревянной лесенке взбираются на чердак. На чердаке лютый холод, но никто его не замечает. Напротив, иные сбрасывают пиджаки, чтобы было ловчей...

...По низкому, тесному чердаку, между веревок с бельем и разной рухлядью, мечется ошалелый, выпущенный из клетки голубь. За ним гонятся, швыряют в него пустыми бутылками, камнями, чем попало. Деваться ему некуда, окна забиты, потолок низкий. Ошалелая птица мечется среди ошалелых людей под градом камней и бутылок. Как ни неловки пьяные движения, какой-нибудь удар попадает наконец в цель...

Сам Игнатьев не участвует в охоте. Он только смотрит и улыбается. Улыбка у него неприятная...

...Однажды Ларионова, возвращавшегося с такого поэзо-праздника, задержала полиция за появление на улице не только в пьяном, но и «неподобающем» виде. Вид был действительно неподобающий, особенно для «придворного лица», как он любил себя называть. Половина его пышной седой шевелюры была гладко выбрита, и череп выкрашен был в зеленый цвет масляной краской. Лоб и щеки расписаны синими вопросительными знаками и красными восклицательными. На изрезанном в клочья пальто болтался бубновый туз...

Все это проделали над ним участники поэзо-вечера по почину и под руководством «директора эдиции». И — маленькая подробность: подбирая вокруг себя пьяниц и спаивая их, сам Игнатьев не пил ничего. Он пил клюквенный морс или чай, редко стакан пива. Так что и бритье Ларионову головы, и многое другое в том же роде — всего не перечислишь — делалось им в состоянии совершенно трезвом.

---

[28] Стрельба в голубей! Стрельба в голубей! (*фр.*).

Случайно (кажется, это было в начале 1913 года) я попал к Игнатьеву на свадьбу. Я получил приглашение и запомнил адрес. Как раз в вечер свадьбы мне пришлось часу в двенадцатом ночи проходить мимо той кухмистерской на Кузнечном, название которой стояло на свадебном приглашении. Все окна были освещены, слышалась музыка. «Это не Игнатьева ли свадьба?» — спросил я у швейцара. «Так точно», — распахнул он дверь. Не зайти ли? Но раздумывать времени не было, какой-то футурист из игнатьевской свиты узнал меня и потащил представлять невесте.

Невеста была совсем молоденькая, с птичьим миловидным личиком. Она все время поправляла фату и тоненьким голоском приговаривала на все стороны: «Угощайтесь, господа, угощайтесь». Столы были завалены индейками и заливными, приглашенных видимо-невидимо. Игнатьев во фраке, напомаженный и завитой, тоже потчевал гостей и улыбался. Улыбка была всегдашняя, неприятная.

На другой день молодые делали визиты, а когда вернулись домой, Игнатьев зарезался.

— ...Иван Васильевич был, как всегда, веселый, шутил. Были у тетеньки, потом у Никифоровых, потом у полковницы... Извозчик был у нас по часам взят. Когда вышли от полковницы, Иван Васильевич говорят: «Поедем в Гостиный, выбрать тебе брошь». А я отвечаю: «Лучше завтра, устала я». Они посмотрели так сбоку и говорят: «Завтра? А если опоздаем? Впрочем, как желаешь», — и велел кучеру ехать домой. Я еще спросила, почему же завтра поздно — ведь будний день, среда? Только они ничего не ответили...

...Как вернулись домой, вошли в кабинет, Иван Васильевич сейчас же дверь на ключ. Зачем закрыл? А он уже ко мне. Смотрит так страшно, — любишь меня, шепчет, любишь, хочешь вместе со мной умереть? И бритва в руках.

Не помню, как и вырвалась. Должно быть, хоть на ключе, да щеколда не задвинута — дверцы и поддались. Вырвалась, подняла крик. Покуда сбежались люди — они уже лежат все в крови, хрипят...

Заплаканные глазки на миловидном птичьем личике смотрят так же наивно-удивленно, как несколько дней назад на свадебном балу. И в тонком голоске та же интонация, что тогда: «Угощайтесь,

господа, угощайтесь». В кабинете Игнатьева, где мы разговариваем, чисто прибрано, канарейки заливаются, на столе аккуратно сложенная груда «эдиций» и рукописей, над столом на гвоздике пузатые часы с толстой цепью пятьдесят шестой пробы. И рядом в рамочке под стеклом — «художественное увеличение» с открытки: «Директориат “Петербургского глашатая” на отдыхе в Ницце»...

XII

К собранию стихов Фофанова приложен его портрет в молодости. В сюртуке, очень худой, длинноволосый, руки вычурно заломлены на острых коленях, голова с гривой длинных волос «поэтически» закинута назад.

Помню его и таким... — чуть было не написал я. Это, разумеется, было бы «не совсем точно». Таким Фофанов был лет за десять до появления моего на свет. И в то же время действительно — «помню» и таким.

Когда в 1910 г., за год до смерти Фофанова, нас случайно познакомили, за столиком третьеразрядного ресторана, где мы встретились, — сидело два Фофанова. Один старый, обрюзгший (ему было всего сорок восемь лет, но выглядел он совершенным стариком), давно небритый, с потухшими, маленькими, ничего не выражающими щелочками глаз, и рядом другой, в сюртуке, худой, большеглазый, с головой, поэтически откинутой назад, — точная копия только что описанного портрета.

Оба — отец и сын — были сильно навеселе. Оба, размахивая руками, наперебой читали стихи. И стихи у обоих были хотя внешне и непохожие (младший Фофанов был футуристом, о старой и новой поэзии шел у них вечный бестолковый спор), но какие-то в то же время одинаковые. Неряшливый набор слов, стертых, как пятаки, или бессмысленных, в которых нет-нет и промелькнет какая-то райская музыка.

* * *

«Они меня погубили». «Из-за них я пью, из-за них умру под забором». «Они замалчивают мои книги». «Они крадут у меня размеры, рифмы, все...» Они... они... они...

Достаточно посидеть с Фофановым четверть часа, чтобы бесконечное число раз услышать это — «они, они, они». С первого же слова знакомства с первым же встречным — будь то оценщик ломбарда, куда он принес женин оренбургский платок, или половой в трактире, или сосед по конке — Фофанов непременно заведет разговор о «них» с жалобами, проклятиями, угрозами, размашистыми жестами и, конечно, россыпью забористых словечек, невоспроизводимых в печати. Причем это «они» говорится без всяких пояснений, как о чем-то общеизвестном, разумеющемся само собой. Если же все-таки спросить, кто же это они, ответ получится краткий:

— Они? Пробочники!

Пробочники — значит писатели-символисты. Символистов он ненавидит. Пробочники же они потому, что у са́мого, по понятиям Фофанова, главного из них, са́мого ему ненавистного — Валерия Брюсова — есть или был пробочный завод. Завод этот был высмеян Бурениным в одной из его пародий на Брюсова. С легкой Руки Буренина этот завод засел в отуманенной тяжелой жизнью и водкой голове Фофанова. Иногда вместо «пробочников» он еще говорит «Дантесы». «Они», символисты, «пробочники», еще и «Дантесы» — убийцы Пушкина. Они разрушают его дело своим кривлянием и «лиловыми ногами» — это раз. Два — они «травят», «замалчивают», «обкрадывают» его, Фофанова, прямого, законного, единственного пушкинского наследника — за то, что он наследник, потому что он наследник.

— И ты Дантес! — неожиданно набрасывается Фофанов на сына, свой живой портрет в молодости, сидящий рядом с ним. — Что? Новое искусство? Футуризм? Врешь, пащенок. Нет никакого нового искусства. Есть вечная, благоуханная, — он подымает торжественно руку, голос его дрожит, слезы навертываются на глаза, — святая поэзия и есть... — Фофанов кричит на весь ресторан трехэтажное непечатное выражение.

— Целуй сейчас же. — Он роется в карманах засаленного сюртука. — Целуй! — Он тычет в лицо сыну замусоленную открытку с Пушкиным. — Целуй, или убью!

Его собственный портрет, сидящий рядом с ним, встряхивает лохматой шевелюрой, закидывает еще выше голову и, равнодушно

отстраняясь от открытки и трясущегося отцовского кулака, рассудительным тоном говорит:

— Отстаньте, папаша. Пушкин ваш пошляк, а вы сами мраморная муха.

* * *

Фофанов жил в Гатчине, где-то на самом краю, в самой захолустной части этого захолустного, хотя и «великодержавного» городка. Чтобы попасть к Фофанову, надо было идти по колено в снегу через двор и потом каким-то узким темным помещением, увешанным сбруей и хомутами, пахнущим кожей и лошадьми. Наконец — маленькая облезлая дверца, из-за которой слышится пьяная возня или невнятное бормотание стихов.

К Фофанову можно прийти когда угодно, привести с собой кого угодно. Он не удивится самому неурочному часу, не выкажет недоумения при виде совершенно незнакомого человека. Напротив, кто бы когда ни пришел — он всегда рад. Усадит, закажет стряпухе самовар, принесет папиросы, сам сбегает в лавочку и выпросит в долг какую-нибудь закуску.

Фофанов и по натуре очень гостеприимен. А кроме того, он больше всего на свете боится одиночества.

— Когда остаюсь один — не могу. Сижу вот так с вами, с другим кем-нибудь, и ничего — дышу. А останусь один, и сейчас же начинается... это самое. Мерзко, что кровь-то, кровь сопротивляется, приливает к голове, к ушам, вот-вот наружу бросится. Не испытывали? Пренеприятнейшее чувство-с. Но посещает меня исключительно, когда я один. На людях никогда, ни-ни. Ну-с... За ваше здоровье.

Оставаясь один, Фофанов начинал чувствовать... давление атмосферы.

Началось это года три назад. Вычитал в календаре или в отделе «Смесь» сведение, доселе ему неизвестное, о том, что воздух имеет вес. Это, и особенно огромные цифры, его поразило. Достал какую-то популярную книжку на эту тему, внимательно перечел. Несколько дней потом ходил молчаливый, задумчивый. После и началось «это самое».

— Кровь-то, кровь — сопротивляется, приливает...

Фофанова возили по докторам, те слушали, стукали, ничего не нашли. Все-таки его лечили, даже в Гагры ездил он на счет М. А. Суворина, в «Новом времени» которого сотрудничал. Почему именно в Гагры — неизвестно. Знаю только, что в Гаграх Фофанов страшно скучал, сначала, как обещал докторам, держался. Потом — сорвался, запил по своему обыкновению вмертвую. Еще в Гаграх в пьяной драке он чуть не убил какого-то дьякона. Тем и кончилось лечение — от таинственной болезни давления атмосферы.

Фофанов боится одиночества. Но, собственно, бояться ему нечего. В одиночестве ему редко приходится оставаться. Шесть человек детей, жена, он сам, не считая кота, собаки, бесчисленных канареек, — все ютятся в двух маленьких комнатах. Кроме этого, так сказать, коренного населения, в квартире Фофанова еще постоянно толкутся гости.

Гости самые разные. Околоточный из соседнего участка, хозяин пивной на углу напротив, какой-то сухонький старичок, бывший вице-губернатор, отдаленный от этого своего потерянного величия несколькими годами арестантских рот, толстая булочница, поклонница поэзии, снабжающая Фофанова хлебом и не требующая по счетам, какие-то студенты, какие-то просто оборванцы... Приходят и друзья писателя, поэты «старой школы».

Из Павловска наезжает аккуратный тихий старичок Леонид Афанасьев. Он полная противоположность Фофанову — не пьет, не курит, от непечатных слов болезненно морщится. Только в одном они сходятся — в ненависти священной к «Дантесам». У Афанасьева грустный, умный взгляд, вежливейшие манеры, совершенно лысый его череп тщательно закрашен... черной китайской тушью.

Приходит какой-то «Петр Силыч», фамилию не помню, тоже поэтический «друг былых, славных времен». «Огромный талант, — говорит о нем Фофанов. — А чтец какой — послушайте». Чтец действительно редкий. Читает он громовым голосом, делая трагические жесты, страшно выкатывая глаза и потрясая львиной гривой волос. При этом он страшно шепеляв. «Она,

как бабочка, парила над толпой» — есть у Фофанова такая строчка. В передаче «замечательного чтеца» получается явственное:

Она, как бабушка, солила над толпой...

Ходят еще друзья сына — поэты, футуристы третьего разряда, бесталанные подражатели Маяковского или Игоря Северянина. В ссорах о новой и старой школе иногда доходит до драки. Но страсти быстро успокаиваются, мир легко восстанавливается. Дело в том, что футуристы эти хоть и ниспровергают «все существующее», но от самого своего литературного рождения чувствуют себя ущемленными, несправедливо обиженными — кем? Да все теми же «Дантесами», «пробочниками» — теми, кто учился в университетах, кто распоряжается издательствами и журналами, кто ходит в чистых воротничках и обедает за столом, покрытым скатертью.

— Тише, — вдруг говорит Фофанов, перебив какой-нибудь спор или чужое чтение. — Тише! Я, — надо слышать, как гордо порой произносит он это «я», — я буду читать.

Ты — небо ясное в светилах,
Я — море темное. Взгляни,
Как мертвецов в сырых могилах,
Я хороню твои огни.

Читает он прекрасно, сдержанно, отчетливо, дрожащим, но звучным голосом. От стихов Фофанова в его чтении, даже от неудачных стихов, всегда что-то «распространяется». Какое-то величие неосуществленное, невоплотившееся и все-таки веющее между строк. Читает он долго, словно забывшись. Из забытья его выводит голос сына-футуриста.

— Папаша, ей-богу же, вы — мраморная муха!

Фофанов обрывает неоконченное стихотворение и смотрит на сына с изумлением, точно не понимая, откуда тот взялся. Потом устало машет рукой и, ничего не сказав, устало тянется к бутылке.

Фофанов писал:

Я и сам хочу в могилу
И борьбе своей не рад.
И бреду я через силу,
Кое-как и невпопад.

Тема эта бесконечно варьируется в его стихах — «Устал», «Не хочу больше», «Хочу в могилу». И в разговорах он постоянно повторял то же: «Не хочу», «Не могу», «Устал».

Но перед самой смертью в нем со страшной силой проснулось желание жить, дикое сопротивление перед этой, уже раскрытой для него могилой. «Не хочу, не хочу, не хочу умирать», — повторял он непрерывно, точно заклинание. С этим страстным «не хочу» на губах он и умер. В агонии ему мерещился Брюсов с когтями и хвостом, он рвался с постели, чтобы вступить с ним в единоборство. Трое мужчин едва его удерживали. Перед смертью в нем — человеке довольно тщедушном — проснулась необыкновенная физическая сила: он рвал в клочья толстые полотняные простыни, согнул край железной кровати...

* * *

Хоронили Фофанова в мае 1911 года. За гробом шла разношерстная, не очень большая толпа. Шло несколько литераторов из второстепенных, шли гатчинские кумушки, шел приятель околоточный и приятель хозяин пивной на углу. Но многие плакали навзрыд.

В глубоком трауре, но очень свежая, нарумяненная и набеленная шла за гробом его некрасивая, психически больная жена, которой посвящена одна из лучших книг Фофанова — «Иллюзия».

Когда гроб опустили в могилу, поэт-футурист, живой портрет отца, вышел, чтобы сказать надгробное слово. Он помолчал, коснулся лба рукой, откинул поэтически голову, обвел всех мутными голубыми глазами и рассудительным тоном сказал: «Наш Фофан в землю вкопан». И заплакал. Его подхватили под руки и увели. Он был сильно пьян и, когда его уводили, отбивался и выкрикивал что-то о футуризме и мраморных мухах.

XIII

Всю ночь валил снег, такой обильный, что сугробы вырастали сейчас же, как только дворничьи лопаты переставали на минуту расчищать тротуар. Часов в двенадцать дня ко мне пришел

Мандельштам. Он был похож на белого медведя и требовал водки, коньяку, пуншу — иначе он сейчас же простудится и умрет. Я постарался отогреть его, чем мог. Пока мы завтракали, снег стал реже, воздух светлее, блеснуло солнце. Через час мы уже шли по Невскому — наведаться в университет, оттуда зайти в «Гиперборей». На Васильевский остров со Знаменской путь не маленький; но погода стала вдруг так хороша, что мы соблазнились. Соблазн оказался «роковым».

Казанская площадь была полна народу. Флаги, портреты, «Боже, царя храни» с одной стороны, с другой свист, крики «долой», «погромщики». Это была манифестация по случаю взятия Скутари, столкнувшаяся здесь, на Казанской площади, с неблагонадежными элементами.

Мы вмешались в толпу, чтобы поглядеть, что происходит. Толпа нас сжала, потом цепь конных городовых с криком «Расходитесь, расходитесь, господа» оттиснула нас в сторону Казанской улицы...

И через несколько минут мы оказались в каком-то узком и мрачном дворе, где околоточный с руганью выстраивал нас в пары. Попались.

Нас долго держали во дворе — с полчаса. Когда вывели — толпы на площади уже не было. «Последние тучи рассеянной бури» — партии таких же, как мы, арестованных, окруженные конвоем, уводились куда-то вглубь по Конюшенной. Тем же путем последовали и мы.

Мне стоило большого труда успокоить моего спутника. Мандельштам требовал телефона, письменных принадлежностей, чтобы писать кому-то жалобу; кричал, что он знаком с Джунковским, и волновался ужасно. Волноваться же было совершенно бесполезно — никто его не слушал, надо было, покорясь судьбе, сидеть и ждать очереди, пока не вызовут в кабинет пристава.

Пристав оказался человеком любезным и обходительным. Он просил успокоиться начавшего снова доказывать и протестовать Мандельштама.

— Маленькое недоразумение... Сейчас мы это уладим... — Он взялся за карандаш. — Ваши фамилии, господа, адреса...

Когда Мандельштам назвал свою фамилию и «род занятий», пристав приятно осклабился.

— Не сын ли вы известного адвоката, позвольте узнать?

Мандельштам даже привскочил. Он стал весь красный.

— Господин пристав. Даю вам слово... Даже не знаком...

— Но позвольте...

— Даю вам слово... Я сын купца. Сын купца.

— Но позвольте, молодой человек, почему вы так нервничаете? — удивился пристав. — Вы вон писатель... Я и предположил, не из семейства ли нашего известного...

— Нет, нет. Сын купца.

Пристав пожал плечами, попросил нас расписаться, и нас выпустили.

— Почему ты так испугался? — спросил я Мандельштама, когда мы вышли.

Он смерил меня взглядом, полным снисходительного презрения к моей несообразительности:

— Как? Ты не понял? Ты не понял? Так это же была провокация.

Я повторил жест любезного пристава: молча пожал плечами.

В университет было поздно, но в редакцию «Гиперборея» в самый раз. Да и куда же ехать, чтобы поделиться нашими приключениями, как не в эту приятнейшую из редакций.

В зеркальные окна просторного, натопленного, устланного коврами кабинета видна Невка, покрытая зимующими во льду барками, Тучков буян, мост. Все это завалено снегом, залито красным зимним закатом. Так успокоительно в этом просторном, теплом, уютно освещенном кабинете. Горничная в наколке разносит чай, бисквиты, коньяк. Уже собрался кое-кто. Хозяина — редактора — еще нет, задержался в типографии. Но вот — скрип двери, шорох портьеры:

Выходит Михаил Лозинский,
Покуривая и шутя,
С душой отцовско-материнской,
Выходит Михаил Лозинский,
Рукой лелея исполинской
Свое журнальное дитя...

Мало кто помнит о «Гиперборее», да и имя Михаила Лозинского известно только в узких литературных кругах. Поэтому скажу два слова об обоих.

В 1907 году в Париже русские начинающие поэты выпускали журнал «Сириус». Журнал был тощий — вроде нынешних сборников Союза молодых поэтов, поэты решительно никому не известны. Неведомая поэтесса А. Горенко печатала там стихи:

> На руке его много блестящих колец
> С покоренных им девичьих нежных сердец.
> Но на этой руке нет кольца моего.
> Никому, никому не отдам я его.

Это имя — Анна Горенко — так и кануло в Лету вместе с напечатанными в «Сириусе» стихами: свои позднейшие произведения поэтесса стала подписывать псевдонимом — Ахматова.

Молодые поэты издавали этот журнал, как и полагается, в складчину. Каждую неделю члены «Сириуса» собирались в кафе, чтобы прочесть друг другу вновь написанное и обменяться мнениями на этот счет. Редко кто приходил на такое собрание без «свеженького» материала, и Гумилев, присяжный критик кружка, не успевал «припечатать» все, что хотел.

Самым плодовитым из всех был один юноша с круглым бабьим лицом и довольно простоватого вида, хотя и с претензией на «артистичность»: бант, шевелюра... Он каждую неделю приносил не меньше двух рассказов и гору стихов. Считался он в кружке бесталанным, неудачником — критиковали его беспощадно. Он не унывал, приносил новое — его опять, еще пуще, ругали. Звали этого упорного молодого человека граф А. Ник. Толстой.

Молодые люди разъехались из Парижа, собрания в кафе кончились. «Сириус» прекратился. Но память о нем осталась настолько приятная, что бывшие его сотрудники пытались восстановить «Сириус» уже в Петербурге. Первая попытка — «Остров», бывший по составу сотрудников повторением «Сириуса», скоро прекратился сам собой. Тогда Гумилеву пришла мысль — не реставрировать старый журнал, а основать новый и по духу и по составу сотрудников, — но того же типа, т. е. поэты сами хозяева и «полная независимость».

«Гиперборей» выходил ежемесячно, аккуратно изданными книжками в 32 страницы. Книжки были аккуратные, но выходили они крайне неаккуратно — августовская в январе, январская в июле. «Послушайте, — сказали как-то Лозинскому, — ваш «Гиперборей» невозможно опаздывает — перед подписчиками неудобно». Лозинский нахмурился. «Действительно, вы правы, неловко...» Но сейчас же лицо его прояснилось: «Ну ничего, я им скажу...».

Повторяю, редакция «Гиперборея» была приятнейшей из редакций. Даже поэты, чьи стихи, «к сожалению», возвращались, вряд ли могли долго сердиться — так мягко, деликатно и необидно для их самолюбия делал это Лозинский. Были, конечно, случаи черной неблагодарности. Так, какой-то отвергнутый поэт переменялся с редактором шапкой. Не говоря уже, что взамен своей, из великолепного котика, Лозинский получил захудалую, потертую кошку, надев ее (так он, по крайней мере, клялся), он сейчас же ощутил в ушах шум скверных рифм и прилив шестистопных строчек без цезуры.

Вряд ли, впрочем, какая бы то ни было сила в мире могла заставить Лозинского чем-нибудь погрешить в области стихотворной формы. О духе его поэзии можно спорить, ее приподнято-отвлеченная пышность может не нравиться и даже раздражать. Но необыкновенное мастерство Лозинского — явление вполне исключительное. Стоит сравнить его переводы хотя бы с такими общепризнанно мастерскими, как переводы Брюсова или Вячеслава Иванова. Они детский лепет и жалкая отсебятина рядом с переводами Лозинского. Рано или поздно, но не сомневаюсь, что они будут оценены, как должно, как будет оценен этот необыкновенно тонкий, умный, блестящий человек, всегда бывший в самом центре поэтической «элиты» и всегда, намеренно, сам остававшийся в тени.

Лозинский — обаятельный хозяин. Если гости — сотрудники и «подписчики», собравшиеся в его кабинете, — оживлены, болтают и не нуждаются в том, чтобы их занимали, — его не видно, он тихо беседует с кем-нибудь в дальнем углу. Молчание, какая-нибудь заминка или неловкость — и сейчас же как-то незаметно он овладеет разговором, блеснет неожиданной остротой, рассеет неловкость, подымет упавшее оживление.

«Это все равно, что Лозинский сделал бы гадость», — говорила Ахматова, когда хотела подчеркнуть совершенную невозможность чего-нибудь. Гумилев утверждал, что, если бы пришлось показывать жителям Марса образец человека, выбрали бы Лозинского — лучшего не найти.

Итак — в «Гиперборей». Мы пошли к трамвайной остановке. Успокоившийся после ареста и «провокации» Мандельштам сочинил и читает — так задыхаясь от смеха, что трудно его понять, — незамысловатый экспромт:

Не унывай,
Садись в трамвай,
Такой пустой,
Такой восьмой.

Вдруг нас останавливает голос — тихий, но какой-то властный, необыкновенный:

— Скажите, господа, где помещается «Аполлон»?

Спрашивал это... мужик. Простой мужик в картузе, в валенках, в полушубке. Стоял он спиной к фонарю — лица почти не было видно. Только этот тихий, странный голос и на мгновение блеснувшие пристальные, сверлящие глаза.

— На Разъезжей, 26, — сказали мы хором. Мужик поблагодарил и пошел дальше. На полупустой улице было темно — минуту мы стояли, не понимая, почудилось нам, что ли. Нет, не почудилось, вот уже далеко мелькает его картуз, вот скрылся за угол...

Что ему могло понадобиться в «Аполлоне», этому человеку в валенках и картузе? И — еще странней — как он узнал, что мы можем ответить на его вопрос? Знать он нас не мог. Услыхал обрывок разговора? Нет, он шел нам навстречу и слышать ничего не мог, да и болтали мы какой-то вздор, не о том ли «пустом восьмом трамвае».

Гумилев скептически покачал головой на наш рассказ. «Это вам показалось со страху после участка». Практический Б. Эйхенбаум решил, что это просто швейцар или истопник шел в «Аполлон» наниматься. Позабыл адрес, ну и спросил, может быть, господа знают. Мы поглядели на Эйхенбаума с презрением: нет фантазии у человека, недаром критик. Наша собственная

фантазия, разыгравшись, говорила нам совсем другое. Как раз недавно был слух, что в Петербурге видели Александра Добролюбова.

Имя Александра Добролюбова нынешнему молодому «послевоенному» поколению не говорит ровно ничего. Его просто никто не слышал. А между тем этот таинственный полулегендарный человек, кажется, жив и сейчас. По слухам, бродит где-то в России — с Урала на Кавказ, из Астрахани в Петербург, — бродит вот так, мужиком в тулупе, с посохом — так, как мы его видели или как он почудился нам на полутемной петербургской улице. — «Скажите, господа, где помещается «Аполлон»?» Впрочем, и старшее поколение, даже те, кто его знали лично, были или звались его друзьями, тоже немного знают об Александре Добролюбове, т. е. о том Добролюбове, который в картузе и с посохом где-то, зачем-то бродит — уже очень долго, с начала девятисотых годов, — по России. Они знают только ту часть его жизни, которую он неизвестно почему вдруг прекратил, уйдя от нее вот так с посохом, куда глаза глядят и без оглядки, порвав со всем навсегда...

Странная и необыкновенная жизнь: что-то от поэта, что-то от Алеши Карамазова, еще многие разные «что-то», таинственно перепутанные в этом человеке, обаяние которого, говорят, было неотразимо. Он был из состоятельной культурной семьи, писал стихи, кажется, был очень избалован и изнежен, кажется, даже было в его ранней молодости время, когда его считали снобом. Его стихи называли, вполне серьезно, гениальными — я это слышал от таких людей, которые знают, что такое стихи. Но все они знали и Добролюбова лично, и, мне кажется, в этом секрет того обаяния, которого не знавшие его, и я в том числе, уже не могут почувствовать в этих бледных, бесплотных, каких-то нечеловеческих, из «четвертого измерения» строчках. Кстати, сборник Добролюбова назывался «Из книги невидимой». Кто знает, может быть, и впрямь «невидимая» — для нас — была видимой, кому надо: кому надо «объявятся», когда придет срок? Может быть, и гениальная, только без ключа к пониманию ее гениальности? На время? Навсегда? Кто знает — поэзия дело темное. А гениальными стихи Добролюбова, между прочим, считал Блок.

Из неживого тумана
Вышло больное дитя.

Это Добролюбову посвящено. И эпиграф пушкинский к нему: «A.M.D. своею кровью...» — имеет двойной смысл: рыцарь бедный — Александр Михайлович Добролюбов.

...Где теперь помещается «Аполлон», господа?..

Вряд ли это все-таки был Добролюбов. Петербургский снобический «Аполлон» — ну зачем он мог понадобиться «рыцарю бедному», давно порвавшему начисто и навсегда со всеми вообще «Аполлонами», какие только от века существовали на земле? Вряд ли это был он. А впрочем...

На одном из собраний парижской литературной молодежи я слышал по своему адресу упрек: «Зачем вы искажаете образ Мандельштама, нашего любимого поэта? Зачем вы представляете его в своих воспоминаниях каким-то комическим чудаком? Разве он мог быть таким?»

Именно таким он был. Ни одного слова о Мандельштаме я не выдумывал — зачем же выдумывать забавное о человеке, который сам, каждым своим движением, каждым шагом «сыпал» вокруг себя чудаковатость, странность, неправдоподобное, комическое... не хуже какого-нибудь Чаплина, — оставаясь при этом в каждом движении, каждом шаге «ангелом», ребенком, «поэтом Божьей милостью» в самом чистом и «беспримесном» виде.

Я очень рад за Мандельштама, что молодые парижские стихотворцы его любят, и еще больше рад за них: эта любовь многих из них больше приближает к поэзии, чем их собственные стихи. Но и я, право, чрезвычайно люблю поэзию Мандельштама, и, кроме того, на моей стороне есть еще то преимущество, что и его самого, чудаковатого, смешного, странного — неотделимого от его стихов, — люблю не меньше и очень давно, очень близко знаю. Были времена, когда мы были настолько неразлучны, что у нас имелась, должно быть, единственная в мире визитная карточка: «Георгий Иванов и О. Мандельштам». Конечно, заказать такую карточку пришло в голову Мандельштаму, и, конечно, одному ему и могло прийти это в голову.

И разве не слышали наши «молодые поэты», что высокое и смешное, самое высокое и самое смешное часто бывают

переплетены, так что не разобрать, где начинается одно и кончается другое? Приведу для наглядности пример из жизни того же «чудака», «ангела», «комического персонажа» — из жизни поэта Мандельштама.

В «Tristia» (книге Мандельштама) есть крымские стихи: кто «Tristia» читал, тот, уж наверное, их помнит: одно из лучших стихотворений Мандельштама — одно из лучших русских стихотворений:

...Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.
...Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла —
Не отрываясь целовала,
А строгою в Москве была.
Нам остается только имя:
Блаженный звук, короткий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.

Так вот, это написано в Крыму, написано до беспамятства влюбленным поэтом. Но поклонники Мандельштама, вообразив по этим данным (Крым, море, любовь, поэзия) картину, достойную кисти Айвазовского (есть, кстати, у Айвазовского такая картина, и прескверная, «Пушкин прощается с морем»), — поклонники эти несколько ошибутся.

Мандельштам жил в Коктебеле. И так как он не платил за пансион и, несмотря на требования хозяев съехать или уплатить, — выезжать тоже не желал, то к нему применялась особого рода пытка, возможная только в этом «живописном уголке Крыма», — ему не давали воды. Вода в Коктебель привозилась издалека и продавалась бочками. Ни реки, ни колодца не было — и Мандельштам хитростью и угрозами с трудом добивался от сурового хозяина или мегеры-служанки, чтобы ему дали графин воды; получив его, он выпивал, конечно, все сразу, и опять начиналась мука... Кормили его объедками. Когда на воскресенье в Коктебель приезжали гости, Мандельштама выселяли из его комнаты — он ночевал в чулане. Простудившись однажды на такой ночевке, он схватил ужасный флюс и ходил весь

обвязанный, вымазанный йодом, сопровождаемый улюлюканьем местных мальчишек и улыбками остального населения «живописного уголка». Особенно, кстати, потешалась над ним «она», та, которой он предлагал «принять» в залог вечной любви «ладонями моими пересыпаемый песок». Она (очень хорошенькая, немного вульгарная брюнетка, по профессии женщина-врач) вряд ли была расположена принимать подарки такого рода: в Коктебель ее привез ее содержатель — армянский купец, жирный, масляный, черномазый. Привез и был очень доволен: наконец-то нашлось место, где ее было не к кому, кроме Мандельштама, ревновать...

С флюсом, обиженный, некормленый, Мандельштам выходил из дому, стараясь не попасться лишний раз на глаза хозяину или злой служанке. Всклокоченный, в сандалиях на босу ногу, он шел по берегу, встречные мальчишки фыркали ему в лицо и делали из полы «свиное ухо». Он шел к ларьку, где старушка-еврейка торговала спичками, папиросами, булками, молоком... Эта старушка, единственное существо во всем Коктебеле, относилась к нему по-человечески (может быть, он напоминал ей собственного внука, какого-нибудь Янкеля или Осипа), по доброте сердечной оказывала Мандельштаму «кредит»: разрешала брать каждое утро булочку и стакан молока «на книжку». Она знала, конечно, что ни копейки не получит, но надо же поддержать молодого человека — такой симпатичный и, должно быть, больной: на прошлой неделе все кашлял, а теперь вот — флюс. Иногда Мандельштам получал от нее и пачку папирос второго сорта, спичек, почтовую марку. Если же он, потеряв чувствительность, рассеянно тянулся к чему-нибудь более ценному — коробке печенья или плитке шоколада, — добрая старушка, вежливо отстранив его руку, говорила грустно, но твердо: «Извиняюсь, господин Мандельштам, это вам не по средствам».

И он, сразу оскорбившись, покраснев, дергал плечами, поворачивался и быстро уходил. Старушка грустно смотрела ему вслед — может быть, ее внук был такой же гордый и такой же бедный, — видит Бог, она не хотела обидеть молодого человека...

Мандельштам шел по берегу, выжженному солнцем и выметенному постоянным унылым коктебельским ветром. Недовольный, голодный, гордый, смешной, безнадежно влюбленный в женщину-врача, подругу армянина, которая сидит теперь на своей веранде в розовом прелестном капоте и пьет кофе — вкусный, жирный кофе, и ест горячие домашние булки, сколько угодно булок... Он шел, гордо откинув голову, большую некрасивую голову на тонкой шее, бормоча под нос — сочиняя на ходу стихи, упоительные «ангельские» стихи:

Где обрывается Россия
Над морем черным и чужим...

Коктебельские мальчишки кричали ему вслед, когда он проходил мимо: «Господин — часы обронил». И когда он гневно оборачивался, убегали, высунув «свиное ухо»...

Литературные портреты

Блок

Весной 1921 года я пришел на вечер Блока в Малом театре. Зал был переполнен. Чуковский читал доклад. Извиваясь, как вьюн, раскланиваясь и улыбаясь, размахивая своими длинными руками, — он доказывал, что Блок — великий поэт.

Выходило это у Чуковского плохо — хуже нельзя. Все было как-то некстати. Цитаты неудачные, восторги деланные. Может быть, Чуковский ничуть не лукавил, но он взялся не за свое дело, и оно не выходило. Дело Чуковского, его призвание, весь смысл его писаний — ругать, уничтожать. Тут у него редкий дар, удивительная находчивость. Если бы надо было Блока, да что Блока — Пушкина, Толстого — стереть в порошок, он бы это невозможное сумел бы, вероятно, проделать, и не без блеску. Но полтора часа подряд восхищаться, восхищаться обстоятельно, серьезно, умно, с ссылками на «Символизм» Андрея Белого… и получалась какая-то вялая каша, не прибавлявшая лавров лектору, не говоря уж о Блоке, для которого в этом «признании» болтуна Чуковского было что-то оскорбительное.

После доклада Блок «иллюстрировал» его своими стихами. Он читал не особенно долго. Бледные, жуткие, смутные стихи последних лет — читал явно охотнее, чем ранние, более прославленные. — «Шаги Командора!», «Незнакомка!», «Итальянские стихи!» — кричали ему из публики. Блок кланялся, улыбался холодно-рассеянно и своим удивительным голосом, деревянным и колдовским в то же время, читал «Жизнь моего приятеля» или страшное:

…Все бы это было зря,
Если б не было царя,
Чтоб блюсти законы.
Только не ищи дворца,
Добродушного лица,
Золотой короны:
Он с далеких пустырей
В свете редких фонарей
Появляется.

Шея скручена платком,
Под дырявым козырьком
Улыбается…

Блок был еще очень популярен. Я говорю «еще», подразумевая не его посмертную славу, а то более страстное чувство, ту «любовь к Блоку», которая, все возрастая, к 1910–1915 годам стала исключительной: мало кто из поэтов, за все время существования русской поэзии, был так любим при жизни, как любили Блока. К 1918 году в этой «страсти» публики к поэту обозначилось некоторое охлаждение. Причины были разные, — но Бог с ними. Все-таки и в 1921 году Блок был очень популярен. Ему очень много хлопали. Когда вечер кончился, Блок с трудом протискался через приветствовавшую его толпу молодежи. Ему жали руки, бросали под ноги цветы, глядели на него влюбленными глазами. Но, несмотря на полный зал, вызовы, влюбленные взгляды, — чувствовалось в этом вечере явное отчуждение, — взаимное, — аудитории от любимого поэта, поэта от аудитории. Казалось, весь этот шум и восторг по привычке — прежнего «контакта» уже нет. Так и было. Еще аплодировали, бросали цветы (через две недели повторение этого же вечера в Москве, более «передовой», — было встречено уже вполне холодно). Но войди в этот зал Маяковский, — о Блоке бы все забыли. И это чувствовалось.

Чувствовал, казалось, и Блок. Он слушал вздорные похвалы Чуковского, потом читал стихи, потом протискивался через хлопающую толпу с видом измученно-безразличным. Впрочем, это было не новое для него выражение. Я помню другое блоковское «торжество» — в 1913, кажется, году, — постановка Мейерхольдом «Балаганчика». Тогда было не так пышно, и народу поменьше, но суть та же: Блок смотрел, как его искажают, и видел, как радуется от души этому искажению публика. «Балаганчик» ставили в духе «Комедиа дель арте», — актеры прыгали с приклеенными носами, Мейерхольд сиял, публика хлопала. Как же она могла не хлопать — ведь она была избранная, передовая, культурная, сочувствующая всяким исканиям и новаторству.

Блок глядел вокруг с тем же каменным скучающим лицом. «Ущерб» Блока уже начался — странный, болезненный ущерб, озаренный в 1918 году зловещим блеском «Двенадцати», в 1921 — Смертью…

Должно быть, этот ущерб и начался с равнодушия, с презрения к жизни и к людям, которое все явственней слышится в разговорах Блока последнего, «закатного» периода.

…Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь, начнется все сначала,
И повторится все, как встарь:
Ночь. Ледяная рябь канала.
Аптека. Улица. Фонарь.

Скука — что опасней этой темы. Поэту очень скучно… Как бы читателю не стало еще скучнее! Но именно только говоря о скуке, безнадежности, бессмысленности, страхе — Блок достигает «ледяных вершин» поэзии. Если из собрания Блока вынуть несколько десятков таких «стихотворений», — мы не узнаем самого «мучительного», чувствительней всех ударившего по сердцам поэта нашей эпохи. Если их отнять, останется что-то вроде Полонского…

* * *

…Была весенняя, теплая, петербургская ночь. Несколько человек шло по Екатерининскому каналу, возвращаясь с блоковского вечера. Далеко впереди, окруженный хохочущими студистами и студистками, Чуковский. За ними — тихо переговаривающиеся Блок и Гумилев. Я шел сзади с В. Зоргенфреем. Спутник мой был не из словоохотливых. Кругом было тихо. Обрывки разговора шедших впереди долетали до меня.

… — Нет, Николай Степанович, союза между нами быть не может. Наши дороги разные…

— Значит, либо худой мир, либо война?

— Худого мира тоже быть не может…

Гумилев тихо засмеялся.

— Вы, я вижу, совсем не дипломат. Что ж, мне так нравится. Война так война…

Рев студентов на какую-то шутку Чуковского заглушил ненадолго этот разговор. Потом снова донесся смеющийся голос Гумилева:

— Какие же ваши рыцарские цвета для нашего турнира?

И серьезный Блока:

— Черный. Мой цвет — черный.

…Была теплая петербургская ночь. Все мы шли на Литейный в «Дом поэтов», только что начавший устраиваться хлопотами Гумилева.

Меньше чем через четыре месяца, с эстрады этого же «Дома поэтов», буфетчик, которому «Дом» был отдан на откуп, извиняясь перед посетителями за какой-то изъян в программе, простодушно заявил:

— Программа не выполнена, так как произошло три несчастья — арестован Гумилев, умер Блок — и… перегорело электричество.

* * *

Познакомил меня с Блоком — Георгий Чулков в 1910 году.

Чулков имел обыкновение время от времени открывать какой-нибудь «новый талант», возиться с ним, водить его по знаменитостям, читать всем, кому попало, его стихи, предлагать эти стихи в журналы и т. п.

Действовал он не совсем бескорыстно: обласкав новичка и «введя» его в литературу, Чулков начинал наставлять его в истинах «мистического анархизма», Чулковым изобретенного. Тут обыкновенно наступало между сторонами неизбежное охлаждение: на «мистический анархизм» находилось немного любителей. В 1910 году настала моя очередь ходить с Чулковым и слушать его толки о «Покрывале Изиды». Пришли мы к Блоку под вечер. Жил он на Монетной около лицея, в шестом этаже большого модернизованного дома.

Просторный кабинет. Очень светло — окна на лицейский сад, трубы, крыши, купола. Блок — похож на свой знаменитый

портрет с открытым воротничком рубашки. Только под глазами круги, у рта морщины, усталый взгляд.

Он встал из-за стола, за которым писал, пожал нам руки. Чулков, по своей привычке, сразу зашумел и о моих стихах, и о своей Изиде, и о погоде.

Отбросил со лба длинные литераторские вихры, нараспев зачитал что-то про тайгу… Блок не выказывал никакого нетерпения на эту болтовню, похвалил какое-то из моих стихотворений (конечно, оно ему ничуть не понравилось), сдержанно возражал Чулкову. Потом поил нас чаем, тоже сдержанно, радушно. Но явно было, что ни мои стихи, ни Изида, ни наш визит Блоку не нужны, утомительны, ни к чему. Что поит нас чаем и поддерживает с нами разговор вежливый хозяин, а поэт, одиночество которого мы спугнули, — отсутствует, ему не до нас. Я это очень ощущал и испытывал острую неловкость.

Перед прощанием — Чулков ушел в переднюю звонить по телефону. Я сидел против молчащего Блока, досадуя на Чулкова, разливавшегося соловьем в телефон о чьих-то «дивных плясках». Вдруг Блок, тоже сидевший молча, посмотрел на меня как-то по-другому — прямо в глаза, ясно, приветливо, дружески.

— Вот… вы такой молодой… Сколько вам лет?

Я покраснел. Своих шестнадцати лет я чрезвычайно стыдился.

— Да… такой молодой… вам кажется, что поэзия радость?.. Поэзия — страшная вещь, страшная тяжесть…

— …Целую ручки, дуся, — клокотал в телефон Чулков. — И мизинчики особо. Непременно приходите — это не балет, а волшебство, мистерия…

— Вот что, — Блок положил мне руку на плечо, — приходите ко мне как-нибудь на днях. Позвоните сначала. Приходите, — он покосился на дверь — одни, без Георгия Ивановича… Он добрый, милый, но, — Блок широко улыбнулся, — очень уж… деятельный…

К Блоку я «зашел» не раз. Теперь воспоминание об этих беседах в пустоватой просторной комнате, с крышами и закатом в окне, об этом медленном удивительном голосе, этом путанно-чарующем разговоре сливается в моей памяти в какую-то мерцающую холодноватым блеском туманность. О чем мы говорили?

Точнее, о чем он говорил — я, по большей части, только слушал, стараясь понять и впитать этот монолог, неясный, беспредметный, скользящий.

Главным образом Блок говорил о смерти и о любви. Сильней ли смерти любовь? Блок качал головой.

— Нет, нет, это выдумка трубадуров, — смерть сильнее. Он молчит минуту, точно взвешивает свои мысли. Да, смерть сильнее любви.

«Зачем вы занимаетесь ландшафтами и статуями? Это не дело поэта. Поэт должен помнить об одном — о любви и смерти…» — писал мне как-то Блок из деревни — саратовского Шахматова. На одной из книг, подаренных мне Блоком, надписано: «На память о разговоре о любви». На другой: «На память о разговоре о смерти».

Эту вечную тему в беседах Блока оплетали звезды, голоса из другого мира, страх, грусть, нежность… В средине разговора Блок обрывал его, раскрывал книгу, часто наудачу, и — удивительно — почти всегда книга откликалась на только что сказанное.

Помню раз, уже во время войны, в 1915 или 1916 году, я случайно зашел к Блоку, и наш случайный разговор вдруг «повернулся» в сторону тех, давно уже прекратившихся бесед-туманностей, которые Блок когда-то вел со мной — подростком. Блок заговорил о смерти, о своей близкой смерти. Я, как водится в таких случаях, возразил что-то вроде: «Помилуйте, что вы…» Блок молча взял со стола Тютчева и протянул мне. Вышло «На кончину брата»:

…Дни сочтены. Утрат не перечесть.
Живая жизнь давно уж позади,
Передового нет, и я, как есть,
На роковой стою очереди…

«Чтобы стать поэтом, надо как можно сильнее раскачнуться на качелях жизни…»

«Жизнь приобретает цену только тогда, если вы полюбите кого-нибудь больше своей жизни…»

Мне запомнились эти два отрывка из писем, когда-то (в 1911 или 1912 году) писанных мне Блоком.

А в одной из «туманных» бесед того времени Блок говорил, задумчиво отрывая каждое слово:

— Мы все, господа, белоручки… В стихах заботимся о разных пеонах…

А вот недавно умер Фофанов… Валялся в канаве и бормотал что-то о звездах.

Стихи его посредственные… Но в них что-то, чего у нас нет. У самого Пушкина, может быть, нет.

— Что же?

— Трудно определить… Какая-то прямая связь с Богом, с вечностью…

Этого пеонами не добьешься.

— Тогда лежать в канаве пьяным поэту полезней, чем работать в таком кабинете?

Задумчивая улыбка.

— Может быть. Полезней!

Жизнь Блока была непохожа на обычную жизнь петербургского писателя. В доме Мурузи на Литейном — блистал салон Мережковских. На Таврической, более тяжелым, книжным блеском — «Башня» Вячеслава Иванова. Десятки других, меньших «центров» перекрещивали литературную жизнь. Шла борьба, расколы, объединения. Блок бывал и там, и там, но держался отчужденно. «Главная» его жизнь шла в стороне. Было у него два-три близких друга, тоже «со стороны».

Но что это была за жизнь? И что за друзья?

…Блок живет отшельником. Рано встает. Запирается в кабинете. Его покой тщательно оберегается. Если звонит телефон, подходит жена или прислуга: Александр Александрович уехал… Александр Александрович болен…

Чтобы добиться Блока, надо вести долгие сложные переговоры, часто остающиеся бесплодными: болен… уехал…

Блок не болен и не уехал. Должно быть, он занят какой-нибудь срочной работой. Не всегда. По большей части, он сидит, заложив руки за спину, и смотрит в одну точку. Так он может сидеть час, два, три, целый день. В окнах — лицейский сад, крыши, трубы, купола. На столе — начатая бутылка елисеевского «Нюи». В квартире тишина.

Блок смотрит в одну точку. Иногда в счастливый день из обоев и мебели, из окна с лицейским садом, из стола с бумагами и бутылкой «Нюи» сгущается какое-то облако. Понемногу это облако превращается в сероватый светящийся грот. Вдруг зазвенит чей-нибудь назойливый звонок — тогда все пропало. Но кругом тишина. И в средине грота начинает вырисовываться фигура цапли. Она стоит неподвижно на одной ноге. Цапля — стеклянная, она тускло светится.

Понемногу этот тусклый свет делается ярче, разгорается, переходит в сияние.

Хрустальная сияющая цапля стоит в центре голубого грота перед остановившимся, неподвижным взором Блока. Его глаза неподвижно уставлены в это странное видение, губы начинают шевелиться, повторяя первые слова зарождающихся стихов. Покуда Блок не увидит свою цаплю — стихи не выйдут.

— Мне так хотелось писать сегодня, — говорит он. — Я был уверен, что она появится. И так досадно — сидел, ждал — ничего.

— И стихи не вышли?

— Не вышли.

Но не всегда, конечно, Блок поджидает свое светящееся видение.

Вот он садится к столу, достает несколько переплетенных тетрадей и раскрывает их. Это рукописи? Нет, это книга, куда записывается корреспонденция. Она аккуратно разграфлена. Клетка для номера письма и (дня) получения, клетка, в которой отмечается день ответа. Блок — аккуратнейший из людей.

В другую тетрадь наклеиваются рецензии, в третью — напечатанные стихи.

И рядом отметка рукой Блока — напечатано там-то, тогда-то…

….Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Бессмысленный и тусклый свет…

И книжка для записи корреспонденции, старательно разграфленная:

получено — отвечено!

…Блока нет ни для кого дома. Но запрет не касается нескольких избранных, ближайших друзей. Вл. Пяст — опустившийся, оборванный, полубезумный поэт. Зоргенфрей — корректного вида господин, инженер по профессии, любитель Жюль Верна и знаток Каббалы. Евгений Иванов — юродивый с проблесками гениальности, похожий на рыжего мужика из сна Анны Карениной.

Этим гостям Блок всегда рад. Они приходят и уходят, когда вздумается, с ними Блок ведет бесконечные разговоры (ну, о чем, например, с Зоргенфреем, неужели о Жюль Верне?), с ними совершает длинные прогулки и записывает потом в дневник:

«Провел приятный вечер. Гуляли с Пястом по Лахте и ели колбасу».

…Часа два ночи. Какой-нибудь мелкий петербургский ресторан — «Яр», «Черепенников», «Давыдка». Дым, пьяный говор. За одним из столиков — Блок.

Строй пустых бутылок все растет. Кто-то подсаживается к столику, кто-то чокается. Блок пьян, лицо его красно, глаза уставлены неподвижно в одну точку. Что он видит там — свой голубой грот? Или звезды, которые видел Фофанов. Или ту, что

Медленно пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Душа духами и туманами,
Она садится у окна.

Или, вернее всего, —

Ледяную рябь канала,
Аптеку, улицу, фонарь, —

страшную, невыносимую скуку жизни. Той жизни, чтобы оправдать которую — надо полюбить кого-нибудь сильнее ее…

…Пяст, задыхаясь, бормочет под нос бред в стихах о гнилых зубах и Эдгаре По.

— Саша! — вскрикивает Георгий Чулков и бьет себя в грудь.

— Саша! — Пьяные слезы текут по его лицу. — Выпьем за вечную женственность, Саша!

…Надо как можно сильней раскачнуться на качелях жизни…

* * *

По натуре, по воспитанию, по всем с детства усвоенным навыкам, — Блок был человеком спокойным и уравновешенным, расположенным к труду и тихой жизни.

Дико звучит, но предположим на минутку, что Блок не был бы поэтом. Как легко тогда его представить кабинетным ученым, или хорошим хозяином-помещиком, или владельцем какого-нибудь солидного, прекрасно управляемого предприятия.

Аккуратность и методичность, его манеры, рассудительный говор, умный взгляд — все подходило бы. Как легко представить себе жизнь этого красивого, умного, справедливого человека — конечно, счастливую и спокойную жизнь.

Но — Блок был поэтом и прожил жизнь несчастную, беспокойную и томительную.

Поэзия — это что-то вроде падучей. Покуда болезнь таится, только очень внимательный взгляд различит в лице одержимого что-то неладное — «так — движенье чуть видное губ», какую-то необычную ноту в голосе, «что-то» в глазах. Но вдруг, неожиданно, падучая приходит, и человека нельзя узнать.

Так посещала Блока муза из его «Страшного мира». Потом, когда «припадок» проходил, Блок с дрожью вспоминал «эти страшные ласки твои». Чем выше подымался поэт, тем мучительней становилось дышать человеку.

…Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть,
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастия есть…

Да, все есть в ее пенье. И «сокровенные напевы» не лгали: когда все, что было дорого человеку, поэтом было проклято, — пришла гибель.

…Где деньги твои? Снес в кабак.
Где сердце? — Закинуто в омут…

О поэтах и художниках, о всех выдающихся людях принято говорить после смерти: «он сгорел», «он был обречен». По большей части это риторический прием. Но Блока действительно привела к смерти поэзия, как других туберкулез или рак.

«Мы потеряли его не тогда, когда он умер, но гораздо раньше, когда он создал мечту своей жизни», — можно повторить о Блоке его слова о Врубеле.

«Мечту своей жизни», завершение и венец своего «страшного мира» — «Двенадцать» Блок создал в 1918 году…

И еще из той же статьи:

«Небывалый закат позолотил небывалые сине-лиловые горы…»

Александр Тиняков

Майской ночью я возвращался откуда-то к себе на Петербургскую сторону.

Мост был как раз разведен. «Перевоз» — пароходик «Финского пароходства», возивший с одного берега на другой за две копейки конец, тоже, как назло, только что отвалил. Значит, ждать полчаса. Или идти в обход через Троицкий?

Нет, ждать скучно, а в обход — далеко. Проезжавший мимо «Ванька» — видя мою беспомощность, запросил рубль двадцать до Александровского проспекта — цену несуразную. На предложенные шесть гривен он презрительно хлестнул лошадь, и я снова остался один перед разведенным мостом, «в сиянии и безмолвьи белой ночи». Белые ночи, конечно, — хороши, и эта была хороша особенно, — но я посмотрел вокруг на Адмиралтейство, Неву и мутно-розовое небо — почти с отвращением. Пойду в обход, — решил я. Может быть, встречу извозчика. И зачем я не дал этому разбойнику рубль — был бы уже дома…

Но идти в обход не пришлось. Пройдя несколько шагов, я увидел свет, услышал голоса и звон стаканов. «Поплавок» — излюбленное место мечтательных пьяниц — был еще открыт.

Для рубля, чуть не отданного жадному Ваньке, нашлось употребление более целесообразное.

…Народу было немного, человек десять-двенадцать, но по их оловянным взглядам, покрасневшим лицам и съехавшим на сторону галстукам было видно, что они — публика солидная, сидят здесь долго, выпили много и еще выпьют.

Человек шесть сидели компанией в углу. Оттуда слышался дурацкий смех и обрывки нецензурных анекдотов. Остальные, поодиночке, мрачно, — тем мрачнее, чем больше пивных бутылок стояло под столом опорожненными. Как известно, опьянение пивом — торжественное и унылое. «Bi re gaie»[29] не бывает — оно всегда «triste»[30].

Лакей, похожий на бабу, хлопнув только что меня не по носу грязной салфеткой, спросил, чего я желаю. Я «пожелал» нарзану и ветчины, на его изумление. Вернувшись из буфета, он принес мне кусок семги, буркнув, что «говядина вся вышла». И мне волей-неволей пришлось оставить оригинальничание и спросить, как и все, пива: семга с нарзаном — выходило как-то странно…

Я сидел, прихлебывая тепловатое Калинкинское пиво и «наблюдал».

Наблюдать, впрочем, было мало чего. Картина не менялась. Веселая компания в углу икала и фыркала все менее оживленно, понемногу соловея. Остальные сидели молча, мрачно. Изредка кто-нибудь нетвердым и негромким голосом что-нибудь требовал, иногда то там, то здесь слышалось всхрапыванье… Вода тяжело и глухо, особенным «полночным плеском» ударяла о баржи, на которых был поплавок утвержден. Совсем посветлело. «Перевоз», которого я поджидал, пыхтя подплыл к соседней пристани, подавая тощие свистки. Я крикнул лакея, чтобы расплатиться и уйти. Но… тут на «палубе» появился новый посетитель.

Вид его заинтересовал меня.

Небольшой рост. Длинные волосы. Коренастые плечи. Пальто до полу, явно с чужого плеча. Когда-то оно было корич-

---

[29] «Веселое пиво» (*фр.*).

[30] Печальное (*фр.*).

невым и франтовским — теперь швы побелели, края оббились, окраска выгорела и стала местами зеленоватая, местами модного цвета «танго». Притом фасон пальто редингот и талия нынешнего владельца вершков на пять ниже, чем талия того, на чью фигуру пальто было шито. На шее что-то намотано в несколько рядов, в руках трость с вычурнейшим набалдашником, на голове цилиндр. И — еще — в петлице редингота какая-то пышная розетка, вроде котильонного ордена.

Он вошел тяжело, тяжело опираясь на свою трость. Никто, кроме меня, им не заинтересовался. Он мотнул головой лакею — тот принес ему сразу полдюжины Калинкинского… Посетитель, отхлебнув от кружки, дернулся точно от отвращения. Потом обвел вокруг прищуренными, мутными глазами. Когда, на секунду, я попал в «поле его зрения», пришла моя очередь вздрогнуть:

…Должно быть, сквозь свинцовый мрак,
На мир, что навсегда потерян,
Глаза умерших смотрят так…

Или… или еще животное, под ножом мясника, так озирается, — бессмысленно и страшно…

…«Перевоз», жалобно свистя, отчалил от пристани. Небо совсем посветлело. Глупо, что я остался. Сейчас и «Поплавок» закроется. Посетители мало-помалу, тяжело волоча ноги, — расходились… Вот уже и мост наводят — пора… не любоваться же всю ночь на этого пьяницу.

Но когда я совсем собрался уходить — человек в рединготе вдруг забормотал что-то. Самый темп его бормотанья удивил меня. Это было мерное монотонное чтение — так поэты читают стихи.

Я прислушался…

Et pourtant vous serez semblable cette ordure,
A cette horrible infection…[31]

Странный человек в рединготе с чужого плеча перед батареей Калинкинского, на заплеванном «поплавке», читал «Une Charogne»[32] Бодлера.

---

[31] Нет, все-таки и вам не избежать распада,
Заразы, гноя и гнилья… (*фр.*). — *Пер. С. Петрова.*

…Etoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous, mon ange et ma passion…[33]

Вдруг он оборвал чтение и выпрямился гордо, как мне показалось. Он снова огляделся кругом. И — в самом деле — в его взгляде, кроме «того», заставившего меня вздрогнуть («это» осталось), — была какая-то ядовитая надменность.

— …Вы… — он сделал тяжелый пьяный жест. — Вы… все… — он снова махнул неслушающейся рукой — бутылка опрокинулась и пиво, булькая, потекло в Неву. — Вы… буржуи… сволочь… сидите и не чувствуете… —

Он погрозил пальцем «буржуям» — в том числе и мне. — Вы… — еще жест, на этот раз упал и разбился стакан… — Сидите и не видите…

Он помолчал и провозгласил торжественно:

— Валерий Яковлевич стоит на том берегу.

Помолчав еще — добавил:

— Вон там… У Петропавловки…

И, нагнувшись вперед, всматриваясь в противоположный берег:

— Идет по водам… Валерий Яковлевич Брюсов — идет по водам. Но не к вам, а ко мне!

Он встал во весь рост и шагнул к парапету навстречу «идущему по водам» Брюсову. Стол опрокинулся, разбитое стекло зазвенело. Лакей с бабьим лицом, выйдя из сонного состояния, подбежал к пьянице в рединготе и довольно непочтительно схватил его за плечо. — «Скандалить не…» — успел только выговорить он. Страшная пощечина помешала ему окончить…

На крик слуги вбежал грузный краснорожий хозяин. Ему полетела в голову бутылка…

Как ни любопытно было мне наблюдать еще, я все же поспешил к выходу, благо он был свободен. У самого моего уха,

---

[32] «Падаль» (*фр.*)

[33] Звезда моих очей, души моей лампада,
Вам, ангел мой и страсть моя… (*фр.*). — *Пер. С. Петрова.*

как ядро, разлетелась новая бутылка. Я — «ускорил шаги». На шум с поплавка уже перебегал наискось набережную усатый городовой. В общем реве побоища — голос, только что мечтательно скандировавший Бодлера, надрываясь, визжал:

— Тронуть… меня… члена союза Михаила Архангела… который в высочайшем присутствии… Меня! Не подходи — убью!..

* * *

Среди множества литературных обществ довоенного Петербурга было и такое — «Физа».

Название это не расшифровывалось — как подобные ему советские. «Физа» не значило «филологический институт звукового анализа» или что-нибудь в этом роде. Физой звался герой поэмы — очень бездарной и очень пышной — прочитанной одним из членов-учредителей этого общества в день его открытия.

С тех пор, как ни досадовали учредившие «Физу» эстеты, никто не называл ее настоящим именем. «Идем в «Физу», «Вы были в «Физе»? — иначе не говорили. Теперь я уж и не помню, как «Физа» называлась «по-настоящему».

Над «Физой» все смеялись — но все ее посещали. Помещение было просторное, благоустроенное, где-то на Сергиевской. Выступлений эстетов-учредителей можно было бы и не слушать — коротая время в комфортабельной столовой за бесплатными сандвичами и даровым портвейном.

Кузмин говорил, что ходит на литературные сборища из-за антрактов — людей посмотреть и себя показать. Заседания «Физы» были сплошной антракт, да еще с портвейном. И на еженедельных собраниях на Сергиевской всегда было многолюдно.

На одном из таких собраний — я сидел, по обыкновению, в столовой.

Дверь в залу, где шло заседание, была закрыта. Вдруг кто-то ее отворил, и на мгновение до меня донесся звук голоса — странного, царапающего, знакомого мне.

Знакомого. Но где же я его слышал?

…Валерий Яковлевич идет по водам…

…Etoile de mes yeux, soleil de ma nature…

…Меня! Члена союза Михаила Архангела. Убью!..

А… Вот что.

…На эстраде «Физы» между пальмой и роялем стоял мой знакомый с поплавка. Он был гладко выбрит, аккуратно причесан, кажется, он даже улыбался. Сюртук его имел несколько старомодный, но вполне обыкновенный «буржуазный» вид. Когда я вошел в залу, он только что кончил стихотворение.

Ему достойно похлопали — он достойно раскланялся.

Да тот ли это?

Но вот он снова стал читать, и, услышав голос, нельзя было сомневаться.

Он, конечно. Читал он какую-то благопристойную модернистскую чушь, стилизованное что-то:

…О Тукультипалишера.
О царь царей, о свет морей…

И эстетической благонравной публике «Физы» нравилось, по-видимому, — «высокий стиль» здесь особенно ценили.

— Кто это, — спросил я у Анрепа, того самого, в чьей поэме Физой звался герой.

Анреп, лощеный молодой человек с моноклем и пробором, посмотрел на меня с удивлением.

— Вы не знаете? Это Одинокий, известный поэт и критик. Ну, «Весы», «Золотое Руно» — книга стихов издана «Грифом». Не правда ли, прекрасные стихи?

Имя Одинокого я слышал, конечно. И уважение Анрепа к его поэзии отчасти разделял, — это было вполне почтенное и не бездарное имя «средней» эпохи русского московского декадентства… Но…

…Он какая-то темная личность, союзник, скандалист.

Анреп замахал на меня руками.

— Какой вздор. Кто вам сказал? Ученейший человек, э… э… э… светлая голова. Мы специально его пригласили — в следующую субботу он прочтет доклад об ассирийских мифах — он ведь знаток э… э… э… ассириологии… Удивительный человек. И откуда вы взяли, что он союзник…

Напротив, он, кажется, э… э… э… в связи с революционерами…

В течение вечера я наблюдал Одинокого издали. Он держался все больше в окружении эстетических дам и пишущих стихи камер-юнкеров — хозяев «Физы», держался скромно, грустно и достойно. Уходя с собрания, я видел, как Анреп усаживал моего скандалиста с поплавка, под локоток, в свою щегольскую карету.

* * *

Я встречал Одинокого несколько раз то там, то здесь. Все такой же — скромный, тихий, от вина отказывается, очи держит долу. Встречал я его почти исключительно в домах богатых «любителей поэзии», каких много водилось в прежние времена в Петербурге.

…О Тукультипалишера,
О царь царей, о свет морей…

читал он вкрадчиво и нараспев.

— Александр Иванович, выпейте вина.

— Благодарствуйте, не пью — сердце слабое. — И снова стихи, очи вниз, тихий голос, мягкие движения, долгие разговоры на запутанные и ученые темы.

…В Каббале говорится…

…Древние гностики считали…

…О Тукультипалишера…

— Не подходи — убью… — вспоминал я при этом, и мне очень хотелось ввернуть как-нибудь в эту важную беседу что-нибудь из моих наблюдений на «поплавке». Я искал случая. Наконец, он представился.

Часа в три ночи в один из тихих дней «Бродячей Собаки», таких дней, когда публики «со стороны» мало, «свои люди» сидят особняком по углам за взятым на книжку вином, о публике не заботясь, электричество из экономии притушено, и даже Пронин, неутомимый директор «Собаки», — устал и спит в чулане за кухней, — в одну из таких «будних ночей», когда сидишь в этом подвале неизвестно зачем, разглядывая пестрые стены и глотая холодное вино, — и все кругом выглядит чуть-чуть таинственно, — входная дверь хлопнула. Я обернулся на стук от камина, у которого скучал. Пришел Одинокий.

…Он был пьян — это было сразу видно. Не так, как тогда на «поплавке» — на ногах он держался твердо, и в глазах не было дикого выражения той ночи — они хитренько щурились, как обыкновенно. Но все-таки он был сильно пьян — это было видно по всему — по усмешке, походке, движениям…

Предлога заговорить с ним мне не пришлось выдумывать. Он, потоптавшись у двери, — сел рядом со мной у камина. Мы поздоровались. Скосив глаза на мою бутылку рислинга, он щелкнул языком.

— Кисленькое пьете. Нет, благодарствуйте, — отстранил он стакан, который я было ему придвинул. — Благодарствуйте — не пью этих напитков.

Душа не принимает, да и…

— Сердце слабое, — подсказал я.

— Именно — слабое, — он поглядел на меня, и что-то от того взгляда мелькнуло в его «хитреньких» глазах. — Правильно сказали. Слабое сердце.

Несчастное, безумное, слабое сердце. Как и все сердца человеческие…

Впрочем, это уж метафизика, так что поставил точку. Но от рислингов этих — не только сердце, а и хуже — живот у меня болит. Если уж выпить за компанию, то выпью я лучше…

Он закричал в буфет — «эй, водки».

Мы помолчали. Потом я сказал, не зная, как начать интересующий меня разговор.

— А я вас встречал еще до знакомства с вами. — Он насторожился как-то.

— Встречали? Где это? По редакциям где-нибудь?

— Нет. Весной этого года. На поплавке. Еще вы Бодлера читали, помните?

— А, вот где. Припоминаю, как же. Пьян был, чего таиться. Редко это со мной бывает. Зато редко, да метко. Вы что же… — он прищурился, — долго тогда сидели?

— Ушел, когда стали летать бутылки, — за голову боялся. После жалел.

— Чего же жалели?

Я нанес «решительный удар».

— Жалел, что не досмотрел до конца. Кто победил и… и помог ли вам Михаил Архангел?

Но мой «удар» не произвел того эффекта, на который я рассчитывал. Мой собеседник — внешне, по крайней мере, — остался невозмутимым. Только глазки прищурились еще сильней…

— Пустяки все это, — сказал он, — и вспоминать не стоит. Ну, мне разбили морду… или я разбил — не все ли равно? Не согласны? Это в вас младая кровь играет — поживете с мое, будете так же рассуждать… А насчет хотя бы Михаила Архангела — это вопрос не такой простой, как вам кажется.

Вы вот, — признайтесь, — думаете: припер я этого Одинокого к стенке, не отвертится. А я вот вдруг отверчусь, отверчусь и еще вас самих к стенке припру. Думаете нет? Ан припру…

Впрочем, и это пустые разговоры. И место здесь неподходящее — вот барыня в углу, видите, уже глаза на нас пучит, интересуется, — и я, хоть и пьян, а недостаточно. Вы поймайте меня совсем пьяненького, как тогда на поплавке. Тогда другой между нами разговор пойдет… И в другом свете тогда вам Тиняков представится. А это пустое: я в морду, мне в морду…

— Книжку вашу обещали прислать, так не забудьте прислать, — переменил он разговор. — Вот адресок мой, — он протянул мне скверную визитную карточку. — Не забудьте.

— Я не знал до сих пор вашей фамилии, псевдоним только.

— А теперь, когда фамилию мою знаете, еще чудней обо мне будете думать?

— Я в первый раз ее слышу.

— Будто? — протянул он недоверчиво. — Наша фамилия знаменитая.

Особенно в Сибири. Дед мой девять человек топором уложил.

* * *

— Я с вами объясниться хочу. Надо мне с вами объясниться. А почему — держу пари — не догадаетесь…

Восковая свечка оплывает в горлышке пивной бутылки. В комнате полутемно. Железная печка докрасна натоплена. В углу в свете маленькой лампадки поблескивают оклады икон.

— А почему — держу пари — не догадаетесь…

Я через неделю после разговора с Тиняковым-Одиноким получил от него записку. «Прошу приехать по неотложному делу». «Неотложному» было жирно подчеркнуто. Какое такое дело? Не денег ли он собирается просить, вообразив, что я богат?

Я поехал. Уж одно — посмотреть, как живет этот знаток Бодлера, член союза Михаила Архангела и «внук своего деда», — было любопытно. А может быть, он и разговорится.

Оказалось, он и позвал меня, чтобы поговорить.

— Надо объясниться. А почему…

Почему, в самом деле?

Ветер с Охты (Одинокий живет на глухой Калашниковской набережной, едва я разыскал его мрачный деревянный дом), ветер ударяет в стекла так, что они дрожат. Свеча, потрескивая, оплывает. На камчатной пестрой скатерти — водка, хлеб, закуска…

Одинокий отхлебывает из чайного стакана и морщится.

— Угощайтесь, прошу. Вот и кисленькое, для вас специально, если не хотите казенной. Да, так почему я хочу с вами объясниться?..

— Думаете — оправдываться хочу, обелиться перед вами, чтобы дальше не пошло. Мол — союзник Тиняков и еще скрывает. Подозрительный человек.

Остерегаться надо такого. Из литературы исключить. Остракизму подвергнуть.

А? Так?

— Нет-с, не так! Мне плевать! И на остракизм, и на литературу. На все.

Хочу скрываю — хочу не скрываю. Сегодня в архангелах, а завтра царя убью.

Захотелось — пошел и убил. А что о мне думают — плевать. Это я о себе написал:

…Любо мне, плевку-плевочку,
По канавке проплывать…
Скользким боком прижиматься…

Он щурится, морщась, проглатывает водку и говорит важно:

— А объяснюсь я с вами потому, что вы друг Валерия Яковлевича Брюсова, следовательно, и мой.

— Какой друг? Я даже не знаком с Брюсовым.

Но Одинокий не слушает.

— Друг Брюсова — мой друг. В каком смысле надо понимать друг? — выговаривает он со строгостью. — В том смысле, в каком тварь, солнцем питаемая, — друг ему. Брюсов — солнце, мы твари…

Преподобный Валерий,
Моли Бога о нас…

затягивает он на церковный лад. Понимаете теперь, зачем я позвал вас?

Я хочу сказать, что не понимаю — но к чему говорить. Он пьян, страшно пьян, как тогда на «Поплавке». Он лезет целоваться, рот его кривится на сторону, глаза дикие.

— Что ж ты не пьешь? — переходит он на ты. — Пей, брат, водка хорошая — царская. Царской водкой зовут самую страшную кислоту, которая прожигает железо, камень, все. В алмазных банках ее хранят — только алмаза не берет. И это вот тоже царская — все зальет, все сожжет…

Он задумывается.

— Только тоски человеческой взять не может. Стыд — без остатка, совесть — точно и нет никакой, честь — а ты выпей еще стаканчик и пошлешь эту самую честь к черту, как шлюху на Лиговке. А вот тоска — как алмаз.

Ничего ей не делается. Стоит в груди и не тает…

— Хотите стихи прочту, — вдруг спрашивает он. — Настоящие стихи, не те, что читаю буржуям…

О Тукультипалишера,
О царь царей, о свет морей, —

передразнивает он сам себя… Нет, не это. Те, что для себя пишу:

Я до конца презираю
Истину, совесть и честь,
Лишь одного я желаю —
Бражничать блудно да есть.
Только бы льнули девчонки,
К черту пославшие стыд,
Только б водились деньжонки
Да не слабел аппетит…

…А тут, — берет он меня за рукав, — тут самое главное. Иконостас Одинокого. Поближе подойдите. Вот…

При свете огарка иконы, которыми увешан угол, видны ясней. Потемневшие старинные ризы, тусклые венчики со стертой позолотой… Первую минуту я не понимаю, в чем дело…

Одинокий подносит огарок еще ближе: в середине под темным окладом выступают черты врубелевского Брюсова, рядом Боддлер, Ницше, какая-то дама…

Вперемежку с ними настоящие иконы.

Отвращение, которое, должно быть, отражается на моем лице, доставляет хозяину живейшее удовольствие. Хитренькая улыбочка расплывается шире, делается медовой.

— Дамочка с муфтой, — поясняет он, — Блаватская, теософка. А старичок налево — рядом с преподобным Серафимом Саровским — дед мой, блаженной памяти Аристарх Тиняков. Тот самый-с… На каторге снят…

* * *

Еще до войны — Одинокий пропал куда-то: оказалось, что он сотрудничает одновременно под разными псевдонимами — в «Земщине» и одной очень либеральной и уважаемой газете. Это раскрылось… Только в 1920 году он снова появился в Петербурге. Вид он имел грязный, оборванный, небритый.

Никого не интересовало, откуда он взялся и чем занимается.

Однажды он зашел в Дом искусства к своему старому знакомому писателю Г.

Поговорили о том, о сем и перешли на политику. Одинокий спросил у Г., что он думает о большевиках. Тот высказал, не стесняясь, что думал.

— А, вот как, — сказал Одинокий. — Ты, значит, противник рабоче-крестьянской власти? Не ожидал! Хотя мы и приятели, а должен произвести у тебя обыск…

И вытащил из кармана мандат какой-то из провинциальных Ч. К.

Невский проспект

Я «вступил в литературу» осенью 1910 года. «Вступил» несколько необычно: по газетному объявлению.

«Редакция большого художественного еженедельника приглашает начинающих писателей присылать свои произведения...»

Это было напечатано петитом на последней странице «Вечерней биржевой» между извещениями о сдаче квартиры и о продаже велосипеда. Как оно попалось мне на глаза? Ни велосипедами, ни квартирами я не интересовался. Велосипед у меня и без того был, а о квартире в шестом этаже размышлять было несколько рано — своевременней было думать о переэкзаменовках.

Позже, став сотрудником этого «большого художественного» журнала, я узнал, что объявление было дано только раз. И вот попалось-таки мне, никогда никаких объявлений не читавшему. И, разумеется, не мне одному — десяткам таких же начинающих, поторопившихся, как и я, прислать с первой же почтой свои «произведения». Так что не о повторении объявления пришлось заботиться, а о том, как устроиться с горой всевозможных рукописей, заполнивших все столы и шкафы гостеприимной редакции.

Посылая стихи по этому объявлению, я не питал больших надежд. Я был уже человеком искушенным. Отлично знал, что, куда бы ни отправлять стихи, как бы «разборчиво», согласно редакционным правилам, они ни были переписаны, как ни тонко составлено препроводительное письмо, с маркой на ответ и «указанием желаемого гонорара», — результат получался всегда один и тот же. По прошествии трех, четырех, иногда пяти томительных недель приходил толстый конверт со штемпелем журнала. С бьющимся сердцем я его вскрывал. И всегда одно и то же — из конверта вываливалась моя рукопись и клочок бумаги: «М. Г., к сожалению...» Первые ответы такого рода меня потрясали; с течением времени я несколько привык к этому. Но, конечно, не переставал посылать, не переставая каждый раз безнадежно надеяться. На объявление в «Вечерней биржевой» я ответил, впрочем, с некоторым упованием: приглашались ведь

начинающие авторы, а права на это звание никто не мог у меня отнять. И еще — раз приглашались начинающие, — значит, нет в редакции того засилья признанных, знаменитых, кем я считал каждого, чью подпись видал в печати и чьим интригам приписывал свои неудачи на поприще славы.

Да, надежда на этот раз была больше, чем обычно. Но все-таки очень отдаленная. Настолько отдаленная, что, когда, дня через три, я получил ответ: «Ваши стихи приняты, просим зайти лично...» — я был ошеломлен не менее, чем первым: «М. Г., к сожалению...» Даже больше, пожалуй. Я получил это письмо, сидя в корпусе, на «вечерних занятиях». Воспитатель мой, старичок подполковник, укоризненно покачал головой, передавая мне вскрытое им (все письма читались воспитателем) письмо. Он относился скептически к поэзии и к листку с моими четвертными отметками приписал недавно: «Преждевременное увлечение новейшей литературой вредит успехам и не обещает в будущем ничего хорошего...». Стихи Бальмонта и собственные им подражания, которыми была полна моя голова, «успехам» в самом деле вредили. Отметки у меня были отчаянные, не исключая и отметок по русскому языку, блеск которого собирался я обновлять.

«Ваши стихи приняты, просим зайти...» Я перечитывал по многу раз эти магические слова, и они казались мне музыкой. Музыкой казалось и название, декадентскими литерами выведенное на бланке: Редакция журнала «Все новости литературы, искусства, театра, науки, техники, промышленности и гипноза». Это «и гипноза» несколько меня смущало. Какой-то смутный инстинкт подсказывал, что все-таки лучше бы обойтись без гипноза.

Отправляя стихи на этот раз, я благоразумно не указал «желаемого гонорара». И хорошо сделал: чтобы не уронить достоинства, я обычно назначал гонорар скромный, но солидный: пятнадцать копеек за строчку. Редакция «Новостей гипноза», начинание молодое и неокрепшее, как я справедливо догадался, таких бешеных денег платить не могла. Гонорар был мне уплачен по пять копеек за строчку, всего рубль восемьдесят копеек. Прибавив три двадцать собственных, сэкономленных на пирожных и папиросах, я внес эти деньги в полугодовую подписку на «Аполлон».

Собственно, подписываться на «Аполлон» было излишней роскошью — можно было бы его по-прежнему брать в библиотеке. Но отправляясь подписываться, я имел смутный, неопределенный план, питал смутную надежду на возможный счастливый случай. Вдруг в конторе «Аполлона» заговорит со мной Блок! Вдруг я заведу знакомство с Брюсовым! Надежда оказалась неосновательной. В пустой конторе на Мойке усатый красноносый конторщик жег на печке клейкий лист, облепленный мухами. Мухи, погибая, отчаянно жужжали. На вешалке висело несколько пальто и шляп — может быть, какая-нибудь из них и принадлежала Бальмонту, кто знает, — и я посмотрел на вешалку с почтением. Но я никого не увидел, никаких знакомств не завел. Красноносый конторщик, оставив мух, вяло принял мои пять рублей, вяло выписал квитанцию и потребовал еще пять копеек за марку. Пять копеек, по счастью, у меня нашлось — последние, на трамвай. Я отдал их конторщику, спрятал квитанцию, посмотрел еще раз на вешалку и пошел пешком домой на Каменноостровский...

«Новости гипноза» скоро закрылись, кажется, на четвертом номере. Но великая вещь — напечататься в первый раз, хотя бы и в «Новостях гипноза». Остальное делается уже само собой...

Вернее, делалось само собой в старые (добрые или недобрые) времена. Теперь времена, конечно, изменились...

Вспоминая прошлое, как не пожалеть нынешнюю литературную молодежь. Старое правило: «Поэт, не нашедший типографии для своих стихов, — не поэт» — к ней неприменимо. Можно быть трижды поэтом и типографии все-таки не найти. Да и не в одной типографии дело. Если даже удастся пристроиться в журнал или выпустить книжку, то положение мало меняется. Ведь найти типографию не значит еще найти читателя. А где теперь этот читатель, особенно читатель стихов?..

Кто наполнял когда-то до отказу литературные вечера, до дыр зачитывал и поэзию, и беллетристику, и критику, делал на полях то восторженные, то негодующие пометки, свидетельствовавшие если не о хорошем вкусе, то о повышенном страстном интересе к литературе? Кто, в сущности, создавал всероссийскую, мгновенную, часто совершенно незаслуженную славу? Студенты и курсистки.

Да, «главным читателем» в России было, конечно, студенчество. Этот «главный читатель» был не особенно разборчив, в голове у него был порядочный сумбур. Но у него было драгоценное свойство: он читал «до дыр», а не почитывал в часы досуга, восторгался, а не снисходительно одобрял, негодовал, а не откладывал, пожав плечами, непонравившуюся книгу. Это повышенное, страстное отношение огромной и «влюбленной» в литературу аудитории было настоящим «воздухом» для искусства.

Оскудение этого воздуха началось давно. Началось оно с войны. Я, «вступив» при помощи «Новостей гипноза» в 1910 году в литературу, «краешком» застал еще другие, лучшие времена.

Главное было сделано — я напечатал первые стихи. Остальное пошло само собой. Через год я был в самой гуще «литературной жизни», правда, не особенно «первосортной».

...Какие-то залы, набитые какими-то слушателями. Залы всегда большие, слушателей всегда много. Вечер стихов, диспут о стихах. Стихи — чушь, споры — бестолковщина. Но кто-то благодарит, кто-то жмет руки, просит автографов, подносит цветы. Потом, по снегу, на нескольких извозчиках в шумную и бестолковую «Вену» большой компанией, за сдвинутыми столами — шумный, бестолковый, веселый разговор. «Вена» закрывается; снова сани летят куда-то по снегу. В небе звезды, голова кружится от вина, в голове обрывки стихов, в ушах шум незаслуженных аплодисментов. Завтра опять диспут, надо дать отпор кубофутуристам. Да здравствует эгофутуризм! Сани летят, и не от одного вина кружится голова — еще от тщеславной мысли: неужели это я, только год тому назад...

Сколько знакомств завязывалось тогда, сколько неожиданных встреч! Вот хотя бы С.

Поэт С., сын крестьянина, круглый сирота, поступил двенадцати лет в страховое общество лифтбоем. А в двадцать пять был директором этого общества, получал огромное жалованье, держал рысака, одевался у Калина, прочел по-французски, итальянски, гречески все, что можно было на этих языках прочесть, и был близким другом «таврического мудреца» — Вячеслава Иванова.

Я познакомился с С. в «Гаудеамусе», студенческом эстетическом журнале. Его редактировал Вл. Нарбут, в нем печатала свои первые стихи начинающая поэтесса — Анна Ахматова. Однажды я зашел в редакцию. Но зашел неудачно. Нарбута нет, никого нет. Я сел подождать. Кроме меня, в приемной ждал еще один посетитель — розовый молодой человек, щегольски одетый, со странно-неподвижным взглядом удивительных серо-холодных глаз. Нарбут не приходил. Мы разговорились. Так началась наша дружба...

Странная это была дружба. Что нас связывало — не знаю. О чем вели мы с С. бесконечные беседы, о чем на десяти страницах переписывались летом? Не помню. Вылетело из головы. О стихах, конечно, о литературе. Но, конечно, не стихи С. — умелые и довольно бесцветные, не его литературные мнения меня привлекали. Что же? «Что-то», что было в С. Какая-то тень тайны на его жизни. Иногда он вел со мной странные разговоры.

— Ты дворянин?

— Дворянин, а что?

— А вот я мужик. Дед крепостным был.

— Так что же? Ты ведь не крепостной, чего тебе беспокоиться?..

— Ты не поймешь этого...

— Чего же?

— Важности быть дворянином... в иных случаях.

— Действительно, не понимаю.

— Видишь ли. Как тебе объяснить. Вот ты дворянин, и, значит, у тебя есть герб и корона. Герб твой дурацкий, сочиненный писарем в департаменте геральдики, какой-нибудь лафет и груда ядер. А другому дан герб с тремя лилиями и с соломоновой звездой, дан господином, за доблесть, и он должен таить его от всех, потому что не имеет дворянства, которое каждый отставной генерал имеет.

— Это не тебе ли дан герб с тремя лилиями?

— Может быть, и мне.

— И у тебя не хватает для него короны? За чем же дело стало? Давай я тебя усыновлю, и ты украсишь моей короной свой замечательный герб, — шутил я.

В 1914 году весной С. собирался за границу, я уехал в деревню. Вдруг получаю от него письмо с Кавказа. Недоумеваю,

почему он отложил свою поездку в Германию, совсем решенную, даже паспорт, кажется, был уже взят. Ответ загадочный: теперь поздно. Скоро будет война. Это в июне 1914 года. Вернувшись в Петербург, спрашиваю С.:

— Откуда ты знал?

Улыбка.

— Так, показалось...

— Если тебе часто так кажется, ты мог бы, право, как мадам Тэб, заниматься предсказаниями.

Улыбка делается насмешливой.

— Как мадам Тэб? Спасибо! Это бы и ты мог. Она в этих делах, поверь, совершенная невежда.

Может быть, С. просто смеялся надо мной. Не знаю. Может быть, никакой тайны в нем не было. Может быть. Но если бы оказалось, что он и впрямь человек необыкновенный, с двойной жизнью, с таинственными познаниями, — я бы не удивился...

И другие встречи того времени — все непохожи одна на другую, каждая по-своему «пронзительна». Например, Гатчина — мещанский кривой домишко, жаркие, заставленные барахлом комнаты, чад кухни, дым дешевых папирос, бульканье водки, человек десять каких-то оборванцев собутыльников, и среди этого нищий, пьяный, грязный, всклокоченный — Фофанов. Умирающий Фофанов.

Жена Фофанова — сумасшедшая. Дети — сколько их — всех возрастов, тут же вместе с отцом, пьющим водку стаканами, — дети сумасшедшей и алкоголика. Собутыльники — шулера, взломщики, агенты охранного отделения. Фофанов с искаженным лицом опрокидывает стакан, страшно, дико кощунствуя, тянется к киоту — закурить от лампадки. И, икая, читает стихи, ворох стихов, на каждом из которых сквозь вздор и нелепость — отблеск ангельского вдохновения, небесной чистоты.

Шулера и агенты охранки внимательно слушают. На глазах у них слезы. Фофанов шатается. Потом, изможденный стихами, водкой, усталостью, валится под стол, на плевки и окурки, на грязные сапоги сыщиков. Валится с невнятным бормотанием: «Бессмертия мне!..»

Это была его любимая фраза. Это были его последние слова, когда он умирал от белой горячки.

Утром вспоминаешь такие встречи, как сон. Страшный сон — только бы он не повторился. И с особенным удовольствием одеваешься в чистой комнате, моешься в белой ванной, завтракаешь в залитой скупым петербургским солнцем столовой.

Вечером снова диспут — надо подготовиться. Да здравствует «эгофутуризм», долой «кубо» — Бурдюков и компанию.

Снова какие-то залы, набитые какими-то слушателями. Залы всегда большие, слушателей всегда много. Аплодисменты, споры, восторженный или негодующий «главный читатель». И снова сани летят куда-то по сияющему петербургскому снегу...

О Кузмине, поэтессе-хирурге и страдальцах за народ

Поэт М. Кузмин, живший у Вячеслава Иванова, поссорившись с ним, перебрался к X, известной писательнице. С Кузминым перекочевала и вся легкомысленная часть общества, ходившая на знаменитую Ивановскую «башню». Остались там одни бородатые профессора, толковавшие об истине или спорившие об «анакрузах». У X установился тон, хотя и менее почтенный, зато много более непринужденный, чем в мансарде «таврического мудреца» (от Таврической улицы, где Иванов жил), обставленной пропыленной итальянской мебелью и заваленной средневековыми рукописями.

X была известной романисткой. На высокое искусство она не претендовала. Писала бойко и отнюдь не бездарно, во всяком случае головой выше так называемой «средней литературы» из толстых журналов, куда ее не пускали. Впрочем, она этого и не добивалась: «У меня свой читатель».

«Свой читатель» действительно был — книги X расходились десятками тысяч экземпляров.

X было лет под сорок. Наружностью и характером — русская барыня — помещица средней руки, болтушка и хохотушка, умеющая «простить и оборвать», веселая и гостеприимная. Конечно, она была знаменитой писательницей, и у нее должны были быть «запросы». Она даже жаловалась в стихах:

Ах, никто не понимает
Психологии моей...

Но это было так, для стиля. «Психология» ее была ясна, как зеркало, и ей самой и окружающим.

Кузмин расположился у X много комфортабельнее, чем у Вячеслава Иванова. И в прямом и в переносном смысле. Тон глубокомысленных беседований и «волхований» Кузмину давно надоел. Ему хотелось резвиться. Переезд с Таврической на Мойку тотчас же отразился и на его писаниях. С «высокой» литературой было покончено, в права вступила литература легкомысленная.

Х в простоте душевной видела в Кузмине если не ученика, то попутчика. И очень беспокоилась, зачем он мало пишет. — «Вы должны работать, работать, работать, дорогой Михаил Алексеевич». — Чтобы работа шла успешней, к Кузмину был даже приставлен секретарь.

Секретаря звали Агашка. Был он, кажется, из семинаристов и говорил с «духовным» акцентом. Лицо имел круглое и простодушное, как у чухонки. Но эстет он был отчаянный и считал себя ужасно «порочным и тонким», в доказательство чего носил лорнет, браслет и клетчатые штаны особого фасона.

Агашка, понятно, обомлел от счастья, попав в секретари к «петербургскому Уайльду», как Х величала Кузмина. Но счастье длилось недолго. Дело в том, что, как натура тонкая и изысканная, Агашка, писавший под диктовку Кузмина, не мог мириться с простотой его выражений и тайком «наводил стиль».

— Женщина подошла к окну, — диктовал Кузмин.

«Молодая женщина волнующейся походкой подошла к венецианскому окну», — записывал Агашка.

Пришлось его отставить.

Часов с трех дня на Мойке начинался съезд. К пяти «салон гудел веселым ульем». Хозяйка, превозмогая свою простодушную натуру, толкует о «красоте порока». Другая, менее известная писательница К., в огромной шляпе, перебивая ее, лепечет о некромантии. Юркун, плодовитейший из беллетристов (только происками издателей можно было объяснить, что трудолюбие его еще не оценено), презрительно бросает кому-то признавшемуся, что любит Леонардо Да Винчи:

— Леонардо... Леонардо... Если бы Аким Львович (Волынский) не написал о нем книги, никто бы и не помнил о вашем Леонардо...

Бледное, плохо выбритое существо сидит в углу. У него такой вид, точно он не спал всю ночь и явился, не успев переодеться. Лицо жалкое и милое, беспокойный близорукий взгляд. Это поэт Рюрик Ивнев. Если его попросят прочесть стихи, он долго будет отнекиваться, потом полезет в карман, вытащит сверток измятых листков, просыпет папиросы, выронит платок, засунет все это обратно, покраснеет, передернется, встанет, опять сядет...

Прочесть он может и очень плохие и прекрасные стихи. Чаще плохие, даже никуда негодные, чушь:

Гляди на Астрахань, на сей град,
И мылом мой лохань. Рад. Рад.

И вдруг, изредка, щемяще-пронзительное:

От крови был ал платочек.
Корабль наш мыс огибал.
Голубочек, наш голубочек,
Голубочек наш погибал.

Этот Рюрик Ивнев, будущий имажинист, поэт, «параллельно» пишущий акафисты и страшные богохульства, коммунист, простаивающий часы на коленях, замаливая «наш общий грех».

— Их сиятельства нет дома, — говорит чинный лакей.

Нет так нет. Я поворачиваюсь, собираясь уходить. Но мой спутник Мандельштам вступает в пререкания:

— Как же ее нет, когда она сама нас звала.

— Не могу знать. Вышли.

— А почему в кабинете свет? Вы что-то путаете, — не отступает Мандельштам.

Лакей сдается.

— Не могу я вас пустить, господа. У княжны Ее Величество...

— А!!

Княжна Г. — необыкновенная женщина. Ничего женского в ней нет. Лицо профессора... Плечи пожарного... Крепчайшая папироса в зубах, раскатистый бас... Любимые развлечения — бильярд и стрельба в тире. Принимает гостей. Вдруг звонок в телефон.

— Простите, господа, я вас на минутку оставлю.

Через четверть часа возвращается.

— Где вы были, княжна?

— Да в госпитале... вызвали... пустяки... ампутировала ногу...

Заведующая госпиталем. Блестящий хирург. Выжимает в силомере какую-то чудовищную цифру. И поэтесса. Точнее, поэт — «князь Сергей Г.». Нежный, нежнейший, лирический поэт. Пишет о цветах, ветках, чижиках...

Точно грустный чижик в клетке,
Я сижу один...

Читая стихи, бас, недавно гудевший — «пустяки... гангрена... ампутировала...», — смягчается. Может быть, в самом деле эта душа, бесстрашная в окровавленной операционной, чувствует себя робким чижиком:

Вдыхая аромат душистого левкоя
В вечерней тишине...

Поэта Сергея Г. «открыл» и приобщил к литературному высшему обществу Гумилев. До этого княжна «блуждала в потемках» — боготворила Щепкину-Куперник и печатала свои стихи на веленевой бумаге с иллюстрациями Клевера... Гумилев дал пятидесятилетней неофитке прочесть Вячеслава Иванова. Княжна прочла, потряслась, сожгла все свои бесчисленные стихи и стала писать о «волшбе»...

...Прием у княжны Г. в разгаре. Гостеприимная хозяйка потчует гостей прекрасной мадерой и... стихами. Общество смешанное. Часть гостей — модернистическая, недавнего знакомства. Часть старые — «собратья по перу» — почтенные дамы и директора департаментов. Эти имеют вид любезно-обиженный. Любезный — с «молодежью» надо считаться. Обиженный — чувствуют, что теперь им в глазах хозяйки дома, с тех пор как она стала декаденткой и пишет о «волшбе», не та цена. Читают стихи по кругу. Это тоже не нравится — «не создает настроения».

Дама с шиньоном — нервничает. Она принесла с собой небольшую драму, но читать вряд ли придется.

— Глафира Петровна, вы прочтете что-нибудь?

Вытащить из сумочки заветную тетрадку? Нет, где уж тут, — опять начнут зевать, шептаться, писать друг другу записочки и бесцеремонно уходить в бильярдную, под предлогом курения, хотя курить в кабинете никто не запрещает.

«А может быть, все-таки прочесть?..»

Но уже княжна притворно-укоризненно качает головой:

— Не хотите? Как жаль! Тогда, господа, если позволите, я прочту сонет.

На стуле вертится хлыщеватый молодой человек ультрапетербургского вида. Он играет моноклем, слишком непринужденно

закладывает ногу за ногу, слишком рассеянно щурится. Ежесекундно его лицо подергивается тиком. Говорит он в нос, цедит слова, картавит и пришептывает. Это столп «Аполлона» Н. Н. Пунин, художественный критик и поэт. Он каждую фразу, начиная по-русски, кончает по-французски, или наоборот.

— Приятно, — признается он, — что в «Аполлоне» сотрудничают более или менее люди нашего круга. В других редакциях приходится здороваться за руку черт знает с кем...

Увы, несколько лет спустя Пунину пришлось часто испытывать эту неприятность: он стал комиссаром Отдела изобразительных искусств.

Соответственно с обычаями нового «нашего круга» тогда изменилась и внешность Лунина: полушубок, пенсне, бородка, «вдумчиво-суровый» взгляд.

Один мой знакомый в 1919 году, сидя в углу вагона, слышал такой разговор.

Так называемый «делегатский» вагон — набит. Перед самым отходом поезда появляется Пунин и еще два молодых человека, одетых в кожу. У них плацкартные места, но что-то перепутали и приходится довольствоваться коридором.

— До Любани, товарищи, — распинается контролер, — в Любани прицепят спальный.

«Комиссары» волнуются и негодуют. Остальная публика, хотя и «делегатская», поглядывает на них явно несочувственно. Слышен шепот:

— Все так ездим, нашлись господа...

Лунин, волновавшийся не меньше других, вдруг меняет тон.

— Полно, товарищи, — говорит он намеренно громко. — Что там сердиться. Как-нибудь доедем, мы, старые социалисты, ведь привыкли и не к тому. Все видали, и Сибирь по этапу, и мороз тридцатиградусный, и издевки царских палачей, и теперь по-пролетарски — в тесноте, да не в обиде.

Общественное мнение смягчается.

— Да вы присядьте, товарищ. Потеснимся... Действительно, которые страдали. А то больше мазурики...

...Дымя египетской папиросой, благоухая «Герленом», будущий страдалец за народ читает стихи. Они посвящены

императрице Феодоре. В стихах говорится о том, как он, Пунин, «ласкал бы» Феодору, если бы века не разделяли их бессмертной страсти. Стихи звонкие. В том, что византийская императрица была бы в восторге, элегантный автор не сомневается. Все дело в «веках».

...Присядьте, товарищ... Действительно, которые страдали...

— Николай Николаевич, как вам нравится Роджерс в «Ла белль авентюр»?

— Очаровательна. Мы ведь старые парижские Друзья. Однажды я завтракал у ней с принцем Уэльским. Принц мне сказал...

...Действительно, которые страдали. А то больше мазурики...

Прием идет на убыль. Один из старых «собратьев по перу», благообразного и сановного вида, улучив минуту, читает с «выражением»:

У меня на столе,
В дорогом хрустале.
Увядает пурпурная роза.
В ней так дивно слиты
И любовь, и мечты,
И тоска, и лазурная греза...

Увы, «настроения» не создается. Никто не слушает. Эта молодежь так бесчувственна к поэзии старой школы. Стоит ли метать бисер?..

Хозяйка, забыв об обязанности сказать что-нибудь одобрительное, краснея, как девочка, берет из рук только что пришедшего Гумилева номер «Гиперборея». Ее стихи, наконец, там напечатаны. Какая радость. Но лицо ее вдруг темнеет.

— У меня было девять строф, а здесь только шесть. И последняя совсем переделана.

— Дорогая княжна, я нашел, что так будет лучше. Спорить нельзя. И к чему спорить? Может быть, так и в самом деле лучше.

«Бродячая собака»

«Бродячая собака» была открыта три раза в неделю: в понедельник, среду и субботу. Собирались поздно, после двенадцати. К одиннадцати часам, официальному часу открытия, съезжались одни «фармацевты». Так на жаргоне «Собаки» звались все случайные посетители, от флигель-адъютанта до ветеринарного врача. Они платили за вход три рубля, пили шампанское и всему удивлялись.

Чтобы попасть в «Собаку», надо было разбудить сонного дворника, пройти два засыпанных снегом двора, в третьем завернуть налево, спуститься вниз ступеней десять и толкнуть обитую клеенкой дверь. Тотчас же вас ошеломляли музыка, духота, пестрота стен, шум электрического вентилятора, гудевшего, как аэроплан.

Вешальщик, заваленный шубами, отказывался их больше брать: «Нету местов». Перед маленьким зеркалом толкутся прихорашивающиеся дамы и загораживают проход. Дежурный член правления «общества интимного театра», как официально называется «Собака», хватает вас за рукав: три рубля и две письменные рекомендации, если вы «фармацевт», полтинник — со своих. Наконец, все рогатки пройдены. Директор «Собаки» Борис Пронин, «доктор эстетики — гонорис кауза», как напечатано на его визитных карточках, заключает гостя в объятия: «Ба! Кого я вижу?! Сколько лет, сколько зим! Где ты пропадал? Иди! — Жест куда-то в пространство. — Наши уже все там».

И бросается немедленно к кому-нибудь другому. Свежий человек, конечно, озадачен этой дружеской встречей. Не за того принял его Пронин, что ли? Ничуть! Спросите Пронина, кого это он только что обнимал и хлопал по плечу. Пронин, наверное, разведет руками: «А черт его знает...»

Сияющий и в то же время озабоченный, Пронин носится по «Собаке», что-то переставляя, шумя. Большой пестрый галстук бантом летает на его груди от порывистых движений. Его ближайший помощник, композитор Н. Цыбульский, по прозвищу «граф О'Контрэр», крупный, обрюзгший человек, неряшливо одетый, вяло помогает своему другу. «Граф» трезв и поэтому мрачен.

Пронин и Цыбульский, такие разные и по характеру и по внешности, дополняя друг друга, сообща ведут маленькое, но сложное хозяйство «Собаки». Вечный скептицизм «графа» охлаждает не знающий никаких пределов размах «доктора эстетики». И напротив, энергия Пронина оживляет Обломова-Цыбульского. Действуй они порознь, получился бы, должно быть, сплошной анекдот. Впрочем, анекдотического достаточно и в их совместной деятельности.

Раз выпив не в меру за столиком какого-то сановного «фармацевта», Пронин, обычно миролюбивый, затеял ссору с адвокатом Г. Из-за чего заварилась каша, я не помню. Из-за какого-то вздора, разумеется. Г. был тоже немного навеселе. Слово за слово — кончилось тем, что Г. вызвал директора «Собаки» на дуэль. Наутро проспавшийся Пронин и Цыбульский стали совещаться. Отказаться от дуэли? Невозможно — позор. Решили драться на пистолетах. Присмиревший Пронин остался дома ждать своей участи, а Цыбульский, выбритый и торжественный, отправился секундантом к Г. на квартиру. Проходит полчаса, час. Пронин волнуется. Вдруг — телефонный звонок Цыбульского: «Борис, я говорю от Г. Валяй сейчас же сюда — мы тебя ждем! Г. — замечательный тип, и коньяк у него великолепный».

Другой раз Пронин под руку с Цыбульским прогуливались по левой стороне Невского в людное время и пригласили всех более или менее знакомых встречных на обед в итальянский кабачок Франчески Танни на Екатерининском канале праздновать чье-то из них рождение или именины. К обеду явилось человек пятьдесят. Пронин шумит, распоряжается, заказывает меню и вина, наконец, съедено очень много, выпито еще больше. Хозяин подает Пронину счет. Тот берет с явным недоумением. «Что это?» — «Счетчик-с». Пронин читает вслух внушительную трехзначную цифру, обводит окружающих диким взглядом и вдруг восклицает: «Хамы! Кто же будет платить?».

Комнат в «Бродячей собаке» всего три. Буфетная и две «залы» — одна побольше, другая совсем крохотная. Это обыкновенный подвал, кажется, в прошлом ренсковой погреб. Теперь стены пестро расписаны Судейкиным, Белкиным, Кульбиным. В главной зале вместо люстры выкрашенный сусальным золотом

обруч. Ярко горит огромный кирпичный камин. На одной из стен большое овальное зеркало. Под ним длинный диван — особо почетное место. Низкие столы, соломенные табуретки. Все это потом, когда «Собака» перестала существовать, с насмешливой нежностью вспоминала Анна Ахматова:

Да, я любила их — те сборища ночные,
На низком столике — стаканы ледяные,
Над черным кофием голубоватый пар,
Камина красного тяжелый зимний жар,
Веселость едкую литературной шутки...

Есть еще четверостишие Кузмина, кажется, нигде не напечатанное:

Здесь цепи многие развязаны,
Все сохранит подземный зал,
И те слова, что ночью сказаны,
Другой бы утром не сказал.

Действительно — сводчатые комнаты «Собаки», заволоченные табачным дымом, становились к утру чуть волшебными, чуть «из Гофмана». На эстраде кто-то читает стихи, его перебивает музыка или рояль. Кто-то ссорится, кто-то объясняется в любви. Пронин в жилетке (пиджак часам к четырем утра он регулярно снимал) грустно гладит свою любимицу Мушку, лохматую злую собачонку: «Ах, Мушка, Мушка — зачем ты съела своих детей?» Ражий Маяковский обыгрывает кого-то в орлянку. О. А. Судейкина, похожая на куклу, с прелестной, какой-то кукольно механической грацией танцует «полечку» — свой коронный номер. Сам «мэтр Судейкин», скрестив по-наполеоновски руки, с трубкой в зубах, мрачно стоит в углу. Его совиное лицо неподвижно и непроницаемо. Может быть, он совершенно трезв, может быть, пьян — решить трудно. Князь С. М. Волконский, не стесняясь временем и местом, с жаром излагает принципы Жака Далькроза. Барон Н. Н. Врангель, то вкидывая в глаз, то роняя (с поразительной ловкостью) свой монокль, явно не слушает птичьей болтовни своей спутницы знаменитой Паллады Богдановой-Бельской, закутанной в какие-то фантастические шелка и перья. За «поэтическим» столом идет упражнение в писании

шуточных стихов. Все ломают голову, что бы такое изобрести. Предлагается, наконец, нечто совсем новое: каждый должен сочинить стихотворение, в каждой строке которого должно быть сочетание слогов «жо-ра». Скрипят карандаши, хмурятся лбы. Наконец, время иссякло, все по очереди читают свои шедевры...

Под аплодисменты ведут автора, чья «жора» признана лучшей, записывать ее в «Собачью книгу» — фолиант в квадратный аршин величиной, переплетенный в пеструю кожу. Здесь все: стихи, рисунки, жалобы, объяснения в любви, даже рецепты от запоя — специально для «графа О'Контрэр». Петр Потемкин, Хованская, Борис Романов, кто-то еще — прогнав с эстрады поэта Мандельштама, пытавшегося пропеть (Боже, каким голосом!) «Хризантемы», — начинают изображать кинематограф. Цыбульский душераздирающе аккомпанирует. Заменяя надписи на экране, Таиров объявляет: «Часть первая. Встреча влюбленных в саду у статуи Купидона. (Купидона изображает Потемкин, длинный и худой, как жердь.) Часть вторая. Виконт подозревает... Часть третья...»

Понемногу «Собака» пустеет. Поэты, конечно, засиживаются дольше всех. Гумилев и Ахматова — царскоселы, ждут утреннего поезда, другие сидят за компанию. За компанию же едут на вокзал «по дороге» на Остров или Петербургскую сторону. Там в ожидании поезда пьют черный кофе. Разговор уже плохо клеится, больше зевают. Раз так за кофеем пропустили поезд. Гумилев, очень рассердившись, зовет жандарма: «Послушайте, поезд ушел?» — «Так точно». — «Безобразие — подать сюда жалобную книгу!»

Книгу подали, и Гумилев исписал в ней с полстраницы. Потом все торжественно расписались. Кто знает, может быть, этот забавный автограф найдут когда-нибудь... Столкновения с властями вообще происходили не раз при возвращении из «Собаки». Однажды кто-то, кажется Сергей Клычков, похвастался, что влезет на чугунного коня на Аничковом мосту. И влез. Разумеется, появился городовой. Выручил всех Цыбульский. Приняв грозный вид, он стал вдруг наступать на городового. «Да ты знаешь, с кем ты имеешь дело, да ты понимаешь ли... Как смеешь дерзить обер-офицерским детям!», — вдруг заорал он

на весь Невский. Страж закона струсил и отступился от «обер-офицерских детей».

На улицах пусто и темно. Звонят к заутрене. Дворники сгребают выпавший за ночь снег. Проезжают первые трамваи. Завернув с Михайловской на Невский, один из «праздных гуляк», высунув нос из поднятого воротника шубы, смотрит на циферблат Думской каланчи. Без четверти семь. Ох! А в одиннадцать надо быть в университете.

Лунатик

Месяца два тому назад в газетах промелькнуло: «В московских литературных кругах распространился слух о самоубийстве в провинции поэта Пяста».

Слух этот так и не был ни подтвержден, ни опровергнут. Но как-то само собой все знавшие Пяста и без подтверждения этому слуху поверили.

Это понятно. Так легко представить себе именно Пяста, прижимающего к виску револьвер или старательно мастерящего петлю, и именно «где-то в провинции», в случайной какой-нибудь дыре, в жалкой какой-нибудь комнате с тараканами и стеклом, заткнутым тряпкой. И, представив, очень трудно отделаться от мысли, что, может быть, этого и не было, может быть, слух неверен.

...Керосиновая лампа коптит, тараканы шуршат оборванными обоями. Человек с водянисто-бледным, неподвижным лицом методически прилаживает петлю к крюку. Лицо его и серьезно и спокойно: он делает важное дело. Сейчас — наконец-то — он освободится от страшного, невыносимого груза своего одиночества.

...Эти черные глаза, странные глаза моей потерянной любви, леди, леди Лигейи... Петля крепкая, выдержит... Лампа коптит, тараканы... Океан и буря... Корабль погружается... он тонет... Это — в последний раз — божественные строчки обожествленного им Эдгара бормочет человек с бледным, неподвижным лицом, решивший — наконец — умереть. А вот и собственные стихи:

О, мне песни иной не запеть,
не запеть, не запеть.
Только раз, только миг
человеку все небо открыто.
И мгновеньем одним
все безмерное счастье избыто.
О, безмерное счастье...

Только раз. Только миг. Сейчас этот миг — настанет.

«Советская действительность» — тараканы, разбитое окно... Но как раз тут, в этой смерти, советская действительность,

вероятно, ни при чем. Ее и нет вовсе. Для человека, который сейчас себя убьет, время окаменело между 1905–1910 годами. Отчасти из-за этого он и умирает...

* * *

Водянисто-белое, неподвижное лицо. Голова откинута назад, глаза полузакрыты. Черты этого лица тонки, правильны, скорее привлекательны, только что-то мертвенное в них есть. Какая-то прозрачная неподвижность, как в музее восковых фигур. И движения тоже странно связанные, медленно-рассчитанные, плавно-механические, как у автомата. Вот он входит в какое-нибудь собрание медленным, твердым, размеренным шагом. Останавливается. Кланяется кому-нибудь, кому-нибудь пожимает руку. Достает папиросы, стучит мундштуком о коробку, закуривает. Делает, словом, все то, что делают другие, окружающие его, — и каждым поворотом головы, каждым движением руки среди этих окружающих — кто бы они ни были — неуловимо и явно отличается.

Не лицо, а парафиновая маска, прозрачная, неподвижная. Но вот она вдруг приходит в движение. Дергаются углы рта, за ними щеки, сводит сутулые плечи мгновенная судорога, пробегает по коленям, чуть шевеля складки широких в крупную шотландскую клетку штанов, и, наконец, ступни тяжелых ног неловко и грузно переступают на месте и застывают. Как будто какая-то волна, как молния по громоотводу, пронизала этого человека и ушла в землю. И снова он стоит, неподвижный, старомодно-живописный, переменно-вежливый, откинув голову, полузакрыв глаза, и горбинка на его правильном, тонком носу матово просвечивает, как восковая... Но если в такую минуту заглянуть ему в глаза — можно испугаться: такая ледяная тоска в этих мутно-голубых, полузакрытых, полубезумных глазах.

Таким я увидел поэта Владимира Пяста впервые — в 1910–1911 году. Таким, точно таким я видел его в последний раз — разве что неизменные его шотландские штаны были в бахроме и пятнах, и рыжая широкополая шляпа стала еще рыжей, и замысловатый изгиб ее полей еще замысловатее...

В середине сентября 1922 года я проходил по Невскому, мимо Дома искусств. У подъезда, под дождем, стоял Пяст, прилаживая к стене огромный рукописный плакат о каком-то своем вечере. Кажется, это был вечер выразительного чтения, которым в то время Пяст очень увлекался. Мне бросился на плакате в глаза неуклюже нарисованный черный браунинг с красными клубами дыма и большими буквами под ним: «Я, Владимир Пяст, такого-то числа, в таком-то часу вечера открою беспощадную пальбу по...» По чему он собирался открыть пальбу, я не дочитал — шел дождь, мне было некогда. Да и полемические выступления Пяста, частые в те времена, давно всем приелись — никто на них не ходил — «беспощадная пальба» шла обычно при пустом зале...

На ходу я поклонился Пясту. Он церемонно и медлительно снял свою широкополую шляпу, откинул голову, и концы губ его дернулись...

* * *

«Человека надо оценивать не по судьбе, а по залогам души», — говорит где-то Розанов. Вряд ли кто-нибудь станет с этим спорить. Надо, разумеется. Но ведь мало ли что «надо» в нашем несовершенном мире, и чтобы люди не старились «надо», и чтобы не умирали они, и чтобы счастливы были?.. И мало ли что еще? «Оценивать по залогам души». Хорошо сказано и «пронзительно» — только как, каким способом производить эту оценку, «по залогам», чтобы она не оказалась еще более произвольной, чем обычная, «по судьбе», оценка. Да и в чем, наконец, сами они, эти залоги...

Вот жил поэт Владимир Пяст. Был очень талантлив... и не написал ничего замечательного. Жил трудной, мучительной, страшно напряженной жизнью — но со стороны эта раздиравшая его жизнь ничем не отличалась от праздной и пустой жизни любого неудачника из богемы. Он ощущал себя — и, должно быть, справедливо — трагической фигурой, но был по большей части попросту нелеп. Он был «химически» чист и честен — «беспощадно паля» на своих вечерах, был действительно

беспощаден и к другим и к себе (задевал он всегда людей влиятельных, и влиятельные люди это запоминали) — и в то же время всякий знал, что за коробку папирос Пяст назовет в рецензии гениальными стихи дурака Нельдихена. Даже главная страсть его жизни, может быть, единственная страсть, — к Эдгару По, далеко выходившая за пределы литературного поклонения, просто даже несравнимая с ним, страсть, державшая его в постоянном каком-то экстазе и доводящая его порой вплотную к той точке, где обрываются и «судьба» и «залоги» и начинается просто сумасшествие, — даже эта страсть, несомненно, у Пяста очень глубокая и где-то в глубине своей переплетавшаяся корнями с очень важными и трагическими вещами, с самой сутью жизни, — «на поверхности» выглядела только странно и смешно.

...Какой-нибудь зал — студенческий литературный вечер или что-нибудь в этом роде. Разные поэты читают стихи. Один похуже, другой получше — тому хлопают больше, тому меньше. Особого оживления нет, скучновато. Но вот в клетчатых своих штанах, в своем черном галстуке бантом появляется на эстраде Пяст.

Еще не начав читать, он уже задыхается. Он еще когда ехал на этот вечер, трясясь в конке-сорокамученице из Новой Деревни, уже задыхался от волнения и страха, от беспричинной тревоги. Может быть, и от тайной надежды тоже — вдруг его оценят, полюбят, сделают ему овацию. И пока остальные участники вечера, дожидаясь своей очереди, ели в распорядительской пирожные и пили чай, он, все больше волнуясь все выше откидывая голову и чаще дергаясь, ходил как зверь в клетке, бормоча свои стихи, репетируя. Репетировать, казалось бы, было нечего — из года в год Пяст читал почти одно и то же. Под конец — красный, взволнованный до предела, он всегда читал неизменные стихи «О Эдгаре»...

Не помню, как они начинались, не помню их содержания — они были очень путанны и довольно длинны. Как какое-то заклинание в веренице самых разнообразных слов и образов, время от времени повторялось имя Эдгара По, вне видимой связи с содержанием.

Начало аудитория слушала молча. Потом, при имени По, начинали посмеиваться. Когда доходило до строфы, которую запомнил и я:

И порчею чуть тронутые зубы —
Но порча их сладка —
И незакрывающиеся губы —
Верхняя коротка —
И сам Эдгар... —

весь зал хохотал. Закинув голову, не обращая ни на что внимания, Пяст дочитывал стихотворение, повышая и повышая голос — до какого-то ритмического вопля. Потом, дернувшись с головы до ног, резко поворачивался и уходил, не поклонившись на долго не смолкающие оскорбительные аплодисменты. Потом он долго добирался до дому в Новую Деревню или на окраину Васильевского острова, пересаживаясь с трамвая на конку и глядя куда-то, поверх всего, неподвижными, полузакрытыми, мутно-голубыми глазами.

* * *

Знакомство мое с Пястом, завязавшееся в 1911–1912 годах, было одним из первых моих литературных знакомств, но с тех пор оно так и оставалось на мертвой точке, не прекращаясь и не развиваясь. Конечно, мне часто приходилось с ним встречаться и разговаривать то здесь, то там, но это были «никакие» встречи и «никакие» разговоры. И только один раз, уже во время революции, я неожиданно для себя вплотную столкнулся со «страшным миром», в котором жил этот странный человек с лицом, похожим на парафиновую маску.

Была осень 1918 года — начало октября. На Каменноостровском строились футуристические арки к первой (последней, как все были уверены) годовщине «пролетарской революции». Голодные, но еще не в полную меру, и запуганные, но еще далеко не окончательно, — обыватели глазели на них, высказывая еще довольно дерзко и неосторожно замечания и об этих созданиях «правительственного» — как тогда гордо назывался футуризм — искусства и о самом событии, в честь которого оно воздвигалось.

Был вечер, неожиданно теплый и светлый, и я, возвращаясь из города пешком, без неудовольствия делал крюк, чтобы исполнить поручение, которое принял не особенно охотно. «Всемирной литературе», только что основанной, срочно требовались какие-то справки по испанской литературе, которые Пяст — по Испании специалист — обещал прислать и вовремя не прислал. Вот меня и попросили зайти к Пясту — почта в те времена была медлительная и ненадежная, а телефона у Пяста не было. Я жил на углу Каменноостровского и Большого, Пяст немного в сторону, кажется, на Матвеевской. Если бы погода была плохая, я бы, вероятно, «забыл» об этом поручении, но вечер, повторяю, был чудный, и я к Пясту пошел.

Разыскал нужную квартиру, позвонил. Шаги за дверью, но не открывают. Между тем звонок действует — слышно, как он звонит. Я позвонил еще и еще — то же самое. А за дверью не только слышны шаги, слышен голос самого Пяста, громко декламирующего что-то. Что же это, оглох он, что ли? Я нажал звонок, не отпуская. Дверь вдруг распахнулась — с перекошенным от ярости лицом на пороге стоял Пяст. Минуту он молчал, тяжело дыша, — казалось, вот-вот он набросится на меня с кулаками — такое дикое было у него выражение. Но он перевел дух, дернулся, откинул голову и протянул мне руку.

— Раз зашли, заходите, — сказал он как-то неуверенно, и возбуждение, бывшее только что на его лице, сошло с него. — Заходите, снимайте пальто. Вот сюда. Раз вы поэт, то, я думаю, можно. Даже, может, нужно, а? В такой день... Раз вы поэт — это не могло быть случайно.

Из маленькой прихожей мы вошли в столовую — бедно обставленную столовую — с ясеневым буфетом и висячей лампой. В ней был страшный беспорядок, на полу навалены книги, какие-то пиджаки, чемоданы, все одно на другом — сапоги, вазочки, перевернутый вверх ногами пуф с продавленными пружинами. Было такое впечатление, точно все это добро наспех переволокли откуда-то, как на пожаре, что попалось под руку, и бросили как попало. Я чуть не раздавил какую-то семейную группу под стеклом, валявшуюся прямо на полу. Удивленный приемом и обстановкой, я молчал. Молчал и Пяст.

— Я, кажется, потревожил вас, Владимир Алексеевич, — начал я наконец. — Но дело в том, что «Всемирной литературе»...

Он с неожиданной резвостью обернулся ко мне:

— Тсс! Океан и буря... Корабль дрожит... О, Боже... он погружается... Он тонет. Тсс... О чем вы говорите. Раз вы пришли сюда, и вы — поэт. Раз уж вы пришли... Помните:

— Эти черные глаза, странные глаза моей потерянной любви, леди, леди Лигейи. Вот что меня мучает, ах, больше всего в жизни, — сказал он, помолчав, и сжал пальцами виски. — Вот теперь, как раз теперь он приехал в Балтимору. Он оставил багаж на вокзале и пошел в таверну. Он хотел только выпить стакан, один стакан виски и сейчас же обратно. Поезд в Филадельфию уходил через час. Он остался там, в этом кабаке — он встретил друзей. Это они его убили? А? Как вы думаете?

Мне было не по себе. Какая-то нечеловеческая тоска и тяжесть были в голосе Пяста, в его лице, в самом воздухе этой комнаты. А он, точно вдруг обрадовавшись, что есть перед кем излить душу, — продолжал:

— Как раз сегодня — шестого октября. Он ехал в Филадельфию, у него были деньги — в первый раз в жизни у него были деньги, он хотел отдохнуть, он мог отдохнуть. И вот — стакан виски, только один стакан. Какая болезнь может сравниться с тобой, алкоголь! Это он, это Эдгар сказал. Ему было только тридцать семь лет, он так хотел начать новую жизнь. Новая жизнь! Он и начал новую жизнь! Он и начал новую жизнь — его убили. Вы думаете, это они?

— О, — вдруг сказал Пяст, поднимая торжественно руку, и голос его зазвенел. — Если у меня действительно есть бессмертная душа, если я не только мясо и кости — значит, я был и тогда, когда его убивали. И — в этом нет ничего невозможного, да, да, ничего невозможного — я, моя субстанция, моя душа — могла бы оказаться между ним и ножами убийц. В виде стенки, такой тонкой эфирной стенки, прозрачной, непроницаемой, о, абсолютно непроницаемой и ледяной... Да... И нож ударился бы о нее и сломался. Вы допускаете, что это могло случиться?.. Даже с чисто научной точки зрения могло. А если могло, то почему не случилось, как могло не случиться! Нож сломался бы,

те в страхе убежали... А он уехал бы в Филадельфию и там отдохнул. Он так хотел отдохнуть!

Пяст смотрит на меня жутким пристальным взглядом. Глаза его кажутся сейчас почти черными, так расширены зрачки. Потом глаза снова становятся мутно-голубыми, веки тяжело опускаются, закрывая их наполовину.

— Спасибо, что зашли, — говорит Пяст своим обыкновенным голосом. — Я завтра же пришлю Горькому список.

* * *

Пяст очень любил сладости — в кармане у него постоянно были леденцы, шоколад. В отличие от своего бога «Эдгара» — он ничего не пил. Неверно было бы сказать, что он был мрачным, нелюдимым человеком, — напротив, он даже любил острить, рассказывать анекдоты. Он был очень щедр, добр, услужлив вежлив. Но все его как-то сторонились — от него распространялась какая-то неопределенная тяжесть, от смеха его становилось тоскливо и неловко. В чем было дело — не знаю. Повторяю, он был одареннейшим человеком. Но и стихи его как-то неприятно действовали — никому они не нравились. Еще одна черта, такая же противоречивая, как все в Пясте: у него не было друзей, за одним-единственным исключением. Исключением этим был... Блок.

Гумилев, Пяста очень недолюбливавший, презрительно величал его: «Этот лунатик». Если отбросить насмешку, которой Пяст, по-моему, не заслуживал, определение очень меткое.

Действительно, что-то лунатическое было и в этом лице, и в этих связанных движениях, и в этих музыкально-томительных стихах, всей этой замкнутой в себе, обращенной куда-то в потустороннее жизни. Что-то, от чего людям становится холодно и тоскливо, что-то, с чем человеку нечего делать и где ему нечем дышать.

Чекист-пушкинист

Три года после октябрьского переворота я прожил безвыездно в Петербурге. И куда, в самом деле, было выезжать?

Застигнутый наводнением, добравшись до клочка твердой почвы, отсиживаешься на нем, ожидая, когда упадет вода. В первые годы большевизма так, по разным углам, отсиживалась вся Россия. Тогда еще все верили, что «вода упадет», неминуемо должна упасть. «Надо переждать, потерпеть...» Все ждали, терпели и... незаметно привыкли к тому, как капля за каплей убывает кругом реальная жизнь и на смену ей, становясь единственной непререкаемой реальностью, вступает в права зловещая советская фантастика.

* * *

Странное ощущение: впервые за три года я еду в поезде. И не в дачном поезде, куда-нибудь в Петергоф или Царское, напоминающем больше конку, чем поезд. Нет, тот, в котором я нахожусь, — настоящий поезд. Он быстро летит, в широких окнах вагона мелькают незнакомые, засыпанные снегом леса и поля. И вагон, в котором сижу я, — настоящий международный вагон: тисненая кожа с позолотой, бежевый бархат, кресло, зеркало, откидной столик. Только вместо лампы под оранжевым колпаком прикапан огарок свечи, да трубы радиатора, несмотря на зиму, — ледяные. И еще маленькое несоответствие с тем, что было раньше: это спальный вагон, но спать в нем не рекомендуется. Бежевый, уютный бархат дивана кишит вшами. Вши занесены с фронта красноармейцами, мешочниками, и укус каждой из них, почти наверняка, — сыпной тиф.

Это так называемый «командировочный» вагон. В отличие от общих, «твердых», снизу доверху набитых гражданами самой свободной страны мира, в неслыханной духоте и грязи сидящих друг на друге, — этот вагон полупустой. Чтобы попасть в него, требуется специальное разрешение. Я, хотя и не без труда, разрешение это получил. Как-никак, я еду не просто, а по «казенной надобности».

Поезд быстро летит среди снежных лесов и полей. Я стою в коридоре и курю. Человек в красноармейской шинели подходит

ко мне. Что, опять проверка документов? Нет, это такой же, как я, пассажир. Просит прикурить, заводит разговор: «Далеко едете, товарищ?»

Красноармеец покурил, поболтал со мной «по душам» и отправился спать. Он не боится «сыпнотифозных» — чему быть, того не миновать.

— С немцами, вот, напрасно воевали. Сколько народу покалечило, а чему быть — тому не миновать. Суждено немцам было одолеть нас — и одолели. И царь с Керенским напрасно против Ленина стояли — как суждено было, так и случилось. И Ленину своя судьба предназначена, и как предназначено — так и произойдет...

— Кто же предназначает, по-вашему? — спросил я. — Бог?

— Какой там Бог, товарищ. Бога попы выдумали. Был, да весь вышел. Какой там Бог.

— Кто же тогда?

— Это нам пока неизвестно — наука еще не дошла. Когда дойдет — узнаем. Многое теперь научно исследовано и доказан абсолютный наоборот. Хотя бы вот насчет грома. Тоже предполагали на Илью Пророка, а выходит, что электричество.

У собеседника моего «одно из славных русских лиц» — серо-голубые приятные глаза, вздернутый нос, свежий румянец. Вежливое обращение, учтивый рассудительный разговор. «Чему быть — тому не миновать». Между прочим, «партийный с семнадцатого года» — упомянул об этом с гордостью...

Искры летят в черном воздухе, смутно мелькают белые пространства. Какая-то станция. Стуча прикладами, проходит контроль. Опять мчится поезд, унося меня и мой вшивый международный вагон. Россия, Россия... «С семнадцатого года!» — Много воды утекло с тех пор, вернее, много грязи и крови. И — как не согласиться с моим партийным фаталистом — многому «доказан абсолютный наоборот».

«Казенная надобность», с которой я приехал в Н., была одной из тех «дружеских командировок», которые в те времена раздавались «своим людям» — разными театрами, издательствами, музеями — без особых затруднений и по большей части решительно без всякой надобности для командирующего учреждения.

В те времена область науки, искусства была еще более или менее независимой от властей предержащих — не то, что теперь, — и для отдыха, для поездки за провизией, даже для бегства за границу, каждый поэт, ученый или актер легко находил там или здесь лиловую печать с серпом и молотом, закреплявшую на внушительно выглядевшем официальном бланке его права на передвижение по РСФСР вот в таком командировочном вагоне...

Моя командировка, впрочем, не была совершенно дутой. Конечно, главным образом я ехал отдохнуть и подкормиться — однако у меня была и работа. В Н. Псковской губернии, куда я направлялся, были свезены уцелевшие архивы и библиотеки из разгромленных усадеб, и надо было посмотреть их и разобрать. Мало ли что могло валяться там без призору в подвалах уездного Наркомпроса: ведь кругом были знаменитые «Пушкинские места».

От станции до города было верст двадцать пять. Выйдя из вагона рано утром, я подъезжал к Н. под вечер. Розвальни, устланные соломой, мягко переваливаясь из сугроба в сугроб, заскрипели наконец по главной улице города — разумеется, «проспекту Карла Маркса». Огни светились кое-где за мутными стеклами Мещанских домишек, снег таял, мужик нес ведро, девчонка с криком бежала за курицей... «Вековая тишина» русской провинции лежала на всем, будто и не было никаких революций...

* * *

Я, как уже было сказано, ехал в Н. отдохнуть и порыться в архивах. Совершенно неожиданно мне там пришлось столкнуться с такими вещами, которые не были предусмотрены ни мной самим, ни моим декоративно-внушительным «мандатом» от Пушкинского Дома...

Несколько дней по приезде в Н. я «наслаждался жизнью». Удивительно сытно завтракал, удивительно вкусно обедал, так же ужинал, валялся на диване в снятой мной у какой-то вдовы-чиновницы комнате (она же меня и кормила) или лениво прогуливался по проспекту Карла Маркса, от кладбища, с которого этот проспект начинался, до болота, которое его замыкало.

Но время шло. Надо было подумать об исполнении командировки, хотя бы для виду...

Однажды, после завтрака, я отправился в наробраз.

— Рукописи? — спросили меня. — Архивы из усадеб? Как же, как же. Возов восемь или девять, считая с книгами. Как же. Местные помещики — хотя и контрреволюция — народ, знаете ли, был образованный: Вревские, Вяземские... Веками собирали... Многое погибло, конечно, — пожгли, растаскали, но и теперь — богатейший материал, прямо, знаете, россыпь...

Но когда я попросил мне эту россыпь показать — заведующий наробразом посмотрел на меня так, точно я сказал ему нечто совершенно несуразное.

— Не от нас это зависит... Осмотреть — само собой, отчего же не осмотреть — с научной, так сказать, целью... Тем более и мандат у вас... Только не от нас зависит. Как посмотрит товарищ Глушков...

— Где же этот товарищ Глушков и кто он?

Заведующий ответил опять каким-то странным тоном:

— Глушков-то?.. Ну да — вы приезжий... Вот, насупротив, в белом доме — отдел коммунального питания. Только сейчас вряд ли застанете. Спит он днем. Наведайтесь к нему под вечер. Как вы с мандатом, так сказать, с научной целью...

Глушков действительно спал. Мрачный секретарь, похожий на лошадь, с флюсом, записал мое имя и назначил прийти в девять вечера. Несколько недоумевая на порядки города Н., где литературными архивами заведуют продовольственные деятели, принимающие к тому же по ночам, — я побрел домой. Солнце ярко светило, снег бурно таял, и по проспекту Карла Маркса едва можно было пройти...

* * *

В девять вечера я снова был в продовольственном отделе.

— Товарищ Глушков вас ждет...

...Под темно-зеленым абажуром сидел товарищ Глушков. Он был небольшого роста, курчавый, смуглый. Живые карие глаза,

очень красный рот. Я отмечаю его наружность, так как, вероятно, в ней, в этом печальном сходстве, и была разгадка... Но я забегаю вперед.

Наружность Глушкова, впрочем, при этой первой встрече нисколько не остановила моего внимания — человек как человек. Еврей или, может быть, с Кавказа... Смутно мелькнула мысль о сходстве с кем-то... Мелькнула и исчезла. Другое заинтересовало и даже поразило меня — обстановка комнаты, в которой я находился.

Это был музей, настоящий музей тридцатых годов. Все, до мелочей, было выдержано в строгом и чистом стиле — от полированных спинок «Александровских диванов» до коллекции чубуков на характерной стойке.

Вдоль стен очень просторной комнаты стояли шкафы красного дерева. Беглого взгляда на корешки находившихся в них книг было достаточно, чтобы убедиться, что передо мной богатейшая, тщательно подобранная библиотека пушкинской эпохи.

— Да-с, товарищ, — говорил Глушков, и глаза его, темные, подвижные, смутно напоминающие чьи-то знакомые мне глаза, поблескивали. — Да-с, каждую минуту, свободную от революционной работы, я посвящаю вот этому. Каждую минуту... хотя немного у меня этих минут. И вот за три года... результат, может быть, и скромный, хотя...

— Поразительный результат, — искренне похвалил я.

Лицо Глушкова просияло.

— Рад, что оценили, рад, что оценили, — забормотал он. — Понимающего человека редко видишь, разве есть в нашей глуши понимающие люди? Я даже и пускать сюда не люблю — только ковры топчут, книги треплют... Учителишки какие-нибудь, экскурсанты... С ихним ли носом... Рад, очень рад, товарищ. Вот, взгляните...

Он разворачивал папки, доставал редкую книгу, снимал со стены рисунок, совал мне в руку увеличительное стекло:

— На росчерк обратите внимание, на росчерк.

Несомненно, это был музей. Глушков был настоящим любителем и знатоком. Давая объяснения к своим сокровищам,

он входил в подробности, высказывал догадки и предположения — часто прелюбопытные...

Странный тип. Отдел продовольствия, черная косоворотка и цитирует, с отчаянным выговором, Парни. Странный тип.

— Скажите, товарищ Глушков, — начал я, — как вы пришли к мысли собирать все это, откуда вы всем этим заинтересовались?..

— Откуда? — переспросил он. — Как заинтересовался?

Лицо его дернулось, глаза забегали и заблестели. Он усмехнулся:

— Как к мысли этой пришел?..

Тут в соседней комнате зазвонил телефон. Глушков вышел на минуту.

— Нечего делать, — сказал он, вернувшись. — Неотложные дела. Вы, товарищ, в Н. долго пробудете? Недели две? Вот и чудесно — выкрою на днях свободный вечерок и извещу вас. Тогда и поговорим обо всем, и книжки рассмотрите, и, — он снова усмехнулся, — откуда у меня интерес взялся, если нескучно, узнаете. Водочки заодно выпьем. А пока извиняюсь, очень был рад, душевно рад...

Чиновница моя в тот вечер, постаравшись для петербургского гостя, слишком жарко закрыла печку — сделался угар. Пришлось вставать с постели и открывать форточку. Пока комната проветривалась, я, закутавшись в шубу, курил у окна. Темное небо было в торжественных зимних звездах, воздух упоительно свеж и чист. «Вековая тишина», — снова вспомнилось мне. Вдруг где-то далеко послышался грохот автомобильного мотора и сквозь этот грохот как будто выстрелы...

* * *

Я прожил в Н. еще несколько дней и собрался уезжать. К обильной и жирной пище я уже привык, и она перестала меня развлекать. Скука же была адская. К тому же электричество в этом благословенном уголке подавали только три раза в неделю — остальные четыре вечера приходилось сидеть при крошечной лампадке-коптилке, при которой ни читать,

ни работать не было никакой возможности. Глушков за мной все не посылал — ну и черт с ним.

Наступила суббота. Отъезд мой был назначен на завтра, вещи упакованы, подвода заказана. Было часов десять вечера. Я уже собирался лечь спать, когда ко мне постучали.

— Войдите!

Взлохмаченная голова моей хозяйки просунулась в дверь. Вид у нее был испуганный.

— Нарочный за вами, гражданин...

— Какой нарочный? Откуда?

— Из...

Но нарочный уже сам входил в дверь. Я сразу узнал его — «лошадь с флюсом», глушковский секретарь.

— Товарищ Глушков очень извиняются, что так поздно, — только что освободились — ждут вас...

* * *

Электричество не горит: два высоких бронзовых канделябра освещают знакомую уже мне комнату-музей. Глушков на этот раз не в косоворотке, на нем широкий восточный халат — настоящий «архалук» пушкинских времен. Встречает он меня как добрый знакомый.

На столике закуска в старинной посуде, водка, даже вино. Глушков гостеприимно меня потчует. Прекрасная водка — давно я не пил такой, недаром хозяин заведует коммунальным питанием... Сидеть удобно, приятно. Дрова уютно трещат. Шелестят старинные книги и рукописи в руках Глушкова. Оплывают свечи в высоких канделябрах...

И вот от того, должно быть, что я давно не пил, от этой необычайной обстановки, от тепла, свечей, шелеста прошлого — мной начинает овладевать приятная полудремота... Я не сплю и не бодрствую — я нахожусь где-то посредине. Слышу, что мне говорят, и сам отвечаю, но все это идет как-то мимо сознания...

— ...Пушкин был революционером. — Ну, как сказать. — «Друзья, увижу ль я народ освобожденный и рабство падшее...» — Так ведь по «манию царя» падшее... — Дань времени, страшному николаевскому времени... Но мыслил он революционно, между

тем как декабристы... — «Шамбертен»? Да, великолепный, откуда вы взяли его?— Вина кометы брызнул ток? — Это о шампанском, должно быть... Что? Внебрачные дети Пушкина...

Глушков все говорит, говорит... Печка трещит, тепло, уютно... Странно все-таки — сижу в гостях у комиссара... Ну, какой это комиссар... все Пушкин, Пушкин, прямо Гершензон какой-то... Разговорчивый малый и знает предмет... Вот ушел куда-то... Однако мне завтра ехать — надо бы домой...

Громкий голос выводит меня из приятного оцепенения:

— Что, похож я на деда?

Передо мной стоит Глушков. Нет, передо мной стоит Александр Сергеевич Пушкин.

Он стоит в белом жабо и сюртуке с приподнятыми плечами. Мягкий свет канделябров золотит его рыжеватые бакенбарды.

— Что, похож?

Он усмехается, довольный произведенным впечатлением, и хрипловатым голосом нараспев читает:

Семейным сходством будь же горд,
Во всем будь пращуру подобен,
Как он, неколебим и тверд...

Неслыханное кощунство, которым звучат эти строки в этих устах, мне еще не открыто. Только завтра, во всей своей бесстыдной мерзости, оно мне откроется...

Да, я еще не знаю ничего — и откуда мне знать. И я сижу с ним, пью его проклятый «Шамбертен», слушаю его рассказы. О его бабушке-крестьянке, бывшей будто бы любовницей Пушкина и встречавшейся с поэтом в овраге около Н. «Здесь, неподалеку, славный овраг, тенистый, глубокий». О том, что кровь Пушкина вопиет к миру, что она не отомщена, что за нее «надо мстить, мстить...».

* * *

Утром мужик, везущий меня на станцию, показывает кнутом в сторону.

— Вот оно, гиблое место.

— Почему гиблое?

— Глушков овраг. Нешто не слыхали?

И в ответ на мое недоумение медлительно поясняет:

— Сколько тут народу лежит — с пол-оврага, не меньше. Все Глушкова работа. Два года председателем Чека был, два года людей глушил. Теперь продовольственный комиссар. Ну да, все одно — лизнула раз крови тигра, всю жизнь будет кровь пить. Хоть и продовольственный — ни одного расстрела не пропускает...

Мертвая голова

Это было длинное старое здание с бесконечными коридорами, классами, дортуарами, с двусветной залой, где за обедом и ужином собирался весь корпус. С одной стороны катилась мутная Ждановка, с другой — огромный плац примыкал к серой казарме Павловского училища. По вечерам горнисты наши перекликались. У юнкеров та же самая «заря» звучала иначе, чем у кадетов, — суше, определенней. Так оно и следовало: там в юнкерском шла уже взрослая жизнь, здесь еще продолжалось детство.

Разделяла нас улица и какая-то стена, забравшись на которую можно было наблюдать, как юнкера пьют тайком водку и рассказывают похабные анекдоты. Дальше розовел манеж, ветер трепал черное кривое дерево, и широко уходило к морю бледное небо, необыкновенное небо петербургских окраин. Было в нем, особенно весной или ранней осенью, что-то в одно и то же время райское и тюремное.

Старое здание корпуса широко разрослось на еще более старом страшном фундаменте. Постоянно, когда что-нибудь копали или ремонтировали, в почве попадались разные «вещички»: клещи, щипцы, человеческие кости. Тут когда-то помещалась тайная канцелярия и шли допросы «с пристрастием». Само собой, такое прошлое населяло корпус призраками. Кого только не видели «своими глазами» ночью в плохо освещенных, пустых, жутких коридорах. Петра, Меншикова, Бирона, «великана с обрывками цепей», даже почему-то Пушкина, даже «Белую даму». Но особенно магическую власть над нашим детским воображением имела «мертвая голова».

Петр, может быть, и не сходил с синего парадного полотна на сияющий паркет и не мерил огромными шагами пустую безмолвную залу. И Меншиков не вздыхал в цейхгаузе, и скрюченный Бирон не пробирался, крадучись, под сводами. Но голова, страшная светящаяся голова... В нее верили все. Таинственное фосфорическое облако, которое окружало ее, когда глубокой ночью она медленно проплывала то низко, почти на уровне наших кроватей, то высоко-высоко, теряясь в тенях

потолка, — окружало и наши мысли о ней. Мы избегали о ней говорить и боялись о ней думать. У нее даже не было точных примет, как у других призраков, населявших корпус. Она была безымянна, туманна, она светилась тихим леденящим светом абсолютного зла. Зарыться, зарыться глубже в подушку, съежиться в комок, не думать, не дышать. Да воскреснет Бог и да расточатся врази его! Да воскреснет Бог!..

Ужас понемногу отпускает душу. Глаза осторожно открываются. Мутный свет ночников, ровное дыхание спящих. Сосед по койке Герман Юрий, первый ученик в классе, смотрит на меня.

— Герман, ты не спишь?

— Нет.

— Тебе тоже показалось?

— Да.

— Тебе очень страшно?

— Мне совсем не страшно.

Он приподнимается на локте и отчетливым шепотом повторяет:

— Совсем, ничуть...

Мутно светят ночники. Ровно дышат спящие. По открытому правильному лицу, по синим светлым глазам четырнадцатилетнего мальчика пробегает какая-то нежная и злая тень, когда он мне говорит:

— Мне страшно, но я подавляю страх. Едва мне становится страшно, я делаю над собой усилие, и вот страха нет. Уже года три как я практикуюсь. Сначала было трудно, потом все легче и легче. Теперь, я думаю, нет ничего на свете, что могло бы меня по-настоящему испугать. Знаешь, что я делал сейчас? Я проснулся, лежал, думал, вдруг вспомнил про эту голову. И стал говорить нарочно: «Ну, голова, если ты существуешь, покажись. Плыви сюда, прямо ко мне, — эй ты, голова, такая-сякая, светящаяся». И мне сейчас показалось, что действительно она плывет оттуда, из-за печки. Зеленая, мертвая. Да ты не трусь, ее больше нет: она меня испугалась.

Герман Юрий... Открытое лицо, синие светлые глаза, нежная и злая тень на лице с таким прозрачным ребяческим румянцем. Его в корпусе не особенно любили: был в нем какой-то,

одинаковый для всех, холодок, которого «не переступить», и все это чувствовали. Он был всегда «сам по себе», и в толпе мальчишек младших классов, и среди юношей, собравшихся на последний товарищеский ужин перед тем, как навсегда расстаться с корпусом и друг с другом. Герман Юрий (был еще другой Герман — брат его, кажется, Леонид) как шел всегда первым, так и кончил. Это он единственный из всего выпуска носил золотые погоны фельдфебеля и рапортовал государю. Из училища он вышел не помню в какой гвардейский полк. Во время войны, в самом ее начале, имя Германа Юрия промелькнуло в газетах в списке представленных к Георгию. В дни Керенского, летом, я мельком видел его на улице. Рука у него была на черной перевязи, лицо бледное и хмурое. Он скакал впереди какой-то казачьей части, отбывавшей на фронт.

* * *

О петербургском Доме литераторов 1919–1922 годов когда-нибудь будут написаны исследования, а может быть, и поэмы. Несколько писателей и журналистов в те дни в разоренном барском особняке на углу Бассейной и Эртелева сотворили настоящее чудо. На проклятой Богом территории «Северной Коммуны», где людям, не желавшим или не умевшим шагать «в ногу с пролетариатом», оставалось только ложиться и умирать,— был создан и отгорожен клочок, где они могли не только как-то кормиться, не только греться в относительном тепле, но — и это было самое важное — дышать. За тяжелой дверью Дома литераторов советское владычество как бы обрывалось. Замерзший и голодный «гражданин» вместе с порцией воблы и пшенной каши как бы получал и порцию душевной свободы, которая там, за стенами Дома литераторов, была конфискована и объявлена вне закона. На те часы, что он проводил в Доме — а многие приходили сюда с утра и сидели до закрытия, — он из советского анонима превращался в то, чем он был до «Великого Октября». В писателя, министра, адвоката, офицера, художника, купца, князя. Временно на тот срок, что он находился под этой крышей, несчастному петербургскому обывателю возвращалось

человеческое достоинство и свобода. И как ни важен был, особенно в те дни, насущный хлеб, — это было важнее хлеба.

В Доме литераторов люди без опаски знакомились и сразу же заговаривали на интересовавшие их темы. Темы были все самые злободневные. Один радостно передавал последние новости об успехах Врангеля, другой искал случая бежать за границу. Говорили свободно, откровенно, зная, что стены Дома литераторов, в отличие от большинства советских стен, ушей не имеют.

Однажды в такой компании за морковным чаем шел разговор о бегстве. Взвешивали достоинства и недостатки разных границ и способов их перейти. Там переход был сравнительно легок, но зато возвращали обратно; здесь не возвращали, зато граница свирепо охранялась. Главное же зло, по общему говору, было в том, что занимались этими перевозками темные лица, которые с той же легкостью могли и перевезти, и придушить в дороге, и предать Чека. Жизнь приходилось доверять Бог знает кому.

— Да, предатели, кругом предатели, — вздохнула сухая, придурковатого вида старушка в зеленой вязаной кофте — в недавнем прошлом кавалерственная дама.

— Ну, зачем же все, — возразил ей знаменитый адвокат. — Не все. Вот хотите бежать за границу — бегите с Голубем. Голубь не предаст.

— Какой такой Голубь? — заинтересовался сидевший рядом Гумилев.

— А это, Николай Степанович, по вашей части, — отнесся к нему адвокат. — Вы писали стихи о конквистадорах. Вот вам и есть настоящий конквистадор. Молодой, еще молодой человек, гвардейский офицер. Теперь агент не то британской, не то французской разведки. Ходит, представьте себе, через Сестру-реку аки посуху, чуть ли не каждый день. Сегодня в Петербурге, послезавтра в Гельсингфорсе, через неделю опять в Петербурге. Переводит людей, носит почту, снимает военные планы. И все это с ледяным хладнокровием, с головокружительной храбростью. Я тут недавно в одном доме с ним встретился и интереснейший разговор имел. «Меня, — говорит, — каждый агент Чека знает по имени, а в лицо никто. Вот и не могут

поймать. Главный же секрет, — говорит, — в том, чтобы не бояться. И чего мне бояться: вооружен я прекрасно, живым в руки не дамся. Ну, выследят, предположим, уложу я десяток товарищей, это уж обязательно, это при мне. А убьют ли они меня — еще вопрос. Они боятся, а я не боюсь — это большой шанс на моей стороне. А убьют — что ж. Цезаря убили, Лермонтова убили, Столыпина убили, половину моих полковых товарищей уложили на войне. Почему, скажите, пожалуйста, хуже быть убитым, чем умереть от язвы желудка?» И говорит это так просто, точно «выпьем чаю». Замечательное лицо, кстати, у этого Голубя удивительные синие глаза. И выражение какое-то особенное. Привлекательная очень внешность. Но для контрабандиста не особенно удобная. Вот я видел его раз и никогда не забуду. Как он это устраивается, что агенты Чека не узнают его в лицо, — удивляюсь.

— Интересно было бы встретиться, — сказал Гумилев. — Люблю таких людей. Да и дело может найтись.

— За границу хотите?

Гумилев постучал папиросой о крышку портсигара.

— Там уж посмотрим. Вообще интересно. Устройте мне знакомство, а?

Адвокат наморщил лоб.

— Устроить можно, если он, конечно, захочет. Я его снова увижу. Но ведь это, не забывайте, опасное знакомство, Николай Степанович. Сегодня его не выследили — завтра могут выследить. Сам он признается: «Голова моя оценена, и оценена дорого». Так что... Если желаете, впрочем, познакомлю.

— Буду вам очень признателен. А что касается опасности, — Гумилев церемонно улыбнулся, — у меня, как у этого вашего Голубя, «есть шанс»: я не боюсь.

* * *

— Знаешь, Жорж, — сказал Гумилев, — я вчера говорил о тебе с твоим товарищем по корпусу.

— Как фамилия?

Гумилев засмеялся.

— Фамилию сказать не могу. Сам не знаю ее. А вот поклон могу передать. Он тебе кланяется и предлагает вспомнить инспектора, которого звали Телятиной, и учителя алгебры по прозвищу Флюс. И еще какую-то книгу, которую нашли у тебя в шкафчике в пятом классе, и был скандал.

— Верно. «Санина» у меня нашли. Кто же этот товарищ? Опиши, по крайней мере, его наружность. Где ты его встретил?

— Описать наружность не могу: не имею права. А встретил я его у себя дома. Он зашел ко мне прямо из Финляндии, у меня и ночевал. Это — помнишь разговор в Доме литераторов? — тот самый Голубь.

Любопытство мое разожглось, и я пристал к Гумилеву с расспросами, но ничего не добился. Сначала он отшучивался, а потом сказал серьезно:

— Это, друг мой, все вещи, которые стоят выше мой болтливости и твоего любопытства. Тут дело идет о жизни и смерти многих. Может быть, даже о всей России. Когда-нибудь сам увидишь, что я не мистифицировал тебя. А пока могу только сказать, что этот твой товарищ один из самых смелых и замечательных русских людей и знакомство с ним для меня большая радость.

* * *

Под грохот кронштадтских пушек я прогуливался по Каменноостровскому. Да, прогуливался. Погода была прекрасная, почему бы мне было и не прогуляться? Конечно, в Кронштадте шло восстание, конечно, по улицам шатались дозоры чекистов, конечно, в домах по ночам проводились повальные обыски, и после шести вечера нельзя было без пропуска никуда выходить. Но все это было бы очень мучительно и жутко, если слышать рассказы об этом или читать в книге. Была сама реальная действительность, в которой мы все были принуждены жить и уже несколько лет подряд жили, и воспринималась она поэтому вполне обыденно.

Чекисты проверяют документы. Что ж — документы мои как будто в порядке. После шести надо сидеть дома — на это есть

интересная книга. Обыски? У нас уже было два, третьего, авось, не будет. В Кронштадте гремят пушки — это действовало приятно, возбуждающе. Особых надежд после Деникина под Тулой, после разъездов Юденича у Нарвской заставы, правда, не было. Но все-таки...

Итак, я прогуливался с тем же совершенно чувством, с каким прогуливались или сидели дома множество других петербургских обывателей, жизни которых не грозила непосредственная опасность и у которых дома было несколько поленьев дров, фунт хлеба и восьмушка махорки, чтобы чувствовать себя материально обеспеченным. Я прогуливался. Навстречу мне шел человек в красноармейской шинели. Я взглянул ему в лицо. «Герман!» — вскрикнул я.

И вот тут на мгновенье я испытал жуткое чувство, которого не вызывали во мне ни дозоры чекистов, ни обыски, ни выстрелы. Я вскрикнул — «Герман», и он, чуть отшатнувшись, остановился и оглядел меня с головы до ног своими синими ледяными глазами. Это был ужасный взгляд. В нем была немедленная и неотвратимая смерть. Шесть пуль из нагана в упор моментально, сейчас же, прежде чем я успею что-то подумать, сказать, протянуть руку, были в этом взгляде. Потом он усмехнулся. «А, это ты? Вот встреча! Как поживаешь? Счастлив твой Бог, что я тебя узнал...» — «Герман», — начал я. «Тсс, тсс, — перебил он. — Нет никакого Германа. Вот что, на улице говорить неудобно. Приходи ко мне. Нет, не записывай адреса, запомни так. Пыталова улица... дом... квартира... спроси Голубя. Приходи завтра в три дня. Выпьем коньяку. У меня есть заграничный. Вспомним корпус». — Он пожал мне руку и пошел, не оборачиваясь, твердой легкой походкой.

* * *

Какой-то грязный дом, проходной двор. Обмызганная лестница. Третий этаж. Я звоню. «Кто там?» — «К Голубю». Дверь открывает сам Герман: «Ну, входи, очень рад. Хорошо, что пришел. Я потом подумал, не побоишься ли ты. И напрасно было бы. Здесь мы в совершенной безопасности».

Он вводит меня в большую комнату. Стены, пол, потолок, все в коврах. Ковром завешено единственное окно. Мебели почти нет — пара кресел, широкая тахта. На низком столике бутылки, икра, печенье, давно невиданные диковинные вещи. Герман делает широкий жест: «Садись, пей, ешь, не стесняйся, у меня много».

Мы сидим, пьем коньяк и черный кофе, курим толстые душистые папиросы и вспоминаем корпус. — Помнишь то? — А это помнишь? — Ты неправильно подвязал шнурок, и шпаргалка уехала под лампу. А немец? А математик? Вот, брат, когда пришлось встретиться. Государь убит, России нет. Веришь ли ты, что будет когда-нибудь другое время? — Я не верю.

— Да, не верю, — говорит он, и знакомое мне, нежно-злое, особенное выражение пробегает по его красивому лицу. — Друг твой, Гумилев, писатель, — верит. Мы с ним часто встречались — так, по делу одному — и много говорили. Он умный человек, но рассуждает, как ребенок. Ну, романтик, — все равно. Правда, честь, Бог, прогресс, разум... это как, когда начинали войну, скакала конная гвардия в атаку — палаши наголо, в белых перчатках. Потом поумнели, зарылись в окопы, перчатки сняли, стали кормить вшей, терпеть... Но и терпение не помогло. Что-то в мире сломалось, и исправить нельзя. Веры нет... Вот я контрреволюционер, за контрреволюцию рискую по десять раз в день головой, за нее, вероятно, и погибну. Что же, думаешь ты, — я в контрреволюцию верю? Не больше, чем они — в революцию. И все-таки они победят. А мы... Что же ты не пьешь коньяку? — перебивает он сам себя. — Икру ешь. Дай я тебе намажу. Папирос бери с собой, больше бери, — по пайку таких не получишь. Жаль, что уже надо расставаться. Выйдем вместе — только из ворот в разные стороны. Здесь тебе ничего не грозит, но по улице со мной ходить опасно. Половина шестого? Хочешь, я пропуск тебе дам на всякий случай? Отличный пропуск — комар носа не подточит. Успеешь и так? Ну ладно. Откуда у меня пропуска? Вот чудак. — Он невесело усмехается. — Как же при моем роде занятий без таких вещей. Да я сейчас в Чека войду, прикурю у одного следователя, справлюсь о чем-нибудь у другого и, выйдя через главные ворота, протяну часовому самую форменную

бумажку — преспокойно он меня выпустит, а бумажку наколет на штык. Техника у нас ничего себе, на высоте. На технике и выезжаем. И еще на бесстрашии. Помнишь, я воспитывал в себе в корпусе смелость — палец совал в кипяток, привидений искал, — разные там глупости. Ничего, пригодилось. Нервы у меня, не хвастаясь скажу, железные. Нервы железные, души нет. В общем, вроде машины. А Гумилев твой говорит: героизм, Россия, Бог... Так-то. Ну, рад, очень рад. Еще как-нибудь встретимся — подольше посидим. Я тебе дам знать. Прощай. Иди из ворот направо, я пойду налево. Папирос взял?

* * *

Его убили через несколько месяцев после нашей встречи при переходе границы зимой. Он отчаянно отстреливался и уложил одиннадцать человек. Это я узнал еще в Петербурге. А вот что я услышал уже теперь в эмиграции.

В кафе на Монпарнасе неожиданно я встретился с братом Германа. Он был моложе нас обоих на класс или два, и в корпусе я с ним мало сталкивался. Все-таки мы сразу узнали друг друга. Странно было видеть в сутолоке пестроплеменного «Куполя», среди художников, девиц и американцев те же и не те черты, те же и не те светлые глаза. Внешнее сходство между братьями было довольно близкое, но еще резче, чем в детстве, чувствовалась разница — «калибров», воль, не знаю чего. У «моего» Германа было лицо «поразительное» — этот был «человек как человек».

— ...Да, я видел брата. Последний раз два года тому назад в Петербурге. Перед самым моим бегством.

— Позволь, что ты говоришь? Ведь лет восемь, как Юрий убит.

— Да. И тем не менее я его видел, видел...

«Сумасшедший», — смутно подумал я. Но он грустно улыбнулся.

— Нет, я не сумасшедший. Ты послушай... Арестовали меня в Ростове-на-Дону. Служили в Белой армии? Ничего подобного. Чем занимаетесь? Агроном. Что делали во время мировой

бойни? Был белобилетником, служил там-то и там-то. У меня все это было заранее предусмотрено и подготовлено, так что до меня, артиллерийского офицера, и докопаться было нельзя. Агроном и агроном, — и действительно, агрономией все время после отступления из Крыма кормился. Надо было, в сущности, переменить фамилию, и возможность была, — но гадко как-то показалось, остался Германом. Это меня чуть и не погубило. Везут из Ростова в Петербург. Еду. О брате, что с ним, где он, толком ничего не знаю — однако слышал, что ведет он большую игру и здорово большевикам насолил. Таким образом, помню — в родстве ни в коем случае не признаваться. Хорошо, сижу я недели три без допроса. Вдруг — ночью — на допрос. И первое слово: «Термана Юрия знаете?» Пожимаю плечами: «Не слышал о таком, а что?» — «Не слышали? Идите за мной».

Идем. Следователь впереди, я за ним, сзади конвойный. Идем по каким-то коридорам, закоулкам. Вдруг входим в темную комнату. «Сюда, — говорит следователь. — Стойте тут. Смотрите, кто это?»

Он щелкнул выключателем, и в полной темноте зажегся рефлектор. Сильный рефлектор, свечей в триста. Прямо на шкафчик он направлен. А в шкафчике банка. А в банке в спирту человеческая голова, зеленая, страшная. Знаешь, что меня спасло? То, что я не узнал Юрия, не понял, что это его голова. Потом уже в камере сообразил. Натурально так следователю ответил: «Кто? А покойник какой-то. Научный, должно быть, препарат. Как вам не стыдно, говорю, людям такие страхи показывать, да еще неожиданно». Так или иначе мне повезло. Продержали меня с месяц и выпустили. Тут же я и перебежал в Финляндию, на ура, без карты перебежал. Шоферствую теперь здесь — ничего, зарабатываю. Только вспомнишь иногда — шкафчик, банка, рефлектор... Брр... Ну, что там! Выпьем еще по кальвадосу?

* * *

Корпус. Ночь. Мутный свет ночников. Медленно, то на уровне кроватей, то теряясь в тенях потолка, плывет в воздухе страшная,

туманная, светящаяся голова, призрак мрачного прошлого — пыток, дыбы, тайной канцелярии. Красивый мальчик с открытым лицом смотрит прямо в глаза отвратительному призраку: «Я тебя не боюсь!» И призрак поддается человеческой гордой воле, призрак исчезает.

Прошли годы. Ночь. Чека, рефлектор, банка со спиртом, бледные неузнаваемые черты. Страшный призрак вернулся, он победил. Он плывет уже не над детским дортуаром — он плывет над бесконечной Россией.

Магический опыт

Его звали Вольдемар Казимирович. Почему Вольдемар, а не Владимир? Впрочем, в этом человеке все было как-то неизвестно «почему».

В Германии он считался авторитетом по ассириологии. Огромные увражи с изученными Шилейкой клинописями выходили в Лейпциге, и немецкие профессора писали о них восторженные статьи.

Но в Петербурге в египтологическом кабинете университета знали студента Шилейко. Вечного студента, который не сдает зачетов, унес на дом и прожег пеплом от трубки музейный папирус, которого из студенческого общежития хотят выселить. Каждую ночь он, вопреки правилам, возвращался на рассвете, нередко пьяный, и, когда ему надоест стучать и звонить (кастелян велел не открывать), начинал бросать камешки или куски обледенелого снега в окна квартиры этого самого кастеляна. Меньше всего, однако, Шилейко похож на веселого бурша. Ему за тридцать, да и для своего возраста он старообразен. Он смугл, как турок, худ, как Дон-Кихот, на его птичьем длинном носу блестят стальные очки. На его сутулых, до горбатости, плечах болтается выгоревшая николаевская шинель с вытертыми в войлок бобрами. Дедовская шинель.

Дед Шилейки, полковник русской службы, в 1863 году перешел к мятежникам, дрался за освобождение Польши, был ранен, взят в плен, судим полевым судом и тут же расстрелян. В прокуренной, никогда не убиравшейся комнате общежития, где обитал, вернее, гнездился Шилейко-внук, был его портрет. Шилейко-дед глядел из золотой рамы в алом ментике и голубом доломане над разрытой кроватью и столом, где пустые бутылки из-под пива были перемешаны с разрозненными листами Атласа древности Британского музея. Шилейко-дед улыбался со своего великолепного полотна, опираясь, как и полагается гусару, на саблю. Он был красавцем. Фамильное сходство между обоими бросалось в глаза не меньше, чем вопиющая разница материала, на котором это сходство проявилось. Стоя перед портретом деда, внук казался его отражением в кривом зеркале,

отражением, переряженным в лохмотья вечного студента и вдобавок обугленным на адском огне. Для полноты впечатления на руках обоих блестел тот же золотой перстень с гербом. Отец Шилейки каким-то чудом его сохранил, хотя и не надевал никогда: кольцо со шляхетским гербом, снятое с руки расстрелянного мятежника, не особо подходило к его должности. Он был сначала писцом, потом столоначальником в новгородском окружном жандармском управлении.

Крайности и странности в биографии Шилейки продолжались всю жизнь. В 1914 г. ему была предложена кафедра египтологии где-то в Баварии. В договоре было обусловлено, что Herr Doktor[34] должен прибыть к месту службы к 15 августа. Через год Шилейко получил наследство в десять тысяч рублей. Оставил их ему приятель детства, полусумасшедший, но одаренный изобретатель М., придумавший какую-то особую ручную гранату. Граната была принята артиллерийским ведомством, но дело тянулось, и М. сам отправился на фронт, чтобы продемонстрировать на практике качество своего изобретения. Граната была куплена и принята к производству. Случилось, однако, непредвиденное обстоятельство. В конце опытов не эта, а немецкая, «устаревшего образца», граната смертельно ранила счастливого изобретателя. Лежа на операционном столе с развороченным животом, М. почему-то вспомнил о Шилейке.

Десять тысяч были уже полностью истрачены на книги, на персидский ковер, такой большой, что он покрывал обе стенки, пол и кусок потолка Шилейкиной комнаты (из общежития он переехать не пожелал), на бесконечные попойки и раздачи направо и налево в долг, — когда Шилейко мобилизовали. На войне ему побывать не пришлось. Где-то он случайно познакомился с графом С. Д. Шереметевым. Через несколько дней после этой встречи похожего на Дон-Кихота вольноопределяющегося из студентов с одним из блистательнейших русских вельмож у Шилейки был белый билет, теплая шуба, кабинет и спальня, обставленные карельской березой в шереметевском дворце на Фонтанке. В первый раз в жизни он спал на чистом белье и лакей

---

[34] Господин доктор (*нем.*).

приносил ему в кровать утренний завтрак. Шилейко потребовал было, чтобы ему давали с утра пиво, но услышал в ответ, что «их сиятельство велят» пить кофе и кушать овсянку.

Случилось чудо: Шилейко привык к овсянке и чистому белью. Щеки его порозовели и движения приобрели округлую уверенность. Оказалось, что он способен работать восемнадцать часов в сутки, и, по отзывам знатоков, работа его была замечательна. Он расшифровал что-то такое, чего самые ученые немцы расшифровать не могли. Работу эту он так и не кончил. Революция вместе с графом Шереметевым выгнала из дворца на Фонтанке и Шилейку. Поселившись в комнате на третьем дворе у «благородной вдовы», он признался, что перемена обстоятельств пришла очень кстати. Граф Шереметев с овсянкой и карельской березой смертельно ему надоел. Надоела вдруг и египтология. Он решил попробовать силы на новом поприще: начал десятками писать стихи. Стихи были недурные, о луне и о розах. Для вдохновения Шилейко включил в утренний завтрак кроме пива еще и водку. Нос его начал быстро заостряться, щеки проваливаться и зловеще темнеть. Он был счастлив. Революция ему необыкновенно нравилась, хотя из духа противоречия он разыгрывал перед робкими еще большевиками монархиста, крепостника и контрреволюционного заговорщика. Туберкулез его все увеличивался. Он кашлял кровью и строил планы на будущее. Планы были разные. Он хотел восстановить культ богини Иштар и издать стихи Пушкина в его, Шилейки, исправлении, а также не прочь был, если позволит здоровье, поступить в мореходные классы.

Теперь Шилейко умер в Советской России. Как, отчего, я не знаю. В письме, полученном с полгода тому назад одной из парижских подруг Анны Ахматовой, есть фраза: «Вольдемар Казимирович похоронен в Вологде». Почему в Вологде? Как он туда со своим туберкулезом попал? В качестве политического ссыльного или — все может быть — облеченного доверием власти научного работника? Или просто так, неизвестно зачем, собрался в Вологду, приехал, попил пива, поголодал, осмотрел какой-нибудь собор и тут схватил тиф или был задавлен автомобилем.

То, что известие о смерти этого странного человека дошло до нас через Анну Ахматову, — не случайно. Среди поворотов и зигзагов его пестрой судьбы был и такой. 1918 год, теплый вечер, Владимирский собор, священник, шафера, певчие. У аналоя Шилейко и Анна Ахматова, недавно разведенная с Гумилевым. «Венчается раб Божий Владимир с рабой Божией Анной». В первую русскую поэтессу и одну из самых прелестных женщин Петербурга Шилейко был давно романтически и безнадежно влюблен. Еще бы не безнадежно! И вот: собор, певчие, венчается раб Божий. Впрочем, то ли еще происходило тогда в безымянном и фантастическом отрезке времени и пространства, который по привычке еще назывался Россией, Петербургом, 1918 годом... Брак был неудачный. Вскоре они разошлись. Ахматова потом в стихах вспоминала об этом браке:

Мне муж — палач и дом его — тюрьма...

Я был с Шилейкой на «ты». Это совсем не означало ни тесной дружбы, ни какой-нибудь особенной близости. Это просто значило, что мы часто встречались то здесь, то там в кругах петербургской богемы и часто чокались в «Бродячей собаке» стаканами дешевого белого вина. То, что Шилейко пришел именно ко мне в тот вечер, о котором я хочу рассказать, и что именно мне пришлось заглянуть при этом в какой-то потаенный угол его жизни, конечно, не более как случайность.

* * *

Это было зимой во время войны, должно быть, в 1915 году. Шилейко еще не получил десятитысячного наследства от изобретателя ручной гранаты. В комнате его не было баснословного персидского ковра. Он очень нуждался, и, когда он неожиданно явился ко мне часов в одиннадцать вечера и начал с того, что пришел просить меня об услуге, я подумал, что он по-товарищески хочет перехватить у меня пять или десять рублей. Точно отвечая на мои мысли, он вынул из кармана скомканную двадцатипятирублевку.

— Вот, — сказал он, — деньги есть. Хватит на все. Возьмем мотор. Это далеко, на Охте.

Он путано и неясно объяснил, что от меня требуется.

— Видишь ли... Впрочем, это все равно. Он ждет меня и если не поехать, то все расстроится. Конечно, я не верю, что он маг: магия — высокая светлая сила. Если овладеть магией, можно все иметь: славу, деньги, любовь, власть. Но откуда ему быть магом? Он простой мужик, кажется, раскольник. Однако какая-то необыкновенная власть у него есть, и может быть, может быть... Только мне не хочется ехать одному. Поедем со мной, пожалуйста. Возьмем мотор и через четверть часа будем там. Если ничего не выйдет, потеряем вечер. А вдруг выйдет. И деньги есть. Ему надо дать десять рублей. И вот эта штука со мной. В другой раз будет трудно взять.

Он похлопал по своему потрепанному рыжему портфелю.

— Что за штука?

Шилейко засмеялся своей птичьей улыбкой.

— Там увидишь. Я потому и прошу тебя поехать, что ты ничего не знаешь. Я знаю и не доверяю себе. Самовнушения со своей стороны боюсь. А ты — другое дело. Увидишь, значит, правда было. Не увидишь, значит, и не было ничего. А едем мы производить магический опыт к Василию Петровичу Венникову, мужу больших познаний. Даром, что корову через «ять» пишет и по ремеслу столяр. Если и не выйдет ничего, посмотреть на него — и то любопытно. Так одевайся.

На Михайловской улице мы взяли таксомотор. Шилейко молчал. Только когда мы были на Охтинском мосту, он спросил отрывисто:

— Пушкинское «Заклинанье» помнишь?

— Еще бы.

— Ну-ка, прочти.

Я начал:

О, если правда, что в ночи...

— Не так, не так, — перебил он меня. — Не так читаешь. Интонация неверная. Это не обыкновенные стихи, а магические, колдовские. Пушкин сам не знал, что он написал. По существу, он был простой малый, хотя и гений. Все по поверхности скользил. Лишь бы блестело, журчало, лилось, радовало слух. О чем,

ему было все равно — гроза так гроза, луна так луна. И вот взял вдруг не умом, а силой гения, договорился до последних вещей, до самой глубины глубин. Вот как это надо читать:

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустуют тихие могилы.

Он читал свистящим металлическим шепотом, полузакрыв глаза и откинув назад птичью смуглую голову. Стальные очки его поблескивали. В горле странно клокотали гласные.

Явись, возлюбленная тень... —

просвистел он, как какое-то настойчивое приказание, которому нельзя не повиноваться. Мне стало не по себе.

— Перестань, пожалуйста, — сказал я. — Ты хочешь, чтобы я был беспристрастным свидетелем какого-то опыта, а шипишь и свистишь так, точно сам колдун. Мало что может померещиться от одного такого чтения.

Он невесело усмехнулся.

— Ну, от моего чтения ничего не померещится. Это все глупости. И чтение, да и само заклинание пушкинское. Хорошие стихи, гениальные стихи, но все равно стихи, литература — дело рук человеческих. Мы же едем нечеловеческое поддеть на крючок. Да, на крючок. Как рыбу. А вот и приманка. Хорошая приманка. — И он похлопал снова по своему портфелю.

* * *

Дом был одноэтажный, новый. Новенькая вывеска: «Столярная мастерская В. П. Венникова» — весело засияла в свете автомобильных фонарей. Сам хозяин открыл нам дверь. И в его наружности не было решительно ничего таинственного. Синяя поддевка, бородка клинышком, ярославские, светлые, с хитрецой глаза.

— Надумали-таки приехать, — протянул он не то недоумевающе, не то недовольно. — Я полагал, уже не приедете, час поздний. Ну, все равно, пожалуйте.

Он пропустил нас в чистую большую горницу. Пахло щами и свежими стружками. Чиж спал в клетке.

— Чайку с мороза не прикажете, господин Шилейкин? Не желаете? Делом, значит, сразу займемся. Как угодно.

Он вздохнул. Что-то недовольное или недоумевающее опять промелькнуло по его лицу. Как будто не хотелось ему заниматься «делом», за которым приехали мы.

— А то, может, все-таки чайку попьете? Ну, ваша воля. Сейчас принесу снаряд.

Он вернулся с куском белого холста и разостлал его на столе.

— Вещичка-то с вами? — обратился он к Шилейке. — Позвольте сюда. Вот так, — положил он небольшой сверток, вынутый Шилейкой из портфеля, под холст и, сильно прикрутив лампу, отставил ее в дальний угол.

— Садитесь, господа, прошу покорно. Как крещены? — обратился он ко мне. — Как имя то есть? Георгий — значит, Егор. Ну-с, начнем, благословясь.

Мы уселись. Хозяин посредине. Справа — я, слева — Шилейко. Накрытый холстом стол с возвышающимся бугорком подложенного под холст неизвестного мне предмета смутно белел перед нами. Минуту длилось сосредоточенное, неприятное молчание. Потом тихим, монотонным голосом, немного нараспев, столяр начал бормотать:

Стоит мать сыра земля,
Бегут по земле три кобеля,
Растут на земле три гриба,
Идут по земле три Божьих раба,
Владимир, Егор и Василий.
У каждого кобеля свои дела.
У каждого гриба своя нога.
У каждого человека своя судьба,
У Владимира, у Егора, у Василия.

Он начал медленно, раздельно, отчетливо окая по-великорусски. Потом понемногу стал шептать быстрей и быстрей. Монотонный распев перешел незаметно в свист, мягкое оканье сменилось каким-то металлическим шелестом. Совсем как Шилейко читал в автомобиле пушкинское «Заклинание». «О, если правда,

что в ночи...» — вспомнил я. Если правда, что этот мужик-столяр нашептывает сейчас какую-то таинственную сагу и что-то непонятное, сверхъестественное сейчас произойдет. А он шептал все быстрее, все лихорадочнее. Голос его все меньше напоминал обычный человеческий голос. Я взглянул ему в лицо. Лицо было мутно-белое. Глаза закатились, губы прыгали.

Мне стало холодно, грустно, страшно, отвратительно. Свистящая скороговорка помимо моей воли увлекала меня куда-то, и я не имел силы сопротивляться. Что-то мутно-липкое было в этом постепенном опутывании разума набором ритмических свистящих слов, где, как припев, повторялись наши имена вперемежку с Богородицей, Христом, зелеными лугами, морями-океанами и какими-то замысловатыми присказками. Несмотря на елейный смысл, неуловимый оттенок кощунства был во всем этом. Еще все повторялось о руке: «белой руке», «сахарной руке», «царской руке», о которой тоскуют и от которой чего-то ждут Владимир, Егор и Василий.

Явись, рука, из-под бела платка
Владимиру, Егору и Василию.

Вдруг совершенно отчетливо я увидел на холсте перед собой женскую руку. Это была прелестная, живая, теплая, смуглая рука. Она шевелилась и точно тянулась к чему-то, она вся просвечивала, точно сквозь нее проникало солнце...

Шилейко вскрикнул и отшатнулся. Столяр не бормотал больше. Вид у него был разбитый, изможденный, глаза мертвые, на углах рта пена.

— Что же было в пакете? — спросил я наконец, когда мы выехали с Литейного на ярко освещенный Невский.

— Как что было в пакете? Да, ведь ты не знал. Вот, смотри.

Он достал портфель и развернул газетную бумагу. В бумаге был ящик вроде сигарного со стеклянной крышкой. Под стеклом желтела сморщенная, крючковатая лапка, бывшая когда-то женской рукой. Такая-то принцесса, назвал Шилейко. Такая-то династия. Такой-то век до Рождества Христова. Из музея. Завтра утром положу на место. Никто не узнает...

Мне было холодно, грустно, страшно, отвратительно.

О свитском поезде Троцкого, расстреле Гумилева и корзинке с прокламациями

На экране «Форума» — козлиная бородка Троцкого, повизгивающий голос, штампованные жесты «блестящего» оратора с разжиманием и сжиманием кулаков, «страстным» скрючиваньем костлявых пальцев, хлесткими фразами о «медведе, вставшем на дыбы» — русском пролетариате. В заключение довольно сдержанные аплодисменты аудитории «счастливцев», которым удалось видеть и лицезреть в тихом Копенгагене олицетворение вставшего на дыбы пролетариата в образе пожилого козловатого господина с острыми глазками, беспокойно бегающими под стеклами пенсне.

Жидкие аплодисменты смолкают. «Великий Лев» под надежной охраной шпиков едет обратно в гостиницу средней руки. Потом купе второго класса, каюта с опущенными шторами, шпики, шпики и опять шпики, четыре револьвера, высмеянные репортерами всего мира, шляпа, надвинутая на нос, морская болезнь, вечный страх покушений и снова на райских берегах Принкипо ожидание погоды, которая вряд ли наступит...

Так проходит слава земная.

Мне пришлось однажды попасть на мгновение в поле этой славы, когда она «сияла».

Зимой 1919 года я встретил на Невском доктора К. Знаменитый невропатолог, лейб-медик Николая II, первым определивший у Протопопова прогрессивный паралич и сказавший об этом государю. (К. перестали приглашать в Царское Село.) Служил К. железнодорожным врачом на Николаевской ж. д. и был очень Доволен своим местом. Жалованье было неважное, и мазать йодом ушибленные коленки стрелочников (а также лечить их от сыпного тифа) было не очень интересно — зато заветная «провизионка», позволявшая провозить продукты через заградительные отряды, всегда была к его услугам. Член многих академий и ученых обществ, лейб-медик и действительный статский советник — с мешком за спиной и <в> нагольном тулупе — путешествовал время от времени в хлебные места

и благодаря этим поездкам не только жил, но и мог продолжать научную работу. Как-то он мне сказал, что счастлив: его книга, результат десятилетнего труда, кончена. «Я умру — книга останется — я теперь ничего не боюсь». Он ошибался. Месяца через два после этого разговора он был арестован. Пока К. сидел в тюрьме, вещи его растаскали соседи, а рукописи сожгли на растопку. Десять лет труда замечательного русского человека улетели в трубу чьей-то «буржуйки» с такой же легкостью, как улетела в трубу вся русская жизнь; из тюрьмы К. выпустили в апреле, в июне он умер.

Но тогда, в 1919 г., К. еще был здоров и весел. На щеках его горел яркий, свежий румянец. У этого утонченного человека, знатока и врача самых потаенных, самых редких душевных извращений, — была наружность мужика-ярославца, смекалистого и плутоватого.

— Торопитесь? — остановил он меня на углу Пушкинской. — Хотите, пойдем со мной на вокзал. Мне надо по делам на минуту, а заодно развлечемся. Товарищ Троцкий, Наполеон, верховный главнокомандующий, прибывает в три часа. Поглядим на сию особу.

Рябой комендант, увешанный оружием, пожал заодно с К. руку и мне своей широкой лапой как доброму знакомому.

— Поглядеть желаете? Это можно. Свои люди это ничего. Вот тут в уголке встаньте — все видно будет. А я к вам, товарищ доктор, с просьбой. Больной у меня. Завтра можете заехать? Ну и чудесно — выпьем чаю, закусим — жена рада будет. Под вечер? Заметано. Кто болен, говорите? Да Сенька, кот мой. Прищемил косточку, и все пухнет плечо. Опасаемся мы, чтобы не подох, — такой он чудесный котик. Ветеринар? Был ветеринар и примочку дал — только уж и вы навестите. Ум хорошо, а два лучше.

Лейб-медик Николая II записал адрес больного кота Сеньки. Мы встали в указанном нам углу перрона. Комендант, козырнув на ходу, подбежал к своим. У входа в «царские комнаты» строился уже караул, оправлялось «начальство»: стрелка часов приближалась к трем.

Вот и дымок. Подходит поезд. Но это еще не поезд Троцкого. Это броневой. Холодком отливает сталь, мрачно чернеют

отверстия для пулеметов, какие-то хмурые физиономии в шлемах-«спринцовках» высовываются то там, то здесь. Поезд уводят на запасный путь. Новый дымок, новый состав подкатывает к перрону. Свитский поезд — в нем едут офицеры штаба Троцкого. Несколько спальных вагонов, вагон-ресторан. Развалистой барской походкой выходят штабные офицеры, ловкие, молодцеватые, денщики тащат за ними багаж. В окно ресторана виден край накрытого стола: белая скатерть, вино, серебро, хрусталь... Бывшим офицерам российского генерального штаба, «продавшим шпагу свою», живется, по-видимому, недурно. Но Бог с ними. Отводят и свитский поезд. Опять дымок и грохот паровоза: это Троцкий!

Смирна! На караул! Начальство каменеет. Как его много набралось! Три бледно-голубых литерных вагона и четвертый серый, багажный, проплывают мимо и останавливаются. «Громовые» звуки «Интернационала» встречают «вождя». Но «вождь» не выходит. Начальство и караул застыли, не шелохнутся. Минута, три, пять! — Троцкого не видно. «Интернационал» гремит. В вагонах опущены шторы, поезд как мертвый. Пять, восемь, десять минут — никого. На каменных лицах начальства сквозь усердие и революционный восторг начинает проступать тоска. «Интернационал» надрывается. Наконец, распахивается дверь среднего вагона. Долговязый, длинноволосый тип, похожий на дьячка, показывается в ней. Он вяло машет рукой на оркестр. «Интернационал» смолкает. Долговязый тип опять машет рукой.

— Вольно, товарищи, — говорит он кисло, шепеляво и как бы через силу. — Вольно. Товарищ Троцкий здесь не выйдет. — И он так же вяло скрывается.

— Как же так не выйдет? Что же он, ночевать здесь будет?

Рябой комендант разъясняет нам, в чем дело.

— Видели, товарищи, багажный вагон. То-то и оно. Так уж специально устроено. В багажном вагоне всегда автомобиль стоит под парами. Стенка сзади откидывается, на рельсы кладется настил и фьють... Ждут товарища Троцкого, а товарища Троцкого след простыл. Очень специальное устройство, даже у царя не было.

Он провожает нас по грязному холодному вокзалу и на ходу рассказывает анекдот.

У Троцкого новый денщик. Троцкий, ложась спать, велит: «Разбуди меня утром». Настает время будить, но денщик не знает, как к спящему обратиться. «Вставайте, товарищ», пожалуй, не годится. «Ваше высокопревосходительство, извольте вставать» — тоже нельзя. Денщик подумал и кричит: «Вставай, проклятьем заклейменный».

Комендант расплывается всей своей рябой физиономией — так ему нравится анекдот. Он по-приятельски жмет нам руки.

— Так не забудьте, товарищ медик, моего котика. Прямо чудесный котик, увидите сами. Чайку попьем. Вставай, проклятьем заклейменный, хи-хи-хи! Наше вам пролетарское.

В списке расстрелянных по таганцевскому делу под именем Гумилева сказано:

«Поэт, член коллегии Всемирной литературы, участвовал в боевой организации, сочинял прокламаций, призывавшие к свержению советской власти».

Прокламации? Во множественном числе? Не знаю. Но одну прокламацию я помню.

Зимой к Гумилеву пришел какой-то молодой офицер с чьей-то рекомендацией и предложил принять участие в заговоре. Кажется, рекомендация была серьезная. Кажется, этот молодой офицер лично провокатором не был. Был жертвой провокации. Гумилев предложение принял. Еще бы не принять. Всю жизнь он только и занимался тем, что изобретал опасности. То ездил в Африку охотиться на львов, то шел на войну добровольцем, зарабатывать «полный бант», то из благополучной Англии, где его застал большевистский переворот, ехал, хотя и имел полную возможность остаться, в советский Петербург, чтобы посмотреть собственными глазами, какие такие большевики. Еще бы он не принял предложения вступить в заговор.

Он уговаривал и меня вступить в свою «команду»: «Ты ничем не рискуешь, твое имя будет известно одному мне».

Я действительно ничем не рисковал. Я в «команду» не вступил, но о некоторых ее участниках догадывался. Все они, естественно, были очень напуганы после ареста Гумилева. Но испуг

их был напрасным. Никто из них не был арестован, все благополучно здравствуют: имена их были известны только ему одному.

Кстати, когда арестовали Таганцева и пошли слухи, что раскрыт большой заговор, я Гумилева спросил: не та ли это организация, к которой он имел касательство? Он улыбнулся.

— Почем же я знаю? Я только винтик в большом механизме. Мое дело держать мое колесико. Больше мне ничего не известно.

— Но если вдруг это твое начальство арестовано, ведь могут схватить и тебя.

— Невозможно, — покачал он головой. — Мое имя знают только два человека, которым я верю, как самому себе.

Через месяц Гумилев был расстрелян.

И вот о прокламации. Однажды Гумилев прочел мне прокламацию, лично им написанную. Это было в кронштадтские дни. Прокламация призывала рабочих поддержать восставших матросов, говорилось в ней что-то о «Гришке Распутине» и «Гришке Зиновьеве». Написана она была довольно витиевато, но Гумилев находил, что это как раз язык, «доступный рабочим массам». Я поспорил с ним немного, потом спросил:

— Как же ты так свою рукопись отдаешь? Хоть бы на машинке переписал. Ведь мало ли куда она может попасть.

— Не беспокойся, размножат на ротаторе, а рукопись вернут мне. У нас это дело хорошо поставлено.

Месяца через два, придя к Гумилеву, я застал его кабинет весь разрытым. Бумаги навалены на полу, книги вынуты из шкафов. Он в этих грудах рукописей и книг искал чего-то. «Помнишь ту прокламацию? Рукопись мне вернули. Сунул куда-то, куда — не помню. И вот не могу найти. Пустяк, конечно, но досадно. И куда я мог ее деть?»

Он порылся еще, потом махнул рукой, улыбнулся: «Черт с ней! Если придут с обыском, вряд ли найдут в этом хламе. Раньше все мои черновики придется перечитать. Терпения не хватит».

«Терпения», по-видимому, хватило. «Сочинял прокламации, призывавшие к свержению советской власти...»

Нашли, значит. Или, может быть, один из тех двух, о которых Гумилев говорил: «...верю, как самому себе». И где теперь этот

проклятый клочок бумаги, который в марте 1921 года держал я в руках, споря с Гумилевым о том, доступно или недоступно «рабочим массам» его содержание.

* * *

Я прожил пять лет в большевистском Петербурге мирным советским обывателем. В заговорах не участвовал, прокламаций не сочинял, но вот и со мной был однажды похожий на этот случай. И неизвестно, что бы со мной стало, если бы...

В 1918 году в домовых комитетах все жильцы между собой перезнакомились. Домовые комитеты были тогда еще буржуазными. Это после они стали комитетами бедноты.

И вот в доме, где я жил, председателем был некий Д. — студент, правый эсер, человек очень обходительный, приятный. Сидя вместе на ночных дежурствах, мы подружились немного. И вот, когда он собрался уезжать на Дон и попросил разрешения оставить на моей квартире «корзиночку с книгами», естественно, я согласился.

«Корзиночка» оказалась двумя большими корзинами, тяжелыми, перевязанными веревками. Места у меня в квартире было уж не так много, но что же было делать. Тем более что Д. уже уехал, спорить было не с кем.

Корзины втиснули куда-то, и я о них забыл. Вспомнил о них в день убийства Урицкого.

Урицкого убил Каннегиссер, мой близкий друг. В сообщениях об убийстве назван он был правым эсером. Весьма возможно, что и ко мне, как к другу Каннегиссера, придут с обыском. У меня ничего «такого» нет. Но на кухне у меня найдут две корзины с книгами, принадлежащими другому эсеру — Д. Какие это книги, я не знаю. И нет ли там, кроме книг, каких-нибудь писем, документов? Корзины были заперты. Мы долго рассуждали — вскрывать их или не вскрывать. Решили все-таки вскрыть. Было уже довольно поздно.

В одной корзине действительно были книги, но в другой...

Она была вся набита одной и той же листовкой, сотнями экземпляров ее. Вероятно, это было целое нелегальное издание,

которое вовремя не было распространено: «Товарищи, все против захватчиков власти! Грудью за Учредительное собрание!».

Поздно. Час или два ночи. Если придут с обыском, то придут скоро. В квартире центральное отопление. Плита модернизированная, бумаги «не берет». Только в одной комнате камин, поставленный для живописности. Как в нем сожжешь всю эту груду? Сколько часов на это понадобится? И не лучше ли оставить корзины как есть? И если найдут, как есть рассказать, откуда они, чем быть застигнутым «за работой»...

Мы все-таки стали жечь. Жгли до утра и, конечно сожгли не больше трети. С обыском ко мне не пришли: в записной книжке Каннегиссера не было моего адреса. Он и так его отлично помнил. Те, чьи адреса в ней оказались, были арестованы той же ночью. Кто просидел три месяца, кто пять. А ведь ни у кого из них не нашли решительно ничего, даже пустяка какого-нибудь, не то что корзин с эсеровскими прокламациями.

Александр Иванович

На белом одутловатом лице Александра Ивановича как-то сами по себе бегали пронзительные, бесцветные глазки — бровей над ними не было. Какой-нибудь красный или оранжевый бант криво поддерживал расползающийся на его шее несвежий воротничок. В январе его можно было встретить в пиджаке, в мае он вдруг надевал шубу. Многие останавливались и глядели ему вслед, когда он грузно переваливался по Невскому, толкая прохожих, не обращая ни на что внимания, бормоча стихи или читая на ходу одну из бесчисленных книг, которыми были всегда набиты его карманы. Книги были самые разные. Гете и Нат Пинкертон, таблица логарифмов, Кант или самоучитель игры в винт. Александр Иванович в трезвом виде был хмур, застенчив и молчалив. Но он довольно редко был трезв.

Александр Иванович знал множество языков, изучал Каббаллу, пытался с помощью высшей математики измерить бесконечное пространство и писать стихи. Теперь никто не помнит ни этих стихов, ни псевдонима, которым он их подписывал, но в свое время их печатали в лучших журналах и критика лестно о них отзывалась. Кстати, московское книгоиздательство «Гриф» издало книгу его стихов одновременно с книгой другого начинающего поэта... Блока.

* * *

Едва познакомившись с кем-нибудь (разумеется, бели на столе была водка), Александр Иванович откровенно заявлял:

— Я, собственно, негодяй, сукин сын, прохвост. Вы меня остерегайтесь. Я при случае и зарезать могу.

Он иронически впивался в ошеломленного собеседника острыми, бесцветными глазками и наставительно прибавлял:

— Но ты, брат, не задавайся. Не думай, что я черненький, а ты беленький. Ничего подобного. Все мы, — широкий жест, — людишки, как один скоты и мерзавцы. Только вы бессознательные, а вот я сознаю.

В том же духе были и его стихи:

Я до конца презираю
Истину, совесть и честь.
Лишь одного я желаю —
Бражничать блудно да есть.
Только бы льнули девчонки,
К черту пославшие стыд.
Только б водились деньжонки
Да не слабел аппетит.

Деньжонки, достаточные для «блудного бражничанья» по мелким петербургским кабачкам, откуда-то у него водились. «Девчонки» тоже льнули: вечно он был окружен женщинами. «Истину, совесть и честь» он презирал, кажется, вполне искренне. Жил он бурно и дико. Постоянно с ним случались «истории». То его ловили на одновременном сотрудничестве в «Речи» и «Земщине» и с позором выгоняли и из либеральной и из черносотенной газет, то в хронике происшествий сообщалось, что «во время пожара на окраине города случайный прохожий бросился в огонь, спас кого-то, сам едва не задохнулся, и приведенный в чувство оказался литератором Х». Странный был человек. Однажды мне пришлось иметь с ним любопытный разговор. Не знаю, что его расположило тогда к откровенности.

* * *

Весной 1914 года я зашел в ресторан «Поплавок» у Троицкого моста. Была белая ночь. Народу на «Поплавке» было немного. Я сел за столик, заказал себе что-то и только тут увидел, что как раз против меня, перед батареей пустых пивных бутылок, сидит Александр Иванович. Он сидел неподвижно, понурясь; мне сперва показалось, что он спит. Но сейчас же послышалось его бормотание:

— Вы, мещане, скоты... хлещете пиво. Ну, а дальше что? Я вот пью, но я все вижу. Рыба плывет — вижу. Орла на бутылке вижу и сознаю: Российской империи государственный герб, с нами Бог, распивочно и на вынос. Вы, скоты, хлещете... А я самого Валерия Яковлевича Брюсова вижу. Стоит, голубчик, на том берегу и весь светится.

Он помолчал минутку. Потом прибавил тихо и прочувственно:

— Тсс... тишина. Молчание. Бла-го-го-ве-ние. Валерий Яковлевич Брюсов идет по водам. Но не к вам, а ко мне.

Он снова помолчал. И вдруг сказал совсем другим голосом, трезво, сухо:

— Порю чепуху. Брюсов — посредственная литературная величина. А я — пропойца и плут.

Он вскинул свои острые глазки и увидел меня.

— Присаживайтесь, молодой человек, — обратился он ко мне так, как будто только и ждал, что я окажусь тут. — Присаживайтесь, будем знакомы. То есть не то, конечно: знаю, помню, встречал, читал, ценю, наслаждаюсь, наш молодой талантливый и т. д. Только, извиняюсь, плюю на все таланты, молодые и старые, подающие надежды и оправдавшие их. А если вас это удивляет, если вы желали бы получить объяснение, то к вашим услугам — могу и объяснить. Присаживайтесь. Человек, еще пару пива! Так вот...

* * *

— Вы где родились? В Петербурге? Так. Здесь же и воспитывались? Отлично, превосходно. Позвольте же вам, молодой человек, сказать: какой вы русский? Фамилия у вас русская и паспорт русский, но России вы даже не нюхали. Я вот России этой понюхал вдоволь и скажу вам на ушко, чтобы никто не слышал: «Скверно пахнет Россия».

Было это двадцать лет тому назад, и жил я тогда в Тверской губернии. Я, собственно, сибиряк, но это к делу не относится. И как в Тверскую губернию попал, незачем вам знать. Скажем, приехал я из Сибири по отцовским делам, а дела покойник вел порядочные, этак тысяч на сорок обороту, тысяч на пятнадцать чистых. Может быть, так, а может быть, и не так, тем более, согласен, поверить трудно — декадент, пропойца, шантрапа, по редакциям десятки клянчит, без отдачи тройки занимает и вдруг он же... Верьте, не верьте — я и сам плохо верю. Было мне двадцать шесть лет, здоровье у меня было львиное, и — самое

смешное — был я чистейшей воды идеалист, хоть и торговал железом. Да, идеалист. С идеализма все и пошло. Впрочем, сами увидите. Подробности всякие пропускаю и коротко скажу — познакомился я тогда с братом и сестрой. Брат блондин, сестра брюнетка, ему под тридцать, ей года двадцать два. Брат такой тонкий, легкий, белозубый, на борзую похож. А сестра... Еще короче — влюбился я в сестру без памяти и с первого взгляда.

Смешно сказать, хотя я и был юноша разбитной, ловкий, разговорчивый, но женщин — это я-то — еще не знал. Чувство у меня такое особенное было с детства, не марайся, мол, подожди настоящей встречи. Ну, словом, идеализм. Очень крепко во мне это чувство сидело — не вышибешь. Даже теперь не вышибешь, представьте себе. Вот я пью сегодня с утра, — человек, еще пару! Живо! — но голова у меня ясная, и ясно я понимаю всей пропащей своей головой, что это и была та встреча, о которой я мечтал, которую сулил мне Бог. А что мечталось мне немного иначе, чем вышло в действительности, — так это уж вольно было мечтать.

Был конец января. Погода была чудная, на мой сибирский взгляд, прямо весенняя. Градусов двенадцать морозу, снег, солнце. Дела мои были кончены, и шел я ни более ни менее, как на вокзал — дать папаше телеграмму, что на другой день выезжаю. Ну, конечно, российские порядки — телеграфист отлучился, нужно обождать. А я проголодался с хорошей погоды; чем торчать в почтовом отделении, зайду, думаю, в буфет первого класса — выпью рюмочку и чем-нибудь закушу. И вот, как перед собой вижу, вхожу я в зал и сидит у окна под пальмой эта пара... Он блондин, вроде борзой, а она...

Жалкой какой-то она мне показалась. Очень уж большое было в ней несоответствие ко всему. Провинциальный вокзал, грязь, искусственная пальма, отбивная с гарниром, мордастый буфетчик, и вдруг среди всего этого такая птица. Шляпа вся в розочках, шубка голубая, ридикюль какой-то чудной, муфточка необыкновенная... И говорит быстро-быстро по-французски. Я по-французски тогда не понимал, а жаль. Потом уже не то что по-французски — по-халдейски обучился, но, конечно, без всякого толку. А тогда, если бы понимал, может быть, и был бы толк. Но об этом речь впереди.

Да, показалась она мне жалкой, хотя и красивой неслыханно. Может быть, через то я и погиб, что раньше, чем познакомился с ней, слово сказал, разглядел ее хорошенько, — схватила меня за сердце лютая жалость. Я от природы, заметьте, скорее человек безжалостный, расстроить меня трудно, и в молодости я был еще тверже. В этом смысле у нас в Сибири, особенно по купеческому делу, иначе и нельзя. На чужое горе, на разные там вздохи и слезы я всегда смотрел преравнодушно. Но она и не плакала ничуть. Она лопотала быстро-быстро по-французски и улыбалась при этом, только тревожно как-то. И еще был у нее в руках синий шелковый платочек, и она им помахивала тоже быстро-быстро...

Я все тут же сразу обмозговал и взвесил. Мигнул буфетчику: — Откуда приезжие? — Бог их знает. — А едут?— В Тверь. — Когда поезд? — В четверть пятого. — Целых полчаса оставалось. Квартира моя была в двух шагах, сложить чемоданишко мой было пустое дело. Я мальчишку поставил у кассы стеречь, какой класс будут брать, чтобы и мне туда же. Но еще и кассы не открывали, как я все свои дела справил и опять был на вокзале. Как на крыльях меня носило. Подали поезд. Вагон первого класса, понятно, единственный. И понятно, кроме нас троих, в вагоне никого. И вот третий звонок, и катим мы в Тверь. Они заняли двухместное купе, а я, разумеется, купе рядом. Дверка между нами красного дерева, раздвижная — приложил я к ней ухо — все слышно. Она быстро-быстро что-то лопочет, а он будто бы урезонивает или успокаивает. Эх, жаль, по-французски я тогда не понимал. А впрочем, чего жалеть...

* * *

Завязал я знакомство не без труда — сторонились они меня, — но ничего, все-таки завязал. Сначала нехотя со мной разговаривали, но когда узнали, что я человек приезжий и родом сибиряк, приветливее стали. На Сибири наша дружба и сладилась... Очень их Сибирь заинтересовала, и как живут, и какие порядки, и климат. Про мороз особенно расспрашивали — правда ли, что такие холода и долго держатся. Я уж им расписал Сибирь как мог, даже разукрасил. Вижу, им нравится,

чтобы похолоднее, я и поддаю холоду. Земля, говорю, в Сибири глубже трех аршин никогда не оттаивает. Вот мамонта нашли недавно в земле — так со шкурой и пролежал тысячу лет свеженький — мясо есть можно. Понравилось — переглянулись даже и французской фразой обменялись.

— А у нас в январе такая теплынь.

— Да, сударыня, — поддакиваю, — здесь настоящих холодов искать не приходится. Вот сегодня еще чуть-чуть морозит, а завтра, помяните мое слово, оттепель будет, все так и потечет...

— А в Сибири долго еще мороз будет стоять?

— Да уж до половины апреля с гарантией, так сказать, бывает, и до мая.

— Ах, Боже мой, — говорит она, — как приятно было бы пожить там, страшно я люблю зиму.

— За чем же дело стало, сударыня: прокатимся, если желаете. И Сибирь вам покажу, и морозу надышитесь. Если есть охота и время позволяет — почему бы вам не съездить в Сибирь.

Переглянулись они опять.

— Как же так? К кому мы поедем, куда? Никого мы там не знаем.

— А ко мне-с?

— Вы нас к себе приглашаете, что вы? Да ведь мы и не знакомы совсем.

— Что ж такое, если не знакомы, надо познакомиться, вот и все.

Встаю во весь рост и рекомендуюсь: первой гильдии купца такого-то сын и единственный наследник.

Представился и он.

— Карамышев, Николай Петрович, а это сестра моя Зинаида. Батюшка наш, генерал Карамышев, недавно скончался, может, слышали, вот и еду я сестру развлечь после печального события. Думаем в Петербург, а оттуда за границу...

— Не уйдет от вас, Николай Петрович, заграница, а сестрице вашей при ихней любви к морозцу много развлекательней было бы сперва в Сибирь заглянуть. Пожили бы, сколько понравится, а потом можно и за границу.

Прямо дух у меня захватило от волнения. Усмехнулся он.

— Очень уж, — говорит, — неожиданное предложение. Надо обдумать.

А она побледнела как-то и еще прекрасней стала. Откинулась на красный бархат, треплет между пальцами платочек и молчит. И прямо глядеть больно — так хороша.

— Обдумайте, — говорю, — сделайте милость. А решите, ей-богу, не пожалеете. Пока же оставлю вас, Зинаида Петровна, может, прилечь желают, утомил я их.

— Да, — говорит, — слабенькая она. Быстро устает. Спасибо, спокойной ночи.

И она мне ручку протянула, а ручка, как лед.

Лег я в свое купе. Понятно — какой там сон. Колеса стучат, искры летят, бархат уши щекочет... Страсть во мне ходит такая, что и не предполагал я в себе — не сплю и слышу — рядом тоже не спят — все шепчутся, Шепчутся и будто целуются. Ну, какие там поцелуи у брата с сестрой... Наконец, повозились, потрещали Пружинами и успокоились. Заснул и я.

* * *

Заснул я тогда в поезде, а проснулся... в Томском уезде, в усадьбе отцовской. Очень хорошо помню я свое пробуждение. Вижу, погреб наш знакомый, сырой холодок, луч солнца в темноте острый-острый, и народ, и понятых, и синий мундир исправника. Был май месяц, когда я проснулся. Февраль, март и апрель пролетели во сне.

Из этого трехмесячного сна я помню, кроме ощущения угара, — клочки и отрывки, почти не имеющие между собой связи. То мы кутим еще в Твери, и Зинаида Петровна макает в шампанское розу, бьет меня розой по лицу — и в глаза мне летят брызги. То уже в Сибири она грустно смотрит на меня и говорит: «Александр Иванович, разлюбите меня, пока не поздно, от моей любви вам не будет добра». И опять тройка летит, бубенцы звенят, она, как птица, хохлится, он скалит свои собачьи зубы, а я сплю, сплю и не хочу просыпаться. Потом ожидание письма от мамаши-генеральши. Не соглашается генеральша на брак с купцом, требует дочку и сына к себе за границу.

«Не беспокойся, Саша, я все устрою, съезжу на месяц и благословение привезу. Приеду — сейчас и свадьба».

Я шучу: «Приедешь, не узнаешь меня, отпущу к свадьбе большую черную бороду».

Сказал, а она: «Ах!» — и в обморок. Полчаса хлопотали, пока в чувство привели.

За границу — а о паспортах и забыли — уехали из Твери без паспортов, неужели обратно в Тверь возвращаться? Да чего там — в Омске меня каждый знает, и я знаю всех. Четвертную в зубы канцеляристу и через полчаса новенькие заграничные паспорта на имя Зинаиды Петровны и Николая Петровича Карамышевых лежат на столе. Вот с деньгами — труднее. И так не догадывается папахень, что по его доверенности продано за бесценок столько-то товару — и в трубу, получено по стольким-то векселям — и туда же. Ничего, нашлись и деньги: восемнадцать тысяч, все пятисотрублевками. Только об одном и жалел, что до двадцати не дотянул.

Поезд. Свисток. Синий платочек в воздухе. Я все еще сплю, сплю...

* * *

Проснулся я самым обыкновенным образом — в своей постели.

Работник тряс меня за плечи.

— Александр Иванович, исправник приехал, стражники дом оцепили. Про господ, что давеча уехали, допрашивает, вас к себе требует.

Вышел я. «Что такое? — говорю. — Ну, и жили Карамышевы, брат и сестра. Уехали за границу. Потому и жили, что невеста моя. Две недели как уехали. Если адрес угодно — вот и адрес. Чемоданы? Верно, есть чемоданы. В погребе лежат. Они налегке уехали. Только какое же дело полиции до этих чемоданов?»

Дело было, однако. Первый чемодан открыли — там селитра, руки, ноги, внутренности. А во втором — голова. Череп проломлен и черная густая борода. Это мужа, значит, она с любовником убила и возила с собой, не знала, куда пристроить.

Ничего, удачно пристроили. Так и не нашли их, кажется. Меня стыдили: глупость такая, приговорили к церковному покаянию.

Пока я в предварительном заключении сидел, папаша мой помер и все имущество, натурально, на монастырь оставил. Ну, запил я от огорчения. Не помогло. На науки стал бросаться — не помогли и науки. Хотел горло перерезать — сподлецовал, страшно. Это меня, представьте, и успокоило. Если так, думаю, отчего бы и не пожить на пробу. И вот двадцать лет живу, — ничего, даже потолстел. Стихи пишу, хулиганствую, деньги без отдачи выпрашиваю. Вот Каббалу принялся изучать, — ничего, занятная Каббалла... Не протестуйте! Благородно! Любовь движет солнцем и другими мирами...

— Человек, счет!

Человек в рединготе

Майской ночью я возвращался откуда-то к себе на Петербургскую сторону. Мост был как раз разведен. «Перевоз» — пароходик «Финляндского пароходства», возивший с одного берега на другой за две копейки конец, тоже, как назло, только что отвалил. Значит, ждать полчаса? Или идти в обход? Нет, ждать скучно, а в обход далеко. Проезжавший мимо «ванька», видя мою беспомощность, заломил рубль двадцать до Александровского проспекта — цену несуразную. На предложенные шесть гривен он презрительно подхлестнул лошадь, и я снова остался один перед разведенным мостом, «в сиянии и безмолвии белой ночи». Белые ночи, конечно, хороши, и эта была особенно хороша — но я посмотрел на Адмиралтейство, Неву и мутнорозовое небо почти с отвращением. Пойду в обход, решил я. И зачем я не дал этому разбойнику рубль — был бы уже дома.

Но идти домой не пришлось. Пройдя несколько шагов, я услышал голоса и звон посуды. «Поплавок», излюбленное место мечтательных пьяниц, был еще открыт. Для рубля, чуть не отданного жадному «ваньке», нашлось употребление менее обидное.

Народу на «Поплавке» было человек десять-двенадцать. По их оловянным взглядам, покрасневшим лицам и съехавшим на сторону галстукам было видно, что все это публика солидная, сидит здесь долго, выпила много и еще выпьет.

Я сидел в ожидании, когда придет «перевоз», прихлебывал тепловатое «калинкинское» и наблюдал. Наблюдать, впрочем, было мало что. Картина не менялась. Веселая компания в углу, понемногу соловея, все меньше закатывалась смехом и все чаще икала. Изредка кто-нибудь нетвердым голосом заказывал еще пива, то там, то здесь слышалось всхрапывание. Вода тяжело и глухо ударялась о борта баржи, на которой «Поплавок» помещался. Стало совсем светло. Пароходик, которого я ждал, пыхтя, подплывал к соседней пристани, подавая тонкие свистки. Я крикнул лакея, чтобы расплатиться. Но тут «на палубе» появился новый посетитель. Вид его заинтересовал меня. Небольшой рост. Коренастые плечи. Пальто — коричневый рединготв талию — хорошего покроя, но с побелевшими швами,

заношенное, выгоревшее. На шее в несколько рядов намотан пестрый шарф, на голове цилиндр, в руках трость с вычурнейшим набалдашником.

Он вошел, тяжело ступая. Никто, кроме меня, им не заинтересовался. Он мотнул головой лакею. Когда принесли пиво, новый посетитель, отхлебнув от кружки, дернулся, словно от отвращения, потом медленно обвел вокруг себя прищуренными глазами. Когда на секунду я попал в «поле его зрения», пришла моя очередь вздрогнуть. В серо-холодных, странно-неподвижных глазах светилось выражение дикой тоски. Дикой и слепой.

«Перевоз», жалобно свистя, отчалил от пристани. Небо совсем посветлело. Глупо, что я остался. Сейчас и «Поплавок» закроется. Вот и мост наводят, — пора. Не любоваться же всю ночь на этого пьяницу с дикими глазами.

Но когда я совсем собрался уходить, человек в рединготе вдруг забормотал что-то. Самый темп его бормотания удивил меня. Это было мерное монотонное чтение — так поэты читают стихи.

Я прислушался.

...Et pourtant vous serez semblable a cette ordure.
A cetie horible infection...

Странный человек в рединготе, перед батареей «калинкинского», на заплеванном «Поплавке» читал гениальную «Charogne»[35] Бодлера. Это было забавно.

...Etoile de mes yeux, soleil de ma nature
Vous, mon ange et ma passion...[36]

Вдруг он оборвал чтение, выпрямился во весь рост и шагнул к парапету. Стол опрокинулся, разбитое стекло зазвенело. Еще шаг, и человек в рединготе был бы в Неве. Лакей подбежал к нему и схватил его за плечи. «Скандалить не...» — успел только выговорить он. Страшная пощечина помешала ему окончить.

---

[35] «Падаль» (*фр.).*

[36] ...Нет, все-таки и вам не избежать распада,
Заразы, гноя и гнилья.
Звезда моих очей, души моей лампада.
Вам, ангел мой и страсть моя! (*Пер. с фр. С. Петрова*)

На отчаянный крик слуги двинулся грузный, краснорожий хозяин. Ему полетела в голову бутылка.

Как ни любопытно было посмотреть, чем это кончится, я все же поспешил к выходу, — благо он был свободен: другая бутылка с треском, как бомба, разорвалась у самого моего уха. Я «ускорил шаги». На шум уже перебегал наискось набережную усатый городовой. В общем реве побоища голос, только что мечтательно скандировавший Бодлера, яростно гремел:

— Тронуть... меня... который в высочайшем присутствии... Меня! Друга Григория Ефимовича! Спроси Вырубову, кто я такой, — она тебе скажет. Лапы прочь! Не подходи! Убью!

* * *

Среди множества петербургских литературных обществ было и такое: «Физа».

Название это не расшифровывалось, как подобные ему советские названия. «Физа» не значило — «филологический институт звуковых анализов» или что-нибудь в этом роде. «Физой» звался герой поэмы, очень бездарной и очень пышной, прочитанной на открытии одним из ее великосветских учредителей. «Физа» тем и отличалась от остальных литературных мест, что хозяевами ее были любители прекрасного с громкими фамилиями и в звании камер-юнкеров высочайшего двора. Теперь уж я не помню, как звалась «Физа» по-настоящему.

Над «Физой» все смеялись, но все ее посещали. Помещение было просторное, благоустроенное, где-то на Сергиевской. Выступлений эстетов-учредителей можно было не слушать, коротая время в прекрасной столовой за бесплатными сандвичами с икрой и даровой мадерой. Кто-то сказал, что в Петербурге ходят на разные сборища исключительно из-за антрактов — себя показать и людей посмотреть. Заседания «Физы» были сплошным антрактом, да еще с мадерой. И на собраниях ее всегда было шумно и многолюдно.

На одном из таких собраний я сидел по обыкновению в столовой. Дверь в залу, где шло заседание, была закрыта. Вдруг кто-то ее отворил — и я услышал знакомый голос. Знакомый. Но где я его слышал? Ах, да...

«...Etoile de mes yeux, soleil de ma nature...»
«Лапы прочь! Убью!»

На эстраде «Физы» между пальмой и роялем стоял мой «знакомый» с «Поплавка». Он был гладко выбрит, аккуратно причесан, кажется, он даже улыбался. Сюртук его имел самый обыкновенный буржуазный вид. Глаза опущены: не видно их выражения. Читал он что-то длинное, с цитатами и ссылками на источники о предшественниках Шекспира, читал с повадками заправского приват-доцента.

— Кто это? — спросил я у фон А., того самого камер-юнкера, в чьей поэме героя звали Физой.

Фон А., лощеный молодой человек с моноклем и пробором, посмотрел на меня с удивлением. Как? Вы не знаете? Восходящая звезда. Тураев в восторге. Бодуэн де Куртенэ без ума. Удивительная эрудиция, редкая разносторонность. Его исследования о елизаветинцах...

Он назвал мне фамилию, которую я мельком слышал как имя подающего надежды молодого ученого. Вот уж не ожидал.

— Кажется, он скандалист какой-то? Из распутинского окружения?

Фон А. замахал руками.

— Какой вздор. Кто вам сказал? Ученейший человек, э... э... э... светлая голова. Мы специально его пригласили в будущую субботу. Он нам прочтет доклад об ассирийских мифах — он ведь знаток э... э... э... и ассириологии. Удивительная разносторонность. И откуда вы взяли, что он распутинец? Напротив, он, кажется, э... э... э... в связи с революционерами.

В течение вечера я наблюдал «человека в рединготе». Он держался в окружении эстетических дам и великосветских учредителей «Физы». Держался скромно, грустно, достойно, не подымая глаз. Мадера стояла перед ним на столе, но он пил чай с лимоном. Уходя из собрания, я видел, как фон А. усаживал моего скандалиста с «Поплавка» в свою щегольскую карету.

* * *

Часа в три ночи, в один из тихих дней «Бродячей собаки», таких дней, когда публики «со стороны» мало, «свои люди» сидят

особняком по углам, электричество из экономии притушено и даже Пронин, неутомимый директор подвала, устал и спит в чулане за кухней, — в одну из таких «будничных» ночей, когда сидишь так неизвестно зачем, разглядывая пестрые стены и глотая холодное вино, и все кругом выглядит как-то таинственно, — входная дверь хлопнула. Я обернулся на стук от камина, у которого скучал.

Он был опять в рединготе и пестром намотанном кашне. Кажется, сильно пьян. Предлога заговорить с ним мне не пришлось и выдумывать. Потоптавшись у дверей, он сел рядом со мной у камина. Скосив глаза на мою бутылку рислинга, он щелкнул языком.

— Кисленькое пьете. Нет, благодарствуйте, — отстранил он стакан, который я было ему придвинул. — Благодарствуйте, не употребляю этих напитков. Душа не принимает, да и сердце...

— Слабое? — подсказал я.

— Именно слабое. Правильно сказали. Слабое сердце. Несчастное, безумное, слабое сердце. Как и все сердца человеческие.

Он закричал в буфет:

— Эй, водки!

Мы помолчали. Потом, не зная, как начать интересующий меня разговор, я сказал:

— А я вас встречал.

— Встречали? Возможно.

— Да. Весной этого года. На «Поплавке». Вы еще Бодлера читали.

— А, вот где. Припоминаю, как же. Не в себе был, чего таиться. Редко это со мной бывает. Зато метко. Вы что же, — он прищурился, — долго тогда сидели?

— Ушел, когда начали бутылки летать. За голову боялся. После жалел.

— Чего же вы жалели?

Я нанес «решительный удар».

— Жалел, что недосмотрел до конца. Кто победил и... и помог ли вам Григорий Ефимович?

Но мой «удар» не произвел того эффекта, на который я рассчитывал. Мой собеседник, внешне по крайней мере, остался невозмутимым.

— Пустяки все это, — сказал он, — и вспоминать не стоит. Ну, мне разбили морду... или я разбил. Не все ли равно. Не согласны? Это в вас младая кровь играет — поживете с мое, будете так же рассуждать. А насчет Григория Ефимовича вопрос не так прост, как вам кажется. Вы вот — признайтесь — полагали: припер я его к стене, не отвертится. А я вот вдруг отверчусь, отверчусь и еще вас самих к стенке припру. Думаете, нет? Ан, припру... Впрочем, все это пустые разговоры. И место неподходящее, и я хоть и пьян, а недостаточно. Вы вот поймайте меня совсем пьяненького. Тогда и разговор между нами пойдет другой. Или, — он подмигивает, и глаза его делаются страшными и пустыми, — выпить нам с вами как следует, для первого знакомства. А? Согласны? Тогда и поговорим.

* * *

Из любопытства я еду с ним — сначала к старому Донону у Николаевского моста, потом еще в какой-то кабак, потом в извозчичью чайную. Наконец, попадаем к нему на квартиру. Калашниковская набережная мрачный деревянный дом. Ветер с Охты ударяет в стекла так, что окна дрожат. Свеча, потрескивая, оплывает на смятой камчатной скатерти. По стенам, на столах, на полу — книги, книги, книги — на всех языках.

Хозяин пьян, страшно пьян, как тогда на «Поплавке». Он лезет целоваться, рот его кривится в сторону, глаза налились знакомой дикой тоской.

— Что ж ты не пьешь? — переходит он на «ты». — Пей, брат, водка хорошая, царская. Царской водкой самую едкую кислоту зовут, все она прожигает — камень, железо, все. Только алмаза не берет. И эта вот тоже царская, все зальет, все сожжет.

Он задумывается.

— Только тоски человеческой взять не может водка. Стыд — без остатка. Совесть — точно и нет никакой. Честь — а ты выпей еще стаканчик и пошлешь эту самую честь к черту, как шлюху на Лиговке. А вот тоска — как алмаз. Ничего с ней не поделаешь. Стоит в груди и не тает.

— Ну, а насчет Григория Ефимовича как же?— говорю я. — Вы мне рассказать обещали...

Он молча берет меня за рукав и тянет в угол. Берет свечу и подносит к стеклу киота. Потемневшие старинные ризы, тусклые венчики со стертой позолотой. Первую минуту я не понимаю, в чем дело.

Он подносит огарок еще ближе. В середине под темным окладом выступают черная борода и бледное лицо Распутина. По бокам, тоже в ризах, Ницше, Бодлер, Вырубова. Вперемежку с ними настоящие иконы.

— О Григории Ефимовиче спрашивал? Вот он Григорий Ефимович. Если желаете, можем ему помолиться.

И он на церковный лад затягивает:

— Преподобный Григорий, моли Бога о нас.

Искоса он смотрит на меня, и видно, что отвращение, которое проступает на моем лице, доставляет ему живейшее удовольствие.

* * *

Я видел его еще раз. Он сидел на Мальцевском рынке среди старух с серебряными ложками и мальчишек с пирожками. Он сидел в своем рединготе и цилиндре и торговал книгами. Вернее, безучастно смотрел, как любопытные перебирают его никому не нужный товар и уходят, ничего не купив. Шарф был туго замотан вокруг его короткой шеи, и в стоячих глазах светилась ледяная тоска. Это было при Керенском. Судя по всему, звезда «человека в рединготе» клонилась к закату...

Но в 1922 году я неожиданно услышал его имя, и мне пришлось удивиться еще раз. Это имя теперь сияло высоко, очень высоко на московском «звездном небе», притом в непосредственной близости к блистательному солнцу ГПУ.

Анатолий Серебряный

— Давно искал случая... Позвольте представиться?.. Анатолий Серебряный... Разрешите поднести вам сборник моих стихов.

И, теребя грязноватыми пальцами жидкую бородку:

— С одной стороны, будучи последователем классической традиции, с другой — считаю, что поэзия должна улавливать темп современности...

Это еще до войны в 1912–1913 годах. С вылинявшей бородкой, плохо вымытыми руками, тощий, костлявый поэт Анатолий Серебряный всюду, где можно — на литературных вечерах, в передних редакций, на улице, — останавливает совершенно незнакомых с ним людей, жмет руку, подносит свою книгу, сообщает свои взгляды на поэзию, спрашивает адрес: «Сочту долгом засвидетельствовать почтение». И никогда не забывает этого «долга».

Если вы, растерявшись, дали ему визитную карточку или номер телефона — будьте уверены: непременно явится, и в самое ближайшее время. Придет, развязно, как со старым знакомым, поздоровается, без приглашения развалится в кресле, без приглашения вытащит толстую засаленную тетрадь:

— В настоящее время я пишу стихи с мистическим уклоном, так как пришел к убеждению, что в душе современного человека мистика...

Потом он будет читать стихи. Много стихов, и «с уклоном» и без.

Голос у него неприятный, хриплый, жесткий... Читает он нараспев, размахивая руками и разбрызгивая слюну. Иногда, должно быть, в самых мощных, по мнению автора, местах, чтение переходит в свистящий визг. Тогда острый кадык поэта судорожно подпрыгивает над огромным измятым бантом в горошину и слюна летит прямо в лицо несчастного слушателя.

Стихи же такие:

На струнах людской души
Дух играет злобы,
Подпевает: согреши,
Насладиться чтобы.

В промежутках между стихами и разговорами о «мистических уклонах» Анатолий Серебряный мимоходом бросает:

— Вчера на рауте у княгини Голицыной...

— Мой отец, богатый помещик... юга России... когда я еще был в школе Правоведения...

И все это, разумеется, выдумки. Ни на каком рауте он никогда не был и учился в обыкновеннейшей полтавской гимназии, которую так и не окончил, должно быть, к большому огорчению своего отца — кажется, станового пристава.

Настоящая фамилия поэта Анатолия Серебряного — Пучков. Анатолий Никандрович Пучков.

Анатолий Пучков. Говорит ли вам что-нибудь это имя?

Вы не следите за поэзией? Нет, нет — поэзия тут ни при чем. Я ведь спрашиваю не о Серебряном, а о Пучкове. Пучков, Анатолий Пучков? Еще такая закорючка на подписи — вверх, вниз и опять вверх? Не вспоминаете?

Но если вы петербуржец и жили в 1918–1922 годах в северной столице — получали же вы из Домкомбед карточку, прикрепляли ее, стояли с ней в очереди за тощим пайком?

Карточка еще такого мышиного цвета. Наверху лозунги: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и «Кто не трудится — тот не ест». По бокам купоны — на невыдаваемый хлеб, на несуществующий сахар, знаменитый тридцать третий купон на гроб. Посередине печать и подпись. А на обороте стихи. Хорошие стихи, добрые:

Когда капитализм
Склонится, издыхая,
Откроет коммунизм
Для граждан двери рая.
Но то не будет рай
Господ, а рай рабочих —
Трудись и получай
За честный труд, что хочешь.

Дальше гражданам рекомендовалось «немного подождать», покуда рай наступит. Ну а те, что ждать не могли, — тоже не могли считать себя неудовлетворенными — к их услугам был тридцать третий купон.

Кто же был автором этих стихов? Кто был составителем этой продовольственной карточки, так заботливо предусматривавшей все нужды счастливых граждан, вплоть до соснового гроба? Анатолий Пучков. Чья подпись закорючкой вверх, вниз и снова вверх стояла в центре ее под печатью Петрокоммуны — Анатолия Пучкова!

«Заведующий распределительной частью Петрокоммуны Анатолий Пучк...»

И — закорючка.

То, что Петрокоммуной распоряжается Пучков, «тот самый Пучков», открыл, неожиданно для самого себя, нынешний редактор «Чисел» поэт Н. Оцуп.

Однажды во «Всемирной литературе» на общем собрании после долгих дебатов, суть которых сводилась к тому, что «все что-то получают, потому что хлопочут, а мы никогда ничего, так больше нельзя», — это «общее собрание», составленное из цвета петербургского «литературного мира» (ибо «Всемирная литература», основанное Горьким издательство всяческих переводов, была единственным местом, где можно было, «не теряя чести», если не печататься, то заниматься литературным трудом, получая за него гонорар): миловидных дактило, секретарш и библиотекарш, пышной рыжеволосой дамы, носившей громкий титул герцогини Лейхтенбергской, — это общее собрание, после дебатов, единогласно постановило основать «хозяйственный комитет», который чего-нибудь бы доставал.

И так же единогласно председателем этого комитета решили выбрать поэта Оцупа. Почему именно Оцупа? На это были веские причины.

Во-первых, у него был оставшийся от военных времен полушубок и желтый портфель, в котором во «Всемирную литературу» носили рукописи переводов, а оттуда сахар и всякую подозрительную гастрономию нашей маркитанки Розы. Той самой Розы, которая важно сидела в прихожей «Всемирной литературы», разложив свои товары и расположившись так, чтобы получающие гонорар должники не могли уйти не заплатив, а свободный от долгов — не соблазнившись купить чего-нибудь...

Итак, у Оцупа были полушубок военного образца и портфель. От этих полушубка и портфеля, соединенных вместе, действительно, так и разило «завоеваньями революции». Уполномоченный, так декорированный, имел, конечно, шанс, которого не давал ему мандат, нащелканный на нашем жалком бланке, — шанс пролезть через игольное ушко приемных, сквозь очереди и секретарей, добиться аудиенции у какого-нибудь «зава» и что-нибудь у него выпросить. Кроме того, у Оцупа, несмотря на то, что он, как и все остальные, питался картошкой и продуктами Розы, — была, от Бога, «сытая» внешность, какая и полагалась настоящему, способному внушить к себе доверие «предхозкому».

Собрание все это учло.

Бедный поэт вздохнул, положил мандат в портфель, надел свой «комиссарский» полушубок и отправился в Петрокоммуну.

Добившись приема у грозного «заведующего распределительной частью», он с удивлением и блаженством узнал в нем старого знакомого — Анатолия Серебряного.

Далее «было все очень просто, было все очень мило». Пучков прочел «венок сонетов». Оцуп одобрил рифмы. Пучков просиял и, оторвавшись на минуту от приятной беседы, прокричал в телефон распоряжение немедленно приготовить ордера «на все» — шапки, пальто, муку...

Потом этот способ разыскивать в советских учреждениях графоманов и при их помощи устраивать железнодорожный билет или калоши стал общеизвестным, опошлился, так сказать. Но честь его открытия принадлежит Н. Оцупу.

* * *

Кстати — очень характерная вещь: обилие всевозможных неудачников от искусства на высоких постах Советской России.

Каждый, кто имеет отношение к литературе, особенно если он редактировал что-нибудь, секретарствовал, читал рукописи, знает, как огромно количество этих людей. И какой «заряд» самолюбия, честолюбия заложен в каждом из них, какая жажда славы и какая уверенность, что на славу эту кто-кто, а уж он-то имеет право.

Потомки. Я бы взять хотел,
Что мне принадлежит по праву:
Народных гениев удел,
Неувядаемую славу...

Это случайно всплывшие в памяти стихи одного из таких графоманов. Не помню ни фамилии автора, ни того, где и при каких обстоятельствах пришлось с ним встретиться. Но стихи запомнились, запомнилось и лицо. Хитрая, острая мордочка, смесь наглости и робости, хвастливой самоуверенности и готовности хоть чужие сапоги целовать, только бы его приняли, напечатали...

Графоман совсем не то, что обыкновенный пишущий без особого таланта. Тот предан литературе, дышит ею. Не его вина, если у него ничего не выходит.

Для графомана наиболее, по его мнению, достойная цель — добыть «народных гениев удел».

Властвовать, распоряжаться, быть предметом внимания — вот на что направлена вся его часто поистине железная воля. В обыкновенные времена эта воля уходит на писание поэм и хождение с ними по редакциям. Но вот настал Октябрь...

Потомки. Я бы взять хотел,
Что мне принадлежит по праву...

О, как бы еще хотел! И как уверен, что по праву принадлежит. В обыкновенные времена, однако, «взять» не так-то легко, «близко локоть»... Но вот пришла советская власть...

Один мой «перекинувшийся» приятель, встретив меня на улице в 1918 году, соблазнял меня «шагнуть в ногу с революцией», предлагая на выбор места вроде директора государственных театров или Публичной библиотеки. «На первое время, потом вас заметят, оценят...» — Предложение было вполне серьезное. То же лицо повторило его вскоре малоизвестному композитору Артуру Лурье. Тот согласился и не дольше как через месяц занимал пост, равный товарищу министра искусств.

Когда такие предложения директорских мест, мимоходом, на улице, чуть ли не первому встречному, стали реальнейшей реальностью — подумать только, какой простор открылся

перед всеми российскими неудачниками. Право, не будет большим преувеличением, что памятный саботаж «всей России» в 1917 году был прорван, как вода прорывает плотину, именно этими людьми, так долго и злобно ожидавшими «принадлежащих им по праву» власти, силы, известности.

Так долго длилось ожидание. И вот наконец директорские места валяются прямо на улице, вместе с семечками и окурками. Подбирай, кто хочет.

О, еще бы не хотеть! Ведь всю жизнь только и мечтал об этом.

— Так бери.

Пучков был, кажется, впрочем, не из числа самых первых, оценивших и реализовавших открывшиеся «возможности». Может быть, его смущало (вполне ложный, разумеется, стыд) то, что он еще совсем недавно был членом черносотенной «Палаты Михаила Архангела». Как бы там ни было, ни «Лито», ни «Музо», ни государственные театры ему уже не достались. Поэт Анатолий Серебряный превратился в продовольственного комиссара «Северной Коммуны».

Купон на сахар. Купон на гроб. Под печатью с серпом и молотом: «Заведующий распределительной частью Анатолий Пучк...»

И закорючка.

* * *

Когда я слышу о все вырастающем гнете, который теперь испытывают писатели в Советской России, я удивляюсь.

Не тому, разумеется, что гнет существует. Нет — другому. Тому, что мы его не ощущали.

«Мы» — это те, кто прожил в Петербурге до 1922 года. Этот 1922 год был «поворотным».

Весной 1922 года литературная жизнь Петербурга еще текла так, как она сложилась за пять лет революции. Действовали Дома — литераторов и искусств, действовали издательства, настолько еще независимые, что не боялись, например, издавать сейчас же после казни Гумилева его книги, и, например, я, эти книги редактируя, не считал особой смелостью со своей стороны

во вступительных статьях давать соответствующую оценку не только стихов, но и личности расстрелянного «белогвардейца».

Разумеется, книг издавалось мало, разумеется, цензура давала себя знать, — но это воспринималось как стеснение, неудобство такого же «физического» свойства, как отсутствие хлеба, дров. Над душой писателя власть еще не имела прав. Может быть, оттого, что тогда никому еще в голову не приходила мысль о возможности быть изданным Государственным издательством, т. е. прикрепиться. Потому тоже, что Государственному издательству не пришла в голову мысль писателей закрепостить — ибо «слаб человек».

Как бы там ни было, до 1922 г., когда все как-то сразу увяло и «дошло» — и надежда на свободную газету, и наша жалкая независимость, когда одних выслали, другие принялись хлопотать об отъезде сами, — в Петербурге возможна была та своеобразная литературная духовная жизнь, о которой вспоминаешь теперь с волнением и грустью, от которой осталось ощущение — нет, не гнета, — напротив, какой-то «астральной» свободы.

Но осенью 1922 г. явно пришел конец всему этому. Стало ясно — надо убираться, и чем скорей, тем лучше.

Я стал хлопотать о паспорте. Чтобы получить его, требовалось поручительство хотя бы одного коммуниста. И тут оказалось, что ни у меня, ни у моих друзей нет ни одного большевика, знакомого настолько, чтобы можно было к нему с такой просьбой обратиться. Может быть, в этом обстоятельстве и скрыто объяснение того странного чувства «свободы», которое сохранилось от пяти лет жизни в советском Петербурге.

Подпись была все-таки нужна. Наудачу я отправился к Пучкову. Я не видал его давно, очень давно — с тех самых пор, когда он был еще Анатолием Серебряным. И когда меня впустили в кабинет, я не узнал его. От Анатолия Серебряного не осталось и тени. Из-за пышного «министерского» стола мне навстречу поднялся... Наполеон.

Ну, не Наполеон — Муссолини, Кемаль-Паша, Гитлер — словом, прирожденный диктатор — сталь, гроза. Впервые я воочию убедился, как власть — даже над селедками и калошами — может изменить человека. Его движения были сама отрывистость

и четкость, голос — металл, глаза (подумать только, «те же самые» водянистые, заискивающие глазки) — пронизывали. Даже кадык куда-то исчез.

Принял меня диктатор, впрочем, очень любезно. Вспомнил я опять Оцупа и попросил его прочесть мне стихи. Диктатор грозно нахмурился и прочел мне поэму. Поэма была в смешанном футуристически-продовольственном вкусе. Чтобы не подражать Оцупу, я похвалил не рифмы, а ритм. Диктатор просиял, и на его «железном» лице на мгновение промелькнуло что-то прежнее, «серебряное».

Он сгоряча пообещал мне поручительство — охотно, какие могут быть разговоры, — но когда я принес ему на другой день бланк для подписи — он подписать отказался. Пробормотал что-то невнятное о партийной дисциплине и перевел разговор.

Поручился за меня какой-то знакомый моего знакомого, никогда не видавший меня в глаза. Я послал ему в ответ (это был коммунист из мелких, какой-то красный командир) свой портсигар из слоновой кости — довольно ценную вещь. Но портсигар на другой день вернулся ко мне с благодарностью и ссылкой... на ту же партийную дисциплину.

* * *

Пучков кончил странно. Недавно мне рассказали, что он не только лишен продовольственного трона, но исключен из партии и отдан под суд. Он, оказывается, влюбился, возлюбленная его умерла. И вот (должно быть, под влиянием потрясения старый яд декадентства бросился в его слабую голову) — он бальзамирует ее тело, строит под Петергофом мавзолей в египетском вкусе и ежедневно ездит туда служить какие-то мессы. Об этом узнали где следует и, естественно, возмутились. Расследование к тому же выяснило, что египетский мавзолей выстроен на «кровные пролетарские деньги» — деньги от калош и селедок.

С балетным меценатом в Чека

В этот день я с особенной приятностью вышел на улицу. Солнце светило, подсыхающие лужи «пахли весной», с моря летел какой-то особенный, шалый теплый ветер. Трамвай довез меня до Михайловской площади. С Михайловской я пошел пешком.

Когда-то, в давно прошедшие времена (в Советской России бывшее два года назад кажется незапамятным), когда-то в замороженном и опустошенном тогдашнем Петербурге — никто не рассуждал: «Я пойду по Невскому, заверну на Фонтанку, прогуляюсь по Летнему саду, потом домой». Не было ни Фонтанки, ни Невского, ни Летнего сада. Было одно враждебное «нечто», где

В вечном холоде советской ночи
На мосту патруль стоит.

В этом безвоздушном пространстве, где жить (и даже резвиться) может только существо с особыми жабрами — коммунист, в этом «вечном холоде» рассеяно несколько точек, где можно укрыться от холода, и от патрулей, и от коммунизма.

Несколько точек во враждебном хаосе, так и представлялся Петербург. Вышел из дому и пробираешься. Ближе всего Дом искусств на Мойке. Следующий пункт — Миллионная, Дом ученых, потом Моховая — «Всемирная литература», Бассейная — Дом литераторов. Краем света была квартира Гумилева на Преображенской. На Преображенской Петербург обрывался...

Но это было когда-то — в 1919 году, — теперь же шел март 1921 года. Казалось бы, какая разница? Только что было усмирено Кронштадтское восстание, только что снято или полуснято осадное положение — тюрьмы полны арестованными и приговоренными. Патрулей на мосту и не на мосту было не меньше, чем в 1918 году. Причем патрули эти в своей профессии сильно усовершенствовались. Отделаться от них, предъявив, как во время оно, лошадиный аттестат или аптекарский анализ, — было невозможно. Но какая же тогда была разница? Огромная.

Прежде всего, у «бывших жителей бывшего Петербурга» — как кто-то назвал граждан «Северной Коммуны» — за два года плавания в «холоде советской ночи» развились свои собственные

«жаброчки». «Холод» остался, но дышать им стало как-то легче. Количество спасительных точек на улицах Петербурга, несмотря на все стеснения и запреты, увеличивалось с каждым днем. Теперь между Домом искусств и Домом ученых уже не было прежнего абстрактного черного провала. Здесь тайная папиросная лавка, там — книжная. Здесь парикмахерская, там кафе. Все конспиративное, разумеется. Но конспирация и придавала вкус чахлым эклерам и дрянным папиросам — «настоящей старой толстой «Сафо» или «довоенному «Зефиру», как рекомендовали свой товар продавцы.

«Всемирная литература» платила построчный гонорар, и гонорар довольно крупный. В период расцвета этого удивительнейшего из издательств, оплачивавшего еженедельно горы переписанных на казенной машинке переводов — едва ли тысячный процент которых попал или попадет когда-нибудь в печать, — такой «квалифицированный» переводчик мог жить по-советски безбедно. Он мог бриться у парикмахера Жака (третий двор, пятый этаж), мог купить самую толстую и самую старую «Сафо» и — предел благополучия для небольшевика — обедать в конспиративном кафе.

Сначала я обедал на Невском у какого-то старика еврея. Открыл этого еврея Гумилев, и, когда он впервые провел меня в эту столовую, богатство ее меня поразило. Гумилев, снисходительно улыбаясь, рекомендовал мне гуся с яблоками и хвастал интимной дружбой с хозяином, который трепал его по плечу, называя «господин Гумилев». Но человек ко всему привыкает и ничем не удовлетворяется. Месяца через два я в свою очередь свел Гумилева недалеко на Николаевскую, к некой мадам Полин, где выбор блюд был гораздо разнообразней и подавали не в патриархальной спальне с огромными пуховиками и портретом кантора Сироты, а в кокетливой столовой с искусственными пальмочками, на кузнецовском фаянсе и накладном серебре.

Кроме изящества обстановки, мадам Полин имела перед гумилевским старцем еще одно неоспоримое преимущество. Она не боялась милиции. Тот открывал двери только на какой-то сложный условный стук, встречая даже хорошо известных ему посетителей, делал на всякий случай изумленное

и непонимающее лицо, вообще явно боялся властей, как огня. Моя же Полина не боялась нисколько. Основанием к тому была вовсе не ее природная храбрость, а то, что она выплачивала ежемесячную взятку районному комиссару. Есть борщ с пирожками было приятно, но есть тот же борщ в сознании полной безнаказанности этого уголовного поступка — еще приятнее. А тут еще пальмочки вместо перин, да и скатерть чистая. Короче — симпатичный библейский старец потерял, а обходительная Полина приобрела двух новых клиентов.

...Пахло весной. Солнце светило. Теплый ветер сдувал с моего свежебритого подбородка остатки «Лебяжьего пуха» и крутил дымок «старой толстой «Сафо». Пачки новеньких, украшенных серпом и молотом кредиток, только что обмененных на «Мазепу» Байрона или «Кристабель» Кольриджа, шелестели в кармане.

Словом, ничто не мешало, напротив, все располагало хорошо позавтракать. Я завернул на Николаевскую и поднялся на второй этаж.

Сколько раз рукой помертвелой
Я сжимала звонок-кольцо.

Сколько раз безо всякой опаски я всходил по этой лестнице и дергал за нос какого-то бронзового сфинкса у дверей Полины. Дергал уверенно и самонадеянно, зная, что дверь сейчас же откроется, приятно пахнет теплом и кухней и плутоватая, заплывшая жиром физиономия Полины улыбнется сквозь стеклянное окошечко в стене.

И на этот раз я взбежал по лестнице так же быстро, как и всегда, и так же занес руку, чтобы дернуть за нос бронзового сфинкса.

Занес, но не дернул. Рука моя, неожиданно для меня самого, точно одеревенела в воздухе. Приятное настроение, с которым я шел обедать, вдруг улетучилось, легкость, с которой я взбежал по лестнице, — пропала. Чувство гнета, тяжести, беспокойства распространялось от этой аккуратно полированной двери. Еще секунда, и я, круто повернувшись, сбежал бы вниз, махнув рукой на завтрак. Я не позвонил и не постучал. Под ногами был хотя

и облезлый, но все же ковер, так что шаги мои вряд ли были слышны в квартире. Явления такого рода, должно быть, имеют научное название и объяснение. Мозговой телеграф? Телепатия? Я не знаю. Не сродство душ, во всяком случае.

Я почувствовал нечто за дверьми гостеприимной Полины. Это «нечто» в свою очередь почувствовало меня.

Дверь распахнулась. Солдат в чекистской форме оглядел меня с ног до головы почти дружелюбно и посторонился.

— Заходите, заходите, гражданин, — сказал он мягко.

Есть приглашения, от которых не отказываются.

* * *

Чекист, распоряжавшийся обыском, посмотрел на меня так, точно все три года своей чекистской практики он только и делал, что стремился меня арестовать. И вот, наконец, я попался.

— Я вас знаю, я вас хорошо знаю, — процедил он многозначительно. — Обыскать.

И, передавая своим помощникам, бросил кратко: «Кокаин и бриллианты ко мне». На мне не было ни кокаина, ни бриллиантов, ни даже запретных царских или думских денег. Скоро меня оставили в покое.

Час завтрака давно прошел. Никто не приходил больше. Но нас не уводили и не отпускали. Чекисты, по-видимому, ждали, что еще кто-нибудь попадется в засаду. Ждали терпеливо, методично. Старший с папироской в зубах, держа руку на расстегнутой кобуре кольта, погрузился в найденный в спальне Полины роман «Тайны венценосцев». Подручные вытащили из кармана засаленную колоду и занялись игрой в дурачки. Картина была мирная. Арестованные шепотом переговаривались. Один из красноармейцев выравнивал ножичком свой стоптанный каблук. Время ползло, как черепаха. Половина четвертого, четыре, пять. Наконец, старший чекист захлопнул увлекших его «Венценосцев» и велел собираться.

Мы шли по Невскому, выстроенные рядами по-солдатски. Красноармейцы шагали по бокам, хмуро и безразлично. Чекисты, особенно старший, вились вокруг нашей колонны то здесь,

то там, играя наганами и покрикивая. Это была, конечно, манера, выработанная долгой «революционной практикой», — манера, от которой они, в силу привычки, вряд ли бы отказались, даже конвоируя детский сад. «Бандиты» усердно шагали, опасливо косясь на взлетающие и опускающиеся дула наганов. Заплаканная Полина шла с известной цыганской певицей, бывший меценат и балетоман — с бабой, принесшей мясо на продажу. Со мной в паре шагал толстый румяный спекулянт, завсегдатай столовой. Его бобровая шуба, наивно замаскированная пролетарской кепкой, выглядела трогательно и беззащитно. Обычно разговорчивый до надоедливости, он молчал. Я не вызывал его на разговор: я знал секрет его внезапной молчаливости. Он боялся проглотить крупный бриллиант, спрятанный во время обыска за щеку.

* * *

И вид, и обычаи Гороховой подробно и не раз описывались. Меня поразила мелкость пошиба этого страшного учреждения. Ведь подлинно страшное — чего страшней. А впечатление, как будто от дореволюционного участка — грязно, кисло, уныло, омерзительно — и только.

В общей камере, куда нас провели после нового обыска и долгого ожидания в канцелярии (обыкновеннейшей канцелярии с кокетливыми дактило и любезничающими с ними чекистами в галифе), — шестьдесят или семьдесят пар глаз поднялись на нас. Поднялись и равнодушно опустились. В самом деле, что нового могли принести мы, пришедшие с воли, кроме знакомого им беспокойного недоумения, потом, с течением времени, сменяющегося недоумением равнодушным.

Я «приткнулся» на подоконник. Как и у Полины во время обыска, другой свободной «мебели» не оказалось. Приткнулся и стал наблюдать. Чего же мне еще оставалось делать?

Желтая тусклая лампочка на потолке. Грязные стены, грязный пол, грязные решетчатые окна. Очень жарко, очень душно. И в махорочном дыму — человеческие головы, очень много голов. И все на один лад. Может быть, от света, может быть, от дыма, может быть, от объединяющего всех настроения.

Шепот, храп, шуршание тараканов. Уныние, грязь, жара. И мог же я не пойти сегодня в эту несчастную столовую и вместо того, чтобы, скрючившись на подоконнике... Ведь мог?

Кто-то берет меня за руку. Это шагавший в паре с бабой-спекулянткой бывший меценат и балетоман.

— Не спится? — спрашивает он. — Представьте, и мне тоже. — И, довольный этой остротой, показывает свои золотые зубы. — Ну, так давайте проводить время, как культурные люди, попавшие к краснокожим. Давайте говорить о литературе. Например, скажите, Ахматова хорошая поэтесса?

— Плохая, — отвечаю я. — Никуда не годная. Она пишет, что не променяла бы большевистскую Россию ни на что в мире.

Меценат улыбается.

— Ну так она, видите, еще здесь не сидела. Посидит — переменит мнение. Но рифмы у нее, по-моему, богатые.

На Шпалерной, куда нас перевели утром, — старшина из заключенных, розовый и пухлый господин с артистическим галстуком, утешил меня:

— Удачно попали, товарищ. 1 мая — амнистия. Ну еще то и се, с месяц проволочки. К июню можете считать себя свободным. Прямо на дачу.

Он не шутил. В самом деле, попасть за месяц до амнистии было своего рода удачей. Многие арестованные за «преступления» не больше моего уже несколько месяцев дожидались той же самой амнистии.

После общей камеры Чека Шпалерная казалась комфортабельным отелем. Никаких тараканов, чистота, свет, прогулки. Старшина, узнав о моей профессии, разъяснил мне ее выгоду для тюремного житья. Раз в неделю на Шпалерной устраивались «концерты» из «наличных артистических сил», находившихся в тюрьме. Их было всегда достаточно. Для подготовки этих «концертов» устраивались репетиции, спевки и т. д. Короче — дверь моей камеры была открыта весь день. Я мог гулять по коридору, заходить к другим, сидеть в библиотеке. Вместе со мной этой свободой пользовались — уже незаконно — и два моих товарища по камере. Меценат-балетоман, донимавший меня разговорами то о вечности, то об Уайльде, и старожил, к которому нас обоих вселили, — рабочий-путиловец, пожилой человек.

Он сидел уже месяцев шесть. Дожидался той же амнистии, к которой так «удачно» подоспел я. Все шесть месяцев он сидел без допроса, на одном пайке, т. е. «четверке» хлеба и селедочном супе. Но ничуть не озлобился, напротив. Был всегда услужлив, ровен, деликатен, почти весел. Он прибирал за нас камеру. Мы его подкармливали получавшимися с воли передачами. На вопрос, за что он сидит, он, кротко улыбаясь, отвечал — «За голосование». И пояснял, что куда-то он был выбран, где-то ему пришлось заседать. Через силу пришлось: «Не люблю я этого дела».

— Видишь ли, милый, приехал к нам докладчик, партейный товарищ, значит. Хороший такой товарищ, душевный. Сначала все доложил, как следует, аккуратно, а потом говорит: «Это, ребята, партейная точка зрения, и желательно нам, чтобы вы ее приняли. Но ежели с партейной точкой вы не согласны, то голосуйте против, и будет, как вы постановите». Потому что, говорит, вы хозяева, а мы ваши слуги. Душевный такой. Голосуйте, говорит, ребята, по совести, не опасаясь, кто как думает.

— И вы голосовали против?

— Против и голосовали. Как же не против? Предложение, которое по его докладу шло, нам неподходящее было. Непонимающий человек составлял, пустяки и составил.

— Ну и посадили вас за это?

— Как же. В ту же ночь и забрали. Меня и еще шестерых. — И он мягко улыбается.

— Экое смирение, — полувозмущается, полурастрагивается бывший балетоман. — La bonté slave[37]. Вот поэтому они и сидят так крепко, что у нас хоть пруд пруди такими Каратаевыми.

— Китаев наша фамилия, — поправляет его путиловец, выслушав эту тираду.

* * *

До первого мая мне все-таки ждать не пришлось. Делегация от Академии наук (вот какая громоздкая машина понадобилась!)

---

[37] Славянская доброта (*фр.*).

ездила к чекисту Озолину хлопотать за меня, цыганскую певицу и балетного мецената и добилась освобождения «случайно задержанных, незаменимых работников искусства». К «незаменимым» как-то примазался и спекулянт с бриллиантом. Он вышел из тюремных ворот вместе с нами, благополучно унося за щекой свое сокровище. Остальным пришлось ждать амнистии...

Небритый, облезлый, с узлом под мышкой я шел домой. Солнце сияло, дул резвый ладожский ветер, и большие льдины, треща и сверкая, проползали по темно-зеленой Неве.

Прекрасный принц
(Из петербургских встреч)

Родители ее были люди с фантазией: дали ей простенькое имя — Паллада.

Когда Паллада шла по улице — прохожие оборачивались.

Как было не обернуться? Петербург, зима, вечер. Падает снег, зажигаются фонари. На обыкновенных улицах обыкновенная толпа. И вдруг...

Вдруг в этой серой толпе странное, пестрое, точно свалившееся откуда-то существо. Откуда? Из Мексики? С Венецианского карнавала? С Марса, может быть?

На плечах накидка — ярко-малиновая или ядовито-зеленая. Из-под нее торчат какие-то шелка, кружева, цветы. Переливаются всеми огнями бусы. На ногах позвякивают браслеты. И все это, как облаком, окутано резким, приторным запахом «Астриса».

Прохожие оборачиваются — как не обернуться? Существо в кружевах и браслетах растерянно топчется на тротуаре, достает зеркало из сумочки, пудрится, красит рот, роняет пуховку, проливает духи. У стены — нищий. Паллада бросается к нему.

— Ах, бедняжка. Вы слепой? На оба глаза? И четверо детей? Ах, Боже! Вот, возьмите!..

Она роется в сумочке — в шапку слепого летят медяки, потом скомканная трехрублевка, потом кружок от театральной вешалки, унесенный по рассеянности.

Облагодетельствовав нищего, Паллада рассеянно озирается. Какая это улица? Который час? Уже пять. Ах, — опоздала! Извозчик! Извозчика как раз нет. Дороги она не знает, в трамвай сесть боится. Сегодня у нее прием, скоро начнут собираться гости, — а даже птифуры еще не куплены. Вот, кстати, кондитерская, кажется, приличная. К Балле все равно не поспеть.

Продавщица отвешивает товар, косясь на покупательницу. Фунт сухих, два фруктовых и киевское варенье. Всего — три шестьдесят...

Снова сумочка приходит в движение. Сыплется пудра, проливаются духи. Три шестьдесят. Ах, Боже, — не хватает

двугривенного. За извозчика заплатит швейцар — но нельзя же должать в кондитерской. И куда делись деньги — ведь была сдача с десяти рублей. Ну, да — нищий. Он еще не ушел, может быть...

— Подождите, я сейчас, — говорит Паллада продавщице и выбегает на улицу. Где же этот нищий? Ушел? Нет, вот он сидит на прежнем месте. Шурша шелками, она наклоняется к слепому:

— Послушайте... как вас... Нищий! Я только что дала вам много денег. Но я купила печенья, и мне не хватает. Одолжите мне двугривенный до завтра.

* * *

Денег у Паллады мало. Талантов никаких. Воображение воспаленное. Еще в институте прочтенный тайком «Портрет Дориана Грея» решил ее судьбу. Она должна стать лордом Генри в юбке — порочной, блестящей, очаровательной, презирающей «пошлые условности».

К этой цели она и стремилась. Для этого носила ядовитые манто, курила папиросы с опиумом и часто в среду утром — ее приемный день — бежала с последней брошкой в соседний ломбард, чтобы было на что купить портвейна и шерри-бренди для эстетического общества, которое у нее собиралось.

От Загородного, у самого Царскосельского вокзала, влево — переулок. Переулок мрачный, грязный. В конце его кривой газовый фонарь освещает вывеску: «Семейные бани». Эстет, впервые удостоенный чести быть приглашенным на пятичасовой чай к Палладе, разыскав дом, увидев фонарь, лоток с мылом и губками, эту надпись «Бани», — сомневается: тут ли? Сомнения напрасны — именно тут. Самое изысканное самое эстетическое, самое передовое общество (так, по крайней мере, уверяет хозяйка) собирается именно здесь.

У лорда Генри, конечно, был особняк с цветником из орхидей и шпалеры напудренных лакеев, но это неважно. Смело толкайте стеклянную дверь с матовой надписью «Семейные 40 копеек» и входите. Из подъезда есть дверка во двор, во дворе другой

подъезд, довольно чистый, хотя не только без орхидей, но и без швейцара. Подымайтесь на четвертый этаж, звоните.

В половине шестого — в шесть «салон» в разгаре. Хозяйка в ядовитых шелках улыбается с такого же ядовитого дивана. И вся вообще обстановка — ядовитая. Горы искусственных цветов (живые, увы, не по карману), десятки разноцветных подушек, чучела каких-то зверей, перья каких-то птиц. От запаха духов, папирос, восточного порошка, горящего на особой жаровне, — трудно дышать. И еще эта пестрота стен, ковров, драпировок. И эта пестрота лиц...

Хозяйка «загадочно» улыбается. Она еще молода. Если всмотреться — видишь, что она была бы прямо хорошенькой, если бы одной из тех губок, что продаются у входа, стереть с ее лица эти белила, румяна, мушки, жирные полосы синего карандаша. И еще — если бы она перестала ломаться. Ну, и оделась бы по-человечески.

Конечно, все эти «если бы» — неосуществимы. Отнять у Паллады ее краски, манеры, пестрые тряпки — бесконечное ломанье, что же тогда останется?

Паллада загадочно улыбается. Гости толкутся по двум гостиным — голубой и оранжевой. Гостиных две, всего комнат в квартире три. Пьют чай, стряхивают пепел с египетских папирос, роняют и вбрасывают монокли, чинно улыбаются, изящно кланяются.

Кто они, эти гости?

Ну, как сказать... Дамы по большей части артистки — каких театров, об этом не принято спрашивать. Мужчины? Вот барон Врангель, историк искусства, вот граф Зубов, вот знаменитый пианист. Ну и правоведы, лицеисты разные. Есть и плохо выбритые физиономии, грязные короткие пальцы, исподтишка запихивающие в карман взятую из вазы грушу. Словом — «смешанное общество».

В том, что на одном из таких чаев среди этого «смешанного общества» меня познакомили с М., подпоручиком одного из лучших московских полков, — не было ничего удивительного. Удивило меня другое. Месяца три тому назад я уже видел его в московском «Алтаре», ночном кабаре, и хорошо запомнил его

лицо. Такой редкой красоты нельзя было не запомнить. Но тогда на нем были погоны корнета и назывался он князем У.

* * *

— Ах, я так влюблена, так влюблена, — говорит Паллада, которую я спустя полгода опять зашел навестить.

— Что же, в добрый час.

— Ах, нет — в недобрый час. Я знаю. Я все знаю. Он негодяй. Убьет любого за рубль. Может быть, и убивал уже. Он меняет фамилии — сегодня князь, гвардеец, завтра сын банкира, послезавтра... Страшная жизнь — мошенничества, грязь, шантажи. Я со стороны слышала такое о нем... Да и сам он не скрывает, говорит: люби меня такого, как я есть.

— И вы любите?

— Безумно. Жить без него не могу. Он мой Дориан Грей, прекрасный принц.

...Еще полгода — газетная заметка: «Покушалась на самоубийство артистка Паллада Б. Причина романтическая». Больничная палата. Бледная, неподкрашенная, на пять лет постаревшая Паллада. Жалкое растерянное лицо, жалкий растерянный лепет.

— Зачем я не умерла? Я так его любила, так... Все прощала ему, все для него забыла. Он знал, что я не шучу, что отравлюсь. Он глядел, как каменный: как знаешь, твое дело. И ушел. Из окна ему кричала — даже не обернулся.

...Еще год-полтора. Уже революция. Встреча с Палладой на улице.

— Да, на Украину пробираюсь, оттуда, надеюсь, в Крым, там у меня родственники. Что же мне делать здесь, как жить? Квартиру разграбили. Уезжала в Финляндию полечиться после этой... моей глупости. Вернулась: все пусто, только стул один да ножка от рояля.

— Как же вы поедете одна — теперь это дело сложное.

— Еще бы. Разве бы я могла одна. Нет, не одна еду. Со мной «прекрасный принц». Он меня довезет и через границу переправит. Если бы не он...

— Как, этот?.. Но, Паллада, понимаете вы, кому вы доверяете жизнь?

— Кому? Ангелу. Чудному, изумительному человеку. Удивлены? Думаете, с ума сошла? Нет, не сошла — он ангел, ангел. Без него я погибла бы уже. Вернулась из Финляндии, больная, без денег — совсем одна. Он перевез меня к себе, полгода, как за ребенком, за мной ухаживал...

Она раскрывает сумочку, просыпает пудру, проливает духи. Ее подведенные глаза смотрят испуганно.

— Да, да, ангел. И я так за него боюсь — он такой безрассудный. Хочет в Сибирь ехать, устраивать побег государя. Долго ли погибнуть! И подумать, что его я считала негодяем.

Через месяц — открытка от Паллады из Харькова. Здорова, свободна. Если увидите «принца», скажите: на всю жизнь я его неоплатная должница.

* * *

«Максим Горький нужен, чтобы мою жизнь описать».

Весна, вечер, 1922 год. Красный отблеск заходящего солнца на небе, на решетке Летнего сада, на скамейке, где я сижу. Из глубины сада музыка, шум, голоса гуляющих. У входа «инвалид гражданской войны», пропуская «граждан» через вертушку-турникет, взимает плату за вход.

Граждане чинно платят, чинно идут по подметенным дорожкам, поглядывая на статуи с отбитыми носами и новенькие таблички: «На траве не лежать, насаждений не портить». Кому же в голову придет лежать на траве? Слава Богу, за эти годы довольно належались, довольно нагляделись всякого беспорядка, да и не такая здесь публика. Так что предупреждение таблички лишнее, но то, что она прибита, приятно радует глаз. Дорожки подметены, музыка играет, инвалид щелкает вертушкой, «На траве не лежать» — тишина, спокойствие, порядок... Приятно. После пяти лет хаоса — почти блаженно...

«Максим Горький нужен, чтобы мою жизнь описать».

Это говорит «прекрасный принц». Он сидит рядом со мной на скамейке. Проходил мимо, узнал, звякнул шпорами, подсел.

— У Паллады встречались... Должно быть, забыли? Помните? Ну — очень рад. Не грех и забыть — много воды утекло.

И — щелкая портсигаром:

— Папироску не угодно ли? Хороший табак — не то что на улице. Один товарищ из ГПУ подарил. Буржуйские папиросы — класс.

Он затягивается папиросой и кашляет мелким сухим кашлем.

— Я сам служил в ГПУ. Что? Морщитесь? Не по вкусу? Жалеете, что заговорили? Что ж — на всех не потрафишь. Служил, откровенно говорю. На польской границе. Эх, — широкая была жизнь. Мне все равно где — лишь бы широкая жизнь. Неудача — пришлось смыться — едва не расстреляли. Под судом теперь.

Я смотрю на него. Так вот где — в ГПУ? Что ж — остался, чем был. И с виду такой же.

Гак же ловко пригнана шинель. Так же, чуть на боку, фуражка «кавалерийского образца». И глаза те же — детские и наглые. Но щеки впалые, под глазами тени, румянец какой-то странный.

Точно отвечая на мою мысль, он поясняет:

— Это даже кстати, что под судом. Отдохну в Питере, подлечусь. На границе у нас жизнь, ну, — прямо сумасшедшая. Какое там лечение. У меня, между прочим, туберкулез. В гражданской войне нажил вместе с орденом Красного Знамени.

— За что же вы под судом?

— Так. Пустое дело. Эх, такие ли были у меня дела, а цел выходил. Да, жизнь... Максим Горький тут нужен, чтобы описать, не меньше... Впрочем, если бы время, — сам описал бы. Что? Думаете, таланту не хватит? Хватит, и не на такое хватало. Да и какой талант для этого. Пиши все, как было, и весь секрет. Знаете, что главное? Главное — не стесняться. Дорогие читатели, я, мол, такой-то, сын профессора, офицер царской армии, адъютант батьки Булака, кавалер Красного Знамени, комендант ГПУ и прочая, и прочая, заранее рекомендуюсь: вор, подлец, прохвост. Это главное. Тогда и у меня руки развязаны, и читателю ясно. Начистоту. Тут и без таланту можно написать так, что Толстого за пояс заткнешь.

Он опять затягивается папиросой и снова мелко, сухо закашливается.

— Как же вы все-таки в ГПУ оказались?

— Как? А просто. В восемнадцатом году наш батька под Стругами Белыми стоял. С красным отрядом. Переход к белым — это у нас было решено. Ждали случая, ну, а пока ничего, жили. Мужичье у нас по струнке ходило, чуть что — к стенке. Если из центра какие запросы — ответ один: усмиряем контрреволюционные вспышки. Скоро мужичье жаловаться перестало, видят, только хуже. Ничего жили. Вот в августе узнаю: через неделю перекидываемся. Ладно, думаю, попьем польской водки. Отпросился в Питер на день, все-таки родной город, и девчонка у меня там была одна... Хорошо — еду. Трясет меня поезд, лежу на диване, и приходит мне в голову идея. Очень простая. Что в Польше нас ждет, еще неизвестно. Может, набьют нам всем морду и посадят в лагерь... А вот если по-другому сделать, то, как в газетах пишут, «ситуация ясная». Если я пойду куда надо да батьку выдам, что мне за это будет? Не меньше, как полк дадут, а то и дивизию.

— И выдали?

— Сапогом сыграл, опоздал. Марафет подвел, то есть кокаин... Приехал в Питер. Мне бы прямо в ЧК. Желаю видеть председателя. Так, мол, и так, по чувству революционного долга сообщаю о замышляющейся измене, и дело в шляпе. Нет, черт попутал, — поехал в Кавказский погреб. Ну вино, марафет, девчонка одна. Деньги у меня были — пошло дело. Через двое суток продираю глаза, беру «Правду». Жирными буквами: «Измена Булака». Этакое невезение! Теперь не то что отличиться — шкуру свою надо спасать — ведь батька изменник, а я его адъютант. А мог бы дивизию заработать. Не повезло. Ничего. Вымазал рожу, порвал гимнастерку, явился в ЧК. «Бежал с опасностью для жизни». Поверили.

Он опять курит, опять мелко закашливается.

— Ну, мне пора. И так надоел, должно быть. Руки не протягиваю, не беспокойтесь. Честь имею.

— Постойте, — говорю я. — У меня есть к вам поручение. От Паллады. Она мне писала из Харькова, просила передать, что на всю жизнь вам благодарна. Поручение давнее, но мне кажется, передать его как раз кстати после... вашего рассказа.

Он вдруг краснеет.

— Это вы оставьте. Кстати? То есть, мол, подлец, а способен на жалость? Значит, не такой уж подлец! Ровно ничего не значит, уверяю вас: Вот меня из ГПУ выставили за то же: пропустил какую-то старуху, вроде Паллады, через границу. Привели ко мне, плачет, сапоги целует, двое ребят тут же... И влип через это в глупое дело — сам едва под расстрел не угодил. Ну и что же? Одну пожалел, скольких не пожалел, это вы считали? Так что... — он щелкнул шпорами. — Счастливо оставаться.

Фарфор

Когда я слышу слова «старинный фарфор», я испытываю нежность, смешанную с отвращением.

Сознаюсь, я до сих пор неравнодушен к этим затейливым вещицам, олицетворяющим блаженную праздность, изящное ничегонеделанье, раззолоченный и разукрашенный сон ума и души. И в то же время, когда я любуюсь ими, меня немного мутит. В художественном фарфоре — дан какой-то предел и изощренности и ограниченности человека. Как море, на которое вылито масло, успокаиваются бури искусства, затихают раздиравшие его страсти. Все восхитительно мельчает, изысканно глупеет, засыпает волшебно-кукольным сном. Мука становится сентиментальной грустью, счастье превращается в удовольствие, прекрасное делается красивым, безусловное — условным, величественное — грациозным. И утончившись до предела, искусство готово умереть от упоительной анемии, очаровательного вырождения, прелестного размягчения мозга. Это и есть фарфор.

* * *

Вместе с семечками, заломленными на затылок солдатскими фуражками, анархистами на даче Дурново, Лениным во дворце Кшесинской вдруг появилось в Петербурге, летом 1917 года, огромное количество старинного фарфора. Его продавали всюду, его покупали все. В мелочных лавках рядом с мылом Жукова и ящиками от несуществующего сахара продавались гарднеровские чашки и мейсенские статуэтки. Люди, всю жизнь не шедшие Дальше сервиза из магазина бракованной посуды, вдруг оказались отчаянными эстетами и знатоками. Они не хотели веджвуда, им требовалась ост-индийская компания. От копенгагенских кошек и ласточек, недавно таких недоступножеланных, они презрительно отворачивались. Весь марколиниевский сакс, весь наполеоновский севр, все чашки и вазы, пастушки и маркизы, поселянки и пастушки, стоявшие десятилетиями в витринах барских квартир и особняков, высыпали на улицу и заполнили Петербург. Люди еще сидели в своих обреченных на гибель домах, еще таились, надеялись, выжидали, сторонились

событий, вещи уже навязчиво предлагали себя, смешиваясь и братаясь с революционным плебсом. Вещи оказались демократичней людей. И особенно назойливым, вездесущим, общедоступным был фарфор.

С фарфора и началась история, которую я хочу рассказать. Впрочем, фарфором она, отчасти, и кончилась.

* * *

Было недоброй памяти лето 1917 года. Невский был покрыт семечками, которые с поразительной быстротой грызли и сплевывали переполнившие столицу дезертиры. Остряки сравнивали эту золотисто-серую, шелестевшую, все прибывающую шелуху с пеплом, засыпавшим Помпею. По ночам запоздалые обыватели принимали яркую Венеру на бледном небе за фонарь летящего на Петербург цеппелина и, засмотревшись, не замечали, как их тут же грабили и раздевали догола шнырявшие повсюду налетчики. Троцкий и Борис Савинков в эти дни нередко сидели за одним и тем же «артистическим» столом в «Привале комедиантов». Троцкий хмурился и жевал бородку — это выходило у него удивительно неаппетитно. Савинков охотно читал нараспев только что сочиненные стихи, где говорилось, что все идет к черту и Петербургу «быть пусту». Не помню точно, какой пост он тогда занимал — военного министра Временного правительства или петербургского генерал-губернатора.

В эти фантастические времена я и познакомился с Вихровым.

Познакомился, впрочем, не то слово. Никто нас в обычном смысле не знакомил. Самый факт первой нашей встречи как-то ускользает у меня из памяти. Когда я впервые его увидел? Не помню. Где я с ним в первый раз заговорил? Не знаю. Помню только лето 1917 года, Россию, расплывшуюся революционным киселем, неопределенность, угар, тревогу. Если сузить поле зрения, то все это — и Россию, и тревогу, и семенную шелуху — закрывают завитушки, улыбки, крылышки и цветочки бесчисленных экземпляров старинного фарфора. Потом среди кукольных лиц и куртуазноизогнутых фигурок возникает высокая фигура Вихрова. У него карие грустные глаза, бледное правильное лицо. Он молод — ему лет двадцать пять. Одет небрежно.

Роста он довольно высокого и наперекор своей фамилии гладко причесывает на косой пробор рыжеватые короткие волосы...

* * *

Помню поразившую меня сумасшедше-детскую откровенность Вихрова. Он, совершенно не стесняясь, всем и каждому говорил, что монархия будет восстановлена, «разбойники» (так он называл Временное правительство) скоро и жестоко наказаны, что недалек тот час, когда Керенского в клетке повезут в Москву и отрубят ему там на Красной площади голову, как Пугачеву. Удивительней всего было то, что разговоры эти он вел в многочисленных комиссионных магазинах, где обездоленные русские баре, сидя за прилавками, старательно и неумело торговали своим последним добром — картинами, мебелью и, разумеется, фарфором.

Я часто заглядывал в эти магазины: в одном торговали знакомые, в другом можно было пить чай с пирожным, в третьем за бесценок продавались редкие французские и английские книги. Там мне и примелькалось лицо Вихрова и запомнился его громкий хрипловатый голос.

Среди превратившихся в антикваров статс-дам и фрейлин и переодетых в кургузые пиджаки, но не потерявших бравой выправки свитских генералов Вихров был, по-видимому, своим человеком. Он уносил и приносил какие-то вещи, с видом знатока стучал по ободку люстры, озабоченно переворачивал чашки вверх дном, рассматривал в лупу надписи на миниатюрах. Он был своим человеком. Великосветские старушки если и шикали иногда на него, то с явно благосклонным видом. Генералы в приказчичьих пиджаках дружески ему подмигивали. Фарфоровые пастушки и амуры молчали, но, конечно, сочувственным молчанием. Многие из них видели еще Французскую революцию й, наверное, были согласны с Вихровым, что монархию надо восстановить и Керенскому отрубить голову.

Как-то где-то мы с Вихровым столкнулись и стали раскланиваться при встрече. Его взглядов насчет Керенского я не разделял, но что-то в нем самом внушало мне симпатию. Понемногу мы сблизились. Впрочем, разговоры наши, случайные и короткие, ограничивались книгами и стариной. Он оказался большим

знатоком и — что встречается реже — человеком с настоящим вкусом. Вскользь он упомянул о собственных больших коллекциях. Так же вскользь я услышал от него о принадлежащих его семье приисках в Сибири. О политике я с ним обменялся несколькими словами только однажды. На его очередную тираду о «проклятых изменниках» я ему заметил, что ненависть его, кажется, довольно академическая: вряд ли Керенскому грозит опасность от того, что его враг целыми днями перебирает старинные чашки и статуэтки. Добродушное лицо Вихрова стало вдруг холодным и злым. Казалось, он сейчас ответит мне какой-нибудь дерзостью. Но он промолчал.

Еще недавно ежедневная пушка над широкой гладью Невы обозначала полдень — петербуржцы проверяли часы. Но вот один-единственный выстрел с «Авроры» гулко, на всю Россию, провозвестил: полночь. Тут и часов не понадобилось проверять.

«Аврора» вошла в Неву и выпустила боевой снаряд в упор в великолепное, беззащитное, растреллиевское создание. Временное правительство кротко сдалось. Савинков из военного министра в мгновение ока обернулся неуловимым «человеком в красных гетрах». По его следам гнались запаленные большевистские ищейки. Они были еще неопытны, расстрелять «человека в красных гетрах» им не удалось. Пришлось удовлетвориться тем, что схвачен и замучен был каждый, вблизи кого эти роковые гетры хотя бы случайно мелькнули, — бравада бывшего цареубийцы дорого обошлась многим ни в чем не повинным людям. Троцкий, который еще недавно, саркастически улыбаясь, слушал декадентские стихи этого «военного министра», сидя с ним за одним столом и даже полупрезрительно чокаясь с ним кисловатым каберне, теперь сам был — и много более могущественным — министром. По его приказу — доставить живым или мертвым — Савинкова теперь и ловили. Все в России — еще раз после Февраля — круто, как на вертящейся сцене, повернулось на все 180 градусов.

* * *

Вскоре после победы большевиков я уехал из Петербурга в деревню.

Старинная усадьба в одном из отдаленных углов Петербургской губернии. Холодное осеннее солнце, запах антоновских яблок, голые липы, отражающиеся в озере, большой, еще жарко натопленный, еще дышащий довольством помещичий дом. Медленный уютный быт, пуховые кресла, какие-то необыкновенные блинчики, книги в солидных потертых переплетах, мирные чаепития под зеленой лампой. Как будто нет ни большевиков, ни Савинкова, ни «Авроры», ни опозоренного Зимнего дворца, ни голодных, затравленных петербургских обывателей, ни фарфора...

Фарфор, впрочем, был и здесь, но другой, чем в Петербурге. Он еще чинно стоял на заповедных местах, любовно сберегаемый, родовой, целомудренный, не захватанный чужими руками, непродажный. Но и на этот фарфор я избегал смотреть: он слишком напоминал мне то отвратительное, отдохнуть от чего я сюда приехал.

Был тихий, холодный сине-розовый вечер. Только что выпал снег. Я шел один по лесу, без цели, так, куда глаза глядят. Шел и думал о такой еще недавней и такой безвозвратно-далекой петербургской жизни.

Снег скрипел под ногами шелковым свистящим скрипом. Небо розовело, сосны стояли торжественно и неподвижно. Вдруг я увидел, что совсем близко от меня, перебегая от дерева к дереву, бесшумно движется человек. Я остановился, вглядываясь в него.

Он двигался осторожно и ловко, будто прячась или выслеживая кого-то. В почти белом романовском полушубке его трудно было отличить от снега. «Что он тут делает? — подумал я. — Охотится? Выслеживает лисицу?»

Человек в полушубке пригнулся к земле и быстро побежал наперерез мне. Вот он поравнялся со мной, и я узнал карие глаза и высокий выпуклый лоб. «Вихров!» — хотел вскрикнуть я. Но он повернул ко мне на бегу взволнованное лицо и прижал палец к губам. Через минуту он был уже далеко.

«Быстрее зайца бегает», — подумал я машинально. Самый факт встречи меня мало удивил. В те времена никто ничему не удивлялся. Вихров так Вихров, — не все ли мне равно?

Неожиданно в тишине раздался глухой выстрел и где-то близко, с жужжанием пролетела пуля. Ну конечно, охотится. Но так и меня подстрелить недолго. И я повернул назад из темнеющего снежного леса.

На другой день, когда я еще сидел за утренним чаем, вошла служанка.

— Там вас спрашивает кто-то... Пускать, что ли?

Но мне не пришлось отвечать. Оттолкнув мою Аксинью плечом, в комнату входил Вихров.

— Не ждали? А я к вам чайку попить.

— Откуда же вы знаете, что я тут живу?

Он прищурился и тихо свистнул.

— Ну, что и откуда я знаю, об этом слишком долго рассказывать.

Я налил ему чаю. Он стал жадно пить его, улыбаясь и скаля белые зубы, как будто он действительно пришел только для этого.

— Вы вчера охотились в лесу? — спросил я.

Он удивленно посмотрел, будто успел забыть обо мне.

— Да, — сказал он и подвинул ко мне стакан, — налейте еще, пожалуйста. Ужасно замерз. Да, охотился. Разная охота бывает. И за разной дичью. — И вдруг, вспомнив что-то, полез в ягдташ.

— Вот, я вам русака принес — так сказать, трофей охоты.

И он вытянул за уши большого зайца. Я поблагодарил, и он снова задумался.

— Ну как же насчет Керенского? — спросил я, чтобы поддержать разговор. — Скоро в клетке повезете?

Он презрительно пожал плечами.

— Мелюзга Керенский. Комар. Улетел, и черт с ним. У нас теперь зверь покрупнее — Ленин, — его-то уж непременно в клетку посадим.

— Что ж, чтобы посадить его в клетку, вы и охотитесь тут? — спросил я смеясь.

Он серьезно взглянул на меня.

— Да, потому и охочусь, — ответил он неожиданно серьезным тоном. — Все организовать надо. И здесь и в Петербурге.

— А удастся?

— Непременно удастся. Уж будьте спокойны. К Рождеству с ним покончим.

Я недоверчиво покачал головой.

— Что-то я не очень спокоен.

— Это уж ваше дело. — Голос его прозвучал неприязненно. — Как вам будет угодно: не верьте — и без вашей веры обойдемся.

Я не стал продолжать. Вихров молча пил чай.

— А в Петербург скоро собираетесь? — спросил он вдруг.

— Недели через две.

— Запомним, — протянул он неопределенно.

Я удивился — с какой стати ему запоминать, но ничего не сказал. Вихров казался мне каким-то странным и неестественным. Спокойствие его было напускное. Видно было, что он возбужден.

Он просидел у меня долго. Время тянулось томительно. Говорить нам было не о чем. Самовар остыл. Наконец, он стал прощаться. Я вяло удерживал его.

— Ах, да, — сказал он, будто вспомнив. — Вот посмотрите. — Он достал бумажник и вынул из него фотографию.

Я взглянул на нее. Это был снимок молодой девушки, почти девочки, одетой в кисейное платье с оборками. Во всей ее позе, прическе, чертах лица было что-то жеманно-грациозное. Она была похожа на фарфоровую фигурку XVIII века, только глаза, эти черные блестящие глаза, были совсем не кукольными. Они горели гордой и страстной жизнью, они казались совсем неуместными на этом кукольном личике.

— Какая странная, — сказал я. — И прелестная.

Он смотрел на карточку через мое плечо.

— Да, — обронил он. — Я даже не знал, что такие бывают на свете. А ведь — бывают!

Неожиданно он протянул руку и выхватил фотографию, будто ему неприятно было, что я долго смотрел на нее. Я ожидал, что он скажет, что это его невеста. Но он молча спрятал карточку обратно.

— Ну, всего хорошего. Ешьте, не голодайте, живите, не умирайте. — Он крепко пожал мне руку и решительными шагами вышел из комнаты.

В начале декабря я собрался обратно в Петербург. Вихрова я с того дня больше не видел. Да я и не думал о нем.

В день отъезда я пошел пройтись в последний раз по тихим снежным полям. Где-то с карканьем поднялась ворона. Я обернулся. Прямо на меня ехал всадник. От лошади шел пар, из-под копыт летел снег. Подъехав ко мне, всадник соскочил с лошади.

— Слава Богу, поймал вас, — сказал знакомый гортанный голос.

Это был Вихров. Я пожал ему руку.

— А зачем вам, собственно, ловить меня?

Он взял лошадь за повод и пошел со мной рядом.

— Необходимо было до зарезу, — сказал он каким-то трагическим надорванным шепотом. Я посмотрел на него и только теперь заметил, как он постарел и похудел за эти дни.

— Что с вами, — спросил я, — больны?

Он покачал головой.

— Если бы болен! Хуже, гораздо хуже. — Он замолчал и тихо прибавил: — Я погиб.

Несколько минут мы шли молча. Я не решался спросить, что с ним, такой убитый у него был вид.

— Вот, — сказал он и протянул мне сложенный в несколько раз листок почтовой бумаги. — Вы еще сможете спасти если не меня, то других. Сделайте это, ради Бога. Отнесите письмо. Там организация. Иначе все погибнут... Пусть уж я, но товарищей предать... — Он не докончил и махнул рукой.

— Думаете, что с ума схожу, — рот его перекосился, — нет, в полном уме и трезвой памяти. Помните, хвастался, что Ленина в клетке повезем, а вы не верили. Ведь вы правы оказались. Не повезем. И по моей вине.

Лошадь вдруг взвилась на дыбы. Вихров рванул за повод и выругался.

— Так отнесете? Обещаете? Ну, спасибо, — и он крепко сжал мне локоть. — Спасибо. Вам ничего не грозит. Туда еще не добрались, еще неделю самое меньшее, пока доберутся. Только поскорей, — как приедете в Петербург, сейчас же. Ради Бога. Лучше всего — посыльного отправьте. Но и сами можете безо всякого риска. Агафье Михайловне N. Мойка, номер такой-то,

в собственные руки. Так пошлете, отнесете? Ну вот. Теперь, как говорится, и умереть можно. Впрочем, умирать мне и так придется. Пришел мне конец.

— Что вы, что вы, Вихров. Еще поживете.

— Нет, конец.

Снег продолжал мягко падать. Все кругом было спокойно, торжественно и чисто.

— Вы торопитесь? — неожиданно спросил Вихров.

— Через полчаса надо ехать на станцию.

Он кивнул.

— Тогда повернем. Я провожу вас. И расскажу вам. Хотите? Ну, так вот.

Вы уже слышали, что у нас организация. Хорошо дело шло, очень хорошо. По всей центральной России связь была установлена. Крепкая связь — как в петле, большевики были. Я стоял — чего там скрывать — во главе. Сам все лично проверял, сам объезжал все. Отлично дело устраивалось, пока не занесла меня нелегкая сюда. Сначала ничего. Работа двигалась. Наладил я, что надо, и уже в Петербург собрался, как вдруг приезжает она — школьная учительница. Поселилась, как и я, в пустой помещичьей усадьбе. Ну, и Бог с ней. Меня не касается. Только вышло-то иначе.

Встретил я ее раз, другой... Беленькая такая, как фарфоровая. Тоненькая — в чем душа держится. И глаза... Ну, да вы видели ее карточку. Познакомились мы. Стал я к ней заходить. Скучала она очень. Свернется на кресле, как кошка, закутается в пестрый платок и молчит. Только глаза блестят. Так и просидит, бывало, вечер. Потом на прощанье скажет: «Спасибо, что пришли, вдвоем легче». А почему легче — не знаю. Ну, и я человек не болтливый. Так мы и молчали вдвоем каждый о своем. Печка горит, за окном сугробы... Ничего, хорошо было.

Как-то вечером прихожу я к ней, встречает она меня весело, оживленно. «Гитару, — говорит, — мне из дому прислали. Хотите, спою?» Ну, я прошу, конечно, хотя думаю, куда ей под гитару, как цыганке, — ей, такой нежной, фарфоровой. Села она в угол, взяла гитару...

Вихров шумно перевел дыхание.

— Да, с этого все и пошло. С гитары этой проклятой.

Запела она. Голос у ней страстный, высокий и низкий, огненный. Так за душу и хватает. Будто на высоких качелях качаешься — сердце останавливается. И чудесно поет и чуть-чуть отвратительно. И страшно немного. Слушаю, а кровь так и стучит у меня в ушах.

Сидит она передо мной, беленькая, тоненькая и вся как-то светится. Точно фонарь фарфоровый. И поет. Поет без умолку. Одну песню за другой. Я и хочу, чтобы она замолчала — душит меня это пение, — и боюсь, что замолчит. А она смотрит на меня в упор и выводит: «Эти серые глаза, их любить опасно». И я, как сквозь угар, соображаю — про чьи это глаза? Не мои — у меня карие. А у нее какие? Серые. Сообразил — про себя поет. Да, серые у нее глаза и любить ее опасно, понимаю это. Но уже люблю, давно люблю, больше всего на свете люблю. А она все поет, поет. За окнами ночь, в доме все спят, мы одни. И чувствую, вот-вот заплачу. О чем — сам не знаю. Слишком мне хорошо, слишком страшно мне...

Вдруг она кончила петь. Так вот и оборвала на полуслове. Положила гитару на стол, встала. «Ну, — говорит, — теперь вы все мне о себе расскажите». Подошла так близко, смотрит мне в лицо. «Ай-ай-ай, какой бледный! Какой нервный! — и смеется легким смехом, будто китайские фарфоровые колокольчики звенят. — Все расскажите — кто вы, и зачем сюда приехали, и что здесь делаете». — Ничего я не вижу, кроме ее глаз, ничего не слышу, кроме ее голоса, хочу сопротивляться и не могу. Как во сне слышу, что сам, сам все ей рассказываю. А она расспрашивает подробно, обстоятельно, как следователь. И я без утайки все говорю, точно в детстве на исповеди, и про себя, и про друзей своих, и про организацию, и что Ленина убить хотим. И уже не стою я перед ней, а лежим мы рядом. Коньяк откуда-то появился, льет она мне его в чайный стакан так полно, что через край переливается. «Люблю тебя, — говорит. — Белая я, такая же, как ты. Большевиков ненавижу. В организацию вашу вступлю, Ленина сама убью». — И смеется. — «Что же ты не пьешь? Пей до дна, а то не поцелую». — И я пью до дна...

Дурман какой-то. Долго я не догадывался, кто она такая. Пошли неудачи — тот взят, того выследили… Я как слепой.

Не понимаю ничего. Выстрел тогда в лесу слышали? Это я невинного человека убил, в предательстве заподозрил. А предатель-то главный, оказалось, я сам, я сам. Сам погиб и друзей своих погубил. И Россию. Так-то.

Мы были уже у ворот усадьбы. Вихров вскочил на седло.

— Ну, еще раз спасибо. Не поминайте лихом. Прощайте, на этом свете уже не увидимся. Только, ради Бога, записку непременно пошлите, завтра же, как приедете.

— А она? — хотел я спросить. Но Вихров, круто повернув лошадь, уже скакал назад по широкой снежной дороге.

* * *

Я снова был в Петербурге. Среди множества неприятных дел, которыми сразу по приезде пришлось заняться, было и поручение Вихрова. Конечно, исполнить его было необходимо, притом не откладывая. Но как исполнить, чтобы самому не попасть в какую-нибудь нерасхлебываемую кашу. Вихров сказал — пошлите с посыльным, — но все посыльные Петербурга куда-то исчезли. Наклеить марку и бросить в почтовый ящик? Конечно, это проще всего, но разумно ли доверяться в таких обстоятельствах большевистской почте? В конце концов я остановил свой выбор на двенадцатилетнем Ваське, сыне нашего дворника.

Дворник был человек, на которого можно положиться. Его жена была убита на улице шальным выстрелом с матросского грузовика, и большевиков он ненавидел лютой ненавистью. Я ему объяснил, что дело касается «контры», и он с такой радостью согласился помочь, точно я делал ему личное одолжение.

Краснощекий смышленый Васька был позван отцом со двора, и ему вместе с «керенкой» на орехи была вручена записка Вихрова. Инструкция была выработана такая: идти с черного хода и, смотря по тому, кто откроет, разыграть соответствующую роль. Если в доме милиция или солдаты, притвориться дурачком — попросить «хлебца», или что-нибудь в этом роде. Если подозрительного ничего нет, — спросить Агафью Михайловну. Если Агафья Михайловна окажется налицо, тогда только сказать о записке, которую с собой отнюдь не носить, а, войдя во двор, спрятать куда-нибудь, например в снег, чтобы на случай встречи

с «краснокожими» и возможного обыска — не попасться. Для полноты конспирации записка была упрятана на дно коробки с десятком папирос «Зефир».

Ваську одели похуже и еще раз проэкзаменовали, как и в каком случае он будет поступать.

— Ну, с Богом, — сказал дворник и перекрестил сына широким крестом. — Ну, все помнишь? Не сглупишь, Вась?

— А я разве глупил когда, — ответил с важностью мальчик и, нахлобучив шапку с наушниками, не спеша пошел исполнять очень, по-видимому, ему нравившееся поручение.

Вернулся он через полчаса разочарованный. Коробка с «Зефиром» была свежа и суха — прятать ее в снег моему посланцу не пришлось. Ни Агафьи Михайловны, ни милиционеров, ни одной вообще человеческой души в доме не оказалось.

— Да и какой же это дом? Одни стенки да полы — вроде вот этого, — и Васька кивнул на видневшиеся в моем окне развалины сожженного особняка графа Фредерикса.

— Да ты не врешь? — усомнился я. — Может быть, и не ходил вовсе?

— Нет уж. Вась мой никогда не врет. Если говорит — значит, так и есть.

В тот же день, под вечер, я отправился на Мойку сам. Беглого взгляда на дом было достаточно, чтобы удостовериться, что «Вась» не лгал. Двухэтажный барский особняк зловеще зиял на пустую набережную черными дырами окон. Одни из них были выбиты, другие распахнуты настежь и занесены снегом. Парадная дверь была на запоре, веревка с четырьмя печатями на концах перекрещивала замок. Я наклонился к ним. Слова: «Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией» — отчетливо выступили вокруг серпа и молота на буром, похожем на запекшуюся кровь сургуче.

Окна первого этажа были расположены низко. Без особого труда мне удалось подтянуться на руках и заглянуть внутрь дома.

Я увидел большую, высокую, богато отделанную комнату. Огромная люстра криво спускалась на полуоборванных цепях с лепного потолка, и закат играл на ее бесчисленных хрустальных подвесках. Штофные обои были покрыты инеем, тяжелая

ампирная мебель сдвинута и перевернута в диком беспорядке. Несколько стеклянных витрин были разбиты вдребезги, и весь пол комнаты покрыт исковерканным, растоптанным фарфором. Пастушки и маркизы, чашки и вазы, попугаи и китайские мандарины лежали на этом полу, как расстрелянные в братской могиле. Снег уже полузамел их, но то там, то здесь еще виднелись то райская голубизна севра, то пунцовые розы мейсена, то жеманно протянутая для поцелуя рука, то манерная улыбка, отражающая блаженную праздность, изящное ничегонеделанье, раззолоченный сон ума и души...

Качка
(Отъезд из России)

Десять лет тому назад — осенью 1922 года — я в течение месяца трудился, как каторжник, над переводом «Орлеанской девственницы» Вольтера. В день я переводил до полутораста строк добротным пятистопным ямбом, избегая неполных рифм и не позволяя себе никаких неточностей. Как-никак я продолжал дело, начатое Пушкиным. Первые двадцать строк этой поэмы, столь же блестящей, сколько кощунственной и неприличной, переведены им. При большевиках, по заказу Горького, за «Орлеанскую девственницу» взялся Гумилев. После смерти Гумилева работа перешла ко мне. Целый клад: двадцать одна песня, четыреста страниц убористой печати, не считая вариантов. Горьковская «Всемирная литература» оплачивала (и довольно щедро) рукопись по представлении, не стесняясь размерами: пять строк так пять, десять тысяч так десять тысяч. Одна знаменитая седая переводчица сдала таким образом и получила гонорар за Евангелие от Марка, от Луки, от Матфея. Она собиралась перейти на Апокалипсис, когда случайно кто-то ее поймал. На недоуменный вопрос редакции о том, «как это называется», она хладнокровно ответила: «Меня ограбили, и я граблю, где могу». Тогда еще можно было безнаказанно так отвечать.

Я работал над «Орлеанской девственницей» добросовестно и не жалею об этом. Каким-то чудом книга теперь вышла в Москве. Издана она замечательно. Я с удовольствием просмотрел свой перевод, великолепные рисунки, шрифты и бумагу в собрании одного парижского библиофила. Купить мне ее не пришлось. Стоит она что-то около семидесяти латов — цена, может быть, весьма сходная по советским понятиям, но по моим — несколько дорогая.

Итак, десять лет тому назад, в это же приблизительно осеннее время, я переводил Вольтера стихами, и очень усердно переводил. На гонорар за «Девственницу» я решил уехать за границу.

Уезжать была самая пора. Был нэп, и возможность уехать легально, до тех пор вполне «академическая», стала если не легкой, то осуществимой. Год тому назад Блок погиб, потому что разрешение на выезд в финскую санаторию все задерживалось и задерживалось, несмотря на хлопоты очень влиятельных лиц. То же было с Чеботаревской, женой Сологуба. Ожидая в течение многих месяцев обещанного заграничного паспорта, переходя от отчаяния к надежде, — она, наконец, не выдержала и в неврастеническом припадке бросилась с Николаевского моста в Неву. Процедура выезда из СССР и теперь осталась та же. Те же анкеты, поручительства, прошения, гербовые марки, справки, свидетельства, — но протекало все это много быстрей и, главное, если не всегда, то довольно часто приводило к желанному результату. Не было и особого риска, как это случалось до нэпа — в ответ на прошение о выезде оказаться в концлагере за контрреволюцию.

* * *

Я решил уезжать и для этого бился над «Орлеанской девственницей», которая, кстати, хоть и написана двести лет назад, ничуть не уступает, порой и превосходит откровенностью и реализмом красок прославленную «Леди Чатерлей». Неверно было бы думать, что, сколачивая капитал на отъезд, я не готовился к самому отъезду. План задуманного мной «побега» в том и заключался, чтобы все части механизма, с помощью которого я собирался покинуть пределы СССР, были хорошо подогнаны друг к другу. Чтобы не очутиться с деньгами на руках, но без паспорта, или с паспортом, но без денег, или, имея их, задержаться (рискуя, что отберут и то и другое) по какой-нибудь второстепенной причине — отсутствия визы, места на пароходе и т. д. Все это требовало массу хлопот. Не раз надежда уехать от меня ускользала. Не раз — человек слаб — я думал: а не послать ли все это к черту и не закупить ли на гонорар за Вольтера дров на зиму, муки, чтобы печь оладьи, и какой-нибудь «шикарный» костюм, последний крик мастерских «Петроодежды». Если я не поступил именно так, то совсем не благодаря моей энергии

и распорядительности, а только потому, что первый раз в жизни мне, как говорят в Одессе, «определенно везло».

* * *

Командировку, по которой я уехал, мне дал некто Пиотровский. Ему было двадцать два года, он заведовал художественным отделом политпросвета. Побочный сын прославленного ученого, эллинист, поэт, мечтатель и... человек, не отличающийся особым умом. Он умер недавно, поэтому я и называю его имя, без опаски навлечь на него неудовольствие предержащих властей. Пиотровского я хорошо знал. Он был коммунист идейнейший и убежденный. В марксистскую доктрину он верил со всем жаром своей молодости, восторженности и... глуповатости. Он был, в общем, славный мальчик, из той породы, что пороха никак не выдумают, но «за идею» с улыбкой пойдут на расстрел. Он бредил мировой революцией и знал наизусть всего Теофиля Готье, занимал солидный комиссарский пост и не имел теплого пальто. Я искренне пожалел о нем, услышав, что он умер.

— Я знаю, что вы не вернетесь, — со вздохом говорил Пиотровский, ставя свою подпись на командировке, отправляющей меня в Берлин для... составления репертуара государственных театров. — Я знаю, что вы останетесь за границей.

И в глазах его, красивых детских глазах, была настоящая тоска. Ужасно не хотелось ему эту командировку подписывать. Но не подписать он не мог. При всей своей революционности он писал плохие стихи «гумилевской школы», состоял в «Цехе поэтов» и в поэтическом плане ощущал меня своим непосредственным «начальством». Кроме подписи Пиотровского, нужна была еще подпись чекистки Яковлевой — ока ГПУ в политпросвете. Яковлева подпись дала. Главное было сделано. Торжествуя, я сам понес документ на два этажа ниже в секретариат «товарища Невского». Требовалась его пометка, но я знал, что после подписи Яковлевой дается она механически. «Половина второго... Через полчаса я могу поспеть в Смольный, заполню там анкету. Через неделю-полторы у меня будет паспорт».

Сухопарая коммунистка, секретарша Невского, взяла бумагу и понесла своему патрону. Я присел на стул. «Сегодня уже в Смольный... Анкету... Через неделю паспорт... Через две...»

Одним словом, ожидая, пока секретарша вернется, я замечтался слегка. Вскоре та же сухопарая девица вернула меня к действительности. Она стояла надо мной. Лицо ее было невозмутимо. Она протянула мне мою командировку. Огромная свежепромокнутая лиловая клякса, вернее, лужа перерезала ее из угла в угол весьма живописно. Пониже виднелось несколько лиловых же отпечатков чьих-то толстых пальцев.

— Товарищ Невский разлил чернила, подписывая вашу командировку. Так в Смольном не примут. Пусть в художественном отделе перепишут наново.

Я вернулся в художественный отдел. Еще жалобней взглянув на меня, Пиотровский со вздохом велел переписать, со вздохом подписался, со вздохом направился опять к Яковлевой. Когда он вернулся, на его лице было совсем новое выражение — странная смесь недоумения и торжества.

— Вот, — сказал он, отдавая мне обе бумаги. — Вот. Ничего не могу сделать. Товарищ Яковлева не хочет подписывать второй раз. Она сказала... У нее нет времени. Она уехала. Вот.

Он смотрел растерянно и торжествующе. Он был, повторяю, славным человеком и, вероятно, жалел меня, видя, как я огорчен. Но сознание, что грех дутой командировки подозрительному элементу снят с него, было ему явно приятно. Он бормотал что-то, что это не отказ, что можно обратиться в коллегию, что коллегия обсудит... Я его не слушал. С бланками в руках — только случайно я их не бросил — я стал спускаться по лестнице. Дело провалилось. Надо все начинать сначала. И стоит ли начинать?

На площадке того этажа, где помещался секретариат Невского, я столкнулся с сухопарой коммунисткой.

— Это вы, товарищ? — обратилась ко мне она. — Переписали уже? Нет? Ну, все равно. Давайте сюда ваше отношение. Порядок изменен — только что телефонировали. Давайте вашу бумагу — я вам выдам ордер.

Я через шесть дней имел на руках паспорт и через десять — уехал. Ни Пиотровский, ни Яковлева ни о чем не знали. Рисковал я, вероятно, немалым. Но как не сказать, что мне «определенно везло».

* * *

Не скрою — эти несколько дней до отъезда я провел довольно беспокойно. Правда, перед тем как сдать все документы на окончательное утверждение в Смольный и, следовательно, «сжечь мосты», я посоветовался с одним многоопытным и искушенным в советских порядках человеком, и человек этот меня успокоил — правильность полученного мной «облыжно» ордера вряд ли будет проверяться. «Только уезжайте поскорее». Но еще одно обстоятельство — уже после того, как мосты были сожжены, — ввергло меня в тревогу. За мной стал ходить сыщик.

Выходя из дому или возвращаясь, я его, правда, никогда не встречал. Но стоило мне прийти в германское посольство за визой — на улице я сталкивался с ним, стоило мне обратиться за справкой в пароходное общество — он оказывался в приемной. Он не хлопотал о визе и не брал билетов — он следил за мной, это было ясно. На нем было классическое гороховое пальто, подлая жидкая бороденка, и глаза его неприятно бегали, встречаясь с моими глазами. Он попадался мне буквально каждый раз — это не могло быть случайным. За два дня до назначенного отъезда я отправился на «черную биржу» в кафе Андреева, чтобы раздобыть валюту. Мой незнакомец был тут. Он не покупал ни марок, ни долларов. Он сидел в углу и пил кофе с независимым и скучающим видом.

Он испортил мне много крови, этот человек... Все небо над Кронштадтом было серебряно-огненно-синим. Развалины на ржавых якорях, бывшие когда-то балтийским флотом, беспомощно и грозно чернели на рейде. Последний агент ГПУ, сопровождавший пароход до выхода в море, взяв под козырек, ловко соскочил в катер. Взвилась железная штора над будкой с коньяком, пивом и немецкими папиросами — в знак того, что Россия осталась позади и мы в Германии. Пассажиры затолпились вокруг этой будки. Подошел и я. Вдруг, неизвестно откуда,

вынырнуло на меня гороховое пальто, дрянная бородка, бегающие белесые глаза. Я отшатнулся.

— Позвольте представиться, — сказал он. — Миллер, кандидат прав. Тоже изволите ехать... Очень приятно. А я, признаться...

За рюмками скверного «вейнбрандта» мы тут же объяснились. Оказалось, я тоже испортил ему немало крови. Он тоже с трепетом видел меня всюду, где приходилось ему бывать по делам, связанным с отъездом. Он тоже принимал меня за сыщика. И только увидев меня, подходившего к пароходу в сопровождении М. В. Добужинского, он убедился, что ошибся в своих страхах. Он знал Добужинского в лицо и вполне резонно заключил, что знаменитый художник, случайно встретившийся мне и пошедший меня проводить, вряд ли будет дружески прощаться с сыщиком и желать ему счастливого пути.

* * *

Кандидат прав оказался приятным человеком, даже бороденка его была при ближайшем рассмотрении совсем не такой дрянной. Со скуки мы подружились — он даже перебрался в мою каюту, благо места на пароходе было достаточно. Это был никуда не годный пароходишко, звали его «Карбо II». Достаточно сказать, что до Штеттина он плыл пять дней, а на обратном пути пошел ко дну. Качало нас страшно. Однажды ночью тяжелый сундук кандидата прав от качки переместился и загромоздил дверь. Мы проснулись утром наглухо закупоренные. В то утро качка была особенно сильна, нас, несмотря на малую чувствительность к морской болезни, мутило, воспоминание о том, как мы, превозмогая тошноту, оттягивали проклятый сундук от двери, а он все скользил обратно, не принадлежит к числу приятных. Да и помимо качки ничего приятного в этом путешествии не было. Никакого чувства освобождения, легкости, радости. Даже наоборот. Конечно, теперь я курил папиросы с золотым мундштуком вместо махорки, конечно, я был свободен, конечно, я ехал в Берлин, в Париж, где я мог делать, что хочу, где никто не мог меня вдруг арестовать, сослать, расстрелять. Все это было так. Но сознание это было каким-то бесцветным, отвлеченным, бесплотным, не имеющим цены. Реальными были: резкий ветер,

мокрая палуба, хмурые волны да еще тревожный вопрос: неужели Россия потеряна для меня навсегда?

Кандидат прав не разделял моего настроения. Он веселился от души. Он ехал к жене, с которой не виделся пять лет, и ехал, не предупредив, сюрпризом. «Пошлите радио», — советовал я ему, но он стоял на своем. Единственное, что его смущало, — это как попадет он ночью домой — он наслышался уже о знаменитых берлинских подъездах, превращающихся ночью в крепости, а штеттинский поезд приходил в Берлин что-то довольно поздно.

Кандидат прав уговорил меня ехать прямо с вокзала к нему. «Жена нас накормит чем-нибудь, а потом вместе найдем вам гостиницу». Я не знал в Берлине никого и ничего и согласился.

Квартира мадам Миллер оказалась довольно нарядным отелем. Ключа не потребовалось — двери были широко распахнуты и освещены. Пир горой стоял в комнате супруги кандидата прав, когда мы вошли. Было человек восемь молодых людей — каждый из них был решительно лучше моего кандидата прав. Две-три подруги хозяйки не оставляли сомнений в том, что подруг своих она выбирает не из чопорной буржуазной среды. Стол был уставлен бутылками, балалайки лихо соперничали с граммофоном. Жена кандидата прав, красивая полная дама, сперва ахнула, увидев нас, потом смущенно захохотала, потом заплакала: она была сильно навеселе. Все это мало соответствовало и приему, на который мы рассчитывали, и тому, что рассказывал мне кандидат прав о скромной трудовой жизни его «голубки» в «тихой квартирке». Я искоса взглянул на него. Лицо у него было кривое, жалкое, бороденка распушилась как-то дико...

Шумные гости, узнав, в чем дело, стали необыкновенно церемонными, начали шаркать, кланяться и ссылаться на неотложные дела. Воцарилась мертвая тишина. Потом кто-то предложил чокнуться по поводу счастливого события. Так в тишине и чокнулись. Я тоже выпил рюмку какого-то фиолетового ликера и, поперхнувшись им, поспешил откланяться. Подобрав в прихожей свой чемодан, я пошел по сияющей светом и оживлением Фридрихштрассе к стоянке такси. Несмотря на то, что прошло уже много часов, как я сошел на твердую землю, ноги мои ступали как-то нетвердо.

Закат над Петербургом

«Блистательный Санкт-Петербург» — был, в пору своего расцвета, в самом деле — блистательнейшей столицей. Расцвет этот длился примерно от царствования Екатерины Великой до цареубийства 1-го марта.

Его наивысшей точкой была первая половина XIX века. Это и была та эпоха, о которой не кто иной, как Поль Валери, записал в своем дневнике: «Три чуда мировой истории — Эллада, итальянский Ренессанс и Россия XIX века!»

...Былое сопротивление «порфироносной вдовы» — Москвы окончательно выдохлось. Ее либерально-барская и староверски-купеческая оппозиция стала чем-то вроде безвредной старушечьей болтовни. Все, что в бывшей столице поднималось, так или иначе, над безличным обывательским уровнем, будь то Растопчин, славянофилы или даже Чаадаев, — блистало отраженным светом Петербурга. Об «остальной», бескрайней, России — нечего было и говорить. Там, после последней вспышки подспудного пламени — Пугачева, воцарилась «всерьез и надолго» пресловутая «вековая тишина». Ее нарушали лишь сентиментальные вздохи кисейных барышень, аккорды усадебных клавесинов, зычные дьяконские «многолетия» да еще барабанная дробь и «смирнаа!» военных поселений.

С «дней Александровых прекрасного начала», вплоть до Севастополя, имперские замыслы Петра Великого торжествовали полную победу. Олицетворением этих замыслов, олицетворением «Российской Империи», занявшей место «матушки Руси», — был Петербург. И в Петербурге, как в фокусе, сосредоточилось российское «все».

Отвлеченное определение идеи и материи, для наглядности иллюстрируемое образом цветущей яблони и тенью (этой яблоней отбрасываемой), яблоня — идея, тень яблони — материя, — это определение могло, пожалуй, характеризовать взаимоотношения Петербурга и России. Петербург — идея, остальная Россия только тень Петербурга, только материя, воплотившая идею.

Петербург, сто лет тому назад почти не существовавший, стал теперь мозгом и сердцем страны. России оставалось только

повиноваться и, посильно, подражать ему. Все большие дороги русской жизни перекрещивались в одном «невралгическом центре» — Петербурге. Казалось, что все, чем отличается полнота живой жизни от растительного существования, стало привилегией петербуржцев, принадлежало только тем избранным, кто жил в прекрасной столице и дышал ее туманным воздухом.

...За окном, шумя полозьями,
Пешеходами, трамваями,
Таял, как в туманном озере,
Петербург незабываемый.

Незабываемый? Да, именно незабываемый. Восхитительный, чудеснейший город мира. Для петербуржцев, вздыхающих по нему, как по потерянному раю? — Конечно. Но не только для одних петербуржцев. Значит, и для всех русских? Не знаю, для всех ли, во всяком случае, для очень многих и — как это ни удивительно — для многих иностранцев. Очарованных Петербургом иностранцев не перечесть: «Город-мечта, волшебно возникший из финских болот, как мираж в пустыне»... «Версаль на фантастическом фоне белых ночей»... «Соединение Венеции и Лондона».

...О Венеции подумал
И о Лондоне зараз...

«Стеклянные воды каналов» и туман, туман... Ни одно описанье Петербурга не обходится без тумана.

Но это не лондонский туман. Туман Петербурга совсем особенный, ни на какой другой не похожий. Он — душа этой блистательной столицы.

Невы державное теченье.
Береговой ее гранит,

мосты, дворцы, площади, сады — все это только внешность, наряд. Туман же — душа.

Там, в этом призрачном сумраке, с Акакия Акакиевича снимают шинель, Раскольников идет убивать старуху, Лиза бросается в ледяную воду Лебяжьей канавки. Иннокентий Анненский

в накрахмаленном пластроне и бобрах падает с тупой болью в сердце на ступени Царскосельского вокзала в

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты,

которые он так «мучительно» любил.

Туман, туман...

На Невском он прозрачный, кружевной, реющий над «желтизной правительственных зданий» и благовоспитанно стушевывающийся перед сияньем дуговых фонарей. Фары «Вуазенов», звонкое «берегись!» лихачей, гвардейцы, садящиеся в сани,

Широким жестом запахнув шинель.

В витринах Елисеева мелькают ананасы и персики, омар завивает во льду красный чешуйчатый хвост. За стеклами цветочных магазинов длинные стебли срезанных роз, розы расцветают на улыбающихся лицах женщин, кутающихся в соболя...

Может быть, того густого, тяжелого, призрачного тумана и не существует больше? Нет, он по-прежнему тут. В двух шагах от этого оживленья, света и блеска — унылая пустая улица, тусклый фонарь и туман, туман...

...Ночь, улица, фонарь, аптека.
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.

Все будет «так» или почти «так».

Над Невою многоводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра.

Все всегда будет так. Никакие перемены невозможны. «Игра продолжается». Исхода нет. И быть не может.

Но это только казалось.

* * *

Ущерб, потускнение, «декаданс» Петербурга начался незаметно, как незаметно начинается неизлечимая болезнь. Сперва

ни больной, ни его близкие ничего не замечают. Потом лицо больного начинает меняться все сильнее... И наконец, перед смертью, оно становится неузнаваемым...

В 1918–1919 году Петербург стал неузнаваемым. После разгрома белых армий Петербург умирал.

...Зеленая звезда в холодной высоте,
Но разве так звезда сияет?
О, если ты, звезда, воде и небу брат,
Твой брат Петрополь умирает...

Бывают сны, как воспоминания, и воспоминания, как сны. И когда думаешь о бывшем «так недавно и так бесконечно давно», иногда не разбираешь, где сны и где воспоминания.

Ну да, была последняя зима перед войной и была война. Был Февраль и был Октябрь... И то, что после Октября, тоже было. Но если вглядеться пристальнее — прошлое ускользает, меняется, путается.

...В стеклянном тумане висят мосты, две тонких золотых иглы слабо поблескивают, над гранитной набережной стоят дворцы

И мчатся узкие санки
Вдоль царственно-белой Невы...

Какие-то люди ходят по улицам, какие-то события совершаются. А как же:

Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.

Нет, исход есть. И какой еще исход. «Живи еще хоть четверть века». Но четверти века жить не пришлось...

Вот молодой Блок читает стихи, и вот уже он

Спохватился — сорок лет...
Хвать похвать, а сердца нет.

Разве, правда, нет у него больше сердца? Или просто:

...Земное сердце уставало,
Так много лет, так много дней,
Земное счастье опоздало
На тройке бешеной своей?

И он:

Наконец смертельно болен?..

И вот уже хоронят «испепеленного» Блока.

...Вот крещенский парад — урра! «Боже, царя храни!» И вот вместо оранжево-черного императорского штандарта — красная тряпка над Царскосельским дворцом. И в одном из окон, отрекшийся, арестованный —

...Странно царь глядит вокруг
Пустыми, светлыми глазами.

...С начала царствования Александра III «ликвидация» былого величия Петербурга шла уже вовсю, «на всех парах», во всех направлениях. В начале XX века она «дошла до точки».

В этом «планомерном» сведении на нет всего, что было в Петербурге исключительного и неповторимого, что делало из него подлинный мозг страны, не было — да и не могло быть — чьей-нибудь сознательной злой воли. Напротив, люди, так или иначе способствовавшие вырождению Петербурга, лично — невинны. Никто из них не отдавал себе отчета в деле своих рук. Каждому — от царя и его министров до эсеров, охотившихся за ними с бомбами, — искренне казалось, что они не пилят сук, на котором сидят, а, напротив, предусмотрительно окапывают тысячелетние корни «исторической России», удобряют каждый на свой лад почву, в которую эти корни вросли. Столица мельчала, обезличивалась, вырождалась — и люди, которые в ней жили, распоряжались, строили, «охраняли основы» или старались их подорвать, — тоже мельчали и вырождались. Никто уже не мог ничего поправить, никто не понимал безвыходного трагизма обстановки. За всех действовала, всем руководила судьба... если угодно, Рок.

Как бы там ни было, Петербург все быстрей и неудержимей катился по наклонной плоскости туда —

Где нас поджидала Чека...

* * *

...Главный фасад — на Неву — восхитительного здания Адмиралтейства застроили безобразным театром Неметти и другими

уродливыми доходными домами. Должно быть, Морское ведомство великой страны никак не могло обойтись без этой жалкой «доходной статьи»... На Невском, как грибы, вырастали одно за другим «роскошные» здания — настоящие «монстры», вроде магазина Елисеева или дома Зингера.

В последнем, между прочим, обосновался журнал, как нельзя более соответствующий и стилю здания и вообще захлестывавшей Петербург предреволюционных годов безвкусице. Вл. Крымов, издававший «Столицу и усадьбу», не мог пожаловаться на неуспех. Продавалась она нарасхват. Петербургские псевдоэстеты были в восторге от ее внешности, «роскошной» меловой бумаги, рекламных репродукций и столь же «роскошного» содержания, где разные «Юрочки» Беляевы, Агнивцевы и сам «редактор-издатель», нововременец второго разряда, изощрялись в одеколонно-парикмахерском снобизме.

Подзаголовок «Столицы и усадьбы» — «*Журнал красивой жизни*» — действительно не обманывал. Уже с объявления о подписке «красивая жизнь» властно вступала в свои права: «Контора: *в лифте* на четвертый этаж. Редакция — Каменный остров, *собственная вилла*!».

Знамение времени: в гостиных и кабинетах светских петербуржцев, где теперь искренне наслаждались этим, с позволения сказать «художественным», изданием, в 80–90-х годах лежал замечательный сомовский «Вестник изящных искусств» — предтеча «Старых годов». Теперь же «Старые годы», шедевр вкуса и знаний, расходился в ста экземплярах и существовал исключительно благодаря меценатству Вейнера. Тут уместно напомнить о трагической судьбе этого большого знатока искусства. Еврей по крови, он — большая редкость! — окончил Александровский лицей. И за эту «привилегию», которой очень гордился, заплатил жизнью: расстрелян большевиками как «глава» фантастического «заговора лицеистов».

* * *

Каменноостровский соединил Марсово поле с островами. Лучшего сочетания для гармонического расширения столицы нельзя было и придумать. Все было заранее «дано» — только

не порть! Элегантно выгнутый Троицкий мост соединял оба берега в самом широком, самом царственном месте Невы. За мостом обширная Петровская площадь и за ней — прямая, как по линейке прочерченная, линия проспекта — петербургские Champs-Elysées[38]!..

Но получилось не Champs-Elysées, не новый Невский, а какой-то средней руки берлинский «Damm»[39], вдобавок еще, в отличие от этих Damm'ов, как кишка, узкий. «Каменные нечистоты» — выражение Марселя Пруста — запакостили места, которые должны и могли бы стать одними из красивейших в столице.

Слева, между Петропавловскою крепостью и Кронверкским садом, вырос скульптурный ублюдок — памятник миноносцу «Стерегущему». Два бравых матроса с сусально-героическим выражением лиц стоят в натянутой позе натурщиков у открытого кингстона, из которого «бурно хлещет» бронзовая вода. На другой стороне площади — еще хуже. Рядом с очаровательной старинной церковью, вперемежку: «дворец» Николая Николаевича — серый цементный ящик, недоброй памяти кружевная, плюгаво-роскошная дача Кшесинской и позади их, поодаль, всех цветов радуги... мусульманская мечеть — не нашлось для нее другого места! И все это, именно вперемежку, вкось и вкривь, как чемоданы на вокзальном перроне...

* * *

Мне могут возразить: ну, так что же? Разве все это мешало Петербургу оставаться одной из прекраснейших столиц мира? Ведь уродовали и продолжают уродовать на все лады тот же Париж, к которому, кстати, и относится саркастическое выражение Марселя Пруста о «каменных экскрементах». Ведь все это не касается сути, а лишь наносные неудачные подробности, на которые и внимания обращать не следует.

Согласен. Петербург не изменился от этих «неудачных подробностей» и безвкусиц. Он остался по-прежнему прекрасным.

---

[38] Елисейские поля (*фр.*).

[39] Здесь: «проспект» (*нем.*).

Но не обращать на них внимания все-таки трудно. Дело с Петербургом обстояло несколько иначе, чем с Римом, Лондоном или Парижем. Повторяю, Петербург был на всю Россию, столь же бескрайнюю, как и бесформенную, — единственным городом имперски-великодержавного стиля. Петербург как бы являлся доказательством, что Россия, возглавляемая *такой* столицей, перестала быть Скифией или Московией — т. е. гигантской деревней, что она раз и навсегда свернула с ухабов своей былой проселочной дороги на широкий имперский тракт.

Так понимал значение Петербурга и *тот*, кто, его основав, «рукой железной Россию вздернул на дыбы», и *другой*, произнесший не в упрек, а в похвалу гению «саардамского плотника» эти слова. И поэтому каждый шрам пошлости, каждая болячка, безвкусица ощущались болезненно, как роковой симптом: «железная рука» разжимается, натянутая узда слабеет...

* * *

Смутное сомнение в стойкости и Петербурга и всей Петровской России зародилось одновременно с их основанием. И сомнение это вошло составной частью в русское мироощущение. Пушкин был только более — не по-славянски — сдержан, чем остальные. Но достаточно вспомнить «Медного всадника»...

Добро, строитель чудотворный.
Ужо тебе…

Памятники и дворцы, колонны и золотые купола... Император, двор, гвардия, двуглавый орел со скипетром и державой в когтистых лапах. Одним словом, «красуйся и стой»...

Но фундамент всего этого великолепия? Достаточно ли он укреплен, чтобы выдержать огромную тяжесть гранитной глыбы с Медным всадником в лавровом венце? Рука царя простерта в историческую даль, лицо обращено к заливу, к западу, к «окну в Европу». Но под копытами вздыбленного коня вьется змея. Раздавлена ли она навсегда? Вопрос. А если только придавлена! Если, на самом деле:

...Царь змею раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол.

Если эта змея (косности? азиатчины? былого «черного передела» и «красного петуха»? «грядущего сталинизма»?), притаившись, ждет только случая выскользнуть из-под копыт

...И нашу славу и державу
Возненавидеть до конца!

И тогда не «стоять и красоваться» — предстоит «блистательному Санкт-Петербургу», а быть ему «пусту».

Но — странное дело. Пока петербургская империя «стояла и красовалась», пока она расцветала и крепла — крепло и рожденное вместе с ней сомнение в ее будущем. И, напротив, когда она стала все быстрей и быстрей катиться к катастрофе — сомнение это начало бледнеть, улетучиваться, исчезать...

Как раз перед самым концом и те, кто еще держал «по инерции» узду империи, и те, кто готовились перехватить — или вырвать — ее из ослабевших, неумелых рук, неожиданно прониклись какой-то оптимистической самоуверенностью. И трон Николая II и председательское кресло ненавистного царю «толстяка Родзянко», уже готовясь вместе провалиться в тартарары, — вдруг стали казаться тем, кто на них восседал, весьма устойчивыми. Ни «с высоты престола», ни с «высоты думской трибуны», ни из комфортабельных кабинетов главарей кадетской партии, ни из-за немытых стекол эсеровских конспиративных квартир не стало видно смертельной опасности, нависшей над ними всеми, всеми вместе взятыми. Враждуя между собой, власть, легальная или полулегальная оппозиция и революционное подполье — в годы войны, в сущности, благодушно совпадали в ощущении «непоколебимой стойкости» и столицы и взнузданной ею навсегда «матушки России».

...Наши чудо-богатыри, разбив вероломных немцев, осуществят «заветную народную мечту» — Крест над св. Софией — и все само собой уладится, войдет в берега, все станет опять как при «миротворце-родителе»: «когда русский царь ловит рыбу», Европа — да и Россия, само собой разумеется, — «может подождать...»

Или вариант того же самого, но либерально-оппозиционный: «...наши доблестные войска в дружном единении с великими

демократиями Запада... исторические права России на проливы... Николая с царицей уберут. Михаил Александрович — конституционный регент. И все устроится, уляжется, все пойдет, как в Великобритании...»

Или же революционный вариант: «...освободившись от гнета самодержавия, свободный русский народ с удвоенной энергией... до победного конца... без аннексий и контрибуций... и все устроится: «хозяин земли русской» — Учредительное собрание, избранное прямым, всеобщим, тайным... провозгласит республику: Марк Вишняк будет председателем Палаты...»

* * *

Архитектурное совершенство Петербурга из года в год все больше искажал эклектический «разнобой», хотя город все еще продолжал оставаться чарующе-прекрасным. Еще зловеще-быстрей шел процесс распада и дезориентации во всех областях духовно-общественной жизни столицы.

Бурный напор этой жизни нисколько не падал, напротив, он все увеличивался. Но, как и застраиванье Петербурга роскошной безвкусицей, — все эти лекции, диспуты, премьеры, «литературные суды» — ярко свидетельствовали, что Петербург не расцветает, а дегенерирует, свидетельствовали о непрерывном ослаблении и чувства меры, и эстетического чувства, и ответственности, и нравственного здоровья...

Театры были всегда переполнены. В большинстве из них, кроме казенных «императорских», шли «передовые» пьесы. В одном — «Черные маски» или «Анатэма»[40], где действовали «души до рождения», «некто в сером» и «некто в черном». В другом — «Ставка князя Матвея»[41], где этот князь, правда, «за сценой», но весьма натурально кого-то насиловал. В третьем — «Забава дев»[42], где распевались куплеты:

Лебедь, рыба, рак, осел
Ищут все прекрасный пол.

---

[40] Леонида Андреева.

[41] Сергея Ауслендера.

[42] Михаила Кузмина.

Ах, зачем же нам даны
Лицемерные штаны!

В студии Мейерхольда — и актеры и актрисы играли с огромными лиловыми приклеенными носами. Журнал театрального искусства, издававшийся этим знаменитым режиссером, назывался — правда, по Гоцци, — «Любовь к трем апельсинам».

На ежедневно происходившие диспуты тоже ломилась толпа. Мест не хватало для желавших узнать «Куда мы идем?», «Виновата ли она?», «Любовь или самоубийство?», и т. д., и т. д. И так вплоть до остро щекочущего нервы зрелища на вернисаже выставки «Мира искусства». Там однажды нарядная публика «всего Петербурга», забыв о картинах, теснилась, напирая друг на друга, вокруг гладко выбритого элегантного господина с красной гвоздикой в петлице. Это был Борис Савинков, глава «боевой организации», заочно приговоренный к повешенью. Бесстрашие? Еще бы — и какое! Но можно ли представить себе в такой роли, скажем, Каляева? Невозможно! Так же, как нельзя вообразить Каратыгина играющим «князя Матвея». Или Льва Толстого, ведущего в «Религиозно-философском обществе» спор о «святости пола» с Мережковским и Розановым...

Кстати, как раз имя Розанова — пожалуй, самое характерное из прославленных «имен» предреволюционной эпохи. Были писатели более знаменитые широкой и всероссийской знаменитостью, но ни Леонид Андреев, ни Горький, ни Мережковский все-таки не имели розановского влияния и обаяния. Его одного постоянно называли гениальным. В книгах Розанова самые разные люди — особенно молодежь — искали и находили «ответы» — которых до него не нашли ни у Соловьева, ни у Толстого, ни у Достоевского, ни у кого.

Безо всяких сомнений — Розанов был писателем редкостно одаренным. Но что, в конце концов, он утверждал? Чему учил? С чем боролся? Что защищал? Какие выводы можно сделать, прочтя его всего — от «Детей лунного света» до «Апокалипсиса нашего времени»? Ничего, ничему, ни с чем, ничего, никаких! Любая его книга с тем же талантом и находчивостью «убедительно» противоречит другой, и каждая страница любой из этих

книг с изощренным блеском опровергает предыдущую или последующую страницу... Остается впечатление, как будто Розанов неизменно руководился советом одного из персонажей «Le rouge et le noir»[43]: «Если вы хотите поражать людей — делайте всегда обратное тому, чего от вас ожидают». Но стендалевский «prince Korasoff»[44], наставляя так Жюльена Сореля, имел в виду великосветских денди своей эпохи — занятие невинное. Розанов, пользуясь, как отмычкой, тем же приемом, овладевал и без того почти опустошенными душами, чтобы их окончательно, «навсегда» опустошить. Делал он это с поразительной умственной и литературной изобретательностью. В этом и заключался, пожалуй, «пафос» розановского творчества — непрерывно соблазнять, неустанно опустошать. Он был, повторяю, большим талантом и искусником слова. Но и был настоящим «профессионалом разложения» — гораздо более успешно, чем любой министр... или революционер, подталкивающий империю к октябрьской пропасти.

* * *

...В семнадцатом году, еще не понимая,
Что с нами будет, что нас ждет,
Шампанского бокалы поднимая,
Мы весело встречали Новый Год —

тот самый год, о котором пророчествовал Лермонтов:

...Настанет год, России страшный год,
Когда царей корона упадет...

Обыкновенно люди не ценят того, что им дано, — банальное —

Что имеем, не храним,
Потерявши, плачем.

---

[43] «Красное и черное» (*фр.*).

[44] «Князь Коразов» (*фр.*).

Но кому выпало счастье жить в «волшебном городе на берегах Невы», ценили его, гордились им и любили его —

Любили, как еще любили...

Анна Ахматова, сжимая тонкие руки под своей знаменитой «ложно-классической шалью», читала взволнованным, хватающим за сердце голосом:

...И ни на что не променяем пышный.
Гранитный город славы и беды,
Широкие, сияющие льды,
Торжественные черные сады
И голос Музы, еле слышный...

Ни на что... Ни за что... отзывалось во взволнованных сердцах слушателей.

«Еле слышный голос Музы», поющей о неизбежной гибели и беде, с годами начинал звучать все явственнее, прозрачная тень грядущей катастрофы, ложась на дворцы, площади и сады, все зловеще и ширилась и сгущалась. Быть может, никто не слышал голоса Музы, не видел зловещей тени так ясно, как поэт, предостерегавший:

...О, если б знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней...

Но пророческое предостережение казалось тогда только удачно найденными строками. «Дети страшных лет России» не верили ему. Никогда еще жизнь не казалась такой восхитительной, скользящей, ускользающей, нигде не дышалось так упоительно, так сладостно-тревожно, как в обреченном, блистательном Санкт-Петербурге.

...И этот воздух смерти и свободы,
И розы, и вино, и холод той зимы
Никто не позабыл, о, я уверен...

В те последние зимы

...От легкой жизни мы сошли с ума...

Да, несмотря на предчувствие гибели или, может быть, именно от этого предчувствия. Ведь

...Все то, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...

Очнулись только

...В черном бархате советской ночи...
...В трезвом, беспощадном свете дня... —

советского дня.

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем.

Или, говоря не столь поэтически, словно в нем мы потеряли все, для чего стоило жить.

Петербуржца Осипа Мандельштама, обещавшего нам это свидание, давно нет. О его трагической смерти известно только, что он выбросился из окна, чтобы избежать «окончательной ликвидации».

Словно звезды, встают пророчества,
Обрываются, не сбываются...

Не сбылось и это пророчество.

И все же,

Бывают странными пророками
Поэты иногда.

И слова поэтов иногда заключают в себе магическую силу. А вдруг это пророчество Мандельштама все же сбудется и

В Петербурге мы сойдемся снова?

Но кто же сойдется? Призраки? Ведь

Все, кто блистал в тринадцатом году,
Лишь призраки на петербургском льду...

Если не все, то почти все. Из всех блиставших тогда поэтов жива только одна Ахматова да еще... Я чуть было не закончил — и пишущий эти строки, — но вовремя спохватился. Ведь сказать

«я блистал» так же невозможно, как «я кушал». Известно, что глагол «кушать» спрягается так: я ем, ты кушаешь, вы кушаете...

Впрочем, «Пушкин — наше все», Пушкин, не только самый великий, но и самый петербургский из всех русских поэтов, дал нам пример обращения с этим неудобным глаголом:

...Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или *блистали*, мой читатель.
Там некогда *гулял* и я... —

значит, как глагол «кушать», так и глагол «блистать» спрягается своеобразно: я гулял, ты блистал, он, она, они блистали.

Заканчиваю свою фразу: из всех поэтов жива только блиставшая в Петербурге Анна Ахматова и когда-то гулявший в нем — я...

Да, как это ни грустно и ни странно — я последний из петербургских поэтов, еще продолжающий гулять по этой становящейся все более и более неуютной и негостеприимной земле.

Впрочем, если бы она и не была так негостеприимна и неуютна, вряд ли что-нибудь существенно изменилось бы для меня без Петербурга, вне Петербурга:

...Быть может, города другие и прекрасны,
Но что они для нас? Нам не забыть, увы,
Как были счастливы, как были мы несчастны
В волшебном городе на берегу Невы...

Литературная критика

«Стихи о России» Александра Блока

Мы и не подозревали, читая в каталогах об этой маленькой книжке «военных» стихов, что на серой бумаге, в грошовом издании, нас ожидает книга из числа тех, которые сами собой заучиваются наизусть, чьими страницами можно дышать, как воздухом...

Впрочем, в наше, хотя и чрезвычайно «эстетическое», но порядком безвкусное время появление «Стихов о России» никакого «события» не сделало. Книга вышла, критика дала о ней десяток рецензий, сочувственных, но в меру — и все («...да, конечно, Блок прекрасный поэт, но военные стихи, знаете, — такая область...» — вот содержание большинства рецензий). Нельзя даже обвинять людей, по бескорыстной любви к изящной словесности не поступивших в почтово-телеграфное ведомство, нельзя их, добродушных и тупых (присяжных идейных критиков), судить за нечуткость или непонимание! Слишком много «хладных трупов» удачно конкурирует в наши дни с истинными поэтами. Мы все привыкли быть ценителями великолепных фальсификаций, восхищаться отлично сработанными манекенами, так что с людей, «профессионально» тугих на ухо и близоруких, и спрашивать не приходится. И не все ли равно в конечном счете! Пусть осуждают за тенденцию или похлопывают Блока по плечу — «ничего, мол». Пусть их! Для тех, кто не разучился еще отличать поэзию от Игоря Северянина, «Стихи о России» — редкий и чудесный подарок.

Когда читаешь «Стихи о России», вспоминаются слова Валерия Брюсова (в авторском предисловии) о книгах, которые нельзя перелистывать, а надо читать, «как роман». «Стихи о России» не сборник последних стихотворений поэта. Это *изборник* — где рядом с новыми, впервые появляющимися стихами есть стихи, напечатанные уже несколько лет назад. И читаешь его не как роман, разумеется, но как стройную поэму, где каждое стихотворение — звено или глава. Открывается книга стихами о Куликовом поле:

На пути — горючий белый камень.
За рекой — поганая орда.

Светлый стяг над нашими полками
Не взыграет больше никогда...

Я — не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна.
Помни же за раннею обедней
Мила друга, светлая жена!

Этот цикл определяет тон всей книги — просветленную грусть и мудрую ясно-мужественную любовь поэта к России — даже такой:

Кладя в тарелку грошик медный,
Три, да еще семь раз подряд
Поцеловать столетний, бледный
И зацелованный оклад...

И под лампадой у иконы
Пить чай, отщелкивая счет,
Потом переслюнить купоны,
Пузатый отворив комод.

И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне... —
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

Просветленная грусть Блока нисколько не «нытье» и не истерия наших дней. Мы знаем, что все значительное в лирической поэзии пронизано лучами вековой грусти, грусти-тревоги или грусти-покоя — все равно. «Веселеньких» великих лирических произведений не бывало. Лучшие из них — «талантливы», «милы», лучшие — плоды остроумия, находчивости, беллетристической изобретательности. И разве может быть иначе, если самое имя этой божественной грусти — лиризм. Тайна лиризма постигается только избранными. Знает ее и Блок.

Мастерство Блока — не сухое мастерство ремесленника, до тонкости изучившего свое дело. Поэт пришел к совершенству не путем механической работы, не путем долбления экзерсисов (экзерсисы, впрочем, вещь полезная, и многим их можно только рекомендовать). Блок постиг тайну гармонического творчества силой своего творческого прозрения, той таинственной и чудесной силой, о которой в старину говорили: «Божья милость».

В «Стихах о России» — почти все совершенно. Как же, спросят нас, ведь это не сплошь новые стихи? Куда же делись промахи и срывы, несомненно большие в ранних стихах Блока? Да, и более всего безукоризненное мастерство поэта сказалось именно в плане книги. Выбор стихов сделан так, что мы иначе и не решаемся определить его, как «*провидение вкуса*».

В книге двадцати три стихотворения, и почти каждое — новый этап лирического познания России. От первых смутных и горьких откровений до заключительных строк:

И опять мы к тебе, Россия,
Добрели из чужой земли.

Такой большой и сложный путь, и каким убедительно-ясным и гармонически-законченным представляется он нам, когда, вслед за стихами о Куликовом поле, мы читаем «Русь», и дальше «Праздник радостный...», «Последнее напутствие» и, наконец, «Я не предал белое знамя...», заканчивающееся так[45]:

И горит звезда Вифлеема
Так светло, как любовь моя.

Подлинно — звезда горит, «как любовь», а не наоборот. Вынесенная из мрака и смуты, она светлей даже вифлеемской звезды!

А вот стихи:

Петроградское небо мутилось дождем,
На войну уходил эшелон.
Без конца — взвод за взводом и штык за штыком
Наполнял за вагоном вагон...

...И, садясь, запевали *Варяга* одни,
А другие — не в лад — *Ермака,*
И кричали *ура*, и шутили они,
Рот смеялся, крестилась рука.

---

[45] *Очень показательно, что Блок не включил в «Стихи о России» таких чудесных, но, несомненно, нарушивших бы стройность книги своею туманно-символической окраской стихотворений, как, например, «Девушка пела...».*

Вдруг под ветром взлетел опадающий лист,
Раскачнувшись, фонарь замигал,
И под черною тучей веселый горнист
Заиграл к отправленью сигнал.

Когда читаешь такие стихи, ясным становится, как, в конце концов, не нужны истинным поэтам все школы и «измы», их правила и поэтические «обязательные постановления».

Нет, не видно там княжьего стяга,
Не шеломами черпают Дон,
И прекрасная внучка варяга
Не клянет половецкий полон...

Нет, не вьются там по ветру чубы,
Не пестреют в степях бунчуки...
Там чернеют фабричные трубы,
Там заводские стонут гудки...

Это стихи символиста. Но какой реалист (я не о поклонниках Ратгауза, разумеется, говорю) не примет их? Какой акмеист не скажет, что они прекрасны? В «Стихах о России» нет ни одного «былинного» образа, никаких молодечеств и «гой еси». Но в них — Россия былин и татарского владычества, Россия Лермонтова и Некрасова, волжских скитов и 1905 года. Как фальшиво звучат рядом с этими подлинно народными стихами подделки наших поэтов под народную поэзию, с неизменными Ярилой, Ладою и Лелем. Как не нужна в сравнении с ними вся эта интеллигентская труха, частушка пополам с Кольцовым. Книга Блока — точно чистый воздух, от соприкосновения с которым рассыпаются в прах стилизаторские мумии «под народ».

Последние стихи Блока истинно классичны, но они нисколько не походят на те стихи Брюсова, например, которые «трудно отличить» от Пушкина или Жуковского. Это естественная классичность высокого мастера, прошедшего все искусы творческого пути. Некоторые из них стоят уже на той ступени просветления простоты, когда стихи, как песня, становятся доступными *каждому* сердцу.

Утонченное мастерство совпадает в «Стихах о России» со всем богатством творческого опыта. *Любовь*, мука, мудрость,

вся сложность чувств современного лирика соединены в них с величественной, в веках теряющейся духовной генеалогией. Старая истина — что современникам трудно и невозможно, пожалуй, верно оценить поэта, с точностью определить удельный вес его творчества. Но что Блок не просто «мастер чеканной формы», а явление одного порядка с теми, «чьи имена звучат нам, как призывы», — после выхода «Стихов о России» можно сказать с уверенностью.

P. S. Один сердито и пространно полемизирующий с нами критик из толстого журнала по поводу статей наших о «военной поэзии» между прочим говорит: «Отмечу, что наиболее талантливый и искренний из наших символистов, А. Блок, целомудренно молчал на тему о войне». Козырь почтенного критика оказался битым. *Молча* Блок подготовлял именно книгу «военных стихов», — мы смело скажем — лучшую свою книгу.

Н. Гумилев в прекрасном стихотворении о войне восклицает:

Чувствую, что скоро осень будет,
Солнечные кончатся труды,
И от древа духа снимут люди
Золотые, зрелые плоды.

Вот он, первый, тяжелый, золотой — уже упал на землю с отягченных дозревающими плодами могучих ветвей «древа духа»!

О поэзии Н. Гумилева

«Огненный столп» Н. Гумилева более, чем любая из его предыдущих книг, полна напряженного стремления вперед по пути полного овладения мастерством поэзии в высшем (и единственном) значении этого слова.

Я помню древнюю молитву мастеров...

Так начинается одно из центральных по значению стихотворений «Огненного столпа». Стать мастером — не формы, как любят у нас выражаться, а подлинным мастером поэзии, человеком, которому подвластны *все* тайны этого труднейшего из искусств, — Гумилев стремится с первых строк своего полудетского «Пути конквистадоров», и «Огненный столп» красноречивое

доказательство того, как много уже было достигнуто поэтом и какие широкие возможности перед ним открывались.

Если мы проследим пройденный Гумилевым творческий путь, мы не найдем на всем его протяжении почти никаких отклонений от раз поставленной цели. Стремление к ней, сначала инстинктивное, с годами делается все более сознательным и волевым. Цель эта — поднять поэзию до уровня религиозного культа, вернуть ей, братающейся в наши дни с беллетристикой и маленьким фельетоном, ту силу, которою Орфей очаровывал даже зверей и камни.

В этом пафос поэзии Гумилева, в этом смысл ее для самого поэта. Читателю, ищущему в стихах только державинского сладкого лимонада или гражданской микстуры (а как близко к 100 % число таких читателей, мы знаем), — эти замыслы казались только красивой позой. И какой бы литературный успех ни сопровождал Гумилева, в самом этом успехе таилась бы глубокая взаимная рознь — между поэтом, ставящим себе такие задачи, и его пестрой и случайной аудиторией.

Н. Гумилев сознавал это чрезвычайно остро, и вся его критическая, лекционная, студийная работа была целиком направлена на воспитание кадров читателей, способных воспринимать его.

В первых книгах Гумилева — «Пути конквистадоров», романтических «Цветах» и «Жемчугах» — основная идея его творчества уже выражена отчетливо и ярко, но образы, пленяющие поэта, слишком театральны, поза слишком красива и обдуманна, чтобы быть естественной. Богатство мира еще ассоциируется им с богатством в его материальном представлении. Пальмы, жирафы, львы, герои древности, сверхчеловеческие доблести и пороки — заполняют собой страницы первых книг Гумилева. Реакцией против этой безудержной экзотики является «Чужое небо», где голос Гумилева становится много сдержанней, человечней и естественней, нисколько не теряя богатства интонаций. «Колчаном» завершается работа, начатая в «Чужом небе». Повязка окончательно падает с глаз поэта — он видит мир таким, как он есть:

Ни шороха полночных далей,
Ни песен, что певала мать,

Мы никогда не понимали
Того, что стоило понять.

В этих строках не только залог полного преодоления эстетизма, но и открытый путь к лирике, до сих пор поэту недоступной.

«Костер», «Фарфоровый павильон», «Африканская поэма», «Миг», «Шатер» — уверенные шаги по пути, намеченному «Чужим небом». По ним мы можем следить за теми или иными уклонами творчества поэта, но его художественное восприятие остается неизменным.

Возвращаясь к «Огненному столпу», которому суждено было стать последним сборником поэта, можно сказать, что это — достовернейшая, но вряд ли самая сильная из книг Гумилева. Зная все его творчество, мы знаем, что он почти всегда находил удачное разрешение поставленных себе задач. Аналогия с «Чужым небом» здесь вполне уместна. Наступление в недоступные еще поэту области было начато в «Чужом небе», но достижения совершенной победы собраны не в нем, а в более отстоявшихся «Колчане» и «Костре». Так и здесь — целый ряд ритмических, композиционных и эйдологических завоеваний намечается в «Огненном столпе», но вчерне, наспех, в горячке созидания, и поэтому местное значение многих (составляющих ядро сборника) стихотворений не соответствует их самодовлеющей ценности.

В защиту Ходасевича

Еще недавно, в «Тяжелой лире», Ходасевич обмолвился:

Ни грубой славы, ни гонений
От современников не жду.

Казалось — именно так. Казалось — Ходасевич, поэт, еще до войны занявший в русской поэзии очень определенное место, вряд ли в ней когда-нибудь «переместится», все равно как, гонимый или прославленный. Не такого порядка была природа его поэзии.

Прилежный ученик Баратынского, поэт сухой, точный, сдержанный — Ходасевич уже в вышедшем в 1914 году «Счастливом

домике» является исключительным мастером. Последующие его книги — «Путем зерна» и особенно «Тяжелая лира» — в этом смысле еще удачнее. С формальной стороны это почти предел безошибочного мастерства. Можно только удивляться в стихах Ходасевича единственному в своем роде сочетанию ума, вкуса и чувства меры. И, если бы значительность поэзии измерялась ее формальными достоинствами, Ходасевича следовало бы признать поэтом огромного значения...

Но можно быть первоклассным мастером и остаться второстепенным поэтом. Недостаточно ума, вкуса, уменья, чтобы стихи стали той поэзией, которая хоть и расплывчата, но хорошо все-таки зовется поэзией «Божьей милостью». Ну конечно, прежде всего должны быть «хорошие ямбы», как Рафаэль прежде всего должен уметь рисовать, чтобы «музыка», которая есть у него в душе, могла воплотиться. Но одних ямбов мало. «Ямбами» Ходасевич почти равен Баратынскому. Но ясно все-таки «стотысячеверстное» расстояние между ними. С Баратынским нельзя расстаться, раз «узнав» его. С ним, как с Пушкиным, Тютчевым, узнав его, хочется «жить и умереть». А с Ходасевичем...

Перелистайте недавно вышедшее «Собрание стихов», где собран «весь Ходасевич» за 14 лет. Как холоден и ограничен, как скуден его внутренний мир. Какая нещедрая и непевучая «душа» у совершеннейших этих ямбов. О да, — Ходасевич «умеет рисовать». Но что за его уменьем? Усмешка иронии или зевок смертельной скуки:

Смотрю в окно — и презираю.
Смотрю в себя — презрен я сам.
На землю громы призываю,
Не доверяя небесам.
Дневным сиянием объятый,
Один беззвездный вижу мрак...
Так вьется на гряде червяк,
Рассечен тяжкою лопатой.

Конечно, Ходасевич все-таки поэт, а не просто мастер-стихотворец. Конечно, его стихи все-таки поэзия. Но и какая-нибудь тундра, где только болото и мох, «все-таки» природа,

и не ее вина, что бывает другая природа, скажем, побережье Средиземного моря...

...Ни грубой славы, ни гонений
От современников не жду...

Казалось бы — именно так. Неоткуда, не за что. Но Ходасевич ошибался. В наши дни, в эмиграции, к нему неожиданно пришла «грубая слава». Именно «грубая», потому что основанная на безразличии к самой сути его творчества.

* * *

Неожиданно для себя выступаю как бы «развенчивателем» Ходасевича. Тем более это неожиданно, что я издавна люблю его стихи (еще в России, где любивших Ходасевича можно было по пальцам пересчитать и в числе которых не было никого из нынешних его «прославителей»). Люблю и не переставал любить. Но люблю «трезво», т. е. ценю, уважаю, безо всякой, конечно, «влюбленности», потому что какая же влюбленность в «дело рук человеческих», в мастерство. И нет, не развенчивать хочу, но, трезво любя, трезво уважая, даже преклоняясь, вижу в хоре «грубых» восхвалений — новую форму безразличия, непонимания...

Прежде: Борис Садовской, Макс Волошин, какой-нибудь там Эллис, словом, второй ряд модернизма и — Ходасевич.

Теперь: Арион эмиграции. Наш поэт после Блока. Наш певец.

В новой форме — то же искажение.

Как не вспомнить тут словцо одного «одиозного» критика: «Ходасевич — любимый поэт не любящих поэзии». Пусть простят меня создатели вокруг имени Ходасевича «грубой славы». Да, поэзии они, должно быть, не любят, к ней безразличны. Любили бы — язык бы не повернулся сопоставить Ходасевич — Блок. Не повернулся бы выговорить: Арион.

Но не любят, равнодушны, и поворачивается с легкостью.

«Арион эмиграции». О чем же поет этот «таинственный певец», суша «влажную ризу» на чужом солнце? Какую «радость» несет его песня?

Гляжу в окно — и презираю.
Гляжу в себя — презрен я сам...

...Так вьется по земле червяк,
Рассечен тяжкою лопатой.

Арион, таинственный пушкинский певец? Арион, Душа пушкинской (вселенской) поэзии?

...Она, да только с рожками,
С трясучей бородой...

В статье «Поэзия Ходасевича» В. Вейдле пишет:

«...Поэзия (Ходасевича), от которой отвернуться нельзя, которую нельзя одобрить и на этом успокоиться.

...Не стихи, которые могут писать мастера и ученики... а другие, способные сделаться для нас тем, чем сделались в свое время для нас стихи Блока.

...Впрочем, быть может, надо еще объяснить кому-нибудь, что нас связывает с этим поэтом?..»

Мережковский обмолвился: «Арион эмиграции». Антон Крайний поставил вопросительный, правда, до чрезвычайности вопросительный, знак равенства Ходасевич — Блок. В. Вейдле в обстоятельной статье подводит под эти обмолвки кропотливый многотрудный фундамент. Но обмолвиться много проще, чем «научно обосновать». Да и как обосновать и оправдать в поэзии отсутствие тайны, «крыльев» (Вейдле сам признается: «бескрылый гений»). Как заставить полюбить... отсутствие любви, полное, до конца, к чему бы то ни было? Как скрыть, замаскировать глубочайшую скуку, исходящую от всякой «бескрылости» и «нелюбви»?

Да, критик прав: конечно, ученики так не пишут, на то они и ученики, а Ходасевич первокласснейший мастер. Но для прилежного, умного ученика поэзия эта не является недостижимым образцом. Все дело в способностях и настойчивости. Да, «Ходасевичем» можно «стать». Трудно, чрезвычайно трудно, но можно. Но Ходасевичем — не Пушкиным, не Баратынским, не Тютчевым... не Блоком. И никогда поэтому стихи Ходасевича не будут тем, чем были для нас стихи Блока: они органически на это неспособны.

Поэзия Блока прежде всего чудесна, волшебна, происхождение ее таинственно, необъяснимо ни для самого поэта, ни для тех, для кого она чем-то стала.

Блок явление спорное. Сейчас еще трудно сказать, преувеличивает ли его значение поколение, на Блоке воспитанное, или (как иногда кажется), напротив, — преуменьшает. Но одно ясно: стихи Блока — «растрепанная» путаница, поэзия взлетов и падений, и падений в ней, конечно, в тысячу раз больше. Но путаница эта вдруг «как-то», «почему-то» озаряется «непостижимым уму», «райским» светом, за который прощаешь все срывы, после которого пресным кажется «постижимое» совершенство. Этому никакой ученик не может научиться и никакой мастер не может научить. Да, «таким был для нас Блок», и никогда не был, никогда не будет Ходасевич.

Кстати, начав свою статью высокомерным: «...Впрочем, может быть, нужно еще объяснить кому-нибудь...», — В. Вейдле, после подробнейших и обстоятельнейших объяснений на протяжении целого печатного листа, кончает ее гораздо менее уверенно: «...Быть может, это теперь яснее, хотя именно потому, что это правда, это так трудно объяснить, именно потому, что мы все так близки к нему, нам трудно его показать друг другу...».

Короче говоря:

— Поверьте, господа, на честное слово.

* * *

И кому, в самом деле, все это понадобилось? Меньше всего, конечно, самому поэту. Ходасевич не заменит нам Блока, «нашим» поэтом не станет. Но поэзия его была и останется образцом ума, вкуса, мастерства, редким и замечательным явлением в русской литературе.

В. Сирин «Машенька». «Король, дама, валет». «Защита Лужина». «Возвращение Чорба»

Имя В. Сирина мелькает уже давно в газетах и журналах, но только в последнее время о Сирине «заговорили». Заговорили, главным образом, в связи с его двумя последними романами — «Король, дама, валет», вышедшим в 1928 году, и «Защита Лужина», печатающимся в «Современных записках».

В «Короле, даме, валете» старательно скопирован средний немецкий образец. В «Защите Лужина» — французский. Это очевидно, это бросается в глаза — едва перелистаешь книги. И секрет того, что главным образом пленило в Сирине некоторых критиков, объясняется просто: «Так по-русски еще не писали». Совершенно верно, — но по-французски и по-немецки так пишут почти все... Что до того — все-таки критика пленена — она от века неравнодушна к «новому слову» — особенно, если «новизна» эта оказывается ручной, доступной, общепонятной... Г. Адамович резонно указал, что «Защита Лужина» могла бы появиться слово в слово в «Nouvelle revue française» и пройти там никем не замеченной в сером ряду таких же, как она, «средних» произведений текущей французской беллетристики. Но «Nouvelle revue française» у нас никто не читает, а по-русски... «по-русски так еще никто не писал».

Не принадлежа к числу людей, которым одно обстоятельство, что «так еще не писали», кажется многообещающим или хотя бы просто привлекательным, я все же с большим вниманием прочел все написанное Сириным — внимание он, конечно, останавливает. Я сказал бы больше — он возбуждает и доверие к себе и некоторые надежды... покуда читаешь лучшую (неоконченную еще) его вещь — «Защиту Лужина». Оригинал (современные французы) хорош, и копия, право, недурна. От «Короля, дамы, валета» — тоже очень ловко, умело, «твердой рукой» написанной повести — уже слегка мутит: слишком уж явная «литература для литературы». Слишком «модная», «сочная» кисть, и «темп современности» чрезмерно уловляется по последнему рецепту самых «передовых» немцев. Но и «Король, дама, валет», хотя и не искусство и не «вдохновение» ни одной своей строкой (как и «Защита Лужина»), — все-таки это хорошо сработанная, технически ловкая, отполированная до лоску литература и как таковая читается с интересом и даже с приятностью. Но увы — кроме этих двух романов у Сирина есть «Машенька». И, увы, кроме «Машеньки» есть лежащая сейчас передо мной, только что вышедшая книга рассказов и стихов «Возвращение Чорба». В этих книгах, до конца, как на ладони, раскрывается вся писательская суть Сирина. «Машенька»

и «Возвращение Чорба» написаны до счастливо найденной Сириным идеи перелицовывать «наилучшие заграничные образцы», и писательская его природа, не замаскированная заимствованной у других стилистикой, обнажена в этих книгах во всей своей отталкивающей непривлекательности.

В «Машеньке» и в «Возвращении Чорба» даны первые опыты Сирина в прозе и его стихи. И по этим опытам мы сразу же видим, что автор «Защиты Лужина», заинтриговавший нас мнимой случайностью своей мнимой духовной жизни, — ничуть не сложен, напротив, чрезвычайно «простая и целостная натура». Этот знакомый нам от века тип способного, хлесткого пошляка-журналиста, «владеющего пером» на страх и Удивление обывателю, которого он презирает и которого он есть плоть от плоти, «закручивает» сюжет с «женщиной», выворачивает тему, «как перчатку», сыплет дешевыми афоризмами и бесконечно доволен.

Довольны и мы. То инстинктивное отталкивание, которое смутно внушал нам Сирин, несмотря на свои Кажущиеся достоинства, — определено и подтверждено. В кинематографе показывают иногда самозванца-графа, втирающегося в высшее общество. На нем безукоризненный фрак, манеры его «верх благородства», его вымышленное генеалогическое древо восходит к крестоносцам... Однако все-таки он самозванец, кухаркин сын, черная кость, смерд. Не всегда, кстати, такие самозванцы непременно разоблачаются, иные так и остаются «графами» на всю жизнь. Не знаю, что будет с Сириным. Критика наша убога, публика невзыскательна, да и «не тем интересуется». А у Сирина большой напор, большие имитаторские способности, большая, должно быть, самоуверенность... При этих условиях не такой уж труд стать в эмигрантской литературе чем угодно, хоть «классиком». Впрочем, это уже вне моей темы, ибо вне литературы, в ее подлинном, «не базарном» смысле.

«Машенька» и рассказы Сирина — пошлость не без виртуозности. «Покатилась падучая звезда с неожиданностью сердечного перебоя», «Счастье и тишина, а ночью рыжий пожар, рассыпанный на подушке», и т. п. Стихи просто пошлы. Князь Касаткин-Ростовский, Ратгауз (в лирическом плане), Саша Черный

(когда Сирин хочет иронизировать), Дмитрий Цензор (вот кого приходится вспоминать в 1930-м году, — когда он чувствует желание быть модернистом). Интересное все-таки духовное родство у автора «Защиты Лужина», новатора-европейца и надежды эмигрантской литературы! Впрочем, Сирин человек способный и если постарается, то легко перещеголяет своих поэтических учителей — как перещеголял уже прозаических: Анатолия Каменского, Б. Лазаревского, каких-то второстепенных «эстетов», изысканные новеллы которых в доброе старое время издавала «Нива». Только стоит ли стараться: и без этого один критик уже объявил о нем авторитетно: «исключительный мастер стиха».

В этом номере «Чисел» как раз помещены вещи двух авторов: Ю. Фельзена и Г. Газданова, творчество которых развивалось под знаком той же новой французской литературы, имитатором которой показал себя Сирин в «Защите Лужина». В ближайшее время выйдут и романы этих обоих авторов. И Ю. Фельзен и Г. Газданов — бесконечно далеки по самому своему существу от того, что делает Сирин. Их связь с французской литературой — органическая и творческая связь. Лично я убежден, что (читатель их) примет скверно. Инстинкт великое дело — у людей антитворческих есть свой особый инстинкт, развитой чрезвычайно, как нюх у собак. Инстинктом они сейчас же чуют голос подлинного искусства и сейчас же враждебно на него настораживаются. Сирины в этом смысле бесконечно счастливее Фельзенов — у первых всюду инстинктивные друзья, у вторых повсюду инстинктивные вековечные враги.

К юбилею В. Ф. Ходасевича

Привет читателя

Чествование В. Ф. Ходасевича по случаю его двадцатипятилетнего юбилея явилось несколько неожиданным для широкой массы читателей. С понятием юбилея обычно связано представление о если и не двадцатипятилетней, то достаточно долгой и прочной известности (как то, например, имело место с чествованием Бориса Зайцева, которого все знали и ценили еще задолго до войны), имя же В. Ходасевича и его высокополезная

деятельность приобрели известность вне узкого круга профессионалов-литераторов почти исключительно в эмиграции. Тем более, конечно, была своевременной и удачной мысль организовать это чествование, с одной стороны, напоминающее о четвертьвековой ценной и высокополезной деятельности писателя, к сожалению, долгое время принужденного видеть к себе недостаточное внимание, с другой — поясняющая тем из читателей Ходасевича, которые были в этом недостаточно осведомлены, что перед ними не относительный новичок, а маститый писатель с четвертьвековым разнообразным стажем.

Недостаток места лишает нас возможности остановиться здесь на четвертьвековой ценной и высокополезной деятельности юбиляра с той обстоятельностью, которой эта деятельность заслуживает. Пишущий эти строки рассчитывает исправить в ближайшем будущем этот пробел — в подготовляемой им к печати статье о творчестве Ходасевича, пока же, вместе с наилучшими и искренними пожеланиями юбиляру, ему остается попытаться в самых общих чертах набросать его литературный облик так, как он сложился за двадцать пять лет ценной и высокополезной работы.

Первая книга Ходасевича «*Молодость*» вышла в 1908 году, и уже в этой прекрасной книге многие основные черты дарования поэта просвечивают с достаточной определенностью. Черты эти прежде всего выражаются в умении перенять структуру, тон, интонацию чужой, более мощной поэзии, но перенять с таким тонким искусством, что заимствование почти приобретает вес первоисточника и почти заставляет нас забывать о том, что оно светится не своим, а отраженным светом. Этот редкий, особенно в русской поэзии, дар свойственен В. Ходасевичу в высшей мере, и, как справедливо отметил Андрей Белый в статье, положившей начало нынешней известности Ходасевича, его творчество напоминает «тетрадку еще не напечатанных стихов Баратынского или Тютчева». Слова Белого относятся к позднейшим, наиболее зрелым и отточенным созданиям Ходасевича, но, с естественной поправкой на большую или меньшую опытность автора, — слова эти могут быть полностью отнесены ко всему

написанному Ходасевичем, начиная с его самых ранних стихов. С годами тщательной ювелирной работы над стихом, над словом, над точностью рифм и ясностью образов — качество поэзии Ходасевича неуклонно возрастало, но то, что составляет ее основу, было дано уже в самых ранних стихах, а начиная с книги «*Счастливый домик*» (1910) определилось полностью и, по-видимому, навсегда.

«Счастливый домик» — книга поистине прекрасных и непревзойденных в тонкости и чеканной отделке вариаций тем и интонаций наиболее крупных русских поэтов, мало замеченная читающей публикой, — был, однако же, сразу оценен знатоками поэзии, даже в то, исключительно богатое поэтическими дарованиями, время. С выходом «Счастливого домика» Ходасевича отзывами авторитетных критиков (Брюсова и др.) сразу ставят в один ряд с такими величинами, как С. Соловьев, Б. Садовской, Эллис, Тиняков-Одинокий, ныне полузабытыми, но в свое время подававшими большие надежды. Еще выше ставили Ходасевича поэты петербургской школы, и, например, покойный Гумилев неоднократно указывал на Ходасевича как на блестящий пример того, какого прекрасного результата можно достичь в стихотворном ремесле вкусом, культурностью и настойчивой работой.

Попутно со стихами Ходасевич пишет статьи, заметки, работает над изучением творчества Пушкина и других поэтов, так тесно связанных с его личным творчеством, сообщая этим трудам тот же, что и в его стихах, налет изящества и трудолюбия. Характер его деятельности и степень его известности не изменяет и наступление войны. Правда, и он не избежал общего в те дни увлечения военными темами, но — и это характерно для его избегающего дешевых эффектов и непосильных задач дарования, — в то время, как другие бряцали оружием и извергали громы, Ходасевич написал несколько пьес, где война изображена в представлении наблюдающих за ней из своего подполья скромных серых мышек. Нечего удивляться, хотя и стоит пожалеть, что этот мышиный цикл, принадлежащий, кстати, к наиболее удачным созданиям

Ходасевича, потонул незамеченным в громах и бряцаниях поэзии военной, точно так же, как тонул до тех пор сдержанный голос его музы среди голосов других поэтов, более сильных, а порой и просто более крикливых.

Более заметной становится деятельность Ходасевича только со времени большевистского переворота. Писатель становится близок к некоторым культурно-просветительным кругам (О. Каменевой и др.), занимает пост заведующего московским отделением издательства «Всемирная литература», Госиздат издает его книги и проч.

В 1922 г. В. Ходасевич уезжает в заграничную командировку и вступает в число ближайших сотрудников издаваемого Горьким журнала «Беседа», где и появляется вскоре упомянутая выше статья Белого, давшая первый толчок к должному признанию ценной и высокополезной деятельности Ходасевича. С 1925 года Ходасевич окончательно порывает с Советской Россией, расстается с Горьким и делается помощником литературного редактора «Дней», возобновленных А. Ф. Керенским в Париже. Имя Ходасевича все чаще начинает мелькать на страницах зарубежных изданий, и вскоре интерес к его поэзии настолько вырастает, что возникает потребность к переизданию его последних книг — «Путем зерна» и «Тяжелой лиры», что и исполняется (с включением нескольких написанных уже в эмиграции стихотворений) в 1928 году газетой «Возрождение», ближайшим сотрудником которой к этому времени становится Ходасевич.

В связи со статьями некоторых критиков, посвященными указанному собранию стихов Ходасевича, одно время возникает опасность как бы вторичной несправедливости по отношению к поэту — вслед за продолжительным периодом равнодушия и непонимания возникает опасность переоценки значения его творчества, вплоть до такой очевидной нелепости, как приравнение ценной и высокополезной, но скромной по самой своей природе поэзии Ходасевича чуть ли не к самому Блоку. Это досадное преувеличение, досадное, конечно, прежде всего самому поэту, примером всей своей четвертьвековой деятельности

выказавшему ясное понимание того скромного, хотя и в высшей степени почетного места, которое он призван занимать в русской поэзии. Преувеличение это следует отнести не только за счет нечуткости некоторых критиков, но и за счет наивного, продиктованного своеобразным эмигрантским патриотизмом желания иметь во что бы то ни стало «собственных Вольтеров и Расинов». К чести большинства истинных почитателей Ходасевича, истинных, потому что любящих его за то, что в нем есть, и не приписывающих ему то, чего он не имеет, — преувеличения отдельных лиц не изменили прочно установившейся в культурных кругах правильной оценки поэта, и сами собой сошли на нет.

Именно так — теплым признанием скромных заслуг, заслуженным, прочным, чуждым неуместных фанфар, было отмечено торжество недавнего юбилея. И знаменательно искренне и верно прозвучали слова самого юбиляра в ответ на речь одного из приветствовавших его: «Мы люди маленькие, наша задача — охранять русский язык».

Маленькие люди творят великую культуру! Творя в меру своих сил скромное, но ценное и высокополезное дело, такие поэты, как Ходасевич, не меньше нужны в литературе, чем большие таланты, «жгущие глаголом сердца». Они действительно охраняют русский язык, действительно берегут великие, созданные другими ценности, и в этом смысле будет и правильно и справедливо — рядом с блистательным именем Блока сохранить в истории литературы и скромное имя Ходасевича.

Борис Поплавский. «Флаги»

Издательство «Числа». Париж. 1931

Перечитывая теперь стихи Бальмонта или, скажем, Сергея Городецкого, те самые стихи, появление которых вызвало в свое время столько восторгов и создало этим поэтам славу, — искренне недоумеваешь, что в них нашли люди, ими восхищавшиеся, люди, о которых мы знаем, что они и любили поэзию

и понимали ее. Они же «открыли» и Блока, и Анненского, и Сологуба. В свою очередь, через двадцать лет над нашими оценками будут так же недоумевать. Это вполне естественно. Современников поражает в поэзии прежде всего элемент «*новизны*», и поскольку новизна эта (хотя бы чисто внешняя, даже просто мнимая) соединена с литературной талантливостью, действие ее на тех, кому впервые приходится с ней столкнуться, — почти всегда неотразимо. Уже на моей памяти Сологуб был совершенно очарован «поэзами» Северянина, носился с ними, называл их гениальными, писал в предисловии к ним: «Люблю грозу в начале мая — люблю стихи Игоря Северянина», хотя, казалось бы, ничто не могло быть более чуждо такому утонченному мастеру и такому глубокому человеку, как Сологуб, чем разные «вонзите штопор в упругость пробки», столь же даровитые «физически», сколь лишенные и отдающего себе отчета мастерства, и человеческого содержания, и глубины, даже глубины пошлости (есть и такая). Но вот и Сологуб обманулся — и его увлекла новизна. За ней — даже он — не увидел недостатков, столь очевидных и столь неоспоримых, что никакая «свежесть» и литературная даровитость не могли их хоть отчасти оправдать. Все это я напоминаю себе и тем читателям, которые со мной согласятся, чтобы, говоря о Поплавском, попытаться избегнуть той же ошибки.

«Люблю грозу в начале мая — люблю стихи Бориса Поплавского!» — невольно хочется повторить, и для того, чтобы постараться проверить это слепое ощущение «любви», надо сделать усилие над собой: очарование стихов Поплавского — очень сильное очарование.

Конечно, и их очарование прежде всего — очарование новизны. К чести Поплавского (и тех, кого его стихи привлекают), новизна эта меньше всего заключается в блеске каких-нибудь новых приемов, либо изобретенных в поту и потугах (как у футуристов, имажинистов, нынешнего Сельвинского), или созданных детски-непосредственно, вдохновенно, в своем роде действительно «гениально», как у того же Северянина, но — все равно — «приемов», и этим все сказано. Если из поэтического

опыта последней четверти века можно сделать полезный вывод, то вывод этот, конечно, тот, что все внешние «достижения» и «завоевания» есть нелепость и вздор, особенно в наши дни, когда поэзия, словно повинуясь приказу:

...Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись! —

стремится — почти до самоуничтожения — сделать свою метафизическую суть как бы обратно пропорциональной ее воплощению в размерах и образах. Настоящая новизна стихов Поплавского заключается совсем не в той «новизне» (довольно, кстати, невысокого свойства), которая есть и в его стихах и которой, очень возможно, сам поэт и придает значение, хотя совершенно напрасно. Ни то, *что* показано в стихах Поплавского, ни то, *как* показано, не заслуживало бы и десятой доли внимания, которого они заслуживают, если бы в этих стихах почти ежесекундно не случалось — необъяснимо и очевидно — действительное чудо поэтической «вспышки», удара, потрясения, того, что неопределенно называется frisson inconnu[46], чего-то и впрямь схожего с майской грозой и чего, столкнувшись с ним, нельзя безотчетно не полюбить. Во «Флагах» Поплавского frisson inconnu ощущается от каждой строчки, и, я думаю, надо быть совершенно невосприимчивым к поэзии, чтобы, едва перелистав книгу Поплавского, тотчас же, неотразимо, это не почувствовать.

Но в чем же это очарование и, главное, в чем его ценность для нас? Есть ли это «гроза в начале мая», все та же, что когда-то у Северянина или Бальмонта, так же, как гроза, мгновенно радующая и так же бесследно растворяющаяся в мире, часть внешней прелести которого она составляет, не меняя и не «устраивая» в нем ничего, даже не покушаясь на это? Или же это очарование поэзии, в ее ином, вечном смысле? Вопрос легко поставить — ответить на него почти невозможно иначе, как спрашивая лишь у своей «поэтической совести» и полагаясь только на нее.

---

[46] неведомый трепет (*фр.*).

По совести отвечаю. Да — в грязном, хаотическом, загроможденном, отравленном всяческими декадентствами, бесконечно путаном, *аморфном* состоянии стихи Поплавского есть проявление именно того, что единственно достойно называться поэзией, в неунизительном для человека смысле. Не «гроза», и не «лунная ночь», и не ребячески-дикарско-животное их преломление (степень физической талантливости *ничего* не меняет), а нечто свойственное человеку и только человеку, нечто, при всей своей «бессознательности» и «безволии», проистекающее прямо (и исключительно) от крайнего и высшего напряжения сознания и воли («бессознательное» уже «вторично»), — на границе бессмертия — как бы крайняя точка прямой, на противоположном конце которой сосредоточено все «первичное», в том числе и всяческие «грозы» — внешняя прелесть жизни, переходящая в смерть, вернее, в *тлен*.

Все «первичное» вообще не имеет большой цены, не имеют большой цены и те «комплименты», которые можно сделать Поплавскому как поэту, занявшему в новой русской поэзии такое исключительное место. Занял он его по праву. Силу «нездешней радости», которая распространяется от «Флагов», — можно сравнить безо всякого кощунства с впечатлением от симфоний Белого и даже от «Стихов о Прекрасной Даме». В этом лестном сравнении заключена и возможная судьба его поэзии. Блок, написав «Стихи о Прекрасной Даме» (да и ряд других книг), еще далеко не стал Блоком в том смысле, в каком теперь — навсегда — он есть для нас. Не стань он тем, чем есть (какой ценой, все знают), — ничего или почти ничего не осталось бы и от очарования его первых стихов. Белый на наших глазах превратился в ничто, хотя «отпущено» ему было не меньше, чем Блоку, возможно, что и больше. К этому надо прибавить, что «свободный выбор» играет в таких вещах роль далеко не решающую, хотя он и необходим. Притча о талантах тоже совсем не значит, что «терпение и труд — все перетрут», хотя труда надо очень много и терпения еще больше, чтобы сделать дело поэта — создать «кусочек вечности» ценой гибели всего временного, — в том числе нередко и ценой собственной гибели.

О Гумилеве

...Наше время — тяжелое бремя,
Трудный жребий дала нам судьба,
Чтоб прославить на краткое время
Нет, не нас — только наши гроба.
……………………………………………
Но, быть может, подумают внуки,
Как орлята, тоскуя в гнезде, —
Где теперь эти крепкие руки,
Эти души орлиные где!

Гумилев. « Чужое небо»

Был не жаркий, только теплый, только солнечный август 1921 года. Гумилев вернулся в Петербург из путешествия по югу России. Он ходил по городу загорелый, поздоровевший и очень довольный. В его жизни — он говорил — наступила счастливая полоса: вот и поездка в Крым, устроившаяся фантастически-случайно, была прекрасна, и новая квартира, которую нашел Гумилев, очень ему нравилась, и погода — «посмотрите, что за погода!».

Литературные дела тоже его радовали. Был нэп, появилось много издательств — одно покупало собрание стихов Гумилева, другое выпускало его статьи и прозу. «Огненный столп» был в печати. На днях из Москвы должны были приехать актеры, чтобы ставить «Гондлу». Это Гумилеву было особенно приятно. С постановкой на сцене пьесы его имя проникало в новые слои публики, его влияние расширялось. Вообще влияние Гумилева, его известность росли на глазах. Все больше становилось у него поклонников и учеников, все чаще его имя, как равное, противопоставлялось имени Блока.

С уверенностью могу сказать, что ничто или почти ничто не омрачало этих — последних — дней Гумилева. Он был здоров, полон надежд и планов, материально и душевно все складывалось для него именно так, как ему хотелось. Это ощущение полноты жизни, расцвета, зрелости сказалось и в заглавии, которое он тогда придумал для своей будущей книги: «Посередине странствия земного».

Прибавлю, что в эти теплые, ясные августовские дни Гумилев был влюблен — и это была счастливая любовь...

Гумилев пришел домой в два часа ночи. Свой последний вечер на свободе он провел в им же основанном Доме поэтов в кругу преданно-влюбленной в него литературной молодежи. Как всегда, сначала «занимались» — читали и обсуждали стихи, — потом бегали, кувыркались, играли в фанты. Гумилев очень любил и это общество и это времяпрепровождение и всегда веселился от души. Говорят, что в этот вечер он был особенно весел. Несколько студистов провожали его через весь Невский до дому. У подъезда, на Мойке, стоял автомобиль. Никто не обратил на него внимания — с нэпом автомобиль перестал быть, как во времена военного коммунизма, одновременно диковинкой и страшилищем. У подъезда долго прощались, шутили, уславливались «на завтра». Те, кто приехали на этом автомобиле, с ордером ГПУ на обыск и арест, — терпеливо ждали за дверью.

Потом...

...поставили к стенке
И расстреляли его,
И нет на его могиле
Ни холма, ни креста — ничего.

И. Одоевцева. «Баллада о Гумилеве»

Потом... стали проходить годы.

* * *

Прошло десять лет с тех пор, как в ту августовскую ночь Гумилев был выхвачен из своего «странствия земного», из самой полноты жизни и творчества и механически уничтожен машиной большевистского «правосудия».

Гумилева нет. Нет «ни холма, ни креста» на его безвестной могиле. Остались стихи, биография, все Увеличивающаяся посмертная слава.

Стихи, биография, слава... «Золотая статуя» поэта-героя. И, с другой стороны, живая, трагически оборвавшаяся десять лет тому назад жизнь. Когда-нибудь их контуры сольются. Но пока одно другому «мешает», одно другому противоречит. «Что-то»

от живого Гумилева и десять лет спустя еще веет в воздухе и не позволяет говорить о нем как о мертвом. Еще режут слух нестерпимой фальшью пышно-официальные фразы. Но и смерть — такая смерть — предъявляет свои права. Трудно говорить как о мертвом, нельзя говорить как о живом. Все это очень «путает планы» и очень связывает руки.

И еще:

В биографии славной твоей
Разве можно оставить пробелы, —

писала давно, до войны, начинающая поэтесса Ахматова своему мужу «Коле». Писала полунасмешливо-полусерьезно... Более насмешливо, чем серьезно. Так вот — заполнит как надо «пробелы» в биографии Гумилева только тот, для кого улыбка, с которой Ахматова читала эти стихи и с которой в свое время все мы ее слушали, станет окончательно невозможной и непонятной.

* * *

Двадцать седьмого августа тысяча девятьсот двадцать первого года Гумилев был расстрелян. Ужасная, бессмысленная гибель! Но, в сущности, для биографии Гумилева, такой биографии, какой он сам себе желал, — трудно представить конец более блестящий. Поэт, исследователь Африки, георгиевский кавалер и, наконец, отважный заговорщик, схваченный и расстрелянный в расцвете славы, в расцвете жизни...

Не знаю, доброй или злой была фея, положившая в колыбель Гумилева свой подарок — самолюбие. Необычайное, жгучее, страстное. Этот дар помог Гумилеву стать тем, чем он был, этот дар привел его к гибели.

С семилетним Гумилевым сделался нервный припадок от того, что другой шестилетний мальчик перегнал его, состязаясь в беге. Одиннадцати лет он покушался на самоубийство: неловко сел на лошадь, домашние и гости видели это и смеялись. Год спустя он влюбляется в незнакомую девочку-гимназистку, долго следит за ней и, наконец, однажды, когда она входила в ворота дома, подходит и признается, задыхаясь, «я вас люблю». Девочка ответила «дурак!» и захлопнула дверь. Гумилев был потрясен,

ему казалось, что он ослеп и оглох. Ночами он не спал, обдумывая месть: сжечь тот дом, стать разбойником, похитить ее или убить. Обида, нанесенная двенадцатилетнему Гумилеву, была так сильна, что в тридцать пять лет он вспоминал о ней смеясь, но с горечью.

Гумилев был слабый, неловкий, некрасивый ребенок. Но он задирал сильных, соперничал с ловкими и красивыми. Неудачи только пришпоривали его.

Гумилев-подросток, ложась спать, думал об одном — как прославиться. Мечтая о славе, он шел утром в гимназию. Часами блуждая по Царскосельскому парку, он воображал тысячи способов осуществить свои мечты. Стать полководцем? Ученым? Взорвать Петербург? Все равно что, только бы люди повторяли имя Гумилева, писали о нем книги, удивлялись ему.

Понемногу в его голове сложился стройный план завоевания мира. Надо следовать своему призванию — писать стихи. Эти стихи должны быть лучше всех существующих, должны поражать, ослеплять, сводить с ума. Но надо, чтобы поражали людей не только его стихи, но он сам, его жизнь. Он должен совершать опасные путешествия, подвиги, покорять женские сердца.

Этим детским мечтам Гумилев, в сущности, следовал всю жизнь. Только с годами убывающую уверенность в себе стала сменять уверенность в человеческой глупости.

Гумилев говорил, что поэт должен «выдумать себя». Он и выдумал себя, настолько всерьез, что его Маска для большинства его знавших, о читателях нечего и говорить, стала его живым лицом. Только немногие близкие друзья знали другого Гумилева — не героя и не африканского охотника.

* * *

Какой-то домашний знакомый (это было в 1910 году) развлекал общество чтением «декадентских» стихов. Мне было шестнадцать лет, я уже писал стихи, тоже декадентские, дюжинами. Имена Гиппиус, Брюсова, Сологуба были мне хорошо известны. Но чтец прочел «Капитанов» и назвал имя Гумилева.

Меня удивили стихи (ясностью, блеском, звоном), и я запомнил это имя, услышанное впервые.

Года через полтора я с Гумилевым познакомился. Это было на вечере в честь Бальмонта. Там должен был быть в сборе весь «Цех поэтов», и я, только что в «Цех» выбранный, явился туда, робея и волнуясь, как новобранец в свою часть. Конечно, я пришел слишком рано... Понемногу собирались другие — Зенкевич, Мандельштам, Владимир Нарбут. Пришел Сергей Городецкий с деревянной лирой под мышкой — фетишем «Цеха». Уже началась программа, когда кто-то сказал: «А, вот и Николай Степанович...».

Гумилев стоял у кассы (вечер происходил в «Бродячей собаке»), платя за вход. Слегка наклонившись вперед, прищурившись, он медленно пересчитывал на ладони мелочь. За ним стояла худая, высокая дама. Ярко-голубое платье не очень шло к ее тонкому, смуглому лицу. Впрочем, внешность Гумилева так поразила меня, что на Ахматову я не обратил почти никакого внимания.

Гумилев шел не сгибаясь, важно и медленно — чем-то напоминая автомат. Стриженная под машинку голова, большой, точно вырезанный из картона нос, как сталь холодные, немного косые глаза... Одет он был тоже странно: черный долгополый сюртук, как-то особенно скроенный, и ярко-оранжевый галстук.

Нас познакомили. Несколько любезно-незначительных слов, и я сразу почувствовал к Гумилеву граничащее со страхом почтение ученика к непререкаемому мэтру. Я не был исключением. Кажется, не было молодого поэта, которому бы Гумилев не внушил сразу, при первой же встрече, тех же чувств. Это впечатление осталось надолго. Только спустя много лет близости и тесной дружбы я окончательно перестал теряться в присутствии Гумилева.

Внешность Гумилева показалась мне тогда необычайной до уродства. Он действительно был некрасив, и экстравагантной (потом он ее бросил) манерой одеваться — некрасивость свою еще подчеркивал. Но руки у него были прекрасные, и улыбка,

редкая по очарованию, скрашивала, едва он улыбался, все недостатки его внешности.

* * *

«Цех поэтов» был основан Гумилевым и Городецким. Только правилом, что крайности сходятся, можно объяснить этот, правда недолгий, союз. Надменный Гумилев и «рубаха-парень» Городецкий — что было общего между ними и их стихами!

Официально Гумилев и Городецкий были равноправными хозяевами «Цеха» — синдиками. Они председательствовали поочередно, и оба имели высокое преимущество сидеть в глубоких креслах во время заседания. Остальным — в том числе Кузмину и Блоку — полагались простые венские стулья.

Обычно Городецкий во всем поддерживал Гумилева, но изредка, вероятно для формы, вступал с ним в спор. Гумилев говорил: «Прекрасно». Городецкий возражал: «Позорно».

Разумеется, Гумилев неизменно торжествовал. Вообще он очень любил спорить, но почти никогда не оказывался побежденным. С собеседниками, столь робкими, как его тогдашние ученики, это было нетрудно. Но и с серьезным противником он почти всегда находил средство сказать последнее слово, даже если был явно не прав.

Отношения между синдиками и членами «Цеха» были вроде отношений молодых офицеров с командиром полка. «В строю», т. е. во время заседания, Дисциплина была строжайшая. Естественно, что «мэтры» и считавшие себя таковыми вскоре пообижались по разным поводам и «Цех» посещать перестали. Осталась зеленая молодежь. Наиболее «верные» впоследствии образовали группу акмеистов.

После заседания — весело ужинали. И опять, как в полковом собрании, командир-Гумилев пил с «молодежью» «на ты», шутил, рассказывал анекдоты, был радушным и любезным хозяином, но «субординация» никогда не забывалась.

* * *

Гумилев трижды ездил в Африку. Он уезжал на несколько месяцев, и по возвращении «экзотический кабинет» в его

царскосельском доме украшался новыми шкурами, картинами, вещами. Это были утомительные, дорогостоящие поездки, а Гумилев был не силен здоровьем и не богат. Он не путешествовал как турист. Он проникал в неисследованные области, изучал фольклор, мирил враждовавших между собой туземных царьков. Случалось — давал и сражения. Негры из сформированного им отряда пели, маршируя по Сахаре:

Нет ружья лучше Маузера!
Нет вахмистра лучше З-Бель-Бека!
Нет начальника лучше Гумилеха!

Последняя его экспедиция (за год перед войной) была широко обставлена на средства Академии наук. Я помню, как Гумилев уезжал в эту поездку. Все было готово, багаж отправлен вперед, пароходные и железнодорожные билеты давно заказаны. За день до отъезда Гумилев заболел — сильная головная боль, 40° температура. Позвали доктора, тот сказал, что, вероятно, тиф. Всю ночь Гумилев бредил. Утром на другой день я навестил его. Жар был так же силен, сознание не вполне ясно: вдруг, перебивая разговор, он заговаривал о каких-то белых кроликах, которые умеют читать, обрывал на полуслове, опять начинал говорить разумно и вновь обрывал.

Когда я прощался, он не подал мне руки: «Еще заразишься», — и прибавил: «Ну, прощай, будь здоров, я ведь сегодня непременно уеду».

На другой день я вновь пришел его навестить, так как не сомневался, что фраза об отъезде была тем же, что читающие кролики, т. е. бредом. Меня встретила заплаканная Ахматова: «Коля уехал».

За два часа до отхода поезда Гумилев потребовал воды для бритья и платье. Его пытались успокоить, но не удалось. Он сам побрился, сам уложил то, что осталось неуложенным, выпил стакан чаю с коньяком и уехал.

* * *

Осенью 1914 года Гумилев на редакторском заседании в «Аполлоне» неожиданно сообщил, что поступает в армию.

Все удивились. Гумилев был ратником второго разряда, которых в то время и не думали призывать. Военным он никогда не был.

Значит, добровольцем, солдатом?

Не одному мне показалась странной идея безо всякой необходимости надевать солдатскую шинель и отправляться в окопы.

Гумилев думал иначе. На медицинском осмотре его забраковали, ему пришлось долго хлопотать, чтобы добиться своего. Месяца через полтора он надел форму вольноопределяющегося л.-гв. уланского полка и вскоре уехал на фронт.

Гумилев изредка приезжал на короткие побывки в Петербург. Он не написал еще тогда, но уже имел право сказать о себе:

Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею нетронутую грудь.

Война его не изменила. О фронте он рассказывал забавные пустяки, точно о пикнике, читал мадригалы, сочиненные полковым дамам:

Как гурия в магометанском
Эдеме в розах и шелку,
Так Вы в Лейб-Гвардии Уланском
Ея Величества полку.

Когда его поздравляли с георгиевским крестом, он смеялся: «Ну, что это, игрушки. К весне собираюсь заработать «полный бант». Стихи его того времени если и говорили о войне, то о войне декоративной, похожей на праздник —

И как сладко рядить победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.

Только раз я почувствовал, что на войне Гумилеву было не так уж весело и приятно, как он хотел показать. Мы засиделись где-то ночью, поездов в Царское больше не было, и я увел Гумилева к себе.

— Славная у тебя комната, — сказал он мне, прощаясь утром. — У меня в Париже была вроде этой. Вот бы и мне пожить так, а то все окопы да окопы. Устал я немножко.

Гумилев устал. «Рядить в жемчуга» победу приходилось все реже. Вместо блестящих кавалерийских атак и надежд заработать «полный бант» приходилось сидеть без конца во вшивых окопах. В эти дни им были написаны замечательные стихи о Распутине:

...В гордую нашу столицу
Входит он — Боже, спаси! —
Обворожает царицу
Необозримой Руси.
И не погнулись, о горе,
И не покинули мест
Крест на Казанском Соборе
И на Исакии крест.

* * *

Наступило двадцать седьмое февраля. Гумилев вернулся в Петербург. Для него революция пришла не вовремя. Он устал и днями не выходил из своего царскосельского дома. Там, в библиотеке, уставленной широкими диванами, под клеткой с горбоносым какаду, тем самым, о котором Ахматова сказала:

А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду... —

Гумилев сидел над своими рукописями и книгами. Худой, желтый после недавней болезни, закутанный в пестрый азиатский халат, он мало напоминал недавнего блестящего кавалериста.

Когда навещавшие его заговаривали о событиях, он устало отмахивался: «Я не читаю газет».

Газеты он читал, конечно. Ведь и на вопрос, что он испытал, увидев впервые Сахару, Гумилев сказал: «Я не заметил ее. Я сидел на верблюде и читал Ронсара».

Помню одну из его редких обмолвок на злобу дня: «Какая прекрасная тема для трагедии лет через сто — Керенский».

Летом Гумилев уехал в командировку в Салоники.

* * *

До Салоников Гумилев не доехал, он остался в Париже. Из-за него возникла сложная переписка между Петербургом и Парижем — из Петербурга слали приказы «прапорщику Гумилеву» немедленно ехать в Салоники, из Парижа какое-то военное начальство, которое Гумилев успел очаровать, — этим приказам сопротивлялось. Пока шла переписка, случился октябрьский переворот. Гумилев долго оставался в Париже, потом переехал в Лондон.

За год заграничной жизни Гумилевым было написано много стихов, большая пьеса «Отравленная туника», ряд переводов. Он наверстывал время, потерянное на фронте.

За границей Гумилев отдыхал. Но этот «отдых» стал слишком затягиваться. На русских смотрели косо, деньги кончались. Гумилев рассказывал, как он и несколько его приятелей-офицеров, собравшись в кафе, стали обсуждать, что делать дальше. Один предлагал поступить в иностранный легион, другой — ехать в Индию охотиться на диких зверей. Гумилев ответил: «Я дрался с немцами три года, львов тоже стрелял. А вот большевиков я никогда не видел. Не поехать ли мне в Россию? Вряд ли это опаснее джунглей». Гумилева отговаривали, но напрасно. Он отказался от почетного и обеспеченного назначения в Африку, которое ему устроили его влиятельные английские друзья. Подоспел пароход, шедший в Россию. Сборы были недолги. Провожающие поднесли Гумилеву серую кепку из блестящего шляпочного магазина на Пикадилли, чтобы он имел соответствующий вид в пролетарской стране.

* * *

Летом 1918 года Гумилев снова был в Петербурге. Он гулял по разоренному Невскому, сидел в тогдашних жалких кафе, навещал друзей, как всегда спокойный и надменный. У него был вид

любопытствующего туриста. Но надо было существовать, к тому же Гумилев только что женился (вторым браком на А. Н. Энгельгардт). До сих пор Гумилеву не приходилось зарабатывать на жизнь — он жил на ренту. Но Гумилев не растерялся.

— Теперь меня должны кормить мои стихи, — сказал он мне.

Я улыбнулся.

— Вряд ли они тебя прокормят.

— Должны!

Он добился своего — до самой своей смерти Гумилев жил литературным трудом. Сначала изданием новых стихов и переизданием старых. Потом переводами (сколько их он сделал!) для «Всемирной литературы». У него была большая семья на руках. Гумилев сумел ее «прокормить стихами».

Кроме переводов и книг, были еще лекции в Пролеткульте, Балтфлоте и всевозможных студиях. Тут платили натурой — хлебом, крупой. Это очень нравилось Гумилеву — насущный хлеб в обмен на духовный. Ему нравилась и аудитория — матросы, рабочие. То, что многие из них были коммунисты, его ничуть не стесняло. Он, идя после лекции, окруженный своими пролетарскими студистами, как ни в чем не бывало снимал перед церковью шляпу и истово широко крестился. Раньше о политических убеждениях Гумилева никто не слыхал. В советском Петербурге он стал даже незнакомым, даже явно большевикам открыто заявлять — «Я монархист». Помню, какой глухой шум пошел по переполненному рабочими залу, когда Гумилев прочел:

Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего государя.

Гумилева уговаривали быть осторожнее. Он смеялся: «Большевики презирают перебежчиков и уважают саботажников. Я предпочитаю, чтобы меня уважали».

Приведу для контраста другой разговор, в те же дни, в разгар террора, но в кругу настоящих соратников всего старого. Кто-то наступал, большевики терпели поражения, и присутствующие, уверенные в их близком падении, вслух мечтали о днях, когда они «будут у власти». Мечты были очень кровожадными.

Заговорили о некоем П., человеке «из общества», ставшем коммунистом и заправилой «Петрокоммуны». Один из собеседников собирался его душить «собственными руками», другой стрелять, «как собаку», и т. п.

— А вы, Николай Степанович, что бы сделали?

Гумилев постучал папиросой о свой огромный черепаховый портсигар:

— Я бы перевел его заведовать продовольствием в Тверь или Калугу, Петербург ему не по плечу.

* * *

В своей квартире на Преображенской Гумилев сидел по большей части в передней. По советским временам парадная была закрыта, и из передней вышел уютный маленький кабинет. Там над диваном висела картина тридцатых годов, изображавшая семью Гумилевых в гостиной. Картинка была очень забавна, особенно мил был какой-то дядюшка, томно стоявший за роялем. Он был без ног — художник забыл их нарисовать. Гумилев охотно рассказывал историю всех изображенных.

Гумилев любил там сидеть у круглой железной печки, вороша угли игрушечной саблей своего сына. Тут же на полке стоял большой детский барабан.

— Не могу отвыкнуть, — шутил Гумилев, — человек военный, играю на нем по вечерам.

В квартире водилась масса крыс.

— Что вы, что вы, — говорил Гумилев, когда ему давали советы, как от крыс избавиться, — я, напротив, их развожу на случай голода. Чтобы их приручить, я даже иногда приятельски здороваюсь со старшей крысой за лапу.

Убирать квартиру приходила дворничиха Паша. Она очень любила слушать стихи.

— Почитайте что-нибудь, Николай Степанович, пока я картошку почищу.

— А по-французски можно?

— Что желаете.

Гумилев читал вслух Готье, Паша чистила картошку, сочувственно вздыхая. Гумилев начинал фантазировать. «Погодите,

Паша, вот скоро большевиков прогонят, будете вы мне на обед жарить уток». — «Дай Бог, Николай Степанович, дай Бот». — «Я себе тогда аэроплан куплю. Скажу: Паша, подайте мне мой аэроплан. Я полетаю до обеда недалеко — вон до той тучки». — «Дай Бот, дай Бог».

Гумилев вставал поздно, слонялся полуодетый по комнатам, читал то Блэка, то «Мир приключений», присаживался к столу, начинал стихи, доедал купленные вчера сладости.

— Это и есть самая приятная жизнь, — говорил он.

— Приятнее, чем путешествовать по Африке?

— Путешествовать по Африке отвратительно. Жара. Негры не хотят слушаться, падают на землю и кричат: «Калас» (дальше не иду). Надо их поднимать плеткой. Злишься так, что сводит челюсти. Я вообще не люблю юга. Только на севере европеец может быть счастлив. Чем ближе к экватору, тем сильнее тоска... В Абиссинии я выходил ночью из палатки, садился на песок, вспоминал Царское, Петербург, северное небо и мне становилось страшно, вдруг я умру здесь от лихорадки и никогда больше всего этого не увижу.

— А на войне?

— На войне то же самое. Страшно и скучно. Когда идешь в конную атаку: «Пригнись!». Я не пригибался. Но прекрасно сознавал, какой это риск. Храбрость в том и заключается, чтобы подавить страх перед опасностью. Ничего не боящийся Козьма Крючков не храбрец, а чурбан... И еще неприятно на войне — целые дни в сапогах, нельзя надеть туфлей, болят ноги.

* * *

За полгода до смерти Гумилев сказал: «Знаешь, я смотрел, как кладут печку, и завидовал — знаешь, кому? — кирпичикам. Так плотно их кладут, так тесно и еще замазывают между ними каждую щелку, чтобы нигде не дуло. Кирпич — к кирпичу. Друг — к другу, все вместе — один за всех, все за одного... Самое страшное в жизни — одиночество. А я так одинок...».

И, точно недоумевая, прибавил:

— В сущности, я — неудачник.

Меня не удивили эти слова, многих бы удивившие. Гумилев, действительно, был очень одинок. Бесстрастная, почти надменная маска — сноба, африканского охотника, «русского Теофила Готье» — скрывала очень русскую, беспокойную и взволнованную, не находящую удовлетворения душу. О, как далек был в сущности своей Гумилев от блестящего и пустого Готье! Он сам это хорошо сознавал. Но, сознавая, с тем большим упорством, сжимая зубы, шел раз выбранной дорогой — «линией наивысшего сопротивления».

Всю свою короткую жизнь Гумилев был окружен холодным и враждебным непониманием. И он то злился, то иронизировал:

...О нет, я не актер трагический,
Я ироничнее и суше.
Я злюсь, как идол металлический
Среди фарфоровых игрушек.

Он помнит головы курчавые,
Склоненные к его подножью,
Жрецов молитвы величавые,
Леса, охваченные дрожью...

И видит, горестно смеющийся,
Всегда недвижные качели,
Где даме с грудью выдающейся
Пастух играет на свирели.

Всю жизнь Гумилев посвятил одному: заставить мир вспомнить, что

...в Евангелии от Иоанна
сказано, что слово — это Бог.

«Божественность дела поэта» он старался доказать и «утвердить» всеми доступными человеку средствами на личном примере. В этом смысле — как это ни странно звучит — Гумилев погиб не столько за Россию, сколько за поэзию...

В этом смысле — при всех своих литературных успехах — он был прав, считая себя неудачником. Всю жизнь он, как укротитель,

хлопал бичом, готовый быть растерзанным, а звери отворачивались и равнодушно зевали...

В этом смысле — первой блестящей победой Гумилева была его смерть.

* * *

В кронштадтские дни две молодые студистки встретили Гумилева, одетого в картуз и потертое летнее пальто с чужого плеча. Его дикий вид показался им очень забавным, и они расхохотались.

Гумилев сказал им фразу, смысл которой они поняли только после его расстрела:

— Так провожают женщины людей, идущих на смерть.

Он шел, переодевшись, чтобы не бросаться в глаза, в рабочие кварталы вести агитацию среди рабочих. Он уже состоял тогда в злосчастной «организации», из-за участия в которой погиб.

Говорят, что Гумилева предупреждали об опасности и предлагали бежать. Передают и его ответ: «Благодарю вас, но бежать мне незачем».

* * *

В тюрьму Гумилев взял с собой Евангелие и Гомера. Он был совершенно спокоен при аресте, на допросах и — вряд ли можно сомневаться, что и в минуту казни.

Так же спокоен, как когда стрелял львов, водил улан в атаку, говорил о верности «своему государю» в лицо матросам Балтфлота. Уже зная, что его ждет, он писал жене: «Не беспокойся. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы...»

...И нет на его могиле
Ни холма, ни креста — ничего.

Но любимые им серафимы
За его прилетели душой.
И звезды в небе пели:
Слава тебе, герой!

Страх перед жизнью

(Константин Леонтьев и современность)

На каком-то собрании эмигрантской молодежи, той «передовой» молодежи, которая, окончательно отбившись от «отцов», собирается переделывать Россию (как только представится случай!) на свой особый «национально-интернациональный лад», на одном из таких шумных и бестолковых парижских собраний я услышал с трибуны слова:

«Нынешняя Россия мне ужасно не нравится. Не знаю, стоит ли за нее или на службе ей умирать? Я люблю Россию, царя, монахов и попов. Россию красных рубашек и голубых сарафанов, Россию благодушного деспотизма».

«Здорово говорит, — сказал сидевший рядом краснощекий младоросс или третьеросс. — Особенно про сарафаны, здорово».

«Это он Леонтьева цитирует», — возразил другой, долговязый и хмурый. «Леонтьева? А кто такой Леонтьев?» — заинтересовался третий, веснушчатый. Из троих — двое о Леонтьеве просто не знали.

Но дух его веял над ними.

* * *

Царствование Александра III. Осень. Грустный русский пейзаж: березка на фоне вечернего неба, «журавель» колодца, забор, лесок, проселочная дорога. Дальше белые стены и золотые главы Лавры.

В монастырской гостинице направо от входа «графские номера». Низкие комнаты, старая мебель, киоты, лампадки, занавесочки из голубой марли. В номерах этих недавно поселился приезжий из Оптиной пустыни, бывший русский консул в Турции, малоизвестный и мало читаемый писатель. Он решил перезимовать здесь в Лавре, начал устраиваться в «графских номерах»: вот и занавесочки голубые он повесил. Долго добивался такого обязательно цвета, вот такой именно марли. Перевез книги, расставил по-своему мебель, запасся дровами на зиму. Но зимовать ему здесь не суждено: он умирает.

Совсем недавно он принял «чин смирения», тайный постриг, но умирает он непокорно. Изо всех своих физических и душевных сил он борется с одолевающей его смертью. Физических сил в нем мало, — это шестидесятилетний человек со здоровьем, вконец надорванным затяжными мучительными болезнями. «Бессонница, страшные мигрени, поносы, язва желудка, трещины на руках и ногах, отеки, болезнь спинного мозга, сужение мочевого канала, воспаление лимфатических сосудов», — вот далеко не полный список страданий, отравлявших последние годы его жизни. Но нравственная сила его велика, хотя нравственных мук в его жизни было не меньше, чем мигреней и язв.

Оттого он так тяжело и умирает. Огромный запас нерастраченных душевных сил душит его, распирает, корчит, как демон корчит бесноватого. «Надо покориться», — в жару, в полубреду уговаривает он себя и сейчас же сам себе возражает: «Еще поборемся», опять — «Надо покориться», и снова: «Еще поборемся»...

Двадцатилетняя Варька — крестьянка-воспитанница, недавно выданная им замуж, ухаживает за больным, меняет компрессы, подает ему питье. Она очень красива, смугла, стройна. На ней красный сарафан. Это умирающий велел его ей надеть. Больше всего этот шестидесятилетний, измученный, принявший тайное монашество «бывший консул» — любит внешнюю красивость жизни.

* * *

Константин Леонтьев всю жизнь был неудачником, неудачником он и умер. Ему все не удавалось: карьера врача, дипломатическая служба, литература, любовь, дружба — все. Материальные невзгоды вечно его разбирали. «Идеал» его — «иметь каких-нибудь 75 рублей в месяц до гроба» — так до гроба и не осуществился. «Смотри, ты лишен и того, что имеют многие скотоподобные люди, и у тебя нет и не будет ни 75, ни 50 рублей в месяц, верных и обеспеченных», — пишет он сам о себе. Романы его критика обходит молчанием, статей его Катков не хочет печатать, в отчаянии и озлоблении он уничтожает свою трилогию, над которой долго и много трудился. Семейная жизнь его ужасна: он, «эстет», ставивший красоту «выше религии»,

ибо «красота для всего в мире», а религия «только» для человека, женится в ранней молодости на полуграмотной мещанке. Жена впадает в слабоумие, и «грязь жены» каждодневно преследует человека, требующего от жизни прежде всего «поэзии».

«Я не только ищу поэзию, но и нахожу ее», — самонадеянно пишет он в юности, потом только ищет, не находя, потом и не ищет больше. Опыт жизни показал, что на «поэзию» и на «красоту» полагаться нельзя, и Леонтьев бросается к Богу. Но и в религии нет ему никакого утешения. Бог Леонтьева, страшный и безрадостный Бог усомнившегося в неверии атеиста. «А когда в 1869, 70 и 71 годах меня поразили, один за одним, удар за ударом — тогда я испытал вдруг чувство беспомощности перед невидимыми и карающими силами и ужаснулся почти до животного страха». Даже имение свое, маленькую усадьбу, единственное место на земле, где он отдыхал душой, он вынужден продать. И вот, измученный, больной, одинокий, он умирает.

Умер Леонтьев 12 ноября 1891 года. Можно было бы сказать: умер всеми забытый, если было бы кому о нем забывать. Но таких, в сущности, почти и не было.

* * *

Есть люди, есть события, настоящее значение которых остается долгое время скрытым, даже от самого внимательного взгляда. Только слепая интуиция может иногда предсказать до срока то, что со временем станет очевидным. Но интуитивные, бездоказательные предсказания, даже гениальные, почти никогда не достигают цели. Они как бы невидимое отражение невидимого луча. Видимым станет луч, заметят и отражение — не раньше.

Примерно к 1912 году, моменту выхода собрания сочинений Леонтьева и подробного биографического сборника о нем, — место его определилось. Почетное место в русской духовной жизни, хотя и не в первых рядах. К Леонтьеву была применена та благодушная универсальная оценка, которую так любил

на своем ущербе затянувшийся до самого объявления мировой войны девятнадцатый век. По оценке этой Леонтьев оказался даровитым писателем и оригинальным мыслителем, который, вследствие неудачной судьбы, особенностей времени и собственного характера, не сыграл той роли, которую мог бы сыграть.

Россия шла к конституционной монархии, к либеральной свободе, к habeas corpus, хотя и по ухабам, но шла духовно, и экономически она, несмотря на рогатки, расцветала, вера в прогресс трепетала в каждой клеточке русской жизни, несмотря на мрачные (временные, думали тогда) ее стороны. Кто бы в это время стал идти за Леонтьевым, утверждавшим до хрипоты в голосе, что «уравнительно-либеральный прогресс есть антитеза процессу развития»?

Можно было все это читать, обсуждать в «Религиозно-философском обществе», можно было любоваться остротой мысли и оригинальностью положений, но действие... Какое тогда могло быть от Леонтьева действие? Да никакого.

И вот нет ни девятнадцатого века, ни духа его, ни веры в прогресс, ни трезвых оценок, ни «логики истории». История, вдребезги, ударом красноармейского сапога разбила все полки и полочки русской культуры, где все так аккуратно, так справедливо было расставлено. И в этом хаосе, в этом «мире явлений, где нет ничего достоверного — ничего, кроме конечной гибели» (слова самого Леонтьева), точно склянка с ядом, простоявшая закупоренной полвека и вдруг в суматохе разбитая, — открылся настоящий Леонтьев. Встал во весь рост своей одинокой мысли, своей трагической судьбы, своего отчаяния, своих странных надежд. Недаром, умирая, повторял он так настойчиво «еще поборемся». В самом деле наступает для него, как будто, время «еще побороться».

Розанов, прочтя впервые Ницше, воскликнул: «Да это Леонтьев, без всякой перемены!» Если оглянуться на то, что делается в мире, если потом перевести взгляд на русское духовное подполье, посмотреть, что творится в душах подрастающего «вне времени и пространства» русского нового поколения, послушать

их разговоры в ночных парижских кафе или на религиозно-политических диспутах — как не повторить за Розановым: «Да ведь это Леонтьев».

Леонтьев. Только не «без перемены». Перемена есть, и огромная. Вечно этот самый одинокий из русских мыслителей искал соприкосновения с жизнью. Искал, но так и не нашел. Теперь декорации переменились. Для доброй половины «активной» части человечества, и в частности для доброй половины русской молодежи, то, чему учил Леонтьев, — очень близко и знакомо. Но еще больше, чем его противоречивые идеи, близка современности сама его личность.

* * *

Если перечесть биографию Леонтьева, если потом ознакомиться с его взглядом на жизнь, на церковь, на государство, на личность, мы увидим, как близко все это к самой жгучей, самой современной современности.

О какой современности идет речь, я думаю, ясно само собой. На пятнадцатом году большевистской революции, в пятнадцатую годовщину Версальского договора — на вопрос, что такое современность, мы можем ответить точно. Нравится нам это или нет, мы должны признать, что современность — не столько английский парламент, сколько германский хаос, не Ватикан, а фашизм, не новые мирные демократические республики, а огромное, доведенное до предела страданий и унижений планетарное «перекати-поле», где, как клеймо на лбу, горят буквы СССР. Ватикан, английский король, демократия, вековая культура, правовой порядок, совестливость, уважение к личности — все это скорее «обломки прошлого», существующие лишь постольку, поскольку. Настоящее — Рим, Москва, гитлеровский Берлин. Хозяева жизни — Сталин, Муссолини, Гитлер. Объединяет этих хозяев, при некотором разнообразии форм, в которых ведут они свое «хозяйство», совершенно одинаковое мироощущение: презрение к человеку.

И вот такое же точно презрение к человеку — страстное, органическое, неодолимое, «чисто современное» презрение было

в крови у родившегося в 1831 году и умершего в 1891 году калужского помещика и консула в Андреаполе.

* * *

Было два Леонтьева.

Был необыкновенно одаренный, увлекающийся, страстный, самолюбивый человек. Он любил власть, блеск, деятельность, успех — и глубоко страдал, видя, что, несмотря на всю свою исключительность, он никем не оценен, не находит в жизни никакого применения, не имеет и того, что «имеют многие скотоподобные люди». Сложные душевные кризисы сопровождали этот разлад между тем, что «должно было бы быть», и тем, что было в действительности. Ясного взгляда на жизнь этот Леонтьев не имел — это для него «в мире явлений нет ничего достоверного, разве кроме конечной гибели». Это он пишет отчаянно: «Выручайте, выручайте, друзья, а то очень плохо», — хотя отлично знает, что нет у него таких друзей, которые могли бы его «выручить», как-то ему помочь, чем-то обнадежить. Леонтьев-человек сам не знает, что же — любит он Россию или презирает ее, верит в Бога или только боится «загробного возмездия», способен на «высокую страсть», о которой романтически грустит в разговорах и письмах, или такова уж его любовная «вера» — кроме бесследно проходящих поверхностных увлечений, никогда не знать серьезного чувства к женщине. Леонтьев не может отдать себе во всем этом отчета: когда он пытается это сделать, в его интонациях слышна растерянность, в голосе звучит глубокое, неодолимое сомнение. Россия, Бог, византийство, эстетика, все, о чем Леонтьев-теоретик так много, так настойчиво и «планомерно» говорит в своих книгах, — для Леонтьева-человека большого значения не имеет, хотя он и скрывает это, скрывает даже от самого себя. Но по существу — от юности до последних дней — одна только страсть наполняет Леонтьева, растворяя и покрывая все остальные: «Тоска по жизни и блестящей борьбе».

«Я все рвусь мечтой то на Босфор, то в Герцеговину или Белград, то в Москву и Петербург, и мне иногда тяжело в этой тишине и в этом мире. Оттого я и сюда помолиться приехал, чтобы заглушить тоску по жизни и блестящей борьбе».

Это пишет из монастыря полубольной, пожилой, замученный жизнью Леонтьев. Весь он в одной этой фразе. Вот, приехал, молится, бьет поклоны, ведет с «братьями во Христе» благочестивые беседы, готовится принять монашество — и все для того только, чтобы «заглушить тоску» по «борьбе, по жизни». Веры тут, конечно, немного, но тоска слышится огромная. Эта «тоска по жизни» не уймется даже на смертном одре. В мучительной перекличке «надо покориться — еще поборемся», которую со страхом слушает у постели умирающего красивая Варька в красном сарафане, слышна та же тоска...

Леонтьев-человек, когда поверхностное «ницшеанство» его ранней молодости, самонадеянное «все позволено», не обжегшее еще лапок гордого, даровитого, жадного до впечатлений птенца, жалевшего, что вдруг «не будет на моем веку ни одной большой войны», — сойдет с него под жестокими ударами жизненных разочарований — как-то сразу, с размаху опустится в жесточайший душевный мрак.

«Как душно везде. Даже великие люди — как кончали они? Смертью и смертью. К чему же привела их жизнь? Как жива передо мной картина, где Наполеон в круглой широкой шляпе и сюртуке стоит, заложив руки за спину. Как ему скучно! И еще картина: м-ме Bertrand с высоким гребнем, рак внутри, раскрытый рот и смерть. Еще я вижу Гете в старомодном сюртуке, старого Гете, женатого на кухарке. Как душно в его комнате. Шиллер изнурен ночным трудом и умирает рано. Руссо, муж Терезы, которая не понимает, кто ее муж. И это еще все великие люди. Не ужас ли это, не ужас ли со всех сторон?»

Этот душевный мрак, этот страх, этот ужас перед жизнью — очень искренен, но хоть до самого конца дней Леонтьева он останется неисцеленным — от него есть лекарство. Тоска Леонтьева по жизни, по блестящей борьбе совсем другой природы, чем «скука Наполеона», чем «ужас старого Гете, женатого на кухарке», которые Леонтьев так пронзительно изобразил. То, что снедает Леонтьева, «не менее больно, но гораздо более мелко». Перед Наполеоном, зевающим от скуки на св. Елене, действительно предел того, что больше некуда. Но Леонтьев оттого и скучает, оттого и бьет поклоны на монастырской всенощной,

оттого и ужасается, что нет для него наполеоновских «обстоятельств», что он «Кромвель без меча», был бы меч, были бы обстоятельства — он бы не скучал, он бы знал, что делать. «Это тоже очень современная психология, психология нынешних хозяев мира». Есть рассказ Анжелики Балабановой о том, как скучал в Женеве молодой Муссолини, как он боялся жизни, как она, Балабанова, провожала его вечером домой, потому что «идти одному было страшно». Страшно ли теперь Муссолини, когда он при крике «фашио!» проходит с поднятой рукой перед своими легионами, не ужасается ли он? Вопрос праздный: ему просто некогда о таких пустяках думать.

Та же совершенно двойственность видна и в Леонтьеве. Нет «обстоятельств», нет и «жизни». Появились обстоятельства или намек на них, и совершенно меняются и человек и его психология. На несколько месяцев Леонтьев делается хозяином забытого «Варшавского дневника», имевшего человек двести читателей. Каким «поразительным» журналистом он сразу стал, какие нотки «казенной твердости» сразу зазвучали в его статьях! Владимира Соловьева он просто советует «выслать из пределов России, за вредное направление». Вообще как только Леонтьев чувствует за собой — в должности консула, редактора, главного сотрудника вот этого «Варшавского дневника» — хоть какую-нибудь «государственную опору», он сейчас же дополняет доводы ума и таланта доводами административными, последние даже предпочитая. В этом смысле то, что жизнь Леонтьева не удалась, для него как писателя было спасением... В условиях одиночества процвели высшие, благородные стороны его натуры, грубым сторонам суждено было заглохнуть. Получи он сильное влияние, высокий пост, трибуну, вероятно, случилось бы наоборот.

Константин Леонтьев был писателем большого таланта, человеком огненных страстей. Душа его — сложная и большая душа — искренне рвалась к Богу, к высокому, вечному. Но на ногах у него висел тяжелый груз — тот же, что у всего послевоенного человечества.

Он, так много бивший поклонов по монастырям, так подробно трактовавший религиозные вопросы, — по инстинкту,

в глубине души, не верил ни во что, кроме материальной силы. Он по-настоящему верил и любил только «силу оружия» или «силу принуждения», «силу принуждения» или «силу государственной идеи», но прежде всего и главным образом — силу. Этим и объясняется невозможность для него «привиться» в духовном, несмотря на «материализм», девятнадцатом веке и почти полное совпадение с не верящим «ни в Бога ни в черта», особенно не верящим в человека, — веком нашим.

Совпадение политических теорий Леонтьева с «практикой» современности прямо поразительно. Не знаешь иногда, кто это говорит, Леонтьев, или гитлеровский оратор, или русский младоросс. Порой совсем Муссолини, дающий интервью Людвигу, порой — и это странно только на первый взгляд, ибо подоплека у фашизма, гитлеризма, большевизма, что там говорить, одна, — в ровных, блестящих логических периодах архиконсерватора, которого за чрезмерную правизну не хотел печатать Катков, — слышится — отдаленно — Ленин.

«Важно не племя, а те духовные начала, которые связаны с его силой и славой». «Важен не народ, а великая идея, которая владеет народом».

Но «великие идеи» и «духовные начала» могут расцвести «не иначе, как посредством сильной власти и с готовностью на всякие принуждения». Это общие положения. Потом — касающиеся специально России. «Без страха и насилия у нас все пойдет прахом». «Никакая пугачевщина не может повредить России так, как могла бы ей повредить очень мирная, очень демократическая конституция». «Россию надо подморозить, чтобы не гнила». И в заключение: «Нам, русским, надо совершенно сорваться с европейских рельс и, выбрав совсем новый путь, стать во главе умственной и социальной жизни человечества».

Такие выписки из Леонтьева можно делать без конца. Все, что он говорит, нам уже знакомо заранее, и не из его статей, а непосредственно из окружающего нас хаоса и насилия, или «цветущего неравенства», — кому как нравится звать. Все знакомо — и «духовные начала», расцветающие «посредством принуждения» и конституции, которые «опасней пугачевщины», и на совет

«сорваться с рельс» и «стать во главе» с удовлетворением мы можем сказать: Есть. Уже сорвались. Уже стали.

«Пища моя крута», — говорит о себе Леонтьев. Эта (действительно крутая, нельзя спорить) пища стала для послевоенного несчастного человечества опостылевшим ежедневным «пайком». С самого августа 1914 года до наших дней расхлебывает оно эту «крутую пищу» и все не может расхлебать. Что расхлебывать придется долго — сомнений нет. Интересно было бы знать, как долго — вплоть до «конечной гибели» или все-таки на некотором расстоянии до нее. Но на этот вопрос не могут ответить никакие «слова», никакие теории — ни «эгалитарно-уравнительные», ни «неравноцветущие». Ответит на это жизнь.

* * *

Теплятся лампадки в монастырской гостинице. Неслышными шагами приходят послушники. Шумит у окна какая-нибудь трогательная, осыпающаяся «нестеровская» березка.

У окна, за письменным столом, сидит старый больной человек, приехавший сюда «заглушить тоску». Он что-то пишет. На его красивом породистом изможденном лице надменность отчаяния: что там ни пиши, как сжато ни формулируй, какие блестящие парадоксы ни рассыпай — ясно одно: жизнь не удалась.

Жизнь не удалась. «Блестящая борьба» не состоялась. «Надо покориться». Но покориться он органически не может. Если бы «обстоятельства», если бы Кромвелю да меч! Но нет меча, нет обстоятельств, нет даже «обеспеченных семидесяти пяти рублей». Гордость. Отчаяние. Тихие послушники. Лампадка. Вечер. Березка на чахлом небе. Там, в небе, — грозный, безрадостный Бог усомнившегося в неверии атеиста, карающая темная сила. Здесь — неудавшаяся жизнь, подступающая смерть. Утешения нет ни в чем. Разве «красотой», по старой памяти, не то что утешиться — развлечься. Вот именно такими занавесочками, из такой обязательно марли. И со страстью, всегдашней своей страстью — о чем бы ни шло дело — Леонтьев пишет в Москву друзьям — описывает цвет, качество, плотность требующейся ему марли. С тем же «ясновидением», с каким предчувствует

послевоенную Европу, описывает эту марлю в мельчайших подробностях: должна непременно быть в Москве такая. Друзья долго ищут, наконец, действительно находят — в гробовой лавке. Это специальный товар для покойников. И другие разные совпадения, предчувствия, приметы окружают в его последние дни Леонтьева.

Вдруг обнаруживает он, что все важные события его жизни происходили в начальные годы десятилетий, и вот теперь как раз 1891 год. Какое же важное событие ждет его? Тайный голос подсказывает: смерть.

Вообще в последние дни Леонтьева вокруг него, как вокруг медиума, «потрескивает» в воздухе. В щели патриархальных «графских номеров» дует ледяной ветер метафизики. Как ни топят, Леонтьеву все холодно — из-за этой усиленной топки он и умирает: разогрелся, снял кафтан, сел у окна, придуло, — воспаление легких. Да, «в воздухе» вокруг как-то «неблагополучно», и не помогают ни лампадки, ни ладан, ни долгие земные поклоны. Как будто какое-то иное начало мстит Леонтьеву за его преданность осязательной силе, все равно — «силе оружия» или «силе церковной идеи». Или, может быть, человеческое в нем сводит счеты с его презрением к человеку. Во всяком случае, смерть его окружает некая мистика, та мистика, которую он так любил как добавочное декоративное средство к «православию», «самодержавию», «византийству», но в которую, в глубине своей «ницшеанской» души, вряд ли верил, пока был силен и здоров.

Умирал Леонтьев тяжело, непокорно, с тоской — не так, как умирают верующие христиане. О смерти и жизни его выразительно сказано в кратком слове Розанова: «Прошел великий муж по Руси — и лег в могилу. И лег и умер в отчаянии с талантами необыкновенными».

Русский писатель снова не получил нобелевской премии

Вопрос о том, почему шведское жюри так упорно в течение 30 лет игнорирует существование русской литературы, и прежде не раз с недоумением обсуждался.

Никакого разумного объяснения, кроме врожденного безвкусия шведских академиков, никому подыскать не удалось. Передавалось, правда, что ввиду извечной неблагонадежности русских писателей в глазах правительства (сначала царского, теперь большевистского) шведы будто бы избегают давать им премию по соображениям «такта». Но предположение это бросает на нобелевское жюри тень такой «приспособляемости», которую невозможно заподозрить в свободной организации, как-никак европейской и как-никак литературной.

Русская литература, впрочем, никогда не была охотницей до академических отличий и официальных лавров. К вопросу о нобелевской премии она относилась всегда совершенно равнодушно. И если в наши дни равнодушие сменилось ежегодным напряженным ожиданием, что вот, наконец, печальная традиция в отношении России будет нарушена и лауреатом будет объявлен русский писатель, это, главным образом, потому, что, кроме похвального листа, вручаемого избраннику под звуки марша и треск киноаппаратов, ему, как известно, вручают еще и чек. И в этом чеке, если его получит русский, заключается для него не сомнительная «честь», не «слава», которой у нас и так достаточно, а спасение от самой черной, самой неслыханной нужды.

Знают ли об этой нужде прославленных русских писателей шведские академики, распределяющие из года в год свою премию по милому принципу «захочу — полюблю» и «деньги к деньгам»?

Конечно, не могут не знать. Так же, как не могут не помнить если не букву, то дух завещания Нобеля: «*Поддержка человеческого гения, изнемогающего в неравной борьбе с жизнью*».

По смыслу этого завещания не одну, а десять премий подряд следовало бы в наши дни присудить именно русской литературе. Но шведский странный мечтатель и ненавистник пошлости лежит в гробу (вероятно, он ворочается в нем), а люди в футлярах, «исполняя» его волю, выдают премию за «произведения, проникнутые духом идеализма», испытанному остряку Бернарду Шоу. Ни величие русской литературы, ни крестные страдания ее их по-прежнему «не касаются» и вряд ли коснутся.

Впрочем, еще не все потеряно. В будущем году, быть может, нобелевское жюри соберется с духом и присудит премию... Максиму Горькому. И русской литературе будет брошена кость, и деньги пойдут к деньгам, и со стороны Москвы, наверняка, не последует возражений.

О новых русских людях

Еще два-три года тому назад в общественно-литературных эмигрантских кругах Парижа все было более-менее ясно. Всякий, к этим кругам принадлежащий, знал «существующий порядок вещей», установившийся, по-видимому, «всерьез» и «надолго». Ясно было — где «правое», где «левое», где «реакция», где «прогресс», в чем «верность традициям» и в чем «подрывание устоев», кто сохраняет живую связь с действительностью» и «кто ничего не забыл и ничему не научился».

Получалась, словом, целая стройная панорама с возвышенностями и низменностями, горделивыми шпилями и обреченными на снос лачугами, как панораме и полагается. Конечно, что принимать за верх, что за низ — зависело от точки зрения. Любой ландшафт можно наблюдать просто, можно и вверх ногами: тогда самая глубокая из ям покажется Монбланом, и обратно. Но непререкаемая реальность целого от этого нисколько не страдала. Негатив и позитив, яростно «отрицая» друг друга, повторяют, как известно, с одинаковой точностью тот же самый «кусок жизни». Не будь его — не было бы ни позитива, ни негатива.

Короче говоря, с большими или меньшими недостатками, с теми или иными ошибками или несправедливостями, в эмиграции установилась своя, прочная иерархия ценностей и вытекающий из нее и на нее опирающийся «существующий строй».

* * *

Все законы мира начинаются с суровых кар за попытку к ниспровержению существующего строя. В эмиграции уголовного кодекса нет, и за подкоп под какое-либо из ее установлений «злоумышленника» нельзя ни осудить, ни расстрелять.

Но некоторый аппарат морального воздействия у эмиграции, как у осознанной и организованной антибольшевистской силы, конечно, есть. Странно было бы, если бы его не было. Слишком огромны ценности, вывезенные эмиграцией с «всероссийского пожарища», да и люди, их вывезшие, не годятся на роли простых музейных сторожей. Лучшие из них — эту убитую, точнее, пришибленную «там» и охраняемую здесь российскую культуру сами создавали и двигали, — естественно, что от своей привычной «хозяйской» роли, своих обязанностей-прав они добровольно не откажутся.

Всегда шла борьба, никогда не прекращавшаяся внутри самой эмиграции, — и она достигала разных степеней напора и ожесточения. Но самый круг этой борьбы был ограничен уже тем самым, что вели ее люди одной и той же старой русской культуры и одного кожного, кровного отвращения к разрушителю этой культуры — большевизму. И если в политических разногласиях дело могло заходить и заходило порой очень далеко, то в этой, основной, области эмиграция сама собой, без всяких усилий, сейчас же объединялась — как только что-либо начинало угрожать ее «неписаным законам». От вульгарного «сменовеховства» до достаточно сложного и хитроумного евразийства — все явления такого порядка находили немедленный отпор. Семена разложения неизменно попадали на камень и прорасти не могли...

Так было до недавнего времени, покуда дело шло в плоскости обычных противопоставлений: мы и они, культура и варварство — эмиграция и большевизм. Но с некоторых пор «аппарат» стал давать перебои. Незаметно, подспудно, в разных углах русской жизни зарождалась и накопляла энергию неизвестная до сих пор «третья сила», к оценке которой старые мерки как будто неприменимы. Теперь, на наших глазах, сила эта «вступает в игру».

* * *

Облик представителей этой силы далек и от того, каким мы знаем эмигранта, и от того, как рисуется нам большевик наших дней. Облик этот, прежде всего, двоится, троится, четверится.

Когда-то, в блаженные довоенные времена, были в моде соединенные портреты знаменитостей. Скажем, «монархи Европы». Брались карточки Вильгельма II, Эдуарда VII, бельгийского Леопольда, испанского Альфонса и, накладывая <их> одна на другую, получали физиономию благообразного господина средних лет, с пышной растительностью и несколько туманным взглядом. Это и был соединенный портрет монархов Европы. То же делалось с борцами, актерами — невинные были времена, и невинно люди развлекались.

Так вот, чтобы хоть приблизительно представить себе двоящееся, троящееся, четверящееся лицо «нового человека», вступающего в русскую жизнь, приходится прибегнуть к такому же способу «накладывания»...

...Материализм — и обостренное чувство иррационального. Марксизм — и своеобразный романтизм. «Сильная Россия» — и «благословим судьбу за наши страдания». Отрицание христианства — «спасение в христианстве». Русское мессианство — «Интернационал». «Цель оправдывает средства» — и непротивление злу. Достоевский, Достоевский, Достоевский... Немного Толстого. «Атлантида» Мережковского, Ницше и... Андре Жид. «Пушкина не существует». Славянофилы, Леонтьев, Рудольф Штейнер, даже Елевфеврий... Бесчисленные — как пишут в анализах — «следы» других пестрых, перекрещивающихся, отрицающих друг друга влияний.

Из этой смеси идей и чувств, страстей и систем смотрит, если хорошенько вглядеться, лицо нового русского человека. Отчетливости благообразного господина с баками Франца-Иосифа и носом Фердинанда-болгарского — этот «комбинированный портрет», конечно, не имеет. Но он не сливается и в бесформенное, туманное пятно, как можно было ожидать. Какие-то черты явно сквозь туман рисуются. Самая противоречивость их придает им что-то собственное, характерное. Кроме того, этот портрет перед портретом монархов Европы или чемпионов бокса имеет одно важное преимущество в смысле выразительности. Там, при роскошных очертаниях носов и бород, глаза, как я уже отмечал, несколько расплывались: монархическая

или скулодробительная идея от соединения в одно отборных ее представителей сильней отнюдь не выявлялась. На этом лице, таком еще неопределившемся, глаза горят ярко. И в них светится нечто если не организующее хаос остального, то одухотворяющее его. В глазах, «сборных» глазах нового человека, ярко светится его «пореволюционное сознание».

* * *

«Пореволюционное сознание»... Не знаю, кто пустил в ход это определение, да это и не существенно. Настоящим автором его была сама жизнь. И эти два слова призваны, быть может, сыграть роль той черты, которая разделит по-новому строй русской жизни, сложившейся после революции. Самое удивительное, что если эту черту провести, — за чертой, отделяющей «новых людей» от «старых», окажемся не только мы, люди прежней России, но и «они» — бесконтрольные хозяева России нынешней.

Пореволюционное сознание... Новый человек, человек «третьей силы», недоволен «существующим строем» по обе стороны рубежа и этого не скрывает. Но он именно недоволен — ни нашей ненависти, ни большевистского презрения к нам у него нет. Он вообще как бы игнорирует самый рубеж, раздирающий надвое Россию, как бы считает его несуществующим. Критикуя и присматриваясь, он выбирает у «нас» и у «них» то, что может ему подойти. Но и эмиграция и большевизм для него в значительной степени старая Русская жизнь. Он же собирается строить новую.

* * *

Кто же, однако, они, эти новые люди, откуда они взялись? Что это — новое поколение? Отчасти новое поколение. Но только отчасти. Конечно, среди них преобладает молодежь — но признак возраста как-то для них не характерен. Не характерно это, впрочем, не только для них. Во всей послевоенной Европе переменились, если присмотреться, строение и порядок сменяющих друг друга человеческих волн. Какие-то новые неизвестные вошли после войны в уравнение, по которому движется

«душа истории», — и многие прежде ясные и самоочевидные положения потеряли свою ясность и самоочевидность.

Точнее всего — это люди новой культурной среды. Сознание их, конечно, определилось их бытием, хотя ни у кого в мире нет такого неодолимого стремления, как у них, — наперекор марксистской заповеди — определять бытие сознанием. Многое объясняется в них тем, что в большинстве своем, так или иначе, — это «люди из подполья».

Русское подполье наших дней ждет еще своего изобразителя. Вероятно, еще долго будет ждать: задача слишком трудна. Оно неисчерпаемо богато страданием, и его духовный опыт очень велик.

«Подполье» — это главным образом все те, кто за пятнадцать лет революции не выплыл на поверхность ни в эмиграции, ни в России, не участвовал ни в каком строительстве, не играл никаких ролей, те, кто никак общественно не «осуществился» после распада России. Незаметно для себя, не сознавая этого, безмолвствовавшая пятнадцать лет «глухая масса» русских людей накопила огромную энергию — теперь она ищет выхода.

* * *

Лицо «нового человека» туманно: оно двоится, троится, четверится. Идеи его путаны, противоречивы, пестры. В принявшем за пятнадцать лет отчетливые формы, разделенном непроходимым рубежом, выкристаллизовавшемся, несколько даже окаменевшем мире русской жизни он, «новый человек», растерянно глядит вокруг себя, не зная, во что верить, что отрицать, на что опереться, «правая, левая где сторона».

Он неясен еще самому себе — как же от него ждать ясности. Он «подкидыш» — о его родословной можно только гадать. Он христианин, отрицающий Христа, антибольшевик, не доверяющий эмиграции, он не признает рубежа, но по обе стороны его — он равно чужой действующим и там и здесь законам. Он — пока что — только большой вопросительный знак, появившийся перед нами «из ничего» — на пятнадцатом году революции.

Но — нельзя об этом забывать — в глазах его — новое сознание.

* * *

На собраниях в разных обществах и кружках русского Парижа часто выступает теперь молодой человек лет двадцати шести-восьми. Зовут его Петр Степанович. Говорит он на эмигрантских собраниях от лица недавно основанной им и его друзьями «Третьей России» — пока скромного журнальчика, в будущем... но это покажет будущее.

Петр Степанович крепко скроен, да и сшит довольно «ладно». Высокий, прямой, светлые глаза, белые зубы. Только что-то топорное, тяжеловесное во всем — в движениях, в ходе мыслей, в речи.

Подымет руку — точно пудовую гирю поднял. Зададут вопрос — так задумается над ответом, точно труднейшую задачу решает. Скажет слово — слово какое-то каменное. Иногда — очень редко — улыбается. Улыбка — детская.

— Мы хотим могущества!

Это лейтмотив всех его выступлений. Говорит он это так убежденно, так ясно смотрит собеседнику в глаза, так жестко, выбросив слово, стискивает челюсти, что забываешь на минуту жалкое несоответствие Между мечтой и действительностью, словом и делом.

Этот прямой, коренастый, топорный человек — несомненно, убежден в том, что так или иначе «могущества» (он произносит по-мужицки: «мохущества») — он добьется. И такова сила убежденности, что она, «рассудку вопреки», — убеждает. Кто его знает, может, именно он и добьется. Вот ведь какой скуластый, твердолобый, упорный. — «Мы достроим Вавилонскую башню...» «Мы добьемся...» «Мы, мы...»

Самое характерное для его выступлений, что он всегда говорит одно и то же. Вот он излагает свою программу подробно, тщательно отчеканивая каждое слово, прямо, ясно глядя перед собой. Потом, как водится, начинается диспут, программу Петра Степановича начинают с разных сторон разбивать. Разбивается она легко. В ослепительной ее стройности один за другим

открываются глубокие изъяны. Она, оказывается, противоречит сама себе, она абсурдна. Стройная «Вавилонская башня» рассыпается карточным домиком.

Но взгляните на Петра Степановича. Он слушает с равнодушным, несколько скучающим видом, точно все это его нисколько не касается. Он ждет, когда список ораторов будет исчерпан. Тогда он снова подымается на эстраду и тем же голосом, так же твердо, убежденно, уверенно... буква в букву повторит в заключительном слове то, что говорил во вступительном. Все, что ему возражается, он просто — откровенно — пропустил мимо ушей.

Но нужны ли все эти возражения? Не лучше ли присмотреться, прислушаться, прежде чем желать быть понятым, самому постараться понять? Прислушаться не столько к интонации, звуку голоса вот такого Петра Степановича. Присмотреться к его лицу, задуматься над его биографией — если он этого стоит. А он, по-видимому, стоит — недаром его слушают так внимательно и возражают ему так горячо.

* * *

Новый человек из новой России. Что мы знали о нем до сих пор?

Как о темной стороне Луны — о Советской России мы достоверно знаем, собственно, только то, что она существует. Все остальное — спорно, обо всем остальном можно только гадать. Да и догадки эти, основанные на обрывочных частных сведениях и на ворохах официальной лжи, касаются главным образом сегодняшнего дня, России, как она есть сейчас.

Было горе, будет горе,
Горю нет конца, —

заглушенно шепчут подспудные «ночные голоса» оттуда. Покрывая их, сверхмощный громкоговоритель пропаганды вещает о неслыханных достижениях пятилетки. Но между «горем без конца» и «энтузиазмом строительства» есть же живая жизнь великой страны, движущаяся вперед по каким-то колеям и как-то слагающаяся для будущего. Что мы знаем о ней?

До сих пор мы могли только гадать: за пятнадцать лет большевизма вряд ли все, кто не погиб, превратились в социалистических роботов или прихвостней власти. Кто-то выжил и морально и физически. Это раз. Два — за эти пятнадцать лет в советском воздухе сложились миллионы сознаний, в советскую почву проросли миллионы новых корней. Какие-то из этих новых корней — в подспудной, трудней всего поддающейся надзору ГПУ и контролю ЦК области духа — срослись и переплелись не с правоверно-коммунистическими насаждениями, а как раз с враждебными коммунизму, уцелевшими от всероссийского «корчеванья» корнями старой русской культуры. Прививка, как будто, не могла не произойти и не могла не дать всходов. Всходов — надо ждать. На них, как будто, можно надеяться. В остальном: «было горе, будет горе», ночной туман и сквозь него — бутафорские огни пятилетки.

И вот случилось ожиданно-неожиданное. Кто-то старый выжил, кто-то новый подрос. Что-то привилось, что-то зацвело и зазеленело. Новый русский человек стоит перед нами. У него славный мужицкий выговор, славный открытый взгляд. Если он улыбается, улыбка у него детская. Но по большей части он серьезен, каменно-серьезен. От лица миллионов, таких же, как он, каменно-серьезным голосом он говорит миру:

— Мы достроим Вавилонскую башню. Мы хотим Могущества.

В чем, в чем, а в «подлинности» такого Петра Степановича сомнений нет. Все в биографии его честно, чисто и органично. Это не сменовеховец и не невозвращенец — не шлак исторического процесса, а новейший, последний его сплав. Выплавка шла, примерно, так.

Рабочая семья. В раннем детстве октябрьский переворот, воспринятый как праздник раскрепощения. 1919, 1920, 1921 годы — густая романтика Алой и Белой розы, «бешеных атак мирового капитализма» на «мирный рай трудящихся». 1922 — атаки отбиты. Наконец-то: «мы свой, мы новый мир построим». Но вместо нового мира строится... нэп. Первые колебания, так ли безошибочна «азбука коммунизма»? Затем комсомол, вуз. Разговоры, книги, встречи, самокритика, критика просто... С лица

бывшей России понемногу сползает маска страшилища, царя-жандарма, с лица России нынешней — идиллическая личина добродетельного товарища. Приходит время сделать выбор, роковой момент для нынешних хозяев России, к предотвращению которого направлены все средства коммунистической педагогики. Но самые сильные средства действуют, как известно, до поры до времени, и предотвратить непредотвратимое нельзя.

Петр Степанович сделал выбор так. После окончания вуза, на пороге прекрасной карьеры, ничем не угрожаемый, принадлежащий к привилегированному сословию, он сел в поезд, доехал до границы и без денег, без языка, без единого знакомого за рубежом границу перешел. Это был вполне бескорыстный жест, никакого практического смысла в нем не было. Он бежал единственно и исключительно потому, что в воздухе Советской России для его легких не хватало кислорода — он задыхался.

Но и в эмиграции — он этого не скрывает — он тоже задыхается.

* * *

На эстраде эмигрантского собрания стоит человек. На нем потертый костюм и темная рабочая рубашка. В кармане у него волчий нансеновский паспорт, в голове обрывки нахватанных знаний. Он бежал из России и добывает себе кусок хлеба физическим трудом. Отстав от большевиков, к эмигрантам он не пристал. Он «сам по себе». Он и маленькая кучка его учеников гордо называют себя «Третьей Россией»...

Вот он излагает свою программу. Программа, что и говорить, — «обширная». Новое государство людей, титанов. Новая «титаническая религия». Победа над косностью духа — достройка Вавилонской башни. Тут выясняется «пикантная подробность» — строить башню, оказывается, начали большевики и до поры до времени ничего, правильно строили: «расчистили место», заложили фундамент. Теперь, впрочем, большевики делают «непоправимую историческую ошибку» — не желают уйти, чтобы дать «новым людям» — титанам — достроить на заложенном ими фундаменте «Третью Россию».

Программа, повторяю, обширная. Достаточно сказать, что в числе ее пунктов — в плане «преодоления косности материи» — есть и такой: воскресение мертвых...

Тот, кто скажет «сумасшедшие», будет не прав. Не прав и тот, кто пожмет плечами: «шарлатаны». Нет, не сумасшедшие и не шарлатаны. Сумасшедший тот, кто зачал в больном мозгу больную идею и навязывает ее окружающему. Шарлатан — сознательно, из расчета, шарлатанит. Но чем виноваты люди, обыкновенные люди, которые, едва открыв глаза, увидели весь мир и все происходившее в нем окрашенным сумасшедше-шарлатанским заревом. Все. Каждый уголок мысли, чувств, прошлого, будущего. Над этим, право, стоит задуматься.

Тем и важен вот такой Петр Степанович, что он не личность. Он тип. Он стоит сейчас на эстраде эмигрантского диспута, но десятки, сотни тысяч, миллионы, может быть, таких, как он, стоят на великой Русской земле, и пусть они ни о каком титанизме не помышляют — головы их, их души сформированы по тому же самому образцу. Все перспективы для них заранее искажены, все планы спутаны. И именно чем меньше они сумасшедшие, чем меньше шарлатаны чем сильнее говорит в них врожденное чувство правды и справедливости, — тем более странные формы принимает в них «души неслыханный протест», когда он назрел. Протест против нищеты духовной и материальной, против унижения национального и личного, протест против обмана буржуазного и обмана большевистского. Тема «униженных и оскорбленных» (с непременной надеждой на какое-то обязательное конечное «торжество») всегда была близка русскому сознанию, всегда его «возбуждала». Теперь, когда вся Россия так неслыханно оскорблена и унижена и внешне и изнутри, ей, на ее гноище, снятся «золотые сны». Опасные сны: там и «Вавилонская башня», и конная армия Буденного — подходящая ведь уже к Варшаве! — и красный петух, которого можно будет опять запустить, и Христос, и погромы, и «батюшка царь» с черными огненными глазами Пугачева.

Среди неисчислимых зол, которые большевики принесли России, есть одно — еще почти неосознанное. На наших глазах только что появились первые цветочки — ягодки будут потом.

Славный, честный (несомненно, честный), прямой, бескорыстный (о, еще бы не бескорыстный!) Петр Степанович, вещающий о титанизме с трибуны «Зеленой лампы», — не есть ли он именно такой цветочек распускающегося на наших глазах нового зла?

Зло это особой породы. Вызванное большевизмом, оно большевизму враждебно. Так спирит порой вызывает демона, который сильнее его, и демон его душит. Но тем, кого этот демон передушит потом, от этого не легче.

Для своей пользы большевики разрушали систематически все, на что опиралась русская жизнь: церковь, семью, национальное чувство, человеческое достоинство, честь, самый разум. Они действовали успешно — нельзя не признаться. Но до желанного «стопроцентного» истребления живой души народа, как ни старались, дело довести не удалось. Что-то уцелело, что-то срослось со старыми корнями, что-то новое родилось и пробивает дорогу к жизни. Но выросшее на отравленной почве, в разреженном воздухе «социалистического опыта», в искаженных перспективах прошлого и будущего, сдобренное, как дрожжами, врожденным русским «максимализмом» — это новое... уродливо и внушает страх.

За примерами недалеко ходить — сказочный рост гитлеровского движения у всех перед глазами. Тоже хотят могущества, тоже стремятся «достраивать башни». А гитлеровщина — замечу в скобках — родилась в сравнительно благополучной и несравненно более устойчивой Германии и при всей ширине «обхвата» — мелка. Ну, конфискует Гитлер «еврейские капиталы», ну, даст каждой дактилографке в принудительном порядке «белокурого мужа»...

А тут Россия. Путаные русские головы «с сумасшедшинкой». Пятнадцатилетний «стаж» большевизма, т. е. нечто небывалое в природе. И бесконечная, неизмеримая глубина всяческих русских страданий...

Что же, если сегодня большевики падут, и для таких Петров Степановичей, для постройки и достройки разных их башен откроется не эстрада «Salle Chopin»[47], а «от финских хладных

[47] «Шопеновского зала» (*фр.*).

скал»... вся русская земля? Воля у них каменная, скулы выдающиеся, говорок понятный, мужицкий, по «мохуществе» они истосковались. Самое опасное, что они бескорыстны и честны, следовательно, зло, которое они несут, есть зло идейное — т. е. труднее всего искоренимое зло. Что же тогда? Из огня да в полымя...

* * *

В антракте одного из таких диспутов я поделился сомнениями на этот счет с русским общественным Деятелем, пожилым человеком, видавшим виды.

Он сказал:

— Да... это так. Но и не совсем так. Видите ли... Да вот, посмотрите на его лицо.

Петр Степанович, только что чеканивший с эстрады свой «каменный» доклад, стоял неподалеку от нас. Он разговаривал с кем-то и во весь рот улыбался своей простодушной улыбкой.

— Видите, как он улыбается? Как ребенок. Не кажется ли вам, что такая улыбка реальнее и важнее его слов. Потому что слова — слова, а что там за ними — неизвестно. А улыбка уже есть дело, призом дело мира и любви. Вот, — прибавил он, — вы боитесь, «что будет»? А будет, может быть, просто: рухнут большевики — и первое, что сделают русские люди, — это улыбнутся друг другу, вот так, от души. Потом, разумеется, начнутся распри. Но главное, за что вы боитесь, уже будет спасено.

Поэзия и поэты

Деятельность эмигрантских издательств понемногу оживляется. Книги, неподвластные сталинской цензуре, появляются все чаще и чаще. Факт сам по себе — и вне зависимости от ценности этих книг — отрадный!

Даже поэты опять стали каким-то чудом находить издателей или, по крайней мере, типографии и бумагу. Число эмигрантских поэтов, кстати, несмотря на ряд потерь, за последние годы увеличилось: выбывших из строя заменило новое «поколение», главным образом из среды «ди-пи».

Среди последних есть немало одаренных людей. Двое из них — Д. Кленовский и И. Елагин — быстро и по заслугам завоевали себе в эмиграции имя.

У Д. Кленовского с И. Елагиным общее то, что они оба русские поэты и что голоса обоих дошли до нас из лагеря для «перемещенных лиц». На этом их сходство и кончается. В остальном они антиподы.

Кленовский сдержан, лиричен и для поэта, сформировавшегося в СССР, — до странности культурен. Не знаю его возраста и «социальной принадлежности», но по всему он «наш», а не советский поэт. В СССР он, должно быть, чувствовал себя «внутренним эмигрантом».

И. Елагин, напротив, ярко выраженный человек советской формации. Елагин, возможно, талантливей Кленовского. Он находчив, боек, размашист, его стихи пересыпаны блестками удачных находок. Но все опубликованное им до сих пор так же талантливо, как поверхностно, почти всегда очень ловко, но и неизменно неглубоко. Каждая строчка Кленовского — доказательство его «благородного происхождения». Его генеалогическое древо то же, что у Гумилева, Анненкова, Ахматовой и О. Мандельштама. И. Елагин — в противоположность Кленовскому — один из «не помнящих родства», для которых традиция русской поэзии началась с «Пролеткультом» и Маяковским. Вероятно, Елагин читал и, возможно, по-своему любил тех поэтов, от которых как «законный потомок» ведет свою родословную Кленовский. Но на его творчестве пока это не отразилось.

Пользуюсь случаем указать на третьего поэта, имеющего все данные занять равное место рядом с Кленовским и Елагиным. Ник. Моршен такой же «ди-пи», как они. В № 8 «Граней» напечатано его 19 стихотворений, во многих отношениях замечательных. Они, конечно, не лишены недостатков. Но недостатки стихов Ник. Моршена случайны и легко устранимы, достоинства же очень значительны. Но почему-то критики, засыпающие похвалами его более удачливых товарищей — особенно Елагина, — до сих пор, если не ошибаюсь, ни разу не упомянули имя Ник. Моршена, не менее чем они, заслуживающего внимания. Исправляю, хотя и чересчур кратко, эту несправедливость и приглашаю своих «коллег» последовать моему примеру.

В среде старой эмиграции новые таланты появляются все реже и реже. Да и откуда им взяться? Уже задолго до войны эмигрантская поэзия «стабилизировалась»: на приток новых махнули рукой, стараясь сберечь то, что есть, и довольствуясь этим. Появление Ю. Одарченко, выступившего впервые в печати три года спустя после libération[48], отрадное, но, как все исключения, лишь подтверждающее правило — исключение...

Стихи Ю. Одарченко — смелые и оригинальные, ни на кого не похожие, поразили и удивили: неизвестно откуда вдруг появился новый самобытный поэт.

«Дважды два — четыре» Анатолия Штейгера — очаровательная, острая и... ничего не обещающая — потому что, увы, посмертная книга. Каждому любителю поэзии следует ее прочесть, а молодым поэтам есть много чему у безвременно скончавшегося Штейгера поучиться. Стихи Штейгера — прекрасная иллюстрация к фразе: «Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана». Они пример того, какое значение имеют вкус, чувство меры, поэтическая культура. Каждое стихотворение Штейгера — маленький шедевр вкуса, тонкости, чутья, доведенного до совершенства умения полностью использовать свои выигрышные стороны, искусно миновав слабые...

Выше я отметил несомненный талант И. Елагина. Штейгер был, конечно, много менее Елагина одарен. Но «реальная ценность» стихов Штейгера все-таки несравненно выше. Штейгер создал законченные произведения искусства, «то, что сотворено, не подлежит изменению». Стихи же Елагина, при всем их внешнем блеске, покуда всего лишь вексель, правда, размашисто выписанный на крупную сумму...

Пользуясь этим примером, даю мимоходом некоторым писателям из «новой эмиграции» дружеский совет: усвоить хорошенько разницу, не всем им еще ясную, между «чистым золотом» искусства... и векселями, гарантированными только даровитостью... и самоуверенностью.

Покойная Ирина Кнорринг всегда, а в последние годы жизни особенно, стояла в стороне от пресловутого Монпарнаса,

---

[48] освобождения (*фр.*).

не поддерживала литературных связей, одним словом, не делала всего необходимого для того, чтобы поэта не забывали, печатали, упоминали в печати. И поэтому даже ее последняя книга почти никем не была отмечена с вниманием и сочувствием, которые она заслуживает...

Кнорринг была не очень сильным, но настоящим поэтом. Ее скромная гордость и требовательная строгость к себе, мало кем оцененные, будут, я думаю, все же со временем вознаграждены. У скромной книжки Кнорринг есть шансы пережить многие более «блестящие» книги ее современников. И возможно, что, когда иные из них будут давно «заслуженно» забыты, — бледноватая прелесть стихов покойной Кнорринг будет все так же дышать тихой, неяркой, но неподдельно-благоуханной поэзией.

...В № 14 «Огонька» за текущий год, среди всякого «литературного брака» или попросту хлама — «Огонек», как известно, советская желтая пресса, уступка вкусам еще не до конца перевоспитавшегося обывателя, — в этом бульварном московском журнальчике, притом еще на одном из последних мест, напечатано несколько стихотворений. Вот два отрывка из них:

21 декабря 1949 года[49]

...Пусть миру этот день запомнится навеки,
Пусть будет вечности завещан этот час —
Легенда говорит о мудром человеке,
Что каждого из нас от страшной смерти спас...

Или, почти наудачу, еще:

...И благодарного народа
Он слышит голос: мы пришли
Сказать: где Сталин — там свобода,
Мир и величие земли...

Средняя советская «продукция», не так ли? Пожалуй, даже пониже средней. Экая невидаль, в самом деле: кто же не знает, что где Сталин — там рай земной! И в «подхалимаже» надо

[49] *Семидесятилетие Сталина.*

вдохновляться, «гореть», изобретать новенькое... а не повторять общеизвестные истины. Стих тоже не на высоте — вялый, почти корявый...

...Под этими стихами стоит, впервые после ждановского разгрома появившееся в печати, славное имя Анны Ахматовой! Имя не только первого современного русского поэта, но и человека большой, на деле доказанной душевной стойкости. Ахматова с первых дней большевизма выбрала следующее: России не покидать, с большевиками ни на какие компромиссы не идти. И раз выбрав позицию, так с нее и не сходила...

После войны ей ненадолго разрешили было печататься и выступать. Вышедшая тогда, впервые за четверть века, ее новая книга была расхватана в несколько дней. Когда Ахматова появилась в 1945 году на литературном вечере на эстраде Дворянского собрания в Петербурге, тысячная толпа встала, как один человек... Потом опять началось — знаменитая ждановская чистка, новое запрещение печататься и выступать. И вот спустя четыре года Ахматова опять «заговорила»...

Совершеннейший мастер русского стиха — она вымученными ямбами славит Сталина, называя «спасителем от страшной смерти» главу той власти, которая сперва расстреляла ее мужа Гумилева, затем их единственного сына Леву и теперь обрекла саму Анну Ахматову на творческую смерть...

Кончаю на этом бесконечно грустном примере с поэзией.

«Истоки» Алданова

«Истоки» Алданова чрезвычайно объемисты, даже для этого, приучившего нас к большим полотнам, писателя. Два тома, 932 страницы. На этот раз Алданов выбрал темой конец царствования Александра II. Роман начинается 11 января 1877 года, когда одного из его героев, Мамонтова, будит утром салют в честь бракосочетания царской дочери, великой княжны Марии, с герцогом Эдинбургским, и кончается цареубийством 1 марта и вступлением Александра III на престол.

Сложная и увлекательная фабула протекает в России и за границей. Александр II и Вильгельм I, Бисмарк, Гладстон, Дизраэли, Достоевский, Вагнер, Лист, Бакунин, Шлиффен, Маркс,

Перовская, Желябов и прочие исторические персонажи окружены почти столь же многочисленными вымышленными. Эти последние выполняют, как всегда в алдановских романах, два задания. Обычную роль вымышленного элемента во всяком историческом повествовании — оживлять его и придавать ему занимательность, и еще, специально алдановское, — пропускать все, что показывается читателю — вечное и временное, великое и малое, — сквозь исторический скептицизм автора, окрашивая все в однообразный тон безверия и отрицания.

Во втором томе «Истоков» мимоходом, но очень выразительно, набросан портрет Клемансо в молодости. «Уже тогда», отмечает Алданов, Клемансо «делил громадное большинство людей на прохвостов и дураков». Но «теоретически» — т. к. «никогда не встречал» — Клемансо «допускал возможность», что «где-нибудь очень далеко в пространстве» могут «изредка появляться святые», как «они, по-видимому, изредка появляются во времени, например, в первые века христианства»...

Уже подбор слов в этом отрывке замечателен сам по себе! Сколько оговорок делает Алданов, «теоретически допуская», что «святые», может быть, «изредка появляются». Чувствуется, что Алданов, так же как Клемансо, «в существование святых верит плохо», — точнее говоря, не верит и сознает, что поверить не способен. И не только потому, что сам «никогда их не видел», но и потому еще, что если бы и увидел, то вряд ли бы все-таки поверил... по врожденному скептицизму. Это подтверждается немедленно на примере. В том же вводном эпизоде «Клемансо, глядя на революционера с наружностью библейского патриарха» — известного эмигранта Лаврова, колеблется, к какому разряду людей относится Лавров. Что Лавров «не прохвост», Клемансо совершенно ясно. «Не святой ли перед ним», — приходит Клемансо в голову. Клемансо «допускает» эту возможность — ему хорошо известны высокие нравственные качества Лаврова. Но остается в силе и другая возможность, что Лавров просто дурак, — возможность для Клемансо гораздо более естественная. Решить окончательно Клемансо так и не может: разница между дураком и святым ему не вполне ясна.

От лица Клемансо явно говорит сам автор. Его взгляд на человечество, настойчиво проводимый им во всех его романах, абсолютно тот же. Характерно, что единственное исключение из «правила» — что люди либо прохвосты, либо дураки, либо помесь этих двух особей «большинства людей» — делается Алдановым в «Истоках» для таких же, как Лавров, революционеров-народовольцев.

Делается по тем же мотивам и так же рассуждая, как Клемансо. Что «народовольцы» никак не прохвосты — Алданову вполне ясно. Их нравственный облик — аскетическое презрение ко всему на свете, не исключая неизбежной виселицы, во имя объединяющей их идеи — сближает их в глазах Алданова с христианскими мучениками и вызывает у него неподдельную симпатию — редкое и малознакомое Алданову чувство.

Эпизод Клемансо — Лавров характерен и для всего алдановского мировоззрения. В общих чертах оно сводится к следующему: «дураками и прохвостами», составляющими «большинство человечества», и в их личной жизни и в истории, которую они же творят, — двигают почти исключительно жадность, честолюбие и эгоизм. Только одни эти чувства в людях естественны и неподдельны. Все остальное — обман или самообман, сознательное или инстинктивное притворство. Ум — привилегия прохвостов. Он, по существу, не что иное, как более или менее удачная комбинация эгоизма и хитрости. Умение перехитрить ближнего, использовать его глупость — сила, возвышающая человека над окружающими. Она — залог и предпосылка успеха. Умный человек, прокладывая себе дорогу к удовлетворению собственной жадности, честолюбия, эгоизма, — тем лучше достигает цели, чем глубже его знание человеческих слабостей и чем более он свободен от предрассудков, созданных притворством или корыстью. Таков рядовой ум. Высшая же — философская — форма ума отличается от рядового тем, что презирает не только себе подобных, но и самое себя. Презрение это основано на самопознании.

Эта «высшая форма» ума для Алданова, по-видимому, — предел духовного совершенства. Таков Клемансо. Таковы Браун

и Федосьев в «Ключе», Ламор в «Девятом Термидоре» или Висләниус в «Начале конца».

В «Истоках» персонажей такого уровня нет. На этот раз роль этих, наиболее дорогих ему, героев исполняет сам автор, равномерно распределяя по всему роману ту ледяную иронию высшей марки в отношении всех и всего, которая в книгах, где действуют герои типа Брауна, сосредоточена сгустками вокруг их личности. Поэтому в «Истоках» не встречается таких перенасыщенных энергией всеотрицания и безверия страниц, как разговоры Ламора в неаполитанской крепости и в кабинете Талейрана или блестящие словесные дуэли Федосьева — Брауна. Авторский скептицизм и безверие разлиты на этот раз по всему, роману равномерно и бесстрастно. От этого они меньше обращают на себя внимание: но, пожалуй, еще более всепроникающи и ядовиты Мамонтов и Черняков, неизменно попадающие по воле автора в нужную минуту в центр событий, — те же, только слегка перегримированные, наши старые знакомые Штааль и Иванчук. Оба в меру ограничены, в меру себе на уме. Оба одинаково стремятся к тому, чего у них нет, и оба неизменно разочаровываются, если добиваются цели. Но, как правило, они ее не добиваются, потому что от природы «душевные импотенты». Их безверие, не менее убежденное, чем у Брауна или Ламора, лишено воли и темперамента. Они вяло желают, вяло стремятся к цели и, вяло грустя о неудаче, на личном опыте и примере подтверждают все ту же основную истину: все в жизни притворство и самообман, жадность, глупость и эгоизм...

«Объясняй жизнь и действия людей в худшую сторону — объяснишь если не все, то, по крайней мере, девяносто процентов. А будешь объяснять иначе — не объяснишь почти ничего», — вяло твердит Мамонтов то же, что до него со страстью и энергией не раз существенно доказывали Браун или Ламор...

Сами по себе «Истоки» — такой же, в общем, алдановский роман, как предыдущие. Но то, что «Истоки» появились после войны, меняет многое. То, что прежде, смутно раздражая, с лихвой искупалось чисто литературными достоинствами, выступает теперь на первый план, вызывая уже не смутное, а определенно тягостное чувство. Как рефлектор, за «Истоками»

стоят события последних десяти лет. В их свете ироническая усмешка автора, оставшаяся неизменной, приобрела новый зловеще-отталкивающий оттенок. Особенно потому, что на этот раз обычные краски алдановской палитры служат ему для создания мастерски написанной исторической картины недавнего Русского прошлого. То есть как раз той эпохи русской истории, которая, несмотря на все недочеты, была и останется надолго одной из высших точек духовного подъема и развития России.

В «Истоках» «изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастья», что, думая так об этом дорогом нам русском прошлом, мы самообманываемся. Как всюду и всегда в человеческой истории, и тут — та же игра низменных интересов, глупости, бессмыслицы... Пожалуй, даже в большей степени, чем всюду, потому что происходит в России. «Цивилизованная» же Россия, по Алданову, — почти что никогда и не существовала. В самом деле, сперва, то есть до конца XVIII века — начала XIX, России, собственно, не было. Было только предисловие к России, длиннейшее, скучноватое, «*нам почти непонятное*», — рассуждает porte-parole[50] автора — Мамонтов, любуясь Царскосельским дворцом. Зрелище его удовлетворяет: «Тут настоящая, уже цивилизованная Россия... Конечно, более русская, чем какая-нибудь Кострома...» А 80-е годы, когда Мамонтов живет, уже «истоки» — истоки большевизма. Выходит, таким образом, как ни считать, от Растрелли до октября 1917 года — коротенькая до комизма история «настоящей цивилизованной России», «с длиннейшим и скучноватым» тысячелетним предисловием и «с почти немедленно наступившим большевистским послесловием». Да и сам этот отрезок — эта «вспышка цивилизации» между непонятной «Костромой» и СССР, — в какой степени она принадлежит, собственно, русским людям? Дворец, которым любуется Мамонтов, построен Растрелли, «который чувствовал Россию, русскую душу, русский пейзаж, может быть, гораздо лучше, чем какой-нибудь московский боярин...» Вывод напрашивается, по-моему, сам собой: даже тем немногим, что было в русской истории «цивилизованного», не скучного, не непонятного, — русским

---

[50] выражающий мысли (*фр.*).

людям чрезмерно гордиться нечего: оно или создано иностранцами или заимствовано у них. Не наивно ли строить на этой не вполне обоснованной гордости — надежды на русское будущее? Какие, в самом деле, если верить нарисованной в «Истоках» картине, у нас основания для этого? Сзади — скучное и непонятное «предисловие». В настоящем — кровавое «послесловие». В мимолетном «просвете» — заимствованная, не успевшая привиться цивилизация, скверные цари в построенных итальянцами дворцах, пустое общество и — единственное положительное явление среди этой смеси лицемерия, интриг, бестолковщины и разочарования — бомбы революционеров, героически жертвующих жизнью во имя «светлого будущего»... которое обернется сталинским «настоящим»...

Александра II Алданов называет «лучшим из русских царей» и, точно спохватившись, прибавляет: «хотя это и немного». «Лучший из русских царей» изображен в «Истоках» со снисходительной симпатией.

Александр II в интерпретации Алданова — добрый, но пустой малый. Интересуют его, главным образом, любовные дела и парады. Россия, реформы, государственные заботы — для него дело второстепенное и скучное.

...Александр II размышляет на досуге о всевозможных вещах, его интересующих: хорошо ли спала княжна Долгорукая, не плакал ли их сын Гога и т. д. Логически мыслить «лучший из царей» явно не способен — его мысли перескакивают с одного на другое, без всякой связи. Между прочим, после наивного недоумения, как это может Тургенев («Дым» которого Александр II только что прочел) страдать от неразделенной любви, — у него, т. е. у царя, любовных неудач никогда не было, поясняет писатель, — в голову царя приходит мысль о конституции. Царь, давший России судебную реформу и освободивший крестьян, рассуждает о конституции так: «А что, если, в самом деле, дать им конституцию?» Им — это значит Тургеневу и всем этим господам, которым тоже «хочется править, иметь почести и власть». Добродушный царь против этого, естественного, по его мнению, желания «тоже носить мундир» «ничего не имеет». «Что ж, я их понимаю: я сам люблю все это». «А что, в самом деле, — дать им

конституцию и раз навсегда от них отделаться», — продолжает Александр II свои размышления. Но царь, хотя и простоват, но все же достаточно хитер, чтобы сообразить, что даром давать «им» конституцию нерасчетливо. Вот если удастся жениться на княжне Долгорукой, а там и короновать ее — тогда другое дело. Тогда «я счастлив был бы дать им конституцию», — делает «лучший из царей» вывод... Таков в «Истоках» Александр II...

Прежние романы Алданова, впрочем, нас давно уже приучили, что, рисуя русских царей, знаменитый писатель неизменно, вместо портрета, создает шарж. Достаточно вспомнить Екатерину Великую в «Девятом Термидоре»! В сравнении с красками, которыми она написана, ее правнук изображен почти слащаво, нежнейшей пастелью. Допустим, что у Алданова есть основания изображать всех членов династии Романовых отрицательно. Но кроме Александра II в «Истоках» действует множество исторических лиц, и русских и иностранцев. У меня нет достаточно места, чтобы делать выписки. Но если читатель внимательно перечитает алдановские портреты-характеристики таких различных людей, как Бисмарк или Бакунин, Достоевский или Вагнер, он убедится, что «общечеловеческие» свойства — пошлость, глупость, низость и т. п. — свойственны им не в меньшей, а часто и в большей степени, чем обыкновенным смертным. Например, Черняков, в гостях у Достоевского, определенно выигрывает в этом смысле в соседстве со своим гениальным собеседником... Исключение, кроме народовольцев, делается Алдановым почему-то только для одного Гладстона. Все остальные исторические лица поданы так, точно их изображал мимолетный герой «Истоков», некий пожилой коммерциенрат, человек «*очень неглупый и очень любезный*, но представлявший некоторую опасность для окружавших его людей, *особенно для знаменитых...*»

Опасность эта заключается в следующем. «Очень неглупый и любезный коммерциенрат» «все запоминал, многое записывал (что не надо было записывать) и делал это не для того... чтобы после кончины известного человека напечатать — мои встречи с X»... «Никаких дурных намерений, — заверяет нас Алданов, — при этом у него не было». Но описывал

коммерциенрат свои встречи так, «*что знаменитые люди должны были бы в гробу рвать на себе волосы...*»

Одни только «народовольцы» целиком пощажены иронической усмешкой автора «Истоков». Может быть, поэтому страницы, посвященные им, несомненно, лучшие в книге. Разницу между этими страницами и остальным романом можно выразить образами известной народной сказки о живой и мертвой воде. Перовская, Желябов, Гриневицкий, Геся Гельфман и остальные участники цареубийства 1 марта, точно так же как и все действующие в романе лица, вылеплены опытной и уверенной рукой. Они тщательно спрыснуты «мертвой водой» эрудиции, стилистической точности, зоркости наблюдения. Но вдобавок народовольцы у Алданова спрыснуты еще и «живой водой». Они — большая творческая удача. *Они живут*. И эта их жизненность настолько сильна, что оживляет все, с чем народовольцы соприкасаются. Напряженно-трагические дни и часы подкопа, взрыва царского поезда, арестов, ожидания возвращения Александра II с развода — переданы с исключительной убедительностью. И, повторяю, эта исключительная убедительность оживляет не только главных героев, т. е. самих цареубийц, но и гиганта околоточного, лихого полицмейстера, добродушного «санитарного генерала», вплоть до царского кучера и самого царя, вдруг чудесно ожившего в (с жуткой простотой воссозданный) короткий промежуток между первой и второй бомбами...

Алданов явно любит народовольцев несравненно больше, чем остальных своих героев, и эту любовь не может — или не хочет — скрыть. Все в романе изображено им если не беспристрастно, то бесстрастно. В изображении революционеров в Алданове чувствуйся неподдельная страстность. До напряжения и убедительности сцен подкопа, взрыва и цареубийства в «Истоках» поднимаются, пожалуй, только еще полстранички (из 232-х первого тома), начинающиеся: «Он проснулся часа через полтора...» — удивительные по простоте и силе.

Особое отношение Алданова к народовольцам выражается еще и в том, что он их почти не наделяет «общеобязательными», в глазах Алданова, человеческими свойствами. Говорю «почти»,

потому что, хотя и вскользь, и очень осторожно, — нет-нет и мелькнет то в том, то в другом из них знакомая нам черточка эгоизма, честолюбия или пошловатого позерства, как, например, в монологе Гриневицкого в кафе. Алданов, вероятно, убежден, что все люди таковы, что «иначе не бывает», что эти черточки необходимы, чтобы его любимые герои не показались бы чересчур абстрактными и нереальными.

Может, пожалуй, получиться впечатление, что я выискиваю то, что мне кажется недостатками Алданова, и не вижу или не хочу видеть его достоинств. Конечно, это не так. Писательский блеск Алданова — от его сухого, четкого стиля до мастерства, с которым он пользуется своей огромной эрудицией, — мне так же очевиден, как и любому из его бесчисленных почитателей, русских и иностранных. Спорить с тем, что Алданов первоклассный писатель, я меньше всего собираюсь. Тем более, что это значило бы опровергать самого себя: я не раз, в свое время, высказывался в печати об Алданове очень определенно. Если я здесь выступаю отчасти против Алданова, то только потому, что отдаю себе отчет в его писательской силе. Именно в ней, по-моему, и кроется «вред» Алданова...

Повторяю: на что направлено в «Истоках» мастерство, ум, знание, блеск? Почти целиком на разложение, опустошение, всеотрицание.

Философия безверия и скептицизма, которой насыщены романы Алданова, отчасти напоминает Анатоля Франса. Литературная судьба последнего, кстати, очень поучительна. Слава и влияние на умы Франса, достигнув в первые годы после войны 1914–1918 гг. апогея, вдруг, внезапно, померкли. Франс оставался тем же, что был, книги его не потеряли ни своего блеска, ни занимательности, ни своеобразия... Но вдруг, и чуть ли не в один год, — Франса разлюбили, перестали читать, отвернулись от него... Эта резкая перемена была не чем иным, как проявлением инстинкта самозащиты послевоенного читателя. Реагируя так на Франса, этот французский и европейский читатель защищал свое нравственное здоровье, расшатанное испытаниями первой войны. Резкость этого читательского отпора показывает, что и тогда самозащита от ядовитого отрицания, распространявшегося

от книг Франса, была очень сильна. А были это баснословно благополучные, по сравнению с нашим временем, времена. И читатель, так на Франса реагировавший, был человеком, не только сохранявшим жизнь, традиции, правовой порядок, нравственные и государственные устои, но и человеком из стана победителей, в те годы, когда победа сохраняла еще весь свой вес... В какое сравнение могут идти нравственные потрясения и страдания, которые этот читатель перенес, с «неупиваемой чашей» русских страданий, тридцать третью годовщину которых будет скоро праздновать под пушечные салюты и громовое ура — «самая счастливая страна мира»... И перед нами русские читатели, у которых (кроме этих страданий) не осталось ничего, кроме русского прошлого и опирающейся на это прошлое надежды на будущее...

Говорят: «Талант обязывает»... Мне кажется, что в нынешних «исключительных» обстоятельствах еще в большей степени обязывает престиж. Имя Алданова, бесспорно, самое прославленное из имен русских современных писателей. «Истоки» не только прочтет каждый русский эмигрант, «новый» и «старый», но и множество иностранных читателей. Большинство из них прочтут «Истоки» не только как увлекательную и блестящую книгу, но вдобавок как книгу писателя, которого давно чтут и словам которого заранее верят. И вот иностранцы узнают лишний раз, что Россия, в лучшую свою пору, была такою, какой ее изображает знаменитый и независимый русский «историк». «Новых эмигрантов» роман Алданова обогатит, кроме этого отрицательного изображения почти неизвестного им русского прошлого, еще и тонкой прилипчивой проповедью неверия и отрицания. А эмигрант старый с горечью задумается — кто ж все-таки прав? Он, несмотря на все продолжающий гордиться русским прошлым и верить, опираясь на эту гордость, в русское будущее, или так красноречиво и убедительно разрушающий эти «иллюзии» Алданов? Короче говоря — первоклассная по качеству книга принесет больше вреда, чем пользы, и вред этот вряд ли искупят ее художественные достоинства... Последние, повторяю, велики. Но все-таки, если бы это было возможно, следовало бы отложить чтение Алданова до лучших времен, когда все раны зарубцуются...

«Конец Адамовича»

...Огромные достижения (большевизма) нельзя называть исключительно материальными. Принцип равенства сияет и глубоко озаряет души (в СССР)...
...Я не только признаю коммунизм неизбежностью. Я его приветствую и зову...
...Там (в СССР) нет ни эксплоатации человека человеком, нет ни праздных, ни привилегированных... не будем же говорить о пролитой крови...
...В крайне правых кругах — толкуют о «священной ненависти». Постыдная болтовня. Чем, собственно, освящена она, эта покоящаяся на сомнительных основаниях ненависть?..

Георгий Адамович. «L'autre patrie»

«Конец Георгия Адамовича!»

Недавно в кулуарах одного из литературных собраний я услышал эту, произнесенную кем-то полудраматически-полушутливо, фразу. И она и тон, которым были произнесены эти слова, живо напомнили мне довоенный «русский Монпарнас» — кафе «Дом» или «Куполь», человек двадцать-двадцать пять тогдашней так называемой «литературной молодежи» за сдвинутыми столиками, и в центре этой шумной компании Адамович, произносящий таким же тоном полушутки-полуприговора эту же фразу, с той, разумеется, разницей, что за словом «конец» следовало не его собственное имя, а то та, то другая фамилия из эмигрантской литературной среды.

Иногда слова Адамовича не имели никаких последствий. Иногда, наоборот, означали для того, к кому относились, на самом деле «начало конца». Власть Адамовича над нашими сорокалетними «начинающими» была тогда почти безгранична. Он не только мог написать о любом из них все что угодно в еженедельном критическом подвале «Последних новостей» — либо произвести в эфемерные знаменитости, либо безапелляционно прикончить, — но, что еще важней, самый каприз-

но-противоречивый, самый произвольный приговор Адамовича принимался его многочисленными адептами и поклонниками слепо, как закон. Причем новый закон автоматически отменял предыдущий. Тот, кто возьмет на себя труд посмотреть фельетоны Адамовича подряд за несколько лет, вплоть до 1940 года, будет вознагражден, отыскав самые причудливые оценки «первого эмигрантского критика» — мало кем оспариваемый в эстетических кругах того времени титул Адамовича. Бросится ему в глаза и другая примечательная особенность. Строгий и капризно-придирчивый к эмигрантской литературе, для советской поэзии и прозы, чем ближе к войне, Адамович почти не находил иных выражений, кроме почтительно-восторженных. Собственно советскую власть, если ему приходилось ее коснуться, Адамович сдержанно осуждал, выражая при этом надежду на ее неизбежную эволюцию. Последнее, правда, рекомендовалось сотрудникам «Последних новостей» свыше, т. е. Милюковым, но было обязательно только в области политики. Восхищаться каким-нибудь «Бронепоездом» или находить у Пантелеймона Романова «сходство» с Львом Толстым Милюков присяжного критика своей газеты отнюдь не обязывал.

Да и самого Адамовича, с субтильностью его эстетического вкуса, воспитанного уже в Петербурге на Анри де Ренье и Анатоле Франсе, Бодлере и Малларме и дошлифованного в Париже Прустом, Джойсом и Гексли, — разные Павленки и Пантелеймоны Романовы, сами по себе, как таковые, не только не восторгали, а скорее претили ему. В этом сам он не раз откровенно признавался. Но «Павленки» были «*советскими*» писателями, и то, что они советские, делало для Адамовича и его друзей неотразимым самый звук их имен. Заранее очарованный, он без разбора превозносил и талантливых и бездарных, только бы на обложке стояло «Ленинград» или «Москва». Федотов сравнил как-то статьи Адамовича с антенной, ловящей голоса «оттуда», т. е. из СССР, сравнил, очень находчиво.

И вот, «Ou sont les néiges d’antant»[51]. Где «русский Монпарнас», «Последние новости», неизбежность эволюции, сорокалетняя

---

[51] «Но где же прошлогодний снег» (*фр.*).

юность начинающих!.. Много воды утекло и еще гораздо больше крови, половина которой, скромно считая, на совести той самой Москвы, голоса из которой ловил когда-то на свою «антенну» очарованный «радист» Адамович. Говорят, человек всегда в конце концов получает то, к чему его сильно влекло. Адамович, так долго слушавший голоса из советского «прекрасного далека», услышал их, наконец, вблизи, в Париже. «Первый критик эмиграции» стал столпом «Русских новостей».

Это сотрудничество в газете Ступницкого было долгим, деятельным и разнообразным. Пересматривая комплект большевистской газеты, за пять лет ее печального существования, найдешь в ней за подписью Адамовича еще больше «любопытного», чем в газете Милюкова. Теперь, совсем недавно, это сотрудничество прекратилось. В связи с выходом Адамовича из «Новостей» и была произнесена услышанная мною фраза «конец Георгия...»

Конец или не конец — покажет будущее. Но факт налицо — впервые чуть ли не за четверть века Адамович остался без трибуны.

Всякому другому в его положении я бы посоветовал использовать «свободное время», чтобы написать на досуге какую-нибудь серьезную книгу. Но в отношении его это было бы предательским, провокационным советом. Он уже однажды использовал, тоже вынужденный во время «оккупации», досуг, написав по-французски «L’autre patrie».

Я искренне жалею о том, что Адамович издал «L’autre patrie», бросающую такой специфический отблеск на его литературное имя. Когда-то я был одним из приветствовавших его дебют в литературе. И был в этом не только не одинок, а в очень «хорошей компании». Достаточно сказать, что первая книга стихов Адамовича «Облака» была издана «Гипербореем». Принимал же книги для «Гиперборея» не кто иной, как Гумилев, и притом с необычайной, даже для Гумилева, строгостью: средства «Гиперборея» были ограничены — я знаю несколько известных имен, которым «Гиперборей» отказал... «Облака» вышли в конце 1915 года и сразу сделали никому неведомого юного поэта «своим» в наиболее изысканном и разборчивом литературном

кругу. Блок, Кузмин, Ахматова, Мандельштам сходились на том, что стихи нового избранника «Гиперборея» — прелестны и своеобразны. И, действительно, они были очень хороши и много обещали. Кроме прелести и своеобразия в них было не только «уменье скрывать уменье», начало настоящего поэтического мастерства, но за технической самостоятельностью чувствовалась и самостоятельность духовная...

Серьезность в отношении и к поэзии и к жизни была в те времена не только у молодых модернистов, но и у многих маститых. Реакция против недавних ходуль символизма была в своем апогее и часто переходила в другую крайность — легкомыслие. Кузмин провозглашал свою «прекрасную ясность»: «Дважды два — четыре...» Футуристы ломались и шарлатанили вовсю. Даже акмеизм, несмотря на твердую хозяйскую руку и врожденное чувство ответственности его основателя — Гумилева, хромал на одну ногу: «вторым вождем» школы был Сергей Городецкий, то советовавший переплетать Тютчева, вырвав из книги политические стихи, т. к. политика — пошлость, то призывающий писать «революционное»: не быть революционером — мещанство, то внушал, что Некрасова надо воспринимать «заумно», вслушиваясь только в ритм, то рекомендовал «плевать на некрасовские ритмы — прекрасна одна его гражданская скорбь», а «технически он давно устарел». Игорь Северянин заливался: «Вонзите штопор в упругость пробки, и взоры женщин не будут робки», на поэзо-вечера его так ломилась публика, что зала городской Думы, вмещавшая больше тысячи человек, была тесна. И весь этот разнобой покрывал все тот же Кузмин — общий баловень и любимец, «наиболее созвучный», выражаясь по-нынешнему, эпохе:

Нам философии не надо
И скучных ссор.
Пусть будет жизнь одна отрада
И милый вздор...

Дважды два — четыре,
Два да три — пять,
Это все, что мы можем,
Что мы можем знать...

Адамович, живя в этом хаосе, оставался самим собой. Он слушал хриплое пение Кузмина, восторгался так же, как мы все, и Кузминым, и его забавным пением, и тем, что «философии не надо». Но это не мешало ему, придя домой, штудировать Бергсона. Революцией он не занимался, но политику пошлостью не считал. От призыва в войска Адамовича освобождала университетская отсрочка. Он от этой привилегии не отказывался, но, в отличие от очень многих, в его стихах и статьях чувствовалось, что он помнит и о войне и о том, что кроме легкомысленно-беззаботного Петербурга богемы, вернисажей, стихов, балета, ужинов в «Вене» — существует еще Россия, судьба которой решается там, во вшивых окопах...

Я мог бы еще много рассказать о том, бывшем Адамовиче. Но место ограничено, и тема моей заметки, увы, Адамович «настоящего». Перед тем, как от «приятного прошлого» перейти к настоящему, к «L'autre patrie», о которой, при всем желании, ничего хорошего не скажешь, — я хочу процитировать стихотворение, которым открывались «Облака». Эти восемь строчек, по-моему, подтверждают набросанный мною облик «бывшего Адамовича». Согласится ли со мной читатель?..

Опять, опять... Лишь капли дождевые
Прольются по оконному стеклу —
Я под дождем бредущую Россию
Все тише и тревожнее люблю.

Как мало нас, что пятна эти знают
Чахоточные на ее щеках,
Что гордым посохом не называют
Костыль в уже слабеющих руках!

В «L'autre patrie» 332 страницы. На последней помечена дата: 1939–1945. На «рубашке» строка из «Дневника» Андре Жида: «N'oublions pas ce nom: Adamovich»[52].

В книге три части. Цитаты, с которых я начал эту заметку, взяты из второй. Цитаты эти взяты почти наудачу. Из «L'autre patrie» можно набрать еще сколько угодно столь же отвратительных цитат.

---

[52] «Запомним это имя: Адамович» (*фр.*).

Первая часть, в отличие от второй и третьей, вызывает не отвращение, а недоумение, смешанное с жалостью. Она посвящена описанию того, как Адамович, человек глубоко штатский, никогда не воевавший ни в 1914 году, ни тем более в пору гражданской войны, явился после нападения Гитлера на Польшу в рекрутское бюро и записался добровольцем.

Его призывают не сразу. Думая, что о нем забыли, Адамович напоминает о себе. Хлопочет, рвется, как говорится, в бой. Ему, само собой, известно, что для начала его ждет. Избалованный, не столь уж молодой, физически тщедушный, привыкший спать до одиннадцати, — он должен будет вставать в шесть утра под трубу горниста; грязь, вонь, грубость казармы имеют мало общего с комфортабельной виллой его родных в Ницце, на Cimiez, где он сейчас живет и где, если бы пожелал, мог бы прожить безмятежно хоть десять лет.

Но Адамович хлопочет, напоминает, и вот, наконец, он в лагере. Первые приключения. То он, вызывая веселье других новобранцев, никак не может взобраться на грузовик, то разбивает очки и т. п. Когда, совершенно обессиленный, он засыпает на соломенном тюфяке с недоеденным бисквитом в руке, — какие-то толчки будят его. Огромная крыса тянет из его пальцев бисквит.

Начинаются «военные будни» нашего добровольца. Он почти не в силах передвигать ноги от маршировки, муштровки, ружейных приемов. Правда, он при этом патетически восклицает: «Ах, как все-таки прекрасна жизнь!» Но, думается, восклицает маленько задним числом. Не «непосредственно» — маршируя из последних сил на лагерном плацу, а, так сказать, «ретроспективно», вернувшись после армистиса в Ниццу и занявшись писанием «L'autre patrie». Трудно поверить, чтобы жизнь казалась ему «belle»[53] даже с оговоркой «tout de même»[54] — под крики унтера: «Ah les étrangers, les salauds»[55].

---

[53] «прекрасной» (*фр.*).

[54] «тем не менее» (*фр.*).

[55] «Ах, иностранцы, ах, сволочи» (*фр.*).

Но все это пока присказка — сказка впереди. Едва начавшего привыкать к солдатской жизни — «первого критика эмиграции» — вызывают во второе бюро.

«Второе бюро. Эти два слова, напоминающие о кинематографе, о...» — так начинается глава. Молодой лейтенант «с обесцвеченными волосами» сперва задает стоящему перед ним навытяжку Адамовичу банальные вопросы: Где родился? С какого года живет во Франции? и т. д. Осведомляется о направлении «Последних новостей», шутит по поводу русского языка — «да-да», «нет-нет», «нитшего»... Потом, меняя тон, переходит к главному: «Итак, вы никогда не имели неприятностей с полицией? Никогда? В самом деле, никогда и никаких?» И слыша в ответ от Адамовича все те же «нет» и «никогда», — «Откладывает стило. Поправляет очки. Снимает их. Снова надевает». И наконец кричит, «фиксируя» Адамовича взглядом:

— Какого же черта вы записались добровольцем!

Наш знаменитый критик ждет чего угодно — только не подобного вопроса. Он растерян и потрясен. Лейтенант продолжает:

— Voyons, mon ami[56]. У вас есть профессия, средства к жизни, ваши бумаги в порядке. Зачем же вам понадобилось записываться в добровольцы?

Лейтенант, произнося это, пронизывает Адамовича «инквизиторским взглядом». И опыт работника «второго бюро» и обыкновенный здравый смысл, очевидно, подсказывают ему, что Адамович что-то скрывает. Поверить, чтобы свободный, обеспеченный, стареющий иностранец ни с того ни с сего поступил бы в армию, — ясная «картезианская» голова лейтенанта явно не может. Но тут Адамович от растерянности переходит в бешенство («La colére me prend a la gorge...[57]»). И «сдавленным голосом», низко наклонясь к столу своего «инквизитора», он шепчет:

— Я стал добровольцем исключительно из ненависти к Гитлеру! Исключительно!

---

[56] Погодите, друг мой (*фр.*).

[57] «Меня душит ярость...» (*фр.*).

На этот раз ошеломлен «обесцвеченный» лейтенант. Он взмахивает руками, откидывается в кресле, опять наклоняется над столом и берется за стило... — «Ах! Merci[58]. Это все. Merci. Ах! Вы свободны»... И, схватив красный карандаш, лейтенант подчеркивает ответ Адамовича жирной чертой.

Эпилог этой сценки придает ей особую законченность. В тот же вечер, немного отдохнув в бистро от всех этих передряг, Адамович плетется в свою казарму. По дороге он вытягивается, отдавая честь двум офицерам. Один из них — допрашивавший его лейтенант. Узнав Адамовича, он толкает приятеля локтем. Разминувшись с офицерами, Адамович слышал за своей спиной хохот и слова: Hitler, Hitler[59]... Спустя двадцать шагов он оборачивается. «Они все еще давились от смеха», — меланхолически кончается эта глава «L'autre patrie».

Как не посмеяться вместе с этими молодыми французами? Но как в то же время и не посочувствовать Адамовичу? «Подвиг» его смешон. Но страдает-то он по-настоящему! И страдает не только добровольно, но и, так сказать, «идейно»...

Откуда все-таки взялась у него, эстета-интеллигента, на пятом десятке лет эта чрезмерная жертвенность в отношении «второй родины» и эта лютая ненависть к Гитлеру? «Прежний» Адамович не испытывал подобных страстей. Он искренне беспокоился о судьбе России. Но беспокойство свое выражал академически — в задушевных разговорах или стихах. Отказаться от университетской отсрочки «из ненависти к Вильгельму» и отправиться на фронт ему, очевидно, и в голову не приходило! А как-никак тогда Адамовичу было двадцать лет и Вильгельм весьма реально угрожал его настоящей родине, не «второй»!

Откуда взялась? Да оттуда, откуда и все остальное, вплоть до Ступницкого-Богомолова...

Адамовича часто называют теперь то «продавшимся», то «бывшим эмигрантом», даже «бывшим писателем». Печальной литературно-общественной «деятельности» Адамовича последних пяти лет действительно не подыскать оправдания — и «реакция»,

---

[58] Спасибо (*фр.*).

[59] Гитлер, Гитлер... (*фр.*).

которую вызывает его имя в эмиграции, естественна и понятна. Но все-таки он не «продавшийся» и не «бывший», не ренегат типа Рощина и не соблазненный большевизмом великосветский сноб, вроде покойного Святополк-Мирского, сложившего на Колыме сменовеховскую головушку. Случай Адамовича все-таки сложней и даже, по-своему, трагичней. И Адамович не столько ренегат эмиграции, сколько ее жертва.

Жертва роли «первого критика», которую он так долго играл, оказавшейся ему и не к лицу и не по плечу. Жертва той эмигрантской элиты, которая его превознесла и выдвинула на эту неподходящую роль. Жертва безответственной высокопарной болтовни на «воскресениях» у Мережковских, в «Зеленой лампе», в редакции «Чисел», в круге Фондаминского, на Монпарнасе, где один вдохновенно восклицал: «Гете пошляк». Другой задумчиво возражал ему: «Не все формулы еще можно раскрыть». Третий вмешивался в это «столкновение мнений»: «Столица русской литературы, несомненно, не Москва, а Париж!» И потом все хором принимались обсуждать предстоящий послезавтра диспут, где со ссылками на К. Леонтьева, Розанова, Киркегора, Плотина и даже Победоносцева будет поставлена и наконец разрешена «необычайно важная» проблема: «*От чего нам стало скучно?*».

«Литературный Париж» — эстетически богоискательского пошиба, — начиная приблизительно с 30 и вплоть до осени 39 года, чем ближе к последнему — все больше походил на некую лишенную забавности «новостройку» Вавилонской башни.

Мережковский вопиял об ультрафиолетовом луче большевизма. Ему горячо, превосходя его «непримиримостью» и рвением бороться с этим губительным лучом, вторил Анатолий Каменский, некогда знаменитый автор порнографической «Леды», а ныне агент ГПУ, командированный «со специальными заданиями» в «столицу эмиграции». Тут же профессор-богоискатель умиленно повествовал, что «многие православные люди молятся... о Леоне Блюме», делая из этого «непроверенного» утверждения вывод, что вскоре «красота православия» сольется с социализмом и тогда... конец Сталину и всем нашим невзгодам! Младороссы, с ведома «Императора», вступали в «переговоры» с приезжими чекистами из «хороших фамилий»... рассчитывая

их перехитрить. Всеми, всюду, неучами и профессорами, 17-летними девицами и бородачами в пенсне — на все лады, по всякому поводу и без повода склонялось, как заклинание, слово «метафизика»...

После 1905 года возникли знаменитые «огарки» — продукт распада обманутых революционных надежд. Разложение несбывающихся надежд на скорое возвращение в Россию на новый «метафизический» манер сгущалось в «русском Париже» в странную атмосферу, напоминавшую чем-то ту, «огарочную», «доброго старого времени». И как раз в этой среде, в этой атмосфере Адамович пользовался все возрастающим, близким к преклонению престижем...

Замкнутая в себе, кипящая бурно и бесплодно в собственном соку, среда эта сперва неуловимо, потом все явственней из антисоветской... перерождалась в пробольшевистскую. «Лиха беда начать»: от повышенного интереса к советской литературе и отождествления ее с русской как-то само собой, незаметно, совершился переход к отождествлению СССР с Россией... Роль «катализатора» в этом процессе сыграла ненависть к фашизму. И чем больше эта ненависть возрастала — тем слабей становилась академически отвлеченная вражда к Сталину. Его место врага № 1 прочно занял Гитлер.

«Путь» Бердяева, «Круг» Фондаминского, салоны, салончики, разные кружки и «экипы» с каждым днем приобретали все большее сходство с заводами, лихорадочно, в четыре смены работающими на оборону. Они на нее и работали по-своему, на оборону от Гитлера, Муссолини, Франко. К последним требовалась от адептов нерассуждающая, стопроцентная непримиримость. К Сталину, как возможному союзнику против «общего врага», соблюдали «выжидательный», почти дружественный, нейтралитет...

В этой умственной и идейной неразберихе и началось скольжение Адамовича «по наклонной плоскости», заведшее его так далеко...

Сидя как-то в русском ресторанчике, я слышал краем уха пьяный разговор... — Как его, это слово! Забыл... ну, как его? Эпилог? Эпиталама? Эпиграф? Ну то, что на памятниках пишут? Как? Эпитафия? Ну все равно — какая разница!

Перепечатываю в заключение отрывок из воспоминаний покойного Иванова-Разумника, в свое время известного критика и левого эсера. Настолько «левого», что в 1918 году заявлявшего, что «Ленин буржуазен» и он, Разумник, само собой, левее Ленина.

...Тяжелобольной старик, зная, что жить ему осталось недолго, сидя в американском лагере, Р. Иванов писал буквально ночи и дни, стараясь записать побольше из того, что до немецкого плена ему пришлось пережить в СССР. По-моему, этот отрывок без комментариев незаменим в качестве — как и тот пьяненький, не знаю чего: эпиграфа, эпитафии или эпилога и к Адамовичу и кое к кому другому, о ком я упоминаю в этой статье. Даже, если угодно, — эпиталамы. Ибо, действительно, пьяненький был прав — какая «разница»!

Отрывок этот, кстати, годится и для довольно забавной игры. Можно, читая его вслух, вместо Иванова-Разумника ставить подходящую фамилию. Например, Редактор «Новоселья». Или тот же Адамович. Или… :

В комнату быстрыми шагами вошел человек в чекистской форме, со знаком отличия в петлице, небольшого роста, коренастый, лет тридцати пяти, начисто выбритый. Новопришедший спросил, указав на меня перстом:

— Этот самый?

Потом подошел, остановился в двух шагах и с минуту разглядывал меня, заложив руку в карман, а другою подпершись фертом в бок. Потом — непередаваемо презрительным тоном:

— Писсатель? Иванов-Разумник?

Я молча смотрел на него. Тогда, начав с низких тонов, но постепенно возбуждаясь и повышая голос, он заговорил:

— Писсатель! Иванов-Разумник! Вы изволили адресовать нам сегодня ваше заявление? Вы позволяете себе обращаться к нам с требованиями? Вы, господин писатель, требуете соблюдения закона? Да знаешь ли ты, болван, что для тебя закон — это мы! Знаешь ли ты, писательская сволочь, что мы в котлету можем превратить тебя с твоим законом, ...твою мать! Это тебе не тридцать третий год, когда с вашим братом церемонились! Вот позову сейчас сюда наших молодцов, и они тебе с твоим законом покажут кузькину мать, ...твою мать! Дерьмо собачье, ты должен дрожать перед нами и во всем сознаться, а не голодовкой угрожать! Испугал, подумаешь, ...твою мать! Смеешь наглые требования предъявлять, ...твою мать!

И, постепенно доходя до дикого крика, завопил:

— Встать, когда я с тобой разговариваю!

Продолжая сидеть и стараясь внешне быть спокойным, но внутренне весь дрожа от этого ливня грязных оскорблений, я спросил согнутую над бумагами спину:

— Гражданин следователь Шепталов, это с вашего разрешения и в вашем присутствии производится такое гнусное издевательство над писателем?

Спина ответила (следователь не обернулся):

— Я не имею права вмешиваться: с вами говорит начальник отделения.

А начальник отделения, придя в совершенное неистовство, продолжал вопить, потрясая кулаком:

— Встать, или я сейчас тебе в морду дам! Встать, или я тебя вместе со стулом вышибу из этой комнаты! Встать, ...твою мать, говорят тебе.

(«*Соц. В.*»)

Рекомендую читателям попробовать. Получается, право, забавно...

<Памяти И. А. Бунина>

Еще вчера Бунин жил среди нас. Еще вчера он был связан тысячью нитей, ниточек, паутинок с нашим беженским бытием, с нашими бедами, надеждами и разочарованиями, со всем тем, что «рассудку вопреки, наперекор стихиям» тянется уже тридцать шестой год, называясь жизнью русской эмиграции.

И вот сегодня все эти нити, ниточки, паутинки резко, раз навсегда, оборвались. Прекратив изгнанническую жизнь писателя, смерть уничтожила и самый факт изгнания. Вырвав Бунина из нашей среды, она вернула его в вечную, непреходящую Россию. И Бунин отныне принадлежит эмиграции не больше, чем любое имя славного прошлого нашей несчастной, великой Родины...

Этим коренным образом меняется и наше отношение к нему — большому мастеру русского слова — и наши «отношения» с ним. Многое, что казалось нам естественным и возможным вчера, сегодня недопустимо и неуместно. Признаемся, что пока Бунин жил в нашей среде, в наших отношениях к нему

существовало, в той или иной степени, некое с ним «запанибратство». Конечно, этому очень благоприятствовала узкая замкнутость эмигрантского мирка... но и слабо развитое у него понятие о «табели о рангах» тоже делало свое дело. Вспомним о ней у свежей могилы и воздержимся от оценок, переоценок и особенно от «приговоров». Бунин еще и обманчиво близок к нам и уже безвозвратно от нас далек. Прежние мерки, которыми мы мерили его творчество и жизнь, уже не годятся. Для беспристрастной, *окончательной* оценки время еще не только не пришло, но еще и не скоро придет. Это наши дети, а может быть, только наши внуки смогут определить настоящее место Бунина.

Если они будут читать «Деревню», «Господина из Сан-Франциско», «Митину любовь», «Солнечный удар» с тем же наслаждением и волнением, с каким их читали мы, — значит, мы были правы, считая Бунина одним из крупнейших писателей нашего времени. Если они — в чем я лично вполне убежден, — минуя иные ошибки его биографии, подтвердят, что Бунин прожил все эти жуткие тридцать шесть лет непримиримым врагом советской власти, значит, ошибались те из нас, кто при его жизни не умели отличить случайного от основного, временного от вечного.

Пожелаем же, чтобы приговор потомства был таков, как он сейчас рисуется мне.

Пожелаем и для Бунина и для нас самих.

Ведь от оценки «избранников» эмиграции будет зависеть и оценка русской эмиграции в целом.

Георгий Адамович. «Одиночество и свобода»

Издательство им. Чехова. Нью-Йорк. 1955

Георгий Адамович, как известно, в течение многих лет помещал критические статьи в «Последних новостях», лучшей эмигрантской газете. Никто из богатой именами и талантами тогдашней нашей словесности не мог бы заменить Адамовича на его критической трибуне. Фельетоны Адамовича всегда отличались не только прекрасным стилем и вкусом, но и необходимым настоящему критику стремлением «вникнуть в сущность» разбираемого им произведения перед тем, как поставить диагноз.

Адамович обладал и теми качествами, которые так важны для газетного критика, обращающегося к широкой аудитории, — неизменной ровностью тона, ясной формулировкой суждений — никакой запальчивости и капризов, ничего слишком личного или явно пристрастного.

Но эти, обращенные к широкой аудитории, образцовые статьи, заслуженно создавшие имя автору, — несколько отодвигали в тень еще более замечательного «другого Адамовича» — поэта и критика поэзии, не для всех, а для немногих. Теперь, когда Адамович волею обстоятельств печатается редко, этот «другой Адамович» начинает медленно, но верно занимать место своего известного однофамильца. На первый план выходят статьи типа «Комментарий», когда-то печатавшиеся в «Числах» и оказавшие такое громадное влияние на целое «незамеченное поколение». Такие статьи и сейчас продолжают неотразимо влиять на новых читателей, как, например, недавно появившаяся статья «Поэзия в эмиграции», глубоко взволновавшая поэтов.

Статьи эти — антиподы блестящих газетных фельетонов — написаны для немногих, без оглядки на читателя. Порой даже кажется, что они написаны только для самого себя, — разговор наедине с самим собой. Разговор, который можно вести только в одиночестве, освещающий самую скрытую суть поэзии — и Адамовича.

И как жаль, что ни одна из этих статей, или подобная им, не включена в прекрасный сборник, озаглавленный «Одиночество и свобода». В этом сборнике есть все: талант, ум, логика, правильно поставленные диагнозы и даже прозрение будущего русской литературы — все, исключая одиночество. С первой же страницы ясный трибунный голос, обращающийся ко всем, трезво и логично говорящий обо всех и обо всем. Свободно? Конечно, свободно. Свободой Адамович не поступался никогда и в газетных фельетонах. Но одиночества приглушенного голоса, недосказанных слов, полууловимых чувств, «за которыми открываются поля метафизики», — всего, что так пленяет в «Комментариях», здесь нет и по самому заданию сборника быть не может.

Все же хочу отметить замечательные страницы, как бы воскрешающие Мережковского и Зинаиду Гиппиус, и всю окружающую их, навсегда погибшую атмосферу, и незабываемый,

«какой-то особенный свет» «Зеленой лампы». И портреты Фельзена, Поплавского, Штейгера. И заключительные «сомнения и надежды».

Осип Мандельштам

В «Цехе поэтов» существовало правило: всякое мнение о стихах обязательно должно быть мотивировано. На соблюдении этого правила особенно настаивал Мандельштам. Он любил повторять: «Предоставьте барышням пищать: Ах, как мне нравится! Или: Ох, нет, мне совсем не нравится!» Звонок синдика Гумилева, прерывавший оценки «без придаточного предложения», всегда вызывал у Мандельштама одобрение. Не следует при этом забывать, что в первом, «настоящем», «Цехе поэтов», в тщательно отобранном кругу наиболее ярких представителей тогдашних молодых поэтов, «разговор» велся на том культурном уровне, где многое подразумевалось само собой и не требовало пояснений. И тем не менее придаточное предложение считалось необходимым.

За последнее время в эмигрантской критике наблюдается как раз обратное, в особенности в статьях некоторых литературоведов из СССР, содержание которых сводится к голословным утверждениям, никак не подкрепленным «придаточными предложениями». Зато параллельно безапелляционности оценок повышается доктринерская важность тона.

Читатель, берущий в библиотеке, тем более покупающий Мандельштама, заслуживает не только внимания, но и уважения. Он сумел сохранить интерес к поэзии не в лубочном, а в настоящем понимании этого слова. Это драгоценный читатель. Вот он принес к себе книгу и с волнением раскрывает ее: Осип Мандельштам. Собрание сочинений. 415 страниц убористой печати. Вступительные статьи Глеба Струве и Б. Филиппова. Первая называется «О. Э. Мандельштам. Опыт биографии и критического комментария». Вторая просто — «А небо будущим беременно». Комментарии. Варианты и разночтения. «Публикации в альманахах и сборниках». «Публикации в журналах». Примечания. Примечания к примечаниям. Рецензии и репортаж. №№ страниц. №№ стихотворений...

Из статей читатель немедленно узнает очень многое о Мандельштаме, о чем и не подозревал. Он знал, что Мандельштам — один из чудеснейших поэтов нашей эпохи. Знал, что «Камень» и «Tristia» — сборники обворожительно прекрасных стихов. Теперь же он с удивлением читает в «Критическом комментарии» Глеба Струве: «*Любопытно*, что советские историки литературы лучшей книгой Мандельштама считали «Камень»... Между тем как поэт Мандельштам дал самые лучшие свои вещи именно после революции». Почему «любопытно» и почему «именно после революции», читатель так и не узнает.

Вздохнув, читатель переходит к Б. Филиппову: «Стихи «Tristia» — *почти заумные* (?). Только это не заумь Хлебникова. Огромная иудейско-христианская культура стоит за каждым словом, за каждым нещедрым образом Мандельштама... Никакого украшательства. Только необходимое. Но для полной расшифровки читателем этих строк-иероглифов как много требуется знаний, ума, чувства. И вместе с тем никакими философемами мудрецов не передашь того... что так совершенно передает Мандельштам».

Читатель сознает, что у него не хватает знаний и что с «философемами мудрецов» он не очень-то знаком...

С беспомощной улыбкой признаюсь — я целиком разделяю мнение советских критиков, считающих лучшей книгой Мандельштама «Камень». Разумеется, «Tristia» тоже прекрасна. На первый взгляд, она даже пышнее, виртуозно-роскошнее «Камня». Дыхание шире, ритм и образы разнообразнее. Но если вслушаться и вглядеться внимательней — и если к тому же годами очень близко знать особенности «поэтической кухни» Мандельштама, — стихи «Tristia» начинают вызывать смутное беспокойство за дальнейшую судьбу поэта. Да, восхитительно-прекрасно... Но что за этим последует?..

Именно так, с восхищением и с тайным страхом воспринимались в 1920 году сыпавшиеся одно за другим, одно лучше другого, — как совершенно верно замечает Глеб Струве, — стихи, составившие «Tristia».

Я не профессиональный критик, я член «Цеха», ближайший сотрудник «Аполлона», товарищ Гумилева, Ахматовой, Лозинского

и того же Мандельштама. Читая его «Собрание сочинений», я вспоминаю сотни подробностей, как его стихи создавались, впервые читались, обсуждались в «Цехе» и перерабатывались. Вот эта строфа «Адмиралтейства» почти целиком сочинена Гумилевым, а первоначальная — «Так музой зодчества был вскормлен мудрый лебедь», — по общему цеховому согласию, уничтожена. Вот эти строки оды «Бетховен» забракованы Ахматовой. А здесь Мандельштама вывел из тупика наш общепризнанный арбитр вкуса Лозинский. И поэтому я, более чем кто-либо в наши дни, знаю, какое значение для вечно сомневающегося, вечно колеблющегося Мандельштама имела окружающая среда. Его чудесный талант, его огромное врожденное мастерство были не в его власти, а во власти той стихии музыки, образов, ритмов и слов, которой он дышал. Его вечно разгоряченная, изобретательная, неустойчивая голова была переполнена противоречивыми идеями, высокой умной путаницей, которую он в минуты слабости не умел изложить, морщась от невозможности отыскать необходимое ему слово или рифму, если они, как обычно, не слетали к нему «свыше». Поэтому-то он не только легко поддавался влиянию, но просто в такие минуты искал его, искал помощи, даже опеки. Его женственно-сложная природа, сотканная из слабости и почти болезненной неуверенности в себе, заставляла его сомневаться в каждой своей строке, в каждом слове. «Можно это оставить? Можно так сказать? Правильно это или лучше выбросить?» — и уживалась с сознанием своего превосходства, избранности, заносчивой гордыней: «Что же из того, что неправильно, что так не говорят? — надменно заявлял он. — Так будут говорить, раз я написал!». Или: «Никакой ошибки здесь нет. Это просто русская латынь!».

Он поддавался с одинаковой страстью влияниям благотворным — акмеизм — и влияниям вредным, даже разрушительным, вроде кубофутуризма и пресловутой зауми. В дореволюционный период сильнее всего на него влиял Гумилев. Их отношения в творческом плане (в повседневной жизни их связывала ничем не омраченная дружба) были настоящая любовь-ненависть. «Я борюсь с ним, как Иаков с Богом», — говорил Мандельштам. Победителем из этой поэтической борьбы неизменно выходил

Гумилев. Прямой результат этих побед — стройное совершенство «Камня» и отчасти «Tristia». Перечитывая стихи Мандельштама, изданные им уже после гибели Гумилева, я нашел в них несколько гумилевских поправок, когда-то яростно отвергнутых Мандельштамом и все же им принятых.

Можно по-разному расценивать поэзию Гумилева. Но не может быть двух мнений о значении Гумилева как учителя поэзии. В этой роли он был по меньшей мере тем, что Дягилев в балете. Конечно, он не создавал из ничего замечательных поэтов. Но и Дягилев тоже не создал из ничего Нижинского или Лифаря. Гениальная проницательность выбора сочеталась у обоих с еще более поразительным даром — указывать новоявленному избраннику его правильную творческую дорогу. Примеров сколько угодно: Ахматова до брака с Гумилевым писала стихи о лукавых неграх и изысканных скрипачах. М. Зенкевич, теперь несправедливо забытый, пришел весной в «Аполлон» с тетрадкой удручающе банальных стихов. После нескольких встреч с Гумилевым он привез с каникул свою великолепную «Дикую порфиру». Будущему переводчику «Божественной комедии» М. Лозинскому Гумилев первый посоветовал заняться этим. Одоевцева, будучи ученицей Гумилева, написала первую современную балладу, имевшую многих подражателей, вплоть до Заболоцкого. Но возможно, что никто не обязан Гумилеву в такой степени, как Мандельштам «Камня».

Мало кому известно, что, наряду с «Дано мне тело...» и другими чудесными стихами, появившимися в «Аполлоне» 1911 года и так нас всех поразившими, Мандельштам сочинял множество «Политических стихов», похожих на Якубовича-Мельшина. «Синие пики обнимутся с вилами. И обагрятся в крови», — славословил он грядущую революцию. «Варшавянку» он считал непревзойденным образцом гражданской поэзии. Увлекаясь теософией, он пытался изложить теорию перевоплощения длинными риторическими ямбами.

Став с изумительной быстротой первоклассным поэтом, Мандельштам, хоть и против воли, отказался от этих своих увлечений, но до конца, как первую любовь, он так и не забыл их. Порой воспоминания о них продолжали звучать в его самых музыкальных, блестяще акмеистических стихах.

Странно сказать, почти все лучшие, кристально-просветленные, неподражаемые стихи Мандельштама написаны как бы немного по внушению цеховому, вернее гумилевскому. Мандельштам подчинялся акмеистической дисциплине, принимая ее как некое монастырское послушание, но то и дело возмущенно против нее восставал. Так, в 1913 году он до того бурно увлекся кубофутуристами, что едва не перешел в их группу. Удержал его от этого шага, доказав ему всю безрассудность его, Бенедикт Лившиц, кстати, сам кубофутурист. Характерно, что Мандельштама пленяли не Хлебников или Каменский (т. е. лучшие из кубофутуристов), а Бурлюки с Маяковским. Тогда же он начал писать — задолго до Пастернака и в сто раз хуже — собственного «Лейтенанта Шмидта» рублеными рифмами Маяковского. Но, опомнившись и вернувшись в лоно «Цеха», он уничтожил его вместе с нелепой поэмой «Старцы».

В те довоенные годы такие вспышки не длились долго. «Цех» и Гумилев неизменно одерживали верх над всеми посторонними влияниями и увлечениями. Но вот наступила война. «Цех» распался. Гумилев на фронте. Революция. Уже не Петербург, а Москва, Крым, Одесса, Грузия, Киев, перехлестывающие, захлестывающие волны всяких политических и литературных влияний и никакой опоры, никакой опеки. Среди этих влияний, в которые, как в океан, попадает Мандельштам, оказались и благотворные — так называемая «Южно-русская школа» — кружок преданных поэзии одаренных молодых людей: Ю. Олеша, В. Катаев, А. Фиолетов, Э. Багрицкий, еще некоторые. Потом Марина Цветаева и Макс Волошин в Крыму. Эти общения, я думаю, помогли Мандельштаму создать «Tristia» — прекрасный взлет перед падением, гибельным пожаром, катастрофой его таланта.

Творчество Мандельштама после «Tristia» из года в год, как со ступеньки на ступеньку, неизменно понижается... 1923 годом еще помечен ряд замечательных стихотворений. Мандельштам на перепутьи. Он пишет то акмеистический «Век», то его антипода, абстрактную «Грифельную оду». «Век» переливается всеми огнями былого мандельштамовского очарования. «Грифельная ода» — тусклая мозаика из колюче-жестких, как сухая рыбья

чешуя, слов, всякого «очарования» лишена. Но и там и тут безошибочное блестящее мастерство говорит само за себя. «Век» и «Грифельная ода» — особенно характерные образцы. В большинстве остальных стихотворений колебания поэта перемешаны, как будто он не может решить, на чем окончательно остановиться. Эти колебания и в дальнейшем не разрешатся до конца. С годами они просто потеряют значение: «беспредметное» ли «1 января 1924 года», растянутое на 72 вот такие строки: «То ундервудов хрящ: скорее вырви клавиш — И щучью косточку найдешь». Или весьма «предметная», лубочно-«красочная» «Армения» 1930 года:

Орущих камней государство —
Армения, Армения!
Хриплые горы к оружью зовущая —
Армения, Армения!
К трубам серебряным Азии вечно летящая —
Армения, Армения...

* * *

Мандельштама физически уничтожила советская власть. Но все же он вышел на большую литературную дорогу одновременно с укреплением этой власти. До революции Мандельштама по достоинству ценили и любили несколько друзей-поэтов и десяток-другой читателей-петербуржцев. Печатался он почти исключительно в нашем «Аполлоне», с которым в тогдашних широких литературных кругах либо вообще не считались, либо — справа и слева — издевательски высмеивали. В Москве один Ходасевич признавал Мандельштама «хорошим поэтом». Брюсов в ответ на эту скромную оценку иронически пожимал плечами. Достаточно сказать, что в период 1912–1916 годов — самый блестящий период расцвета своего таланта — Мандельштам три или четыре раза посылал стихи в «Русскую мысль» Петра Струве, по общему признанию, культурнейший из «толстых журналов», головой выше всевозможных «Современных миров». Посылал и неизменно получал посланное обратно: «К сожалению, не подошло». А литературным редактором «Русской мысли» был

не кто другой, как сам Брюсов. То же было и со знаменитой «Антологией» «Мусагета». Андрей Белый провозгласил ее «пиром русской поэзии». Кого-кого только не было на этом пиру, но Мандельштама на него не пригласили. К. М. Кожебаткин, издатель передовой «Альционы», наотрез отказался издать в 1916 году «Камень», издав ни в какое сравнение с «Камнем» не идущие сборники стихов М. Л. Лозинского и пишущего эти строки. Ни в одном большом альманахе или ежемесячнике не появлялось ни стихов, ни прозы Мандельштама, ни тем более статей о нем. Единственным исключением были «Заветы», где Иванов-Разумник сам попросил у акмеистов стихи и напечатал их, сопроводив собственной издевательской статейкой. Раз или два напечатала Мандельштама эстетка С. И. Чацкина в своих «Северных записках» — и это все.

После окончания гражданской войны картина меняется. За пять лет (1923–1928) Мандельштамом издано и переиздано десять книг стихов и прозы. К этому надо прибавить восемь книг переводов, ряд книг, вышедших под его редакцией, длинный список советских журналов и газет, печатавших Мандельштама. «Отсутствие места» заставило редакторов отчетного «Собрания сочинений» отказаться «от приведения литературы о Мандельштаме». Литература эта, очевидно, создалась целиком при большевиках, на страницах советской печати. До революции она попросту не существовала.

Имя Мандельштама, начиная с 1922 года, из узкокружкового становится именем известного поэта.

В нашу последнюю встречу осенью 1922 года в Москве я лично наблюдал, как вырос престиж Мандельштама. С одной стороны, тот же Брюсов теперь льстиво ухаживал за «Осипом Эмильевичем». С другой — писательская молодежь ловила каждое его слово и стремилась учиться у него. Вызывающее московское пренебрежение тех дней к «Петербургу» — «Блок — мертвец, Гумилев — вахмистр, Ахматова — стишонки для белошвеек» — на него никак не распространялось. Наоборот! Показательна в этом отношении приводимая Г. Струве справка об обвинении Мандельштама в каком-то «плагиате». Его протест поместила «сама» «Литературная газета». Вступились

за него «одиннадцать видных писателей», в их числе даже рапповцы — Фадеев и Авербах.

Начиная с 1922 года в течение последующих лет, Мандельштам занимал на московском «Олимпе» одно из центральных мест, почетных в лучшем смысле этого слова. Конечно, он не мог конкурировать с официальными любимцами вроде Маяковского. Зато его имя ставилось как равное рядом с Пастернаком и Хлебниковым. Сопоставляли такие имена и ценили их люди, как-никак составлявшие fine fleur[60] тогдашнего передового искусства. И это был, надо признать, относительно очень высокий уровень. По сравнению с только что насильственно оборвавшимся «серебряным веком» он, конечно, был довольно низким. Но если учесть то, что, начавшись после нэпа, продолжается по сей день, — это были просто Афины!

Блеск этой «ледяной Эллады» был определенно красным в первично октябрьском духе. «Героика» взятия Зимнего дворца и всевозможных планетарных планов сливалась в одно с торжеством кубизма и футуризма. От Мандельштама, ставшего в этой атмосфере одним из учителей поэзии, его новая аудитория, естественно, ждала революционного искусства. Ждала как раз того, что Мандельштам, прирожденный классик, органически не мог дать. Это было плохо. Еще гораздо хуже было то, что это неисполнимое требование к своей поэзии со все возрастающим упорством стал проявлять он сам.

«Пиши безобразные стихи, если можешь, если умеешь... Старайся превратить в «заумь» классически ясную образность, обесцветь и засуши до тусклой колючести драгоценную игру своего словаря, возвысься до хлебниковской зауми, доведи крайности Пастернака до абсурда, оснасти поэзию по законам татлинских конструкций, добейся, чтобы все это слилось в идеальную гармонию уродства...» Приблизительно таков был творческий вкус, поставленный себе Мандельштамом.

В отличие от многих авангардных поэтов, пользующихся запросто, как узаконенным приемом, обманом или полуобманом читателя, Мандельштам — это видно из каждой его

---

[60] цвет (*фр.*).

строчки — как был, так и остался целомудренно честен в творчестве. Обманывать он и не хотел и органически не был способен. Зато со всевозрастающей энергией упорства он старался обмануться сам.

Зная его, представляю себе, какие мучительные кризисы он должен был переживать! Этот «гибельный пожар» иногда прорывается яркой вспышкой. Словно очнувшись от кошмара, он восклицает: «Петербург! Я еще не хочу умирать!» Творческую смерть, приближающуюся к нему в советской Москве, он как бы заклинает именем былого нашего Петербурга, где им были созданы самые просветленные, самые чудесные стихи. «Петербург, у меня еще есть адреса... у меня телефонов твоих номера...» Потом вдруг вспоминает неотвратимое: номера петербургских телефонов — это номера убитых, умерших, эмигрировавших друзей, — если позвонить по ним, услышишь разве только голос вселённого чекиста. И никакого Петербурга вообще давно нет: и Мандельштам «собственной рукой», точно подписывая сам себе приговор, озаглавливает стихи о Петербурге «Ленинград».

Все кончено. «И надежды больше нет». Остается повторить про себя, о себе, в 1930 году то, что сказано было им в 1923 году о казавшемся еще тогда «прекрасном» веке. Сказано еще «прекрасным» голосом петербургского Мандельштама:

И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век.
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.

* * *

«Сочинения Осипа Мандельштама» — издание типа, почти не существовавшего в дореволюционной России или в старой эмиграции. Подобное «научное оформление» занесено к нам из СССР. В принципе такие издания следует приветствовать. Но, разумеется, при том условии, что они удовлетворительны.

Редакторы «Сочинений Осипа Мандельштама» жалуются, что «за недостатком места» им много не удалось вместить. Возможно. Но признаюсь, после ознакомления с произведенной ими работой эта жалоба не вызывает сочувствия. В канцелярски перенумерованных «материалах по Мандельштаму» действительно собрано с академической кропотливостью множество сведений, справок, указаний. Но, с одной стороны, процент несущественного — а подчас и недостоверного — среди них «достаточно высок». С другой — редакторы сплошь и рядом просто не знают многого, что им следовало бы знать и что как раз интересно узнать о Мандельштаме читателю. Кому нужны сведения вроде того, что Мандельштамом помещены в 1922 году в № 1 и 2 в каком-то «Абраксасе» какие-то (даже не указано какие) стихи? Или что «Сыновья Аймона» в 1923 году дважды появились в печати? Или вот: цитируя две разрозненные строчки, примечание говорит по поводу них: «*Очевидно*, у автора бродила мысль о какой-то поэме». Почему «очевидно» — никак не поясняется. Такое «чтение посмертных мыслей» — скорее спиритический, чем исследовательский прием. Тем более, что не всегда то, что кажется «очевидным» редакторам, соответствует действительности. «Отец (Мандельштама), *видимо*, говоривший и писавший на плохом русском и немецком языках», — сообщает в «Опыте биографии» Глеб Струве. Насчет немецкого не берусь судить. Но могу засвидетельствовать, что отец поэта говорил по-русски ничуть не хуже, чем все трое его сыновей. Вполне по-интеллигентски и без всякого акцента. Думаю, что так же и писал: по крайней мере, в пору Временного правительства было им прочтено в «Обществе заводчиков и фабрикантов» несколько докладов. Бывало, мы пили в столовой чай, а «барин», как в семье звали отца Мандельштама, уходил со своим подстаканником в кабинет писать доклад. Узнав из «материалов» сведения об «Абраксасе» и т. п., мы не находим ни в них, ни в «Опыте биографии», вообще нигде, даже упоминания ни о трагической женитьбе Мандельштама, ни об обожаемой им дочке «Липочке»! Или другой пример: письмо к Сологубу напечатано без единого слова пояснения! Кроме недоумения, помещенное в таком виде, это письмо ничего не может вызвать — тем более,

что из прекрасной статьи Мандельштама «О собеседнике» видно, как последний высоко ставил Сологуба. Как эту оплошность понять? Не может быть, в самом деле, чтобы редакторам, хотя бы понаслышке, не была известна эта история, так волновавшая поэтические круги Петербурга весной 1915 года, одним из последствий которой и явилось это знаменитое письмо! Или виной этому «недостаток места», занятого перечнем «Абраксаса»? Возможно, что последнее. Ведь вот, например, тот же «недостаток места» «заставил» их «отказаться от включения целиком» в высшей степени ценного для Мандельштама сборника его статей о поэзии. Кстати, весь-то сборник целиком состоит из 96-ти страниц небольшого формата! Из этого сборника г.г. Струве и Филипповым взяты «только первые семь наиболее характерных и зрелых». К «незрелым» и «нехарактерным» отнесен и «Чаадаев», блистательный образец литературно-философской прозы поэта, написанный в 1915 году, в эпоху наивысшего подъема его таланта.

Почему шуточные стихотворения и экспромты, если уж для них нашлось место, представлены четырьмя бледными образцами? Даже не указано, что Мандельштам сочинял такие экспромты десятками и среди них попадались иногда настоящие жемчужины. Ведь есть еще в эмиграции люди, помнящие иные из них наизусть. Вот и пишущий эти строки опубликовал несколько мандельштамовских эпиграмм. А газета «Звено», где они опубликованы, не такая уж библиографическая редкость за рубежом!

«Нет у Мандельштама непосредственных откликов на события 1917 года», — утверждает Глеб Струве. Есть, есть, и даже в довольно большом количестве, десятка полтора, пожалуй. Только искать их надо не в «Аполлоне», а во второстепенных еженедельниках и газетах того времени. Очень непосредственные отклики, хотя и довольно посредственные! Мандельштам в них бурно переживал «февральскую свободу», прославлял Керенского и клеймил большевиков. Вот, для примера, по строфе из двух стихотворений — одно написано в июльские дни, другое сразу после 25 октября:

...Керенского распять потребовал солдат,
И злая чернь рукоплескала.

Нам сердце на штыки позволил взять Пилат,
Чтоб сердце биться перестало.

...Так в октябре семнадцатого года
Мы потеряли все, любя.
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил самого себя.

Стихотворение «Вполоборота, о печаль...» всегда носило заглавие «Ахматова». Как было не восстановить это заглавие, так «освещающее» стихотворение? Если даже позднее оно было опущено — чего из примечаний не видно, — все равно следовало восстановить. Ведь восстановлена же «советская ночь» и правильная дата в стихах «В Петербурге мы сойдемся снова...»! Среди множества малоинтересных разночтений не приведено почему-то как раз имеющее интерес. В стихотворении «Невыразимая печаль» строка 11-я первоначально читалась так: «И потянулась, оживая». Мне кажется, именно так и было напечатано в «Аполлоне» 1911 года. При издании «Камня» Мандельштам сказуемое опустил. Это было новшество, вызвавшее в «Цехе» оживленный спор. Более чем сомневаюсь, чтобы Мандельштам, не любивший — и не умевший — переводить стихами, решился перевести заново отрывки «Grand Testament»[61] и «Баллады о дамах прошлых времен» после Гумилева, мастерский перевод которого, напечатанный в «Аполлоне», был ему отлично известен.

Не в «Тринадцати поэтах» ли 1917 года напечатана впервые «Соломинка», а не в «Ковчеге» 1920 года? Почему не все стихотворения из «Гиперборея» включены в «Стихотворения 1910–1923 гг.»? Почему... Но довольно перечислять, иначе и у меня, скромного рецензента, получатся собственные 56 страниц «вариантов и разночтений»... Задам все-таки редакторам «Собрания сочинений» под конец еще вопрос. В своем коллективном обращении они, перечисляя несколько имен, быть может, и имеющих какое-нибудь отдаленное отношение к Мандельштаму, благодарят их за помощь в своей «нелегкой работе». Спрашиваю,

[61] «Большое завещание» (*фр.*).

не облегчилась ли бы эта работа, если бы редакторы, кроме названных лиц, обратились за советом и помощью еще и к некоторым другим? В эмиграции находятся Г. Адамович, Артур Лурье, Ирина Одоевцева, Н. Оцуп. Каждый из них в свое время был близок к Мандельштаму и житейски и литературно. Более того, в эмиграции благополучно здравствует С. К. Маковский, редактор того самого «Аполлона», на который г.г. Струве и Филиппову приходится постоянно ссылаться! Не сомневаюсь, что все перечисленные лица, если бы редакторы к ним обратились, не отказались бы им посильно помочь. Не сомневаюсь и в том, что от их участия «нелегкая работа» и облегчилась бы и значительно бы выиграла. Вот, кстати, небольшой пример. Примечание к № 179 гласит: «*Реймс и Кельн* — стихотворение, нами не разысканное. Два последних катрена стихотворения, помещенные нами, взяты из статьи Георгия Иванова «Военные стихи» — «Аполлон», 1915, книга 4–5, стр. 85». Адрес автора упомянутой статьи в «Аполлоне» легко узнать в литературных кругах Нью-Йорка. Если бы вместо утомительных и бесплодных «розысков» редакторы обратились непосредственно к нему — обратной почтой получили бы исчерпывающий ответ: «Не ищите, первых «катренов» «Реймса и Кельна» никогда не существовало. Восемь строк, напечатанные в моей статье, и есть «Реймс и Кельн» целиком».

Если бы я такой запрос получил, отвечая на него, я бы, пожалуй, прибавил (любезность за любезность): объясните, пожалуйста, если вас не затруднит, почему, собственно, в издаваемой в Америке книге русского поэта вы всегда именуете четверостишия «катренами»? Во-первых, ведь не Жану же Кокто предназначается чеховское издание сочинений Мандельштама. Во-вторых, современные французы в аналогичных случаях говорят «strophe». «Quatrain» же в их понимании обозначает законченную в самой себе строфу, нечто близкое нашим «стансам»...

Ответ г.г. Струве и Филиппову

Отвечаю г.г. Струве и Филиппову.

1. Из моей рецензии в этом месте редакцией было выпущено несколько слов. Этот пропуск, впрочем, нисколько не уменьшает

основательности моего вопроса: почему, собственно, *очевидно*? Ответ г.г. редакторов этого не разъясняет, а, напротив, вносит еще большую неразбериху. «Но так как в «Стихотворениях 1928 г.» все эти три стихотворения опубликованы в качестве самостоятельных произведений, мы и не могли *утверждать решительно*... а выразились *осторожно*: «Очевидно, у автора бродила мысль о какой-то поэме»... Не могу не указать, что «очевидно» по-русски значит: несомненно, безусловно. А отнюдь не: возможно, вероятно и т. д. *Очевидно* по-русски является *решительным утверждением* (употребляю плеоназм г.г. редакторов), не содержащим в себе никакой *осторожности*. А что в догадках, домыслах и предположениях *очевидности* быть не может, *очевидно* всем и каждому.

2. «Отец Мандельштама, видимо, говоривший на плохом русском языке» — это замечание г. Струве основано «на словах самого О. Мандельштама». Только г. Струве не принял во внимание, что слова эти взяты из очаровательной «Египетской марки» — одного из редких образцов русской сюрреалистической прозы. Принимая за истину все ее фантастические и стилистические вычуры, можно счесть, например, «в не по чину барственной шубе» — фотографически точным портретом одного из основоположников символизма, директора Тенишевского училища В. В. Гиппиуса-Бестужева. И, ссылаясь «на слова самого Мандельштама» — «литератор-разночинец», настаивать на «плебействе» В. В. Гиппиуса-Бестужева. Повторяю, отец Мандельштама *отлично говорил по-русски*. Разумеется, его подлинный отец, а не тот, прошедший «сквозь магический кристалл» «Египетской марки».

3. «Вполоборота, о печаль...» То же недоумение, что и я, выразил и Г. В. Адамович в номере 6-ом «Опытов». Для краткости отсылаю г.г. редакторов к заметке Г. В. Адамовича, такого же, как я, участника тогдашней литературной жизни.

4. Охотно верю, что в «Аполлоне» 1911 г. была напечатана указанная г.г. редакторами строка, а не «потянулась, оживая». Возможно, что она в первом «Камне» изд. «Акмэ» 1913 г. Я ведь писал: «мне кажется». Мандельштам часто делал по несколько

вариантов одной и той же строки. Мое указание на «новшество», возбудившее спор в «Цехе», от этого ничуть не теряет своего значения.

5. Мое сомнение в том, что Мандельштам действительно перевел отрывок из «Grand Testament» и «Балладу о дамах прошлых времен», вызвало в г. г. редакторах изумление. Между тем сомнение, высказанное мной, основано на очень близком знании Мандельштама, с его достоинствами и слабостями. Сомневаюсь. И даже очень сомневаюсь. Не в самой «публикации» в каком-то сборнике. Мало ли что мог напечатать Мандельштам, лишь бы рукопись была принята и оплачена... Мандельштам, молитвенно-серьезно, с какой-то исступленной честностью относившийся к своему творчеству, сутками не выходивший из дома, поглощенный шлифовкой какой-нибудь строфы, — с поразительным, чисто детским легкомыслием относился ко всему, что он считал «халтурой». А переводы как раз и входили для него в это понятие. Когда зимой 1920 года Мандельштам вернулся в Петербург, ему, естественно, сейчас же предложили заняться стихотворными переводами для горьковской «Всемирной литературы». Переводами в те голодные годы кормились решительно все поэты. Но тут неожиданно выяснилось, что Мандельштам, несмотря на свой огромный талант, лишен самой элементарной способности рифмованно передавать чужое. Ни уроки общепризнанного мастера переводов М. Л. Лозинского, ни советы и помощь Гумилева не привели ни к чему. Справиться с работой, легко исполнявшейся учениками-студентами, он так и не смог. И, несмотря на то, что членами коллегии были его ближайшие друзья, ни один из переводных опытов Мандельштама не был принят. Неудачи эти очень огорчали Мандельштама. В заработке он нуждался еще больше остальных. Однажды он торжественно принес Гумилеву рукопись: «Вот, оды Китса!» — Гумилев удивился: «Но ведь ты не знаешь английского?» — «Мне сделали подстрочник!» Перевод оказался отчаянным. Гумилев, просмотрев его, взялся за Мандельштама: «Осип, признавайся, откуда ты взял это?» И Мандельштам «признался». Перевод ему вручила знакомая барышня, мечтавшая увидеть его напечатанным, хотя бы под псевдонимом, только бы напечатали.

Гонораром она не интересовалась. «Гонорар мне! А Мандельштам чем не псевдоним?» — старался он убедить Гумилева. Это вспомнившееся мне, долго тогда смешившее всех нас «А Мандельштам чем не псевдоним?» — и заставило меня усумниться не в самой «публикации», а в подлинности авторства Мандельштама. Повторяю, что перевод виллоновской «Баллады...» представляет совершенно исключительные трудности. Ее, взаимно состязаясь, перевели два такие искусника перевода, как Брюсов и Гумилев, и мне не верится, чтобы Мандельштам взялся переводить ее заново.

6. «Реймс и Кельн». Отсылаю г. г. редакторов к вышеупомянутой заметке Г. В. Адамовича (там же и о «Чаадаеве»). Прибавлю только, что в свой очередной обзор в «Аполлоне» 1915 г. я включил эти две, нигде не напечатанные, строфы по просьбе самого Мандельштама, снабдив их «для проформы» Мандельштамом же придуманным замечанием о «риторичности» несуществующего начала стихотворения. Было это 40 лет тому назад. Мы были молоды и любили «веселость едкую литературной шутки».

7. «Добавим к этому, что среди лиц, за необращение к которым упрекает нас г. Иванов, есть такие, с которыми мы были в переписке в процессе работы над изданием, напр., С. К. Маковский». Догадаться, что с С. К. Маковским г.г. редакторы «были в переписке в процессе работы над изданием», я действительно не мог — редакторского «спасибо за помощь» С. К. Маковский почему-то не заслужил. Единственное упоминание в связи с «работой над изданием» маститого редактора «Аполлона» находим на стр. 377 № 170: «Взято из книги С. Маковского «Портреты современников». Судя по характеру и стилю, стихотворение это Мандельштаму только приписывается». Кстати, стихотворение это, по моему мнению, типично мандельштамовское, хотя, конечно, не из лучших. «За высокое племя людей...», «Мне на плечи кидается век-волкодав...», «Чтоб сияли всю ночь голубые песцы...» — характерные мандельштамовские интонации и словарь.

8. «Почему не все стихотворения из «Гиперборея» включены в «Стихотворения 1910–1923 гг.», — *грозно* спрашивает г. Иванов.» Недоумеваю — в чем, собственно, г.г. редакторы усмотрели

«грозность»? Г.г. редакторы утверждают, «что, несмотря на очень упорные розыски», ими найдены «за рубежом» только три номера «Гиперборея». Знаю, что в Париже имеются и другие номера. Года полтора тому назад мне пришлось перелистать некоторые со стихами Мандельштама, не включенными в «Собрание сочинений». Среди прочих:

Хлеба, серебряные рыбы,
Плоды и овощи простые,
Крестьяне — каменные глыбы
И краски темные, живые.

9. «Не правильнее ли было бы со стороны г. Иванова, не ограничиваясь отрывками, указать, где именно они опубликованы, или привести (?) их в своей рецензии целиком?» Но почему, собственно, мне следовало в моей рецензии «не ограничиваясь отрывками, указать, где именно они опубликованы (?), или привести их целиком», — для меня неразрешимая загадка... «Мы указываем эти альманахи и журналы, часто не зная даже, какие произведения Мандельштам там помещал», — заявляют г.г. редакторы. Позволю себе усумниться не только в том, что такая библиография «неизбежна и абсолютно необходима», но и в правильности избранного г.г. редакторами метода. Когда изредка «трудные поиски» «Абраксасов» и великоустюжских «Сирен» увенч<ив>аются успехом — что мы из них узнаем?.. «Сборник «Тринадцать поэтов» (о нахождении там стихотворения «Зверинец» знаем из рецензии на этот альманах)»... Что из этого следует? Какой смысл «устанавливать», что «Зверинец», одно из знаменитейших стихотворений «Tristia», появился впервые в «Тринадцати поэтах»? «Упоминаемые г. Ивановым факты из биографии... не были, по-видимому, известны многим лицам...» Мало ли что из биографии Мандельштама не было известно не только «многим лицам», но и самим г. г. редакторам! Не моя вина, что они не подозревали о женитьбе Мандельштама и его дочери Липочке — факты, на которые ясно указывает стихотворение № 181, помеченное 1923 г. — годом рождения его дочери — и не снабженное в «Собрании сочинений» никакими комментариями. «Сам г. Иванов *умолчал* об этих фактах в своих

воспоминаниях о Мандельштаме». Мало ли что я еще знаю и о чем «умолчал» в моих полубеллетристических фельетонах, из которых составились «Петербургские зимы»? Известие о женитьбе Мандельштама, удивившее весь тогдашний литературный Петербург, привез из Москвы весной 1922 года Корней Чуковский. Вскоре, осенью того же года, перед своим отъездом за границу, я в Москве прощался с Мандельштамом и познакомился с его женой. Позднее, уже в Париже, от наезжавших сюда из России общих знакомых — Альтмана, Мейерхольда, Миклашевского, я слышал разные грустные и даже трагические подробности о судьбе этого брака.

<Мне случайно попалась...>

Мне случайно попалась в «еспартийно-национальном» журнальчике «Русский в Австралии»[62] забавная заметка: «Какие книги читает русский эмигрант». О Бунине там сказано: «Его читают главным образом молодящиеся дамы из старой эмиграции. Остальным клиентам (австралийских библиотек) он неприятен и вызывает единодушное удивление: и за что только ему дали премию Нобеля». После Бунина там же и о Ремизове: «Трудно говорить о Ремизове как о русском писателе. Пишет он на собственном языке, понятном только ему самому и разве его маме».

Узнав из этой же заметки, что, не в пример Бунину, 100 %-й популярностью пользуются среди австралийских читателей Шмелев, генерал Краснов и некто Бойков, автор «Сокровища сердец», очевидно, по глубокой несправедливости Нобелевской премией обойденный, я вдруг ощутил жуткий холодок. Ведь если вдуматься, «еспартийный австралиец» выражает не только мнения и вкусы своих идейных друзей. Ну, о Бунине ерунда, юмористика, выходка идиота, но Ремизов... Ведь, в сущности,

---

[62] *См. номера 1–2–3–4 за 1957 г. Во всех книжках на странице 1-й обозначено: «еспартийно-национальный журнал, обслуживающий интересы русских в Австралии». Ясно: не опечатка, а уточнение «общественной платформы».*

отношение к Ремизову и в дореволюционные времена и в эмиграции — очень недалеко ушло от мнения австралийского библиотекаря.

Конечно, существовали и существуют люди, почитающие Ремизова тем, чем он был и есть: волшебным художником слова, писателем неисчерпаемой словесной и духовной самобытности. Так воспринимали Ремизова Блок и Гумилев, А. Белый и Вячеслав Иванов. Но т<ак> н<азываемая> «высокая словесность», пресловутая «общественность», «влиятельная критика»? От первых выступлений Ремизова до вызывающих грустное недоумение (чтобы не сказать больше) иных появившихся теперь в современной печати приветствий к ремизовскому юбилею — что получил Ремизов, кроме снисходительного непонимания, за свою долгую творческую жизнь? В России он был всегда где-то «сбоку припеку», вне «большой литературы» — вне больших издательств, вне «солидных журналов», не скажу — вне читателя, но, конечно, читаемый далеко не так, как он это заслужил и заслуживает своим исключительным даром. Так было в России, так есть и в нашей «охраняющей русскую культуру» эмиграции. Перелистайте каталог Чеховского издательства, отлично знавшего, что столы и сундуки Ремизова завалены его драгоценными для русской литературы рукописями. Просмотрите эмигрантские журналы и времен эмигрантского довоенного расцвета и нынешнего времени! Ремизов всюду и всегда на третьем месте, в отрывках, явно с неохотой печатаемый, с оглядкой на читательскую психику. И это писатель, место которого (по определению Гумилева) «высоко-высоко над всеми остальными — где-то между Гоголем и Розановым».

Как пример «стандартного» отношения к Ремизову приведу случай из собственной литературной жизни. В 1916 году в Петербурге начала выходить «Русская воля», газета «американского размаха» — все «самое лучшее» от объема до «имен» и гонораров. Я был тогда всего лишь 20-летним сотрудником «Аполлона», но, очевидно, по принципу «у нас на все стили хватит» приглашения сотрудничать в «Русской воле» удостоился и я. Леонид Андреев, бывший литературным редактором, заявил мне: «Пишите что и как хотите, мы вас не стесняем». Но когда я предложил

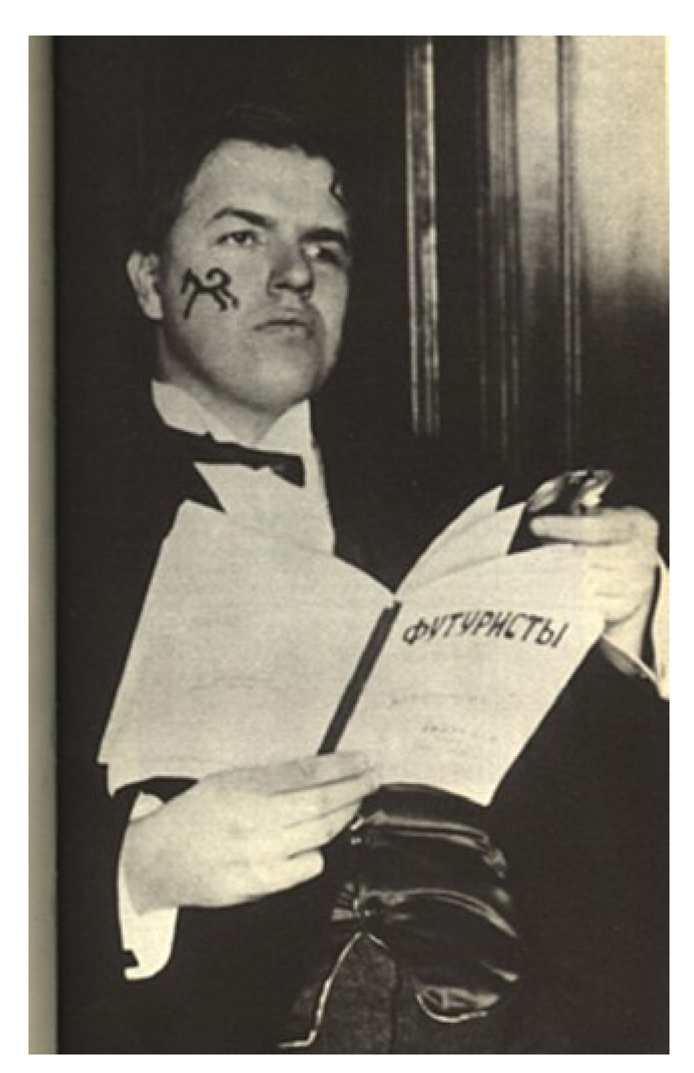
«для дебюта» статью о творчестве Ремизова, прославленный автор «Анатэмы» энтузиазма не проявил. «Пожалуйста, если хотите... но с другой стороны... лучше бы...» Я все-таки настоял. Написал статью и стал ждать ее появления. Но вместо этого был неожиданно вызван, минуя Андреева, к «самому большому начальству» — к главному редактору «Русской воли», профессору Гримму.

Гримм был утонченно любезен. Однако — с сожалениями и комплиментами — вернул мне мое писание. «Как заказанная Леонидом Николаевичем, рукопись, конечно, будет оплачена...» Но ни в коем случае «этого» мы поместить не можем... «С высоты» своего, казавшегося мне тогда наивысшим в мире, звания постоянного сотрудника «Аполлона», заместителя Гумилева, я от души презирал и авторитет Гримма и всероссийскую славу Леонида Андреева. Сотрудником «Русской воли» (по совету того же Гумилева) я, впрочем, остался. Но с тех пор писал там исключительно о стихах — в этой области ни Гримм, ни автор «Анатэмы» никаких препятствий мне не ставили.

Теперь, на старости лет, я понимаю и негодование Гримма и неудовольствие Леонида Андреева. Долгий опыт литературной жизни давно разрушил мои юношеские иллюзии. И я отлично вижу, что моя тогдашняя статья о Ремизове была попросту «пощечиной общественному мнению». Достаточно сказать, что она начиналась так: «Когда я впервые прочел ремизовский «Пруд» и, особенно, гениальный «Неуемный бубен», я испытал то же чувство, что Стендаль перед Байроном — «желание поцеловать руку, написавшую это»...»

Прибавлю, что хотя я и отдаю себе отчет в несуразности моей тогдашней попытки поставить «единым махом» Ремизова на соответствующее место, — он для меня и по сей день остается тем же лучезарно-чудесным учителем прекрасного и славой русской литературы.

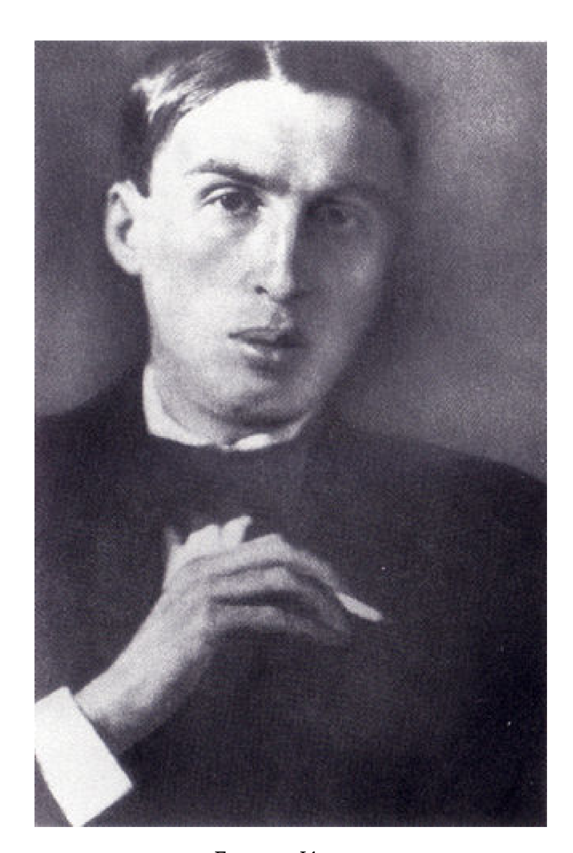
Еще прибавлю, для мало меня знающих, что излишней восторженностью я никогда не отличался и к большинству моих современников — хотя бы и весьма превознесенных — отношусь, скорее, как Грушенька Достоевского: «А я вам, барышня, ручку не поцелую».



Давид Бурлюк. 1914 г.



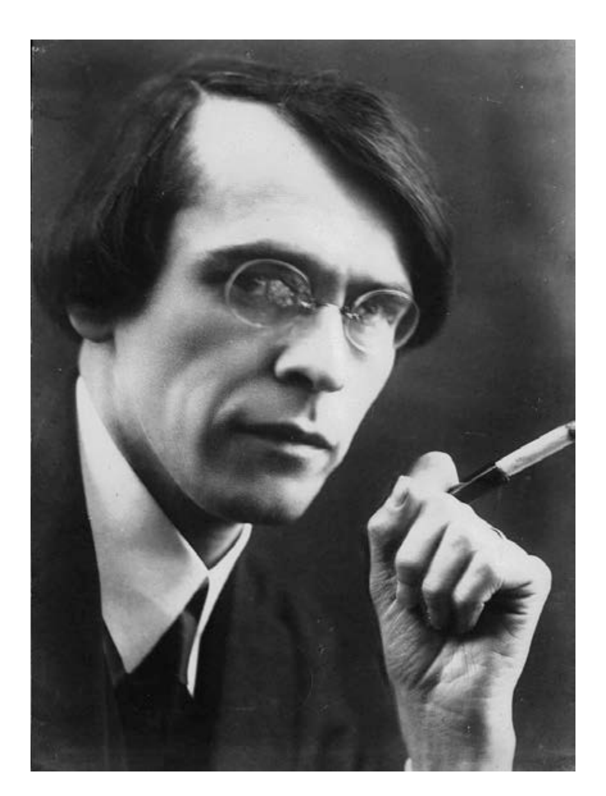
Георгий Иванов



Георгий Иванов



Георгий Иванов и Ирина Одоевцева



Владислав Фелицианович Ходасевич



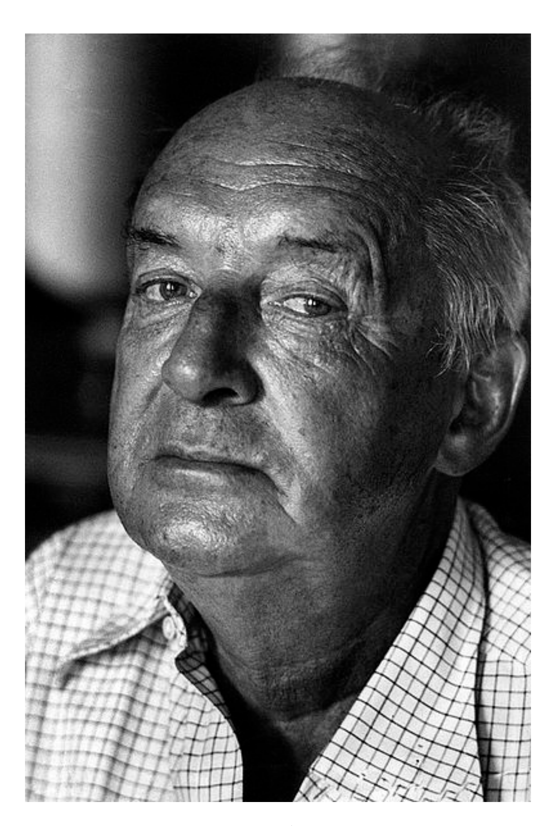
Мандельштам, Чуковский, Лившиц, Анненков, 1914,
Карл Булла, улыбающийся



Осип Мандельштам



Ольга Александровна Спесивцева



Владимир Набоков, 1973 г.



Владимир Нарбут (1888–1938)



Николай Давидович Бурлюк

Список условных сокращений

В — «Вереск». Вторая книга стихов. Изд. 2. Берлин — Петербург — Москва, Изд-во З. И. Гржебина, 1923.

Л — «Лампада». Собрание стихотворений. Пг., 1922.

ПЗ — «Петербургские зимы». Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1952.

R — «Розы». Париж, «Родник», 1931.

РА — «Распад атома». Париж, 1938.

Ст-58 — «1943–1958. Стихи». Нью-Йорк, Изд-во «Нового журнала», 1958.

Периодические издания

Ап — журнал «Аполлон» (Петербург — Петроград).

Арг — журнал «Аргус» (Петербург — Петроград).

Возр — журнал «Возрождение» (Париж).

Гпт — журнал «Гиперборей» (Петербург).

Д — газета «Дни», Париж.

Зв — газета и журнал «Звено» (Париж).

Лук — журнал «Лукоморье» (Петроград).

НЖ — «Новый журнал», Нью-Йорк.

Ог — журнал «Огонек» (СПб. — Пг.).

ПБС — А. Парнис, Р. Тименчик. Программы «Бродячей собаки». — В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Л., «Наука», 1983.

ПН — газета «Последние новости» (Париж).

РВ — газета «Русская воля» (Петроград).

Сег — газета «Сегодня» (Рига).

СЗ — журнал «Современные записки» (Париж).

Ч — журнал «Числа» (Париж).

Список имен

Адамович Георгий Викторович (1892–1972) — русский поэт-акмеист, литературный критик, переводчик.

Алданов Марк Александрович (урождённый Марк Александрович Ландау, 1886–1957) — русский прозаик, публицист, историк, философ и химик.

Альтман Натан Исаевич (1889–1970) — живописец, скульптор, график. Портрет Ахматовой написан им в 1914 г.

Анненский Иннокентий Фёдорович (1855–1909) — выдающийся русский поэт, драматург и переводчик, критик, автор, возможно лучшего сборника поэзии в русской литературе «Кипарисовый ларец».

Ахматова Анна Андреевна (урождённая Горенко, по первому мужу Горенко-Гумилёва, псевдоним-фамилию Ахматова, по второму мужу Ахматова-Шилейко, после развода Ахматова; 1889–1966) — поэт Серебряного века, переводчица и литературовед, одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX века.

Борджиа Лукреция (1480–1519/20) — знаменитая авантюристка эпохи Возрождения.

Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) — русский писатель, поэт и переводчик, первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе (1933).

Борисяк Андрей Алексеевич (1885–1962) — астроном, поэт, виолончелист, впоследствии профессор Харьковской консерватории. Прославился тем, что, будучи гимназистом, открыл неизвестную ранее астрономам звезду, за это был отмечен личным подарком Николая II — подзорной трубой.

Блок Александр Александрович (1880–1921) — русский поэт, писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный критик. Классик русской литературы XX столетия, один из крупнейших представителей русского символизма.

Бурлюк Давид Давидович (1882–1967) — поэт и художник-футурист, друг Владимира Маяковского, эмигрировал в 1920 г.

Бурлюк Владимир Давидович (1886–1917), художник, брат Д. Бурлюка.

Бурлюк Николай Давидович (1890–1920?) — русский поэт и прозаик. Брат Давида, Владимира и Людмилы Бурлюков.

Верхарн Эмиль (1855–1916) — бельгийский поэт. Был в Петербурге 23–26 ноября 1913 г., в «Бродячей собаке» он не бывал.

Вольнов Иван Егорович (настоящая фамилия Владимиров, 1885–1931), прозаик.

Зоргенфрей Вильгельм Александрович (1882–1938) — русский поэт Серебряного века, переводчик. Незаконно репрессирован.

Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) — поэт. Известность Городецкому принесла его книга «Ярь» (1907), умело стилизованная «в народном духе». Гораздо слабее «Яри» последующие книги — «Перун» (1907), «Дикая воля» (1908) и «Русь» (1910). Затем автор «Яри» примкнул к акмеистам.

Грааль Арельский (псевд. Степана Степановича Петрова, 1888–1938?) — поэт, эгофутурист. Незаконно репрессирован.

Григорьев Борис Дмитриевич (1886–1939) — художник, действительно был автором росписей в «Привале комедиантов».

Гнедов Василиск (Василий Иванович Гнедов, 1890–1978) — русский поэт-авангардист, один из лидеров движения эгофутуристов.

Гумилёв Николай Степанович (1886–1921) — русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик. Первый муж Анны Ахматовой, отец Льва Гумилёва. Незаконно репрессирован.

Гумилев Лев Николаевич (1913–1992), ученый-этнолог, писатель, переводчик сын Н. С. Гумилева и А. А. Ахматовой. Незаконно репрессирован.

Гюисманс Жорис Карл (1848–1907) — французский писатель, крайне популярный на рубеже веков.

Зайцев Борис Константинович (1881–1972) — русский писатель и переводчик, крупное имя в литературе Серебряного века.

Зиновьева-Аннибал Лидия Дмитриевна (1866–1907) — русская писательница «Серебряного века», жена Вячеслава Иванова.

Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) — русский поэт-символист, философ, переводчик и драматург, литературный критик, идеолог символизма

Игорь Северянин (Лотарев Игорь Васильевич, 1887–1941) — поэт, основатель эгофутуризма.

Игнатьев (Казанский) Иван Васильевич (1892–1914) — издатель нескольких эгофутуристических альманахов, автор книги стихов «Эшафот» (СПб., 1914).

Карсавина Тамара Платоновна (1885–1978) — балерина, в 1902–1918 гг. выступала в труппе Мариинского театра, затем уехала за границу. Карсавиной посвящены два стихотворения Г. Иванова — «Пристальный взгляд балетомана...» и «Вот, дорогая, прочтите глазами газели...».

Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936) — русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, критик Серебряного века. Первый в России мастер свободного стиха.

Кульбин Николай Иванович (1868–1917), медик, театральный деятель, художник, литератор. Кульбин принимал активное участие в литературной деятельности футуристов и сам считал себя футуристом.

Крученых Алексей Елисеевич (1886–1968) — поэт-футурист, создатель «заумного языка».

Курбатов Владимир Яковлевич (1878–1957) — историк искусства, занимался архитектурой Петербурга; в книге «Петербург. Художественно-исторический очерк и обзор художественного богатства столицы» (СПб., 1913) противопоставлял строгое стилевое единство Петербурга московской архитектурной эклектике.

Кюи Цезарь Антонович (1835–1918) — композитор, музыкальный критик.

Лившиц Бенедикт Константинович (1887–1938) — русский поэт, переводчик и исследователь футуризма. Принадлежность Лившица к футуристам была весьма внешней, стихи его отмечены влиянием французских символистов и парнасцев. Незаконно репрессирован.

Лернер Николай Осипович (1877–1934) — критик, литературовед, известный пушкинист.

Лурье Артур (Артур-Винцент) Сергеевич (1892–1966) — композитор.

Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938) — русский поэт, прозаик и переводчик, эссеист, критик, литературовед. Один из крупнейших русских поэтов XX века. Незаконно репрессирован.

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940) — выдающийся театральный режиссер. Незаконно репрессирован.

Набоков Владимир Владимирович (псевдоним Владимир Сирин; 1899–1977) — русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед и энтомолог.

Нарбут Владимир Иванович (1888–1938) — русский писатель, поэт-акмеист и литературный критик, редактор. Незаконно репрессирован.

Одоевцева Ирина Владимировна (настоящее имя Ираида Густавовна Гейнике; в первом браке Попова, во втором Иванова. 1895–1990) — русская поэтесса, мемуарист, прозаик, жена Георгия Иванова.

Олимпов (Фофанов) Константин Константинович (1889–1940) — поэт; сын Константина Фофанова. Его отца, поэта К. М. Фофанова (1862–1911), Северянин считал своим «предтечей». Незаконно репрессирован.

Перфильев Александр Михайлович (1895–1973) поэт.

Поплавский Борис Юлианович (1903–1935) — поэт и прозаик русского зарубежья.

Пронин Борис Константинович (1875–1946) — театральный деятель, организатор литературно-художественных кабаре «Бродячая собака» (1911–1915) и «Привал комедиантов» (1916–1919) в Петербурге.

Рубинштейн Ида Львовна (1880–1960) — балерина и актриса, ученица М. М. Фокина.

Руманов Аркадий Вениаминович (1878–1960) — беллетрист, публицист, с 1911 г. руководитель петербургского отделения издававшейся И. Д. Сытиным газеты «Русское слово».

Спесивцева Ольга Александровна (1895–1991, Нью-Йорк, США) — русская прима-балерина, в 1913–1924 гг. актриса Мариинского театра.

Судейкин Сергей Юрьевич (1882–1945) — художник; оформлял помещения и «Бродячей собаки» и «Привала комедиантов», был автором эскизов декораций и костюмов к постановкам, осуществлявшимся в этих кабаре.

Судейкина Ольга Афанасьевна (Глебова-Судейкина 1885–1945) — художница и актриса, жена С. Ю. Судейкина; участвовала в представлениях в «Бродячей собаке». Была близкой подругой А. Ахматовой.

Тиняков Александр Иванович (1886–1934) — русский поэт Серебряного века.

Фофанов Константин Михайлович (1862–1911) — русский поэт-романтик, не входивший явно ни в одну из поэтических школ. Предтеча модернизма и символизма в русской поэзии.

Фор Поль (1872–1960) — французский поэт второго поколения символистов, в 1912 г. провозглашен «королем поэтов» Франции. В «Бродячей собаке» Фор выступал в марте 1914 г.

Хлебников Велемир (настоящее имя Виктор Владимирович Хлебников; 1885–1922) — русский поэт-футурист, прозаик, один из крупнейших деятелей русского авангарда.

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939) — русский поэт, переводчик, критик, мемуарист и историк литературы, пушкинист.

Цензор Дмитрий Михайлович (1879–1947) — поэт, критик, либреттист. Акмеисты считали его поэзию образцом дурного вкуса.

Цыбульский Николай Карлович — композитор.

Широков Павел Дмитриевич (1893–1963), поэт, автор сборника «В и Вне Поэзы» (Пг., 1913),

Штраус Рихард (1864–1949) — немецкий композитор и дирижер. Музыке Рихарда Штрауса был посвящен «музыкальный понедельник» в «Бродячей собаке» (26 ноября 1912 г.).

Шницлер Артур (1862–1931) — австрийский писатель. «Зеленый попугай» («Зеленый какаду», 1893) — пьеса, действие которой происходит в дни Великой французской революции. В 1918 г. пьеса действительно планировалась к постановке в «Привале комедиантов».

Эмбер Тереза — героиня скандального судебного процесса во Франции в 1902–1903 гг., выдававшая себя за наследницу американского мультимиллионера. Дело Эмберов — финансовая афера или «колоссальнейшее мошенничество XIX века».

Яковлев Александр Евгеньевич (1887–1938) — художник, друг и соученик М. В. Добужинского.

Содержание

Иванов Георгий Владимирович

Мемуары
Литературные портреты

16+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *А. Тельная*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

Отпечатано в ООО «ПАК ХАУС»
142172, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Космонавтов, д. 16



Издайте свою книгу у нас!

Издательство «Директ-Медиа» публикует учебники, монографии, литературу NON-FICTION, аудиокниги, новые издания и те, что с годами не утратили своей актуальности, коллективные научные сборники.

Наше издательство берет свои корни в книгоиздательских традициях и технологиях Германии. Мы – лидеры современного книгоиздательского процесса, охватывающего цифровые образовательные платформы для школ и вузов, издание электронных и печатных книг. Нашу продукцию отличает высокое полиграфическое качество и высокотехнологичный процесс продвижения книги.

Наши авторы – ведущие ученые и преподаватели страны. За 20 лет работы в России нами издано более 10 000 изданий учебной, академической и научно-популярной литературы.

Приобрести наши книги можно в интернет-магазине DIRECTMEDIA.RU и в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (BIBLIOCLUB.RU), в книжных и в интернет-магазинах страны.

Хотите приобрести книгу издательства «Директ-Медиа» или издать свое произведение?

Мы ждем Вас!

www.directmedia.ru

Email: manager@directmedia.ru

Tel.: 8-800-333-6845 (звонок бесплатный)



Для заметок